

Евгений Маурин

Приключения Аделаиды Гюс



Евгений Иванович Маурин

Приключения Аделаиды Гюс

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6600657

Аннотация

«Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать.

И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну, хорошо! Я умру – туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!...»

Содержание

Часть 1. Могильный цветок	6
Глава 1	6
Глава 2	50
Глава 3	101
Часть 2. Возлюбленная фаворита	148
Глава 1	148
Глава 2	165
Глава 3	182
Глава 4	202
Глава 5	218
Глава 6	245
Глава 7	263
Глава 8	282
Глава 9	305
Глава 10	327
Глава 11	359
Глава 12	381
Глава 13	413
Глава 14	425
Глава 15	443
Глава 16	467
Часть 3. Самсон и Далила	496
Глава 1	496

Глава 2	516
Глава 3	557
Часть 4. Венценосный раб	601
Глава 1	601
Глава 2	625
Глава 3	652
Глава 4	682
Глава 5	700
Глава 6	718
Часть 5. Кровавый пир	730
Глава 1	730
Глава 2	736
Глава 3	752
Глава 4	766
Глава 5	791
Глава 6	815
Глава 7	844
Глава 8	865
Глава 9	891
Глава 10	916
Глава 11	935
Глава 12	952
Глава 13	975
Глава 14	995
Глава 15	1007
Глава 16	1024

Глава 17	1039
Часть 6. На обломках трона	1050
Глава 1	1050
Глава 2	1069
Глава 3	1095
Глава 4	1119
Глава 5	1139
Глава 6	1161
Глава 7	1183
Эпилог	1202

Евгений Маурин

Приключения

Аделаиды Гюс

Часть 1. Могильный цветок

Глава 1

Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать.

И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну, хорошо! Я умру – туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!

Да, много блестящих, величественных и ужасных картин прошло перед моими глазами. Безудержная роскошь Людо-

вика XV, трагедия Людовика XVI, пострадавшего за грехи предков, дни террора и безумия, искрометная карьера Наполеона, его слава и падение, неистовство «союзников», явившихся восстанавливать чуждых и им, и нам Бурбонов, июльская революция – всему этому был я свидетелем. А Екатерина II, Густав III, Христиан VII, блеск их дворов, пышность их жизни!

Но не в этих полных суетного тщеславия картинах заключено то, что мне хотелось бы передать потомству, что еще приковывает меня к жизни. Моя душа уже давно мертва, и не прельщают ее образы земного величия. Все – прах и суета, все – обманная мишура... Нет, моя личная печальная судьба да послужит молодежи предостережением, и о ней-то я и хочу рассказать. За краткие минуты чувственного наслаждения я поплатился всей жизнью; неосторожная, преступная клятва сделала меня рабом разнузданной женщины, той самой, что подобно могильному цветку пышно разрослась на гнойнике монархии. И вот что я теперь!.. Труп, обреченный одновременно и на загробные муки, и на терзания земной жизни.

В назидание молодому поколению я, Гаспар Тибо Лебеф, расскажу, как это случилось и что из этого произошло. Вся моя жизнь, тесно связанная с жизнью злосчастной Аделаиды Гюс, пройдет перед глазами читателя. По большей части прошлое живо стоит перед моими глазами, но да простится мне, если кое-что затуманилось в памяти. Я стар, могу спу-

таться в мелких деталях, фактах и числах. Что за беда, если бесспорным и верным останется тот вывод, ради которого я и предпринял эту непосильную в моем возрасте работу?

Итак, с Богом!.. Впрочем, сначала еще одна оговорка, читатель: многое из того, о чем я расскажу здесь в последовательном порядке, стало мне известно из сообщений других лиц, и иногда я узнавал о них только через несколько лет после происшедшего. Все равно, ради удобства воспоминаний и связности рассказа, я буду описывать события не в том порядке, как они мне раскрывались, а как они происходили на самом деле, и связывать лично виденное с тем, что узнал впоследствии.

Однако все оговорки да оговорки! Вот что значит старость: бродишь вокруг да около и никак не приступишь к делу! Так с Богом! Прими, о юный читатель, эту правдивую исповедь наболевшего сердца и извлеки из нее тот урок, которого так недостает твоей неопытности. «Женщина – исчадие ада!» Да сопутствует тебе это изречение святых отцов на всех путях твоих!

Ни отца, ни матери я никогда не знал, так как оба они трагически погибли вскоре после моего рождения. Отец умер потому что, спасая из пожара люльку с дорогим ему новорожденным, сам получил тяжкие ожоги, а мать не могла перенести смерть отца и в припадке тоски повесилась. Таким образом я с шестимесячного возраста оказался на попечении

двоюродного брата отца, аббата Дюпре, служившего в предместье тихого приморского городка Лориен (в Бретани).

С самого детства океан глубоко волновал меня, принося вместе с прибоем волн какие-то смутные грезы и желания. Мне казались невыносимыми тишина и бледность моей жизни, и мечта звала куда-то вдаль, в неизведанные страны, к новым, ярким впечатлениям. Да, так было тогда, а теперь, вспоминая свою жизнь, я думаю, что у меня не было времени счастливее детских лет в тихом, милом Лориене.

Дядя-аббат заставлял меня много и серьезно заниматься. Сам он был человеком всесторонне образованным и сумел заинтересовать учением и меня. В двенадцать лет я совершенно бегло читал по-латыни и свободно понимал без словаря кодекс Юстиниана, не говоря уже о том, что Плутарх, Цицерон, Корнелий Непот, Геродот, Овидий и прочие корифеи латинской и греческой литературы были моими интимными друзьями. Вообще я, должен сознаться, был странным ребенком. Словно жил вне жизни: книги и смутные мечты, навеваемые мне океаном, составляли все мое существование.

Шли дни, складываясь в недели и месяцы; уносились месяцы, складываясь в годы. Казалось, что жизнь всегда будет идти так же ровно, серо, бесцветно и никогда не сбудутся мои яркие мечты. И вдруг они осуществились, осуществились так просто, как это бывает с важнейшими поворотными пунктами.

Это было осенью 1759 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Уже с утра я видел, что дядя-аббат чем-то взволнован, что-то хочет сказать мне, но не может решиться. Я заранее волновался, но старался не подавать вида, что волнуюсь. Наконец вечером дядя позвал меня к себе в кабинет и заговорил, взволнованно расхаживая крупными шагами взад и вперед по комнате:

– Гаспар, теперь ты – уже почти юноша... Представляешь ли ты себе, что такое жизнь и что она требует от нас?

Я молчал, смущенный этим неожиданным вступлением.

Тогда дядя продолжал, видимо все более волнуясь:

– Ну, да, ты не знаешь, ты не можешь ответить... В этом моя вина: я слишком долго держал тебя возле себя! Разве монах знает жизнь? И разве можно научить другого тому, чего не знаешь сам? Я честно старался вооружить тебя как можно лучше на борьбу за жизнь, но... – Он опять замолчал, продолжая расхаживать по комнате. – Ну, словом, – продолжал он через некоторое время, – тебе нельзя долее оставаться здесь. Я стар, могу умереть каждую минуту; что же будет с тобой тогда? Ты много знаешь, ты развит и образован не по летам, но ведь жизнь требует практического применения знаний. Знать мало – надо уметь. А ты ничего не умеешь...

Я продолжал молчать, охваченный каким-то тревожным, сладким предчувствием. Жизнь... мне предстоит вступить в нее? Но, Боже мой, ведь в этом-то и была конечная цель моих смутных по своим реальным очертаниям, но ярких своими

надеждами грез!

Дядя уселся в кресло и продолжал уже спокойнее:

– Говоря попросту, тебе надо избрать себе профессию. Прежде я думал, что ты пойдешь по моим стопам и станешь священником. Но, наблюдая за тобой, я убедился, что ты не годишься для пастырского призвания. Под внешней мечтательностью и кротостью в тебе таится скрытый мятеж души... Что же, и в светской жизни можно спастись, но горе тому, кто принимает пастырский обет, не будучи в силах в полной мере сдерживать его. Нет, иди в жизнь, сын мой, иди в жизнь!

Но ведь я ничего лучшего и не желал тогда!

– Теперь, – продолжал дядя, – я должен познакомить тебя с твоими семейными обстоятельствами. До сих пор ты думал, что у тебя нет других родственников, кроме меня. И правда, с отцовской стороны их у тебя нет, но зато остались родственники со стороны матери. Должен сказать, что твоя мать происходила из родовитой буржуазии: она – урожденная Капрэ. Отец твоей матери был против ее брака с мелким дворянином, но, подчиняясь голосу страсти, она тайком бежала и обвенчалась с твоим отцом.

Я не хочу осуждать твоих родителей – для этого я слишком любил их, да и они сами были слишком хорошими людьми. Но по их судьбе видно, что гневящий отца гневит Бога: печальная участь твоих родителей тебе известна! Так или иначе, но отец твоей матери не простил ее брака и вы-

черкнул ее из своей жизни. Года два тому назад он умер, оставив все свое состояние и нотариальную контору сыну Пьеру, твоему родному дяде. Я написал Пьеру Капрэ о тебе и вчера получил от него ответ. Дядя согласен взять тебя к себе на службу, но не на правах родственника, а как постороннего: он хочет сначала убедиться, достоин ли ты его забот. Имей в виду, что твой дядя бездетен... Ну, да это – дело будущего. А сейчас важно только то, что тебе надо отправиться к дяде в Париж!

В Париж! У меня сердце остановилось от восторга! В Париж, где кипит истинная жизнь!

– В Париж? – повторил я. – Но когда же?

– Не стоит терять времени, – ответил дядя-аббат. – Годы не ждут, ты и так ты засиделся. Омнибус отходит завтра в три часа дня, вот и отправляйся. А теперь иди к себе, сын мой. Завтра утром мы с тобой еще поговорим об этом, а теперь дай мне помолиться и подумать.

Почти не помня себя от радости, я вышел из кабинета, выбрался во двор и стал обходить церковные постройки, садик, тихую обсаженную деревьями улицу. Я прощался с милыми местами, но во мне не было скорби и сожаления: моя душа ликовала, пела, носилась в сладостном вихре упоенья. И только тогда, когда я незаметно очутился около старой серенькой церковки, что-то подхватило меня, я упал на колени и стал горячо молиться, чтобы Господь благословил меня на новый путь...

Должно быть, я все-таки плохо молился тогда, так как Господу не угодно было принять мои молитвы!

Не буду много говорить о моем парижском дяде и о том, как он принял меня. Ведь ему пришлось играть слишком маленькую роль в моей жизни, а мне еще надо так много рассказать вам! Поэтому скажу просто, что дядя по отношению ко мне сразу взял строго официальный тон. Он принял меня к себе на службу, четко определив мои обязанности и обусловив мое вознаграждение: столько-то в первые два года, столько-то на третий и т. д. Вне этого он ничего не хотел знать. Даже жить я должен был отдельно, хотя у господина Капрэ нашлось бы в доме достаточно места даже и для пяти родных племянников.

И началась моя парижская жизнь. С утра до вечера я торчал в конторе, занимался актами и законами, законами и актами, а по окончании занятий шел обедать в дешевенький кабачок, и если была хорошая погода – гулял немного; а потом отправлялся к себе в комнатку спать. И в праздничные дни моя жизнь была тихой и скромной: единственным моим развлечением были прогулки за город. Достаточно сказать, что я даже не проживал скудных грошей, полагавшихся мне в виде жалованья.

Так прошли два года, и мне стукнуло семнадцать лет. Я был еще совершенно чист, скромн, застенчив, словно девушка. Несмотря на соблазны одинокой жизни, несмотря на

заигрывания и авансы соседок-гризеток, я еще не знал женщин. Быть может, удержись я в этой чистоте, и не случилось бы со мной того, что испортило мне в последствии всю жизнь. Но случаю угодно было пробудить во мне мужчину, – и, потеряв свою чистоту, я стал уже более чувствителен к женскому влиянию. Вот о своем первом падении я и хочу сначала рассказать вам.

Не помню уже, где и как мне пришлось однажды слышать старое еврейское предание. Языческий царь призвал к себе троих еврейских праведников и приказал им совершить какой-нибудь из трех грехов по их выбору: согрешить с язычницами – рабынями короля, напиться пьяными или вкусить нечистого, трэфного мяса. Праведники рассудили, что из всех трех грехов самым невинным будет опьянение, и выпили добрую амфору крепкого вина. Но опьянев, они потеряли меру добра и зла и уже без всякого принуждения принялись есть нечистое мясо и грешить с рабынями. Таким образом, говорит талмудистское предание, вино – самое худшее из зол, потому что оно включает в себе все остальные.

Вот и я своим падением был обязан вину. Однажды я расхворался, и мои соседи – две модистки, Роза и Клара, мелкая актриса Сесиль, студент Пьер и художник Анри – так мило отнеслись ко мне, так заботливо ухаживали за мной, что я решил по своем выздоровлении отблагодарить их маленьким пиршеством в соседнем кабачке. А тут еще подоспело окончание срока моего ученья в конторе у дяди и поступ-

ление в штат, что было сопряжено со значительным увеличением жалованья. Таким образом предлог для пирушки со всех сторон казался как нельзя более подходящим.

Все предвещало удачу нашей пирушке. Мои приятели постоянно бывали веселы и готовы были хохотать даже тогда, когда им нечего было есть; поэтому можно представить себе их настроение в виду предстоящего удовольствия. Я же с утра был в восторженном состоянии. Еще бы! Дядя поздравил меня с окончанием периода ученья и в первый раз пригласил к себе обедать. За обедом он выразил мне удовольствие по поводу моего старания, скромности и способностей, высказал надежду, что мое будущее обеспечено, и подарил немного денег. Опьяненный радостью и стаканчиком старого вина, который пришлось выпить за обедом, я радостно полетел домой к своим друзьям.

Ужин удался на славу. Молодые люди шалили, словно дети, и я сам, обычно застенчивый и скромный, не отставал от них. С каждой новой бутылкой вина настроение у меня все повышалось, манеры становились все развязнее и... в голове у меня все сильнее туманилось и кружилось. Сознание происходящего шло какими-то скачками, так все и запечатлелось у меня в памяти: отдельные сценки представляются мне очень ясно, но, что было между ними, я совершенно не помню теперь, как не помнил и в дни, следовавшие непосредственно за пирушкой.

Три сцены представляются мне особенно ярко и рельеф-

но. Роза сидит на коленях у Анри и страстно обнимает его, Клара и Пьер возятся в углу на диване, словно котята, щекочут друг друга, хохочут, пищат, а я и Сесиль сидим близко-близко друг от друга, ее нога чуть-чуть касается моей, ее взгляд тонет в моих расширенных зрачках, и от этого прикосновенья, от этого томного, жаждущего греха, обволакивающего взгляда по телу у меня пробегают колющие искорки. Воспоминания бурным ураганом крутятся в мозгу. Вспоминаются мирная жизнь в тихом Лориене, беспокойные грезы, навеваемые прибоем волн, спокойная жизнь в Париже, столь далекая от прежних мечтаний и надежд... И мозг острой молнией пронзает безумно-сладостная мысль: в этом взгляде, в этом прикосновении все оправдание, разрешение, осуществление детских грез... А Сесиль пригибается совсем близко к моему лицу и что-то шепчет Что?

Волны тумана сгущаются и заслоняют дальнейшее.

Потом они снова разрываются. Розы и Анри уже нет, Клара и Пьер в судорожном объятии сплелись и замерли в уголке дивана. Тускло горят свечи, освещая залитый вином стол. Я и Сесиль стоим совсем близко от двери. Сесиль нежно тянет меня за руку и шепчет:

– Пусть их себе! Что нам до них? Идем же, мальчик мой, идем, я так люблю тебя!

Жгучая струя хлынула в мой мозг и пеленой красного тумана снова поглотила дальнейшее. И в третий раз разрывается туман, чтобы выявить передо мной картину, которая за-

ставляет низко-низко опускаться мою седую голову.

Мы одни в комнате Сесиль. Воздух душен и пропитан странным ароматом. Что это – запах ли духов, или благоухание чего-то мне неизвестного? Еще сильнее кружится голова... Сесиль медленно протягивает руки, обвивает меня ими, привлекает к себе, не отрывая от меня взгляда расширенных глаз, и мы сливаемся в бесконечном, страстном поцелуе...

Ночь любви! Сколько очарования в этих двух словах! Но это очарование было бы еще больше, еще победнее, если бы за ночью любви, как и за всякой другой, не следовало утро!

И оно наступило, мое утро.

Маленькая грязная комната. Платье и белье, беспорядочно разбросанные, как попало. Не очень молодая, сильно пожившая женщина с увядшими формами и желтым помятым лицом. И сам я, какой-то запачканный, опозоренный, еле сдерживающий горькие рыдания, ошипанный птенчик.

Много дурных минут переживал я в жизни, но не помню, чтобы какая-нибудь другая сравнилась по остроте презрения к себе с минутой этого пробуждения!

Моя связь с Сесиль на этом и закончилась – тому была целая совокупность причин, из которых каждой в отдельности было уже совершенно достаточно. Сесиль жила любовью, и театр являлся для нее только своего рода бульваром, как говорят теперь, в XIX веке. Как женщина не первой молодости (ей было около тридцати, а ведь для девушки, начав-

шей жизнь с четырнадцатью лет, это – почтенный возраст), она могла забыться на минуту, отдаться капризу, но не подчинить последнему всю свою жизнь. А что был я для нее? На роль постоянного друга сердца, которого удаляют, когда является «хлебный» клиент, я не годился; содержать Сесиль я не мог. Она сорвала с меня цвет моей чистоты и удовольствовалась этим.

Да и сам я был готов на что угодно, только не на продолжение нашей связи: с этой ночью для меня было связано представление о таком непреодолимом омерзении, какого я никогда потом не испытывал.

В первые минуты после своего падения я готов был убить себя с отчаяния; но потом это ощущение сгладилось, и время от времени я с легким сердцем шел искать чувственных удовольствий у доступных женщин. В том-то и был весь ужас первого падения: оно пробудило во мне зверя-мужчину, уже не свободного от реальных грез и желаний.

Хотя связь с Сесиль распалась сама собой, но мне была невыносима мысль жить близко от нее, под одной кровлей. Я переехал в комнату на улице Фоссэ-Сэн-Жермен, которую теперь называют улицей д'Ансьен-Комеди. Ввиду того, что в то время на этой улице помещался старейший французский театр «Комеди Франсэз», большинство домов там разбивалось на комнаты, а не на квартиры. И я зажил среди самой пестрой обстановки, среди номадов искусства – комедиантствующей братии Парижа. Сесиль, игравшая в «Комеди

Франсэз», изредка навещала меня, но чисто по-дружески, и ничто в ее обращении не давало и тени намека на наш прошлый эпизод. Случалось, что она занимала у меня деньги, когда дела шли плохо; бывало, она заходила за мной, чтобы дать мне возможность даром посмотреть представление. Вообще редко даже мужчины так дружат между собой, как дружили я и Сесиль. Но как чисты ни были теперь наши отношения, а нечистое прошлое нашей дружбы сделало свое дело. Я уже был не юношей, а мужчиной, которому вскоре пришлось поплатиться за свое пробуждение.

Однажды под вечер, в праздник, я вышел из дома купить себе чего-нибудь на ужин. Стояла такая дивная погода, что мне жалко было сразу же возвращаться, и я решил немного прогуляться. По дороге я встретил кого-то из приятелей, мы гуляли довольно долго, а потом зашли поужинать в кабачок. Была уже ночь, когда я возвращался на улицу Фоссэ, помахивая пакетиком с напрасно купленными ветчиной и хлебом. Я был в отличнейшем настроении и весело насвистывал залихватскую уличную песенку. Вдруг она сразу замерла на моих устах: подойдя к двери, я вспомнил, что оставил дома ключ от коридора!

В доме, где я жил, оба верхних этажа, сдававшихся под комнаты, имели отдельный вход, при котором никакого консьержа не полагалось: дверь в коридор запиралась около одиннадцати часов вечера, и запоздавшие жильцы отпирали

их своим ключом. Но ведь я, выходя из дома, не предполагал, что загуляю до такого позднего часа, а потому и не взял с собой ключа. Как же мне быть теперь и как попасть к себе?

Я присел на скамейку и стал раздумывать, меланхолично любуясь зеленоватыми бликами, щедро рассыпанными по фасаду противоположных домов полной луной. Да, ночь стояла дивная, и улица казалась очень красивой в мистических лучах Селены. Тем не менее любоваться этими красотоми до утра мне вовсе не улыбалось.

И вдруг я вспомнил, что в наш коридор имеется еще другой вход с лестницы, где расположены двери дешевеньких квартир, заполнявших нижние этажи. Правда, чтобы пробраться к этому ходу, надо было сначала проникнуть через ворота, которые тоже запирались с наступлением ночи, но перемахнуть через забор было не так уж трудно для моих семнадцати лет. Не раздумывая далее, я решил осуществить свою мысль.

Через забор я перебрался без всяких затруднений и оживленно зашагал по лабиринту грязного двора. Вот я и у лестницы! Только бы не попасть в чужое помещение и через несколько минут я буду у цели!

По грязной, скользкой лестнице приходилось взбираться с осторожностью – при малейшей поспешности нога могла подвернуться, а падение в этой темноте обещало мало хорошего. Тем не менее я поднимался довольно быстро, тщательно отсчитывая этажи. Наконец я очутился на довольно ши-

рокой площадке, от которой боковая лестница в несколько кривых ступеней вела к заднему выходу комнатного коридора. Из довольно большого разбитого окна площадки широким потоком лился мягкий лунный свет, позволяя ориентироваться с большей уверенностью. Ура! Я не ошибся: еще несколько шагов – и я буду дома!

Я уже занес ногу, чтобы преодолеть последние три ступеньки, отделявшие меня от коридора, как вдруг тихий плач, послышавшийся откуда-то со стороны, заставил меня остановиться и прислушаться. Да, кто-то тихо всхлипывал совсем близко от меня. Но где? Как раз в тот момент, когда я стал осматриваться по сторонам, плач прекратился. Пожав плечами, я снова занес ногу, но в этот момент опять послышалось жалобное всхлипыванье. Теперь я ясно расслышал, что плач раздавался из дверцы направо. Там был небольшой чуланчик, и в этом-то чуланчике плакал неизвестный ребенок.

Дети от малых лет и по сию пору остаются моей слабостью. Как бы дурен, капризен, зол ни был ребенок, я никогда не мог понять, как же можно заставить плакать маленького человечка? Ведь он еще наплачется в жизни! Словом, поняв, что это плачет ребенок, я сейчас же направился к чуланчику и открыл дверь, тотчас впустив поток лунных лучей. В первый момент мне показалось, что в чуланчике никого нет, но, приглядевшись, я заметил в углу какую-то скорчившуюся фигурку, притаившуюся и со злобой испуганного зверька

глядящую на меня.

Я сделал несколько шагов вперед. Фигурка еще глубже забила в угол, и сдавленный голос угрожающе прошипел: «Только подойди!.. Только тронь!.. Я-те глаза выцарапаю!» – и дикое существо протянуло вперед руки, растопырив и скрючив худые, бледные пальцы.

– Полно! – спокойно и ласково сказал я, – разве я хочу тебе зла, девочка? Просто я услышал твой плач и подумал, не могу ли я чем-нибудь помочь твоему горю. Ну, расскажи же мне, кто ты такая и отчего ты плачешь?

Ласка моих слов сделала свое дело. Девочка закрыла руками лицо и сквозь рыдания сказала:

– Ах, я так боюсь, так боюсь... Что-то скрипит, что-то стонет... И крысы бегают! Я заснула немножко, а они принялись возиться и скакать через меня... И есть-то мне хочется, просто моченьки нет, просто все нутро свело...

– Да откуда ты? как ты сюда попала? – воскликнул я, не зная, что и думать относительно странного положения этого ребенка.

– Я живу внизу вместе с проклятой, – мрачно ответила девочка, – она хотела избить меня, но я не далась и убежала. А теперь она у Фаншон и раньше утра не придет. Вот я и забралась сюда... Я уже было обрадовалась, когда услышала ваши шаги: думала – проклятая идет; ведь теперь-то мне бояться ее нечего: у Фаншон она выпьет, а, выпивши, становится добренькой-предобренькой!

– Кто это «проклятая»? – улыбаясь спросил я. – Наверное, твоя хозяйка?

– Нет, это – моя мать, – мрачно ответила девочка.

– Деточка! – в ужасе вскричал я, – да понимаешь ли ты, что ты говоришь? Ведь смертный грех называть так мать!

Дикарка моментально пришла в бешенство.

– Убирайся! – закричала она, топая ногами и подымая сжатые кулачки. – Тоже, подумаешь, какой поп нашелся! Мне и дома-то тошно от проповедей, а тут еще всякий проходимец суется... От наставлений сыт не будешь... – Но вдруг тон ее голоса из злобного сразу стал детски-жалобным, и, поднося кулачки к заплаканным глазам, она продолжала всхлипывая: – А мне так есть хочется, так хочется!..

– Ну, вот что, деточка, – сказал я, – здесь тебе оставаться ни в коем случае нельзя. Пойдем со мной, я живу тут наверху, в комнате; у меня найдется что-нибудь съедобное, ты поешь, отдохнешь, а там мы увидим, что с тобой дальше делать.

Ее глаза заблестели голодным, жадным блеском.

– Поесть! – в каком-то мечтательном упоении протянула она. – Как это хорошо, поесть!.. Но ты не обидишь меня?

– Разве ты не видишь, что я хочу тебе только добра? – тоном мягкого упрека ответил я.

– Хорошо, я вам верю, – надменным, почти снисходительным голосом заявила девочка, а затем, подойдя ко мне и вложив свою ручонку в мою руку, повелительно сказала: – Пойдем скорее, я так хочу есть!

Через несколько минут мы уже были у дверей моей комнаты. Ключ от нее был при мне, я поспешно отпер и сказал моей спутнице:

– погоди минутку, я сейчас зажгу огонь.

Мне очень хотелось поскорее накормить несчастного ребенка, но зажечь лампу было не таким-то простым делом. Говорят, будто какой-то немец изобрел спички, ими стоит только чиркнуть, чтобы огонь загорелся. Если это так, то для тех, кто будет читать эту правдивую повесть, добывание огня станет легким делом. Мне же пришлось сначала высечь искру из стального огнива, заставить трут затлеться от этой искры, потом взять спичку (кусочек дерева, один конец которого обмокнут в серу), зажечь от трута серу, подождать, пока она прогорит, воспламенив дерево, и уже только затем я мог приступить к зажиганию самой лампы.

Пока я возился с огнем, девочка продолжала стоять у порога. Теперь при свете лампы я уже мог разглядеть ее. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать, она была довольно высока и очень стройна, но казалась истомленной и изнуренной до последней степени – так худы были ее руки и ноги, выглядывавшие из кучи покрывавших ее невообразимых лохмотьев. Ее лицо, бледное, покрытое ссадинами и синяками, уже тогда обещало стать очень красивым. Особенно хороши были густые золотисто-русые, прихотливо вьющиеся волосы и нежные голубые глаза, поражавшие контрастом между кротостью обычного выражения и дикими огоньками,

по временам мелькавшими в них и заставлявшими темнеть их безмятежную лазурь. Только в складке рта было что-то тревожное, отталкивающее: в невинности пухленьких губок чувствовалась жадность безжалостного, хищного зверя.

– Ну же, иди сюда, милая! – ласково сказал я. – Я сейчас приготовлю тебе поужинать!

Но девочка продолжала нерешительно стоять на пороге. Ее глаза, любопытно оглядывавшие убогую обстановку комнаты, теперь упрямо и недоверчиво потупились.

– Да иди же! Ну чего же ты боишься? – повторил я.

Девочка подняла на меня взор, и меня поразила перемена, сказавшаяся во всем ее виде: передо мной была уже не девочка, а опытная, знающая женщина.

– Вот что, – несколько неуверенно начала она, – уговор дороже денег... Я, пожалуй, пойду, только вы уж меня не троньте...

– Да неужели ты не видишь, что я хочу тебе только добра? – удивленно воскликнул я, не понимая истинного значения ее опасений.

На ее губах скользнула бледная, циничная улыбка.

– Знаем мы это добро! – иронически кинула она. – Вот лавочник Соро тоже все сманивает меня к себе. «Я, – говорит, – вам, барышня, желаю одного добра»... Но только пока еще этого не будет, и если вы рассчитываете купить меня за кусок хлеба с мясом, то...

– Замолчи! – крикнул я, с отчаянием хватаясь за голову

и чувствуя, что рыдания ужаса подступают у меня к горлу. – Неужели люди были так злы к тебе, что ты уже не веришь в бескорыстное добро? Да ведь ты – ребенок, и говорить о таких ужасах...

Она не дала мне кончить. Она сразу преобразилась, и передо мной снова была маленькая девочка-дичок. Улыбаясь, она подбежала ко мне и с кошачьей ласковостью сказала:

– Ну, ну, *frerette* (Братишка!), не сердись, а лучше дай мне поскорее поесть. Я так голодна... Я не виновата, если мужчины по большей части все такие скверные – мало ли я натерпелась от их приставаний. Ведь я хорошенькая, а «проклятая» права, когда говорит, что в красоте и счастье, и несчастье.

Пока я разворачивал ветчину и хлеб, доставал кусочек масла, огрызок козьего сыра и молоко, моя невольная гостя, подсев к столу, доверчиво болтала с дьявольской смесью детской наивности и испорченности парижской женщины низших слоев:

– В сущности говоря, если бы ты даже и стал моим дружкой, то ничего особенно плохого тут еще не вышло бы. Все равно, не теперь, так через год... И будь я богатой, я и думать не стала бы. Но мне надо обязательно сохранить себя: ведь я готовлюсь стать актрисой.

Я резко обернулся к ней и сказал:

– Как тебя зовут?

– Адель, – ответила она.

– Ну, так вот, перестань болтать вздор, Адель, и принимайся за еду!

Девочка не заставила себя просить и с жадностью накинулась на скудный ужин, разрывая ветчину руками и глотая мясо и хлеб целыми кусками, не жуя. Видно было, что она не только проголодалась, но и наголодалась, что наестся досыта было ее давнишней, недостижимой мечтой.

Я подсел к столу, смотрел, как она насыщается, и с горечью думал обо всем, что мне пришлось услышать от нее. В первый раз мне пришлось столкнуться лицом к лицу с истинным, неприглядным развратом большого города. Эта девочка пока еще чиста, но она уже знакома с грехом, мысленно уже извела его пучины и ждет только случая, чтобы с возможной выгодой вступить на торную дорожку срама и позора, в которых «не видит ничего особенного»! О, этот проклятый город! Каким страшным ядом пропитывают его безжалостные паучьи лапы детский мозг и невинную душу ребенка! Нищета! Ты – не порок, о, нет!., но в большом городе ты таишь в себе все пороки сразу!

Утолив первый голод, Адель с блаженным видом потянулась к бутылке.

– Гм... молоко! – критически прищурившись протянула она. – Конечно, иногда и это недурно, но, может быть, у тебя найдется глоток вина?

У меня было легкое красное вино: не знаю, как теперь, но в те времена вино стоило дешевле хлеба и составляло необ-

ходимую принадлежность каждого стола. Но как ни легко было это вино, мне казалось диким и непривычным, чтобы у ребенка могла быть потребность в нем. Однако я подумал, что ночь была довольно свежа, Адель, наверное, промерзла, так что выпить глоток вина ей и на самом деле не худо. Я достал с окна бутылку и налил Адели четверть стакана.

– Спасибо! – сказала она, одним духом выпивая вино, затем, не спрашивая моего разрешения, налила себе еще целый стакан и залпом выпила и его тоже. – Уф! – сказала она затем, – вот теперь можно и продолжать! – и она продолжала есть, пока не подобрала все до крошки.

Тогда меня даже удивило, что Адели и в голову не пришло подумать, не хочу ли и я поесть. Но впоследствии я к этому привык... Впрочем, в данный момент меня более всего поразила та легкость, с которой девочка пила вино.

– Однако! – с шутливым укором сказал я. – Разве тебе дают дома вино?

– Дома? – удивленно переспросила Адель. – Мяса у нас почти не бывает – это правда, ну, а в вине недостатка нет!

Уписывая остатки ужина, Адель рассказала мне о себе. Ее мать, Роза Гюс, была прежде мелкой актрисой и вместе с труппой изъездила всю Европу, побывав даже в далекой России. Там-то Роза и почувствовала себя матерью, но, кто был отцом ребенка, этого она наверняка сказать не могла.

– Да и немудрено, – со злой усмешкой пояснила Адель. – Ведь «проклятая» с кем только не путалась! Она и теперь

готова всякому на шею броситься. Только дудки, прошло ее время – кому нужна такая гнилая пьяница!

Если с достоверностью Роза и не могла назвать отцом Адели определенное лицо, то больше всего шансов на эту честь было у русского графа, очень недавнего происхождения (Предполагаемым отцом Аделаиды был Лесток, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, возведенный в графское достоинство за переворот 1741 г., т. е. при ниспровержении правительства регентши Анны Леопольдовны и воцарении Елизаветы.), а потому – заносчивого и гордого. Роза обратилась к графу с требованием обеспечить ребенка, он же вместо этого приказал выслать актрису из пределов России. Гюс-мать была на склоне молодости, когда с ней случился этот «грех». Повлияло ли это обстоятельство, или виной были крушение радужных надежд и суровая высылка, только трудные роды унесли с собой последние остатки былой красоты, и, оправившись, Роза Гюс очутилась лицом к лицу с самой неприглядной бедностью. Она стала попивать, и это заставило ее опуститься еще ниже. Ни один даже самый убогий театрик не желал теперь принять ее к себе на службу, и в последние годы старуха жила до ужаса бедно, так как источник ее доходов был слаб и шаток; она лишь вертелась за кулисами «Комеди Франсэз», оказывала мелкие услуги молодым актрисам, служила посредницей между ними и поклонниками, передавала записочки от молодых и старых щеголей, приходила на помощь в затруднительных случаях –

словом, не гнушалась никакой работой, лишь бы эта работа не требовала от нее физического труда. Но эта сомнительная работа оплачивалась очень скудно, да и привычка к рюмочке делала свое дело, так что Адель постоянно голодала. Правда, выпадали счастливые дни. Вот, например, завтра старуха будет добренькой, потому что сегодня «налижется» и получит от Фаншон, актрисы из «Комеди Франсэз», хорошо «на чай» (Автор пользуется в данном случае русским выражением, подходящим по смыслу, но текстуально неверным: чай и теперь не получил во Франции права гражданства, а в те времена им чаще пользовались только как лекарственным средством.): Фаншон устраивает ужин для коллег, и старуха должна была присмотреть за слугами. Зато в те дни, когда не на что выпить, мать зла до ужаса и жестоко дерется по каждому пустяку. И то сказать, ей приходится очень трудно. Ну зато, когда она, Адель, подрастет, их бедствия кончатся: Адель станет актрисой, но уже не такой, как дура-мать! И погоди ж ты! Все эти синяки, царапины и побои она выместит тогда на «проклятой».

Покончив с ужином и выпив последние капли вина, Адель потянулась с видом довольной кошечки и сказала, потирая кулаками сонные глаза:

– А теперь спать, спать! Но как бы нам устроиться?

– Если ты стесняешься меня, – улыбаясь сказал я, – то это ни к чему: как ты видишь, у моей кровати имеются занавески, и, если я спущу их, так мы друг друга не увидим.

– Стесняться! – пренебрежительно кинула она. – Вот глупости! Я думаю вовсе не о том! Как ты меня устроишь?

– А вот соберу я все свое платье, покрою им помягче этот деревянный диванчик, да и спи себе с Богом!

– О, – деловито возразила Адель, – мне, право, совестно, что ты будешь так много хлопотать из-за меня! Нет, я придумала гораздо проще: я лягу на твою кровать, а ты устройся здесь. Тогда тебе не придется ничего делать для меня!

Не успел я ответить что-либо на эту хитрую наивность, как Адель обвила мою шею руками, поцеловала меня в губы и, кинув мне: «Спасибо и покойной ночи, братец!», очутилась возле кровати. Через несколько секунд занавески последней опустились, послышалось шуршанье сбрасываемого платья, затем Адель принялась что-то говорить, ее голос все слабел, быстро перешел в неясное бормотанье, и через минуты две-три все замолкло.

Что касается меня, то я с комическим жестом беспомощности принялся, как умел, устраиваться на диване. Для Адели он был бы как раз по величине, но для меня слишком мал. Лежать было страшно неудобно, приходилось изображать какой-то крючок, и в эту ночь я почти не спал. Ворочаясь с боку на бок, я непрестанно думал о несчастной девочке, которую случай загнал под мою кровлю. Мне хотелось видеть в этом какой-то указующий перст: ребенок с хорошими инстинктами, с богатой натурой (по крайней мере я уверил себя, что это так), гибнет, словно растеньице, лишен-

ное заботы и внимания. У меня много свободного времени, которое пропадает зря, в праздности и чревоугодии. Почему не посвятить этого времени несчастному ребенку, почему не постараться развить ум Адели и просветить ее душу, не ведающую Бога, не постигающую границы между добром и злом?

Мне вспомнился дядя-аббат; он, как живой, вырос передо мной со своим бледным лицом, умными глазами и доброй, мягкой улыбкой. Мне показалось, будто я вижу, что он благословляет меня на уловление этой первобытной души для Бога, и я еще тверже проникся принятым решением.

Если бы я не был так молод тогда, я понял бы, что цветок, выросший на могиле, с момента зарождения отравлен соками разложения и что не во власти слабого юноши изменить его ядовитые свойства. Я понял бы, что такой цветок нельзя спасти, самому же легко отравиться им.

Очень скоро эта роковая истина стала ясна мне. Но тогда было уже слишком поздно.

Утром я вскочил с дивана по крайней мере на полчаса раньше, чем обыкновенно: перед уходом в контору надо было напоить мою случайную гостью горячим молоком с хлебом.

Я побежал в лавочку.

Она была за углом. Проходя мимо ворот, я увидел там кучку народа, обступившего небольшую, полную женщину

с квадратным оплывшим лицом, синевато-багровые жилки которого говорили о ее пристрастии к спиртным напиткам. Она взволнованно рассказывала что-то, сильно жестикулируя руками. До меня донесся обрывок ее фразы:

– А ведь подумать только, что я лишь для нее и жила! И где мне искать ее? Париж – не такой город, чтобы добровольно отдавать свои жертвы!

Услыхав, что слушатели называли женщину «мадам Розой», я понял, что передо мною мать Адели, Роза Гюс. Я торопливо подошел к ней и спросил:

– Если не ошибаюсь, вы – госпожа Гюс?

– Я самая и есть, – с заискивающей улыбкой, моментально сменившей выражение театрального пафоса, ответила мне мамаша Гюс. – А чем могу служить вам, мой молодой барчонок?

– Я слышал, что вы беспокоитесь о пропавшей дочери. Так не волнуйтесь: Адель жива и здорова, она у меня.

Я не ожидал, что мои слова произведут такой громоздкий эффект. В первый момент Роза только раскрыла рот и выпучила глаза. Но затем сейчас же ее лицо покрылось густым, словно апоплексическим, румянцем бешенства и, ухватившись цепкими пальцами за мой рукав, мегера отчаянно завопила:

– Полицию сюда, полицию! Господа, будьте свидетелями: этот негодяй завлек мою дочь... Полицию! Полицию!.. Да разве я для тебя берегла и холила ее?

– Полно вам вздор-то молоть! – сурово оборвал старуху коридорный нашего этажа. – От месье Гаспара еще никто ничего худого не видал, и если девчонка у него, так вам надо благодарить за это Бога!

– Как вам не стыдно! – крикнул и я, со злостью вырывая свой рукав из цепких пальцев мегеры. – Хороша мать, у которой только одни гадости на уме! Нечего сказать, научите вы добру свое дитя! Вы лучше не выгоняли бы ее на улицу, чем набрасываться на добрых людей, которые пожалели обиженную крошку. Ну что же, зовите полицию, я по крайней мере спрошу, имеет ли право мать выгонять девочку-подростка на всю ночь из дома, толкая ее прямо в лапы разврата! – и в бешенстве я стал осыпать старуху бранью, угрозами и проклятиями.

Не обращая внимания на мою брань, она радостно схватила меня за руки и затараторила:

– Так с бедной крошкой ничего не случилось? О, простите меня, дорогой месье, не судите строго несчастную мать, на которую и без того сыплются все кары земные и небесные! Мало ли чего не скажешь с отчаяния! Но вы, такой молодой, образованный господин, не можете сердиться на нищую старуху, у которой на свете нет ничего, кроме ее дорогой крошки! Где же она? О, дайте пострадавшей матери поскорее прижать к сердцу свое дитя, которое она уже считала потерянным!

В голосе, манерах и позе Розы было столько театральной

напыщенности, что мне стало невыразимо противно. Брезгливо вырвав руки, я угрюмо сказал ей:

– Адель у меня в комнате. Коридорный Жан проводит вас. Идите за ней!

Затем я повернулся и ушел в лавочку.

Когда я вернулся с хлебом и горячим молоком, Адель была еще у меня. Подходя к двери, я услышал обрывки ее разговора с матерью. Старуха говорила льстиво и заискивающе, Адель отвечала ей сухими, злобными репликами.

Не успел я поставить молоко и хлеб на стол, как Адель с радостным криком бросилась ко мне на шею и крепко поцеловала меня прямо в губы. Это был поцелуй младшей сестренки, поцелуй ребенка, и все-таки эта ласка заставила меня вздрогнуть и слегка отстранить от себя девочку.

– Я не хотела уходить, не повидавшись с тобой, братишка! – с кошачьей ласковостью говорила мне тем временем Адель. – Я тебе так благодарна, так благодарна!

Мать сделала какое-то движение, явно собираясь присоединиться к благодарностям дочери, но я угрюмо отвернулся от нее и сказал Адели:

– Вот молоко и хлеб, Адель, ты, должно быть, голодна! Перестань болтать и кушай поскорее; мне пора в контору!

Не заставляя себя упрашивать, Адель весело подскочила к столу, уселась на высокую табуретку и, болтая ногами, принялась уписывать молоко с хлебом. В это время Роза подошла ко мне и сказала с тронувшей меня простотой:

– Простите меня, господин Гаспар, что я наговорила вам разных гадостей! Бедность и несчастья так издергали меня, что я хожу словно сама не своя. Иной раз сама говорю что-нибудь, а внутри меня другая «я» сидит, которая слушает да удивляется. Вот иной раз бедной Адели от меня попадает, а ведь на самом деле я так горячо люблю ее.

– Меньше бы любила, да чаще кормила бы! – кинула Адель, запихивая себе в рот остатки булки: эта маленькая обжора снова ничего не оставила мне!

– Я нисколько не сержусь на вас, мадам, – ответил я Розе. – Я отлично понимаю, что вы взволновались за дочь. Меня только взбесило, что вы, будучи сами виноваты, накидываетесь на человека... Ну, да дело прошлое, не будем вспоминать о том, что было: я ведь тоже у вас в долгу не остался!

– Так докажите на деле, что вы не сердитесь! – с обрадованным видом подхватила старуха. – Поужинайте сегодня с нами!

– Но, мадам... – смущенно начал я.

– Ну да, вас затрудняет наша бедность, вы боитесь обездолить нас? Но я очень прошу вас: не обижайте нас и примите мое приглашение. Мое положение теперь значительно улучшилось, а кроме того, мне надавали от вчерашнего пира столько вкусных вещей, что мне есть чем по-настоящему принять вас. Умоляю вас, дорогой месье, не отказывайтесь!

Мне не очень-то улыбалась мысль угощаться обедками актрис и кутил, но, когда я посмотрел на Адель, в ее голу-

бых глазах блеснула такая мольба, что я не нашел в себе сил отказаться. И я принял предложение, после чего голодный ушел в контору: по дороге можно было чего-нибудь купить и тут же съесть.

Вернувшись из конторы, я спустился к назначенному часу вниз, где помещалась квартира Гюс. Я постучался – никто не ответил мне на стук; заметив, что дверь отворена, я вошел в первую комнату.

Все здесь говорило об ужасной бедности. Некрашенный деревянный стол, такие же табуретки и ободранный шкаф составляли всю ее меблировку. Но я сразу заметил, что к моему приходу готовились: стол, табуретки и пол были вымыты и выскреблены начисто, и кое-где еще виднелись пятна непросохшей воды.

В комнате никого не было, а из соседней доносились голоса. Я кашлянул, но ответа не было. Прислушавшись, я различил голос Адели, декламировавшей:

Мрачно ехал он в думах микенским путем,
Безнадежной рукой...

– Не то, Адель, совершенно не то! – каким-то отчаянием зазвенел голос ее матери.

Я был поражен. Еще недавно я по протекции Сесиль слышал «Федру», знаменитую трагедию Расина, а любимица жу-

ирующего Парижа Фанни Молле (в просторечии: Фаншон) произносила эти самые слова несравненно хуже и бледнее, нежели теперь это делала Адель. Чем же недовольна старая Гюс?

Ее дальнейшие объяснения развеяли мое недоумение.

– Ты подумай только, – сказала она, – ведь тут должна выразиться целая смесь чувств. Она и злобствует, и раскаивается, она ненавидит Ипполита, но в то же время и любит его. Она принижена его отпором, но не может забыть, что она все-таки царица. В каждом слове двойная игра чувств и страстей... Ну, повтори это еще раз, милочка!

Адель снова начала:

– «Мрачно ехал»...

– Да как ты не понимаешь, – со страданием перебила ее мать, – что все дело не в том, что он «ехал», а что он ехал «мрачно»? А ты ставишь ударение...

– Мне это надоело, мать, я устала! – капризно заявила Адель.

– Что же делать, дочка? – ответила мать. – Какие бы у тебя ни были способности к сцене, а без упражнений ты ничего не добьешься! Для того, чтобы сделаться истинной актрисой, мало одного таланта!

– Ну, вот еще! – послышался капризный голосок Адели. – У Фаншон нет ровно никакого таланта, а между тем она пользуется огромным успехом! Я достаточно красива, чтобы сделать карьеру не хуже чем у нее...

– Голубушка! – перебила ее мать. – Да ведь если Фаншон сегодня подурнеет, так ее завтра же прогонят со сцены! Да и цена женщине совсем другая, если она и красива, и талантлива!

Не могу передать вам, какой острой болью отозвались в моем сердце эти разговоры. Все протестовало во мне: да ведь Адели нет еще и пятнадцати лет! Боже мой, Боже мой, что же будет с ней, когда она вступит на дорогу созревшей женщины!

Я не мог слушать долее и осторожно, на цыпочках, выbralся за дверь. Неужели нельзя спасти Адель?

«О, нет, можно, – кричала во мне самоуверенность юности, – надо только не складывать рук, не отступать перед препятствиями».

Постояв несколько минут за дверью, я снова вошел в комнату, но на этот раз громко стукнул дверью, чтобы обратить внимание хозяек на свой приход.

– Ба, да это – братишка! – весело крикнула Адель, высовывая голову на мой стук. – Иди, иди, голубчик, мы сейчас! – и она вместе с матерью вышла из комнаты и сейчас же принялась хлопотать над убранством стола к ужину.

Как объяснила мне старуха Гюс, вчера у Фаншон почему-то собралось народа вдвое меньше, чем ждали, а потому много кушаний остались не только нетронутыми, но даже неподанными к столу. Но это еще что!., самое важное то, что благодаря Фаншон ей, Розе Гюс, удалось получить место

смотрительницы дамских уборных, а это уже дает ей хотя и не очень большой, но верный заработок. Говоря все это, старуха расставляла на столе, покрытом рваной, но чистой скатертью, жареную птицу, паштеты и прочие деликатесы, в чем ей оживленно помогала Адель.

Я сидел в уголке, подавал короткие реплики на слова старухи и любовался редкой грацией всех движений девочки. Каждый шаг и жест, манера браться за тарелку, поворот головы, когда Адель осматривала стол, – все было полно гармонии и изящества. А подвижность ее лица, отражавшего все случайные настроения!

И я еще собирался удержать ее от сценической карьеры! Нет, об этом нечего было и думать: Адель создана для подмостков, и не в человеческой власти удержать ее от сцены.

Вдруг лицо Адели приняло серьезное, задумчивое выражение.

– Вот что, мать, – сказала она, – почему бы тебе не поговорить с братишкой о деле Дюперье? Братишка – юрист; он к нам расположен и не продаст нас, как все эти негодяи!

– А и в самом деле! – оживилась старуха. – Месье Гаспар, не дадите ли вы нам совета, как быть в нашем деле...

– О, я очень рад служить вам, чем могу, дорогая мадам! – отозвался я.

Старуха на минутку скрылась в соседней комнате и сейчас же вернулась с листом бумаги в руках.

– Сначала расскажу вам, в чем тут дело. Есть у нас в «Ко-

меди» артистка Клерон. Актриса она не из последних, ну, и распутница тоже не из последних. Своих дружков она меняла как перчатки. Только вдруг Сюзанна – так зовут Клерон – захандрила и разогнала всех своих обожателей. В чем дело? Оказалось, эта дуреха влюбилась, как кошка, в своего собрата по сцене, Бризара, а тот на нее и смотреть не хочет. И вот в это-то время Клерон увидел богатый суконщик Дюперье. Стал он за ней увиваться, а она от него нос воротит. Это взбесило и раззадорило его: ведь он слышал, что Сюзанна не из неприступных. Так почему же ему такая немилость? Посоветовался он со знающими людьми, а те ему и сказали: «Обратись-ка ты к тетке Гюс. Она – большая мастерица устраивать счастье любящих сердец, а берет недорого!»

– Да как же вы решаетесь говорить все эти гадости при вашей дочери! – крикнул я с отчаянием, вскакивая с табуретки.

Увидав мое взволнованное лицо, Адель расхохоталась, как сумасшедшая. Старуха помолчала несколько секунд и сказала серьезно и ласково:

– Эх, дорогой месье Гаспар! Вы сами – еще почти мальчик, ну а я – старая женщина, которая не закрывает глаз на настоящую жизнь! Разве в том ужас, что я эти гадости не только рассказываю, но и делаю, а не в том, что без них я прожить не могу? И разве без этих гадостей Адель сможет прожить на белом свете? Нет, милый месье, чем раньше девочка будет знать все, что творится у нас, тем лучше для нее.

Меня растили в полном неведении, собой я была не хуже Адели, вот моей наивностью и воспользовались. А что проку для меня от того, что я была весела и красива? Нет, милый мой, когда выходишь на улицу, надо знать, какая стоит погода. Пусть и Адель заранее знает, что она выходит на грязную, очень грязную улицу.

– Но неужели другого пути нет? – с отчаянием спросил я.

– Нет, месье Гаспар, его нет. Для Адели кроме сцены только два пути: идти в услужение или выйти замуж. Но разве можно браться за какое-либо ремесло с ее наружностью? Ведь она должна будет все равно пойти дорогой греха, только получать за это будет меньше, да рано подурнеет от забот и лишений! Нет, я уж предпочитаю сцену. Ну, а замужество... Эх, дорогой месье, да кто же возьмет замуж нищую девчонку, дочку старой Гюс? Может, и польстится какой-нибудь ремесленник или мелкий лавочник. Да ведь Адель никогда не помирится со скучной, серой, нищенской жизнью. Ведь она через месяц после свадьбы начнет изменять мужу с любым молодчиком, который подарит ей шляпку или ботинки...

– Еще бы! – отозвалась Адель, со спокойным пренебрежением пожимая плечами.

Я молчал. Да и что мог я возразить против этой ужасающей логики? Я верил в добро, верил в его победную силу, но эта вера была построена на отвлеченных умозрениях, а здесь со мной говорила сама неприкрытая житейская правда!

– Если позволите, я буду продолжать, – заговорила стару-

ха после короткой паузы. — Дюперье обратился ко мне, обещая по-царски наградить меня, если я устрою ему Клерон. Я обещала сделать все, что могу, но в душе решила, что это совсем безнадежно. Однако мне повезло. Однажды, когда я вертелась около уборных, подходит ко мне Клерон да и говорит: «Вот что, тетка Гюс, дурь у меня из головы выскочила: любовью да грошовым жалованьем с моими привычками не проживешь! Да только в то время, пока я с ума сходила, все от меня отскочили, а мне первой начинать нельзя: цену собьешь! Вот я к тебе с просьбой: устрой ты мне какого-нибудь богатого молодчика. Ты увидишь, что Клерон умеет быть благодарной!» Я сейчас же полетела к Дюперье и сказала ему, что его дело устроить могу, но за это он должен как следует отблагодарить меня. Он обещал мне выплачивать пожизненную пенсию в пятьдесят ливров (На теперешний счет 150 франков, т. е. около 40 рубл. по тогдашнему курсу, или около 200 рубл. по нынешнему.) в год и единовременно дать сто ливров. Но я знаю, как обманывают нашего брата, бедного человека! Поэтому я твердо заявила, что без расписки дела не устрою. Дюперье в шутку выдал мне формальную маклерскую запись. Тогда я свела парочку и от радости поставила в соборе Нотр-Дам самую толстую свечку: Бог внял слезам вдовицы! Однако моя радость была преждевременной. В первый год я получила свои деньги исправно в два срока, как и было уговорено, но на второй год Клерон, порядочно пощипав Дюперье, променяла его на ювели-

ра Мозеса, и, когда я явилась к Дюперье, этот купец без церемонии выгнал меня. Я обратилась к адвокату, но тот отказался взять мое дело, говоря, что запись противозаконна, а кроме того там включен – чего я не знала – такой шуточный пункт, что «если счастье купца Дюперье и артистки Клерон расстроится по вине последней, то действие сей записи уничтожается». Ко многим я ходила; один было взялся, но через несколько дней вернул мне мою бумагу: должно быть, Дюперье подкупил его. Вот эта бумага: посмотрите ее, голубчик, нельзя ли что-нибудь сделать? Ведь для меня с Аделью это – просто спасение!

Внутренне содрогаясь от всей этой грязи, я взял в руки оригинальный документ, а затем, прочитав его и подумав немного, сказал:

– Законным путем тут действительно едва ли что-нибудь сделаешь. Но возможность получить деньги все-таки есть...

– Да неужели? – воскликнула старуха. – Адель! – неожиданно засуетилась она, – у нас мало вина. Вот деньги; сбегай, голубушка! Так неужели возможность все-таки есть? – продолжала она, когда девочка направилась к двери. – Да как же мне благодарить судьбу за то, что я встретила вас? Но каким путем, вы думаете, можно это сделать?

– Прежде чем говорить о путях и способах, милая мадам, – улыбаясь заметил я, – поговорим об условиях.

– Ну да, ну конечно! – несколько недовольно подхватила Гюс. – Я знаю, что ваш брат-юрист ничего ради прекрасных

глаз не делает. Да я и не отказываюсь поблагодарить вас за труды и хлопоты, но вы уж будьте снисходительны и не пользуйтесь моим бедственным положением... И вперед на расходы я тоже ничего не могу дать! – спохватилась она.

– Вы дурно поняли меня, мадам Роза, – спокойно возразил я. – Я собираюсь устроить это дело именно «ради прекрасных глаз», потому что для себя я не ищу тут никаких выгод. Постарайтесь понять меня. Я с детства не знал семьи, и, когда я увидел вашу Адель, мне показалось, будто Бог послал мне сестренку. Да она и сама чувствует это: вы заметили, что она по собственному почину называет меня братишкой. Так вот, говоря об «условиях», я имел в виду только свою богоданную сестренку. Я устрою вам это дело, но от этого должна выиграть Адель.

– Господи, да я и так, кажется, всю душу...

– Да, да, мадам Гюс, я верю, что вы очень любите Адель, но это не мешает ей ходить в синяках от ваших побоев. Поглядите только, на что она похожа...

– Ах, месье Гаспар, да разве я бью ее! Это нужда ее бьет.

– Ну, так я хочу, чтобы нужда больше не била ее. Как вы не понимаете, что вы этим действуете против своих же собственных интересов! Ведь так недолго и изуродовать ребенка. Кроме того, я не хочу, чтобы Адель жила в такой развращающей обстановке. Вы доказали мне, что кроме сцены ей иного пути нет. Пусть будет так. Но я хочу, чтобы она вышла на подмостки как можно более вооруженной. Я буду за-

ниматься с ней, постараюсь развить ее. Но вы должны дать мне честное слово, что мешать мне в этом не будете. У вас теперь есть маленький заработок, от Дюперье я постараюсь взять сразу сумму за несколько лет. Вы должны устроиться поприличнее и не посылать девочку, например, в кабак за вином...

– Но я и сама буду счастлива устроиться так, милый месье! Об этом и говорить нечего: я сама не враг своему ребенку. Только не верится мне что-то: как это вы ухитритесь вытянуть деньги у скареда Дюперье, если законно сделать это нельзя?

– Я сейчас объясню вам это. Мне известно, что Дюперье женился шесть месяцев тому назад и что жена держит его в ежовых рукавицах. Так вот, если Дюперье откажется исполнить свое обязательство, я пригрожу ему судом. Я, дескать, вызову свидетелей, которые должны будут выяснить, по чьей вине нарушено счастье Дюперье и Клерон. Конечно, если возбудить такой процесс, то суд все равно в иске откажет, но Дюперье не рискнет скандалом, который неизбежно возникает в подобном случае. Вот, пользуясь щекотливым положением купца, я и заставлю его купить у меня его маклерскую запись, а ценою будет десятилетняя пенсия вам, то есть полторы тысячи ливров.

Как раз когда я объяснял это, вернулась Адель. Мы сели за стол, и ужин прошел очень весело благодаря радостному настроению, охватившему мать и дочь при зароненной мною

надежде на получение денег.

Я рассчитал совершенно верно: Дюперье испугался скандала и вручил мне полторы тысячи ливров в обмен на компрометирующий его документ. С разрешения старухи Гюс и по совету дяди я пристроил эти деньги под верное обеспечение и хорошие проценты, так что Гюс могла иметь около двухсот ливров ежегодно. Должность заведующей уборными вместе со случайными доходами давала Розе тоже около двухсот ливров. Таким образом у нее было до четырехсот ливров в год, а на такую сумму в те времена можно было жить хотя и скромно, но чисто и без нужды. И было решено, что Гюс подыщут себе другую квартиру.

Совсем близко, в переулочке, нашлась хорошенькая квартирка, но она была слишком дорога для Гюс. И однажды старуха сказала мне:

– Послушайте, месье Гаспар, а почему бы вам не поселиться у нас?

От неожиданности я растерялся: во мне пробудились самые противоречивые чувства. Конечно, жить в семье, где за тобой и приберут, и присмотрят... не быть таким одиноким, заброшенным... Но, с другой стороны, жить под одной кровлей с этими женщинами, которые так дико, так предосудительно смотрят на жизнь и вопросы морали! Мне, воспитаннику аббата Дюпре, дышать этой атмосферой греха!

А старуха продолжала:

– Мы дадим вам угловую комнату: она светлая и веселая. Вам будет хорошо у нас, не придется возиться со скверными ресторанными обедами. И возьму я с вас недорого! Зато как хорошо нам будет иметь возле себя такого честного, милого человека, на которого можно всегда положиться! И за Адель я буду рада...

Упоминание об Адели еще более увеличило мое смятение. Жить рядом с ней, вечно чувствовать на себе ее обаяние!.. Я невольно посмотрел на девушку, скользнул взглядом по ее гибкой, змеиной фигурке, по тонкому, бледному личику с алым чувственным ртом, по спутанным прядям ее золотистых кос и почувствовал, что нечто большее, чем простая братская привязанность, притягивает меня к этому созданию!

Все внутри меня запротестовало при одной мысли о возможности каких-либо иных чувств к Адели.

«Это – сумасшествие, этого не может быть! – с отчаянием думал я. – Я сам создаю себе какие-то дурацкие опасения! Но, раз они имеются, тем более должен я быть осторожен и ни в коем случае не принимать этого предложения!»

Видя мое колебание, Адель встала, подошла ко мне, положила мне на плечи руки и, слегка прижимаясь и заглядывая мне в глаза, сказала тоном балованного ребенка:

– Да ну же, братишка, не упрямясь, право тебе будет хорошо у нас! Ну, согласен? Ведь да?

Дрожь пробежала по всему моему телу от этого прикос-

новения, взгляда, голоса... Я хотел решительно отказаться, но губы сами собой сказали:

– Да, согласен!

Благодаря Сесиль я познал сладость греха – теперь я был уже беззащитен против чар женского влияния.

Так случилось, что я поселился у Гюс, так я сделал первый шаг навстречу своей гибели...

Глава 2

До сих пор я описывал историю своего знакомства с Аделаидой Гюс, основываясь на своих личных переживаниях и ощущениях. Вернее будет сказать, что я дал историю своих внутренних переживаний, которых в предыдущей главе больше, чем событий и действий. Но это было необходимо для того, чтобы читатель мог возможно яснее представить себе, что я представлял собой как личность, так как трагизм моей судьбы не в каких-либо особых бедствиях, а в явном несоответствии моей жизни с моей нравственной позицией. Но в дальнейшем повествовании я должен отказаться от психологических деталей. Они только утомят и отвлекут внимание читателя, так как тот, кто уяснил себе из предшествующей главы мой облик, тот и без всяких патетических выкриков поймет, как должен был я бесконечно страдать, играя навязанную собственной неосторожностью унижительную роль. Поэтому ограничусь кратким обзором своих отношений к обеим Гюс и беглой характеристикой юного Гаспара Лебефа.

Теперь, на склоне своих девяноста двух лет, я могу беспристрастно судить о себе в прошлом. И вижу, что и в восемнадцать-девятнадцать лет я все еще был милым, наивным мальчиком, чувствительным, добрым и неглупым. У меня были очень привязчивая душа, страшная брезгливость ко

всему неопрятному и бесчестному, но излишняя мягкость и склонность к фантазированию заставляли быстро подыскивать извинительные мотивы для действий тех лиц, к которым я был привязан. Поэтому, несмотря на первоначальную антипатию к старухе Гюс, я очень быстро примирился с ней и даже стал относиться к ней с любовью.

С одной стороны мне было хорошо у них жить, за мной ухаживали, добросовестно кормили, и благодаря тому, что я не был уже таким бесприютным, как прежде, меня реже тянуло на улицу. А это дало мне возможность увеличить свои сбережения, которые я инстинктивно держал втайне от Гюс – матери и дочери. Но если физически я выигрывал от жизни у старухи, то морально не мог не пострадать. Мало-помалу я заражался тонким ядом философии нищеты, которую исповедовала старуха и которая все сводила к неизбежности падения и невозможности жизни по заветам Бога в современных условиях. Прежде я возмущался и протестовал, потом начал просто спорить, спокойно, академически; мало-помалу я уступал, сдавался и незаметно для самого себя стал примиряться с взглядами Розы на жизнь, а затем наступило время, когда я уже смог принимать участие в обсуждении того, что еще недавно способно было заставить меня рыдать от отчаяния.

Почти так же обстояли мои дела с Аделью. Иллюзии братских чувств постепенно рассеивались, и настало время, когда я без всякого удивления заметил, что люблю Адель с

необузданной страстью. Но когда именно моя симпатия к девочке перешла в страсть к женщине, этого я не мог бы определить. Возможно, что страсть созревала так же незаметно, как незаметно Адель из подростка превратилась в пышную девушку-красавицу.

Адель отлично видела мою любовь и забавлялась тем, что разжигала во мне страсть. Особенно удобными моментами для этих упражнений были наши уроки. Мне удалось настоять, чтобы Адель под моим руководством занялась расширением своих умственных горизонтов. Сначала она усиленно отвиливала от уроков, но, когда я доказал ей, что образование и умение поговорить «о том о сем» даст ей преимущество перед ее будущими подругами-актрисами, равными ей по красоте и таланту, она быстро согласилась. С писанием, арифметикой и эстетикой дело не пошло: Адель чувствовала непреодолимую ненависть к перу, таблица умножения двузначных чисел казалась ей страшнее китайской грамоты, а эстетика навевала на нее отчаянную зевоту. И до конца своих дней она так и не могла постигнуть, что хотели сказать древние, когда требовали для театральных произведений единства времени, места и действий!

Поэтому наши уроки заключались главным образом в том, что я что-нибудь читал или рассказывал Адели. Я передавал ей содержание величайших классических произведений, и если мне удавалось заинтересовать ее фабулой, то незаметно рассказ сводился к истории или географии тех

краев, где разыгрывалась данная трагедия. Таким образом, мне удавалось незаметно обогащать знания Адели. Единственно, что она очень любила, это стихи: к чтению поэзии ее не надо было принуждать, и, чем сентиментальнее и чувствительнее была стихотворная речь, тем жаднее накидывалась на нее Адель. Впоследствии мне пришлось убедиться, что это обычное явление: женщины дурной жизни и мужчины с склонностью к жестокости очень падки на сентиментальные стишки.

Вот во время этих-то уроков Адель и занималась разжиганием моей страсти. Вдруг придвинется поближе, будто ненарочно тронет ногой, положит пальцы на мою руку. Позднее, развившись в дивно сложенную девушку, Адель нередко старалась устроить так, чтобы попасться мне на глаза в самом откровенном дезабилье. Видимо, ее забавляла сложная игра чувств, отражавшаяся при этом на моем лице. Но, заигрывая со мной, она не позволяла мне ни малейшей нежности, самой допустимой вольности. И когда я бывал около Адели, то чувствовал себя в положении человека, которого с одного бока подмораживают, а с другого – поджаривают.

Так шло время. Адель незаметно хорошела, я незаметно отравлялся ядом циничного отношения к жизни. Наконец наступила пора реальных забот и тревог.

Ради вящего развития несомненного таланта Адели и по причинам чисто тактического свойства Роза вскоре отказа-

лась от занятий с дочерью и только помогала ей готовить уроки, а наставляя в премудростях драматического искусства девочку стала уже немолодая актриса Дюмонкур. Последняя обладала большим талантом и когда-то гремела, но судьба не послала ей ни красивой наружности, ни распушенности, и, когда свежесть молодости пропала, талантливую актрису стали затирать пикантные бездарности. Дюмонкур была слишком умна, чтобы открыто протестовать против этого; она добровольно отошла в тень и стала довольствоваться скудным жалованьем и редкими ролями, которые перепали на ее долю. Эта скромность была оценена и товарищами, и начальством. Когда же Дюмонкур взяла под свою защиту одну из вновь поступивших актрис, встреченную очень враждебно остальной труппой, а вслед затем эта актриса заняла прочное место в сердце главного интенданта (или, по-теперешнему, директора театра), маркиза Гонто, то новая фаворитка использовала свое влияние для улучшения положения покровительницы. Действительно, с Дюмонкур стали советоваться, ее мнение принималось в расчет при всевозможных театральных переменах. Вот поэтому-то старуха Гюс и решила просить Дюмонкур давать уроки Адели: даже и те гроши, которые могла платить Роза, были подспорьем актрисе, не имевшей побочных доходов, а театральные опыт Дюмонкур и ее влияние у дирекции значительно облегчали Адели возможность попасть в лучшую труппу того времени.

Для того чтобы сговориться об условиях, Роза пригласила

актрису на ужин. Как сейчас помню этот вечер.

Был декабрь, на улице стоял довольно сильный холод, но в парадной комнате квартиры Гюс весело трещал в камине жаркий огонь. Роза хлопотала около стола, стараясь поэффектнее расставить тарелочки с закусками, я сидел около камина, отогревая замерзшие руки, а Адель нервно расхаживала по комнате. Девушка была взволнована, и на все попытки заговорить с нею отвечала резкими колкостями.

В назначенный час у входных дверей послышался стук молотка, и через несколько минут в комнату, в сопровождении выскочившей встречать ее Розы, вошла гостья. Это была женщина лет сорока пяти с открытым добрым лицом и живыми, умными черными глазами. Дюмонкур приветливо обняла Адель, ласково поздоровалась со мной и подошла к камину, чтобы погреться с холода. Поворачиваясь перед огнем, она весело болтала, жалуясь на мороз, на дороговизну жизни, на страшный рост нищеты, но все это говорила удивительно просто; вообще в ней совершенно не чувствовалась актриса.

– Уф! – сказала она наконец, отходя от огня и усаживаясь в кресло. – Вот теперь я согрелась!

– Дорогая мадам, – видимо волнуясь, сказала Роза, – как вы хотите: сначала закусим, а потом уж вы послушаете мою девочку, или, наоборот, сначала послушаете?

– Прежде чем послушать, мне надо хорошенько посмотреть на нее; может быть, и слушать-то не стоит! – с веселым

смехом ответила актриса. – Ну-ка, крошка, подойди ко мне!.. Так! – продолжала она, внимательно посмотрев на Адель и окинув ее пытливым взглядом с ног до головы. – Теперь пройдишь спокойным шагом в тот угол и обратно... Отлично! Пробегишь теперь!.. Отлично, подойди поближе ко мне! Вот так! Я замахнусь на тебя, а ты сделай вид, будто испугалась. Подойди ко мне, дитя мое, и поцелуй меня: даже если у тебя нет ни капельки таланта, ты будешь иметь успех: ты красива, гибка и изящна! Да, дорогая Роза, – продолжала Дюмонкур, обращаясь к старухе, – для актрисы мало быть талантливой, надо обладать красотой. Возьмите хотя бы меня: моего таланта никто не отрицал, а все же из меня ничего не вышло. Искусство ценит один из сотни, остальные же девяносто девять ценят только женщину... Да, тут уж ничего не поделаешь, крошка! И мало быть красивой с лица: бывают женщины, которые кажутся ангелом небесным, пока сидят, но стоит им сделать два шага, как ангел превращается в неуклюжего медведя. Красивая женщина должна быть изящной во всех проявлениях. Все должно быть у нее красиво: походка, бег, радость, смех, слезы, ужас, испуг. Ты – счастливица, милочка, так как обладаешь всем, о чем я только что упомянула, и если твои внутренние художественные достоинства составляют хотя бы десятую часть внешних, то я ручаюсь, что ты сделаешь блестящую карьеру! А теперь прочти мне что-нибудь, крошка!

С трудом подавляя волнение, Адель начала читать моно-

лог из «Федры» Расина.

Я слушал, затаив дыханье. Мне казалось, что Адель читает дивно, но, к моему удивлению, актриса, видимо, осталась не очень довольной.

– Недурно, – сказала она, когда Адель кончила и с тревогой уставилась на нее. – Но ты, должно быть, долго учила этот монолог? Ты, что ли, с ней проходила его? – обратилась она к старухе Гюс.

– Кому же, кроме меня, – застенчиво ответила Роза.

– Ну, так по этому я еще не могу судить: как тут разберешь, где учительница, а где ученица? Вот что, крошка: ты знаешь «Заиру» Вольтера?

– Да, – ответила Адель и показала на меня, – мы еще недавно читали ее с братишкой!

– Но ты не учила ее? Нет? Ну, так дай-ка мне книжку. Вот просмотри это место и прочти нам его. Ведь содержание ты помнишь, да? Ну, отлично!

Просмотрев указанный монолог, Адель принялась читать. Сначала она от волнения глотала слова, комкала фразы, но чем дальше, тем дело шло все лучше, и к концу Адель разошлась вовсю, так что заключила монолог таким всплеском глубокого, неподдельного чувства, соединенного с возвышенностью тона, что у меня даже слезы выступили на глазах.

Дюмонкур встала, расцеловала Адель и сказала:

– Я счастлива, что у меня будет такая ученица! Ну, а теперь, маленькое чудовище, давай мне свою хорошенькую

ручку и веди меня к столу. Глубокое волнение вызывает сильный аппетит, а ты действительно взволновала меня своим чтением!

Быстро бежали дни, проходившие в каком-то приподнятом настроении. Теперь Адель часто не бывала дома. Днем она ходила к Дюмонкур, по вечерам частенько, по протекции учительницы, посещала театр, где из-за кулис следила за представлением. Я бывал счастлив, когда мне удавалось проводить ее на урок или побывать с нею вместе в театре; но первое бывало возможным только в праздники, а торчать постоянно за кулисами рядом с хорошенькой девушкой было неудобно. Да и счастье-то это было чисто теоретическое: много горьких минут приходилось мне пережить, когда я бывал где-нибудь с Аделью. На улице меня раздражало, что мужчины заглядываются на нее и что Адель без зазрения совести строит им глазки, а в театре случалось встречаться кое с чем и похуже.

Помню, однажды мы были в театре все трое: Роза, Адель и я. Роза была, как всегда, по обязанности, я заговорился с Сесиль, которую там случайно встретил, а Адель под шумок куда-то исчезла. Представление кончилось, Сесиль простилась со мною и ушла, а я стал поджидать обеих Гюс.

– Где же Адель? – с удивлением спросила меня старуха, подходя ко мне.

– Но я думал, что она с вами! Пойдемте поищем ее! – тре-

можно сказал я.

Мы отправились на поиски, но Адели не было нигде. Наконец, проходя мимо груды старых декораций, сваленных в углу, мы услышали смех и шум борьбы.

– Это нечестно! Это уже против условий! – слышался задорный голос Адели.

– Адель, что ты тут делаешь? – крикнула Роза, бросаясь в угол. Увидав нас, какой-то старичок, покрывавший лицо и шею Адели горячими поцелуями, отскочил и быстро скрылся.

Роза схватила девчонку за руку и молча потащила из театра домой. Там она накинулась на дочь с бранью и упреками.

– Да ты совсем с ума сошла, беспутная девчонка! – кричала Роза. – Ты не понимаешь, что делаешь! Да ты себя погубить хочешь, что ли? Позволяешь целовать себя черт знает кому...

– Пожалуйста, без глупостей, мать! – резко остановила ее Адель. – Не воображай больше того, что есть на самом деле. Это – вовсе не черт знает кто, а герцог Ливри, завсегда́тай кулис, имеющий большой вес в дирекции!

– Но все-таки, Адель...

– Ничего не «все-таки»! Герцог уже давно увивается около меня. Сегодня он вдруг заявил мне, что охвачен непреодолимым желанием поцеловать меня. Я ответила, что в его возрасте это должно стоить денег. Он пришел в восторг, подарил мне луидор и выговорил себе право три раза поцело-

вать меня. Не виновата же я, что он стал вдруг совсем сумасшедшим и принялся целовать меня без счета! Я собиралась потребовать от него дополнительную плату, но тут черт принес тебя не вовремя!

– Но все-таки, Адель, – сказала сразу смягчившаяся старуха, – надо быть осторожнее: ведь от невинных поцелуев можно незаметно дойти до крайне серьезных положений!

– По-о-о-жалуйста! – пренебрежительно протянула Адель. – Я не осталась бы одна с герцогом в темном уголке, если бы не знала, что он совершенно безопасен для женщин, а для меня тем более! Ну, довольно об этом, я спать хочу! Ты скоро? Я иду. Покойной ночи, братишка! – и с этими словами Адель, как и всегда, когда бывала в хорошем расположении духа, подошла ко мне, чтобы обнять меня, и подставила лоб для поцелуя.

Но я резко отстранил девушку и желчно заметил:

– Не старайся попусту! От меня ты ни луидора, ни дополнительной платы не получишь!

Адель рассмеялась с оскорбительным пренебрежением и, пожав плечами, ушла в спальню, а Роза сказала мне:

– На девочку нельзя сердиться, милый месье Гаспар! Она идет своей дорогой, настоящей дорогой, месье, правильной!

Я встал и, не отвечая ни слова, ушел к себе. Полночи я горько проплакал, а остальную половину мучился в кошмарных сновидениях, непрерывно вертевшихся вокруг Адели. На другой день я должен был просить у нее прощения, так

как не мог примириться с тем ледяным презрением, которым она меня встретила. Дня три Адель промучила меня, но потом милостиво простила: у нее вышли все засахаренные каштаны, поставлять которые лежало на моей обязанности.

Чем дальше шло время, тем атмосфера у нас в доме становилась все возбужденнее. Близилось время, когда надо было хлопотать об открытом дебюте Адели, и дни проходили в бесконечных разговорах по этому поводу. Обсуждалось, что сказала учительница, что мимоходом кинул девушке театральный закулисный завсегда; приводились разные факты из деятельности театрального интенданта, маркиза Гонто, который не дал дебюта одной многообещающей актрисе только потому, что ее родители не поняли, чего хотел от них сластолюбивый маркиз. Но мало было пройти сквозь своеобразную цензуру интенданта: предстояла еще цензура публичного мнения, и можно было быть уверенным: если зрители почему-либо встретят дебют Адели холодно, то ей, девушке без всяких связей в высших сферах, не получить ангажемента.

Но мало было и успеха у публики: надо было еще добиться успеха у журналистов, и для того, чтобы читатели усвоили себе, насколько это было важно, необходимо дать в этом отношении кое-какие сведения.

В то время во Франции газетное дело было только в самом зачатке, не то что теперь или даже в эпоху консульства:

Наполеон ухитрился прикрыть 60 столичных и 104 провинциальных газеты, причем еще осталось 13 первых и 28 вторых. А за сорок лет до этого, в то время, к которому относится мой рассказ, газет было всего две (из них одна официальная – «Французский Меркурий»). Несколько лучше обстояло с журналами – их все-таки выходило несколько штук. Но не эти газеты или журналы были страшны; по цензурным правилам того времени, частная газета или журнал не имели права высказывать свое мнение как в политике, так и в искусстве, а должны были поддерживать мнения, высказанные в официозе. Поэтому страшна была пресса, вызванная к жизни этим притеснением: лучшие, свободолюбивые умы того времени перебрались в Голландию, где и основали вольные, независимые органы французской мысли. Эти заграничные журналы имели в Париже своих корреспондентов и старались возможно полнее отражать все, касавшееся искусства. При этом авторы статей давали не казенное, а свое освещение художественных событий и нередко бранили артистов и пьесы только потому, что парижская пресса хвалила. Между тем иностранное общественное мнение гораздо больше прислушивалось к издававшимся в Голландии французским журналам, чем к парижским; поэтому, конечно, и приглашение на гастроли в иностранные государства в значительной степени зависело от мнения, составляемого за границей.

Считая, что Адель по красоте и таланту заслуживает европейского успеха, и понимая, что, каков бы ни был успех ак-

трисы в Париже, ее всегда могут интригами удалить со сцены, где всем делом заправляли королевские чиновники, Роза и Дюмонкур были сильно озабочены тем, как отнесутся к дебюту Адели корреспонденты французских журналов, издаваемых в Голландии: вдруг они будут ругать ее только потому, что «Меркурий» похвалит? Значит, надо было постараться познакомиться с этими корреспондентами, расположить их в пользу Адели.

Эта забота была возложена всецело на меня.

Разумеется, я всей душой участвовал во всех этих волнениях и тревогах. Личной жизни у меня не стало с тех пор, как я переселился под кровлю Гюс. Все мое существование заключалось теперь в Адели. Как же мне было не волноваться и не хлопотать?

И все-таки я умышленно старался представить себе, будто предмет этих волнений – дебют Адели – еще очень далеко. Ведь я понимал, через что должна пройти Адель, пока попадет на сцену, понимал, какая жизнь начнется для нее со вступлением в ряды актрис. Я не представлял себе, как я переживу весь этот ужас, как примирюсь, что моя красавица-девочка пойдет по рукам обожателей! Единственным утешением было гнать от себя действительность и верить, что эта беда еще далека!

В самый разгар всех этих тревожений я получил письмо от большого друга дяди-аббата, лорьенского судьи, который извещал меня, что кюре Дюпре очень болен и хотел бы перед

смертью еще разок повидаться со мной. Но я не мог уехать из Парижа. Моя воля была связана, нельзя было оставить обеих Гюс в такое тревожное время. Да и как я покажусь на глаза этому чистому, святому старцу? Под огнем его строгих глаз я не сумею утаить правду, а как омрачила бы эта правда последние минуты умирающего! Но я не сразу сдался; я проводил бессонные ночи в мучительном колебании: а может быть, все-таки поехать? Так прошло две недели, пока новое письмо не положило конца моим бесплодным колебаниям: дяди Дюпре не стало, он тихо умер с моим именем на устах!

Это письмо я получил вечером. В одну ночь я осунулся и постарел под влиянием невыносимых укоров совести. Но днем вернулась сияющая Адель: Дюмонкур возила ее к герцогу де Грамон, у которого собралось несколько любителей искусства, Адель читала там, имела выдающийся успех, за нее обещали хлопотать, и учительница на обратном пути сказала ей, что считает теперь ее дальнейшие успехи несомненными.

Адель носилась по комнате, танцевала, пела, шалила. Заметив мое угрюмое, подавленное настроение, она недовольным тоном спросила, почему я так мрачен, и, когда я рассказал ей о постигшем меня горе, бессердечная девчонка накинулась на меня с упреками. Хорош тоже друг! У нее такое торжество, а он сидит и куксится! Подумаешь, какое горе: умер никому ненужный восьмидесятилетний монах! Да если бы старики и старухи жили до бесконечности, куда было бы

деваться молодым? – и так далее, и так далее...

Адель была бессердечна, зла, возмутительно себялюбива. Но она была прелестна, как ангел, и я любил ее. Подчиняясь ее требованию, я сверхчеловеческим усилием воли подавил в себе воспоминания о дорогом покойнике и опять ушел в вихрь забот и волнений о судьбе безжалостной волшебницы.

Дни летели, незаметно подкралась весна, а с ней и день рождения Адели. Я долго думал, что бы подарить ей. Я знал, что ей очень хотелось иметь сережки, и присмотрел у ювелира прехорошенькую пару с чудными рубинами; но они стоили около четырех луидоров, а я боялся истратить такую сумму – не жалел, а именно боялся.

Для Адели мне ничего не было жалко, четыре луидора не разорили бы меня, потому что у меня были сбережения, увеличившиеся еще на двадцать золотых монет, пересланных мне лорьенским судьей от имени и по просьбе покойного дяди-аббата. Но я боялся обнаружить таким богатым подарком свои маленькие средства. Я предчувствовал, что наступит момент, когда Адель будет покинута, будет нуждаться и когда мои несколько тысяч ливров (я надеялся скопить их) окажутся ее единственным подспорьем. А осведомить господа Гюс о моих сбережениях значило отказаться от этой надежды, потому что и мать, и дочь были до крайности безалаберны с деньгами: в понятиях «мое» и «твое» они плохо разбирались. Даже больше: Адель открыто исповедовала

принцип: «что мое, то мое, что твое, то... тоже мое». Покажи им только дорогу к моим деньгам, так быстро растают мои сбережения!

И до самого кануна дня рождения Адели я ходил в озабоченном недоумении. На примете для подарка у меня было многое другое, но все казалось мне недостойным Адели. И кончилось тем, что я пошел и купил все-таки сережки.

Придя домой, я повертел их в своей комнате около огня, полюбовался на дивную игру камней, запер сережки в ящик и собрался выйти к Гюс, как вдруг до моего слуха долетели обрывки тихого разговора между дочерью и матерью. Последняя говорила:

– Просто не знаю, что и делать! Необходимо пригласить гостей, а не примешь же их кое-как, особенно теперь...

– Да ведь ты всего неделю тому назад получила от братишки? – слышался укоризненный голос Адели.

– Мало ли что! По теперешним временам деньги просто горят... Откуда бы достать?

– Да попроси у Гаспара! Он-то, наверное, не успел еще растратить свое жалованье!

– Неловко, милая, я и так забрала у него за два месяца вперед. Он ведь тоже не Бог знает сколько получает!

– Вот тоже пустяки – «неловко»! Велика важность! Хочешь, я попрошу? Мне-то он не откажет!

Я не стал дожидаться ответа старухи: мое решение было уже принято. Я вышел из своей комнаты и с самым невин-

ным видом обратился к старухе:

– А у меня к вам просьба, дорогая мадам Роза. Я немножко раскутился в последнее время и остался без гроша. Не можете ли вы ссудить мне ливров десять дня на три? Я постараюсь достать в конторе и отдать вам!

– Господи, да откуда у меня быть деньгам! – с отчаянием ответила старуха, отмахиваясь от меня руками. – Я сама собиралась идти доставать деньги, только вот в голову не придет, у кого бы можно достать! Хотелось бы завтра справить день рождения дочери.

– Боже мой! – с отчаянием воскликнул я. – А я-то и забыл, что у нас завтра такое торжество! Вот не вовремя я раскутился!

Адель кинула на меня уничтожающий взгляд и ушла в спальню, кинув мне через плечо:

– А еще друг называется!

Вернувшись к себе, я втихомолку досыта посмеялся над разыгранной мною комедией. Я был доволен, что так удачно отразил попытку нападения на свой карман, и ликовал при мысли о той радости, которую доставит завтра Адели мой неожиданный подарок.

Действительно, ее радость была даже больше, чем я ожидал. Проснулся я на другой день ни свет ни заря и даже подосадовал: в будни просыпаешься с тяжелой головой, никак глаз не продерешь, а вот в праздник (день рождения Адели пришелся на воскресенье) заснуть не можешь!.. Несколько

раз я выходил из своей комнаты в общую, но Адель не показывалась из спальни. Наконец я застал ее. Спрятав сережки в карман, я подошел к ней и сказал:

– Позволь мне, сестреночка, поздравить тебя с высокотожественным днем твоего рождения и пожелать удачи и счастья!

– Спасибо! – высокомерно и сухо поблагодарила Адель, отворачиваясь от меня.

– А в ознаменование столь достославного события, разреши преподнести тебе вот этот пустячок! – не смущаясь продолжал я, доставая из кармана завернутые в розовую бумагу сережки.

Адель быстро обернулась, с некоторым недоумением взяла из моих рук пакетик, развернула его, вскрикнула и замерла с сережками в руках.

– Какая прелесть! – растерянно сказала она. – И это ты мне?.. Так вот почему, – крикнула она, – вот почему у тебя не оказалось денег вчера: ты истратился на меня! О, спасибо, спасибо, дорогой братишка! – и, прежде чем я успел предупредить ее движение, она кинулась мне на шею и крепко расцеловала меня.

Не могу передать вам, какая болезненная дрожь пронизала меня в тот момент, когда ко мне прижалось это гибкое, пышное, желанное тело! Мне хотелось схватить Адель, смять в объятиях, раздавить кошмарным поцелуем, но, прижавшись на миг, нервное, змеиное тело девушки сейчас же

вывернулось из моих объятий: Адель кинулась к зеркалу, чтобы примерить мой подарок.

– Вот что, Адель, – сказал я, вытирая пот, проступивший на лбу, и с трудом переводя дыхание, – ты лучше... брось эти объятия и поцелуй... Теперь ты стала взрослой девушкой, и не годится тебе...

– Вот чушь! – небрежно оборвала меня Адель, надевая сережки. – Выросла я или нет, да ты-то разве мужчина для меня? Ты – братишка. – Она повернулась несколько раз перед зеркалом, любуясь игрой камней, и с бессознательной жестокостью прибавила: – И никогда больше ничем для меня не будешь!

Вечером собрались приглашенные: старуха Гюс все-таки ухитрилась раздобыться деньжонками и устроила пир на славу. Был кое-кто из артистического мира; пришел писец секретаря маркиза Гонто; знакомый брата старшего режиссера, помощник суфлера – словом, влиятельные «низы». Позже всех явилась Дюмонкур и привезла радостную весть: маркиз Гонто ничего не имеет против дебюта молодой актрисы, но должен сначала повидать ее и посмотреть, на что она годится.

При этом известии двое из мужчин сбегали в ближайший погребок и галантно притащили несколько бутылок дешевого шампанского – «тизан», которое было тут же распито. С трудом дождавшись удобного момента, я скрылся к себе в комнату. Напрасно я обольщал себя мечтой, будто

развязка далеко: вот она уже стояла перед моими глазами! Точно я не понимал, что значит: «Маркиз должен сначала повидать ее и посмотреть, на что она годится»...

Через несколько дней Роза повела в назначенное время Адель к маркизу Гонто. Уже много лет спустя Адель рассказывала мне о том, как принял их главный интендант. Впрочем, я уже оговаривался в начале, что буду передавать события не в том порядке, в каком мне удавалось их узнавать, а в том, в каком они случались на самом деле.

Перед этим страшным визитом Роза приодела Адель, и девушка была такой хорошенькой, что у меня просто сердце разрывалось при взгляде на нее. В приемной, ожидая, пока маркиз примет их, Адель подошла к громадному венецианскому зеркалу и даже отскочила от изумления: она не узнала самой себя. Волнение слегка тронуло румянцем ее матовые щечки и расширило зрачки васильковых глаз, в минуты нервного напряжения становившихся сапфировыми, а золотистые локоны удивительно картинно оттеняли классически правильные черты ее лица.

В кабинете маркиза уже находился кое-кто из уважаемых артистов, несколько театральных чиновников и два-три признанных ценителя искусства. В середине, в глубоком кресле сидел сам маркиз. Он был уже очень немолод, но его возраст искусно скрывался под заботливой холеностью лица. Держался он прямо, двигался с гибкостью юноши в расцве-

те лет, отличался изысканными манерами, сквозь безукоризненную вежливость которых просачивалось надменно-высокомерное отношение ко всему и всем. Лицо было скорее красиво, только умные глаза отталкивали светившейся в них холодной жестокостью. Да, жестокость, пожалуй, и была отличительной чертой характера маркиза, даже не жестокость, а полнейшее равнодушие к чужим страданиям. Вообще маркиз Гонто был типичным сыном своего века. Атеист, циник, сладострастник, он смеялся над всеми священными проявлениями человеческих чувств и все решительно мерил мерой собственного удовольствия.

В ответ на низкий, почтительный поклон вошедших маркиз с изящной небрежностью кивнул головой и сказал:

– А, вот и вы! Отлично, отлично, подойдите сюда, ми...

Тут он взглянул на Адель, и слова замерли у него: маркиз ожидал увидеть смазливенькую уличную девчонку, а увидел сказочную принцессу, легендарную фею.

От восхищенного удивления маркиз даже приподнялся на локтях.

– Так вот ты какая! – пробормотал он. – Ну, подойди же поближе, крошка!

Когда Адель подошла ближе к столу, маркиз задал ей ряд вопросов, касавшихся подготовки ее к сцене. Адель ответила ему обстоятельно и дельно, что сначала с нею занималась мать, сама бывшая когда-то актрисой, потом госпожа Дюмонкур, а общее образование она получила под руковод-

ством специально нанятого учителя (это я-то!).

Затем приступили к экзамену, который особенной строгостью не отличался: по всему было видно, что решение маркиза уже принято и что испытание – просто формальность. В самом непродолжительном времени маркиз кивком головы отпустил мать и дочь, небрежно кинув, что он в свое время известит их о результатах их ходатайства.

В прихожей Гюс нагнал изящный молодой человек; он откомендовался секретарем маркиза и сказал Розе:

– Его сиятельство просил передать вам, что он не успел составить себе достаточное представление о пригодности барышни для сцены и желал бы, чтобы она еще раз прочитала ему что-нибудь из подготовленного репертуара. Будьте добры сообщить мне ваш адрес; завтра вечером в восемь часов маркиз пришлет за барышней свою карету... Ваше присутствие, мадам, будет совершенно излишне, так как та же карета доставит барышню домой!

Роза просияла, рассыпалась в благодарностях, а Адель вдруг почувствовала себя скверно. Она была достаточно осведомлена в вопросах греха, но слишком отвлеченно, так сказать, головой. А тут ее молодое тело вдруг взбунтовалось и запротестовало против того, что ждало ее... Как бы испорчена, распущена ни была девушка, но в ее душе все же найдется уголок, отведенный грезам о любви, о поэме первого бескорыстного увлечения; начинать же с любви по необходимости – это тяжело каждой девушке, если только она по

праву носит это имя...

На следующий день старухе Гюс с утра пришлось рыскать по городу, чтобы достать денег: нельзя было отпустить Адель кое-как, надо было купить ей тонкое белье, новые туфельки и нарядную шляпку. Когда я вернулся из конторы, Розы и Адели еще не было. Прислуга подала мне холодного мяса, я кое-как закусил и стал с тоскливым отчаянием дожидаться возвращения своих хозяек. Наконец явились и они – радостно оживленные рысканием по магазинам. Затем начались сборы. Роза приготовила для дочери ароматную ванну, втерла ей в тело благоухающее масло, расчесала, подвила и собрала в кокетливую прическу золотистые волосы девушки. Я слышал из своей комнаты оживленный, веселый голосок дорогого мне существа и мучительно думал:

«Неужели она не испытывает ни страха, ни ужаса перед предстоящим ей? Пусть этот позор вынужден, но неужели она так и пойдет на него с холодным спокойствием бывалой женщины?»

За полчаса до восьми Адель была готова, и меня кликнули, чтобы я пришел полюбоваться на принаряженную девушку. Адель была хороша, как куколка, но мне она в этом виде понравилась несравненно менее, чем в обычном домашнем наряде. Впрочем, о моем впечатлении никто и не спрашивал: Адель была в возбужденно-шаловливом настроении. Она кружилась по комнатам, весело напевая какую-то песенку, или принималась разыгрывать в лицах ту комедию, ко-

торая должна будет разыграться у нее с маркизом. Она копировала Гонто, изображала, как она будет сидеть на кончике стула, с пугливой наивностью опустив взоры, и как маркиз будет подбираться к ней. Странное дело! Ведь Адель в то время о многих сторонах жизни не имела ясного представления, а между тем она поразительно копировала старческую похотливость Гонто. Это была великая актриса, которая умела чутьем находить верный тон в изображении даже того, чего она не могла знать по опыту.

И вдруг среди этих забав раздался стук, в комнату с надменным видом прирожденного аристократа вошел нарядный ливрейный лакей и торжественно провозгласил: «Карета его сиятельства маркиза Гонто к услугам девицы Гюс!» – и, грациозно поклонившись, отошел обратно к двери.

При этих словах Адель смертельно побледнела; ее глаза потемнели, а руки с мучительной скорбью схватились за сердце. Я невольно перевел взор на Розу: даже эта старая мегера взволновалась, подбежала к дочери, обняла ее и чуть не плача шепнула:

– Что же делать, доченька, так надо! Авось хоть он не будет чересчур жесток с тобой...

Роза хотела сказать еще что-то, но у нее в горле заклокотали подавляемые рыдания, и она невольно замолчала.

Нерешительная слабость девушки продолжалась одно мгновение. Она отстранила мать и ледяным тоном сказала куда-то в пространство: «Надо... а что надо, то надо»... –

после чего подошла к двери и таким королевским взглядом окинула с ног до головы лакея, что тот даже пригнулся.

– Ну, что же вы стоите, как дубина? Откройте дверь! – надменно крикнула она, и лакей кинулся подобострастно исполнять ее приказание.

Мы с Розой вышли проводить Адель. Карета скрылась из глаз, а мы со старухой все стояли и смотрели ей вслед. Я первый очнулся от этого забытья, заложил руки в карманы и ушел в ближайший кабаk. Что там происходило, я плохо помню, потому что через полчаса я напился почти до бесчувствия. Помню только, что я очутился в отдельном кабинете с какой-то женщиной, что я рыдал и выкрикивал какие-то бессвязные проклятия, а сидевшая со мной женщина обнимала меня и равнодушно твердила:

– Наплюй на них, голубчик, лучше выпьем! И я опять принимался за вино.

Не помню, когда и как добрался я до дома: очнулся только через неделю. Как оказалось, я схватил жесточайшую горячку.

Во время болезни Роза почти безотлучно находилась при мне и пестовала, как родная мать. Заходила и Адель. Она казалась мне более бледной, повзрослевшей; что-то скорбное, задумчивое, серьезное было в ее лице. Заходила она на минуточку, с легким смущением встречала мой взгляд и под первым удобным предлогом спешила уйти.

Я пролежал в кровати пять недель. В течение этого време-

ни карета маркиза Гонто четыре раза приезжала за Аделью. Но вот однажды я услышал, как в соседней комнате Адель тихо сказала матери:

– Ну наконец-то я избавилась от этой ужасной обезьяны! Я уже начинала бояться, что он серьезно привяжется ко мне, но на мое счастье Гонто обратил благосклонное внимание на новую балерину Виченца и занимается теперь с нею, а мне говорили, что эта обезьяна никогда не возвращается к прежним увлечениям!

– О, нет, никогда! – подтвердила мать. – Да и к чему ему это? Ведь постоянным предметом его страсти служит Колетта, а для развлечения хватит бесконечного притока свежих сил!

– Ну, и отлично, если так! – со вздохом сказала девушка, а затем у нее вдруг с непривычной искренностью вырвалось: – Ах, мать, мать! Какие скоты эти мужчины и какая грязная история эта их любовь!

Уже на следующее утро после подслушанного разговора в моем здоровье обнаружилось громадное улучшение, а через три дня я мог понемногу вставать.

«Договаривающиеся стороны», как говорим мы, юристы, честно исполнили принятые на себя обязательства. Адель добросовестно заплатила за право выступить на сцене, и маркиз не обманул ее: девушка получила дебют в пьесе «Зира», назначенный на один из ближайших вслед за Пасхой

дней. Таким образом маркиз теперь уже умывал руки: все дальнейшее должно было зависеть от исхода дебюта.

Чем ближе надвигался этот страшный, решительный день, тем более волновались Адель и я. Я волновался от мысли, что не успею окончательно оправиться ко дню первого выступления любимой девушки, ну а о причинах волнения дебютантки и говорить нечего: они понятны сами собой. Только Розе некогда было волноваться: она хлопотала не покладая рук: оказывала услуги жене старшего режиссера, навещала заболевших детей суфлера, осыпала тончайшей лестью будущих партнеров Адели – словом, тщательно подготавливала почву.

Недели за две до дебюта, когда я уже мог хотя и с некоторым трудом передвигаться по комнатам, Роза завела о дочери такой разговор:

– Милая Адель, присядь и выслушай меня внимательно и терпеливо! Ты стоишь сейчас на пороге новой жизни и должна подумать, с чем и как ты вступишь в эту жизнь. Я знаю, ты волнуешься за исход своего дебюта. Ну, а я так вовсе не боюсь за твой успех, потому что ты красива и талантлива. Но вот что будет потом – об этом надо подумать теперь же. Ну, хорошо, тебя пригласят на сцену, ты будешь артисткой. А дальше? Если жить на те жалкие гроши, которые платят у нас, во Франции, то не стоило и хлопотать так много. Да на них и нельзя прожить: одни туалеты съедят вдвое больше. Актриса живет поклонниками, богатыми поклонниками, ду-

ша моя!

– Ну, все это я уже тысячу раз слышала! – резко ответила Адель. – Дальше-то что? Выкладывай прямо, куда ты kloнишь? Опять к кому-нибудь на продажу повести хочешь? Ну так выбрось это из головы: пока этого не будет! Так в чем же дело?

– Хорошо, пусть пока этого не будет. Но помни: ты должна стремиться к тому, чтобы обеспечить себе и своей старухе-матери спокойную, довольную жизнь. Между тем в настоящем положении ты лишена возможности окружить себя таким обществом, которое почтет за честь осыпать тебя подарками за одно удовольствие видеть. Представь, кавалер захочет поднести тебе букет. Что же, он понесет цветы на эту грязную улочку, в эту убогую квартирку? Отправишься ты с компанией в кабачок. В чем ты поедешь? В скромном платье мелкой модистки?

– Да не мямли ты, говори скорее! – нетерпеливо оборвала Адель мать. – В чем дело-то?

– Дело в том, что у меня, как ты знаешь, есть небольшой капиталец, на проценты с которого я могу спокойно прожить до смерти. Но, если вынуть деньги из того предприятия, куда поместил их месье Гаспар, если обратить их на то, чтобы сразу создать тебе богатую рамку, то через полгода-год ты с громадной лихвой вернешь эти деньги обратно.

– Ну, разумеется! – воскликнула Адель. – Это так ясно, что тут и думать нечего!

– Э, нет, дочка милая! – возразила старуха, покачивая головой. – Ты вот и теперь, когда от меня зависишь, так обращаешься со мной, как в хороших домах и с прислугой не обращаются. Что же будет со мной, когда я истрачу на тебя все свои деньги? Да ты меня просто из дома выгонишь! Нет, милая моя, дай мне сначала клятву перед образом, что ты честно будешь передавать мне все деньги, которые получишь, что ты, и в славе не выйдешь из повиновения мне! Вот тогда я рискну своими деньгами!

– Вот как! – с язвительным хохотом ответила Адель. – Я буду работать, а ты будешь пользоваться?

– Я ни в чем не буду стеснять тебя! Ты будешь иметь нарядные туалеты, лошадей, драгоценности, словом – все! – поспешила сказать мать. – Тебе даже лучше будет: ведь этим ты будешь избавлена от хлопот – живи себе припеваючи, словно барыня!

– Ну уж нет, этого не будет! – вспыхнула девушка.

– Не будет, так не будет, – спокойно отозвалась мать. – Как хочешь! Только тогда и с моей стороны тебе ничего не будет. Я добросовестно поставила тебя на ноги – теперь справляйся сама, как знаешь!

– И справлюсь! – вызывающе буркнула Адель.

– Пожалуйста, справляйся! После дебюта тебя, наверное, пригласят ужинать: отправляйся на этот ужин в том платье, в котором ездила к маркизу. Правда, это платье кое-где помялось, кружево в двух местах порвалось: ничего, можно

разгладить и подштопать... И не по сезону это платье; тоже правда. Ну да что требовать с бедной начинающей актрисы!

Адель окончательно раскипятилась, обрушилась на мать с самыми страшными проклятиями, угрозами. Старуха спокойно выслушала все это, она знала, что Адель в конце концов должна будет согласиться. И Роза не ошиблась: уже на следующий день Адель дала требуемую клятву. Она оговорила только, чтобы все сдаваемые ей суммы и производимые матерью траты записывались в специальную книгу, вести которую должен буду я. Мне, конечно, это было очень не по сердцу. Но разве я мог в чем-либо отказать Адели?

Успокоившись за свою судьбу, Роза вынула пристроенные мною деньги из предприятия, сняла хорошенькую квартир-ку в приличном квартале и со вкусом обставила ее. В новой квартире у Адели были три комнаты с отдельным ходом: спальня, будуар и столовая-зал. Кроме того, были комнаты – для меня, для старухи и одна общая. Специально для Адели была взята хорошенькая, бойкая камеристка Мари. Словом, дом, что называется, был сразу «поставлен». О том, что комнаты Адели представляли собою нарядные бонбоньерки, что ее платяные и бельевые шкафы ломились от нарядов, и говорить нечего!

Но Адель почти не обратила внимания на все это великоле-пие: до дебюта оставалось очень немного времени, и с каж-дым днем ее волнение все возрастало. Она бегала по своим трем комнатам, словно разъяренная тигрица, швыряла все,

что попадало ей под руку, и только в один последний перед дебютом день мне пришлось внести в графу расходов следующую статью: «Покупка двух новых ваз, шести стаканов, графина, двух ламп, разбитых Аделью, а также переобивка изодранного кресла – 29 луидоров 16 ливров и 8 денье».

Мне и Розе лучше было не попадаться девушке на глаза: одна из ламп и два стакана были разбиты при попытках матери образумить Адель. Но девушка действительно была как безумная: ею вдруг овладевала непонятная уверенность, что она читает роль отвратительно, что она и шага не сумеет ступить на освещенной сцене, что она обязательно провалится. Бывали моменты, когда она серьезно размышляла, не лучше ли сразу отравиться, чем дожить до такого позора!

По временам я и Роза слышали, как Адель начинала читать какой-нибудь монолог из своей роли, потом внезапно обрывала, топала ногами, кричала: «Не то! Совершенно не то!» – и заливалась слезами. Иногда к этим звукам примешивался звон разбиваемого стекла. В таких случаях старуха поднималась, осторожно подкрадывалась к дверям Аделиной половины, потом, заглянув туда, на цыпочках возвращалась обратно и говорила: «Слава Богу, это только стакан!» – или с сокрушением: «Боже мой! Еще одна фарфоровая лампа полетела на пол!»

Так приближалось время дебюта.

Настал наконец и этот знаменательный момент!

Весь день Адель пролежала в кровати с адской головной болью. Когда она к вечеру оделась, то я был поражен мертвенной бледностью ее лица. Глаза горели безумным огнем, громадные черные круги траурной каймой окружили их. Увидев меня, она поманила меня пальцем, а когда я подошел, крепко схватила мою руку ледяными пальцами и мертвым голосом прошептала:

– Братишка, ты должен быть со мной на счастье! Ох, я, кажется, умру...

Тут у нее закружилась голова, она чуть не упала.

Я подвел Адель к креслу, она опустилась на подушки и просидела в безнадежной неподвижности до того момента, когда надо было ехать в театр.

Всю дорогу она молчала, беспомощно сжавшись в углу кареты. Молчала она и в уборной: ни звука не доносилось до меня из-за занавески, за которой возле дебютантки хлопотала сначала камеристка, потом парикмахер. Несколько раз забегал режиссер, делал замечания насчет грима или деталей туалета и стремглав улетал дальше. Зашла Дюмонкур, чтобы благословить свою питомицу на дебют, но, видя, до чего доходит волнение девушки, опытная актриса, которая лучше всякого другого понимала душевное состояние дебютантки, поспешила уйти.

Наконец из-за занавески показалась Адель. Она была еще бледнее, чем раньше, и ее бледности не скрывал даже грим. Она была так слаба, что еле держалась на ногах. Бессильно

упав в кресло, она уныло шепнула пересохшими губами:

– Я не могу играть... Боже мой, Боже мой, что будет со мной! Тут уж побледнел и я: но ведь она и в самом деле не может играть! Что же будет?

Вдруг дверь с треском распахнулась, показалась растрепанная голова сценариста, который крикнул:

– Мадемуазель Гюс, на сцену!

Адель вскочила, словно ее ужалила змея. Она сразу преобразилась: не было следа бледности, расслабленности, нерешительности. Возбужденные глаза стали еще больше, чем всегда, и светились уверенностью и торжеством. Спокойно, словно ни в чем не бывало, она повернулась перед зеркалом, осмотрела себя с ног до головы и сказала, подходя ко мне:

– Ну, братишка, руку на счастье!

Сценарист снова влетел в комнату и с отчаянием крикнул:

– Да на сцену же, черт возьми!

– Иду, иду! – со спокойной улыбкой ответила Адель и твердой поступью вышла из уборной.

Я так и остался сидеть на месте, пораженный этой волшебной переменой. От недавней болезни и пережитого волнения я чувствовал себя разбитым и слабым. Не знаю, сколько времени просидел я в полном упадке физических и моральных сил. Вдруг странный шум, раздавшийся издали, заставил меня вскочить и прислушаться. Сначала это был какой-то сухой треск, который быстро стал нарастать и пере-

шел в целую бурю. В этом шуме было что-то похожее на голос моря, бившегося о скалы в милом Лориене.

Мимо дверей уборной кто-то прошел, и я услышал голос, говоривший:

– Кто бы мог подумать! Ведь на генеральной репетиции крошка Гюс играла из рук вон плохо!

Так это аплодировали Адели?

Не помня себя от восторга, я кинулся к боковым кулисам.

Я не знаю, скажут ли что-нибудь читающему эти строки два слова: «Вольтер» и «Заира», которые в то время глубоко волновали весь Париж? Ведь людская слава изменчива, и вчерашние кумиры уже завтра обрастают мхом забвенья. Еще недавно парижане с восторгом заучивали наизусть красивые строки из комедий Грессэ, а теперь разве только школяры знают, что есть такой писатель. В мое время весь Париж распевал арии из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце», а теперь их нигде и не услышишь. Так и с Вольтером. Как знать, может быть, подрастающее поколение уже развенчивает его?

Впрочем, и в то время далеко не все одинаково смотрели на великого писателя. Одни преклонялись перед ним, другие язвительно вышучивали и называли увлечение парижан трагедиями фернейского старца просто временным умопомешательством. Поэтому, принимая во внимание, что в то время, которое я описываю, значение Вольтера было очень

велико и что потомки могут и не знать его, я на всякий случай скажу несколько слов как о самом авторе «Заиры», так и об этой пьесе. Последнее необходимо хотя бы для того, чтобы полнее уяснить читателю торжество Адели.

Право, даже затрудняюсь сказать вам, что за человек был этот Франсуа Аруэ (настоящее имя Вольтера). Что это был большой талант, в этом сомнений быть не может. Но разве талант заключается только в умении красиво излагать свои мысли? Разве не должны эти мысли служить ко благу человечества? Да, как писатель Аруэ был бесспорно велик, но как общественному деятелю, как человеку ему кое-чего не хватало. И это «кое-что» станет нам ясным, если мы обратим внимание на странную двойственность его поведения.

Вольтер был большим драматическим мастером, его трагедии пробуждали в обществе благородные мысли и желания. И он же написал отвратительную, кощунственную поэму, в которой вывел Орлеанскую Деву под видом низкой уличной развратницы. Но ведь каждый народ должен иметь свою легенду, своего героя, светлые странички в прошлом: это помогает ему терпеливо переносить бедствия момента. Так честно ли разрушать в нем веру в этого героя, в это светлое прошлое?

Вольтер страстно громил тиранов, призывал народы освободиться от гнета единодержавия – и он же все время терся около венценосных особ, заискивая в их милости. Он играл скверненькую роль при маркизе де Помпадур, превоз-

нося в стихах мнимые достоинства этой нечестивой Иезавели, домогаясь милостей Людовика XV. Когда ему это не удалось, он отправился к прусскому королю Фридриху II. Поссорившись с ним, Вольтер заискивал перед русской императрицей. Когда я впоследствии попал в Россию, мне случайно удалось ознакомиться с некоторыми из его писем к Екатерине II, которых императрица отнюдь не скрывала. Еще бы! Посмотрели бы вы на эти письма!.. Более подлую и беззастенчивую лесть мне в жизни не приходилось читать. Вольтер называл русскую императрицу «пресвятой владычицей снеговой», писал, что она выше Солона, Ликурга, Петра Великого, Ганнибала, выше всех святых, и только одна Богородица может сравняться с нею; он удивлялся, как это Екатерина II нисходит до переписки с таким «старым вралем» и «старой тварью», как он, Вольтер. И все это он делал из-за тех подачек, которые слала ему довольная императрица!

Всех примеров странной двойственности его мысли и дела не перечтешь. Укажу только еще на один разительный случай, который особенно подчеркивает разногласие между принципами и поступками Франсуа Аруэ.

Вольтер много страдал от цензурных стеснений и горячо восставал против ограничений свободы слова. Но когда его трагедия «Семирамида» прошла в Париже без успеха и Монтињи, по обычаю того времени, написал на нее пародию, то Вольтер до тех пор хлопотал, заискивал, лебезил перед Помпадур и высшими чинами двора и правительства, пока ему не

удалось добиться королевского указа, запрещающего представление на сцене невинной пародии.

Да, вот каков был Вольтер! Даже я, его современник, не могу разобраться в его личности, и потомству тем не менее не составить себе ясного взгляда на него.

Но если рассматривать Вольтера исключительно по его творениям, то можно только преклониться перед ним. Его влияние на умы того времени было огромно. Своими «Философскими письмами», в которых описывалось политическое устройство Англии, он пробудил во французском читателе сознательное недовольство тем строем, при котором какая-нибудь Монтеспан или Помпадур могла жиреть и обогащаться за счет соков истощенного народа. Эти мысли были еще округлены рядом трагедий, в которых Вольтер косвенно нападал на фанатическую нетерпимость католицизма, на подавление мысли, на засилье высшего дворянства, и многие стихи из его трагедий с торжеством повторялись тысячами уст неправных французов, как повторялись, например, следующие строки из «Магомета»:

Все смертные равны; различье не в рожденье,
А в добродетели высокой проявленье.

Вообще творения Вольтера популяризовали в широких массах освободительные идеи, и Франция много обязана ему тем, что впоследствии стала тем центром, из которого луча-

ми распространились по всему миру призывы к свободе, равенству и братству.

Такова была и его трагедия «Заира». В ней глубокая мысль счастливо сочеталась с поразительной красотой стиха и вулканической страстью.

Немудрено, если публика всегда горячо принимала ее представления.

Вкратце сюжет трагедии «Заиры» таков. У иерусалимского султана Оросмана в плену две рабыни – Фатьма и Заира, несколько французских рыцарей, среди которых выделяется благородный Нерестан, и престарелый Лузиньян, потомок бывших иерусалимских королей. Фатьма и Заира в детстве были христианками, но они не помнят этого и не знают своего происхождения.

Оросман под честное слово отпускает Нерестана во Францию, где последний надеется достать средства на выкуп остальных пленных. Благородный и великодушный рыцарь сдерживает свое слово и возвращается в Иерусалим, но он не достал достаточно денег, чтобы выкупить всех: он считает, что в плену должен остаться он один. Но Оросман не желает, чтобы француз превосходил его в великодушии, и отпускает не только всех условленных, но и самого Нерестана, а также и многих других. Только одной Заиры он не отпускает: они любят друг друга, и Заира должна вскоре стать законной женой султана.

Случайная встреча Лузиньяна с Заирой и Нерестаном от-

крывает первому глаза на то, что Заира и Нерестан – его дети, которых он считал погибшими. Лузиньян умоляет Заиру отказаться от любви к иноверцу, но Заира слишком любит султана и колеблется.

Центр действия трагедии – борьба Заиры между двумя чувствами. Она ничего не решает, она хочет сначала посмотреть, сумеет ли католический священник пробудить в ней достаточно решимости: когда она спросила брата, чего потребует от нее христианская религия, тот ответил: «Чтобы ты возненавидела врагов веры». И вот эта-то ненависть, столь противная духу истинного христианства, и увеличивает колебание девушки. Но она все-таки хочет попытаться. Однако Оросман из ревности убивает Заиру: ведь она по требованию отца и брата скрыла от жениха тайну своего происхождения, и султан заподозрил, что она обманывает его с Нерестаном.

Чуть ли не впервые в этой трагедии со сцены к зрителям говорил магометанин, отличающийся высокой добродетелью: до того иноверцев непременно выводили отчаянными злодеями. Кроме того, Вольтер ясно показал в этом произведении, что и магометанин может обладать более широкими взглядами, чем христианин, если последний превращает христианство в католичество, то есть смотрит на жизнь не глазами Христа, а надетыми на них уродливыми очками пап-теров-иезуитов. Ведь вся трагедия Заиры в том, что ее отец и брат – узкие католики. И не в пользу последних разница от-

ношений друг к другу султана и французского рыцаря: первый уважает во французах достойных противников, второй видит в мусульманах злых врагов. И Вольтер ясно показал современному обществу, что заветы Христа касались только мыслей и поступков, а никак не фанатического следования определенному ритуалу: Богу все равно, на каком языке и какими словами люди будут молиться Ему, лишь бы их жизнь согласовалась с требованиями добродетели. Вот что представляла собою трагедия «Заира». Теперь возвращаюсь к Адели.

Хотя на первом представлении я и пропустил первую сцену первого действия, но впоследствии я так часто видал Адель в этой роли и так много было разговоров о ее дебюте, что теперь я могу объяснить причину услышанных мною аплодисментов так, как если бы сам сидел в зрительном зале.

Первая сцена застаёт Заиру в разговоре с Фатьмой. Фатьма удивляется, что Заира переменилась: она более уже не плачет, не рвется к берегам Сены. Заира отвечает ей с ленивой мечтательностью. Но Фатьма допытывается, она касается отношений султана к подруге. И вот тут-то Заира вся вспыхивает, загорается. Ее голос рокошет сдержанными переливами страсти, когда она говорит о том, как прекрасен Оросман.

До Адели эту роль играли совершенно иначе: актрисы с самого начала брали высокий, напыщенный тон, и красо-

та этого монолога пропадала. Поэтому публика, привыкшая чувствовать пылкость Заиры с первых слов, вначале отнеслась к игре Адели с недоуменной холодностью. Но когда в признании Заиры бриллиантовыми искорками вспыхнула и загорелась страсть, публика сначала замерла, а потом разразилась бешеными аплодисментами. Теперь успех Адели был уже свершившимся фактом и с колоссальной скоростью рос по мере развития действия. Диалог Заиры с Оросманом в интерпретации Адели приобрел такую красоту, Адель показала такую гибкость интонаций, столько красивой, сдержанной страсти, что публика не захотела после ее ухода со сцены слушать разговор султана со своим другом, заглушая слова артистов неистовыми вызовами Гюс.

Великолепный, выигрышный монолог Оросмана, которым кончается первый акт, был смят и пропал: публика требовала Гюс, Гюс и Гюс!

Дальше продолжалось то же самое. Артисты играли великолепно, но публика зевала, пока на сцене не показывалась Адель, и аплодисментами по ее адресу заглушала других артистов, когда дебютантка уходила за кулисы. Второй акт, где Заира находится в нерешительности между своей любовью к султану и дочерними обязанностями к Лузиньяну, требующий от артистки непрерывной игры, был сплошным триумфом Адели.

Я стоял около боковых кулис, слушал ее и не замечал, как по щекам у меня текли слезы восторга.

После коротенького третьего акта к Адели в уборную явилась целая группа аристократов, предводительствуемая старым герцогом Ливри, тем самым, который несколько лет тому назад во мраке кулис целовал Адель за деньги и поцелуи которого впервые вызвали во мне ревность по отношению к моему кумиру.

– Обожаемая! – засюсюкал старик, со старческой чувственностью осыпая руки Адели поцелуями. – В память нашего старого знакомства я разрешил себе привести сюда этих господ, которые спешат выразить вам свой восторг и удивление. Париж уже давно не видал ничего подобного... Однако мои друзья выражают нетерпение... Позвольте представить вам, обожаемая, доблестного маршала де Рогана, принца Субиза!

Пятидесятилетний маршал с изысканностью старого придворного склонился перед Аделью и галантно поцеловал протянутую ею руку.

Я просто диву давался: откуда у этой уличной девчонки взялось такое благородство манер, такая самоуверенность движений!

– Я счастлив поклониться одним из первых только что взошедшей, но уже ярко сверкающей звезде родного искусства! – сказал принц. – Я горжусь, что живу в одно время с нею!

– О, ваша светлость, – ответила Адель, – это я должна гордиться тем, что имею счастье видеть перед собою славного

воина, оплот моей родины!

– Что за женщина, что за женщина! – воскликнул Ливри, восхищенный ответом актрисы. – Боже мой, сколько даров в одном существе! Талант, красота, грация, ум! А страсть! Меня особенно пленила страсть, которая так ярко блистала в Заире!

Адель надменно, искоса взглянула на сюсюкающего старичка. Тон, которым она ответила ему, еще более подчеркивал разницу между ее предыдущей манерой разговора с маршалом и тем почти оскорбительным пренебрежением, с которым она третировала Ливри.

– О, это вовсе не удивительно, герцог, – сказала она, – мы всегда восхищаемся в других тем, чего нет в нас самих!

Ее остроумный и меткий ответ вызвал громкий хохот присутствующих.

– Но позвольте, герцог, – недовольно сказал молодой человек лет тридцати с лишним худощавый, стройный, даже довольно красивый, если бы только его правильного лица не портили глаза, светившиеся холодной жестокостью и подозрительностью, – позвольте, герцог, ведь вы, кажется, хотели представить нас, а вместо того сами занимаетесь разговором!

– Бога ради, простите, милый де Сартин, – спохватился герцог, – но ведь эта злая волшебница хоть кого с толка собьет! Позвольте представить вам, божественная, нашего генерал-лейтенанта парижской полиции, господина де Сартина!

Сартин в свою очередь приложился к милостиво протянутой руке и обменялся с Аделью несколькими изысканными фразами.

Вслед за ним Ливри назвал еще ряд фамилий, и в воздухе так и засверкали эффектные титулы, имена старейших французских родов.

Когда представления были закончены, Ливри снова повел речь.

– А теперь, дорогая мадемуазель Гюс, – сказал он, – позвольте мне от имени всех представленных вам предложить вам разделить с нами скромную трапезу после окончания спектакля: мы непременно хотим отпраздновать удачу вашего дебюта! Не томите же нас, божественная, удостойте согласием!

– Я очень благодарна вам, господа, – с милостивым кивком головы ответила Адель, – но...

Она остановилась, увидев, что дверь уборной распахнулась, пропуская новое лицо.

Это был молодой человек лет двадцати пяти, стройный, гибкий, одетый со всей изысканностью щеголя того времени. Его нежное, словно у девушки, лицо дышало умом и благородством, серые, полные веселой отваги глаза горели восторженным огнем.

– Ба, да это князь! – воскликнули присутствующие. Ответив им молчаливым кивком головы, князь подошел к Адели и с почтительным поклоном начал:

– Сударыня...

Но Адель царственным жестом остановила его и надменно кинула:

– Сударь, я не имею привычки говорить с незнакомыми людьми!

– Но ведь это – князь Дмитрий Голицын, посланник ее величества императрицы! – с каким-то испугом сказал де Сартин.

– Князь – посланник в своем посольстве, – холодно обрвала генерал-лейтенанта Адель, – здесь же вы все – только мои гости, прошу не забывать этого!

Девчонка играла в смелую игру! Я в то время сильно испугался за нее, но потом оказалось, что подобный тон сразу создал ей выгодную позицию: чем больше женщину уважают, тем она дороже стоит.

Князь Голицын, известный дипломат, ученый и писатель, был слишком умен, чтобы не суметь с честью выйти из создавшегося положения. Он почтительно поклонился Адели и обратился к Ливри со следующими словами:

– Не возьмете ли вы, дорогой герцог, на себя труд представить меня барышне?

Ливри охотно согласился на это.

Когда Голицын был представлен, он сказал:

– Извиняюсь, сударыня, если я ненамеренно оскорбил вас. Но ваши сотоварки, приезжающие к нам в Россию, да и те, которых я знаю здесь, не придерживаются подобной строго-

сти: у сцены имеются свои вольности. Однако, раз вы не хотите их допускать, это – ваше право, перед которым я преклоняюсь. Надеюсь также, что просьба, с которой я хотел обратиться к вам, не будет сочтена вами за оскорбление. Я хотел просить вас разрешить мне чувствовать ваш блестящий дебют...

– Ужином? – перебил его Ливри. – Ну нет, князь, мы уже опередили вас, и барышня выразила согласие. Если вы хотите присоединиться к нам...

– Но я еще не давала вам своего согласия! – перебила герцога Адель. – Я готова поехать с вами, но только при соблюдении неременного условия: без братишки, – она показала рукой в отдаленный угол, где стоял я, – я не поеду!

Я сильно перепугался. Что это еще за новая прихоть и что я буду делать среди всех этих блестящих господ? Правда, я – дворянин, но гений Вольтера значил больше любого дворянства, а не постеснялся же вот этот самый маршал де Роган приказать своим лакеям отдубасить Вольтера за одну неосторожную шутку! Правда и то, что тогда Вольтер позволил себе слишком много...

Ливри смущенно замялся, но маршал не задумываясь сказал, с легким кивком головы по моему адресу:

– Что же, если вы этого хотите, то мы ничего не имеем против общества господина Гюса...

– О, он на самом деле вовсе не брат мне! – со смехом сказала Адель. – Он мне даже и не родня: месье Лебеф – дво-

рянин и занимается юриспруденцией. Но я называю его бра-тишкой, потому что Гаспар очень много сделал для меня, и сегодняшним успехом я на три четверти обязана только ему!

Я слышал, как Голицын гневным шепотом сказал герцогу Ливри:

– Позвольте, да эта девчонка имеет смелость навязывать нашему обществу своего любовника!

– Поверьте моей старческой опытности, – ответил Ливри, – мужчина, состоящий на положении брата, никогда не будет для женщины ничем иным! Да и этот чертенок слишком умна, чтобы сделать такую глупость!

– Но тогда к чему же, – недоумевающе заметил князь, – к чему?..

– Девчонка знает себе цену; если бы ее мамаша была чуть поприличнее, она заставила бы пригласить ее...

Появление сценариста, звавшего Адель на сцену, положило конец перешептыванию.

Четвертый акт с поднятия занавеса застает Заиру на сцене, поэтому Адели надо было торопиться. Она кивнула обществу головой и сейчас же упорхнула.

Как только она ушла, я сейчас же подошел к присутствующим и вежливо и скромно сказал:

– Господа, я не знаю, какой новый каприз барышни Гюс заставил ее навязывать вам мое неподходящее общество, но поверьте, что это произошло помимо меня. Я постараюсь отговорить Адель от этой никчемной, да и тягостной для меня

прихоти.

Должно быть, в моем тоне было что-то располагающее, так как Голицын сейчас же подошел ко мне, протянул мне руку и, крепко пожимая ее, сказал:

– Общество дворянина не может быть тягостным для прочих дворян. Я буду очень рад, если вы не станете сопротивляться желанию барышни Гюс и разделите сегодня нашу компанию!

Вслед за Голицыным ко мне подошли и все остальные и тоже пожали мне руку. Могу прибавить, что впоследствии меня все в этом обществе полюбили. Конечно, были и недо-разумения, но о них в свое время!

На протяжении четвертого и пятого актов успех Адели не стал большим только потому, что это было уже невозможно. Но и с достигнутого во втором акте апогея он не сходил, так что все представление превратилось в сплошной триумф юной дебютантки.

Успех Адели был ясно подчеркнут и тем, что актрисы, бывшие очень любезными и благожелательными на репетициях, теперь сразу встали в холодно-враждебную позицию к ней. По крайней мере на предложение Адели принять участие в предложенном театрами ужине большинство актрис со змеиной иронией и низкими приседаниями ответило, что «где уж им, бездарностям, наслаждаться обществом такой гениальной актрисы!»

Это влило некоторую горечь в радость успеха: впереди

предстояла борьба с закулисными интригами, сгубившими уже не один талант.

Но отказались далеко не все. Добродушная Дюмонкур; легкомысленная, веселая женщина-мальчишка Фаншон; кокетливая ла Люцци, по прозвищу Кошечка; сентиментальная, бело-розовая, словно фарфоровая куколка, вечно страдающая от сердечных ран д'Олиньи – все они с радостью согласились отправиться вместе с Аделью: они были независтливыми потому, что их положение как в театре, так и в веселящемся обществе было достаточно прочно.

Ужин удался на славу. Решено было чем-нибудь отметить этот знаменательный день. Мужчины сложились и командировали повесу Жевра, сына парижского коменданта, за подарками для дам. Жевр за шиворот вытащил знакомого ювелира из постели, заставил его открыть лавочку и выбрал по изящному колечку для всех дам, кроме Адели, которой он привез большой серебряный бокал, куда сейчас же стали бросать золотые монеты.

Когда бокал наполнился до краев, его торжественно поднесли Адели.

В наполнении бокала особенно постарался князь Голицын, который опорожнил туда добрую пригоршню луидоров. Правда, среди золота на другой день попало также несколько серебряных монет, но это уж, наверное, было делом рук герцога де Ливри: старик был очень богат, но страшно скуп; его поставщики вечно жаловались на недобросо-

вестное оттягивание их грошей при расплате.

Ну, да что было говорить о каких-нибудь пяти серебряных монетах, когда Адели поднесли золотом маленькое состояние!

Так завершилось первое выступление Аделаиды Гюс на театральных подмостках, так закончился период формирования бутона этого могильного цветка. Отныне бутон будет все пышнее и пышнее разворачиваться в прекрасный, благоухающий, но – увы! – ядовитый цветок, которому удастся долее обыкновенного продержаться в роскоши полного расцвета, пока его лепестки, под внезапным порывом холодного ветра судьбы, не сморщатся и не развеются по пустынным и мрачным полям забвения!

Глава 3

Адель заснула никому неведомой девчонкой-замарашкой, а проснулась знаменитой талантливой актрисой. А в те времена – да думается мне, что и долго так будет, – слово «актриса» в переводе на общепонятный язык значило «общественное достояние». Еще актерам иной раз удавалось занять независимое, уважаемое положение в обществе: например, знаменитый балетмейстер Вестрис был принят как равный в лучших аристократических домах. Но актриса всегда оставалась «рабыней веселья», существом низшего порядка. Правда, и актриса могла играть большую роль и оказывать влияние на ход государственных дел, но это влияние исходило не от внутренних ее достоинств, а от чисто внешних: поведовала не актриса, а красивая женщина. А ведь на самом-то деле мир столь многим обязан деятелям сцены, что актеры и актрисы должны бы быть окружены всеобщим почтением: разве не со сцены общество воспринимало и воспринимает те идеи, которые более всего способствуют его облагораживанию, двигают вперед к идеалам добра? Но, видно, что-то роковое заложено в самой природе сценических деятелей, если даже революция, вызвавшая полную переоценку прежних взглядов и взаимоотношений, не коснулась подмостков, не внесла ничего нового в отношение общества к актерам.

Да, теперь Адель стала общественным достоянием, и это

сказалось уже на следующее утро после ее дебюта.

Мы, то есть Роза, Адель и я (я стал в последнее время частенько манкировать службой), сидели в будуаре новоявленной знаменитости и занимались подсчетом вырученных (вернее – подаренных) вчера денег, которые надлежало занести в графу прихода. Это была первая приходная статья, до сих пор фигурировали одни только статьи расхода.

В середине этого приятного занятия в будуар вошла Мари и доложила, что его светлость, герцог де Ливри, желает видеть барышню.

– Попроси подождать, – ответила Адель, – я не одета... Впрочем, постой, скажи, что я сейчас: очень надо стесняться с этой старой развалиной!

Накинув на полуобнаженные плечи шаль, Адель вышла из будуара в гостиную. Она неплотно притворила дверь, и с моего места можно было видеть все, что делалось там. Старуха Роза воспользовалась свободной минуткой и ушла хлопотать по хозяйству. Таким образом я мог на свободе заняться наблюдениями.

Герцог явился с огромным букетом цветов: эта любезность ему ничего не стоила, так как у него были собственные цветники и оранжереи. При появлении Адели он хотел было что-то сказать, но вид девушки в откровенном утреннем «неглиже» произвел на старого сластолюбца такое потрясающее впечатление, что де Ливри только открывал и закрывал рот, не будучи в силах сказать что-либо связное и разумное.

– Ах, как вы милы, герцог! – весело сказала Адель, принимая из рук растаявшего старца цветы. – Простите, что я выхожу к вам в таком растрепанном виде, но мне не хотелось заставлять вас ждать; да и мне кажется, что с вами-то я могу не стесняться!

– О, помилуйте! О каких стеснениях может быть речь! – обрел наконец де Ливри дар слова. – Наоборот, совсем наоборот! Ваша милая беззастенчивость дает мне повод прямо приступить к цели своего визита. Но позвольте мне присесть, дорогое дитя мое, и сядьте сами!

Они уселись.

Де Ливри подумал минутку, как бы собираясь с мыслями, и затем продолжал:

– Я отлично понимаю, что как мужчина я представляю очень мало интереса...

– О, ровно никакого! – беззаботно согласилась Адель.

– Вы откровенны, как ангел! – с довольно-таки кислой улыбкой заметил герцог и продолжал: – Конечно, опытная, зрелая женщина поняла бы, что это отнюдь не может быть препятствием для чего бы то ни было, потому что я – светский человек, располагающий весьма и весьма крупными связями, а это право же...

– К делу, герцог! – холодно оборвала его Адель, – все эти рассуждения я уже давно знаю!

Ливри сразу поперхнулся, замялся и, видимо, не знал, как подхватить прерванную нить: Адель своим пренебрежитель-

ным хладнокровием выбила его из колеи.

– Хорошо, – сказал он наконец, – я прямо перейду к цели своего визита. Видите ли, я уже не в тех годах, когда женщина является для мужчины предметом страстных грез, как бы она хороша ни была. Разумеется, из суетного тщеславия...

– Еще раз: к делу, герцог! – прежним тоном заметила Адель.

– Но позвольте, обожаемая, – с отчаянием крикнул Ливри, – не могу же я так просто приступить к тонкой цели своего визита. Прежде всего я хотел бы знать, не слушает ли нас кто-нибудь...

– Ровно никто! К делу, герцог, к делу! – нетерпеливо повторила Адель.

– Да, но то, что я собираюсь сказать вам, настолько тонко и важно, что мне хотелось бы иметь известную уверенность, что...

– Вот что, герцог, – решительно заявила Адель, – я еще раз говорю вам, что нас никто не слушает. Если же вам мало моего слова, то можете изъяснять цель своего визита вот этим самым креслам, а я уйду, чтобы привести себя в приличный вид. Ведь ко мне может прийти кто-нибудь поинтереснее вас, кого я не решусь принять в таком виде. Итак, начнете вы или нет? Нет? До свиданья!

– Боже мой, что за характер, что за ужасный характер! – простонал Ливри. – Да сядьте же, обожаемая, сядьте и выслушайте спокойно! Постараюсь быть кратким, насколько воз-

можно. Хотите занять самое высшее положение, какое только снилось французской женщине?

– Хочу, – лаконически ответила Адель.

– А вы отдаете себе отчет, какое положение может быть высшим для женщины?

– Мне кажется... – начала было Адель, но вдруг по ее лицу мелькнуло что-то вроде испуга; только теперь она поняла, куда клонит герцог.

Она встала, тщательно закрыла двери со всех сторон, и ее дальнейший разговор с Ливри происходил уже с соблюдением полнейшей тайны. Впрочем, для меня-то сущность их разговора не была тайной: будучи в курсе политических конъюнктур версальского двора и зная роль и характер Ливри, я с первых его слов понял, какую низость подразумевает он под «высшим» положением.

Вам может показаться странным, что я, маленький нотариальный клерк, с апломбом говорю о знании «политических конъюнктур» внутренней жизни двора. Но не забудьте, что все описываемое мною происходило на пороге великой революции, когда в народе чувствовалось особенно напряженное любопытство ко всем внутренним событиям двора. Трудно сказать, как удовлетворялось это любопытство: вернее всего, тут происходило то же самое, что бывает в отношениях знатных господ к прислуге. Ведь господа не стесняются показываться прислуге в самом откровенном беспорядке костюма. Разве прислуга – человек? Так чего же перед нею

стесняться! Вот народ и был такой же прислугой для придворных верхов того времени. И многое, что могли не знать высшие чины двора, с злорадством комментировалось в самых низкопробных кабачках Парижа.

Кроме того, именно мое положение нотариального клерка обеспечивало мне широкую осведомленность обо многих интимных сторонах жизни знати. В описываемую мною эпоху высшее дворянство было почти поголовно разорено, пробавлялось исключительно королевскими подачками и вечно обращалось с займами к богатой буржуазии. Последняя знала, что с дворянчиков в сущности «взятки гладки», но в деньгах все-таки не отказывала: если и не получишь обратно долга, зато можно добиться от должника какой-нибудь синекуры, поставки, хлебной должности, а то и лестного отличия – до возведения в дворянское звание включительно. Поэтому богатые буржуа, прежде чем дать просимую ссуду, обыкновенно обращались к своему нотариусу за справками. Это обязывало нотариуса быть постоянно в курсе придворных интриг, чтобы знать, прочно ли положение такого-то и, наоборот, действительно ли близко падение такого-то.

В сущности, в то время центром всей этой придворной борьбы была личность маркизы де Помпадур. Французская история богата именами влиятельных фавориток, но такой, как маркиза, не было ни до нее, ни после. Обыкновенно власть и влияние фаворитки кончались с прекращением ее женского обаяния. А Помпадур уже давно была самым наи-

платоничнейшим другом короля, тем не менее все попытки подорвать ее власть неизменно терпели крушение. Главной причиной этого была поразительная гибкость характера маркизы – гибкость, доходившая до полного отсутствия женского самолюбия и чести (Читателю, интересующемуся этой стороной жизни и деятельности маркизы де Помпадур, предлагаем обратиться к роману того же автора «В чаду наслаждений», изд. А.А. Каспари.). Заметив, что король пресытился ее прелестями, маркиза стала выискивать и поставлять ему других, более юных красавиц. Если она замечала, что новая симпатия короля грозит пустить глубокие корни, «заместительница» немедленно устранялась добром или насилием, причем в ход пускались и клевета, и кинжал, и яд. Король ничего не жалел для такого незаменимого «друга», и потому положение маркизы оставалось прочным даже тогда, когда другим королевским фавориткам приходилось сходить со сцены.

Герцог де Ливри был одним из ожесточенных врагов маркизы де Помпадур. У них были старые счеты: маркиза когда-то больно ударила герцога по самой слабой стороне его характера – тщеславию. С тех пор Ливри вел беспощадную войну с фавориткой и искал только случая подставить ей ножку. Еще недавно он сумел поселить в душе короля тень сомнения и недоверия к маркизе, тонко намекнув на то, что все красавицы, пришедшиеся королю по нраву, непременно плохо кончали. Теперь, пользуясь наступившим охлаждени-

ем короля, охлаждением, которое, как он знал, долго не продержится, Ливри хотел подсунуть Людовику такую женщину, которая могла бы окончательно парализовать и уничтожить влияние Помпадур.

В этом для него было не только удовлетворение жажды мести, но и дань тщеславию, которое, как я уже упоминал, преобладало в характере старика.

Несмотря на то, что, широко пожив в юности, Ливри уже добрых пятнадцать лет восхищался женщинами совершенно платонически, несмотря на то, что он был очень скуп, он продолжал бегать за выплывавшими на полусветское небо Парижа звездами и иной раз щедро одаривал их: ему нужно было, чтобы говорили, будто «Ливри опять победил такую-то!». Благодаря Адели герцог рассчитывал занять при Людовике особо привилегированное положение, так как она казалась ему вполне подходящей по своим нравственным и физическим качествам, чтобы глубоко заинтересовать сластолюбивого короля.

Вот об условиях, на которых Адели будет оказана широкая помощь для достижения «почетного» положения королевской фаворитки, и беседовали они при тщательно закрытых дверях.

Их разговор затянулся на целый час; расстались они вполне довольными друг другом.

Не успел Ливри уйти, как один за другим потянулись новые визитеры. Теперь Адели пришлось уже одеться, так как

не всех же можно было принимать в таком виде, как Ливри.

И кого-кого только не перебивало в этот день у Адели! Надменный аристократ низко кланялся этой уличной девочке и в изысканных фразах говорил о том, что готов был бы все, что имеет, сложить к ногам красавицы. Драматург с подобострастной услужливостью преподносил перевязанный розовой ленточкой экземпляр своей трагедии, которой «не сможет не оценить такая выдающаяся артистка». Художник домогался чести осчастливить мир портретом Аделаиды Гюс. Видный коммерсант с грубостью истинного денежного мешка спрашивал, что будет стоить благосклонность барышни, если ее монополизировать, и сколько в том случае, если он будет смотреть сквозь пальцы на ее шалости. Худой, скользкий, бледный иезуит убеждал Адель, что с такой наружностью, какую послал ей Господь, она может деятельно послужить «к вящей славе Божией» (как ее понимают господа иезуиты, разумеется!). Ученый-энциклопедист доказывал, что Адель как дитя народа должна отдать этому народу все свои силы, причем чувствовалось, что это служение легче всего осуществить в прочном союзе с ним, ученым. Словом – чем бы ни прикрывались визитеры, каким бы флагом ни прикрывались их речи, а основным мотивом их визита все-таки оставалась жажда обладания Аделью, как красивой женщиной, основанная на непреложности житейского афоризма, гласящего, что служение драматическому искусству равносильно для женщины полной общедоступности.

Из всех визитеров этого дня мне с особенной яркостью помнится князь Голицын. Он тоже явился с букетом цветов. Правда, его букет был меньше букета де Ливри, но зато стебли цветов охватывал массивный золотой браслет, осыпанный крупными рубинами. Если бы Адель была более чуткой, ее тронула бы эта чисто рыцарская манера преподносить ценные подарки. Но она была хищницей по натуре, да и перспективы, открывшиеся ей из разговора с де Ливри, слишком вскружили ей голову. Поэтому, когда Голицын с чарующей прямоотой спросил ее: «Я пришел спросить вас, могли бы вы полюбить меня?» – она ответила, небрежно играя кистями диванной подушки:

– Друг мой, это – странный вопрос. Я должна сначала знать, что вы можете дать мне за мою любовь!

– Себя! – пылко воскликнул Голицын. – Всего себя, вместе с безграничным обожанием и преклонением перед вашей чарующей божественной красотой!

– Ну, с таким скромным даром вам лучше бы обратиться к какой-нибудь мещаночке, которая сидит и ждет, пока за ней придет сказочный принц (Игра слов; по-французски «князь» и «принц» выражаются одним словом.), – с пренебрежительной улыбкой кинула Адель. – Нет, милейший князь, я держусь того мнения, что у мужчины должен быть более ценный балласт, чем одна только красивая наружность!

– Ну, тогда об этом нечего больше и говорить, – решительно ответил Голицын. – Видите ли, сударыня, тот ценный

балласт, о котором вы упомянули, имеется у меня в таком количестве, какого сейчас, пожалуй, не найдется даже у самого христианнейшего короля Людовика XV. Я очень богат, но мне кажется, что меня можно бы любить и бескорыстно. Я достаточно молод для этого!

– Ну, вот видите, милый князь, как мы сходимся с вами во взглядах! – с беззаботной улыбкой возразила Адель. – Вы находите, что вы достаточно молоды и привлекательны для того, чтобы вас могли любить даром, а я нахожу, что я достаточно молода и привлекательна для того, чтобы могла любить не даром. Придется нам с вами подождать, пока или я постарею до бескорыстной любви, или вы постареете до любви корыстной!

– Ну, что же, подождем! – ответил Голицын, вставая и прощаясь с Аделью.

После его ухода Адель отстегнула браслет от стеблей роз, принесла его в будуар, примерила, с некоторым сожалением сняла и положила на стол, где уже была груда подарков всякого рода.

Помолчав немного, она сказала:

– Насколько мне кажется, «проклятая» сделала весьма недурное дельце!

Я приближаюсь в рассказе к тому кардинальному пункту, которому суждено было стать поворотной точкой во всей моей дальнейшей судьбе. Как знать, не подвернись Адели услужливый де Ливри и не привлеки Адель вместе с инте-

ресом сильнейшего мира сего опасения его сильнейшей подруги, она не так скоро рассталась бы с Францией, а я в течение этого времени сумел бы справиться со своей губельной страстью, полюбил бы более достойную женщину и...

Но что говорить о том, что было бы возможным, раз в действительности эта возможность потерпела полное крушение!

Но, как часто бывает на свете, именно об этом важном периоде я знаю меньше всего. Вся совокупность причин разыгрывалась, так сказать, за «кулисами» моей жизни, причем и я, и Адель, по непонятной стыдливости, избегали много говорить друг с другом о том времени. Поэтому могу передать вам о всем случившемся лишь в кратком пересказе.

План, детально разработанный хитрым де Ливри, был осуществлен во всех подробностях. Король побывал с герцогом инкогнито в театре, по окончании представления во дворце герцога был устроен веселый ужин на три прибора, где король имел возможность поближе разглядеть Адель. Она произвела на августейшего селадона неотразимое впечатление, и на следующий вечер карета доставила юную сирену в Охотничий павильон – небольшой домик Оленьего парка (в Версале), где неизменно происходили свидания короля с понравившимися ему женщинами.

Таким образом все шло согласно с предположениями герцога. Однако он не знал, может быть, самого важного: того, что маркиза де Помпадур, имевшая в своем распоряжении целую армию искусных шпионов, была с самого начала

осведомлена о затеянной интриге и уже предприняла свои шаги, чтобы парализовать попытки врагов. Для этого она пустила в ход очень верное и совершенно новое оружие.

Но в том-то и была сила маркизы де Помпадур, что она никогда не пользовалась одним и тем же оружием, а всегда считалась с индивидуальной особенностью личности или положения соперницы. Всякое насилие над такой популярной актрисой, какой стала Адель, могло обратиться против самой же маркизы; контринтриги или клеветы было недостаточно. Надо было придумать что-нибудь новое, и это новое было пущено в ход уже на другой день после того, как Адель побывала в Охотничьем павильоне.

Мне пришлось первому узнать о затеянной маркизой интриге, и вот как это случилось.

Был дивный весенний вечер. Весь день я был сам не свой, еле сидел в конторе, не будучи в состоянии сосредоточиться на деловых бумагах и отогнать от себя соблазнительный образ Адели, переполнявший мою душу бесконечным отчаянием безнадежной страсти. По мере того, как приближался вечер, эта тоска все возрастала; она достигла своего апогея в тот момент, когда Адель с иронической улыбкой вышла из дома, чтобы отправиться на свидание к венценосному покровителю. И когда я слышал стук колес отъезжавшей кареты, я почувствовал, что в данный момент способен на все, что долее я не могу так жить, что лучше самая бесславная смерть, чем это вечное сгорание на медленном огне...

Я схватил шляпу и, словно безумный, выбежал на улицу. Теплый, влажный воздух был напоен ароматами распускающейся зелени, и пряная волна бесслезной судорогой сжимала сердце. На каждом шагу попадались парочки, стыдливо жавшиеся в тени; из благоуханной тьмы садов доносились ласковый шепот, нервный, стыдливый смех и звуки поцелуев. Весна справляла свой пышный пир, вся природа праздновала великое торжество таинства возрождения, и только я один скитался, словно отверженный дух в безумии тоскливого одиночества.

Я бежал по улицам, не отдавая себе отчета, куда и зачем бегу. Не знаю, сколько времени носился я таким образом по городу. Наконец я очутился на каком-то мосту. Силы сразу оставили меня; я в изнеможении облокотился на парапет и с безумным отчаянием всматривался в мрачно журчащие темные воды вспухшей Сены.

Безумной скачкой проносились в голове клочки воспоминаний. Детство, милый Лориен, дядя-аббат... Париж, тихая жизнь, Сесиль, падение... Маленькая капризная девочка, ставшая вампиром моей души... Но ведь я люблю ее, эту холодную, разнузданную эгоистку, я жить не могу без нее! Но жизнь ли – то, что дано мне судьбой в настоящем? Вечно гореть, вечно стремиться, никогда не достигать, видеть, как на каждом шагу это стремление опозоривается, подвергается глумлению и надругательствам...

И вдруг мой мозг кровавым факелом осветила внезапная

мысль:

«Если жизни нет, зачем довольствоваться суррогатом; если будущего нет, зачем без протеста отдаваться этому томлению?»

Не успела эта мысль сверкнуть во мне, как темные воды бурливой Сены показались мне таким избавлением, таким отрадным убежищем, что, не рассуждая далее, я пригнулся, собираясь одним скачком в воду положить предел своим сомнениям.

Но в этот момент чья-то сильная рука вдруг властно легла на мое плечо, и знакомый звучный голос иронически сказал:

– Друг мой, считаю долгом обратить ваше внимание, что вода довольно холодна и можно схватить насморк!

Это неожиданное противодействие вызвало во мне сильную реакцию, и минутное возбуждение вдруг сменилось таким упадком сил, что я, словно связка мокрого белья, съехал на землю и затрясся в истерических рыданиях. Словно в тумане я видел, как ко мне склонилось встревоженное лицо князя Голицына, который взволнованно заговорил:

– Боже мой, да ведь это – вы, месье Лебеф! Что же случилось? В чем дело? Да успокойтесь, Бога ради! Ну, будьте мужчиной!

– Зачем, зачем вы помешали мне? – рыдал я. – Поймите, что смерть – благо в сравнении с той жизнью, которую я веду! Мне жить нечем, сердце по кусочкам разорвано, в душе живого места нет от вечных ран... Оставьте меня, дайте мне

возможность умереть, и вы сделаете величайшее благодеяние!

– Полно, полно, милый друг! – возразил князь, бережно поднимая меня с земли. – В нашем с вами возрасте еще не бывает таких ран, которые не могли бы зажить. Зачем пускаться на непоправимый шаг? Покончить с собой вы всегда успеете, это от вас не уйдет. Но сначала надо попытаться дать отпор злой судьбе. Что за нелепость! Сдаваться, не поборовшись как следует! Оправьтесь-ка, друг мой, и пойдем со мной в ближайший кабачок, где за стаканом вина мы можем поговорить о вашей горе. Быть может, я сумею пригодиться вам... Ну, ну, овладейте собою! Не бойтесь, опирайтесь сильнее на меня! Вот так! Ну, вперед, друг мой! Раз, два...

Около моста был кабачок «Серебряной Розы». Князь привел меня туда, усадил в укромном уголке, потребовал вина и, когда я несколько оправился, ласково расспросил меня обо всем.

Я был слишком слаб, чтобы долго сопротивляться его желанию, и откровенно рассказал ему всю историю своих отношений с Аделью, всю трагедию моей злосчастной любви.

– Теперь вы видите сами, – закончил я, – что мне лучше умереть. Ведь вся беда в том, что моя воля сломлена навсегда. Другой на моем месте уехал бы из Парижа или по крайней мере переехал бы в другой конец города, а я сделать этого не могу. Но постоянно жить в такой близости и быть таким

далеким, вечно видеть перед собой счастливых соперников, быть безвольной игрушкой в руках бессердечной кокетки... Нет, нет! Лучше умереть!

– Ну, а если бы она уехала, из Парижа, могли ли бы вы сбросить с себя ее гнет? – спросил Голицын.

– Мне кажется, да, – ответил я. – Конечно, на первых порах было бы тяжело, но...

– Ну, вот видите! – воскликнул князь, – значит, я был прав, когда говорил, что вам рано отчаиваться! Успокойтесь, милый мой, ваша Адель уедет, скоро уедет из Парижа!

– Но куда же? – с удивлением спросил я. – И как можете вы знать об этом?

– Собственно говоря, – несколько нерешительно ответил Голицын, – собственно говоря, это составляет... до некоторой степени... государственную тайну. Ну, да все равно: завтра-послезавтра об этом уже будет известно всем, так что если вы узнаете днем раньше, то большой беды не будет. Дело в следующем. Маркиза де Помпадур с самого начала интриги барышни Гюс с королем следила за ними. Гюс слишком опасна, маркизе надо было во что бы то ни стало отстранить соперницу. Вот она и решила устроить ей принудительный ангажемент где-нибудь далеко за границей. Для этого она воспользовалась тем затруднительным положением, в котором оказалась моя всемиловитейшая повелительница императрица Екатерина. Беспорядки прошлых царствований разорили русскую казну, ослабили военную мощь моей родины.

Вступив на трон, императрица увидела, что с севера ей грозят шведы, с запада поляки ведут себя более чем вызывающе, с юга турки собираются напасть на Украину. Мне было поручено укрепить нашу дружбу с Францией, так как Россия должна быть гарантирована союзами с великими державами, дабы можно было заняться поднятием внутренней мощи и благосостояния страны. Вам, конечно, известно, что вся внешняя политика вашей страны находится исключительно в руках маркизы де Помпадур. Маркиза обещала мне полную дружбу и помощь Франции, если я устрою приглашение Аделаиды Гюс в Петербург. Мне это было не трудно сделать: императрица уполномочила меня пригласить в Россию несколько талантливых актеров и актрис. Наш договор был заключен – не сегодня завтра Гюс подпишет контракт и уедет в Петербург!

– Но она может и не согласиться! – сказал я, пораженный услышанным. – Здесь у нее имеются слишком значительные интересы!

– Э, полно, друг мой, – возразил мне Голицын, – с такими особами, как маркиза, борьба невозможна! Гюс достаточно умна и поймет, что уехать в ее интересах. А если она все-таки заупрямится... боюсь, милый мой, что тогда ее песенка окончательно спета!

Мы еще долго проговорили с Голицыным. Я вернулся домой значительно успокоенным: весть о скором отъезде Адели непонятным образом сняла громадную тяжесть с моей

опечаленной души!

На другой день, возвращаясь из конторы, я шел к себе в комнату, насвистывая какую-то бравурную арию. Вдруг в коридор выкатилась квадратная фигура мамыши Гюс и с комическим испугом замахала на меня руками.

– Да что вы, о двух головах, что ли, месье Гаспар! – зашептала она. – С каким шумом идете! И это после вчерашнего-то!

– Разве что-нибудь случилось? – испуганно спросил я.

– Ах да, ведь вас вчера не было! – ответила она. – Уж не знаю, что случилось, только вчера наша принцесса Трапезундская вернулась из Версаля не солоно хлебавши. Как я поняла, король даже видеть ее не пожелал... Уж не знаю, сама ли она тут виновата, или враги ей ножку подставили, только приехала она темнее тучи, отхлестала бедную Мари по щекам, в меня пустила стаканом, и такое тут у нас представление вышло, что хоть святых вон выноси! Я полночи прислушивалась, как она, словно тигрица в клетке, по своей комнате расхаживала; под утро она наконец успокоилась, улеглась... Недавно вскочила и отправила Мари с письмом к герцогу де Ливри. Попробуй-ка, посвисти тут около нее! Она тут такого пропишет, что не обрадуешься! Я-то рада, что она опять прилегла и притихла, по крайней мере...

Тут дверь на половину Адели открылась, и показалась ее нечесаная рыжеватая головка.

– Это ты, Мари? – спросила она. – Ах, братишка пришел!

Поди ко мне, Гаспар, мне надо серьезно поговорить с тобой!

Я направился к ней: движимая любопытством мамаша хотела последовать за мной, но Адель так и напустилась на нее, злобно крикнув:

– Ты-то чего лезешь? Я тебя разве звала?

– Ну вот! – обиженно возразила Роза. – Я тебе мать или нет!

Адель распахнула дверь и, даже не давая себе труда удерживать на груди мятую ночную кофточку, со сжатыми кулаками напустилась на старуху.

– Ты мне мать на то, чтобы отбирать мои деньги и подарки! – бешено закричала она, – а больше тебе ни до чего дела нет! Слышала? Ну и убирайся ко всем чертям, проклятая!

Чтобы помешать этой дикой сцене разыгаться в новую ссору, я поспешно отстранил старуху, прошел за Аделью в ее будуар и притворил за собой дверь.

Адель кинулась в кресло, заплакала, покусывая свои тоненькие пальчики, и затем сказала:

– И понимаешь – главное, что эта старая обезьяна Ливри даже не торопится прийти теперь на мой зов!

– Ровно ничего не понимаю! – отозвался я, пожимая плечами. – Сестренка, да ведь ты с конца рассказываешь! Не начать ли тебе с начала?

– Ах да, ведь тебя вчера не было! Ну, да если я даже по порядку все тебе расскажу, едва ли ты что-нибудь поймешь! – сказала Адель, нервно разрывая зубами тоненький батисто-

вый платок. – Вот послушай, что со мной вчера случилось!

Оказалось, что вчера, когда Адель по обыкновению ехала в Версаль на условленное свидание с королем, около Сэн-Клу карету остановил небольшой эскорт всадников, предводитель которых с галантным поклоном попросил «la tres honoree et estimable dame» (Высокочтимую и уважаемую госпожу.) уделить ему одну минуту внимания.

Удивленная Адель пожала плечами и спросила, в чем дело.

Тогда кавалер сказал ей:

– Моя госпожа, tres haute et tres puissante Dame, duchesse marquise de Pompadour («Очень высокая и очень могущественная госпожа, герцогиня маркиза де Помпадур» – таков был титул королевской фаворитки после пожалования ей в 1752 году «права табурета». Это право приравнивало маркизу почти к членам королевской фамилии. Она могла официально сидеть на королевских выходах, проникать во все внутренние дворы Лувра и Версаля, обязательно присутствовала на всех церемониях; кроме того, ее экипажи и ливреи ее слуг имели цвета и гербы королевского дома.), поручила мне передать вам следующее. Пользуясь своей привлекательной наружностью, вы вздумали играть на руку врагам маркизы и интриговать против ее влияния, которым она пользуется по праву и по совести для славы Франции. Понимая, что вы явились в данном случае простой игрушкой в чужих руках, и уважая ваш выдающийся талант, маркиза не

хочет принимать против вас решительных мер. Но она ждет, чтобы за это вы склонились перед необходимостью, отказались от попыток видеть короля и покорно приняли предложение, которое в скором времени будет сделано вам от имени посла иностранной державы. Если вы разумно внимаете этому дружескому увещанию, то будете отпущены с почетом и богатым подарком. Но при малейшей попытке к сопротивлению воле моей госпожи вас ждут такие неприятности, которые испортят вам всю дальнейшую жизнь, если только последняя будет оставлена вам!

Как ни растерялась Адель от этого неожиданного реприманда, она нашла в себе достаточно присутствия духа и такта, чтобы ответить, что, даже не помышляя о сопротивлении воле такой могущественной и досточтимой госпожи, она все же не может отказаться в данный момент от намерения продолжать свой путь, потому что такова воля короля, чтобы она, Гюс, явилась сегодня в условленный час и место, а подчинение королевской воле для верноподданного является высшим долгом, заставляющим забывать о каких-либо личных выгодах или опасностях.

В ответ кавалер снял шляпу, низко поклонился и заметил, что хотя сегодня попытка Адели свидеться с королем и будет бесполезной, но, уважая справедливость ее довода, он не будет чинить ей препятствия и только вынужден будет эскортировать ее, чтобы предохранить его величество от попытки Адели повидаться с королем против его воли.

Действительно, Адели не пришлось увидеть короля. Один из помощников старшего камердинера короля, Лабрус, взволнованно рассказал Адели, что его величество опасно занемог, что призванный врач не нашел в этом заболевании никаких физических причин, объяснив его нездоровым влиянием, которое флюидически оказала на короля особа, более всего «занимающая мысли его величества в данное время». Разумеется, Адель сразу поняла, что все это заболевание является следствием планомерной контринтриги маркизы, но что же было делать?

Пришлось уехать домой ни с чем!

– Но ты можешь себе представить, братишка, – взволнованно закончила Адель, – в каком угнетенном состоянии я нахожусь теперь! Подумать только: все шло так хорошо, король все более пленялся мною, становился мягким воском в моих руках, и в тот момент, когда я была уже в двух шагах от головокружительной высоты, мне вдруг говорят: «Пожалуйста обратно вниз!»! Но я не подчинюсь, ни за что не подчинюсь! – истерически крикнула девушка. – Уж мы с Ливри что-нибудь придумаем, мы свяжем по рукам и ногам эту пронырливую интриганку! Да вот не идет эта старая обезьяна, хоть я и просила его сейчас же приехать ко мне. А без Ливри ни один человек в мире не может объяснить мне, в чем тут дело и что это за предложение, о котором говорил посланный маркизы!

– Ну, что касается последнего, то тут я могу дать тебе все

необходимые разъяснения, – ответил я.

– Ты? – с недоверчивым удивлением отозвалась Адель. – Да что можешь знать об этом ты?

– Я видел вчера вечером Голицына, Адель! – сказал я. – Он рассказал мне, что маркиза обусловила дружественную помощь Франции русской императрице Екатерине приглашением тебя на службу в Петербург. Не сегодня завтра князь принесет тебе официальное приглашение от петербургского двора и контракт.

– Ах, вот оно что! – вне себя от бешенства крикнула де-вушка. – Ну, так дудки, этот фокус со мной не удастся! Я не позволю играть собой, не уеду в страну белых медведей! Поборемся еще! Ливри пользуется неограниченным доверием короля; посмотрим, как отнесется его величество к недостойной проделке этой гадины маркизы! Уж Ливри найдет средство, поверь!

Появление горничной Мари было словно providенциальным ответом на выраженную уверенность Адели.

Запахавшаяся от быстрой ходьбы Мари взволнованно затараторила:

– Барыня, несчастье-то какое! Ведь нашего-то герцога сегодня отправили в ссылку в нормандские поместья!

– Как? – дико крикнула Адель. – Не может быть! Но за что?

– Вот потому я и задержалась, барышня, что хотела узнать, в чем тут дело, – ответила бойкая камеристка. – Ни-

кто ничего толком не знает, хотя прислуга и говорит, что герцога обвинили в злоумышлении на жизнь и здоровье его величества и, только принимая во внимание его возраст и прошлые заслуги, не отправили в Бастилию, а сослали на безвыездное жительство в Нормандию.

– Уйдите все! – простонала Адель, с рыданием кидаясь обратно в кресло, с которого она вскочила при ошеломляющем известии, принесенном горничной.

Я ушел к себе в комнату и долго ходил взад и вперед. Внутри у меня происходила сложная борьба чувств. Я и радовался своему освобождению, и боялся его. Мне казалось диким и невозможным даже подумать, что я буду жить вдали от Адели. И все же на душе у меня было несравненно покойнее и легче, чем, например, вчера, когда я в диком неистовстве носился по городу.

Адель была достаточно умна и рассудительна, чтобы примириться с создавшимся положением. Правда, ее самолюбие сильно страдало, но она сознавала, что самолюбию будет нанесен еще более чувствительный удар, если она рискнет вступить в открытую борьбу с маркизой и потерпит в ней решительное поражение. Конечно, эта борьба была возможна; у маркизы было достаточно врагов, и каждый из них с удовольствием помог бы Адели увидаться с королем, чтобы попытаться разорвать сеть сплетенной вокруг них интриги. Но будет ли какой-нибудь результат от этого? От маркизы

с ее дьявольской осведомленностью не удастся скрыть это свидание, а она уже доказала, насколько ее ум изобретателен в средствах отпора. И ведь мало того, что сам исход борьбы сомнителен, даже и результат победы далеко не ясен. На что сильны влияние и власть маркизы, и то ей приходится все время ограждать себя от интриг врагов. Может ли она, Адель, рассчитывать, что с равным успехом отразит все попытки придворных вытеснить из сердца короля новую возлюбленную, чтобы навязать ему другую фаворитку?

Так ради чего же ей рисковать! Она еще молода, только что вступила в жизнь, которая широко раскрыта перед ней. Нет, лучше уж сделать веселое лицо при грустной игре и попытаться как можно лучше использовать те шансы, которые предоставляются ей теперь.

Немалую роль в этом благоразумном решении сыграли рассказы старухи Гюс. Как уже знает читатель, Роза в свое время достаточно пошаталась по белу свету и некоторое время жила в России по времена покойной императрицы Елизаветы. По словам Розы, нигде в мире не ценят так женщину, как в этой полудикой стране. Правда, при царящей там грубости нравов нечего и ждать от русского барина такого рыцарского уважения к женщине, каким отличаются французы. Русские разнузданы в своих страстях и способны из-за каждого пустяка пустить в ход кулак или плетку. Зато ни один жантильом в мире неспособен с такой широтой и размахом опрокинуть над головой избранницы рог изобилия

всяческих щедрот. К тому же и богаты эти русские, просто дух захватывает! В два-три года разумная женщина может составить там целое состояние!

Хотя все эти рассказы и дали Адели лишний повод язвительно вышутить мать: «Она-де, видно, не отличалась и смолodu разумностью, потому что состояния себе там не составила», но они все-таки произвели свое впечатление. Поэтому, когда Голицын явился к девушке с официальным предложением поступить во французскую труппу «Императорского Эрмитажа» в Петербурге, Адель ответила, что в принципе она согласна, но только просит оставить ей дня на два проект контракта, чтобы она могла основательно ознакомиться с его пунктами и взвесить их выгодность.

Голицын был у Адели утром, когда я находился в конторе. Не успел я вернуться домой, как веселый голосок Адели уже звал меня к ней в будуар, где они с мамашей Гюс тщетно пытались разобраться в бумаге, написанной малоознакомым женщинам сухим юридическим языком. Всевозможные «оные» и «вышеупомянутые» приводили девушку в полное отчаяние и совершенно сбивали с толка.

Я быстро растолковал ей все непонятные пункты и указал, что контракт составлен очень благоприятно, предоставляя ангажируемой большие преимущества по сравнению с ангажирующей стороной. Уходя, я обернулся в дверях и сказал:

– Советую тебе, Адель, основательно ознакомиться со

всеми этими деловыми выражениями. Ведь ты, наверное, блестящим метеором пронесешься по всем крупным европейским сценам, а ведь рядом с тобой может и не оказаться человека, который добросовестно и бескорыстно поможет тебе разобраться в юридическом лабиринте контрактов!

– Ну вот, а ты? – с удивлением кинула девушка.

– Но ведь я-то остаюсь здесь! – с грустной улыбкой возразил я.

– Ах, черт возьми, да ведь это у меня совсем из головы вон! – растерянно пробормотала девушка и тотчас прибавила: – А знаешь, мать, ведь нам с тобой без братишки будет совсем плохо!

Мать ответила ей многозначительным взглядом и шепнула ей что-то, от чего Адель громко фыркнула. Уходя, я слышал, как Роза наставительно сказала дочери:

– погоди фыркать-то, а лучше подумай над моими словами!

Что они говорили дальше, я не расслышал, так как не придал этому разговору никакого значения.

Однако в следующие дни мне пришлось невольно заметить, что мать и дочь серьезно и усиленно совещаются о чем-то. Иногда до меня долетали обрывки фраз, теперь совершенно ясные, но в то время казавшиеся какой-то абракадаброй. Я понимал только, что Адель туго соглашалась с доводами матери, но что это были за доводы? Я привык не спрашивать о том, о чем мне добровольно не говорили, собствен-

ным же умом добраться до смысла этих загадок казалось совершенно невозможным.

Да и как было понять, например, следующее:

– Милая моя, излишнюю щепетильность надо заранее отбросить: мало ли кто еще тебе будет попадаться!

– ...Одной преданностью давно заслужил, а тебе-то, в сущности, что это стоит?

– Полно, милая моя, ночью все кошки серы!

– Вот не думала, что ты – такая дура! Человек как человек! Что-то ты не больно до сих пор искала любви. А раз уж из-за выгоды, то, с какой стороны эту выгоду ни возьми...

И так далее, и так далее в том же роде.

Эти фразы вызывали во мне некоторое удивление, но интересовали очень мало: я был всецело полон мыслью о предстоявшей разлуке с Аделью и бережно баюкал в душе тихую, лирическую грусть о грядущем одиночестве. Эта грусть была болезненно дорога мне. Она не поднимала в сердце бури, нет, полное спокойствие воцарилось у меня в душе... увы! – ненадолго.

Вскоре Адель совершенно переменила свое обращение со мной. Резкая, повелительная, бесцеремонная до этого, теперь она стала тихой, ласковой, внимательной. Она искала случая побыть со мной, частенько заходила ко мне в комнату, подсаживалась, брала мои руки в свои, по-детски прижималась и говорила трогательным голосом о том, как ей грустно думать, что придется скоро жить без милого-милого

братишки. И весь мой так трудно доставшийся покой быстро улетел под влиянием ее дразнящих ласк, ее обволакивающих, манящих интонаций.

И снова кровь огненным ключом билась в виски, снова вихревая страсть кружила голову...

Бежали сутки, и все труднее становилось мне обуздывать зверя, пробудившегося в крови с неукротимой силой. Мои ночи превратились в хаос страстных кошмаров, мои дни – в пытку общения с Аделью. А она, словно не замечая моих мук, все усугубляла свою нежность, все беспощаднее жгла меня томными взглядами голубых глаз. Я чувствовал, что недолго выдержу, что давно таящаяся страсть должна будет прорваться, и этот взрыв может вылиться в очень непривлекательные формы. Я пытался отстраниться от Адели, но, чем сильнее было воздействие ее ужимок и ласк, тем настойчивее льнула она ко мне. И наконец то, чего она так долго добивалась, случилось!

В этот день я пришел из конторы позже обыкновенного. Я нарочно придумал для себя экстренную работу, потому что мне страшно было возвращаться домой. Накануне Адель весь вечер просидела со мной на диване, близко прижимаясь ко мне и положив головку мне на плечо. При этом она жаловалась на свою судьбу, которая, наделив ее красотой, не дала возможности пользоваться молодостью. Правда, мужчины домогаются ее, они готовы наперебой сложить у ее ног свое состояние, но ведь так противно отдаваться не любя!

А ведь ей страстно хочется любить и быть любимой! Стоят такие чудные дни, весна так щедро и пышно осыпала природу своими дарами, и как хорошо было бы теперь бродить, взявшись за руки, с милым другом в каком-нибудь старом парке за городом! Потом вернуться домой – в простенький деревенский дом, единственным убранством которого являются цветы... Вернуться и знать, что тебя сейчас приласкает тот, кто тебе дороже всего на свете и кому ты тоже дороже всего... Приласкаться самой и забыться... О, какое неземное блаженство пожить так хотя бы дня два!

Мне стоило нечеловеческих усилий сдержаться и не смять Адели в бешеных объятиях. Но я чувствовал в то же время, что это последняя капля сил и что, повтори Адель такую сцену и в этот день, я не в силах буду обузывать долее зверя пламенеющей страсти. Вот почему я так медлил с возвращением домой и с таким страхом брался под вечер за ручку двери нашего дома.

Адель, видимо, ждала меня и, услышав мои шаги, выбежала ко мне навстречу, причем без дальних слов попросту бросилась мне на шею.

– Братишка! – радостно визжала она. – Как я счастлива, как я довольна! Иди ко мне, что я тебе покажу! – и с этими словами она потащила меня за руку в будуар, где на столе искрилась всеми цветами радуги бриллиантовая диадема, стоимостью не в одну тысячу экю (Экю по нынешнему курсу около четырех рублей.), а рядом белел кусок бумаги. И то,

и другое составляли предмет радости и гордости Адели: бумажка при внимательном рассмотрении оказалась письмом маркизы де Помпадур, в котором королевская фаворитка сообщала, что его величество был огорчен вестью об утрате, постигающей французскую сцену с отъездом такой даровитой артистки, и шлет ей вместе с монаршим благоволением маленький подарок. В тоне письма ясно чувствовалось, что этот подарок сделан по представлению и выбору самой маркизы и что это самое обыкновенное «отступное», почти даже незамаскированное. И во фразе, в которой маркиза желала Адели и впредь не терять свойственного ей благоразумия, слышалась скорее ирония, чем желание сказать любезность.

Но для таких тонкостей Адель была недостаточно чутка, и подарок искренне приводил ее в восхищение.

– Нет, ты подумай, братишка, – тормошила она меня, – ты только подумай, вот это я называю поступить по-королевски! Мало ли у его величества было таких, как я! Что я для него – пестрая бабочка, на миг залетевшая в комнаты. Но эта бабочка хоть на мгновение доставила королю отраду, хоть на мгновение усладила его жизнь, и он уже не способен взвешивать и считать! Ведь этот «маленький подарок» – целое состояние! Да, правду говорят, что у королей нет возраста! Такого короля можно любить, будь он уродлив, как сатана, и стар, как Винцент Сенлиссский! (Церковь, построенная в 1053 г. женой Генриха I, дочерью великого князя Ярослава, Анной, в благодарность за разрешение ее от неплодия по мо-

литве святому Викентию.) Какой дар, какой щедрый дар!

У меня кровь хлынула в виски. Я довольно неделикатно бросил на стол диадему, которую как раз рассматривал, и сказал, плохо сознавая, что этими словами обнаруживаю свою мучительную страсть:

– Щедрый дар! Старому, изнуренному пьянством и разнузданностью псу молодая прекрасная девушка отдает все, что она имеет – красоту, молодость, весеннюю прелесть души; он кидает ей за это одну стотысячную часть своего богатства, и это называется поступить по-королевски! Да ведь Людовик захлебывается в роскоши, ведь эту подачку – да, да, не щедрый дар, а подачку! – он бросил тебе так же, как кинул бы голодной собачонке корку хлеба с полного стола! Да разве счастье обнимать твой стан...

Я остановился на полуфразе: страсть душила меня и судорогой сводила горло.

Лицо Адели вспыхнуло радостью, голубые глаза засверкали торжеством.

– За счастье обнимать мой стан ты дал бы, братишка, больше? – вкрадчиво сказала она, положив мне руки на плечи и кокетливо улыбаясь.

– Больше? – простонал я, окончательно подхваченный и унесенный страстной волной. – Да за один миг разделенной любви, за мимолетное право называть тебя своей я отдал бы все, что у меня есть, все богатства земли, все, все... Но у меня ничего нет... О, лучше тысячу раз умереть в жесточайших

муках, чем пылать такой безграничной страстью и сознавать свое ничтожество, сознавать, что нет ничего, ничего...

– Нет, братишка, ты не прав, – пылко сказала Адель, почти вплотную приближая к моему лицу расширенные от волнения глаза, – у тебя многое есть, чем ты богат и что ты мог бы подарить мне. У тебя есть жизнь, свобода, воля! Поклянись, что ты отдашь все это мне, и я твоя! Посмотри на меня, разве я нехороша, разве я не стою того, что прошу у тебя? Ты молчишь? Ты колеблешься? Гаспар, ведь тебя ждет такое счастье, о каком ты не мог мечтать даже во сне!

Она ошибалась: я не колебался. Я просто молчал, потому что был скован, ошеломлен возможностью счастья, о котором до того действительно не смел мечтать даже и во сне. И не будучи в силах выговорить хоть слово, я вместо ответа схватил Адель и скомкал ее упругое, гибкое тело в своих неуклюжих, сильных, медвежьих объятьях.

Но Адель змейкой вывернулась из моих рук и воскликнула:

– Сначала клятву, Гаспар!

Тогда я хриплым, задыхающимся голосом повторил за нею подсказываемые ею слова, в которых клялся вечным блаженством, спасением души моих родителей и честным словом дворянина, что если Адель станет моей, то я на всю жизнь буду принадлежать ей, не имея ни собственной воли, ни свободы, ни личной жизни, беспрекословно исполняя все, чего бы она от меня ни потребовала.

Когда клятва была дана, Адель сказала:

– Поди к себе и приготовься: мы едем в деревню на несколько дней!

Через полчаса карета увозила нас в Буживаль.

Всю дорогу до Буживаля мы ехали молча. Я был как-то вне жизни, вне сознания происходящего.

Адель будет моей? И я не умру от счастья на пороге блаженства?

Я взял обе руки Адели, как бы желая убедиться, что она на самом деле едет со мной. Адель ответила мне ласковым пожатием и не отнимала своих рук вплоть до того момента, пока в зеленоватом свете полной луны перед нами не показалась старинная буживальская церковь. Тогда Адель сказала:

– Я слышала, что здесь, за городом, в лесу около Сены имеются очаровательные гостиницы. Как хорошо будет там нам с тобой, мой милый!

Мы скоро нашли, что нам было нужно. Пошатываясь от пьянящей страсти, вошел я в отведенную комнату. Там Адель сбросила прямо на пол дорожное пальто и широко раскрыла мне свои объятия. С хриплым стоном бросился я к ней. Все закружилось и поплыло у меня перед глазами. Только тот, кто знает, что любить – значит умирать в объятиях любимой, поймет мое состояние в тот момент.

Три дня пролетели сплошным восторгом ласк, бредом объятий. К вечеру третьего дня Адель пошла к хозяйке, чтобы распорядиться насчет ужина. Я остался один, и тут впер-

вые мне пришла в голову мысль, что мое счастье кратковременно, что скоро кончится эта лесная поэма и в свои права вступит суровая действительность. А чего стоило это так быстро промелькнувшее счастье! При мысли об этом ужас объял меня...

В этот момент вернулась Адель.

Словно чутьем угадав мои мысли, она нежно обняла меня и сказала:

– Не надо грустить, дорогой, грусть будет потом, когда наша сказка кончится... А конец ее близок, она уже кончается, Гаспар!

Не давая мне ответить, она перегнулась ко мне, обняла, прильнула, и снова мы унеслись в вихре жгучего безумия...

На следующий день мы встали очень поздно, обедали полуодетыми...

Под самый вечер Адель, освободившись из моих объятий, сказала холодно и значительно:

– Сказка кончилась, Гаспар! Через час мы возвращаемся в Париж!

Меня больно поразил этот тон, столь непохожий на недавнее еще нежное воркование влюбленной голубки. Но в то же время я с такой остротой почувствовал, что сказка действительно кончилась, что молча стал собираться в путь. Скоро четверка сытых деревенских лошадок быстро мчала нас обратно той же дорогой.

Первую половину пути мы ехали молча. Потом Адель за-

говорила:

– Нам нужно объясниться, милейший Лебеф, чтобы в будущем не было никаких недоразумений. Ты должен понять, что твоя воля и свобода понадобились мне вовсе не для того, чтобы создать себе из тебя покорного друга сердца. О, нет! И глуп же ты, Лебеф, если хоть на минуту мог подумать так! Зачем я буду связывать себя с одним, когда передо мной раскрывается целый Божий мир? Но видишь ли, мне не раз приходилось слышать, что нас, артисток, безжалостно эксплуатируют, если мы не держим при себе мужчину, достаточно опытного, чтобы не попасться в ловушку, и достаточно преданного, чтобы не продать. Многие знаменитости пытались осуществить последнее условие путем крупного жалования, которое они платили своим секретарям. И что же! Вот тебе пример: при дворе Карла-Эммануила Третьего, короля Сардинии, освободилась вакансия оперной примадонны. Король и его двор не знали, кому из двух конкуренток отдать предпочтение – Капокроче или Скоделлино. Решили устроить между ними своего рода конкурс. Но накануне испытания Скоделлино подкупила секретаря Капокроче, и последний опоил свою госпожу ядовитым питьем так, что она не встала больше. Правда, Скоделлино немного выиграла этим: история случайно разгласилась, и негодяйке пришлось спастись бегством... Ну, да это все неважно. Главное – то, что положиться на постороннего нельзя, своего иногда нет, а без мужчины нашей сестре плохо.

Адель замолчала. Я напряженно смотрел на нее, ожидая продолжения.

И она вновь заговорила:

– Тебя я успела узнать. Знаю, что ты не продашь и не изменишь. Кроме того, ты – ловкий парень: знаешь все эти ваши подъяческие выверты. Да вот беда была в чем: видела я, что ты влюблен в меня, как крыса в сало. При других условиях мы живо поладили бы: не все ли тебе равно, где служить – в идиотской конторе или у меня. Я платила бы много больше. Но благодарю покорно, держать при себе влюбленного дурака, который может ни с того ни с сего закатить тебе сцену, да еще в самый неподходящий момент! Дурака надо было сначала укротить, всецело подчинить себе его волю. Этим-то я и занялась... Не ожидала я, что понадобится столько времени! Но в конце концов, как видишь, я добилась своего! Умора!

Адель опять замолчала: ее лицо расплылось в довольную улыбку. Она, видимо, с наслаждением вспомнила все перипетии той комедии, которую разыграла. Молчал и я. Даже не вдумываясь в ужасный смысл ее слов, я содрогался от той вульгарной, циничной формы, в которую она облекла свою откровенность.

– Ты должен согласиться, что я со своей стороны более чем добросовестно выполнила принятые на себя обязательства, – продолжала она. – Ведь по смыслу данной тобой клятвы вовсе не надо было напускать столько поэзии, а тем более затягивать ее на такой длинный срок. И все-таки, видишь,

сколько я возилась с тобой! Теперь настал твой черед добросовестно выполнить свой долг. Конечно, ты дал достаточно страшную клятву. Но ведь, если ты и лишишься вечного блаженства, мне от этого легче не будет. Так я рассчитываю по крайней мере, что ты хоть попомнишь добром мое великодушие. Знаешь ли, милый мой, таких часов, какие провел со мной ты, я еще никому не дарила, да и подарю ли когда-нибудь – большой вопрос. Ты еще недавно возмущался тем, что король по сравнению со своим богатством был скуп в отношении меня. Так будь ты щедрее!

– О чем тут говорить, Адель! – с мучительным трудом сказал я. – Но что я обещал, в чем поклялся, то сдержу...

– Да ты напрасно драматизируешь все это, Гаспар, – обрадованно подхватила Адель. – Не думай, пожалуйста, что я собираюсь злоупотреблять полученной клятвой. Очень нужно! Тот, кто служит лишь по необходимости, никогда не служит хорошо... Поэтому не думай, что я хочу даром пользоваться твоими услугами. Очень нужно! То, что для тебя будет крупным жалованьем, при моих доходах – сущая безделица... Я буду платить тебе, и платить хорошо! Не думай также, что я буду злоупотреблять своим господством. Это, милый мой, было бы прежде всего невыгодно для меня самой: мой секретарь должен быть важным, ну, а какая тут важность, если секретаря равняют с прислугой, как это делает глупая Ла-Белькур?.. Словом: ты будешь иметь все, что имел бы, если бы не пришлось пускать в ход комедию со

страшной клятвой. А в виде неожиданной премии – наши дни в Буживале... Право же, это совсем недурно...

И опять настало время молчания. Я сидел как пришибленный. Мне припомнилось все, что я слышал отрывками из разговора матери с дочерью, что было для меня тогда так неясно и что теперь сразу осветилось зловещим светом.

Так это был целый заговор!

Мы как раз въезжали через заставу, когда Адель снова заговорила:

– Да, вот еще что. В твоём новом положении будет не совсем удобно говорить со мной на «ты». Разумеется, когда мы одни или в присутствии матери, можешь не стесняться. Но официально...

– Хорошо, так и будет, – глухо ответил я. – Все это для меня неважно... Но теперь, пока мы еще не приехали, пока еще я могу говорить с тобой просто и прямо, как прежде, заклинаю тебя всеми святыми, скажи мне: неужели в затее буживальской поездки тобой руководил только расчет? Неужели вся твоя предшествующая ласковость была только комедией? Словом, неужели ни на минуту в твоём сердце не пробуждалось искреннего чувства ко мне?

– Нет! – резко и прямо отрезала Адель. – Я с детства привыкла подчинять движения сердца разуму. Мать доказала мне, что без тебя нам будет плохо, вот я и взялась привести тебя к необходимому... Впрочем, можешь утешиться! Конечно, я еще не имела случая узнать, что такое любовь, но

мне кажется, что там, в Буживале, у меня на сердце шевелилось что-то к тебе. Ты был таким молодцом! Я, со своей стороны, нисколько не жалею о проведенном с тобой времени и даже заранее завидую твоей будущей возлюбленной, потому что, видишь ли, я добрее, чем ты думаешь, и отнюдь не собираюсь мешать твоим подвигам в этом отношении! Ты – молодец, поверь слову опытной женщины! – она потянулась с видом довольной кошечки. – Только не воображай, пожалуйста, что буживальские дни могут повториться! – спохватилась она. – Сказка кончена, милейший, и кончена навсегда, заруби себе это на носу!

В молчании доехали мы до дома и в коридоре молча простились друг с другом. Я прошел к себе в комнату и там со стоном упал на пол перед Распятием. Грудь разрывалась у меня от бесконечной жажды молитвы. Но молиться я не мог. Да и о чем было молиться? Все равно, я чувствовал себя бесконечно согрешившим перед Господом. Ради минуты торжества плоти я клялся будущими вечными благами... Слова молитвы застывали у меня на устах, и я безмолвно пролежал всю ночь на полу перед святым Распятием...

Утром я написал дяде записочку, в которой просил извинить меня за невольное отсутствие, извещал, что более служить не могу, и обещал в скором времени лично зайти, чтобы объяснить причину совершившегося и поблагодарить его за все сделанное для меня.

Накануне нашего отъезда в Россию я вспомнил, что дол-

жен проститься с дядей, и отправился к нему в контору. Дядя принял меня очень сдержанно, но что-то дрогнуло в его лице, когда я просто и искренне объяснил ему, что заставляет меня порывать с настоящим.

– Да, да! – проворчал он. – Значит, приходится продавать контору? Ведь детей у меня нет; только для того и работал я по сию пору, чтобы целиком передать тебе насиженное дело... Я долго присматривался к тебе, не хотел полагаться на одни родственные чувства, думал, что со временем успею еще сделать тебя своим... Ведь суровая школа помогает выработаться истинному человеку... Но отсутствие семьи губительно повлияло на тебя... Что же делать: моя вина!.. Впрочем, может быть, еще не все пропало, может быть, еще можно как-нибудь поправить все это?

– Дядя! – тихо ответил я, – ведь я дал клятву...

– А что такое клятва? – недовольно воскликнул нотариус. – Что это? Какое-нибудь юридическое обязательство, что ли? Обратись к святому отцу в Рим. Святой отец снимет с тебя неосторожное обещание, и ты...

– Нет, дядя, – почтительно перебил я, – даже Сам Господь Бог, а не то что Его представитель на земле, не может разрешить меня от этой клятвы!

– Это почему? – строптиво спросил Капрэ.

– Да потому, дядя, – ответил я, – что Господь не может покровительствовать неблагородным поступкам. А благородно ли было бы – добровольно вступить в торг, получить плату,

которую нельзя вернуть обратно, а потом, ссылаясь на Господа Бога, отказаться от исполнения принятых на себя обязательств?

– Да кому даны эти обязательства, дурак? – злобно крикнул дядя. – Подлой распутнице, слуге сатаны!

– Дядя, – тихо ответил я, – так должны же слуги Господа чем-нибудь отличаться от слуг сатаны, а не приравняться к ним! В моей будущей жизни – искупление за совершенный грех, и я должен добровольно принять его!

Дядя внимательно посмотрел на меня через очки и буркнул:

– Ты прав. Да простится мне, что, подчиняясь родственным чувствам и симпатии к тебе, я пытался натолкнуть тебя на то, что сам впоследствии поставил бы тебе в вину... Ты прав, и пусть черт возьмет того, кто решится утверждать противное! – при этих словах дядя с силой стукнул кулаком по столу, а затем, словно устыдившись горячности, недостойной испытанного старого нотариуса, продолжал, – итак, будем считать, что свершившееся неизменно. Сожаления бесполезны. Скажу тебе одно: у меня довольно крупное состояние, и я думал завещать его тебе. Но до тех пор, пока ты находишься в рабстве этой госпожи, не видать тебе этих денег! Не для того честное поколение Капрэ копило эти деньги, чтобы низкая развратница пропустила их между пальцев... Ну, да я распорядюсь... Если ты будешь нуждаться лично – напиши мне, я выручу тебя. Впрочем, это ты дол-

жен знать и без моих слов. А теперь ступай, простись с теткой! Да смотри, не говори ей правды! Придумай что-нибудь поостроумнее. Она стара, болезненна, слаба и имеет несчастье искренне любить своего беспутного племянника. Правда только расстроит ее... Ну, ступай, а потом перед отъездом зайди опять ко мне!

Возвращаясь домой, я встретил другого человека, перед которым мне было совестно за свое падение: это был князь Голицын. У меня была возможность избежать встречи с ним, так как я завидел его издали и мог свернуть в переулок. Но на свой стыд я смотрел как на искупление, и, когда князь дружески спросил меня, почему так бледно мое лицо и так горят мои глаза, я в двух словах рассказал ему обо всем совершившемся.

Князь ласково взял меня под руку и опять повел в ближайший кабачок.

– Русский обычай требует, чтобы предстоящая дорога была разглажена чаркой доброго вина, – пошутил он, но я чувствовал, что он был искренне взволнован и насилывал себя для шутки.

За бутылкой вина он попросил, чтобы я еще раз пересказал, как все случилось. Я исполнил его просьбу и прибавил:

– Вот видите, князь, лучше было бы вам дать мне тогда спокойно умереть!

– Не вижу, чтобы это было лучше, – задумчиво ответил Голицын. – Я твердо держусь взгляда, что все свершающееся

разумно и нужно для неисповедимых целей Творца. Правда, неосторожным шагом вы подвергли себя великим бедствиям, но... Один вопрос сначала, – перебил он сам себя. – Я немножко философ и люблю проникать в корень вещей. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, но ответьте искренне или лучше не отвечайте ничего! Скажите: ну, вот вы убедились, что стали жертвой самого низкого расчета, самой недостойной интриги. Это не может помешать тому, чтобы обладание остроумной девицей Гюс не казалось вам огромным благом. Так представьте себе, что она предложила бы вам вновь пережить повторение лесной сказки. Как вы поступили бы в таком случае?

– И вы еще спрашиваете? – с негодованием крикнул я. – Но, разумеется, теперь это повторение уже невозможно, раз я знаю, как она относится ко мне!

– Однако Гюс могла бы попросту потребовать от вас этого, – заметил Голицын, – потребовать хотя бы на основании того обета послушания, который вы дали!

– Этот обет не может распространиться на то, что не принадлежит мне! – горячо возразил я. – Повторение буживальской идиллии было бы посягновением на мою душу, а в ней я не властен. И лучше пусть я лишусь вечного спасения, чем совершу то, что противно моей чести!

– Ну, вот видите! – с радостью воскликнул Голицын. – Моя теория вполне оправдалась: ничто не бесцельно, и совершившееся только закалило и вооружило вашу душу. Но

все-таки, какой дорогой ценой досталась вам эта закалка!.. Как я был бы рад, если бы нашелся человек, который отомстил бы за вас. Я готов бы и сам взяться за это дело, если бы представился удобный случай... А вы не стали бы ревновать меня? – с улыбкой спросил он.

– Девушка Гюс как женщина отныне не существует для меня, князь! – гордо ответил я.

– Ну, не скажите! – задумчиво возразил Голицын. – Вы слишком долго жили в непосредственном общении с ней. А ведь ваша Гюс... это... это... – он остановился, как бы подыскивая подходящее выражение. – Простите, если мое сравнение покажется вам оскорбительным, – горячо подхватил он снова, – но, если вы подумаете, вы должны будете согласиться со мной. Ведь ваша Франция разлагается, умирает; она нуждается в обновлении, а в теперешнем виде – это сплошная могила былых традиций, бывшего величия... Ну, а на могилах часто вырастают совершенно особые цветы. Они пышны, красивы на вид, но отравлены соками того ядовитого разложения, которым питались их корни... Ваша Гюс – это могильный цветок. Она выросла, развилась и распустилась на почве того ужасного падения нравов, которое всегда знаменовало собою начало падения всего государственного строя... Вспомните Рим, вспомните Византию... Да, да, дорогой месть Лебеф, ваша Адель – опасный могильный цветок, и благо вам будет, если вы сумеете в будущем с большим успехом избежать нравственной заразы, которую рас-

пространяет вокруг себя это тлетворное растение. Но я верю в Божественную справедливость! Так или иначе, а вы – случайная, следовательно, напрасная жертва. И я верю в то, что найдется человек, который, сам не зная того, жестоко отомстит за грубое поругание вашей души!..

Я ничего не возразил на эту горячую речь милого князя, и мы молча расстались.

А на следующий день почтовая карета уносила нас к пестрым приключениям в далекой Московии: «могильный цветок», взлелеявшую его мамашу Гюс и меня, бедного мечтателя, отравленного его ядовитым, тлетворным ароматом...

Часть 2. Возлюбленная фаворита

Глава 1

Итак, мы мчались к далекой, неведомой России. Наше путешествие изобиловало всякими интересными эпизодами и происшествиями, но я не буду останавливаться на них, так как описание путевых приключений отвлекло бы меня от главной цели моего рассказа. Вместо этого я лучше постараюсь вкратце изложить положение дел в России, чтобы потом мне не пришлось прерывать рассказ досадными отступлениями и пояснениями.

В то время в России правила императрица Екатерина Вторая, которую современники называли «Северной Семирамидой» за ее исключительные государственные таланты.

Действительно, со времени смерти императора Петра I Россия была лишена дельных правителей. Императрица Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, правительница Анна, Елизавета Петровна, Петр III – вот тот безрадостный фон, который особенно ярко оттеняет крупную фигуру «Северной Семирамиды». При Екатерине прекратилось полновластие хищных фаворитов. Будучи более пылкой и более увлекающейся женщиной, чем все ее предшественницы, она в то же время не давала разуму подчиняться слепому чувству и

строго отделяла свою жизнь женщины от обязанностей государыни. Так, например, веря в таланты Потемкина, она не лишила его власти тогда, когда он перестал быть другом ее сердца. Только один Платон Зубов составил исключение из этого правила. Но эпоха владычества Зубова принадлежала к позднему периоду царствования Екатерины II, когда она уже потеряла от старости былую ясность мышления. Да и к чему же судить о человеке-деятеле по самым неудачным страницам его жизни?

Конечно, я не хочу сказать, что под скипетром «Северной Семирамиды» России жилось уж очень хорошо и привольно. Не хочу я сказать и то, чтобы фавориты и любимчики были лишены возможности злоупотреблять своим положением. Я просто прикидываю личность императрицы к окружающей ее среде и эпохе и сравниваю ее правление с правлением предшествующих государей. И если учесть все это, если принять во внимание, что при вступлении на престол положение самой императрицы было очень шатко, что то и дело вспыхивали заговоры и бунты, опиравшиеся на бесправное воцарение Екатерины, что казна была пуста, а страна разорена – надо признать особую твердость руки, ясность ума и величие души за кормчим, сумевшим провести государственную ладью сквозь все эти водовороты и мели.

В эпоху, к которой относится мой рассказ, императрице было тридцать четыре года. Урожденная принцесса Ангальт-Цербская, она была вызвана покойной императрицей Ели-

заветой в качестве невесты молодому великому князю Петру, племяннику и наследнику Елизаветы. Принц Петр Голштинский приходился Елизавете Петровне племянником по женской линии, а по отцу, по духу и привычкам был типичнейшим немцем, да еще притом немцем неумным и дурно воспитанным. К тому же он был страстным поклонником прусского короля Фридриха Великого, которого императрица Елизавета считала своим злейшим врагом. Все это не могло содействовать развитию у императрицы особой симпатии к великому князю, тем более что вызов в Россию и объявление наследником принца Голштинского было делом не родственных чувств Елизаветы Петровны, а лишь политических соображений: ведь Петр Голштинский был более чем опасным претендентом на русский престол, так как по завещанию императрицы Екатерины I в случае смерти Петра II престол должен был перейти к нему. Таким образом пребывание голштинского принца за границей могло быть вечной угрозой спокойствию императрицы Елизаветы, ну, а его положение в качестве русского великого князя и наследника гарантировало ее от каких-либо заговоров с его стороны.

Поэтому немудрено, что императрица Елизавета относилась к великому князю недоброжелательно. Это же чувство Елизавета отчасти переносила и на молодую великую княгиню, которая жила буквально между двух огней, так как и муж, сознавая умственное превосходство жены, выказывал ей явную вражду и донимал разными неумными, часто

неприличными выходками.

Все это заставляло Екатерину деятельно заняться самообразованием и чтением. И в то время, как императрица отдавала все свое время нарядам, балам и развлечениям, а великий князь строил игрушечные крепости и напивался допьяна в дурной компании, Екатерина в тесном кружке наиболее развитых придворных спасалась от нравственного холода и одиночества философскими беседами и образовательным чтением. Немало труда положила великая княгиня и на то, чтобы основательно изучить русский язык и русские нравы; собираясь стать русской императрицей, она хотела перестать быть немецкой принцессой.

В 1754 году для великой княгини блеснул новый свет: она почувствовала, что должна стать матерью, и надеялась найти радость и удовлетворение в материнстве. Но этот свет так же быстро погас, как и зажегся: когда у Екатерины родился сын Павел, императрица Елизавета взяла ребенка к себе и редко позволяла матери видеться с ним. Материнские чувства Екатерины были искусственно подавлены, более они не пробуждались в ней, и между матерью и сыном навсегда поселилась отчужденность, перешедшая впоследствии в открытую враждебность.

Все это не могло не толкнуть молодую женщину на торную дорожку чувственного искушения. Ведь она была молода, пылка, красива; она жаждала ласки, все ее существо тянулось к любви и сочувствию, а вокруг себя она встреча-

ла лишь пренебрежение, насмешку и недоброжелательство. При таких условиях – «кто первый встал, да палку взял, тот и капрал». Началась целая вереница увлечений, великая княгиня открыто изменяла супружескому долгу, от соблюдения которого ее избавляло пренебрежительное равнодушие мужа. Императрица очень терпимо относилась к грешкам такого рода, если они проделывались втайне, не на виду. К тому же она достаточно сильно не любила племянника, чтобы не злорадствовать по поводу его роли «рогатого potentата». Однако пылкий темперамент великой княгини давал все основания опасаться, как бы увлечения не разрослись в открытый скандал. Во избежание этого императрица Елизавета постоянно удаляла из Петербурга лиц, слишком открыто и долго пользовавшихся расположением Екатерины. Поэтому-то, хотя за «палку» брались многие, но настоящего «капрала» не оказалось. Этот «капрал» явился уже в последние годы царствования Елизаветы в лице Григория Орлова, впоследствии графа и всесильного фаворита.

Братья Григорий и Алексей Орловы происходили из незначительного дворянского рода. Особым умом они не отличались. Зато в отношении физических достоинств братья Орловы были вне сравнения. Рослые, коренастые богатыри, способные выстоять в бою «грудь против груди» с доброй сотней посадских, пить без перерыва и просыпа и в любой момент учинить любой дебош. Ну, а соответственно с этим всякое умственное напряжение казалось им невыносимым.

Во всяком случае уж не философские беседы и не образовательное чтение связали Екатерину с Григорием. Но у Екатерины ума вполне хватало на двоих и более. Для осуществления ее планов ей нужна была не нравственная, а именно стихийная физическая сила. Между тем наступало время, когда вопрос «быть или не быть» встал перед Екатериной с особенной остротой. В таких случаях физическая сила очень часто является решающей. Она и была призвана решить положение, и положение было решено в пользу Екатерины.

Случилось это сейчас же после смерти императрицы Елизаветы, когда на карту было поставлено не только положение самой Екатерины, но и всей династии. Император Петр III с самого начала повел себя в высшей степени неумно. Не зная и не желая знать настроения и симпатии русского общества, он пошел против того, что было для этого общества священным. Все русское общество ненавидело Фридриха II и с восторгом приветствовало успехи русского оружия, заставившего трепетать даже Берлин, а между тем первым актом воцарившегося Петра III были: отозвание русских войск и полнейший отказ от возможности воспользоваться выгодным положением, занятым Россией. И это восстановило против Петра III армию. Глумление над православием, отобравание церковных имуществ и попытка нарядить священников в костюмы лютеранских пасторов восстановили против Петра духовенство и простой народ. Служилую и родовую знать оскорбляло явное предпочтение, которое оказывалось вся-

ким немецким авантюристам. Словом, не было такого общественного слоя, в котором правление Петра III не вызвало бы негодования и раздражения. Екатерина видела, что Петр ведет себя, семью и всю династию к явной гибели. Она не могла оставаться равнодушной зрительницей. К тому же ее собственное положение с каждым часом становилось все невыносимее. Петр публично оскорблял жену, открыто показывался со своей фавориткой Елизаветой Воронцовой и не скрывал намерения заточить императрицу-супругу в монастырь. Медлить было нельзя – это отлично сознавали сама Екатерина и кружок ее интимных друзей. В этом кружке главную роль играли граф Никита Панин, княгиня Дашкова (сестра Елизаветы Воронцовой; сестры были в большой вражде), братья Разумовские и братья Орловы. Панин и Дашкова были мозгом кружка, братья Орловы – мускулами его. Но все одинаково сходились в ненависти к императору Петру III и в обожании ласковой, приветливой, умной императрицы Екатерины. Неужели дать Петру III, этому грубому, вечно хмельному человеку, затравить ее? Нет, об этом не могло быть и речи! «Его» надо было устранить. Но вот дальше-то как быть?

А это «дальше» требовало серьезного обсуждения. Конечно, в силу завещания императрицы Елизаветы права на трон принадлежали после Петра малолетнему Павлу. Кроме того, если Петр III хотя бы с материнской стороны принадлежал к русскому царствующему дому, то Екатерина уже ни с

какой стороны не была русской принцессой. Поэтому самое большее, на что она могла рассчитывать, не нарушая законов престолонаследия, – это на регентство при малолетнем императоре Павле. Но память о Бироне, Меншикове, Анне Леопольдовне и судьбе заточенного императора Иоанна Антоновича была еще свежа, и опыт прошлого достаточно ясно свидетельствовал, что регентство неминуемо превратится в губительную для страны борьбу партий. А ведь внутренние дела России и без того были из рук вон плохи, и малейшее замешательство могло вернуть «северного колосса» к существованию в качестве мелкой третьеразрядной державы. Поэтому положение обязывало забыть о правах и законах: надо было спасти династию и Россию.

Итак, переворот был решен, хотя день его совершения не был определен. Екатерина волновалась и все откладывала решительный шаг. Однажды она уже заготовила манифест о своем вступлении на русский трон, но на другой день манифест был сожжен, так как императрица снова признала нужным отложить задуманное дело. Быть может, эти колебания затянулись бы на долгий срок, если бы сам Петр III не заставил Екатерину решиться. Однажды, на торжественном обеде, он под пьяную руку назвал императрицу при всех «дурой». Вечером того же дня к Екатерине прибежали взволнованные Орловы: они получили наивернейшие сведения, что Петр III уже подписал указ о заточении императрицы в дальний монастырь. Теперь уже нельзя было раздумывать,

и Екатерина дала Орловым разрешение арестовать императора. Так и было сделано – 28 июня 1762 года Петр III был сослан в Ропшу, а Екатерина II объявлена русской императрицей. Вскоре император скоропостижно скончался, и относительно причин его смерти ходили самые темные слухи. Что Петр III умер насильственной смертью, можно считать вне сомнений, но за границей открыто говорили, что Орлов, задушивший императора, сделал это с ведома императрицы. Я же считаю более вероятным и правдоподобным мнение, которого держались иностранные послы при петербургском дворе; они уверяли, что Орлов просто переусердствовал.

Так или иначе, но смерть Петра III значительно упростила положение императрицы, и, короновавшись летом 1762 года в Москве, она энергично начала заниматься упорядочением российских дел, пришедших в значительный упадок и расстройство вследствие неумелого правления в прошлом. Ко времени нашего приезда в Петербург и относится начало этой лучшей поры в жизни «Северной Семирамиды», вокруг которой, разумеется, кишело целое сплетение интриг. Мне непременно нужно хотя бы вкратце описать читателю узел этих интриг, чтобы стали понятными все те приключения, которые разыгрались в Петербурге.

Сделав свое дело, то есть возведя на трон императрицу Екатерину, сила (Орловы) и ум (Панин и Дашкова) стали смотреть друг на друга недружелюбно, добиваясь преимущественного влияния на императрицу. Княгиня Даш-

кова отличалась непомерным честолюбием, и ее раздражало, что Орловы мешали осуществлению ее тщеславных замыслов. Так, например, Орловы употребили все свое влияние, чтобы отговорить императрицу исполнить настойчивую просьбу Дашковой о назначении ее полковником гвардейского Преображенского полка. Но Дашкова успела забежать к императрице и снова уговорить ее. Императрица уже готова была подписать указ о назначении Дашковой полковником гвардии, как вдруг случайно пришедший Григорий Орлов увидел это и смеясь заметил, что никогда еще не видывал гвардейского полковника в интересном положении. Как оказалось, Дашкова действительно уже несколько месяцев готовилась стать матерью... Так полковничий патент и остался неподписанным.

Панин, питавший к Дашковой нежные чувства, был всецело на ее стороне, и Орловы сильно опасались его. Ведь уже с 1760 года граф Никита был воспитателем и обер-гофмейстером двора великого князя Павла Петровича, и это положение обеспечивало ему широкую возможность встречаться и говорить с императрицей. В пику Дашковой и Панину Орловы уговорили Екатерину простить Елизавету Воронцову и взять ее ко двору. Со своей стороны, Панин нажимал все дипломатические пружины, чтобы сосватать императрице женишка и тем отстранить Орлова. Когда же этот замысел не удался, Панин подготовил опасного соперника Григорию Орлову, и позднейший успех Потемкина в значительной сте-

пени был вызван происками хитрого Никиты.

Как же относилась сама Екатерина к своему окружению?

Можно сказать, что Орлова она никогда не любила, и, когда чувственное увлечение несколько уменьшилось, Григорий стал ей в тягость вследствие своей грубости, дерзости, алчности и бесцеремонности. К тому же императрицу оскорбляли, как женщину, его вечные любовные приключения; но, как государыня, она хотела стать выше женской мелочности и по большей части делала вид, будто ничего не знает. Кроме того, она боялась упреков в неблагодарности, да и на первых порах не чувствовала себя достаточно прочно сидящей на троне, чтобы, не приобретя новых друзей, отворачиваться от влиятельных старых. И это заставляло ее терпеть Григория Орлова и его брата.

Дашковой Екатерина не могла простить, что эта двадцатилетняя женщина по уму, образованию и бойкости пера могла соперничать с ней, Екатериной II. К тому же непомерное честолюбие и претензии княгини раздражали императрицу. И можно сказать, что именно в пику ей Екатерина приблизила ко двору фаворитку покойного Петра III, Елизавету Воронцову, сестру и злейшего врага княгини Дашковой. Вообще вскоре после вступления Екатерины на трон ее горячая дружба с Дашковой сменилась значительной холодностью.

Панину Екатерина тоже не очень-то доверяла. Это видно из того, что уже вскоре после своего воцарения императрица предлагала д'Аламберу занять место воспитателя Павла Пет-

ровича. Правда, когда д'Аламбер отказался принять этот почетный пост (в отказе знаменитого философа Екатерина обвиняла Дашкову, состоявшую в деятельной переписке с лучшими умами того времени), императрица уже не обращалась ни к кому больше, и Панин так и остался до совершеннолетия Павла Петровича на своем посту. Но она окружила графа Никиту целой сетью шпионов, так как Екатерине отлично было известно, что мечтой Панина было ограничить самодержавную власть за счет усиления олигархической власти русской знати. А при всех своих свободомыслящих речах Екатерина II очень ревниво относилась к самовластью, да кроме того знала, что самая мрачная тирания в восточном духе – и та будет легче народу, чем аристократическая олигархия.

Вот каково было положение русских придворных дел, насколько мне удалось представить его себе впоследствии из личных наблюдений и разговоров с проживавшими в Петербурге французами и членами иностранных миссий.

Когда мы подъезжали к самому Петербургу, у Адели с матерью разыгрался довольно крупный скандал, в котором, по моему, права была Адель. Надо вам сказать, что вследствие легкомысленности и самонадеянности Розы мы выехали совершенно невооруженными для путешествия и устройства в стране, ни языка, ни нравов которой как следует не знали. Но Роза уверяла, что она отлично знает русский язык, а Петербург ей знаком, как свои пять пальцев.

Пока мы ехали по немецким странам и прибалтийским провинциям, мы еще устраивались кое-как, благодаря тому, что я немного понимал и говорил на языке Фридриха Великого. Но в самой России дело пошло много хуже, так как оказалось, что весь багаж лингвистических познаний старухи Гюс заключался в двух словах – «Ssamovar» и «Nitchevo», если не считать еще одного словечка, бывшего, должно быть, очень неприличным, судя по смеху мужиков и смущению проезжавшей русской дамы. Оказалось также, что уверения Голицына, будто каждый русский владеет французским языком, как родным, были более чем преувеличены. Конечно, при дворе было трудно найти человека, не владевшего двумя-тремя иностранными языками, но ведь графы и князья не служат ямщиками или содержателями постоялых дворов.

И вот на последней остановке под Петербургом у нас разыгралась целая история. Адель захотела съесть пару яиц всмятку, но нам никак не удавалось растолковать хозяйке, что именно нам нужно. В конце концов Роза принялась махать руками и хлопать, приседая, как курица, снесшая яйцо. Должно быть, хозяйка вообразила, что старуха сошла с ума, и принялась испуганно креститься, а потом бомбой выскочила из комнаты. Мы видели из окна, как она принялась обсуждать это происшествие с мужем. Потом они, очевидно, пришли к определенному решению; муж куда-то скрылся, а через час нам принесли... жареную курицу! Курица была стара, скверно вычищена и еще хуже зажарена. Адель с

отвращением съела кусок почтенной прабабушки птичьего двора, а когда мы сели в экипаж и направились далее, накинута на мать со справедливыми упреками. Роза сначала отругивалась, как умела. Вдруг она густо покраснела, сделала величественный жест рукой и крикнула:

– Ты переходишь все границы! Приказываю тебе замолчать!

Адель широко раскрыла глаза, а потом чистосердечно расхохоталась.

– Ты приказываешь мне? – переспросила она, захлебываясь от смеха. – Мать, мать! Да ты верно окончательно выжила из ума! Никогда у тебя его много не было, а тут ты и с остаточков свихнулась! Она приказывает мне!..

– Да, я приказываю тебе, и ты должна слушаться меня! – с яростью ответила Роза. – Или ты забыла, что поклялась повиноваться мне? Ну-ка, попробуй нарушить свою клятву! Смотри, девка, Бог-то шутить с клятвопреступниками не будет!

Адель закусила губу и отвернулась к окну кареты: безбожие часто уместается с крайним суеверием, и Адель, вспомнив о своей клятве, была способна действительно поверить, что Сам Господь Бог Саваоф, грозно сверкающий молнией, снизойдет с небес, чтобы разрешить спор двух таких негодниц, как они.

Довольная своим торжеством Роза откинулась в угол кареты и сейчас же задремала, что часто бывало у нее после

сильных волнений. Наступила тишина, прерываемая лишь грохотом колес по скверно вымощенной шоссейной дороге.

Адель оторвалась наконец от созерцания унылого пейзажа, с презрительной ненавистью посмотрела на спящую мать и затем с насмешливой грустью остановила на мне взгляд своих лучистых глаз.

– Что, братишка, – с ласковой иронией сказала она, впервые после долгого перерыва называя меня этим ласкательным именем, – видно, не очень-то умно необдуманно давать клятву?..

– Раз клятва дана, ее надо сдержать, – уклончиво ответил я.

– Разумеется, – сказала Адель, – в этом мире надо платить за все, и за глупость тоже! А с моей стороны было такой глупостью позволить «проклятой» обойти меня с этой дурацкой клятвой. Все равно я добилась бы своего, и теперь мне было бы несколько не хуже от того, что к дебюту у меня не было бы нового платья... Ну да, что сделано, того не воротишь. Да и не вечно же будет жить эта почтенная старушка: наверное, все дьяволы ада уже давно с нетерпением ждут ее к себе! А вот твое положение гораздо хуже моего! Я молода и проживу, вероятно, долго. Мне очень жаль тебя, бедный мой, – насмешливо прибавила она, – но тебе не выпутаться из тех сетей, в которые тебя вовлекла необдуманная клятва!

– Что об этом говорить!.. – недовольно заметил я.

– Нет, братишка, об этом именно надо поговорить, – ска-

зала Адель, переходя на серьезный, ласковый тон. – Я далека от мысли злоупотреблять твоим подчиненным положением, и мне хотелось бы теперь же все с тобой решить. Мельком мы уже говорили об этом, когда ехали из Буживаля, теперь договоримся окончательно. Видишь ли, в душе я тебя все же очень люблю – не как мужчину, разумеется, а как хорошего, славного человека, который сделал мне много добра. Кроме того, я нахожу, что какой-нибудь секретарь или нечто в этом роде не может придать женщине такой шик, как... Скажи, Гаспар, ведь, наверное, Лебеф не полное имя и у тебя найдется какое-нибудь звонкое «де»? Ведь, помнится, ты говорил, что ты не из плохого дворянского рода?

– Собственно говоря, мое полное имя Лебеф де Бьевр, и я нахожусь в довольно близком родстве с маркизами де Бьевр. Но для того, чтобы быть мелким клерком у нотариуса или секретарем у девицы Гюс, достаточно оставаться просто Лебефом...

– Ошибаешься! Совсем наоборот! Я все время думала, как бы опозитизировать в глазах общества свое положение, и решила вот что. Ты будешь называться не Лебеф, а де Бьевр, я же пушу исподтишка слух, будто ты на самом деле – маркиз де Бьевр. Ты – идеальный рыцарь, полюбивший меня безгрешной любовью еще во времена моего детства и посвятивший с тех пор все свое состояние и время процветанию моего таланта. Боясь, как бы в далекой России я не стала жертвой своей доверчивости и наивности, ты не решился отпу-

стить меня одну и последовал за мной, чтобы мужской рукой охранять мою честь. Согласись, что моя выдумка прелестна; она откроет тебе двери всех домов, ну, и мне тоже... поднимет цену!

В этот момент карету сильно потрянуло на косогоре. Роза проснулась от толчка и этим избавила меня от неприятной необходимости ответить что-либо Адели.

Глава 2

В Петербург мы попали к вечеру. Исполнив необходимые заставные обрядности, мы покатали по широкой, но неуклюжей улице, вымощенной бревнами. Во многих местах бревна сильно разошлись, и карета, купленная нами в Кенигсберге довольно подержанной, жалобно подвизгивала в этой тряске, с которой не могла сравниться самая злая морская буря.

– Ну-с, – сказала Адель, – не может ли теперь почтительная и послушная дочь спросить у своей мамы, которая так отлично знает русский язык и петербургскую жизнь, куда мы собственно едем и в какой гостинице остановимся на ночлег?

Роза густо покраснела. Хмель, под влиянием которого она требовала восстановления родительского авторитета, был несколько рассеян сном, и теперь старуха еще острее чувствовала затруднительность положения.

– В мое время, – неуверенно сказала она, – была отличная гостиница на улице, которую я знаю наизусть, но хоть убей – не могу сейчас припомнить, как она называется. Помню только, что это название имело что-то общее с водой или каким-то напитком. . .

– Может быть, «Grande rue de Sivouha» (Большая Сивушная улица.)? – ехидно подсказала Адель, которая вспомнила рассказ Голицына о сивухе как об излюбленном напитке

простонародья.

– Кажется, что-то в этом роде, – смущенно согласилась старуха, к величайшему удовольствию Адели. – Но, во всяком случае это неважно. Наверное, ямщик подвезет нас к какой-нибудь гостинице.

Однако, должно быть, и ямщик не знал, куда нас везти, так как в ту же минуту карета остановилась, и вскоре у окна показалось угрюмо-разбойничье бородатое лицо нашего возницы, который что-то спросил на своем варварском языке. Ну и комедия поднялась тут!

Ямщик что-то сердито лопотал по-русски; Роза, страстно жестикулируя, тараторила по-французски, призывая на голову мужика все громы и кары небесные за то, что он «не хочет» понять ее. Около кареты стал собираться народ. Должно быть, ямщик говорил Большая Сивушная улица, что-нибудь очень злое и дерзкое, – его слова нередко сопровождались взрывами грубого смеха толпы. Эти взрывы достигли своего апогея, когда Роза несколько раз повторила свое «Гранрю де Сивуха». Наконец ямщик презрительно махнул рукой и ушел вперед к лошадям. Роза выглянула в окно и вдруг неистово закричала по-французски:

– Нет, да вы посмотрите, люди добрые, что делает этот разбойник! Ведь он лошадей выпрягает! А! Как это вам понравится! Да ведь это что же будет?

Разумеется, ямщик не обращал внимания на непонятные ему проклятия и угрозы старухи и продолжал методично вы-

прыгать лошадей, видимо, собираясь оставить нас посреди улицы и ускакать прочь. Что и говорить, ведь не мог же он возить нас по всему городу?

Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы внезапно около нас с другой стороны кареты не послышался звонкий, мелодичный хохот. Мы обернулись и увидели очаровательную брюнетку со смуглым лицом и жгучими глазами, сидевшую верхом на породистой лошади.

– Простите мне мой глупый смех, – бегло, но неправильно и с заметным итальянским акцентом сказала черноглазая амазонка, – я понимаю, что над несчастьем стыдно смеяться, но все это так комично, так комично... – Она вновь засмеялась, а потом продолжала: – Нельзя ли узнать, кто вы, и не могу ли я быть вам полезной? Я – примадонна здешней оперы, Тарквиния Колонна!

– Ах, сударыня! – затараторила Роза, высовываясь в окно, – вас послало к нам само небо! Вы сами – иностранка и понимаете положение культурных людей, попавших в эту варварскую страну... Ай! – пронзительно крикнула она, хватаясь за нижнюю часть спины и отскакивая, словно ошпаренная, от оконца.

– Сударыня! – сказала Адель, которая сильным щипком заставила не в меру болтливую старуху отскочить от окна и теперь заняла ее место. – Мы – французы, не знающие никого в Петербурге. Нам нужно где-нибудь остановиться, но мы не знаем где, а ямщик не понимает нас и хочет выпря-

гать лошадей и поставить нас таким образом в окончательно безвыходное положение. Надеюсь, что вы выручите нас и укажете, как нам быть, тем более что мы с вами – товарищи по искусству. Неужели вы – знаменитая Тарквиния Колонна, итальянский соловей? А я – начинающая драматическая артистка Аделаида Гюс!

– Как? – вскрикнула Колонна, – вы – Гюс? Та самая, о которой так много кричат теперь и которую с нетерпением поджидает здешняя драматическая труппа? И какая вы молоденькая! да хорошенькая! Я с удовольствием расцеловала бы вас, но сейчас нельзя терять время: этот варвар продолжает выпрягать... Хотя я и сама не очень-то сильна в русском языке, но назвать улицу сумею. Я направлю вас в гостиницу мадам Гуфр на Мойке. Там прилично, комфортабельно и понимают по-французски. Но погодите, я сейчас скажу ему и сама, пожалуй, провожу вас!

Певица с видимым трудом сказала несколько слов ямщику, но тот сумрачно отмахнулся от нее и что-то ответил грубым, дерзким тоном.

Колонна вспыхнула, ее глаза загорелись гневом.

– Ну погоди, негодяй, – сказала она по-французски, оглядываясь по сторонам, – ты еще не знаешь, кто я такая! Князь! Князь! На одну минутку! – крикнула она, заметив молоденького рослого офицера, проезжавшего верхом по улице в сопровождении денщика.

Офицер подъехал, и Колонна рассказала ему, в чем дело.

Тогда офицер молча козырнул певице, спешил, отдал поводья денщику и подошел к ямщику. Не говоря ни слова, он ударил мужика кулаком по лицу, затем грозно крикнул что-то и в назидание вытянул его по шее. Ямщик торопливо бросился запрягать вновь, выплевывая на ходу кровь из разбитых зубов. Толпа, еще недавно грубо хохотавшая с ямщиком, теперь захохотала над ним.

Через несколько минут лошади были опять впряжены, ямщик вскочил на козлы и быстро погнал лошадей. Колонна поскакала рядом с каретой. Офицер-спаситель почтительно откозырял певице и поехал своим путем дальше. Теперь мы уже без всяких приключений добрались до гостиницы. Колонна была так любезна, что проводила нас до самого места и, зная петербургские цены, не дала госпоже Гуфр уж очень ограбить нас. Таким образом мы получили приличные комнаты за довольно сносную цену.

Колонна посидела немного с Аделью и ушла, наговорив в три минуты столько, сколько могут наговорить женщины, то есть очень много. Из своей комнаты я слышал их разговор, ясно долетавший до меня благодаря тому, что оба номера были соединены дверью, заклеенной тонкими обоями.

– Милочка, – спросила между прочим черноглазая Тарквиния, – а что это за интересный мужчина приехал с вами?

– Это – мой друг де Бьевр.

– Ваш друг? – с изумленным отчаянием перебила итальянка. – Неразумное существо! Да ведь вы восстановите

против себя всю русскую знать, ведь вы не сделаете карьеры здесь! Глупенькая, да ведь Россия – эльдорадо для хорошенькой артистки!

– Позвольте, дорогая моя, – остановила ее Адель. – Я вижу, что вы не поняли меня. Бьевр – мой друг, но не больше. У нас, во Франции, существует очень хорошая поговорка, что в Италию со своими макаронами, а в Бургундию со своим вином не ездят. Я вполне разделяю это мнение и никогда не приехала бы в Россию со своим сердечным дружкой. Но Бьевр... Ах, дорогая моя, вы не можете представить себе, что это за человек! Ведь это – рыцарь без страха и упрека! Это – какой-то пережиток из добрых старых времен, когда мужчина был способен посвятить женщине всю свою жизнь, не требуя от нее ничего взамен!

– Вы меня крайне заинтересовали, милочка! – заметила Колонна. – Неужели вы хотите сказать, что...

– Ах, душечка, вы мне так понравились, что я вам все расскажу! Прежде всего скажу вам по секрету, что моего Гаспара зовут маркизом де Бьевр, но он из скромности называет себя просто Бьевром, а во Франции вздумал называться Лебефом. Это – очень ученый и образованный человек, большой друг искусства и артистов. У него было недурное состояние, но он его почти все растратил, хотя, несмотря на то, что он молод, не кутит и не грешит никакими излишествами. Все его деньги ушли на поддержку начинающим артистам, художникам и поэтам. Меня он встретил на улице малень-

кой, голодной, оборванной девчонкой. Почему-то ему сразу показалось, что на моем лице лежит печать таланта, и он взялся за мое артистическое воспитание. Когда я получила приглашение в Петербург, он настоял на том, чтобы ехать вместе со мной. «Я вас не стесню и ни в чем вам не помешаю, – сказал он мне, – я лишь буду стоять на страже ваших интересов и чести. Вас легко могут обмануть на деловой почве, да и всякий надменный аристократ надругается над вами, воспользовавшись вашей неопытностью. Вот тут-то эти господа и узнают, каково иметь дело с маркизом де Бьевр!»

– И у вас с ним никогда ничего не было? – с любопытством спросила итальянка.

– И вы еще спрашиваете, дорогая! Он – вообще какой-то не от мира сего и не обращает внимания на женскую прелесть, ну, а я... Да ведь вы сами – женщина и понимаете, что такому человеку, как Бьевр, можно поклоняться, его можно боготворить, но любить его простой греховной любовью... Фи!

– Чудны дела Твои, Господи! – сказала Колонна. – Ну, да чего не бывает на свете! Однако вам надо отдохнуть с дороги. Если позволите, я наведаюсь к вам завтра утром. Может быть, я в чем-нибудь смогу быть вам полезна.

– Душечка! Да приходите к завтраку! Я вам так благодарна, так благодарна!

– Полно!.. Разве мы не должны помогать друг другу? Что

за пустяки! Но я с удовольствием принимаю ваше приглашение и буду у вас. Если хотите, я могу привести вам одного человечка, который будет вам очень полезен. Только это – большой секрет! Мы избегаем слишком открыто показываться вместе, так как... Ну, да вы меня не выдадите! Это граф Алексей Орлов, брат влиятельнейшего фаворита самой Екатерины. Императрица серьезно подумывает о том, чтобы женить моего Алексея, и потому нам особенно афишироваться нельзя. Но это ничего! Словом, если позволите, я приведу его завтра с собой, и мы премило позавтракаем. Орлов будет вам очень полезен, душечка; вы сразу благодаря ему войдете в избранный круг русской знати.

– Ах, как я благодарна вам!.. Я так рада, рада...

– Еще одно слово, душечка! Вы уж не сердитесь, если я буду с вами вполне откровенна, но это для вашей же пользы! Должна вам сказать, что ваша мамаша производит... как бы вам это сказать?.. впечатление...

– Отвратительнейшей ведьмы на свете! – договорила Адель.

– Ну, зачем уж так сильно! Я верю, что она – очень милая женщина, но в нашем кругу – в кругу хорошеньких, нестрогих женщин и щедрых кутил – мамаш вообще не очень-то долюбивают.

– Полно! – остановила ее Адель. – Я отлично понимаю, что такая мегера, как моя мамаша, к нашей компании не подходит. Вы хотите сказать мне, что лучше, если я не буду зна-

комить мамашу и вводить ее в круг? Да я и не собиралась этого делать, и если вы придете завтра со своим дружкой к завтраку, то мамыши вы за столом не встретите!

– Ну, вот и отлично! – сказала певица. – Мы премило позавтракаем вчетвером! А теперь до свиданья, душечка! Спи-те спокойно! Завтра к часу ждите гостей!

Послышался звук крепких поцелуев, и итальянка ушла.

Лежа в кровати, я с досадой и облегчением обдумывал последствия басни, придуманной Аделью. Досадовал я потому, что вообще ложь противна моей натуре. Но тут я не мог не согласиться, что эта басня освобождает меня от двусмысленности положения. Ведь, как секретарь на жалованье, я не мог свободно вращаться в обществе всех этих важных господ, а как дворянин и образованный человек – не мог довольствоваться положением и обществом прислуги. Но ведь у Адели была непонятная страсть вечно таскать меня с собой, и во Франции из-за этого не раз бывали неприятные для меня шероховатости.

Однако все же какое проклятие тяготело надо мной из-за греховного тумана, закружившего мне голову и давшего связать себя этой унижительной клятвой! Не дай я дьяволу одурачить меня, не поддайся я чарам Сесили, я не увлекся бы Аделью за минуту обладания и не дал бы ей всей своей жизни в рабство. Насколько иначе сложилась бы тогда моя жизнь! Я был бы уважаемым нотариусом, женился бы на какой-нибудь чистой, хорошей девушке, не знал бы всей этой

лжи, грязи, гадости...

Но что сетовать и оплакивать невозвратимое? Надо уметь расплачиваться за свои ошибки. Ну, и плати, Гаспар; плати той ценой, которую ты сам назначил!

Эти горькие думы долго не давали мне заснуть, и было уже около половины первого следующего дня, когда Адель постучала ко мне и попросила меня выйти в общую комнату.

– Я хотела посоветоваться с тобой, Гаспар, – сказала она. – Надо щегольнуть и угостить наших гостей как следует. Но только я во всем этом ровно ничего не понимаю!

– Мне кажется, – сказал я, – нужно просто вызвать госпожу Гуфр и сказать ей, что нам требуется шикарный завтрак на четыре персоны. Наверное, она в грязь лицом не ударит. Конечно, это влетит нам в копеечку, но что же поделать, раз это нужно!

– Ты совершенно прав! – обрадованно сказала Адель и направилась к дверям, чтобы позвать прислугу.

Но в этот момент в дверь постучали, и, когда Адель крикнула «войдите!», в комнату вошла Тарквиния Колонна с высоким, широкоплечим красавцем, в каждой руке которого было по объемистому кульку.

– Вот представляю – мой друг, граф Алексей Орлов! – затараторила Тарквиния, целуясь с Аделью. – Извините, что мы пришли слишком рано, но так уж вышло. Вы не сердитесь, милочка?

– Смею ли я сердиться! – приветливо ответила Адель. – Я

жалею лишь, что вышло так неловко: ведь я как раз собиралась распорядиться завтраком...

– И не успели? – подхватил Орлов. – Вот это восхитительно! Надо вам сказать, мадемуазель, что у госпожи Гуфр отличный повар-француз и отвратительная кладовая. Ну, а я как раз получил вчера вечером целый транспорт разных деликатесов. Вот я и подумал: ничего подобного хозяйка вам предложить не сможет, так захвачу-ка я кое-чего по малости сюда! Ну и захватил! Вы позволите мне распорядиться?

– Граф, мне, право, совестно, – смущенно ответила Адель, – вы сами будете хлопотать, возиться...

– А кому же, как не мне, заниматься этим? – весело сказал Орлов, скаля ослепительно белые зубы. – Вот по части философии и прочей премудрости я действительно не силен, ну а уж еду какую ни на есть сколотить, так поди-ка, поищи другого такого, как я! – он засмеялся, и его смех был похож на ржанье дикого степного жеребца. – Вы позволите?

Орлов вышел в коридор и приказал позвать повара.

Вошел почтенный месть Пето и низко-низко поклонился графу.

– Вот что, друг Пето, – сказал ему Орлов. – Забери-ка ты эти кульки и сервируй нам завтрак. В одном у меня вино – распорядись одно согреть, другое остудить – словом, что какому сорту требуется. А вот в этом кульке закуски и живность. Закуску ты нам сервируй сейчас же. Из живности ты найдешь здесь стерлядей и птицу. Стерлядей свари нам в бе-

лом вине. Из птицы здесь индюшка и рябчики. Индюшку надо будет начинить рябчиками, да не жалея трюфелей! Ну, да такому мастеру дела, как ты, нечего рассказывать. Так постарайся же на славу, дружище. И главное, сервируй нам поскорее закуску, потому что я умираю от голода!

Не прошло нескольких минут, как лакеи принялись сервировать завтрак. Чего-чего тут только не было! Все лучшее, что могли дать в закусках и винах все страны мира, было собрано здесь. Мы впервые познакомились здесь с русскими лакомствами, о которых много слышали, но никогда не пробовали: с икрой двух сортов и особо приготовленной рыбой под названием балык и тешка. Германия была представлена ветчиной и устрицами, Франция – вином и паштетами, Англия и Швейцария – сыром, Италия – омарами, Испания – какой-то удивительной рыбой, названия которой я не помню. А впереди еще были деликатесы в виде стерлядей и фаршированной индюшки!

Хорошая еда и благородное вино всегда настраивают компанию на отличное расположение духа. К тому же Орлов был заразительно весел, все время шутил, смеялся, острил, пил и ел сам за четверых и умел уговорить пить и есть других. В общем, могу сказать, что наш завтрак удался на славу.

– Ну-с, господа, – сказал нам после завтрака Орлов, – позвольте мне от души поблагодарить вас за компанию. Давно уже я так легко и весело не проводил время, как с вами. Я надеюсь, что сегодня мы не в последний раз видимся! Види-

те ли, сознаюсь вам откровенно: благодаря маленькой услуге, которую мы оказали царице, и благодаря положению, занятому при государыне моим братом Григорием, везде в обществе меня принимают с распростертыми объятиями: мигни только – и застольных товарищей не оберешься. Но я чувствую, что тут много фальши, да и вся эта чопорная, надутая знать мне не по душе. Ишь тоже, чем хвастаются! Что их деды да прадеды то или се сделали! Нет, мы с братом на чужой или там дедовской шее не выезжаем, мы – сами себе деды. Вот поэтому-то я и дорожу обществом артистов, свободных людей! Позвольте мне чокнуться с вами за приятное знакомство!

Мы чокнулись, выпили, и Орлов продолжал:

– Так давайте же чаще видеться, а? У меня подобралась очень милая компания простых, нецеремонных людей, и мы прелестно проводим время. Да вот милости прошу завтра вечером ко мне, в мою загородную дачу на Фонтанной. Я пришлю за вами карету. Надеюсь, вы не откажете мне, сударыня? – обратился он к Гюс.

– Я очень польщена и благодарна, граф, и с удовольствием буду, – ответила Адель.

– Конечно, и вы не откажете посетить меня, маркиз? – обратился Орлов затем ко мне.

– Благодарю за честь, граф, но спешу оговорить, что я – вовсе не маркиз, так что...

– Ну, не маркиз так не маркиз! – захохотал Орлов, хит-

ро подмигивая мне (очевидно, басня, придуманная Аделью, уже была передана ему: то-то он с самого начала посматривал на меня с любопытством). – Что там титулы! Вы только приезжайте, а там – не хотите быть маркизом, так это – уже ваше дело. Ну-с, а теперь как вы предполагаете воспользоваться временем, господа?

– Мне нужно в наш театр, но я не знаю, как туда добратся, а Бьевр предполагал побывать в нашем посольстве, – ответила Адель.

– Душечка, – сейчас же сказала Тарквиния, – если хотите, я свезу вас в театр, а потом поедем кататься...

– В таком случае предлагаю вам вот что, – сказал Орлов. – Я похищаю маркиза... то есть, простите, господина де Бьевра, и пошлю скорохода Фильку за экипажем для вас. Вы тут потолкуйте о своих дамских делах, а тем временем вам и карету подадут. Ну-с, едемте, месье, я завезу вас в посольство! Имею честь кланяться, сударыня, и позволяю себе надеяться, что завтра вечером увижу вас у себя!

Орлов галантно поцеловал руку у Адели, и мы спустились вниз, где его ждала карета.

Когда мы тронулись в путь, граф сказал мне:

– Здесь о девице Гюс говорят просто чудеса. В одной части – а именно в отношении ее красоты и ума – я убедился, что эти толки не преувеличены. Но действительно ли она – такая большая артистка, как уверяют? Мне просто не верится: слишком уж много даров послала природа ей одной!

– О, да, граф! – горячо сказал я. – Талант девицы Гюс вне всяких сомнений! Ни наружность, ни ум не могут идти в сравнение с ее дарованием. Ее ум – поверхностен, ее наружность – скорее банальна и может быть названа «*beaute du diable*» (Дословно: «красота дьявола»; это выражение означает, что женщина привлекательна не действительной строгостью линий, а молодостью, свежестью и хорошим сложением.). Не спорю, она обаятельна; но ее обаяние – в удивительной изменчивости и подвижности натуры, способной одинаково и на добро, и на зло, в разнообразии и богатстве жизненных струн, не касаясь вопроса об их качестве... Вообще ум и красота Гюс очень оспоримы, и многие находят ее грубой и вульгарной. Зато ее талант совершенно неоспорим! Если бы вы знали, как она преображается на сцене! Ведь я знаю ее с детства, я всегда при ней, и все-таки каждый раз, когда я вижу ее на сцене, я не верю себе, что это – Адель Гюс! Иной раз сидишь у нее в уборной перед ее выходом и возмущаешься, какая она капризная, резкая, жестокая. Но вот она вышла на сцену и произнесла какие-нибудь дивные слова о величии и кротости женской души, о торжестве добродетели, о христианском смирении, и чувствуешь, что в этот момент – о, только в этот момент! – это ее собственные искренние слова и мысли! Я никогда не забуду впечатления, которое на меня произвел ее первый дебют в «Заире». Перед самым выходом она сидела безвольная, подавленная, слабая, с трудом поднялась с кресла, чтобы идти на сцену; я боял-

ся, что она упадет не дойдя. Но стоило ей выйти на сцену – и куда девались слабость, болезненная немощь, волнение! Она, эта молоденькая девчонка, не ведавшая сильных страстей, не знавшая душевной борьбы, сразу воплотила в себе страдающую, страстную женщину...

Я увлекся: талант Адели и ее сценическая интерпретация были для меня такими темами, на которые я мог говорить часами без передышки. Так и в этом случае я стал страстно разбирать саму пьесу, указывая, какие оттенки, какое понимание характера внесла в нее Адель.

Орлов ни разу не перебил меня. Откинувшись в угол кареты, он с интересом и любопытством смотрел на меня. Наконец я спохватился, покраснел и стал смущенно извиняться за свою многоречивость.

– Да полно вам! – ответил мне Орлов, пожимая широкими плечами. – Чего вы извиняетесь? Уверяю вас, я с большим интересом слушал! Конечно, я не все понял, признаться, ведь я в высоких материях не мастер. Но меня захватили ваша горячность, тонкость суждений, начитанность... О, вы придетесь нам очень ко двору, месье де Бьевр! Наша повелительница очень любит литературу и философию, а вы знаете, что придворные считают нравственным долгом копировать государей со всеми их благородными и неблагородными страстями, увлечениями и чудачествами. Если вы произнесете такую горячую речь перед кружком наших придворных дам, то сразу победите их сердца... Впрочем, – засме-

ялся он, — я и забыл, что вы стоите выше побед, выше земных страстей! Ведь вы — рыцарь без страха и упрека! Абелар (Абелар — известный богослов XI века, прославившийся не столько своими сочинениями, сколько любовными перипетиями с девицей Элоизой, племянницей каноника Фульбера. Отношения Абелара к Элоизе были сильно идеализированы, и имя Абелара получило распространенное значение символа подавления страстей ради богоуглубленности духа. Но исторические данные не вполне оправдывают это отождествление Абелара с Прекрасным Иосифом. Так, вполне доказано, что Абелар выкрал Элоизу из дома дяди, что Элоиза вскоре после этого родила сына и что Фульбер в наказание за растление племянницы приказал оскотить Абелара. Конечно нечего удивляться, если после этого отношения Абелара и Элоизы оставались совершенно чистыми.), помноженный на Иосифа Прекрасного! Но это еще более увеличивает ваши шансы на победы при нашем дворе. Ведь человек уж так создан, что зачастую превыше всего ценит качество, которым не обладает сам. Однако вот мы и приехали к вашему посольству! Всего хорошего, дорогой месье де Бьевр. Я очень рад случаю, доставившему мне знакомство с вами, и надеюсь, что оно так не прекратится. Во всяком случае жду вас завтра непременно к себе!

Он с силой пожал мне руку, и я вышел из кареты.

Глава 3

Загородный дом Алексея Орлова был с виду мал, неказист и мрачен. Окна были плотно заставлены ставнями, и ни единого луча не вырывалось из неприглядного, покосившегося подъезда. Но все это было сделано нарочно, чтобы о веселых пирушках Орловых не проведали те, «кому о том знать не надлежало».

Когда мы вошли в темные сени, мальчик-казачок плотно притворил входную дверь и толкнул следующую, из которой показался слабый свет, достаточный, чтобы дойти до двери. Так мы попали во вторые сени, освещенные очень плохо и тускло. Но из вторых сеней мы попали в просторный вестибюль, настолько ярко залитый светом, что мы с Аделью невольно зажмурились.

Два арапа в золототканых ливреях подскочили к нам и помогли освободиться от верхнего платья. Третий ударил в висевший у мраморного простенка гонг, и сейчас же на уставленной цветочными деревьями площадке, к которой из вестибюля вели три мраморные ступеньки, показался величественный мажордом с жезлом в руках.

– От имени сиятельного графа приветствую дорогих гостей! – важно провозгласил он на отличном французском языке, сопровождая эти слова низким, но полным достоинства поклоном. – Не соблаговолят ли высокие господа после-

довать за мной?

Мажордом повел нас анфиладой довольно высоких комнат, обставленных со сказочной роскошью. Наконец мы пришли в большой полуосвещенный зал, сквозь громадные окна и стеклянную дверь которого виднелась большая веранда. Дойдя до середины зала, мажордом три раза стукнул железом о пол, и арапчонки, стоявшие у двери, широко распахнули перед нами обе ее створки. Не успели мы подойти к дверям, как на пороге показалась высокая, широкоплечая фигура Алексея Орлова.

– А, дорогие гости! – приветливо воскликнул он. – Рад видеть вас, очень рад! Пожалуйста сюда, к нам! – Он поцеловал руку Адели, крепко пожал руку мне и предложил свою Адели, после чего, выводя нас на веранду, весело сказал: – У нас на этих вечеринках установлено одно правило, которое никто не смеет преступить. Это правило гласит: чтобы не было никаких правил! Кто что хочет делать, тот то и делает, лишь бы не было ссор да свар. Если есть хочется, а ужина не дожидаться – там в углу стол накрыт, подходи, пей да ешь, не дожидаясь, пока хозяин упрашивать начнет. Вина захотел – только мигни лакею, и, какое лишь вино на свете существует, в один миг подадут! Счастья в картишках попробовать захотелось – вон смотрите, как там ярко сражаются хорошие молодцы! Погулять захотелось – весь парк к услугам. С дамой полюбезничать охота пришла – в парке беседок на всех гостей хватит. А надоела кому вся эта музыка – берись за шляпу,

да и ступай не прощаясь домой! Только и всего! Господа! – громовым голосом закричал он гостям, – минуту внимания! Перед вами юная, но уже ослепительная звезда драматической сцены, девица Аделаида Гюс, и маркиз де Бьевр, желающий быть просто де Бьевром, в чем мы его и уважим! Прошу любить и жаловать! А где же хозяйюшка? Тарквиния! Опять убежала любезничать! Да, уж можно сказать, она в строгости соблюдает наше единственное правило и не признает никаких правил! – захохотал Орлов.

– Я здесь, мой повелитель! – раздался в этот момент мелодичный голос Тарквинии Колонны, внезапно вынырнувшей из тьмы парка и поднимавшейся на веранду под руку со стройным, элегантно одетым старцем. Я забыла свой долг и увлеклась! – трагически продолжала она. – Но кто же может противостоять чарам обольстительного синьора Бальтазара!

– О, да, – улыбаясь ответил Орлов, – синьор Галуппи (Бальтазар Галуппи, венецианец, был известным композитором и виртуозом на клавесине. Шестидесяти лет от роду он приехал по приглашению императрицы Екатерины в Россию, где управлял придворным оркестром. В Петербурге особенным успехом пользовались его оперы «Покинутая Дидона» и «Деревенский философ». Между прочим, Г. был учителем Бортнянского. Управляя некоторое время придворной певческой капеллой, Г. и сам написал несколько духовных православных композиций.) непобедим, и я сильно подозреваю, что вскормившие его музы украли для него с Олим-

па немножко амброзии (По мифологии, олимпийские боги питались амброзией, которую запивали нектаром. Амброзия имела свойство сохранять богам вечную юность и бессмертие.), что и делает его неувядающим!

Тарквиния подбежала к нам, расцеловалась с Аделью, ласково поздоровалась со мной и затараторила о том, какую дивную оперу пишет в данное время синьор Галуппи и какая великолепная партия будет у нее, Тарквинии, в «Покинутой Дидоне». Это дало мне возможность несколько оглядеться по сторонам.

От веранды тянулся большой парк, о величине которого можно было судить по лампионам, украшавшим главную аллею. При слабом свете этих лампионов виднелись какие-то тени, и из разных уголков парка доносились молодые голоса, женский смех и пение.

Веранда, на которой мы находились, была величиной с порядочный зал. Диванчики и небольшие группы кресел, кокетливо заставленные цветущими деревьями в кадках, образовывали уютные уголки, почти сплошь занятые гостями. Среди последних значительно преобладали мужчины, но все женщины, которых я увидел, были молоды и красивы словно на подбор. Далее я убедился, что то же самое можно сказать и о всех гостях Орлова, причем среди них русских было очень мало: подавляющее большинство женщин принадлежало к иностранному артистическому миру.

В левом углу находился громадный стол, заставленный

винами и закусками. Время от времени кто-нибудь из гостей подходил туда, закусывал, пил и опять уходил к какой-либо группе.

В правом углу толпились почти исключительно одни мужчины: там шла крупная игра. Золото целыми столбиками передвигалось от одного игрока к другому, и в минуту выигрывались и проигрывались целые состояния. И так смешно было видеть, когда туда подходила дама, тревожно ставила один золотой, казавшийся крайне ничтожным около золотых столбиков, и с явной дрожью и жадным волнением на лице принималась следить за исходом игры.

Среди игроков выделялась богатырская фигура молодого красивого офицера, которого я сразу узнал по сходству с Алексеем Орловым: это был знаменитый фаворит императрицы Екатерины, почти неограниченный повелитель России в то время, «сам» Григорий Орлов. Но сходство братьев было чисто внешним, и с первого взгляда бросалась в глаза значительная разница между ними.

Григорий был красивее Алексея, черты лица у него были гораздо тоньше. Зато в Алексее была масса добродушия, мягкости, тогда как лицо Григория дышало надменностью и жестокостью. Говорили, будто Алексей задушил императора Петра III. Если это так, то я вполне верю в правдоподобность одной из версий, которая гласила следующее: Алексей обедал у экс-императора в Ропше; за столом все перепились, и Петр вздумал возиться с богатырем Орловым; во время шу-

точной борьбы Петр сказал Орлову какую-то дерзость, Алексей в наказание стиснул Петра покрепче, и объятий такого медведя, как Алексей, оказалось совершенно достаточно для слабосильного, худосочного, большого сердцем Петра.

Быть может, что все это произошло и не совсем случайно, что в Орлове в момент борьбы вспыхнула старая, затаенная злоба, для которой у него было много причин. Но, нечаянно или умышленно совершил Алексей это страшное дело, все же я готов ручаться, что он не готовился к нему. А будь на его месте Григорий, тот умаслил бы Петра льстивыми речами, успокоил бы его подозрительность и потом подкрался бы сзади, чтобы сознательно, спокойно, уверенно задавить его!

Впоследствии мне приходилось не раз видеть обоих братьев в моменты сильного раздражения. Оба брата были очень вспыльчивы, отличались страстной, кипучей натурой. Но как различно выражалась у них эта страсть! Если вспылит, бывало, Алексей, то сразу видишь, что в нем поднялась стихийная, неукротимая сила; что он уже не может рассуждать и соображать; что сейчас он пойдет крушить и ломать все перед собой. Но если почему-либо вспышка разрешалась благоприятно, то тем дело и кончалось, и если Алексей не мстил сразу рассердившему его человеку, то он редко делал это и потом. А Григорий мог отлично владеть собой в минуты самых страстных вспышек злобы, но зато он ничего не прощал и мог долгое время таить в душе месть. Словом, Алексей был способен на любое преступление, но толь-

ко не предумышленное, Григорий же мог годами готовить чью-нибудь гибель.

Я внимательно следил за тем, как играл Григорий. При выигрыше в его глазах вспыхивало надменное торжество, при проигрыше по его лицу с молниеносной быстротой проскользнула злобная, раздраженная судорога. А ведь, как ни крупна была игра, состояние Григория было почти неисчерпаемо, самый крупный проигрыш не мог бы нанести ему заметный ущерб. Да и проиграй он хоть все! Разве на следующий же день императрица, нуждавшаяся в нем в данный момент, не покрыла бы всех его потерь? Ведь в российской казне зачастую не хватало денег лишь на необходимые реформы, для удовлетворения же хищных appetитов временщиков деньги находились всегда! Следовательно, не в денежной потере было тут дело, а в той надменности, в том самолюбии, которое требовало, чтобы он, Григорий Орлов, был первым во всем. Не раз бывало, что, выиграв у небогатого человека крупную сумму денег, Григорий отказывался принять выигрыш и великодушно дарил долг несчастливому партнеру.

И все время, пока Тарквиния Колонна быстро-быстро лопотала какие-то милые, невинные глупости об искусстве, я с любопытством всматривался в игру страстей, так ярко отражавшуюся на надменном, жестоком, нагло-красивом лице фаворита императрицы.

Наболтав с три короба, Тарквиния утащила Адель и убежала с нею в парк.

– Ну, что же мы с вами делать будем? – сказал Алексей Орлов, с фамильярной ласковостью взяв меня под руку. – Знаете что? Давайте-ка мы закусим да выпьем! До ужина еще ноги протянешь, а у меня такая икорка есть, что пальчики оближешь! Ее монахи с Волги матушке-царице в презент прислали, матушка ее брату Григорию подарила, а Гриша со мной поделился. Ну и икра, я вам скажу! Малина! Молодцы – святые отцы!.. Знают толк в хороших вещах. Так пойдем, а?

В сущности говоря, есть мне не хотелось, но я отлично понимал, что буду в тягость хозяину, если не доставлю ему этого удобного способа занимать меня. А оставь он меня, так и еще того хуже: ведь я пока еще никого не знал среди гостей. Поэтому я дал Орлову увести себя к закусочному столу.

Еще издали мы видели, как у стола хорошенькая, вертлявая дама с пикантной родинкой около рта (как я потом узнал, это была княгиня Варвара Голицына, одна из бесстыднейших мессалин петербургского двора) кокетничала с галантным старцем Галуппи. Маэстро что-то с жаром говорил ей, потом налил себе большой стакан вина, единым духом опорожнил его, предварительно шепнув княгине что-то такое, от чего она залилась звонким, чувственным смешком; затем они оба ушли под руку в сад, и все обратили внимание, с каким бесстыдством Голицына прижималась к старику.

– Ведь вот человек! – добродушно рассмеялся Алексей, посмотрев вслед оригинальной парочке. – Ему уже за шесть-

десять, а ведь он во всех смыслах моложе молодого. Иногда ночь напролет с нами пропьянствует, а на другое утро, как ни в чем не бывало, уже за пультом и палочкой помахивает. А бабы его любят – просто страсть! Возьмите хоть Варьку – ведь она чего-чего не перевидала, каких только Адонисов своей благосклонностью не одаривала, ей-то уж есть, кажется, из чего выбирать, а вот, подите, липнет к старцу, прохода ему не дает! Молодец старик! И за что я его особенно люблю, так это за скромность. Знаете ли, царская милость имеет свои дурные стороны. Вот мы с братом Григорием уж, кажется, превознесены государыней превыше облаков. Да ведь зато она и держит нас на помочах. Узнай она, что я Тарквинию здесь открыто хозяйюшкой называю, так не оберешься потом нотаций! Пожалуй, царица даже способна Тарквинию за это из России выслать. А почему? Что я – государыне? Ну, еще брат Григорий, я понимаю... А я? Да вот поди ж ты! А ведь Галуппи, можно сказать, – свой человек у царицы, бывает запросто на всех домашних эрмитажных вечерах, и бояться ему нечего, потому что государыня им очень дорожит. И хоть знает он, что стоит ему шепнуть государыне словечко про меня или про Григория, так царица ему хороший подарок сделает, – а ведь ни слова никогда не вымолвит. Вообще славный старик и хороший товарищ! Ну, да у нас вообще составился кружок...

Сзади нас слышались твердые, отчетливые шаги.

Алексей обернулся и сказал:

– А, это ты, Гриша! Закусить идешь? Что ты хмурый какой? Проиграл, что ли?

– Да нет, – недовольно ответил Григорий, – не проиграл и не выиграл. То-то и обидно – никаких ощущений! Одну ставку проиграешь, другую выиграешь. Надоело!

Мы подходили как раз к столу. Алексей познакомил меня с братом.

– Очень рад! – сказал Григорий, надменно кивая мне головой. – Я слышал о вас много любопытного и интересного.

Мы уселись на уголке. Григорий ел стоя.

– Ну-с, – спросил меня Алексей, – удачно было ваше вчерашнее посещение посольства?

– Благодарю вас, граф, да, – ответил я. – Правда, посла я не застал, но меня принял первый атташе, маркиз де Суврэ.

– Рославлев, одну минутку! – крикнул Григорий, увидев довольно пожилого офицера в мундире премьер-майора Измайловского полка.

Орлов поставил тарелку на стол и хотел подойти к майору, но имя маркиза де Суврэ, которое я назвал, заставило его остановиться.

– Маркиз де Суврэ, – продолжал я, – встретил меня очень любезно и был даже моим чичероне по Петербургу.

– Маркиз – вообще очень милый человек, – заметил Алексей Орлов.

– Маркиз де Суврэ, – сказал Григорий, с холодной злобой отчеканивая каждое слово, – плохой дипломат и двусмыс-

ленный интриган, и в самом непродолжительном времени я сделаю соответствующее представление о нем версальскому двору!

– Ну, это он так! – сказал мне Алексей, подмигивая в сторону брата, подошедшего к Рославлеву. – Любовишка тут замешалась! Да и не любвишка, а просто каприз, если хотите! И из-за кого? Из-за девчонки, которая, по-моему, выеденного яйца не стоит. Надо вам сказать, что недавно у нас при дворе появилась таинственная особа. Кто она, как ее зовут на самом деле, – этого не знает никто, кроме императрицы, которая ревниво бережет эту тайну. Несколько месяцев тому назад к царице привезли из-за границы очень молоденькую девушку, лет шестнадцати-семнадцати. В тот же день приезжую крестили по православному обряду, а на другой день царица представила нам ее под именем Екатерины Алексеевны Королевой. Ну, имя и отчество нам ничего не сказали, а вот фамилия заставила призадуматься. Когда-то наша царица питала большую симпатию к Станиславу Понятовскому, теперешнему польскому королю. Уж не оттого ли девочка и Королевой прозвана? Ведь по всему похоже, что у этой девицы есть что-то родственное с Понятовским. Ну, да не все ли равно? Чья бы она ни была – нам-то не все ли едино? Посмотрели мы на барышню – ничего себе, так – ни рыба ни мясо, тоненькая, бледненькая, хрупкая, говорит нежным, слабым голосом, смущается, от всякого пустяка краснеет. Брат Григорий и не заметил бы ее, может быть, да

девчонка с первого взгляда почувствовала какой-то глупый страх перед ним. Григория это задело, вот он и стал за девчонкой бегать. Да ведь не разбегаешься, когда каждую минуту двойная беда грозит: царица, во-первых, девчонке сильно покровительствует, а, во-вторых, брату больших вольностей насчет женского пола никак позволить не может. Ну а тут подвернулся маркиз де Суврэ. У молодых людей с первого взгляда завязался роман, к которому царица относится очень благосклонно. Она еще недавно сказала в кругу близких друзей: «Я свою Катеньку гораздо охотнее отдам иностранцу, чем русскому; наши, русские, слишком грубы и неотесаны и не смогут оценить такое прелестное создание». Вот Григорий рвет и мечет. Ведь не может он ее любить, а самолюбие заело: почему Суврэ успел там, где он, непобедимый Григорий, потерпел афронт! Уж я ему не раз говорил: «Отступишь, Григорий, не быть добру!» Так вот нет же! Ох, доиграется он!.. Тогда и нам несдобровать... Только, Бога ради, дорогой месье, – спохватился Алексей, сообразивший, что он ни с того ни с сего разоткровенничался перед незнакомым ему человеком, – все это – большой секрет, который отнюдь не должен выходить за порог этого дома! Я рассчитываю на вашу порядочность...

– Помилуйте, граф, – ответил я, обиженно пожав плечами, – может ли быть и речь...

– Ну да, ну да, – подхватил Орлов, – я понимаю, что вы не из того теста сделаны, из которого пекут шпионов и пре-

дателей. Недаром же я с первого взгляда почувствовал к вам такую симпатию и доверие, что забыл, как мало мы знакомы, и говорил с вами по душе, словно мы уже три пуда соли вместе съели... Однако брат возвращается, будем говорить о другом. Скажите, в какой именно пьесе явится перед нами впервые обольстительная Аделаида Гюс? Я слышал, что в «Заире», о которой вы рассказывали мне вчера с таким поэтическим пафосом.

Григорий Орлов во время этих слов молчаливо уселся за стол и стал бокал за бокалом пить крепкое старое токайское. Должно быть, Рославлев сообщил ему что-нибудь неприятное, потому что после разговора с ним Орлов вернулся к столу туча-тучей. Он был бледнее, чем прежде, жилы на висках у него сильно напряглись, и по манере пить вино сразу было видно, что он заливал им что-то тяжелое и неприятное.

На вопрос Алексея я подтвердил, что первый дебют Адели предположен именно в вольтеровской пьесе «Заира».

– Значит, мы скоро увидим ее? – продолжал Алексей.

– Скоро, скоро! – ответил за меня Григорий. – Денька через два сюда пожалует этот ангальт-кетен-плеский остолоп, в честь женишка будут давать разные представления, тогда и состоится первый выход Гюс... Кстати, знаешь ли ты, что мне сейчас Рославлев сказал? Оказывается, Николашка случайно видел остолопа в прошлом году, когда ездил с делегацией в Берлин. Хитрая механика подведена! Ведь принц Фридрих по непонятной игре природы – вылитый Станислав

Понятовский в юности! Ну, да...

Алексей повел глазами в мою сторону, и Григорий осекся и заговорил сейчас же по-русски. Я слышал имена Панина, Дашковой и Воронцовой, и этого мне было достаточно, чтобы понять, о чем шла речь. Ведь из вчерашнего разговора с Суврэ я уже знал, что Панин повел подкоп против Орловых с новой стороны и что по его настоянию императрица Екатерина выразила согласие принять Фридриха Эрдмана, принца крошечного княжества Ангальт-Кетен-Плес, которого ей прочил в женихи Фридрих Великий. Знал я также, что в виде ответного шага Орловы уговорили царицу простить Елизавету Воронцову и вернуть ее ко двору – это должно было уронить шансы княгини Дашковой, а следовательно, и Панина.

Но братья обменялись по-русски лишь парой фраз и затем опять перешли на французский.

– Так, значит, в «Заире»? – сказал Алексей, как бы продолжая прерванный разговор. – Ну, что же, посмотрим, посмотрим!

– А она действительно такая хорошая актриса, как о ней кричали? – резко спросил Григорий, который не переставая пил стакан за стаканом.

– Я считаю Аделаиду Гюс самой талантливой артисткой парижской сцены, – ответил я. – Конечно, она еще молода и неопытна...

– Ну, это на сцене она, может быть, и неопытна, – с непри-

ятным смехом перебил меня фаворит императрицы, – а вот в жизни, по слухам, девица Гюс – тонкая штучка! Говорили, что она чуть-чуть было не обошла вашего расслабленного старичка-короля, да старая карга Помпадур вовремя вмешалась!

– Граф, – сухо остановил я его, – вы, должно быть, забыли, что говорите о моем государе и о девушке, которая мне близка, как сестра!

– Я говорю о том, о чем хочу, – небрежно кинул надменный фаворит. – Уж не вы ли будете учить меня, о чем можно говорить и о чем нельзя?

– О, нет, – спокойно ответил я, – я не берусь обучать правилам благопристойности дурно воспитанных людей!

Орлов побледнел, жилы на висках надулись у него еще больше. Его глаза с такой угрозой, с такой холодной яростью уставились на меня, что я тут же дал себе слово (и сдержал его) никогда больше не выходить в России из дома без пары заряженных пистолетов.

Но Алексей успел подскочить к нему и что-то шепнуть на ухо. Григорий стиснул под столом пальцы рук так, что кости громко затрещали.

– Однако! – сказал он, принужденно улыбаясь. – Недаром вас прозвали с первого дня рыцарем без страха и упрека! Не много найдется людей, которые решатся говорить так с Григорием Орловым, как это сделали вы! Но я сознаю, что был не прав. Вот моя рука! Докажите, что вы не сердитесь,

и пожмите ее!

Я пожал протянутую мне руку, но ни со стороны графа, ни с моей особой сердечности в этом рукопожатии не сказалось.

– Однако ведь я вам еще не показал своего парка, – сказал Алексей. – Если хотите – пройдемтесь!

Григорий хрипло расхохотался.

– Да брось ты, Алеша! – сказал он. – От меня ты его уводишь, что ли? Не съем я твоего гостя, не бойся! Вообще я скоро уйду, уж ты извини, ужинать я не останусь, не по себе мне что-то. Ну, давайте чокнемся с вами, господин рыцарь без страха и упрека.

Мы чокнулись.

В этот момент к столу, весело щебеча что-то, подошла Адель, окруженная целым роем мужчин, которые принялись наперерыв предлагать ей вина и закусок. Григорий Орлов посмотрел на нее, и даже стакан с вином заплясал у него в руках.

Действительно у Адели был, что называется, ее счастливый день. Она была удивительно авантажна, и все, что было в ней привлекательного, еще рельефнее выступило наружу, а все некрасивое, угловатое куда-то спряталось, затушевалось.

Заметив впечатление, произведенное Аделью на Григория, Алексей Орлов сейчас же сказал:

– Простите, божественная, вы, кажется, еще незнакомы с моим братом?

Он, вероятно, ждал, что Адель сейчас же сама подойдет

к всесильному фавориту или так или иначе выкажет радостную готовность заинтересовать собой влиятельного человека. Но Адель удовольствовалась тем, что через плечо кинула:

– Нет еще, не удостоилась этой чести!

Сказав это, она продолжала говорить с окружавшими ее кавалерами.

Григорий Орлов усмехнулся, встал, подошел к Адели, бесцеремонно взял ее руку, поцеловал, затем осмотрел с ног до головы с оскорбительной внимательностью и сказал:

– Знаете, барышня, вы мне нравитесь!

Адель церемонно присела и насмешливо ответила:

– Страшно польщена этой честью, граф, и скорблю, что наши чувства не взаимны; вы мне не нравитесь!

– Но почему же? – уже совсем глупо спросил оторопевший от неожиданного реприманда фаворит.

– А потому, что я не люблю и не привыкла, чтобы со мной говорили в таком тоне! – ответила Адель, после чего, еще раз церемонно присев перед графом, отвернулась от него и заговорила с одним из кавалеров.

Алексей Орлов громко захохотал.

– Что, брат Гриша, не повезло тебе! – шутливо сказал он.

– Не повезло! – ответил Григорий, пренебрежительно пожав плечами. – Что значит «не повезло»? Просто барышне почему-то захотелось представить себя исключением из всего женского пола. Ведь я не знаю ни одной женщины, которая не была бы довольна узнать, что она нравится!

– Это доказывает, что вы не знаете женщин, граф! – заметила Адель, повернувшись к фавориту. – Женщине всегда приятно видеть и сознавать, что она нравится, но, когда ей говорят об этом в таком тоне, в котором ясно звучит: «Для тебя большая честь, что даже я сам признаю твое обаяние»... Знаете, граф, надо быть очень нетребовательной и быть о себе очень плохого мнения, чтобы комплимент такого дурного тона мог понравиться!

Я не знаю, что именно ответил Григорий Орлов на слова Адели, так как в этот момент на веранду вбежала веселая Тарквиния и шаловливо утащила меня в парк.

– Да что вы там к месту приросли? – щебетала она. – Вас дамы ждут не дождутся, а вы забились в уголок, да и сидите. Знаете, даже досадно, что вы дали обет целомудрия...

– Но помилуйте, прелестная синьорина, – шутливо ответил я, – уверяю вас, что я никогда не давал такого вздорного обета! Да и к чему послужили бы мне всякие обеты, – с комическим вздохом добавил я, – когда приходится идти под руку по темному парку с таким прелестным созданием?

– Лыстец! – засмеялась Тарквиния, дернув меня свободной рукой за ухо. – Ну, да вы потому так храбры теперь, что знаете – у меня не пообедаешь. Со мной вы в безопасности, потому вы это и говорите. А вот скажите-ка это любой другой даме, которая не так строго смотрит на привязанность к одному!

Перекидываясь шутками, мы вошли в одну из беседок,

где сидело несколько дам. Тарквиния познакомила нас, и мы премило проболтали некоторое время. Затем, продолжив прогулку с несколькими дамами, мы зашли в другую беседку, в третью, и везде меня с кем-нибудь знакомили.

И мне бросилось в глаза одно странное обстоятельство: со мной говорили и обращались с каким-то заметным почтением, как-то совсем особенно, и во взглядах мужчин и дам я видел устремленный ко мне какой-то тревожный, любопытный вопрос. Словно я был не француз, а житель другой планеты, словно был создан из другого теста, чем все остальные. Таким образом я убедился, что басня, сплетенная Аделью, получила всеобщую известность.

Конечно, я не миновал знакомства с княгиней Варварой Голицыной. Она взяла меня под руку и утащила в самую глухую аллею, где завела со мной выпреженный разговор на тему о необходимости торжества духа над грязными велениями плоти. Конечно, я понимал, что моя особа представляла для распущенной княгини такой редкий экземпляр, какого еще не было в ее коллекции, а потому, желая завлечь меня, она пыталась говорить со мной в таком тоне, какой, по ее мнению, должен был быть мне ближе всего. В душе я хохотал, сознавая, что прелестная княгиня только и жаждет подчиниться «грязным велениям плоти», и был очень доволен, что ее говорливость избавляет меня от необходимости отвечать ей.

Княгиня как раз развивала какую-то сложную и тонкую

теорию о наилучших способах борьбы с мятежной плотью, когда по парку гулко и звонко поплыли певучие звуки гонга.

– Ужинать зовут! – сказала княгиня радостным тоном, в тот же момент забывая о «борьбе с мятежной плотью». – Ну-с, пойдемте! Помните, вы будете моим кавалером за столом! У Орлова заведен прелестный обычай: общего стола нет, а в зале расставлены столики разной величины, и каждый усаживается, с кем хочет. Я оставляю вас на веранде и побегу занять столик на двоих. Смотрите же, ждите меня?

Я торжественно обещал княгине лучше пустить корни и вращаться в террасу, чем сойти оттуда без нее, после чего повел ее по аллее к сверкавшему (со стороны парка) огнями дому. На веранде Голицына выпустила мою руку и убежала в зал.

В двух шагах от меня стояла Адель, рассматривавшая дивную мраморную группу «Амур и Психея». Я хотел подойти к ней, но меня опередил Григорий Орлов, только что пожавший на прощанье руку брату и собиравшийся уходить. Он подошел к Адели и с силой сказал ей:

– А все-таки вы мне нравитесь, хотя вы и злы, как пантера! Но погодите, маленький зверек, я еще обломаю вам когти! Вы достаточно прелестны, и вами стоит заняться!

Сказав это, он повернулся и ушел. Адель с задумчивой мечтательностью посмотрела ему вслед, и я слышал, как она прошептала:

– Этого человека я, кажется, могла бы даже полюбить!

Глава 4

Несколько следующих дней мне почти не приходилось видеть Адель, так как готовились спектакли по случаю приезда принца Фридриха и в театре репетиция шла за репетицией. Но Адель не только не досадовала, а даже радовалась этому. Она понимала, что артистка, сумевшая сразу завоевать публику, будет и как женщина иметь несравненно больший успех. Кроме того, она все же любила свое дело. Поэтому она работала с самозабвением, иной раз забывая даже про еду.

Я же тем временем много гулял, знакомясь с Петербургом, в чем мне усиленно помогал милейший маркиз де Суврэ, с которым я быстро и прочно сошелся. Это был прелестный человек – веселый, остроумный, жизнерадостный, смелый и ловкий. К тому же он обладал большим повествовательным даром, и я хохотал до слез, когда он с необыкновенным юмором рассказывал мне некоторые эпизоды из первых шагов в Петербурге принца Фридриха Эрдмана.

Действительно принц Фридрих отличался такой же глупостью, как и красотой. К тому же он был совершенно необразован и интересовался лишь военным строем. Впрочем, он и не знал почти ничего другого, так как все его воспитание состояло в подготовке к военной службе, которую он проходил в армии Фридриха Великого, где дослужился до чина капитана.

Однако расчеты Панина основывались именно на красоте и глупости жениха. Он отлично понимал, что Екатерина II скорее сделает своим супругом представительного дурака, чем умного, энергичного, властного мужчину. Ведь брак нужен был ей лишь как уступка общественному мнению Европы. Но она сама знала, каким неудобством является для царствующего государя, когда принцем-супругом или императрицей-женой делается энергичная, деятельная, умная особа. Деятельный человек не помирится с второстепенной ролью и будет искать всей полноты власти, а энергия и ум позволят ему добиться такого переворота. Подобной натурой была и она сама, принцесса Ангальт-Цербстская, и результаты были налицо! Петра III не было и в помине, а на престоле воссела она, которой было предназначено лишь улаживать часы повелителя, но не повелевать самой. Так неужели же она, Екатерина, известная своей зоркостью и проницательностью, создаст без особой необходимости себе такую опасность?

Нет, Панин отлично понимал, что лишь глупый человек может иметь у Екатерины какой-нибудь шанс на успех. Да умного мужа Екатерине не желал и он сам. Ведь замужество государыни было для него лишь целью свалить ненавистных Орловых, которых неудобно будет оставить при дворе в первое время после брака. Ну стоит Екатерине не видеть своего Гришеньку хотя бы три месяца, как потом она уже не пустит его на глаза, а если и пустит, то во всяком случае не даст ему

прежней воли. Ну, а если отстранить Орловых, первая роль в государственных делах сама собой отойдет к нему, Панину. Поэтому-то хитрый граф Никита с такими надеждами и нетерпением ожидал прибытия принца.

Однако уже с самых первых шагов принца возникло опасение, что он окажется чересчур глупым, и эта глупость подчеркивалась еще более крайней робостью и плохим знанием французского языка. Иной раз принц и хотел бы ответить что-нибудь галантное, остроумное, и фразу-то составлял в уме очень эффектную, но не умел выразить ее и принужден бывал в таких случаях ограничиваться коротким «да» или «нет».

Даже первый момент его свидания с императрицей ознаменовался именно таким анекдотом. Прусский посланник, которому было поручено наставлять принца на всех путях его, основательно напел глуповатому принцу ряд отличных, галантных фраз, причем проэкзаменовал его «в разбивку», то есть убедился, что принц заучил эти фразы не механически, а сумеет ответить и в том случае, если вопросы императрицы будут ставиться не в том порядке, в каком предполагал их посланник. Только он не учел того обстоятельства, что это преподавание велось на немецком языке, а главной трудностью для принца было складно ответить по-французски. Поэтому-то все вышло глупо до неприличия.

Выйдя навстречу принцу, Екатерина ласково приветствовала его, напомнила, что они находятся в родстве, и замети-

да, что она вообще дорожит родными и родством.

– Таким образом, – закончила она, сопровождая свои слова очаровательнейшей улыбкой, – я особенно рада приветствовать вас, мой кузен, как родственника!

У принца в голове вертелась отличнейшая фраза, но – увы! – по-немецки. Поэтому он сначала неприлично долго молчал, а потом с трудом пробормотал:

– О, да! Дорожить родными – хорошая черта!

Придворные, бывшие на приеме, рассказывали, что им стоило нечеловеческих трудов сохранить спокойствие и не прыснуть со смеху при этом ответе.

Екатерина закусила губу и спросила:

– Какое впечатление произвела на вас Россия?

– О, Россия – очень живописная страна, ваше величество! – ответил принц и необдуманно прибавил: – Только уж очень много блох...

Многими из придворных овладел неудержимый приступ кашля.

Императрица поспешила уверить принца, что в покоях, которые отведены ему во дворце, он будет избавлен от этой «мелкой неприятности». В ее тоне звучала столь явная насмешка, что принц, и без того опасавшийся, уж не сказал ли он чего не следует, смутился еще более.

– О, ваше величество! – с укором воскликнул он. – Ведь я не имел в виду дворца вашего величества!

Чем дальше в лес, тем больше дров. Императрица поспе-

шила отказаться от такой опасной темы, как блохи.

– Вообще, – сказала она, – мы постараемся сделать вашу жизнь как можно более сносной и интересной. Мне удалось собрать очень хороший состав оперной, балетной и драматической групп, и театром мы можем похвастаться. А вы любите театр, принц?

– Нет, ваше величество!

– Почему?

– Да, по правде сказать, я и сам не знаю почему, ваше величество!

Императрица поняла, что затягивать дальше официальную аудиенцию, значит, сознательно искать скандала; поэтому она сказала несколько любезно-незначительных фраз, выразила надежду, что принц полюбит театр, если увидит действительно выдающихся артистов, и представила ему графа Григория Орлова, назначенного ею состоять при особе его высочества. Этим аудиенция была окончена, и Орлов увел принца в отведенные ему покои.

Но там принца уже ожидала группа известных зубоскалов, состоявшая из клеветов Орлова. Последний попросил разрешения представить их принцу, и, когда разрешение было дано, началась довольно непристойная травля.

Для затравки граф Валентин Мусин-Пушкин, умница и очень образованный человек, добровольно игравший роль шута при дворе, заявил, что в России очень высоко ставят и почитают гений державного дядюшки принца, короля Фри-

дриха II, и это видно из того, как интересуются в Петербурге всеми делами внутреннего управления Пруссии. Поэтому-то он и пользуется случаем узнать, верен ли слух, будто Фридрих поручил известному законоведу Марку Цицерону (Марк Туллий Цицерон – знаменитый юрист и оратор, живший в I веке до Рождества Христова.) преобразовать юридическую часть королевства.

Принц развалился в кресле, закинул ногу за ногу, принял чрезвычайно важный и глубокомысленный вид и ответил небрежным тоном:

– Э... знаете ли, милый граф... Это решено далеко еще не окончательно! Его величество король недавно говорил мне, что он не уверен в благонадежности этого господина!

– Ну, да, – подхватил Мусин-Пушкин, – мы слышали об этом. Но ведь эти сомнения навеяны его величеству благодаря проискам тайного советника Сократа (Знаменитый греческий философ, живший в V веке до Рождества Христова.), личного врага Марка Цицерона! А ведь мне передавали вполне достоверно, что тайный советник Сократ впал в немилость, и его отставки ожидают с часу на час!

– Да, я перед отъездом слышал что-то об этом, – ответил принц, – но, знаете ли, его величество не так легко расстается с людьми, с которыми работал долгое время!

В том же духе принц отвечал и на другие вопросы, в которых фигурировали знаменитейшие герои древности с приобщением современных чинов, титулов и званий. Необразо-

ванность, умственное убожество и дурное воспитание принца были подчеркнуты еще рельефнее и нагляднее.

И все-таки его шансы у самой императрицы были далеко не малы. Как достоверно стало известно маркизу де Суврэ, Екатерина, расставшись с принцем после первой аудиенции, сказала Нарышкиной – единственному человеку, с которым она в то время была вполне откровенна – следующее: «Боже, как он глуп... но зато как красив!» – с мечтательным вздохом прибавила она, и по тону голоса можно было понять, что последнее обстоятельство перевешивало в ее глазах первое.

Когда же ей донесли об издевательствах, учиненном клеветами Орлова над глупеньким принцем, Екатерина вспыхнула и сказала:

– Ах, так? Они хотят этим подействовать на мое решение. Ну так Орловы ошибаются! И если даже я не решусь сделать принца своим мужем, то... то он достаточно красив для того, чтобы Орлову не стало легче от этого!

С этого момента Екатерина окружила принца нежной заботливостью, стараясь незаметно направлять его речь и затушевывать все сказанные им глупости и неловкости. В атмосфере этого ласкового внимания Фридрих Эрдман смог побороть свою застенчивость, отвечал не так уж бесповоротно глупо, а иногда под счастливую руку подавал блестящие по своей дипломатической тонкости реплики, которые производили особенно сильное впечатление в его устах, так как в хитрости и лукавстве принца заподозрить не мог никто.

Так, однажды, после представления итальянской оперы, императрица спросила принца, не находит ли он, что артистки труппы все очень хорошенькие женщины, одна лучше другой. Принц добродушно ответил, что даже не заметил этого.

– Боже мой, принц! – с шутливым негодованием сказала императрица, – но вы, вероятно, страдаете слабым зрением?

– Государыня, – ответил принц, – когда светит солнце, самое лучшее зрение не поможет видеть звезды!

И, говоря это, он при слове «солнце» так изящно и многозначительно поклонился императрице, что Екатерина вспыхнула, словно молоденькая девочка, и положительно обласкала взглядом принца Фридриха.

– Конечно, – смеясь говорил мне по этому поводу Суврэ, – недаром же и в Писании сказано: «Блажен, иже и младенцев умудряет». Вообще я нахожу, что «нищие духом» награждены уж чересчур большими привилегиями. В будущей жизни им обещано Царство Небесное, а в настоящей – какой-нибудь принц Фридрих легко подбирается к земному царству. И это ему тем легче, что он действительно похож на Понятовского в молодости, ну, а вы знаете, что старая любовь никогда не ржавеет. Императрица не раз увлекалась, но лишь один Понятовский может похвастаться тем, что затронул и чувства, и душу Екатерины. Принц Фридрих пользуется успехом за чужой счет. Ну, да это было предусмотрено заранее! Недаром Орловы так всполошились! – Маркиз

де Суврэ засмеялся и продолжал: – Да, Григорий Орлов делает мне всякие гадости, а между тем я мог бы уничтожить его одним словом! Я ведь нахожусь в курсе всех сложных интриг петербургского двора и знаю всю ту хитрую механику, которую подводят Орловы под принца. Если бы я ставил личную неприязнь выше государственных дел, я разоблачил бы их козни; но Франции слишком невыгодно преобладающее влияние Пруссии на здешний двор. Поэтому я довольствуюсь ролью простого зрителя. Но потом, когда кандидатура принца Фридриха будет отстранена, я не откажусь от удовольствия посмотреть, что сделает и скажет императрица, когда фокусы Орловых будут разоблачены...

– А в чем же выражаются эти «фокусы», маркиз? – поинтересовался я.

– О, это какая-то странная смесь наглости и наивности! Впрочем, по Сеньке и шапка! Для такого дурачка, как принц Фридрих, все эти меры могут оказаться вполне действенными... Его дурачат на разные лады. По ночам к нему является тень его покойного отца, которая закликает принца отказаться от безумного намерения и скорее бежать из России, а днем с ним происходит ряд разных неприятностей. То у принца при поклоне лопнет необходимейшая часть туалета – разумеется, предварительно подпоротая, то у него по неизвестной причине слетит парик, то вместо вина у принца в стакане окажется уксус, а тут еще императрица непременно хочет чокнуться с ним и выпить за его успехи. А потом но-

чью опять является тень отца и начинает уверять, что все эти мелкие неприятности – лишь преддверие к настоящим бедам, которые ниспошлет небо непокорному сыну. И действительно неприятности начинают приобретать все более и более опасный характер. Вчера, спускаясь по главной лестнице дворца, принц споткнулся о протянутую поперек лестницы веревку и только по счастью не разбился. Затем, когда он сел в карету, лошади по неизвестной причине взбесились и понесли. Только чудом удалось удержать их. Словом, принц начинает серьезно задумываться. Он плохо спит, почти лишился аппетита, вздрагивает от малейшего шума... Надо полагать, что господа Орловы все-таки добьются своего, и глуповатый принц убежит без оглядки обратно под крылышко Фридриха Второго. Ну что же, когда это случится, мы посчитаемся с господами Орловыми! – закончил маркиз, улыбка которого не обещала фавориту императрицы ничего хорошего.

Следуя желанию императрицы, Григорий Орлов назначил у себя в честь принца Фридриха вечер, по образцу знаменитых «эрмитажных». Так как мне пришлось впоследствии побывать и на самих «эрмитажных», то, чтобы потом не повторяться, опишу сейчас, в чем состояли эти вечера и какими правилами обуславливались доступ и пребывание на них.

Вступив на трон, императрица захотела отвести себе во дворце такой уголок, где она могла бы отдыхать в уединении, предаваясь любимым развлечениям и беседуя с интересны-

ми ей людьми, вне какого бы то ни было этикета. Для этих собраний были отведены определенные залы Зимнего дворца, и Екатерина прозвала их «Эрмитажем» (Французское слово «Эрмитаж» значит по-русски «скит», «пустынь»), намекая этим на уединенность от внешнего блеска и великолепия трона. Через два года после того времени, к которому относится мой рассказ, императрица поручила архитектору Валлен де Ламотту выстроить для собраний особое здание, которое и получило тогда название «Эрмижажа». Но во время моего первого приезда в Россию этим именем называлось не какое-либо здание, а лишь частные вечера у императрицы; вечера же, устраиваемые по образцу их у приближенных Екатерины, именовались «эрмижажными».

На эрмижажные собрания Екатерина приглашала лишь тех, кто был ей приятен или интересовал ее умом или талантом. Чин, ранг, занимаемое общественное положение при этом совершенно не принимались во внимание. Так, например, ни наш, ни прусский посол ни разу не были приглашены на них, а атташе французского посольства, маркиз де Суврэ, был частым и желанным гостем. На этих вечерах приглашенным предоставлялась полная свобода с условием не мешать другим. Здесь императрица слушала чтение новых стихов или пьес русских поэтов, смотрела любительские представления, играла в карты. Если на вечере появлялся какой-нибудь новый интересный человек, Екатерина вступала с ним в оживленную беседу. Если приглашения удостоивался ка-

кой-нибудь артист, его просили спеть или прочитать что-нибудь.

Когда на собрании не присутствовали иностранцы, гости обязаны были разговаривать не иначе, как по-русски; это правило было введено мудрой императрицей потому, что в то время в высшем обществе существовала излишняя приверженность к французскому языку, которая могла лишь льстить нам, французам, но мешала развитию русской словесности; действительно, не редкость было встретить сановника, который говорил по-французски не хуже истинного парижанина, а по-русски изъяснялся с трудом.

Всякий этикет был совершенно отброшен, следование ему каралось штрафом. При проходе императрицы или при ее обращении к кому-либо гостям запрещалось вставать. Все это было оговорено в правилах, составленных самой Екатериной и вывешенных при входе в зал. Эти правила заключались в следующем:

«1) Оставить все чины за дверью, равно как и шляпы, а наипаче шпаги.

2) Местничество и спесь или тому что-либо подобное, когда бы то ни случилось, оставить за дверью.

3) Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать и ничего не грызть.

4) Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, несмотря ни на кого.

5) Говорить умеренно и негромко, дабы у прочих там находящихся уши и головы не заболели.

6) Спорить без сердца и без горячности.

7) Не вздыхать и не зевать и никому скуки или тягости не наносить.

8) Кушать сладко и вкусно.

9) Пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода у дверей.

10) Сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступить из дверей.

Если кто противу вышеписанного проступится, то, по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая и дам, и прочесть страницу Тилемахиды („Тилемахида“ (вернее „Телемахида“, но автор в тексте этого подлинного объявления придерживался начертания и орфографии самой императрицы Екатерины II) – тяжелая, неуклюжая поэма Тредияковского, старательного, но бездарнейшего пиита времен императрицы Анны.). А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк Тилемахиды наизусть. А если кто против десятой статьи проступится, того более не впускать».

При входе в зал собраний висело кроме того другое объявление, тоже составленное самой императрицей. Оно гласило:

Извольте сесть, где хотите,

Не ожидая повторения:

Церемоний хозяйка здешняя ненавидит и в досаду принимает;

А всякий в своем доме волен.

На собраниях у самой Екатерины все эти правила соблюдались в точности, но у других им следовали лишь отчасти. Конечно, все, что касалось поведения гостей по отношению к императрице, соответствовало ее желанию, но стоило ей уйти (а императрица редко оставалась к ужину), как статья девятая: «Пить с умеренностью» – отбрасывалась в сторону, и очень многие не могли потом «найти свои ноги для выхода у дверей», так что их приходилось на руках сносить вниз и бесчувственным телом сажать в кареты. Не соблюдалась также и десятая статья: по желанию самой императрицы «сор из избы» тщательно выносился, так как при сильно развитой в то время системе взаимного шпионства Екатерине потом доносили, что сказал тот-то или тот-то под пьяную руку. Правда, к чести Екатерины надо сказать, что на основании этих доносов она никогда никого не преследовала: она просто проверяла этим способом искренность своих приближенных.

Но насколько часты бывали эрмитажные собрания у самой Екатерины, настолько же редко происходили они у ее приближенных. Ведь хозяину приходилось приглашать не тех лиц, которые были приятны ему самому, а тех, кого хотела видеть императрица. И получалась некая двойственность: с одной стороны – на вечере как бы царила милая

непринужденная свобода, с другой – благодаря необходимости быть в качестве хозяина любезным с неприятными людьми – чувствовалась натянутость. Вот поэтому-то такие собрания устраивались приближенными императрицы лишь по необходимости.

В данном случае была полная необходимость: императрица напрямик выразила желание и сама указала характер вечера и приглашаемых гостей. Сначала должны были быть устроены танцы для желающих, а нетанцующие могли заняться картами или разговором. Затем следовал ужин за столиками в большом зале. Во время ужина должен был играть оркестр, а приглашенные в качестве гостей на равных с остальными правах артисты – увеселять общество своим искусством. А для того, чтобы артисты не чувствовали себя ниже остальных вследствие необходимости вставать из-за столика для исполнения своего номера, в программу были включены также и великосветские любители и любительницы. Между прочим сам Алексей Орлов должен был протанцевать русскую с княгиней Варварой Голицыной.

Среди приглашенных артистов были Тарквиния Колонна и Адель, очень понравившаяся императрице на своем первом дебюте, а чести получить приглашение в качестве простого гостя удостоился, между прочим, и ваш покорный слуга.

Сначала, когда пришло письменное приглашение Орлова пожаловать к нему «запросто», я твердо решил уклониться

от этого посещения, так как и сам Григорий Орлов был мне не симпатичен, да и казалось слишком нелепым находиться рядом со столькими высокопоставленными особами. Но Тарквиния, заехавшая к Адели, рассказала нам, что мое приглашение состоялось по желанию самой императрицы, заинтересованной ходившими обо мне рассказами. А главное, узнав о моем нежелании ехать к Орлову, Адель категорически заявила: «Глупости! Ты поедешь!» – я же был обязан ее слушаться.

И так случилось, что я, ничтожный Жак Тибо Лебеф де Бьевр, недавний мелкий клерк у нотариуса, а ныне секретарь распутной артистки, попал в общество императрицы всероссийской и цвета русской знати. Этим я был обязан тому лживому ореолу, которым окружила мое имя хитрая Адель, и на первых порах чувствовал себя очень скверно, как настоящий самозванец. Но люди привыкают ко всему, и самая дерзкая ложь от частого повторения приобретает отсвет правды. Вскоре я начал сам себе казаться чище и выше, чем был на самом деле.

Глава 5

Когда мы с Аделью приехали, у Орлова собрались уже почти все приглашенные. Не было только принца Фридриха Эрдмана и самой императрицы; но ее, как мне потом сказали, и не ждали так рано.

Сам хозяин, Григорий Орлов, буквально сиял восторгом и счастьем и прилагал все меры, чтобы оживить гостей. Однако разнородность состава давала себя знать, и как могла, например, веселиться и чувствовать себя хорошо маленькая хорошенькая Дашкова, если она знала, что охлаждением к ней императрицы она обязана тому самому Григорию Орлову, который теперь старался выказать ей всяческие знаки внимания; ему же она была обязана и тем, что на том же самом вечере ей предстояло встретиться с ненавистной сестрой, которая была прощена императрицей Екатериной и взята ею к себе в фрейлины. Конечно, все собравшиеся были достаточно хорошо воспитанными людьми, чтобы уметь скрывать свои истинные чувства, но внутренней теплоты не было, и потому не создавалось общей приятной атмосферы.

Орлов встретил нас почти при самом входе в зал, где замирали последние аккорды менуэта. Когда он увидел Адель, в его взгляде что-то блеснуло. Он подошел к нам, и мы несколько минут поговорили. Тут оркестр заиграл медленную, плавную, убаюкивающую мелодию вальса – нового тан-

ца, только что входившего в моду, и Орлов, склонившись к Адели, сказал ей:

– Тур вальса, сударыня?

Адель кивнула головой.

Тогда, обращаясь ко мне, Орлов сказал:

– Вы уж извините, месье де Бьевр, тут у нас без всяких фасонов. Каждый делает, что хочет, и развлекается, как умеет. Если хотите танцевать, смело приглашайте даму. Хотите перекинуться в картишки – в одной из гостиных раскинута столы. Словом, вполне свободно располагайте собой.

Орлов и Адель закружились в плавном ритме красивого «круглого» танца, а я остался стоять на месте, любуясь ими. Что это была за прелестная парочка! Мощный дуб и приникнувшая к нему лозинка! Орел, уносящий в мощном размахе крыльев нежно прижавшуюся к его широкой груди голубку! Хищный тигр, в минуту безумья страстно слившийся в объятиях с красивой, лукавой змейкой!

Вдруг из созерцательной задумчивости меня вывело легкое прикосновение веера к плечу: передо мной была обольстительная княгиня Варвара Голицына.

– Задумчив, мечтает! – с ласковой насмешкой сказала она. – Полно вам! Пойдемте танцевать!

Я сделал в ответ строгое лицо и воскликнул (будто слово «танцевать» оскорбило меня в моих самых священных чувствах):

– Танцевать! Служить греху! Всенародно обнимать жен-

щину и парадировать в сладострастных движениях величайший и отвратительнейший грех! И вы хотите, чтобы я участвовал в такой мерзости?

Лицо Голицыной приняло такой испуганный вид, что я невольно расхохотался.

– Ага! – смеясь продолжал я, – я испугал вас. Это – маленькая, невинная месть за те насмешки, которыми вы дожимали меня в прошлый раз по поводу моего реноме Прекрасного Иосифа, неизвестно как создавшегося. Нет, дорогая княгиня, я очень люблю танцы, хотя сам и не танцую: в ранней юности я был слишком занят книгами, чтобы найти время для танцев и веселья.

– Ну, что же делать, – улыбаясь ответила княгиня, – значит, мне придется отказаться от этого удовольствия. Но мой испуг вполне понятен: в прошлый раз вы говорили многое такое, что уместнее слышать в устах старого монаха.

– Но и монах скажет вам, княгиня, что сам Давид плясал от радости перед Ковчегом Завета.

– Разве? – с задорной улыбкой сказала Голицына. – Представьте, а я и не знала этого! Правда, я очень слаба в Писании, но о Давиде я много кое-чего знаю, хотя и не столь душеспасительного... Ну, да раз вы не танцуете, тогда пойдемте в одну из гостиных и там на досуге поговорим хотя бы о Давиде и об... Иосифе Прекрасном! – прибавила она, весело блеснув умными, дерзкими глазами.

Я предложил ей руку, и мы пошли анфиладой комнат.

В одной из них стояли два ломберных стола, за которыми чинно и степенно играли в какую-то коммерческую игру сановные старички. Далее в полутемном уголке на диване за трельяжем сидела парочка, вздрогнувшая от шума наших шагов. Это были Панин и Дашкова.

– Господи! – шепнула мне Голицына, – вот чего никогда не могла понять! Ну, стоит ли тратить свои юные годы на политику! Когда мне будет лет шестьдесят и придется волей-неволей отказаться от служения моей великой патронессе Венере, тогда и я, быть может, займусь плетением хитрых дипломатических кружев. Но Дашкова молода, она – женщина в лучшем смысле этого слова! Воображаю, как протекают их любовные свидания! Между двумя поцелуями и объятьями они рассуждают о государственном курсе и о ходе иностранной политики! Уроды!

Мы вошли в довольно большую комнату, где за одним из столов шла крупная азартная игра. Алексей Орлов, шумно и весело председательствовавший здесь, послал мне и княгине воздушный поцелуй и преуморительно подмигнул глазом.

Мы прошли еще дальше, уселись на бержерке в уютной гостиной, где, кроме нас, никого не было, и завели милый, легкий разговор, на который Голицына была большой мастерицей.

Мимо нас то и дело проходили другие гости, однако как мы на них, так и они на нас никакого внимания не обращали: здесь было не в обычае мешать друг другу.

Но вдруг мое внимание привлек голос, раздавшийся из соседней комнаты. Слов я разобрать не мог, но сам голос покорял и нежил какими-то неведомыми чарами. Он слышался все ближе и наконец, в самых дверях, я услышал другой голос, по которому сразу узнал маркиза де Суврэ, спрашивавшего:

– Так вы думаете, что его величество...

– Я думаю, – послышался певучий ответ, – что его величество король Адольф Фридрих губит государство и себя, позволяя руководить собой женщине, у которой больше энергии, чем государственного ума. Уже история пятьдесят шестого года показала, что ее планы и начинания недостаточно продуманы. Нельзя бороться против всей народной массы, надо действовать исподволь, осторожно, надо выбирать момент для обуздания народа!

Я понял, что дело идет о шведском короле Адольфе Фридрихе (дяде покойного императора Петра III) и его жене, сестре прусского короля, страдавшей манией властолюбия и толкавшей слабовольного Адольфа на ряд поступков, которые должны были укрепить расшатанную королевскую власть, но на самом деле колебали ее еще больше. Так, в тысяча семьсот пятьдесят шестом году шведская королева устроила целый заговор с целью подавить разраставшееся народоправие, но дело кончилось массой казней и усилением конституционализма.

– Да, – продолжал все тот же певучий голос, – глупый пер-

сидский царь приказал высечь море, но оно все же не успокоилось, а умный моряк льет на взбушевавшиеся волны масло и спокойно плывет далее; в политике же «без масла» и вовсе шага не сделаешь!

Вслед за этим чисто макиавеллевским афоризмом в дверях показался высокий, плечистый, атлетически сложенный господин, одетый со странной смесью изящества и небрежности. Он был очень гибок и строен. Его красивое, приятное лицо портило при ближайшем рассмотрении отсутствие одного глаза. Судя по выговору, он должен был быть русским; только русские так правильно и певуче говорят по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, порою пикантно неясно звучащую в устах природного француза.

Увидев меня с княгиней Варварой, неизвестный мне русский и Суврэ сейчас же направились в нашу сторону. Суврэ поцеловал руку Голицыной и дружески поздоровался со мной, а незнакомец укоризненно сказал Голицыной:

– Божественная! Да что же вы разговорами занимаетесь, когда столько преданных сердец напрасно ищет вас, ожидая счастливой возможности умчаться ваш гибкий стан в грациозном порыве танца! Княгиня! Божественная красота и олимпийская обаятельность не могут и не должны быть в единоличном обладании! Вы – наше общее солнце, княгиня, и справедливость требует, чтобы, с избытком обогрев одного, вы пролили свой свет и тепло и на других жаждущих! Вы уж простите, сударь мой, – обратился он ко мне с обаятельной

улыбкой и изящным поклоном, – но я принужден похитить вашу даму, без которой и танцы не в танцы!

Голицына комически пожала плечами и ушла с веселым смехом танцевать.

– Кто это? – спросил я маркиза де Суврэ.

– Это – камергер Потемкин, – ответил мне Суврэ. – Еще будучи вахмистром конной гвардии, он играл видную роль в перевороте шестьдесят второго года. Это большая умница и очень образованный человек. К тому же он очень красив, и императрица начала серьезно заглядываться на него. Тогда Орловы выхлопотали ему чин камер-юнкера и почетную миссию отправиться к шведскому двору для объявления о происшедшем перевороте – иными словами, опасного человека спланировали подальше с глаз долой. К коронации Потемкин вернулся в Россию, но тут Григорий Орлов устроил с ним гнусную штуку. Он пригласил его играть на бильярде и сумел попасть шаром в глаз – ведь Григорий играет на бильярде прямо-таки поразительно; он показывает занимательные фокусы, перебрасывая шар с бильярда на бильярд и укладывая шар в лузу соседнего бильярда. Следовательно, попасть в глаз партнеру ему ничего не стоило. Когда же Потемкин захохотал и схватился за ушибленный глаз, Орлов крикнул своего врача, и тот присыпал ему глаз чем-то таким, от чего глаз начал заметно пропадать. Потемкин заперся у себя дома и стал тщательно лечиться, но глаз гноился и не поддавался излечению. Как раз в тот момент, когда рана была

особенно отвратительна, Орловы ворвались к Потемкину и силой притащили его к императрице. Ее величество не переносит никакого физического уродства; она покачала головой, повысила Потемкина в камергеры и махнула на него рукой. Орловы восторжествовали, но, по-моему, ненадолго. Потемкин – большая сила! Вы слышали, как он говорил о необходимости лить масло на волны, чтобы двигаться вперед? В этом его огромное преимущество перед теперешним фаворитом. Орловы способны ломиться стеной, но для того, чтобы годами незаметно подбираться к намеченной цели, у них не хватит ни характера, ни ума. Теперь Потемкина затирают Орловы, с ним совершенно не считаются и не обращают на него никакого внимания. Но Потемкин потихоньку «льет масло» и понемножку пробирается вперед. И он будет у пристани, будет, поверьте мне! Ведь это – не какой-нибудь принц Фридрих, нет! – Вспомнив что-то при этом имени, Суврэ весело засмеялся и продолжал: – Вы заметили, как весел и доволен сегодня наш милый хозяин? Да? А знаете почему? Потому что в этот момент его козни увенчались успехом, и придурковатый Фридрих Эрдман мчится сломя голову в Пруссию!

– Не может быть! – с удивлением воскликнул я. – Но как же это возможно?

– О, это – такая комедия, что просто остается руками развести! Не знаешь, чему больше дивиться: наглости Орловых или глупости принца. Надо вам сказать, что счастливая по-

лоса у принца прошла, и в последние два дня он наделал и наговорил столько глупостей, что императрица несколько раз принуждена была попросту обрывать его. Принц опечалился: он не мог понять, что значила эта перемена в обращении. Ну, а того, что такой дурак, как он, может надоесть до бешенства в самое короткое время, ему, разумеется, в голову не пришло. И вот клеветы Орлова дали Фридриху возможность «подслушать» важный, государственный разговор: императрица, дескать, и не думала никогда выходить за него замуж, а в Россию принца заманили только потому, что его, Фридриха Эрдмана, считают гениальным полководцем, способным дать армии прусского короля значительный перевес...

– И он мог поверить этому? – с трудом проговорил я, задыхаясь от смеха.

– Да, вы слушайте дальше! Из этого тайного разговора принц узнал потом, что его, Фридриха Эрдмана, будут держать пленником и что со дня на день надо ждать войны, которую Екатерина объявит Пруссии по настоянию Франции. Война – дело решенное, и завтра-послезавтра пришлют гонцов к границам с приказанием усилить надзор и не пропускать никаких депеш от иностранных послов, аккредитованных при российском дворе.

– И это заставило принца уехать?

– Нет, еще и не это. Сегодня утром к принцу зашел Григорий Орлов, который сказал, что был у императрицы для

подписи важных бумаг и зашел к принцу для напоминания о сегодняшнем вечере. «Важные бумаги» были у Орлова в руках, и, когда фаворит ушел, на столе осталась одна бумажка, «случайно оброненная» графом. Принц взглянул на эту бумагу и чуть в обморок не упал! Ведь там было собственноручно подписанное Екатериной письмо к Людовику Пятнадцатому, в котором ее величество обещалась не позже как через неделю двинуть к границе Пруссии большой корпус, «чтобы застать Фридриха Второго неподготовленным». Между прочим замечу, что это письмо было всецело рассчитано на плохое знание принцем французского языка, так как там встречаются выражения попросту неприличные...

– Но, значит, ее величество...

– Да нет же! Ведь письмо написано кем-нибудь из клеветов Орлова, и ручаюсь головой, что они даже не дали себе труда подделать мало-мальски похоже почерк ее величества. Слушайте дальше! Право, это очень забавно. Конечно, у принца Фридриха были «друзья» из числа лиц его свиты. Фридрих стал молить «друзей» помочь ему бежать, и после долгих колебаний они согласились, взяв с него самую священную клятву, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не выдаст их имен. И вот за час до того, как принц должен был отправиться на вечер к Орлову, состоялось маскарадное бегство придурковатого жениха, и он теперь мчится к дядюшке. Воображаю, какой прием ожидает несчастного принца в Берлине! А он-то рассчитывает «раскрыть довер-

чивому королю глаза на предательскую политику русского двора»!..

– Но как же он не посоветовался с прусским послом?

– Барон фон Гольц сейчас на охоте. Кроме того, принца уверили, что прусский посол ненадежен... .

– Но я не понимаю, милый маркиз, как же могло случиться, что императрица ничего не знает об этом, если даже вы имеете такие подробные сведения?

– Неужели вам не приходилось встречаться с подобного же рода случаем, когда о распутстве жены кричит весь свет и только один муж ничего не знает?

– Положим! Но, если у вас имеются ловкие шпионы, почему у прусского посла их нет?

– Хотел бы я видеть посла, у которого нет шпиона на жалованье!

– Но тогда почему же фон Гольц не так осведомлен, как вы, маркиз?

Суврэ засмеялся.

– Потому что Гольцу служит шпион, состоящий на жалованье у Орловых! – ответил он и продолжал, вставая: – Однако я так много говорил, что у меня пересохло горло! Не пойдём ли мы выпить глоток вина?

– С удовольствием, – ответил я.

Следующей комнатой был прелестный круглый зал, уголки которого манили к отдыху и интимной беседе.

– Однако! – сказал я. – Сколько здесь комнат! Идем-идем,

а все конца нет!

– Да, – ответил мне Суврэ, – а Орлов находит, что живет, как захудалый, мелкопоместный дворянин, и его утешают лишь генерал-адъютантские покои, отведенные ему в Зимнем дворце, где он и проводит большую часть времени. Императрица находит его жалобы справедливыми и собирается строить ему целый дворец из мрамора. В свободное время ее величество занимается тем, что собственноручно набрасывает эскизы нового здания! Вот сюда, – сказал он, увидав, что я направился к правой двери, – эта дверь ведет на лестницу!

Мы прошли в левую дверь. В довольно большой комнате находился стол, уставленный прохладительными напитками. Несколько человек безмятежно угощались там. Мое внимание привлек один из них, в задумчивой мечтательности созерцавший ряд бутылок, как бы не зная, которой отдать предпочтение.

Этот человек был удивительно некрасив. Крючковатый нос и выдающийся вперед подбородок придавали ему вид дьявола, и это сходство усиливалось маленькими, узенькими глазами, взгляд которых впивался в вас и сверлил, как буравчик. Несмотря на то, что его спина была гладка и пряма, он с первого взгляда казался горбатым. Криво посаженные ноги и цепкие, длинные, волосатые руки придавали ему сходство с обезьяной. Несмотря на такое уродство, в нем была какая-то странная привлекательность, чувствовалось, что

перед тобой стоит недюжинный человек, таящий в себе большую нравственную силу.

– Кто это? – спросил я маркиза.

– Это – Одар. По рождению он – пьемонтец, по подданству – сардинец, по национальности – еврей, по религии – вернейший слуга сатаны, по профессии – негодяй, по положению – частный секретарь императрицы, а по всему – личность весьма крупная и замечательная. Умница, каких мало! У него хватает достаточно ума, чтобы не прикидываться святошей, и он сам первый с немалым цинизмом признается в полном отсутствии каких бы то ни было правил и руководящих принципов, кроме «выгодно» или «невыгодно»; императрица относится к нему с большим доверием, и это делает честь ее уму: ведь Одару было бы «невыгодно» изменить ей. Могу прибавить еще, что он в совершенстве владеет изящным французским стилем, и злые языки весьма правдоподобно уверяют, что переписка императрицы с Вольтером – дело его пера! Словно почувствовав, что мы говорим о нем, Одар повернулся, и его лицо исказила дьявольская гримаса, означавшая улыбку.

– Кого я вижу! – патетически воскликнул он, торжественно поднимая вверх обезьяньи руки. – Сам Адонис, одаренный умом Аполлона и хитростью Меркурия! Приветствую вас от души, высокоуважаемый маркиз! – Он впился в меня своими буравчиками и сказал, отвечивая мне церемонный поклон: – И вас тоже приветствую, сударь! Правда, мы

незнакомы, но нужна ли эта пустая формальность, раз мы все равно знаем друг друга? Ведь, наверное, входя в этот мирный приют, осененный дарами Вакха, вы спросили у своего спутника, что это за чудовищная помесь дьявола с обезьяной рассматривает там бутылки, и маркиз тут же в двух словах охарактеризовал меня вам; ну, а вас я тоже знаю, потому что вы сделали настоящей злобой дня в Петербурге и должны были привлечь внимание такого старого нечестивца, как я. Значит, что же мешает нам чокнуться, как знакомым? Маркиз, – обратился он к Суврэ, – чувствуя жажду, я долго думал, с чего начать, и решил, что лучше всего сделать глоток этого старого рейнского. Немцы – скучный народ, но их вино имеет свойство располагать к продолжению. Утишая жажду, оно не утишает желания. Так выпьем же рейнского, господа!

Одар с обезьяньей ловкостью налил три бокала, и мы, чокнувшись, стали с наслаждением глотать янтарное, маслянистое, ароматное вино.

– Боже мой, но неужели это – Дашкова? – сказал Суврэ, глядя на входившую даму. – Как она плохо выглядит! Да она совсем желтая!

– Да, да, – усмехаясь ответил Одар, – у прелестной княгини разлилась желчь после ряда неудач, постигших ее. Ее dokonало возвращение ко двору Елизаветы Воронцовой, ее сестры, а также крушение взлелеянной надежды на...

Он не договорил, так как Дашкова подошла совсем близко.

– Маркиз, одно слово! – сказала она с грустной улыбкой, обращаясь к Суврэ.

Маркиз поставил допитый бокал на стол и подошел к Дашковой. Она взяла его под руку и увела из комнаты. Я с Одаром остался наедине в этом конце стола.

– Ну, что, разве я не прав? – сказал мне Одар, когда мы выпили с ним по второму бокалу рейнского. – Нет томящей жажды, но желание даров Вакха обострилось! Теперь мы выпьем с вами чего-нибудь другого! – Он придвинул два бокала поменьше и наполнил их из неуклюжей, пузатой, обросшей мхом бутылки чем-то красноватым и маслянисто-тягучим. – Вы не можете себе представить, – продолжал он, – как я действительно рад встрече с вами. Да вы напрасно кланяетесь с таким ироническим видом! Я лгу только тогда, когда мне это выгодно, а жизненный опыт показал мне, что ложь очень редко бывает выгодной. Самое лучшее сказать правду таким тоном, что тебе все равно не поверят. Но и это лишь в крайних случаях, а в виде общего правила правда – лучшая политика. Но к чему мне политика с вами? Нет, можете поверить, что вы глубоко меня заинтересовали. В вашем лице я натолкнулся на редкий экземпляр человека, который на самом деле имеет принципы. Большинство только притворяется, будто их имеет. Меньшинство – я в том числе – открыто признается в неимении такого неудобного багажа. Но человек с принципами, человек, идущий стезей добродетели, человек, убежденный, что это нужно не для каких-нибудь внешних

целей, а для удовлетворения внутреннего «я»!.. Гм... Теоретически я признавал возможность такого типа, но практически не встречал! Вы – очень верующий человек?

– Да, я верю искренне, хотя молюсь редко...

– И конечно, верите в Царствие Небесное?

– Мне как-то не приходилось думать, а следовательно, и сомневаться в этом.

– Но все-таки вы верите в загробное воздаяние, верите, что за нравственную жизнь в будущем вас ждет награда?

– И об этом я никогда не думал.

– Да может ли быть, чтобы, отказываясь от чего-либо, совершая какое-нибудь доброе дело, вы не думали: «Сейчас это дает мне лишения, но в будущем меня вознаградят за это»?

– Уверяю вас, что в своих действиях я руководствуюсь только сознанием внутреннего долга, мысль о воздаянии мне никогда не приходила в голову!

– Да, да! – задумчиво сказал Одар, говоря как бы с самим собой. – И ведь по тону чувствуется, что этот человек говорит совершенно искренне! Чудеса! Неужели такое возможно? Или это только – новое подтверждение справедливости афоризма: «Исключение подтверждает правило»?.. Вы – удивительно интересный экземпляр для изучения, сударь! Мне будет очень интересно изложить вам свою теорию и посмотреть, как вы отнесетесь к ней, совершенно объективно, разумеется! Еще вчера, разговаривая с ее величеством... Ну,

да мы поговорим еще об этом, а теперь выпьем!

Мы чокнулись. Я с удовольствием проглотил сладкий, душистый напиток, имевший все приятные свойства вина и ликера и пахнувший цветущим лесом. Напиток казался совсем слабеньким, но вдруг желудок сразу согрела приятная теплота, и зал закружился передо мной, а пол стал плавно уходить из-под ног. Я едва не упал и должен был ухватиться за край стола, причем чуть-чуть не стянул скатерть со всеми бутылками.

– Что вы мне налили? – сказал я, удивляясь, что при сильной степени опьянения мой язык все же двигается совершенно свободно, и голова только кружится, но не затуманена. – Ведь я опьянел! Вы нарочно подпоили меня! Я не могу отойти от стола!

– Да неужели вы еще не пивали старого боярского меда? – сказал Одар, взяв меня под руку с таким видом, словно собирался сказать мне что-то по секрету, и скрывая таким образом мое состояние от нескромных глаз. – Не бойтесь, беда невелика! Мед действует только на ноги, оставляя голову в состоянии блаженного прекраснодушия и добродушно-го дерзновения! Это – чудный напиток! Пойдемте потихоньку в соседнюю круглую гостиную. Мы там поговорим, и вы отдохнете: этот хмель очень быстро теряет свои расслабляющие свойства и наоборот – придает энергию и возбуждает деятельность мозга! Опирайтесь на меня, не бойтесь, мы дойдем совершенно незаметно!

Одар принялся что-то весело рассказывать мне, словно в приливе дружеских чувств обнимая за талию. Он делал это так ловко, что я дошел до круглого зала, не обращая на себя внимания.

Там мы уселись на «dos-a-dos» (Мебель, состоящая из двух или трех кресел, неразрывно соединенных между собой, причем их спинки повернуты в противоположные стороны.). Одар был прав: хмель от меда проходил очень быстро, уступая место какой-то радостной ясности и бодрости. Потом мне говорили, что этот мед пили древние славяне, отправляясь в бой. Если это так, я удивляюсь, почему они не покорили весь свет: я по крайней мере чувствовал себя так, что, что бы ни случилось со мной, я ни перед чем не отступил бы и ничего не испугался бы.

– Да, да, дорогой мой, – говорил мне тем временем Одар. – Должно быть, ваша французская пословица: «Крайности сходятся» – права, потому что я чувствую к вам необыкновенную симпатию. Мое жизненное правило совершенно обратное вашему. Для меня существует только одна мера – это «выгодно». «Выгодно» – значит «хорошо». Все, что невыгодно, – плохо, потому что глупо и бесцельно. И вот мне хотелось бы знать, какую роль отводит выгоде ваш нравственный кодекс.

Я не успел ответить, так как в это время по залу поспешно прошел Григорий Орлов, и в тот же момент у дверей показалась дама, в которой я сразу узнал императрицу Екатерину.

Ее нельзя было назвать красавицей, и ее фигура, прежде такая стройная и пластичная, теперь уже страдала от некоторого избытка полноты. Но во всем – и в фигуре, и в располагающем, ласковом лице, и в мягких, грациозных движениях – было столько царственного, столько обаятельного, а взгляд ее голубых глаз так чаровал умом и богатой внутренней жизнью, что перед ней невольно хотелось встать на колена.

– Императрица! – сказал Одар, и в том своеобразном шуме, который полетел по залу и напоминал утренний ветерок, на мгновение пригибающий лозы, чувствовалось повторение этого же слова. Однако никто не встал, и, когда я хотел приподняться, Одар шепнул мне: – Сидите! Вставать не только не нужно, но даже запрещено!

Тем временем императрица говорила вполголоса с Григорием Орловым. Так как мы с Одаром сидели близко от дверей, то до нас доносилось каждое слово.

– Ну, что у тебя делается, Григорий, – спросила императрица, – танцуют? Ну, пусть их себе! А принц что?

– Его высочество не прибыл, – ответил Орлов.

– Как? – удивленно спросила Екатерина. – Но куда же он делся? Я посылала справляться, и мне сказали, что принц Фридрих отбыл часов в восемь или девять...

– Да, его высочество отбыл, но не ко мне на вечер, а... в Пруссию!

– Что? Да ты бредишь, Григорий?

– Обеспокоенный тем, что его высочество не прибыл к на-

значенному часу, я послал справиться во дворец, и там мне сказали, что принц Фридрих еще раньше уложился и отослал куда-то свой чемодан. Выехав в придворном экипаже из дворца, принц доехал лишь до угла Невской перспективы и Морской, где его высочество изволил пересесть в ожидавшую его тройку, и та помчалась с бешеной быстротой. Наведенные мною справки выяснили, что принц Фридрих уже давно намеревался удрать в Пруссию и подготавливал свое бегство. Теперь он уже далеко.

– Да не может быть! – радостно вскрикнула Екатерина. – *Cott sei Dank!* (Слава Богу!), – от полноты чувств императрица сказала эту фразу по-немецки. – По правде сказать, в последнее время этот чудак стал мне просто невыносим... А жаль, – задумчиво прибавила она, – он так красив!.. Но что же могло его заставить бежать?

Орлов наклонился к самому уху императрицы и что-то шепнул ей. Екатерина рассмеялась и шутливо ударила фаворита по руке.

– Ну, ты преувеличиваешь, – сказала она смеясь, – хотя... как знать! От его убожества всего можно ждать! Однако пойдем, посмотрим, что у тебя делается!

Императрица медленно пошла по залу, приветливо раскланиваясь направо и налево. Проходя мимо того места, где я сидел, она замедлила шаг и пытливо посмотрела на меня. Подчиняясь неведомому внутреннему приказу, я встал и почтительно поклонился ей.

Екатерина еще внимательнее посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнула ласковая насмешка. Она обернулась к Орлову, спросила его о чем-то, и, когда он утвердительно кивнул головой, императрица сказала, обращаясь ко мне:

– Сударь, вы преступили своим вставаньем пункты первый, второй и четвертый правил, раз навсегда для наших бесчиновых собраний установленных. А если вам эти правила неведомы, то скажу вам, что этими правилами мы все возвращаемся к своему человеческому естеству и что на дружеских собраниях мы хотим быть просто людьми, а не графами, министрами или государями. Поэтому никаких особенных знаков почтения у нас оказывать не принято. Вы этот наш обычай своим вставаньем презрели, а потому подлежите каре, специально для подобных случаев установленной. Но так как приговор не может быть произнесен, прежде чем преступник скажет свое оправдательное слово, то предлагаю вам, сударь, дать защитительные объяснения. Предупреждаю, однако, что ссылкой на незнание законов никто оправдываться не может!

Пока государыня говорила, из соседних комнат в круглый зал стали собираться гости, окружившие императрицу густой толпой и с веселым любопытством ожидавшие моего ответа. Я весело оглядел всю собравшуюся толпу. Хмель прошел, но бодрящее чувство безудержной отваги и сознание полной свободы всецело владели мною.

– Madame (По-французски слово «мадам» значит и «суда-

рыня», и «государыня»).), – начал я, счастливо избегая титула и в то же время обращаясь к императрице вполне согласно с этикетом, – не мне, воспитанному на законах, оправдываться незнанием их. Нет, именно на знании их истинного духа могу я построить свою защиту! И прямой, непреложный дух всяких законов говорит, что законы могут насильственно налагать обязанности, но не насильственно освобождать от них. По закону никто не обязан поступаться своими справедливыми правами, но нет закона, который стал бы карать за добровольное поступление ими. Точно так же закон может освобождать от обязанности, но не может быть закона, карающего за то, что человек не захотел воспользоваться предоставленной ему льготой...

Императрица, прежде улыбавшаяся, при последних словах недовольно нахмурилась, гордо вскинула голову и сказала, отдавая меня нестерпимым холодом:

– Однако, сударь! А что же, по-вашему, – воля самодержавно царствующего государя? Разве такая воля не сильнее писаного закона? Разве она – не высший закон? Так бросьте же софизмы, сударь! Закон, слагающий обязанности, не может быть принудительным, это ясно. Но прямая монаршая воля, приказывающая для данного момента отказаться от той или иной обязанности, является принудительным законом; это еще яснее! Или вы из тех, которые не ставят монаршей воли на должную высоту?

– Всякая защита только тогда имеет смысл, мадам, – не

смушаясь ответил я, – когда она вполне свободна и когда прерыванием не извращается ее основная мысль. Благоволите же дослушать меня до конца или прямо наложите кару на бедного преступника!

– Говорите, я слушаю вас! – надменно ответила Екатерина.

– Прежде всего, – вновь начал я, – коснусь обвинения в злоупотреблении софизмами. Раз я говорил о прямом и непреложном духе законов, то мысль, из этого вытекающая, уже не может быть софизмом. А софизмы начинаются лишь в том случае, если во всей полноте принять сделанное мне опровержение. Государыня приказывает не оказывать ей знаков почтения, так как на этих собраниях она не хочет быть государыней. Но признание государя таковым прежде всего выражается в послушании его воле. Следовательно, не оказывающий знаков почтения выражает повиновение государыне и тем показывает ей, что он ее и здесь за государыню почитает, то есть не исполняет ее воли. А оказывающий знаки почтения показывает, что он вошедшей за государыню не почитает, так как иначе он исполнил бы ее приказание. Значит, исполняющий приказание оно не исполняет, а не исполняющий – исполняет. Мало того! Государыня говорит, что на этих собраниях она является не государыней. Значит, я кланялся не государыне, а кому-то другому. А кому-то другому никаких почестей по этикету не полагается. Между тем правила, для сих собраний установленные, гово-

рят о том, что не следует оказывать подобающие почести, а о не оказывании неподобающих ровно ничего не говорится!

– Браво! – крикнула мне императрица, весело засмеявшись; сердитая складка на лбу у нее совершенно разгладилась.

– Но и без всякого софизма скажу: да, я кланялся не государыне, а кому-то другому, – продолжал я. – И от поклонов и вставаний перед этим «кем-то другим» меня не может избавить никакая монаршья воля, никакой государев закон. Ведь существует наивысший закон – это закон природы и Бога. И только тогда исполним государев закон, когда он не идет вразрез с требованиями естества. Пусть государь прикажет считать черное белым! Подданные могут лишь называть цвета неправильно, но видеть их неправильно государь их не заставит. Пусть государь заставит людей перестать чувствовать любовь, пусть государь прикажет ветрам не дуть, а рекам – потечь вспять! Тщетным будет тут государева воля. И тщетной будет она тогда, когда приказано будет не чувствовать почтения к достойному его. Я же – такой человек, который не разделяет чувства и действия. Поэтому, увидев человека, соединяющего в себе все внутренние и внешние дары, сочетающего телесную красоту с обаянием светлого ума, я не мог не встать и не поклониться ему, но не как венценосцу, а лишь как человеку, поклонения наравне со святыней достойному! Вот в чем мое оправдание, и по чистой совести говорю: невиновен я! Но если мой строгий судия с моею невин-

ностью не согласится, то при определении степени наказания да будет принято во внимание следующее: степень наказания должна различаться для преступлений преднамеренных и непреднамеренных. Я обвиняюсь в том, что преступил волю повелительницы здешних мест. Но не нарочно сделал я это! Когда я так неожиданно близко увидел возле себя светлый лик великой Семирамиды севера, я забыл о том, что передо мной венценосная особа, и, повинувшись благоговейному толчку, встал и поклонился ей как человеку. Судите же меня, судия строгий и справедливый! – с пафосом воскликнул я. – Но раз уж все равно мне быть наказанным, то «семь бед – один ответ»! – и, подчиняясь обуявшему меня хмельному дерзновению, я красивым движением упал перед императрицей на одно колено.

Государыня добродушно махнула на меня рукой и залилась добрым, заразительным смехом, а свидетели этой сцены разразились бурными рукоплесканиями.

– Встаньте! – сказала мне Екатерина, движением руки восстановив тишину в зале. – Ох, уж эти мне французы! Я уже слышала, сударь, что вы умны и образованы, и теперь вижу, что молва не преувеличена. Но нехорошо, если умственные способности направляются на одну только лесть! Что же мне с ним делать? – обратилась она с улыбкой к окружающим. – Могу ли я теперь осудить его, когда он мне таких комплиментов наговорил? Сударь, ваш судья признал вас на этот раз оправданным. Но если вы не хотите слушаться го-

сударевых велений, то всякая женщина имеет право требовать от мужчины-рыцаря уважения к ее воле, и, как женщина, я прошу вас в будущем точно следовать установленным для наших дружеских собраний правилам.

Она милостиво кивнула мне и медленно пошла дальше. За ней устремилась большая часть свидетелей неожиданного судебного разбирательства.

Я уселся на прежнее место. Вдруг передо мной выросла нескладная фигура Огара, который прижал мне плечи обеими руками и пытливо впился в мои глаза своими буравчиками.

– Прекрасная защитительная речь, – забормотал он, – убей меня Бог, прекрасная! Какое движение, жест, интонация, переливы голоса – все рассчитано на глубокое впечатление... Прекрасная речь! Но меня она ввела в сомнения... Полно, да то ли вы, чем представляетесь? Уж не одного ли вы со мной поля ягода, только еще более рафинированная? Ха-ха-ха! Неужели же мое правило без исключений? Так-так, друг мой! Говоря о том, что вы не руководствуетесь выгодой, уж не имели ли вы в виду, что, охотясь за большой выгодой, вы пренебрегаете мелкими? А? Хотя нет, непохоже! Надо быть самим дьяволом, чтобы суметь играть комедию передо мной... Так неужели это мед так подхлестнул ваш мозг?

– Скорее мед, чем что-либо другое, – ответил я смеясь. – Да какая мне может быть выгода от внимания императрицы? Все равно, что бы ни случилось, я не оставлю Гюс, пока она

сама не оттолкнет меня... Нет, это мед привел меня в такое настроение, что мне захотелось подурачиться!

– Ну, так, значит, я вовремя налил вам стаканчик! – весело воскликнул Одар, хлопая меня по плечу. – Пойдем, выпьем по другому, что ли?

– Ну, уж нет! – рассмеялся я. – После второго стакана я, пожалуй, окажусь способным предложить ее величеству отказать от трона и стать госпожой де Бьевр! Русский мед – опасная вещь для увлекающегося француза!

– Но не для пьемонтца! – ответил Одар, направляясь к соседней комнате.

Глава 6

Посидев немного, я отправился побродить по залам. В ближайшей комнате я встретился с Паниным. Он сейчас же подошел ко мне, назвав себя, и начал говорить мне комплименты.

– Да, да, – сказал он мне между прочим, – ваша речь была восхитительна именно умелым сочетанием тонкой лести и горькой правды. Так избалованным детям дают невкусное лекарство! Как вы это сказали?.. «Существует... существует»... Да!.. «Существует наивысший закон, это – закон природы и Бога. И только тогда исполним государев закон, когда он не идет против него». Да, это – квинтэссенция конституционализма! Лишь Бог один вездесущ и всеведущ, и государь мыслящий, править единолично, посягает на эти свойства Божий...

– Но помилуйте, дорогой граф, – перебил я его, – вы придаете моим словам то значение, которого они вовсе не имели! Это была просто шутливая пародия на обычные извороты наших адвокатов...

– Ну, ну, – остановил меня Панин, улыбнувшись с тонким видом знатока, – я наперед знаю все, что вы сейчас скажете... Вы, дескать, никогда не осмелились бы преподать монарху советы, вы сами более кого-либо другого уверены в боговдохновенности всех монарших начинаний и так далее.

Хвалю вас, дорогой месье, очень хвалю за это! Мало горячо и искренне исповедовать свой политический символ веры, надо еще уметь быть дипломатом в распространении своих убеждений. Я вот не сумел быть им в достаточной степени! Когда-то я представил ее величеству проект учреждения постоянного «совета шести». Я хотел заронить этим советом зерно конституционализма, но... но государыня хотя и подписала проект, однако указ так и не был обнародован, а меня постигла тайная немилость, отстранившая меня от возможности влияния на государственные дела. Что же, я сам был виноват. Я забыл то мудрое правило, которое так ярко сказалось в вашей «шутливой» речи: полезное лекарство редко бывает приятным на вкус, его надо давать умеючи...

– Но уверяю вас, граф...

– Хорошо, хорошо! – с прежней тонкой улыбкой остановил меня Панин. – Допустим, что все это вышло случайно. Если вы хотите этого, мы будем делать вид, что так оно и есть. Но вы не можете нам запретить чувствовать по-настоящему. Вы, например, почему-то не захотели пользоваться принадлежащим вам титулом, и мы именуем вас просто «мсье де Бьевр». Но это не мешает видеть в вас человека, равного нам по рождению. Вы не хотите, чтобы мы открыто ценили ваш конституционный образ мыслей. Ну, мы и не будем. Но это не может помешать нам всем считать вас нашим единомышленником, другом русских конституционалистов!

Княгиня Дашкова, подошедшая к нам в этот момент, из-

бавила меня от необходимости продолжать этот курьезный разговор. Зато начался другой, не менее курьезный. Дашкова увела меня в укромный уголок и стала очень пространно и быстро рассказывать о своей переписке с философами Дидро и Мармонтелем, о мыслях, которыми они обменивались по поводу того, что закон вреден, раз он покушается на естественное право человека. В заключение она заявила, что все эти мысли она, к величайшему своему восторгу, встретила в моей шуточной защитительной речи и очень рада, что я принадлежу к числу ее единомышленников.

– С вашим появлением нашего полку прибыло, – сказала она, – потому что вы из тех людей, которые светло и сознательно анализируют устаревшие предрассудки и умеют показать невыгодные, темные стороны последних. Закон, как нечто неизменное, себе самому довлеющее, одинаково обязательное для людей разных уровней, состояний, умов и веков, – абсурд. Вы наглядно доказали это! Я рада, что вы – из наших!

От болтливой княгини Дашковой меня избавило появление Одара с княгиней Варварой. Одар заговорил с Дашковой, а Голицына утащила меня с собой.

– Ну и молодец же вы! – сказала она мне. – А каким тихоней да скромником представился! Ведь оказывается, вы отлично умеете гнуть свою линию; только не хотите грешить по малости, а охотитесь сразу за крупным зверем! Все равно! Теперь я вижу, что вы из наших!

Мы как раз входили в полутемную гостиную, в которой раньше шептались Панин и Дашкова. Я ясно расслышал нервный смешок Адели, но при звуке наших шагов в гостиной все смолкло и наступила подозрительная тишина. Желая под влиянием проказливой мысли проверить свои подозрения, я собирался было предложить Голицыной отдохнуть от шума и толкотни за трельяжем, как вдруг нас сзади окликнул голос Алексея Орлова.

– Сударь, – сказал он, взяв меня за руку и притягивая за собой к большому карточному столу, – мы все непременно хотим чокнуться с вами! – Он протянул мне бокал с шампанским. – Все мы здесь обожаем нашу пресветлую матушку-царицу, и нам особенно приятно видеть, что и иностранец разделяет наши чувства к нашей самодержице! Господа, за здоровье месье де Бьевра!

Все потянулись ко мне с бокалами, а я, любезно чокаюсь, иронически думал в то же время, как любят многие люди жить созданными ими же навязчивыми представлениями. Для таких людей мир представляется каким-то театром марионеток, лишенных собственных мыслей и чувств и наделенных лишь теми, какими хотел наделить их управляющий ими антрепренер – «я». Под влиянием веселого опьянения я произнес речь, составленную из далеко не первосортных софизмов и сомнительных цветов красноречия. И что же? Я сразу оказался «своим» самым противоположным людям! Друг конституционалистов, я оказался другом самодер-

жавному фаворитизму. Поклонник философии естественно-го права оказался принадлежащим к шайке беспринципных чувственников, готовых на все ради физического блага... И все это сразу, и все это одновременно, и все это на основании одних и тех же слов... О, люди, люди!

Тем временем танцы кончились, в большом зале захлопотали лакеи, а танцевавшие двинулись в гостиные, которые стали быстро наполняться. Из этой новой толпы то и дело отделялся кто-нибудь, считавший своим долгом сказать мне какую-либо любезность или туманно поговорить на какую-нибудь непонятную, не то отвлеченно-философскую, не то реально-политическую тему. Вообще я заметил у русских неприятную склонность к пустой болтовне, приправляемой для пикантности обрывками афоризмов и клочками мыслей, бессистемно и поверхностно натасканными из творений наших философов. У себя, на родине, мы к этому не привыкли. Француз умеет отделить серьезный разговор от веселой шутилки беседы. Кроме того, мне было крайне тяжело освоиться с неприятной манерой русских легко и беспричинно пускаться на откровенность и излияния. И не раз, сопоставляя прошлое русского трона, столь богатое переворотами и интригами, с этой неуместной болтливостью, я удивлялся, как могли осуществляться все эти бесконечные заговоры, раз русские так неразборчивы в открывании своих сокровеннейших дум?

Словом, в самое непродолжительное время мне стало

очень не по себе, и я начал серьезно подумывать, уж не удрать ли не прощаясь. Но как раз в тот момент, когда я с этой целью проходил по круглому залу, меня заметила императрица, сидевшая в обществе нескольких лиц. Она окликнула меня и ласково предложила присоединиться к ее обществу, в числе которого были между прочим сестры-враги Екатерина Дашкова и Елизавета Воронцова.

Завязался общий разговор, направляемый самой императрицей. Государыне угодно было милостиво расспрашивать меня о течениях и настроениях французского общества, о нашей литературе и театре, так что разговор в конце концов неминуемо свелся на Вольтера и те преследования, которые претерпевали его сочинения со стороны французского правительства. При этом у императрицы сказалась очень симпатичная, живая манера: каждый раз, когда она не могла согласиться с высказываемым мною мнением, она не принималась сама спорить и возражать, а, высказав в самых кратких необходимых словах свое собственное мнение, апеллировала к мнению нашего кружка, заставляя таким образом каждого высказываться. Я заметил при этом, что она очень тонко и искусно стравливала враждующих сестер, которые пользовались каждым удобным случаем сказать друг другу какую-нибудь замаскированную колкость. И тут наглядно бросалось в глаза, какая существенная разница в умственном складе обеих сестер. Ум Дашковой был крупнее, глубже, серьезнее и тяжелее, ум Воронцовой был типичным умом интриган-

ки и авантюристки, для которой образование и умственная дисциплина с успехом заменяются находчивостью, подвижностью и язвительностью. Словесный поединок сестер напоминал мне турнир легкой конницы с тяжелой артиллерией. Конечно, ядра солидных пушек могли бы разнести в клочки конницу, но артиллеристам приходится возиться с установкой и наводкой орудий, а тем временем кавалеристы уже набрасываются на батарею роем вьющихся, жалящих комаров и роем комаров рассыпаются после атаки в разные стороны. И ядра несутся налево, где уже давно пустое пространство, тогда как новая атака идет уже справа. От Вольтера разговор перешел на Фридриха II, у которого Вольтер одно время гостил, пока не поссорился со своим царственным покровителем, а от Фридриха – на присланного им Екатерине жениха, принца Фридриха Эрдмана.

– Кстати, господа, – сказала государыня, – известно ли вам, что принц Ангальт-Кетенский сегодня ночью тайно бежал из России? Он наделал несколько новых глупостей и, боясь ответственности, бежал, словно нашаливший ребенок.

Все принялись громко смеяться, только Дашкова вздрогнула, выпрямилась, и по ее лицу скользнуло мгновенное выражение радости и торжества. Я понял, что ей известна комедия, проделанная с глуповатым женихом и что она сейчас воспользуется удобным случаем раскрыть императрице всю интригу.

– Точны ли сведения, полученные вашим величеством от-

носителем причин бегства принца Фридриха, – спросила она, – и не явился ли он скорее жертвой чужой дерзости, чем собственной глупости?

В этот момент к нам подошел Григорий Орлов, и я видел, как его глаза беспокойно забегали. Наконец он выразительно посмотрел на Воронцову. Та чуть заметно кивнула ему головой.

– Что ты хочешь сказать этим? – удивленно спросила Екатерина.

– Но, ваше величество, хотя принц выказал себя очень неумным, все же его главным недостатком была излишняя доверчивость. Считая, что он находится при дружественном ему дворе, принц был склонен принимать каждое слово за чистую монету, и этим воспользовались...

– О, Господи, – смеясь перебила сестру Воронцова, – ну, конечно, принц был постоянной мишенью для всевозможных шуток и насмешек, для которых он сам же давал вечную пищу... Но все это было так безобидно... Да, да, принц не очень-то умен, но зато он так красив, так красив, и в моих глазах его красота искупала многое, если не все!

Предумышленно беспечный тон, которым были сказаны последние слова, оказал свое действие, и Дашкова сразу попала в расставленную ей ловушку. Считая, что словам сестры можно придать такой оттенок, который подорвет симпатию Екатерины к Воронцовой, Дашкова горячо ответила:

– Я даже не понимаю, как можно решиться сказать такую вещь! Если бы принц Фридрих приезжал просто навестить свою царственную родственницу, если бы он явился просто в качестве кавалера, тогда мы могли бы махнуть рукой на его умственные качества и видеть в нем лишь красивую куклу. Но ведь ни для кого из нас не тайна, для чего приезжал принц! И после этого решиться сказать, что его наружность может все искупить! Да ведь это в моих глазах – просто «оскорбление величества»!

– Вот что значит дух противоречия! – с непринужденным смехом возразила Воронцова. – Он заставляет нас забывать свои собственные слова! Если я и сказала, что красота искупает все, то лишь потому, что в данном случае о серьезности кандидатуры принца нечего было и думать. Но ты, Катенька, думала об этом несколько иначе. Помните, граф, – обратилась она к Орлову, – как еще недавно княгиня сказала в кружке, среди которого были даже представители иностранных миссий: «Принц Фридрих Эрдман глуп и красив, это делает его самым подходящим женихом для ее величества!»?

– Но я сказала это вовсе не в том смысле, – взволнованно начала Дашкова, бледнея и покрываясь пятнами под недобрым, ироническим взглядом Екатерины.

– Да, этот смысл достаточно ясно сказался в ваших последующих словах, княгиня, – перебил ее Орлов. – Когда вам заметил кто-то... Ну, да, это был маркиз де Суврэ! Так, когда маркиз де Суврэ заметил вам, что принц Фридрих про-

явил себя не то что просто глупым, а человеком, вообще лишенным какого-либо ума, вы ответили: «Э, маркиз, много ли ума надо для исполнения супружеских обязанностей, а у нас больше ничего и не требуется!»

Екатерина окинула язвительным взглядом пришибленную фигуру окончательно подавленной Дашковой и, как ни в чем не бывало, рассказала какой-то забавный анекдот о службе принца Фридриха Эрдмана в армии его державного дядюшки Фридриха II. От этого анекдота она перешла опять к Фридриху, от Фридриха опять к Вольтеру и Франции, так что получилось впечатление, будто императрица не обратила серьезного внимания на происшедшее и хочет замять неловкое положение, в котором очутилась Дашкова.

Но это могло лишь показаться человеку, не знавшему характера императрицы. Она внезапно оборвала свой разговор и, посмотрев на Дашкову, сказала ласковым участливым тоном:

– Что это ты, Катя, какая желтая! Ты вообще плоха на вид, и тебе непременно надо несколько дней посидеть дома, а то ты совсем расхвораешься! Ступай-ка ты сейчас домой, не дожидаясь ужина, а то у тебя, видимо, желчь разливается, ну, а для печени поздние ужины очень вредны. Ступай к себе и ляг! Да смотри не смей недельку-другую выходить из дома!

Дашкова встала. Теперь она побледнела еще больше и глухо сказала:

– Вы правы, ваше величество, я чувствую себя очень пло-

хо, и мне надо серьезно полечиться. Но мне вообще вреден здешний воздух. Поэтому я просила бы отпустить меня лечиться за границу!

– Видно, здесь уже все переслушали дашковские сплетни, – будто бы про себя, но достаточно явственно кинул Орлов, – теперь надо их за границей распространить!

Екатерина сделала вид, что не слыхала этой фразы, и прежним шутливо-доброжелательным тоном воскликнула:

– Ну, какая эта Катя легкомысленная! Ведь говорят ей, что для нее вредно даже из дома выходить, а она хочет пуститься в дальнее путешествие! Нет, княгиня, видно, ты еще молода, чтобы гулять без няни! Не досмотри за тобой – так ты какую-нибудь неосторожность сделаешь и еще больше повредишь своему здоровью. Видно, надо принять серьезные меры! Вот что, Григорий: откомандируй-ка ты двух офицеров, пусть проводят княгиню до дома да и подежурят там до утра, а утром ты пошлешь туда двух других, пусть меняются на дежурстве! Так ты устрой это и приходи – уж пора бы и ужинать, дорогой хозяин!

Дашкова ничего не сказала; только ее глаза мрачно уставились на Григория Орлова. Затем она обвела ими кружок гостей, обступивших наш уголок, и ее взгляд вспыхнул злобой угрозой; она резко повернулась и не прощаясь пошла к выходу.

Я следил за ее взглядом и заметил, что мрачные искорки вспыхнули в нем в тот момент, когда глаза Дашковой на

мгновение остановились на лице Адели.

Я вспомнил смешок Адели, слышанный мною из-за трельяжа полутемной гостиной, вспомнил, как потом встретил ее поправляющей слегка растрепавшуюся прическу у зеркала и как насмешливо посмотрела на нее проходившая мимо Дашкова. Мое сердце на мгновение сжалось каким-то неясным, недобрым предчувствием.

Следующий день был очень знаменательным в нашей судьбе: мечты Адели и ее достойной мамы наконец-то сбылись, и девушка получила золотую оправу, в которой так нуждалась для своего полного торжества.

Я сидел у себя в комнате и читал; под вечер, с наступлением темноты, к Адели явился граф Григорий Орлов.

– Ну-с, барышня, – начал он без всяких подходцев или вступлений, – я явился к вам, чтобы докончить наш вчерашний разговор и прийти к какому-нибудь результату.

– Какой разговор? – невинно спросила Адель.

– Тот самый, который мы с вами так уютно вели за трельяжем! – ответил смеясь Орлов.

– Но ведь мы не говорили ни о чем определенном... Мы просто шутили... Я не помню...

– О, какая у вас слабая память, мадемуазель! Ну, так я приду ей на помощь. Я говорил вам, что мое высокое положение при особе ее величества далеко не удовлетворяет меня, так как любовь по обязанности не может наполнить всю

жизнь. Мне нужны развлечения, отдых, и этот отдых мне может дать хорошенькая, изящная женщина, на которую я могу вполне положиться. Вы мне кажетесь такой, и вот я предлагаю вам стать моей подругой! Ну, согласны вы?

– Но позвольте, граф, как же так сразу?.. Разве такие вещи решаются с двух слов?

– Уж простите, мадемуазель, но мне некогда заводить длинную волюнку. Этот вопрос должен быть решен теперь же!

– Неужели вы с первого взгляда так полюбили меня, что...

– Э, выкиньте, сударыня, слово «любовь» из нашего лексикона! Я смотрю на это дело проще: вы мне подходящи, а я для вас выгоден. Вы уж меня извините, но актрис любит (в романтическом значении этого слова) лишь тот, у кого не хватает состояния: нет денег, вот и хотят расплачиваться за расположение чувством... Ну а я достаточно богат, чтобы обойтись без этой излишней роскоши. Да и будем откровенны – нужна ли вам эта самая любовь?

Я услышал шум резко отодвигаемого стула: должно быть, Адель встала в позу драматического негодования.

– Вы оскорбляете беззащитную женщину, граф!

– Да бросьте вы громкие слова и трагические жесты! Все это хорошо для театра, а мы с вами сумеем понять друг друга и без этого! В чем тут оскорбление? В том, что я хочу купить то, что продается? Да нет, вы стойте, не говорите ничего! Сядьте и выслушайте меня до конца! Может актриса

обойтись без покровителя и довольствоваться другом сердца? Нет, не может, потому что на театральное жалованье она не проживет, друг же сердца не только ничего не приносит, а обыкновенно сам норовит сорвать копейчку с любимой женщины. Таким образом, актрисе нужен покровитель? Нужен. Станет кто-нибудь сыпать деньгами так себе, зря? Нет, не станет. Значит, он будет «поддерживать» актрису за что-либо такое, что она даст ему взамен? Безусловно. Значит, между актрисой и ее покровителем происходит торг, и, значит, я не сказал ничего оскорбительного, говоря, что хочу купить нечто продающееся. Кажется, ясно? Так что же мы будем зря тратить слова на разную высокую материю? Дело простое.

– Значит, вы предлагаете мне торг? Ну, что же, давайте торговаться! Изложите свои условия.

– Да чего там условия! Мне нужен сердечный друг, который развлекал бы меня от моей обязательной любви.

– То есть «клин клином вышибай»? От необходимости любить по обязанности вы хотите развлекаться тем, что вас будут из необходимости любить по обязанности?

– А хотя бы и так! Ведь меня громкими словами не испугаешь! Вы мне нравитесь, и я хочу купить ваше расположение. Значит, вопрос в цене! Дело коммерческое!

– Но помилуйте, граф! Раз это – «дело коммерческое», то цену должны назначить вы, а не я! Ведь не я пришла к вам с предложением купить меня, а вы пришли с этим ко мне!

– Извольте! Первым делом вы получите от меня дом на

Морской, снабженный и обставленный всем, что только может пожелать самый избалованный вкус. Затем вам открывается самый широкий доступ в мои карманы. Уж в этом вы можете поверить моему самолюбию: подруга графа Орлова не будет нуждаться ни в чем!

– Допустим. Ну-с, а теперь что потребуется от меня за это?

– Господи! Неужели и это нужно еще оговаривать? Ну... вы должны постараться любить меня, насколько это для вас возможно. Но если вы даже и не будете в состоянии заставить свое сердце полюбить меня, то измены с вашей стороны я все-таки не допущу и не позволю! Значит, вторым условием является верность. Ну, а третье условие вы, я думаю, соблюдете и без моего предупреждения, так как оно вам, пожалуй, будет нужнее моего. Это условие – держать наши отношения в строжайшей тайне, так как у меня немало врагов, которые воспользуются удобным случаем поссорить меня с императрицей. Поссорить-то нас из-за этого еще не удастся, но во всяком случае для меня возникнут затруднения... А для вас... для вас дело может кончиться хуже, так как императрица еще может помириться с моей изменой, но с подчеркнутой бравадой вашего торжества она не помирится.

– Ну я-то, разумеется, не стану бегать по улицам и кричать о том необыкновенном, сверхъестественном счастье, которым сподобил меня граф Орлов. Но удастся ли вам вообще окружить это достаточной тайной? Ведь вы только что изволили выразить, что зря никто денег не бросает. Значит, вы

будете посещать меня. Но ведь вас могут проследить... Да и кроме того, наверное, мой переезд в роскошный дом на Морской вызовет толки и пересуды, так что...

– О, относительно этого не беспокойтесь, дорогая! Я уже все это сообразил. У меня в числе адъютантов есть очень милый офицерик, по имени Аркадий Марков. Он мне предан и сделает все, что я захочу. Так вот, официально вы будете состоять подругой Маркова. Правда, он не настолько богат, чтобы дарить вам целый дом, но это я тоже устрою: мы будем сегодня же держать с Аркадием пари на этот дом, и пари я проиграю. Значит, с этой стороны все будет в исправности. Ну-с, так что же? Ваш ответ, сударыня?

– Я согласна.

– Следовательно, отныне я могу смотреть на вас как на свою подругу?

– Может быть, вы желаете сейчас же воспользоваться своими новоприобретенными правами?

– Сколько язвительности в этой рыженькой головке! Позвольте мне сначала преподнести вам вот это.

– О, какие чудные камни!

– А затем разрешите поцеловать вашу ручку и удалиться! Сюда я больше не приду, но на этих днях к вам явится ваш новый дворецкий с сообщением, что дом ожидает свою повелительницу... Кстати, ваш блаженненький маркиз не воспротивится переезду и не выкинет какой-нибудь гадости из ревности?

– Да что вы, граф!.. Ведь вы же знаете, что маркиз – не от мира сего. При чем здесь «ревность»? Ведь я уже говорила вам, что между мной и маркизом...

– Никогда ничего не было и не будет? Та-та-та! Блаженны верующие, так как им легко жить на свете! Впрочем, ваш чудак действительно непохож на всех людей, так что меня интересует лишь один вопрос: достаточно ли сильно ваше влияние на него, чтобы помешать ему проболтаться обо всем этом?

– Позвольте, граф: ведь вы же сами упомянули, что в этом случае я рискую больше, чем вы...

– Вы совершенно правы. Итак, до свиданья, божественная, до свиданья в вашем доме!

Послышался громкий звук поцелуев, потом щелкнула дверь, и все смолкло.

Я слышал, как Адель несколько раз прошла по комнате, и по звуку ее шагов понял, что она была сильно взволнована. Ее думы, выраженные вслух, пояснили мне причину ее волнения.

– Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu! («Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого хотел!») – фраза из комедии Мольера «Жорж Данден», в которой выводятся бедствия богатого буржуа, женившегося на женщине высшего круга. Эта фраза вошла во французский язык на правах пословицы и обозначает: «Вини самого себя.») – мрачно сказала Адель. – Я могла бы любить тебя, готова была бы стать для

тебя всем... Но ты приравнял меня к товару... Хорошо же! Я и буду для тебя только товаром! – Она засмеялась неприятным, резким смехом. – Хорошо же, граф Орлов! Торжественно обещаю вам, что, как бы ветвисты ни были те рога, которые вы наставите ее величеству, ваши собственные рога будут еще роскошнее и ветвистее!

Теперь, припоминая все происшедшее, я прихожу к заключению, что цинизм Орлова, проявленный в этом бесстыдном объяснении, сыграл главную роль в окончательном крушении лучшей части души Адели. Действительно, до сих пор каждая связь Адели была именно падением, так как «падение» предполагает определенную высоту, на которой стоял данный человек, опустившийся до того или иного поступка. Со времени же связи с Орловым Адель не падала, а лишь катилась по наклонной плоскости. Орлов сумел убить в ней последние остатки женской стыдливости, последнюю веру в торжество добродетели, последнее доверие к чистоте мужских поползновений. А так как достойная маменька сумела достаточно старательно подготовить почву ее души, то надо ли удивляться, что на разрытой и тщательно унавоженной почве семена разврата выросли таким пышным, роскошным цветком?

Когда через неделю мы переехали в подаренный Орловым дом, комнаты Адели вскоре стали очагом самого разнузданного пиршества страстей.

Глава 7

Орлов не любил Адели. Правда, он осыпал ее подарками, и касса старухи Гюс росла с невероятной быстротой. Но богатство слишком легко доставалось самому Орлову, да и, кроме того, он был слишком тщеславен, чтобы скупиться на подарки. И щедрость никак уже не могла служить мерилom его чувства.

Почему же он взял Адель? Да потому, что она была лучшим из всего, что мог предложить интернациональный рынок любви в Петербурге. Она была красива, молода, изящна, была прославленной, модной артисткой. Кроме того, весьма возможно, что и моя скромная особа сыграла здесь не малую роль. Ведь для женщины является немалым ореолом, когда ради бескорыстной и неразделенной страсти к ней человек поступает титулом и состоянием. А благодаря ловкой лжи Адели меня считали в Петербурге именно таковым.

Кроме этого, положение Орлова было тоже не из легких. И его душа нуждалась действительно в отдыхе и забвении. Ведь ему приходилось качаться между совершенно противоположными чувствами и отношениями. Личностями, являвшимися пунктами этих качаний, были сама Екатерина и ее питомица, Катя Королева.

Ни для кого в Петербурге не было тайной, что государыня смотрела на некоторые стороны жизни более чем просто (по

отношению к себе, по крайней мере). Когда-то она действительно любила Григория Орлова, любила настолько сильно, что серьезно подумывала даже о браке с ним. Но угар страсти прошел, и государыня увидела, что Орлов никоим образом не годится для этой роли. Даже больше: он был бы опасен со своим непомерным честолюбием и беспринципностью. Он мог бы легко уготовить ей ту же судьбу, которая постигла Петра III. И так канул в лету проект, составлявший предмет самых пламенных мечтаний фаворита.

Угар страсти у императрицы прошел, но влечение все же оставалось. К тому же Орловы были нужны Екатерине, еще не чувствовавшей достаточно прочной почвы под ногами. И Григорий Орлов остался в положении фаворита; однако у него были вечные соперники – «дольщики», как их язвительно называли придворные. Правда, эти «дольщики» отнюдь не пользовались ни малейшим политическим влиянием, и самолюбию Орлова, как государственного человека, они ущерба не приносили. Но его самолюбие, как мужчины, не могло не страдать от той неразборчивости, с которой избирались эти «дольщики». Достаточно было того, что человек нравился Екатерине, и этот человек, независимо от своего происхождения и положения, получал к ней самый интимный доступ. И пусть этот доступ был кратковремен, пусть в большинстве случаев «счастливый избранник» на другое же утро бесследно исчезал – все равно необходимость ради прочности политического положения «идти в долю» с подоб-

ным «избранником» не могла содействовать нравственному удовлетворению Орлова. Он был пылок и молод. И встреча с таинственной фрейлиной государыни Катей Королевой решила участь его сердца – он полюбил ее, полюбил мрачной, безнадежной, пламенной любовью.

Да, это счастье было безнадежно. Он знал, что Екатерина простит ему физическую измену, но не измену сердца. Кроме того, сама Катя относилась к нему с пугливым отвращением. А тут еще подвернулся маркиз де Суврэ, отнявший последнюю надежду на то, что, может быть, со временем чувства Королевой к Орлову изменятся в лучшую сторону. И под влиянием всего этого Орлов испытывал безнадежную пустоту в сердце, пустоту в личной жизни.

В жизни сердца наблюдается то же самое, что и в физической жизни. Человек не переносит пустоты и стремится хоть как-нибудь заполнить ее. Изголодавшийся человек глотает камешки, куски дерева и кожи, заранее зная, что от них сыт не будешь. Но он уже и не мечтает о сытости: сначала хоть чем-нибудь избавиться от этого невыносимого ощущения пустоты!

Так было и с жизнью сердца Орлова. Чтобы хоть чем-нибудь заполнить зияющую пустоту в личной жизни, он сошелся с Аделью. Она была для него лишь камнем голодающего, но камнем дорогим, нарядным и сверкающим. Сердце молчало, но физические чувства говорили. Словом, Адель была для него тем же, чем был он сам для Екатерины. И как Орлов

находил острое удовольствие дерзко обманывать свою венценосную подругу почти на глазах у нее, так Адель с изумительной наглостью ставила рога своему сиятельному покровителю. При этом положение Екатерины и Орлова объединялось еще и тем, что оба они не доверяли своим друзьям, и, как Екатерина была уверена, что Орлов обманывает ее, но только не знала твердо, с кем именно, так и Орлов ни на грош не верил в верность Адели.

Правда, проделки обоих сохранились в тайне лишь до поры, до времени. Но все же, как могло случиться, что при том высоком положении, которое занимал в государстве Орлов, и при той роли модной львицы, которая выпала на долю Адели и заставляла ее быть на виду у всех, возможно было скрываться так долго? Разгадку этому мы находим именно в самих положениях Адели и Орлова.

Положение Адели, как актрисы и фаворитки, предоставляло ей большую свободу нравов. В том, что у Адели бывала золотая молодежь, засиживавшаяся иногда чуть ли не до утра, никто не мог видеть ничего необыкновенного. А если она кое-кого из них и осчастливливала иной раз интимной лаской за приличное вознаграждение, то не шел же осчастливленный хвастаться своим успехом самому Орлову?

Точно так же и выдать Орлова Екатерине было некому. Друзья не стали бы делать это, так как падение временщика было бы и их падением. А враги не имели в руках доказательств, достаточных для полной улики измены Орлова.

Панин сунулся было к императрице с шутивным замечанием, скрывавшим в себе намек на отношения Орлова и Гюс, но Екатерина навела справки, узнала, что актриса находится на содержании у Аркадия Маркова, который, хотя и не может похвастаться большим состоянием, зато ведет широкую и счастливую игру, и сочла слова Панина гнусной клеветой и интригой. В наказание она послала Панина с продолжительным поручением в Варшаву. Это было явной немилостью, так как поручение было до смешного незначительным и могло бы быть с успехом исполнено простым курьером. Это отбило охоту соваться к императрице с необоснованными документально наветами. И достойная чета Орлов – Гюс продолжала свою недостойную игру.

Жизнь Адели шла веселым, нескончаемым праздником. Ее появление на сцене сопровождалось бурным, головокружительным успехом. Прогулки, катанья, появление в театрах в качестве зрительницы или на вечерах у знатных особ в качестве исполнительницы превращались в сплошной триумф. Подарки так и сыпались на нее со всех сторон, и мамаша Гюс с ловкостью и опытностью присяжного закладчика сортировала их – это оставить для ношения Адели, то – сохранить для показа в качестве артистических триумфов, а вот это – обратить в деньги. Даже то обстоятельство, что Роза явно сходила с ума, впадая в страшное ханжество и болезненную скупость, не мешало безумным тратам Адели; она без удержу забирала в лавках все, что ей хотелось, спокой-

но подавая счета Орлову, а он оплачивал их, не говоря ни слова. Ее интимная жизнь тоже отличалась если не полностью, то разнообразием. Даже перчатки не менялись у нее с такой быстротой, как сменялись вечные «капризы на час». И я видел, как Адель падала все ниже и ниже. В Петербурге она приехала девчонкой, развращенной умом, но не телом; больше знавшей и говорившей о разврате, чем занимавшейся им. В водовороте петербургской жизни она стала настоящей гетерой с холодным сердцем и горячей чувственностью. Однажды во время загородной оргии подвыпивший Орлов потребовал, чтобы Адель скинула с себя одежды, и она сделала это со спокойной улыбкой и ясным взором, без малейшего румянца смущения...

А я? Но что же я! Ведь я уже описывал ранее, как еще в Париже мне пришлось смирить себя, подавить свою нравственную брезгливость. У меня не было выхода – я должен был играть свою жалкую роль. Поэтому не буду касаться своих внутренних переживаний – они однообразны и скучны. А что касается чисто внешней роли, то мне удалось очень удачно выдержать ее в тех тонах, которые предписывала выдумка Адели.

Мое положение при популярной гетере как-то никого не удивляло. Надо мной немножко посмеивались, меня считали «блаженненьким», «юродивым», «Дон Кихотом наизнанку». Но это не мешало петербуржцам интересоваться мной и относиться ко мне с искренним уважением. Мне стоило

немалого труда отшучиваться и уклоняться от нежных сетей, которые мне расставляли русские аристократки, а однажды графиня Брюс, одна из интимнейших поверенных императрицы, весьма недвусмысленно намекнула мне, что, стоило бы мне пожелать, и... Но я оставался стойким и непоколебимым в решении соблюдать полную чистоту, что не мешало мне каждый раз шутливо оспаривать это. Таким образом, я занял выгодное положение человека, которого «никак не поймешь». Этого уже достаточно, чтобы проникнуться уважением. А уважение ко мне возросло после одного случая.

Еще с того времени, когда я под действием весеннего волнения крови поддался чарам Сесили, мною овладело твердое решение утомлять тело физическими занятиями, чтобы этим побеждать его мятеж. С этой целью я ежедневно занимался гимнастикой, много ходил пешком, совершал на лодке большие прогулки и вообще старался направить в эту сторону избыток физических сил. Конечно, в том возрасте никакая гимнастика не могла вполне гарантировать меня от падений, но зато она развила во мне привычку к упражнениям мускулов, так что однажды я случайно обнаружил в себе довольно значительную силу. Конечно, эта сила не могла идти ни в какое сравнение с силой геркулесов Орловых, но она все же производила большое впечатление, так как не вязалась с моей стройной, хрупкой фигурой. Вот эта сила и увеличила степень уважения ко мне при следующем случае.

Однажды мы отправились веселой компанией ужинать

в загородный ресторан, называвшийся «Красный кабачок». Среди присутствовавших был немчик, барон фон Фельтен, очень легко напивавшийся и в подпитии становившийся невыносимым вследствие своей неприличной придирчивости. И на этот раз у него сказался этот недостаток, причем жертвой пришлось стать Адели. Получилось очень неприятное положение. Маркова в нашей компании случайно не было, а Григорий Орлов не мог вступить за Адель, так как среди нас было несколько сторонников партии «Панин-Дашкова» (иногда приглашать таковых бывало необходимо по тактическим соображениям). Выступление Орлова на защиту чести особы такого легкого поведения как Адель, сразу скомпрометировало бы их отношения, чего, видно, и добились «дашковцы», подзуживавшие Фельтена. Поэтому Орлову приходилось «строить веселое лицо при плохой игре», а расходившийся немчик становился все наглее и наглее.

Наконец он стал требовать, чтобы Адель поцеловала его, и в виде платы за поцелуй высыпал перед ней кучу медных монет.

Адель, недолго думая, запустила ему медью в лицо, а Фельтен назвал ее тем вульгарным, некрасивым, обидным словом, которым парижанин зовет самую несчастную, истерзанную, бесповоротно низко павшую распутницу.

У Адели от неожиданности и глубины оскорбления брызнули слезы из глаз. Я встал, подошел к Фельтену, взял его за шиворот и деликатно выбросил из окна на улицу, благо мы

сидели в нижнем этаже.

Через минуту Фельтен ворвался опять к нам в кабинет и с пеной у рта стал требовать «сатисфакции», наступая на меня с обнаженной шпагой. Я достал из кармана пистолет, взвел курок и заявил барону, что драться с ним на дуэли я не буду, так как считаю человека, способного оскорбить беззащитную женщину, недостойным чести быть моим противником. Если же он, Фельтен, не успокоится и не выйдет сейчас же отсюда вон, я просто застрелю его, как дикое животное.

Все присутствующие, не исключая и друзей Фельтена, должны были согласиться, что я прав. Правда, они не соглашались с законностью моих мотивов для отказа от дуэли, но находили, что дуэль может быть решена лишь тогда, когда барон протрезвится. Словом, расходившегося офицера обезоружили и увезли домой.

Но дуэль все же не состоялась. На другое утро императрица, узнав от Орлова об этой истории, вызвала барона во дворец, хорошенько намылила ему голову и приказала сейчас же ехать извиниться перед Аделью и мной. Так и было сделано. Сконфуженный Фельтен явился к Адели с огромным букетом цветов и очень чистосердечно извинился за гнусный поступок, совершенный его «двойником».

– Ведь когда я выпью, я становлюсь совсем другим человеком, – наивно объяснил он Адели. – Вот этот «другой человек» вечно подводит меня!

Фельтен был милостиво прощен и с тех пор проникся к

Адели платонической страстью и бескорыстным обожанием.

А я в тот же вечер получил от государыни перстень с крупным алмазом при собственноручном письме ее величества. В этом письме, которое я благоговейно храню до сих пор, императрица писала мне, что она шлет мне этот подарок не как русская самодержица, а как женщина, благодарная за женщину. Она замечала при этом, что неудивительно, если рыцарь вступается за благородную, высокую даму, и неудивительно, если обожатель защищает честь любимой женщины. Я же вступился за женщину, от которой ничего не ищу и общественное положение которой не дает ей оснований быть уж очень обидчивой. Но женское достоинство одинаково живет в груди как аристократки, так и нищей, и, как женщина сама, Екатерина и шлет мне «этот скромный знак ее женской благодарности».

Случай с Фельтеном заставил золотую молодежь, толпившуюся около Адели, быть осторожнее и почтительнее с нею. Кроме того, интерес к артистке был еще более возбужден этим. Все наперерыв старались добиться благосклонности Адели, что удавалось довольно легко. Но о победах над «женской стыдливостью» Адели не очень-то болтали: все эти пажоны были уверены, что я ничего не знаю о бесшабашном поведении Гюс и что таким образом они обманывают меня, бескорыстного рыцаря чести Адели.

Если бы они знали, что на другое утро после каждой такой «победы» я старательно выводил в толстой шнуровой книге:

«Января, 7-го (18) дня. От корнета гр. Шереметева поступило:

- 1) Наличными в золотых русских червонцах 6.000.
- 2) Браслет со смарагдами – см. в книге инвентаря, стр. 19».

Или:

«Марта, 3-го (14) дня. Выручено за золотое блюдо, полученное от ар. Нольде... 3.750 фр.».

Да, если бы они знали об этом! И если бы знала это императрица, которая с таким удовольствием принимала меня на своих эрмитажных собраниях, постоянно подчеркивая во мне человека знатного происхождения и высокой чистоты!

Шло время. Наступала зима с ее суровыми морозами, неистовыми вьюгами и веселым катаньем на бешено мчащихся тройках. Пришло радостное Рождество с новыми увеселительными поездками, ряженьем, кутежами. А там и Масленица показала свое сытое, румяное лицо! Вот уж действительно русский национальный праздник – эта Масленица! Мы с Аделью попробовали было один только разочек справиться ее по-русски, да и то пришлось звать доктора, и добрый Роджерсон, лейб-медик императрицы, немало ворчал, избавляя нас от конвульсий и спазм, причиненных непомерной тяжестью блинов. Представьте себе толстую лепеш-

ку из теста, жирно поливаемую маслом и сметаной. Вот эта лепешка и называется у русских «блин». Сверх масла и сметаны русские накладывают еще икры или соленой рыбы, а любители запекают в самое тесто особых маленьких рыбок, называемых «снятки», или мелко искрошенные яйца, лук и т. п. И таких лепех, приправленных всякой всячиной, хороший едок отправляет в свое чрево до 25–30 штук! Алексей Орлов ухитрялся доводить это количество до полусотни. Впрочем, я видал тоненьких «субтильных» дам и девиц, которые съедали по пятнадцать блинов. Мы с Аделью съели что-то по пяти или по шести блинов, да и то нам сделалось скверно, а ведь русские вдобавок заливают невероятное количество пожираемого теста не менее невероятным количеством водки, вина и кваса. А после блинов они едят еще уху, что-нибудь жареное и сладкое! Бог мой! Мне рассказывали, что у русских сложилась такая поговорка: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Наверное, эта пословица имеет в виду блины!

Кончилась неделя масленичного обжорства, и столица приняла унылый вид. Печально перезванивались колокола, напоминая жителям о необходимости покаяния и молитвы. Только в России я понял, какое мудрое установление – Великий пост! Ну, что случилось бы с русскими желудками, если бы после Масленицы для них не наступало принудительной диеты?

Но и пост промелькнул, наступила Пасха. А там повеяло

весной, наступили перламутровые, белые ночи, полные мечтательной неги, полусознательного томленья... Я стал с ожесточением заниматься гимнастикой, совершал далекие путешествия по Неве на взморье, даже колол дрова, побеждая беса сладострастия. Быстро проскользнуло короткое задумчивое лето. Пришла золотая осень с ее бодрящей свежестью. И тут у нас появились новые заботы.

Адель была приглашена в Россию только на один год; ее контракт ясно гласил, что по истечении пробного годового срока интендант придворных театров должен известить ее о желании или нежелании продолжить срок договора; в случае, если интендант не найдет нужным удерживать артистку на более продолжительное время, она через шесть месяцев может вернуться домой.

Конечно, легкомысленная Адель ни о чем таком даже не думала. Когда я обратил ее внимание на это обстоятельство, она поручила мне все устроить. Я отправился к Сумарокову, заведовавшему придворными труппами, но интендант заявил мне, что он должен сначала доложить об этом ее величеству, и просил меня навеститься через недельку.

Однако и через недельку оказалось, что вопрос все еще не решен и находится на заключении у личного секретаря ее величества Одара. Я отправился к Одару. Он принял меня очень любезно, наболтал много всякой любезной чепухи, но прямого ответа все же не дал, намекнув, что вопрос о продолжении срока контракта Адели находится в весьма

неопределенном состоянии, так как возникли совершенно особые трения, не имеющие ничего общего с искусством. Он дал мне совершенно ясно понять, что в разговоре со мной эти трения не могут быть устранены и будет лучше всего, если к нему заглянет «многоуважаемая мамаша девицы Гюс».

Но тут я должен представить читателю несколько сценок, без которых все дальнейшее не будет достаточно понятным. Сам я узнал об этой интриге лишь случайно и во время вторичного пребывания в России. Но не все ли это равно? Ведь я описываю здесь пеструю историю приключений девицы Гюс, а не хронологию поступавших ко мне сведений?

Дашкова, так неожиданно попавшая в открытую немилость и просидевшая целый месяц под домашним арестом, не могла помириться со своим поражением, понесенным как раз в тот момент, когда в душе она уже торжествовала победу. Читатель помнит, что она надеялась вызвать охлаждение Екатерины к Орлову разоблачением проделок последнего, вызвавших бегство принца Фридриха. Домашний арест и нежелание императрицы видеть Дашкову лишали энергичную подругу графа Панина возможности взять реванш. А вскоре дальнейшее течение событий показало ей, что бегство принца вообще надо выбросить из арсенала нападений на фаворита, так как Орлов сумел предохранить себя с этой стороны. Однажды на эрмитажном собрании маркиз де Суврэ начал было разговор о бывшем женихе императрицы, и

испуганным Орловым с трудом удалось отвлечь внимание Екатерины от этой опасной темы. Чтобы навсегда покончить с этим, они решили «повиниться». Орловы выбрали наиболее удачный момент, когда расположение Екатерины к своему любимцу вновь достигло краткого апогея, и в шутливой форме рассказали государыне о бедствиях, перенесенных Фридрихом Эрдманом. При этом они, разумеется, сказали только часть правды. Екатерина много смеялась, журила Орловых, но тем дело и кончилось. Теперь уже нечего было разоблачать: полуправда в большинстве случаев является лучшей броней для тайны.

Вскоре случились одновременно два маленьких события. Елизавета Воронцова, в сущности, не любившая Орловых, а видевшая в Алексее убийцу ее обожаемого Петра III, вздумала пойти им наперекор в каком-то пустяке. Теперь она была уже не нужна им: Панин был услан с поручением, у Дашковой отняли ее оружие. И Орловы решили отделаться от Воронцовой. Случай к этому скоро представился: Екатерине пришла в голову сумасбродная мысль женить Алексея Орлова на Воронцовой. Алексей был искренне привязан к своей Тарквинии, к тому же Воронцова была некрасива и капризна. А Воронцова, втайне чтившая память того, кого она называла «святым мучеником», считала святотатством даже мысль о возможности брака с «палачом мученика». Выражение, неосторожно вырвавшееся у нее по этому поводу, было немедленно передано государыне, и Воронцова перестала

появляться при дворе.

Зато ко двору снова явилась Дашкова, причем Орловы сумели дать ей понять, что прощение состоялось лишь по их настоятельной просьбе. Но они сильно ошибались, если думали, что им удастся умиротворить этим ее мстительность. Нет, Дашкова только притихла, только затаила глубже жажду свести счеты с ненавистным фаворитом. Но теперь она хотела нанести удар решительно, верно и метко. И для этого разработала целый план.

Да, поднимать историю принца Фридриха было бы неумно и бесцельно; к тому же Екатерина относилась к своей бывшей любимице очень холодно и не снисходила до простой неофициальной беседы с ней. Но ведь Екатерина потому отнеслась так снисходительно к проделке фаворита, что видела в этом проявление его ревности. Но что, если Дашковой удастся доказать государыне, что в это же время Орлов изменял своей царственной возлюбленной? Екатерина будет doubly уязвлена. Она будет оскорблена как женщина, а как государыня, она увидит опасность в опеке, которой ее окружили Орловы. Ведь если не ревность диктовала Григорию желание избавиться от соперника, значит, он вмешался в это сватовство из политических мотивов; значит, он и в другом может действовать вразрез с ее намерениями. А Екатерина к своей власти относилась еще более ревниво, чем к своему женскому обаянию.

О, будь у Дашковой прежние отношения с государыней,

какие были с робкой великой княгиней и гонимой императрицей-женой, тогда и говорить было бы нечего! Ведь в те времена Екатерина советовалась с Дашковой обо всем и позволяла ей обсуждать что угодно. Дашкова сумела бы доказать государыне, что связь Орлова с Гюс – не одни лишь сплетни, что это – не обычная мужская шалость, так как многое в отношениях Орлова к Гюс является злейшим оскорблением императрицы, таким, какого не простит своему возлюбленному самая серая мешанка. Достаточно уже того, что цепь, подаренная Екатериной Орлову, была переделана в браслет, который Гюс носила на ноге! И тогда не понадобилось бы представлять фактические доказательства: их добыла бы сама государыня, приказав сделать обыск в доме актрисы.

Но теперь этот путь не годился. Теперь государыня не даст ей и рта раскрыть, и новая немилость будет наградой за попытку разоблачить предательство фаворита. Теперь к императрице надо идти с документом в руках. И, сидя под домашним арестом, Дашкова тщательно обдумывала план, как добыть уличающий документ. Для этого она с тщательной, кропотливой старательностью окружила Гюс тайным надзором и вела свою линию с той гениальной прозорливостью, какую дает женщине пламенная ненависть.

Разумеется, этой ненависти она отнюдь не питала к Адели. Она скорее симпатизировала актрисе, и впоследствии, когда они обе встретились в Париже, они были добрыми приятель-

ницами. Но Гюс была оружием для низвержения Орлова; так пусть же сломается оружие, лишь бы оно нанесло смертельную рану врагу.

Сведения, доставленные Дашковой ее шпионами, вполне подтвердили ее подозрения относительно связи Орлова и Гюс, которые родились в ней еще на знаменательном вечере в доме фаворита. Дашкова знала в точности, когда именно бывал Орлов у актрисы, сколько он у нее сидел; где они были, что делали, что подарил ей фаворит – словом все. Но это не были фактические доказательства. Чтобы добыть их, Дашкова обратилась к помощи Маши Петровой.

Маша была вольноотпущенная крепостная Дашковой, ее молочная сестра и подруга ее детских игр. Дашкова обучила ее читать и писать, вместе с нею занималась французским языком, возила с собой за границу и сделала из Маши настоящую субретку из комедии Мольера – умную, грамотную, ловкую, хитрую и бесконечно преданную своей госпоже. И вот, узнав, что Адель благодаря своему дурному характеру вечно нуждается в опытной камеристке, Дашкова сумела пристроить на это место Машу.

Последняя сразу вошла в доверие Адели и расположила ее к себе ловкостью и смирением. И хитрая камеристка стала терпеливо ковать свои сети. Однажды Адель бросила полученную от Орлова записку в камин и сама ушла из комнаты. Маша выхватила слегка обуглившуюся бумажку, прочитала и спрятала. В другой раз Адель послала Машу с запиской к

Орлову. Печать была плохо приложена, и Маша, вскрыв и прочитав записку, передала несложное поручение на словах. Так же она поступила и с ответом Орлова.

Теперь в ее руках было три документа. На следующее утро, причесывая Адель, она намеренно дернула ее за волосы; Адель взвизгнула, ударила камеристку, та «обиделась» и отказалась от места. После этого Маша вообще исчезла на некоторое время с горизонта: для безопасности Дашкова услала ее в одну из своих деревень; сама же, спрятав записки в мешочек, с которым она не расставалась, стала ждать случая. И вскоре таковой представился ей.

Глава 8

Однажды Екатерина застала Дашкову в одной из комнат дворца, когда княгиня сидела, задумавшись о Панине. Она только что узнала, что на скорое возвращение графа нет надежды, и ей сильно взгрустнулось. Дашкова думала о своей юности, полной радостных надежд и мечтаний, вспоминала годы дружбы с Екатериной, переворот, осуществившийся в значительной степени благодаря ее деятельной пропаганде. И на ее красивых глазках проступили слезы при мысли, что теперь у нее, кроме Панина, нет ни одного близкого человека и не с кем ей перемолвиться искренним, задушевным словом.

Екатерина несколько минут смотрела на грустное лицо своей бывшей приятельницы, и в ее душе шевельнулось чувство сожаления. Она подошла к Дашковой, ласково обняла ее и сказала:

– О чем задумалась, Катенька, и чего ты загрустила?

Дашкова сейчас же решила ковать железо, пока оно горячо. Она схватила руки императрицы, стала целовать их, стряхивая слезинки, и лихорадочно зашептала:

– Не спрашивайте лучше, ваше величество, лучше не спрашивайте!

– Но почему же мне и не спрашивать? – удивленно отозвалась Екатерина, целуя Дашкову в заплаканное личико и

усаживаясь рядом с нею.

– Потому что все равно вы не поверите мне! О, какая это мука – все видеть, все знать и... молчать! Видеть, как на каждом шагу обманывают самого дорогого, самого обожаемого тобой человека, держать при себе документы, подтверждающие этот обман, и... молчать... молчать потому, что тебе все равно не поверят, тебя не выслушают, тебе не дадут договорить до конца!

Дашкова заплакала опять: она умела входить в роль.

– Но что с тобой, Катя? Право, я ничего не понимаю! Ты больна?

– Телом – нет, но мое сердце разрывается от боли...

– Но ты, наверное, больна! Уж не бред ли у тебя? Кого-то обманывают, какие-то документы...

– О, если бы это было бредом!

– Да кого обманывают-то?

– Кто же мне дороже всего на свете? Кого я обожаю, как свое божество? О, ваше величество! Три года тому назад вы не спросили бы об этом! Тогда вы знали бы, что только из-за вас я могу так страдать! Да, ваше величество, обмануты вы!

Екатерина вздрогнула, брезгливо отдернула руки, которыми она нежно обнимала Дашкову, и презрительно сказала:

– Вы, ваше сиятельство, опять принимаетесь за старое? Опять интриги и сплетни?

– Я заранее говорила, что мне не поверят! – с отчаянием крикнула Дашкова. – О, почему я не могла промолчать! Но

теперь...

– Нет-с, княгиня, теперь вы молчать не будете, теперь вы договорите до конца! Но только помните одно: каждое обвинение должно быть доказано документально! Иначе... Благоволите вспомнить, ваше сиятельство, что я не церемонюсь с интригующими сплетниками! Ну-с, я жду!

– Ваше величество! Я знаю, что господа Орловы...

– Вы хотите, вероятно, сказать – графы Григорий и Алексей Орловы? Но это – мелочь. Продолжайте!..

– Я знаю, что графы Орловы повинились вашему величеству в ряде проделок над принцем Фридрихом Эрдманом. При этом они сообщили вашему величеству только половину правды и представляли все это дело много иначе, чем оно происходило на самом деле. Но и сказанного ими было бы достаточно для гнева вашего величества, однако вы объяснили мотивы графа Григория ревностью и потому...

– У вас имеются документальные данные, подтверждающие мои чувства и мотивы, княгиня? Нет? Тогда я уже попрошу отложить рассуждения до более удобного времени!

Дашкова вспыхнула, встала, засунула руку за корсаж, достала оттуда шелковый пакетик, разорвала его и сказала:

– У меня имеются документальные данные, что граф Григорий Орлов, с ведома и попустительства своего брата Алексея, смеется над вашим величеством в объятых низкой распутницы и что эта связь возникла в то время, когда «ревность» графа Григория вызвала его на ряд недостойных про-

делок над принцем Фридрихом. Вот эти данные!

Екатерина взяла из рук Дашковой три записки, и при первом же взгляде на них ее лицо покрылось сильной бледностью. Однако она мощно подавила в себе движение слабости и волнения. Она пробежала записки и сказала с холодным пренебрежением:

– Недурно сделано! Почерк графа Григория очень похож! Скажите, княгиня, это вы сами писали или давали на заказ?

– Ваше величество! – вскрикнула Дашкова, не веря своим ушам.

– Молчите, княгиня! – строго оборвала ее императрица. – Вы заслуживаете того, чтобы я отдала вас под суд за учинение подлога с целью ввести в обман свою государыню. Но в память прежней дружбы, которой я дарила вас когда-то, я избавляю вас от этого позора. Вы еще недавно просились у меня за границу для поправления своего здоровья? Поезжайте! Даю вам два дня на сборы! Но если третьи сутки застанут вас в Петербурге, то вы отправитесь прямо в тюрьму! И помните еще, что, если вы вздумаете распускать ваши гнусные сплетни и впредь, моя карающая рука достанет вас и за границей! А теперь подите вон!

Дашкова хотела что-то сказать, судорожно глотнула воздух и рухнула в глубоком обмороке. Императрица приказала дежурному камергеру отправить Дашкову домой, послать к ней Роджерсона и по приведении в чувство напомнить Дашковой, что повеление государыни остается в прежней силе,

несмотря ни на какие обмороки или болезни. Затем, взяв с собой записки, государыня удалилась в кабинет, куда через полчаса был вызван Одар.

Одару Екатерина сказала:

– Помните: все, услышанное вами здесь сейчас, должно навсегда остаться в тайне. Взываю не к вашей порядочности, а к вашему разуму. Вы знаете, как я умею благодарить и как умею карать. Мне нужен ваш совет. Слушайте!

Екатерина рассказала ему разговор с Дашковой и подала записки. Одар прочел:

«Государыня по счастливой случайности занемогла, и я сегодня вечером свободен. Жди меня с компанией к ужину. Вероятно, брат Алексей тоже завернет. Во всяком случае, чтобы хватило персон на двадцать пять; мы будем нашим тесным кружком. Так будь умницей и устрой все, как следует. Значит, до скорого свидания. Целую твои лапки!»

«Милый Гри-Гри, мне непременно надо знать наверное, состоится или нет наша „охота“ в субботу, так как сегодня вечером будет распределение спектаклей, и если я не приму мер, то может случиться, что я окажусь занятой. Если же я откажусь на субботу, а наша поездка будет перенесена на другой день, то опять-таки может выйти неловкость: нельзя же отказываться постоянно. Непременно ответь хоть на словах!»

«Охота будет, но настоящая: государыня пожелала принять участие в ней. Значит, до другого раза».

– Ну, что же, – сказал Одар, – это лишь документальное подтверждение того, что было известно всему Петербургу...

– Скажите мне, что представляет собою эта Гюс? Любит она графа?

– О, нет! Она изменяет ему направо и налево, но устраивается так ловко, что поймать ее с поличным графу не удалось. Это не мешает графу изредка устраивать ей грубые сцены, и вообще их совместная жизнь не блещет розами. Впрочем, сама Гюс не так уж виновата. Небо послало ей вместо матери жадное чудовище, которое толкает девушку в объятия всякого, способного щедро заплатить за это.

– Но какая же роль приходится во всем этом на долю маркиза де Бьевра?

– О, самая жалкая! Маркиз проповедует девице Гюс добродетель и ничего не видит, что делается у него под носом.

– И с такой негодницей Орлов обманывает меня! Я бы поняла любовь, страсть, увлечение... Я сама – человек и могу понять и простить многое... А тут... Но выслушайте меня, Одар, и дайте мне совет. Я изложу вам весь ход моих мыслей, чтобы вы могли знать, в чем именно я колеблюсь!

Когда я увидела эти записки, я должна была собрать всю свою силу воли, чтобы не дать взрыву бешенства овладеть мной. Я притворилась, будто не верю подлинности записок, и приказала Дашковой через двое суток выехать за границу. Иначе я не могла поступить. Ведь я не знала, на что я решусь. А ведь если положение обманутого, но не верящего обману

– смешно, то положение бессильного отомстить за обман человека – унижительно. И я стала думать...

Как больно мне было читать: «Государыня по счастливой случайности занемогла»! Но я призвала на помощь все свое хладнокровие, всю ясность своего ума и тогда увидала, что этим словам можно придать совсем другое толкование. Ведь Орлов радовался не моей болезни, а тому, что эта болезнь случилась именно в тот день, когда ему хотелось отдохнуть на свободе. Я знаю, что наши утонченные собрания тяготят Орловых – они с отроческих лет привыкли к диким, бесшабашным, истинно-русским увеселениям. Под моим влиянием они приобрели значительный внешний лоск. Но возможно ли, чтобы самое сильное влияние в корне переродило саму натуру человека?

Словом, рассуждая логически, я поняла, что всю эту историю нельзя принимать в том виде, в каком она может показаться с первого взгляда. Но нельзя было и махнуть на нее рукой. И я стала перебирать все средства и возможности выйти из создавшегося положения.

Продолжать умышленно закрывать глаза? Притвориться, будто я не верю в связь Орлова с этой распутницей? Нет, это совершенно невозможно! Если бы Гюс была скромной, любящей девушкой, я могла бы махнуть рукой на свои женские чувства, могла бы отнестись к этой истории лишь как государыня, которая не может мстить за женщину... Но при этих обстоятельствах... Нет, нет, это невозможно!

Покарать Орлова? Падением его влияния отмстить за нанесенное мне оскорбление? Но ведь оскорблена женщина, а государыня нуждается в Орлове. Ведь вы знаете, Одар, что политический горизонт не спокоен, что с минуты на минуту Восток может вспыхнуть военным пожаром! Орловы не хватают звезд с неба, но в них трон имеет серьезную опору. Так неужели из женской ревности нанести вред стране, быть может, пошатнуть трон?

Обрушиться на Гюс? Но ведь Екатерина-женщина не может ничего сделать ей, а благородно ли будет пользоваться в таком деле преимуществом положения? Да и против кого? Против какой-то распутницы, уличной девчонки? А кроме того, что я могу сделать ей? Выгнать ее из России? Никогда! Ведь это значило бы разгласить историю по всей Европе... О, для популярности Гюс это было бы отличным средством, но в каком жалком, смешном положении очутилась бы я сама!

Так вот каково положение, Одар: я должна что-нибудь сделать, и в то же время ничего сделать не могу. Помогите мне, дайте мне совет!

– Но, ваше величество, отделаться от Гюс так просто! – ответил Одар. – Как раз сегодня утром у меня был Сумароков. Он просил меня доложить вашему величеству в свободную минутку о контракте девицы Гюс. Контракт истек, и от воли договаривающихся сторон зависит возобновление его в шестимесячный срок. Сумароков сказал, что Гюс требует теперь двойного жалованья при пятилетнем сроке. От нас за-

висит не принять этих условий, выплатить госпоже Гюс жалованье за полгода, как мы обязаны сделать в случае невозобновления контракта, да и пусть себе едет с Богом! Вот мы и избавились от нее!

– А если она не уедет?

– А что же она будет здесь делать, раз она останется без ангажемента?

– Поверьте, щедрость графа Григория для нее дороже всякого ангажемента... Да и все равно – это не годится, Одар, уедет ли она или останется. И в том, и в другом случаях отказ возобновить контракт будет истолкован мелкой ревностью, и эта развратница останется восторжествовавшей. Нет, вы поймите, чего я хочу, Одар: я хочу, чтобы и Гюс, и Орлов понесли заслуженное наказание, чтобы они были проучены, но чтобы при этом – я сама, как государыня, осталась в стороне. Вы – умный человек, Одар, и, если дадите себе труд подумать, изобретете какую-нибудь комедию, развязка которой даст то, что я хочу!

Одар задумался. Вдруг его лицо просветлело, и на губах появилась тонкая ироническая улыбка.

– Я придумал, ваше величество, – сказал он, – но для того, чтобы мой план удался, необходимо предоставить вопрос о контракте с Гюс всецело в мое распоряжение. Кроме того, мне нужна будет порука вашего величества, что граф Григорий не станет вымещать на мне свою злобу. Ну, и... некоторое количество золотых монет мне тоже понадобится...

– У вас будет все! – обрадованно воскликнула императрица, – только Бога ради не томите и расскажите, что вы придумали?

Одар сообщил государыне свой план. Екатерина, выслушав его, даже захлопала от восторга и попросила Одара не терять времени даром. Одар сейчас же отправился к Сумарокову и взял у него все бумаги, относившиеся к Адели. Вскоре после этого-то я и попал к нему. Как я уже говорил, Одар дал мне понять, что о продолжении контракта ему будет удобнее переговорить не со мной, а с мамашей Гюс. С этим я и вернулся домой.

Мы с Аделью были немало встревожены, зачем понадобилась Роза Одару, и, пока она ходила к секретарю государыни, мы на всякие лады пытались решить вопрос, в чем тут дело. Вероятнее всего было, что государыня узнала о шалостях своего Адониса, и Адели грозила какая-нибудь беда.

– Но почему же в таком случае Одар не мог сказать этого тебе? Почему он вызвал не меня, а мать? – недоумевала Адель.

И я должен был согласиться, что, очевидно, дело не так просто, как мы предполагали.

Эта неизвестность бесконечно угнетала нас.

Наконец пришла Роза. Она задыхалась, сопела, но сияла удовольствием.

– Ну и счастливица же ты, Адель! – затараторила она. – Уж

так тебе везет, так везет... Конечно, с другой стороны, оно и нелегко: Орлов и много других... Да и Одар так некрасив... Но в Писании сказано: «Истязующий плоть, спасает душу», и...

– Не богохульствуйте! – с негодованием крикнул я, тогда как Адель смотрела на мать широко раскрытыми глазами.

– Да говори ты толком! – крикнула и она.

Роза тупо посмотрела на нас обоих по очереди и сказала, обращаясь к Адели:

– Нет, ты мне вот что скажи, дура-девка! Оказывается, ты, не спросясь меня, потребовала, чтобы в новом контракте тебе удвоили жалованье... Удвоили! Да ты скажи только, могла ли ты серьезно думать, что согласятся исполнить такое дурацкое требование?

Адель звонко расхохоталась.

– Помнишь, что нам сказала мадам Пижо, когда я покупала последнюю шляпу? Она сказала: «Я не слыхала, мадемуазель, чтобы человека посадили в тюрьму за то, что он высоко ценит свой труд!» В конце концов тут играет для меня роль лишь артистическое самолюбие, а само по себе это жалованье слишком незначительно в сравнении с тем, что я трачу... Так что я охотно уступила бы, если бы вздумали торговаться. Но ты уж, наверное, слишком быстро пошла на уступки и все испортила!

– Да ничего похожего! – ответила Роза. – Меня то-то и удивляет, что готовы дать тебе требуемую прибавку!

– Да неужели? – радостно крикнула Адель. – Представлю, как позеленеют от зависти...

– Постой, постой, дочка! – благодушно остановила ее Роза. – Дело еще не сделано, и не следует делить шкуру еще не убитого медведя! Ее величество всецело предоставила вопрос о продлении твоего контракта и об увеличении гонорара решению Одара, ну, а ты сама знаешь, что этот господин ничего даром не делает!

– Так что же из этого? – презрительно кинула Адель. – Значит, этому господину надо сунуть что-нибудь? Ну, так возьми денег и ступай к нему хоть завтра же!

– Э, нет, дочка! То, что нужно Одару, можешь дать только ты, а никак уж не я! – ответила старуха.

Теперь мы поняли наконец, и бомба взорвалась. Адель побагровела, вскочила с кресла, и, призвав на помощь весь богатый арсенал парижских уличных ругательств, принялась осыпать ими мать. Роза спокойно слушала, ожидая, когда вдохновение Адели иссякнет.

– Ну, кончила наконец? – сказала она тогда. – А теперь ты мне вот что скажи: что тебя собственно так возмущает?

– Да ведь это – отвратительный, грязный урод!

– Те-те-те! До сих пор ты, кажется, обращала внимание на выгоду, а не на наружность!

– Да ведь мне приходится расплачиваться за свое же добро! Я сама создала себе артистический успех, подписание нового контракта является лишь следствием, лишь призна-

нием моего таланта и успеха, и за это я еще должна расплачиваться такой ценой? Никогда!

– И из-за таких пустяков ты предпочтешь вернуться со срамом во Францию?

– Ну, это мы еще посмотрим! Мне стоит только сказать Орлову о домогательствах подлого пьемонтца, Григорий лично доложит ее величеству, и...

– И через двадцать четыре часа ты будешь мчаться по направлению к границе под строгим конвоем, тогда как Одар еще более утвердится в милости императрицы!

Адель даже рот разинула.

– Да ты совсем рехнулась, что ли? – злобно сказала она.

– А ты бы вместо того, чтобы драть горло, лучше спросила, почему именно государыня поручила этот вопрос Одару, а не директору театров, которого ангажемент артисток касается гораздо больше?

– В самом деле, почему?

– Вот то-то «почему»! Потому что государыня прослышала о шалостях графа Григория и вовсе не расположена терпеть около себя соперницу. Вот она и поручила расследовать это дело Одару. Если он найдет, что между тобой и графом что-нибудь есть, тогда тебя выгонят со скандалом, а если расследование не подтвердит доноса, то государыня рада удержать у себя хорошую артистку, отъезд которой подал бы вдобавок пищу сплетням, не основанным на действительном факте. Ну, а ты сама знаешь, какая тонкая штучка этот Одар.

Оказывается, он уже давно вывел на свежую воду твои шашни с Орловым, и, когда я попробовала отпираться, он доказал мне такую осведомленность, что мне оставалось лишь замолчать. Только пока Одар еще ничего не сказал государыне, а его доклад будет зависеть от того, согласишься ли ты исполнить его желание или нет. Теперь ты подумай, что произойдет, если Орлов вздумает жаловаться государыне на Одара. Последний скажет, что хотел лишь проверить свои данные и что жалоба Орлова блестяще доказывает справедливость возведенного на фаворита обвинения!

– Но, может быть, это и есть ловушка!

– Полно тебе! Ведь я же говорю тебе, что Одар имеет в руках все доказательства!

– А, так он хочет воспользоваться своей силой, он хочет принудить меня к этому? Ну, это ему не удастся! Никогда! В таком случае я сама завтра же заявляю, что не желаю оставаться в этой варварской стране и отказываюсь от возобновления контракта! Я достаточно молода, красива и талантлива, чтобы сама ставить требования, а не позволять ставить их себе!

– Да ты проспись лучше! Что ты говоришь только!

– Я говорю: никогда, никогда и никогда!

– Ну, так и я тебе говорю, что в моих руках имеется средство помешать тебе сделать эту глупость! Вспомни, что ты обязана мне полным послушанием!

Адель вздрогнула, словно ее ударили бичом, и прошипел-

ла, побледнев как полотно:

– Знаешь что! Ты мне так осточертела с этим «послушанием», что когда-нибудь ночью я попросту придушу тебя подушкой!

– Друг мой, – спокойно ответила Роза, – я не боюсь смерти, так как она не застанет меня неподготовленной. Я исповедуюсь через каждые два дня, и у меня нет ни одного греха в прошлом, которого не отпустил бы мне аббат Фор. Таким образом я бестрепетно предстану перед лицом Высшего Судии, а мученическая кончина лишь облегчит мне пребывание в чистилище. Зато подумай о себе! Какая участь может ждать за гробом клятвопреступницу и матереубийцу?

Адель заплакала от бессильной злобы и хотела выйти из комнаты.

– Стой! – повелительно остановила ее Роза. – Сначала потрудись дать мне ответ!

– Завтра утром я отвечу тебе, проклятая! – с ненавистью сказала Адель.

– Хорошо, я подожду! – иронически согласилась Роза. – Утро вечера мудренее. Но если ты рассчитываешь в течение ночи избавиться от меня, то не трудись напрасно: теперь уж я не оставлю двери своей спальни открытой!

Но Розе не пришлось ждать до утра: Адель дала свое согласие еще вечером, и на поспешность этого решения оказал немалое влияние сам Григорий Орлов. В последнее время отношения между ним и Аделью были значительно ис-

порчены. Граф обращался с артисткой очень грубо и презрительно, постоянно осыпая ее обвинениями в измене. Было сразу видно, что кто-то нашептывает ему на нее, и самолюбие Орлова сильно страдало. Он все чаще приходил невзначай, надеясь застать у Адели соперника, и, не находя никого, раздражался еще более. Так было и на этот раз. Адель лежала у себя на кушетке, приказав горничной никого не пускать к ней. Орлов, разумеется, не поверил камеристке, силой ворвался в спальню, обыскал там все, даже ткнул шпагой в пуховики кровати и в заключение обозвал Адель довольно некрасивым словечком, весьма недалеким от того, которым оскорбил ее когда-то пьяный Фельтен. Адель знала, что это бранное слово вполне заслужено ею, и это-то обозлило ее больше всего. Кроме того, она считала, что если Орлов и прав по существу, то фактически, за отсутствием прямых улик, он неправ. Поэтому сейчас же по уходе Орлова она заявила матери, что требование Одара будет удовлетворено. Так в плеяде «дольщиков» Орлова появился уродливый, как черт, и, как черт, умный пьемонтец Одар.

Итак, Адель стала возлюбленной двух фаворитов: «физического» и «духовного», если так можно выразиться. Действительно, если не вкладывать в слово «фаворит» специального альковного смысла, Одара можно смело назвать им. Екатерина очень ценила его тонкий, пронизательный ум, относилась к нему с большим доверием и легко мирилась с его

безнравственностью. Она говорила о нем:

«Люди такого ясного ума, как Одар, неспособные к иллюзиям и самообольщению, могут быть или праведниками, или нечестивцами, потому что они слишком разумны для половинчатой игры. Темперамент не позволяет Одари быть праведником, ему остается быть лишь нечестивцем. Но зато с Одаром легче, приятнее и надежнее вести дело, чем со многими другими. Заменяя неустойчивое, туманное понятие „добродетель“ вполне определенным понятием „выгода“, он тем самым дает возможность всякому открыто знать, чего держаться в обращении с ним. А ведь это очень важно! Другой способен предать без всякой выгоды – просто из болтливости, хвастовства, угодничества. Одар никогда не предаст – он просто продаст, как расчетливый купец».

Адель не знала и не могла знать, что в этой истории она является действительной жертвой и что на этот раз Одар продает «с костями и кожей» именно ее. Поэтому немудрено, если хитрому пьемонтцу быстро удалось искренне расположить ее к себе. Потом я нимало удивлялся, с каким знанием человеческой души, с каким тонким учетом всяких случайностей был составлен хитрый план Одара, осуществившийся с точностью математического расчета.

Пьемонтец начал гнуть свою линию с первого же момента. Явившись на другой день к Адели с изящным букетом цветов, он обратился к ней со следующими словами:

– Извините меня, милая барышня, что для осуществле-

ния своих домогательств я прибег к случайной выгоде и преимуществу положения. Но что же мне было делать, раз все мое существо так властно рвалось к вам? Ведь приди я к вам и объяснись в своей страсти, вы попросту прогнали бы меня! Вы сочли бы себя униженной тем, что такой урод, как я, осмеливается домогаться взаимности. Конечно, будь я богачом, я сложил бы к вашим дивным ножкам все свое состояние. Но что может дать бедный Одар по сравнению с теми земными благами, которыми осыпают прославленную Аделаиду Гюс князя мира сего?

– Согласитесь во всяком случае, что вы поступили не очень-то по-рыцарски! – холодно заметила Адель.

– Но, помилуйте, чем же, в сущности говоря, так называемый «рыцарский поступок» отличается от других способов покорения сердца – будь то купеческий с пожертвованием всего состояния или предательский с пользованием преимуществом положения? – горячо отозвался Одар. – Вы только вспомните, как действовали рыцари. Если дама сердца не отвечала рыцарю взаимностью, он отправлялся совершать подвиги, даме совершенно ненужные, потом возвращался и говорил: «Благородная и добродетельная дама! Ради вас я столько-то раз рисковал здоровьем и жизнью, получил столько-то ран и совершил столько-то славных дел. Поэтому вы должны теперь быть моей!» А так как он говорил это с горячим убеждением, которое имеет свойство заражать, то дама начинала думать, что она и в самом деле «должна» стать его,

и... становилась! Ну, а что он давал даме за ее любовь? Раны, которые могли лишь помешать ему быть на высоте положения истинного друга сердца, и подвиги, даме ровно ни на что ненужные! Ну, а купец или предатель дают даме за ее любовь нечто такое, что ей действительно нужно, а не всучивают подобно рыцарям ненужный хлам!

– Иначе говоря, вы хотите сказать, что любви таких созданий, как я, не добиваются, ее покупают? – с горечью сказала Адель. – Отлично! По крайней мере искренне! Что же – торговля так торговля! Вы хотите купить обладание мной и ценой назначаете продление моего ангажемента на поставленных мною условиях? Отлично! Торг заключен! Когда вам угодно будет воспользоваться покупкой и когда я могу получить условленную плату?

– Нет, нет! – с испугом вскрикнул Одар. – Бога ради не говорите со мной таким тоном, иначе вы заставите старого уроды Одара совершить несвойственный ему поступок! Ведь я способен принести вам ваш контракт и отказаться от того, что вы называете простой «покупкой»! Это несвойственно мне, и я никогда не прощу себе такой нерасчетливой глупости; но поверьте, что мне было бы бесконечно тяжело встретиться с вашей стороны лишь одно холодное подчинение неизбежному!

– А вы считаете себя вправе рассчитывать на что-либо иное? Или, может быть, вы находите, что за ту же цену можно купить искреннюю любовь и горячую страсть?

– Нет, барышня, – грустно возразил пьемонтец, – я знаю, человек может продать лишь то, чем сам владеет, ну, а в любви и страсти человек неволен. Да и где уж такому чертову уроду, как я, рассчитывать на любовь и страсть. Но мне не хотелось бы, чтобы вы относились ко мне в душе враждебно и презрительно. Мне хочется хоть немного ласки. Ведь я одинок, страшно, бесконечно одинок. Одни уважают меня за ум, другие ненавидят за безнравственность. Одни зависят от меня, другим я нужен, третьим я мешаю. Этим исчерпываются все мои отношения с людьми. Ласки, симпатии, сочувствия я не вижу ни в ком, и умри я сейчас, сию минуту, обо мне пожалеют лишь те, чьи дела я не успел доделать. Да и те скажут: «И не мог этот грязный урод подождать умирать дня два? Потом-то черт с ним!» И это было бы единственным надгробным словом у моего неостывшего трупа!

Этими словами, которыми Одар так удачно симулировал мнимую жажду ласки, хитрый пьемонтец тонко и метко попал прямо в намеченную им цель. Ведь жажда ласки была больным местом Адели, которую порою сильно мучила окружающая ее атмосфера корыстной грубости. Ведь она могла бы и к себе самой отнести слова Одара. Из всех окружавших ее лишь один я не был ни в чем заинтересован. Но Адель знала то, что не мог знать Одар: знала, что я недобровольно играю роль бескорыстного друга. Зато Одар отлично знал другое: как бы низко ни пала женщина, она никогда не перестанет мечтать об искренней любви; при этом платониче-

ская дружба, существовавшая между Аделью и мифическим «маркизом де Бьевром», не может удовлетворить женщину: она будет неизменно мечтать о человеке, который был бы другом и ее сердцу, и телу, и душе.

И Адель уже много мягче ответила Одару:

– Что же делать, Одар! Кто сам не делает никому добра, того и не поминают добром другие!

– «Добро»! «Зло»! – с горечью подхватил Одар. – Да знаете ли вы сами, что такое добро? Можете ли вы точно указать границу добра и зла? Вы скажете, например, что убивать – зло, а спасти от гибели – добро. Так вот что я спрошу вас: если любимый вами человек будет таять в безнадежной чахотке, мучиться адскими страданиями, выплевывая по кускам источенные болезнью легкие, то не будет ли с вашей стороны высшим подвигом добра подсыпать ему в питье что-нибудь такое, от чего он тихо и безмятежно заснет навеки? И не будет ли, наоборот, проявлением высшей злобы, сильнейшей мести – не давать своему врагу покончить с собой, если жить ему станет невтерпеж?

– Вы берете крайности, – задумчиво ответила Адель. – Мне кажется, что добро и зло – что-то такое, чего не выразишь словами, но что должно чувствоваться сердцем...

– Хорошо, пусть вы правы! – подхватил Одар. – Но почему же я должен творить добро, если по отношению к себе я не вижу его? Разве вы выйдете к волкам с кроткими словами вместо оружия? Мир, люди – это та же стая волков, где каж-

дый хочет сожрать друг друга. Я хотел стать кое-чем, а если бы я творил добро, я остался бы ничем... Добро! Ну, скажите вы сами: много ли добра видели вы в жизни? С самого раннего возраста вы стали лишь предметом хищных домогательств, красивым товаром, который стремился купить всякий... Ну да, вы сошлетесь на маркиза де Бьевра, который бескорыстно делал вам добро. А скажите-ка по чистой совести, спасло ли добро маркиза вас от унижения, от позора, от обид? Выслушали ли вы от графа Орлова хоть на одну грубость меньше из-за того, что маркиз де Бьевр добр? Полно вам, милое дитя! Добрым может быть тот, кто родился богатым, знатным и сильным. Но богатые и знатные не хотят быть добрыми, ну, так и мы не можем быть ими. Однако между собой мы можем и должны быть ласковыми и добрыми, потому что мы, выбившиеся наверх из ничтожества, не можем иметь друзей ни в ком, кроме подобных нам. Вот поэтому-то я и пришел к вам. Я знаю, вас отталкивает мое уродство. Э, барышня, нельзя придавать так много значения внешней мишуре! Граф Орлов красив, но ведь это – просто кусок грубого мяса, которое Господь Бог забыл одухотворить. Зато, поверьте, мой ум скоро заставит вас примириться с моим физическим уродством. Вы увидите, каким верным, преданным другом я могу быть. И ведь я прошу очень немногое. Только ласки, только немножко сочувствия! Я ни в чем не буду стеснять вас, не буду ставить никаких требований. Я – философ и не стану ревновать вас к

тем, кто будет для вас лишь неизбежной необходимостью! И поверьте, дорогая барышня, что, приблизив меня к себе, вы никогда не пожалеете об этом!

– Увидим, увидим, – ответила уже совсем смягчившаяся Адель, – а в ожидании далекого будущего давайте займемся ближайшим настоящим и... позавтракаем!

Глава 9

Как часто приходится слышать: «Что она (или он) в нем нашла?» Если бы отношения Адели и Одара были более на виду, наверное, этот вопрос не сходил бы с уст всего общества, потому что в каждом движении, в каждом взгляде, в каждой улыбке Адели сквозила глубокая привязанность к уроду Одару. На первых порах меня самого удивляло это непонятное влечение, но потом оно очень радовало меня, так как доказывало, что в душе Адели еще не заглохли добрые ростки, усиленно подавляемые и затаптываемые окружающими.

Ведь Адель относилась теперь к Одару совершенно бескорыстно. Вопрос о контракте не пошел далее голословных уверений Одара, и Адель даже не заговорила о нем. Денежных или ценных подарков Одар не делал, но малейший знак его внимания трогал и радовал девушку гораздо больше орловских бриллиантов. Словом, единственная корысть, которую имела от него Адель, заключалась в хорошо симулированной Одаром ласковой сердечности отношений. Одар так умел тронуть девушку разговорами об их общем одиночестве, так умел представить судьбу Адели в виде вопиющей социальной несправедливости; он умело затрагивал нужные ему струны сердца Адели, заставляя их звенеть на определенный лад.

И мы все – прислуга, Роза, я – вздохнули теперь свободнее, так как характер Адели существенно изменился к лучшему. Она стала мягче в обращении, ласковее. Прекратились беспричинные бурные вспышки. На лице появилась трогательная, нежная улыбка, сообщавшая ему ответы девичьей наивности, и когда Адель шла по комнате, то казалось, будто она несет в себе что-то переполненное до краев и боится расплескать это «что-то».

Свиданья происходили то у Адели, то у Одара, причем виделись они почти ежедневно и всегда много разговаривали. В этих разговорах Одар всегда старался навести девушку на ее отношения к Орлову, и Адель обыкновенно давала волю своим истинным чувствам к грубому, надменному временщику. И вот однажды такой разговор произошел между ними на квартире у Одара. Могу восстановить его в точности, потому что перед моими глазами лежит запечатлевший его документ.

– Отчего ты так грустен? – спросила Адель, – неужели всей моей нежности недостаточно для того, чтобы согнать с твоего лба эти противные морщинки?

– Твоя нежность может лишь углубить их, – ответил Одар, – ведь она еще острее заставляет меня чувствовать, что я теряю!

– Теряешь? Что за пустяки!

– Ну, конечно! Разве наши отношения могут долго продержаться? Что может заставить такую молодую, красивую

женщину, как ты, возиться со мною, старым уродом? Особенно теперь! Единственный дар, который я мог преподнести тебе в благодарность за твою любовь, ускользает из моих рук...

– Ты говоришь о возобновлении моего контракта? Поверь, дорогой, что если контракт не будет возобновлен, то я буду печалиться лишь о необходимости уехать из России и расстаться с тобой!

– Ты очень добра, Адель, и доброта заставляет тебя говорить такие вещи, в которые ты сама не веришь!

– Как тебе не стыдно!

– Ах, ну надо же относиться к жизни сознательно и без иллюзий! Что могу значить для тебя я, когда около тебя стоит такой красавец, такой могущественный, богатый и щедрый человек, как Орлов!

– Не вспоминай о нем, не порти мне отрадных часов нашего свиданья! Как же можно сравнивать тебя и его? Ты говоришь, что он – красавец? Да ведь это – какая-то дикая куча дурацкого мяса! Фу, какая это грубая, вульгарная, глупая скотина!

– Ты увлекаешься, милая Адель! Конечно, вопрос о красоте очень спорен, потому что он зависит от вкусов, о которых, как известно, не спорят. Я лично нахожу, что граф Григорий – очень красивый мужчина... видный, рослый, сильный...

– О, если ты прилагаешь к нему ту мерку, которая хороша

для заводских жеребцов, то ты прав. Впрочем, в сущности говоря, он и есть животное...

– Ну да, я уже говорил, что это – дело вкуса. Но ты так непочтительно называешь его «глупой скотиной»! Помило-сердствуй, Адель!.. Разве можно назвать так человека, который выбился из ничтожества лишь собственными талантами?

– Да с тобой можно просто от смеха лопнуть! Можно подумать, будто ты и сам не знаешь, какими именно «талантами» выбился наверх граф Григорий! Ум-то уж здесь был совсем ни при чем... Фу, какая срамота! Нас, бедных артисток, презирают за то, что мы вынуждены быть не слишком строгими в вопросах добродетели. Но ведь, во-первых, мы – слабые женщины, во-вторых – без этого мы в силу необходимости не можем отдаться искусству, которое для нас все же остается на первом плане. И нас еще презирают! Так как же не презирать сильного мужчину, открыто торгующего собой! Ты говоришь, что он богат и щедр? Подумаешь, какая заслуга! Из того, что он наторгует любовью сам, он небрежно выбрасывает некоторую часть за любовь, которую он покупает! Фу, гадина! Грязное насекомое, которое завелось в складках царственной горностаевой мантии!

– Осторожнее, Адель, ты в своей горячности задеваешь более чем высокую особу, приблизившую к себе графа!

– Оставь, пожалуйста, я ничем не задеваю этой «высокой особы»! Она прежде всего человек, и ничто человеческое

ей не чуждо. Мало ли что! В том, что человеку захочется плюнуть, нет ничего позорного, но быть плевательницей – малопочетная обязанность. Ха-ха-ха! Вот настоящее слово! Твой могущественный, красивый, умный и прочее, и прочее, и прочее граф Григорий Орлов – просто плевательница для пользования высокопоставленных особ!

– Однако! Я и не думал, что моя маленькая чаровница способна быть такой злой и ядовитой!

– Ах, я так ненавижу Орлова, так ненавижу! Каждый раз, когда он высокомерно и снисходительно целует меня, я с восторгом думаю: «Целуй, целуй! Ты за это хорошо платишь, а потом можно ведь и вымыться в семи водах!» Когда он с надменной небрежностью кидает мне крупную сумму денег или ценный подарок, я думаю: «Плати, милый друг!.. Ведь и за свой позор тоже надо платить! А благодаря твоей щедрости я знатно проведу время с милым дружкой». Когда же он гордо хвастается передо мной своим могуществом, я думаю: «Всего твоего могущества недостаточно, чтобы такое ничтожное существо, как я, не обманывало, не надругалось над тобой!»

– Да за что ты так ненавидишь его, маленькая злючка?

– Потому что я – человек, а не собака, привыкшая лизать руку, бьющую ее. Орлов груб, дерзок, резок. Он держит себя со мной хозяином, потому что достаточно богат и могуществен, а мы, несчастные артистки, нуждаемся в покровительстве богатых, знатных людей. Меня привязывает к нему

лишь необходимость, а он пользуется этим и злоупотребляет преимуществом своего положения. Чем же иным, как не ненавистью, могу я отплатить ему за это? А ведь я так легко могла бы полюбить его, привязаться к нему! Хоть бы немного ласки, немного теплоты, немного сочувствия встретила я с его стороны. Нет, с первого дня, с первого свидания, он с грубой прямоотой высказал, что таких падших созданий, как я, не любят, а их только «содержат». Он с первого момента подавил во мне всякое теплое чувство к нему. Что же могло у меня возникнуть к нему, кроме самой злобной ненависти? Женщина все может простить любимому человеку, но недостатки нелюбимого выступают в ее глазах еще рельефнее. И потому каждый раз, когда в моем присутствии называют это имя «граф Григорий Орлов», передо мной рисуется глупое, наглое, мясистое, бессовестное, бесчестное, грубое и нечистоплотное животное! Ты называешь себя уродом... Поверь, что в моих глазах по сравнению с Орловым ты – просто красавец. Я отдыхаю с тобой, Одар, и, если бы не ты, мне было бы так трудно переносить необходимость отвечать на надменные ласки Орлова!

– Глупенькая!.. Да что же ты имеешь от меня?

– Многое, Одар. Я имею именно то, чего мне недостает в жизни: немножко ласки, немножко тепла, немножко уважения и признания во мне человека...

– Ах ты, моя бедная крошечка! Однако что это такое? Часы бьют уже восемь? Боже мой, да ведь я совсем забыл, что

государыня ждет меня в половине девятого! Я только-только успею одеться и принять приличный вид! До свиданья, дорогая моя, до скорого свиданья! Поцелуй меня еще раз... Как крепки и сладки твои поцелуи!

– Да ведь это не продажные! Ты ведь – не Орлов!

– Ах ты, моя маленькая Адель! Ну, до свиданья, до свиданья!

Когда Адель ушла, Одар отдернул тяжелую занавеску, маскировавшую одну из дверей, которая оказалась раскрытой настежь, и вошел в маленькую соседнюю комнату, где около двери за столом сидело несколько человек. Один из них вносил какие-то спешные поправки в лежавшую перед ним рукопись.

– Ну-с, господа, – сказал Одар, коварно улыбаясь и радостно потирая руки, – на этот раз мы оказались счастливее, и маленькая дурочка распоясалась, что называется, вовсю. Вы все успели записать, Ожье?

– Все, ваша милость, – почтительно ответил, привставая, молодой человек, возившийся с рукописью.

– А ну-ка, прочтите нам, что именно вы записали!

Ожье прочел свою рукопись, оказавшуюся точной стенографической записью всего разговора Адели с Одаром.

– Отлично! Великолепно! – воскликнул пьемонтец. – Теперь перепишите этот очаровательный диалог. Необходимо только внести кое-какие сокращения... – Одар указал, что

именно надо выкинуть из разговора. – Ну, а теперь напишите заголовок. Пишите: «Правдивое изложение злоехидной критики, произведенной на берегах Невы приезжей вавилонской гетерой над прелестями некоего очень серого (Непереводимая игра слов. Адель звала Григория Орлова „Гри-Гри“, а „гри“ по-французски значит серый.) графа». Написали? Отлично. Теперь внизу пишите с новой строки и помельче: «Оный диалог записан скорописцем в присутствии...» Перечислите всех этих господ; только переделайте их фамилии в прозрачные псевдонимы.

– Например, меня назовите маркизом Страбик де Тенебр! («Страбик» по-французски значит «косоглазый»; «тенебр» – «потемки».) – с громким хохотом сказал камергер Потемкин, хитро подмигивая единственным глазом.

– Отлично! – согласился Одар. – В этом же роде переделайте и других. Ну-с, дальше: «...в присутствии господ таких-то, кои засвидетельствовать могут, что в оном диалоге, между гетерой Лайсой и пьемонтским чертом происходящем, ни единого слова воображением не измышлено, не изменено и не приукрашено». Ну-с, теперь выпишите мне все это поаккуратнее и покрасивее, а мы, господа, тем временем немного выпьем и закусим. Да, господин Ожье! Не забудьте, что в диалоге надо везде заменять настоящие имена теми псевдонимами, которые приведены в заголовке.

– Его сиятельство графа Орлова именовать «серым графом», а девицу Гюс – «гетерой Лайсой»? – спросил Ожье.

– Вот именно! И поторопитесь, Ожье, я хочу сегодня же представить эту рукопись ее величеству. Ну-с, господа, пойдемте!

Через полчаса Ожье принес в столовую готовую рукопись. Одар тщательно просмотрел ее, аккуратно сложил и отправился во дворец к государыне.

Екатерина тотчас же приняла его. Она сидела в своем рабочем кабинете, разбираясь в бумагах, где были записаны отрывочные мысли, касавшиеся управления государством. Впоследствии из этих отрывочных мыслей составилась знаменитый «Наказ».

– Должно быть, вы с хорошими вестями, Одар, – очаровательно улыбаясь, сказала императрица. – По крайней мере, в ваших глазах светится торжество! Ну, в чем дело?

– Приказание вашего величества исполнено, – ответил пьемонтец, подавая Екатерине рукопись, – и мой план удался в точности.

Екатерина принялась читать «диалог между гетерой Лаисой и пьемонтским чертом». Во время чтения ее глаза не раз вспыхивали ироническим огоньком. Дочитав до конца, она весело рассмеялась, но внезапно ее веселость потухла и на лице отразилась печаль.

– Знаете, Одар, – сказала императрица, – мне даже жаль девушку! Судя по этому разговору, она гораздо лучше, чем я думала, и очень несчастна. Бедняжка! Как изломала жизнь эту натуру, в которой очень много хороших качеств!.. Гюс

очень неглупа, ей нельзя отказать в меткости суждений... А какая тоска по чистым радостям чувствуется в каждом слове! Как жаль, что она должна стать жертвой высших политических соображений!

– Но, ваше величество, – заметил Одар, – девчонка все равно играет в опасную игру, и гораздо лучше, если гнев «очень серого графа» обрушится на нее в таком деле, где заступничество вашего величества не даст графу чересчур жестоко расправиться с язвительной «Лаисой». Но что было бы, если бы граф лично застал ее с одним из своих соперников!

– Вы ничего не понимаете, Одар, – резко ответила императрица. – Я сожалею вовсе не о том, что Гюс придется вынести неприятную сцену с графом. Мне жаль, что она с таким доверием отнеслась к вам и должна будет раскаяться в своем доверии. Вы не можете себе представить, как губительно действуют на женскую душу подобные случаи! Бедняжка! Чем она виновата, что на ее жизненном пути встречаются или смешные чудачки, вроде маркиза де Бьевра, или... заведомые негодяи...

– Ну, ваше величество, – возразил Одар с саркастической улыбкой, – в таких делах вопрос о виновности или невинности разрешается совершенно иначе. Благоволите вспомнить басню Лафонтена о том, как волк присудил ягненка к смертной казни. Когда же ягненок наивно спросил, чем он виноват, волк ответил перечислением разных слабых вин и

в заключение прибавил: «А главная твоя вина заключается в том, что я чувствую большой голод!» Что же делать, ваше величество? Волк не виноват, что его натура не приспособлена для питания листиками и травой и что он должен время от времени есть... Там, где налицо необходимость, тут уже не разбирают виновности, не справляются о правах. Одна только сила является здесь решающей! Зато, если отбросить вопрос о сожалении и тому подобных слабостях доброго сердца, представьте себе, ваше величество, какой эффект произведет этот диалог! Представьте себе только, государыня, выражение лица сиятельного графа, который уверен в полном неведении вашего величества о его шалостях, как уверен в своей непобедимости... О, ваше величество! Вы хотели дать графу хороший урок; что может быть лучше этого?

– Вы правы, – смеясь ответила Екатерина. – Маленькая комедия, которую мы разыграем завтра же, послужит графу отличным уроком и научит его быть на будущее время осторожнее! Благодарю вас, Одар, вы отлично исполнили порученное вам дело! Пошлите ко мне дежурного камергера. Я прикажу созвать на завтрашний утренний малый прием коекого.

На следующий день в кабинете у императрицы во время малого приема Одар полез в карман за платком и вместе с последним вытащил какую-то плотную рукопись, которая с шумом упала на пол. Одар кинулся с испугом поднимать ее, но государыня заметила его движение и с улыбкой сказала:

– А ну-ка, покажите, что это вы хотите спрятать с таким старанием!

– Но, ваше величество, это ничего... это – просто шутка...

– Давайте, давайте! Я люблю шутки! – Екатерина взяла у Одара рукопись, взглянула и сказала: – Ого! Однако, судя по заглавию, это должно быть чрезвычайно интересно! Слушайте, господа: «Правдивое изложение злоехидной критики, произведенной на берегах Невы приезжей вавилонской гетерой над прелестями некоего очень „серого графа“. Оный диалог записан скорописцем в присутствии маркиза Страбик де Тенебр, герцога Брянчанини и князя Поповио, кои засвидетельствовать могут, что в оном диалоге, между гетерой Лаисой и пьемонтским чертом происходящем, ни единого слова воображением не измышлено, не изменено и не приукрашено». Не правда ли, как это заманчиво? Ну-с, посмотрим, что там дальше!

Все недоуменно переглянулись, а Орлов заметно побледнел. Он видел, что вся эта сцена была подстроена, что Одар неспроста выронил из кармана рукопись и что государыня неспроста затеяла чтение вслух вычурного диалога, действующих лиц которого было так просто узнать под нехитрыми псевдонимами. Значит, Адель обманывала его с Одаром и, обманывая, смеялась над ним? Значит, государыня знала об этом и на этом строила свой план мести? Но что же будет далее? Ограничится ли государыня этим публичным издевательством или его постигнет полная немилость?

– Ого! – воскликнула в этот момент государыня. – Вы только послушайте, господа, как она характеризует «очень серого графа», своего ежечасно обманываемого покровителя. Нечего сказать, злой язык у вашей Лаисы, Одар! Вы только послушайте: «„Серый граф“ – это какая-то дикая куча дурацкого мяса. Фу, какая это грубая, вульгарная, глупая скотина!» А дальше еще лучше: «Когда в моем присутствии называют имя „серого графа“, мне рисуется глупое, наглое, мясистое, бессовестное, бесчестное, грубое и нечистоплотное животное! Ты называешь себя уродом, мой пьемонтский черт! Поверь, что в моих глазах по сравнению с „серым графом“ ты – просто красавец!» Нечего сказать, не пожелала бы я быть в коже «очень серого», но это – ему хороший урок. Уж очень вы, мужчины, неразборчивы. Свежий воздух высот слишком чист для вас, и вы ищете всякой возможности хоть украдкой побывать внизу. Ну а внизу болота, внизу грязь... Впрочем, будем надеяться, что этот диалог – просто литературное произведение острого пера, а если это даже и не так, сделаем вид, будто верим в измышленность диалога. Но как литературное произведение, этот диалог сделан очень хорошо. Граф Григорий, я знаю, вы – любитель изящной словесности: вот возьмите, почитайте его на досуге!

Государыня протянула Орлову рукопись и вскоре милостиво отпустила собравшихся. Орлов бросился прямо в свои генерал-адъютантские покои, прочитал рукопись, потом, сунув ее в карман, велел подать стоявшую наготове под седлом

лошадь и помчался сначала к Одару, а от него к Адели.

Мы с Аделью сидели за приходно-расходными книгами, подсчитывая, какие свободные суммы должны были находиться сейчас в распоряжении старухи Гюс, как вдруг в комнату ворвался взбешенный Григорий Орлов.

– Так вот как! – заревел он, наступая на Адель. – Вот как, сударыня! Вы подло обманываете меня да еще и издеваетесь надо мной! Вы – гнусная, бесчестная развратница!

– Но я ничего не понимаю, граф! – крикнула перепуганная, но притворившаяся оскорбленной Адель.

Орлов швырнул ей в лицо рукопись и крикнул:

– Вот это объяснит тебе все, негодяйка, а вот это я оставлю тебе на память о «плевательнице для высокопоставленных особ».

С этими словами Орлов размахнулся и сильно ударил Адель хлыстом, который оставил багровую борозду, шедшую через все ее лицо от левого уха к правой стороне шеи. Он хотел еще раз ударить девушку, но я подскочил к нему и, быстрым движением выхватив у него из рук хлыст, спокойно сказал:

– Я не позволю вам бить беззащитную женщину, граф!

Орлов захрипел от бешенства и, сжав кулаки, готов был броситься на меня. Но я сделал шаг в сторону и достал из кармана пистолет. Прошло несколько минут в томительном, жутком молчании. Вдруг Адель слабо вскрикнула. Я искоса

взглянул на нее и увидел, что она читает рукопись, брошенную ей Орловым.

Этот крик вывел графа из состояния бешеной неподвижности.

– Маркиз, – хрипя и задыхаясь, сказал он, обращаясь ко мне, – вы – благородный человек и не знаете, кого защищаете! Ведомо ли вам, что эта негодная тварь обманывала меня направо и налево с каждым встречным? Ведомо ли вам, что, обманывая меня, она в то же время смеялась надо мной со своими любовниками?

Ведомо ли вам наконец, что не далее как вчера она, в объятиях своего любовника Одара, обливала меня помоями, не зная, конечно, что за занавеской сидят люди, которые подслушивают и записывают каждое слово! И подумайте только, маркиз: всего за два часа до этого она ластилась ко мне, чтобы выпросить у меня новую подачку! Что же, может быть, и теперь вы будете защищать ее?

– Граф! – грустно ответил я, – я не закрываю глаз на творящееся зло и не оправдываю поведения девицы Гюс. Но я и не судья ей. И не потому защищаю я ее, что считаю ее правой перед вами, а потому, что она беззащитна против вашей ярости. Подумайте сами, граф, как бы виновата ни была женщина, разве смеет такой гигант, как вы, употреблять против нее физическую силу?

– Хороша «беззащитная женщина»! – с новым приливом ярости крикнул Орлов. – Да знаете ли вы, что я со всей своей

физической силой и государственным могуществом не мог бы причинить столько зла, сколько причинила его мне эта распутница! Ведь вы не знаете еще самого главного: Одар подстроил эту ловушку по приказанию государыни, которая сегодня публично насмеялась надо мной! Я, граф Григорий Орлов, стал посмешищем двора! И за что? За то, что я осыпал деньгами и подарками лживое, порочное создание! И вы еще находите, что удар хлыстом по лицу – слишком сильное, слишком жестокое наказание? Да ведь таких негодниц надо бить кнутами на площади! Их следует отдавать на всенародное позорище!

– Еще раз повторяю вам, граф, что я – не судья, а только защитник девицы Гюс, – ответил я. – Скажу еще, что не верю в спасительность физического наказания. Мне кажется, что каждый дурной поступок уже носит в лоне своем наказание себе. Так и здесь: если девица Гюс согрешила против вас, то она жестоко наказана. Ведь она верила Одару, она искренне отдыхала с ним душой, и, если она, как вы говорите, и ругала вас в его присутствии, то это, наверное, явилось следствием не ненависти к вам, а любви к Одару. В устах женщины это – как бы извинение перед любимым в необходимости поддерживать связь с нелюбимым. А теперь она видит, что сама стала жертвой недостойной ловушки, что она сама сыграла глупую, позорную роль в руках хитрого, беспринципного пьемонтца... Взгляните на нее, граф, и скажите сами: нужно ли еще какое-нибудь наказание?

Орлов обернулся к Адели и несколько секунд смотрел на нее. Вся ее фигура была сплошным олицетворением безнадежности: руки беспомощно повисли, тусклый взгляд безжизненных глаз смотрел не видя, и красный рубец еще страшнее подчеркивал смертельную бледность лица.

Что-то дрогнуло в уголках надменного рта фаворита.

– Быть может, вы и правы, маркиз, – глухо сказал он. – Да, хлыст – слишком слабое орудие наказания в таких случаях, и я искренне благодарен вам, что вы не дали мне расправиться с этой тварью. Но теперь вы, может быть, все-таки вернете мне хлыст? – со слабой улыбкой прибавил он. – Во мне все еще кипит злоба, и я развею ее дикой скачкой!

Я с почтительным поклоном подал Орлову хлыст, он взял его и нервной походкой направился к двери. В этот момент навстречу ему показалась жирная, приземистая фигура Розы. Она находилась в состоянии блаженного подпития и, как всегда в таких случаях, была крайне липка и слащава.

– Ваше сиятельство! – с выражением безграничного восхищения вскрикнула она, приседая неуклюже церемонным книксеном в дверях и загораживая дорогу Орлову. – Позвольте мне, верной слуге и почитательнице вашего сиятельства...

– Прочь, старая сводня! – гаркнул фаворит, отбрасывая старуху пинком ноги в сторону и бурно устремляясь в двери.

Роза отлетела на несколько шагов и с размаха плюхнулась в кресло. Испуганным, ничего не понимающим взглядом она

оглянулась по сторонам.

– Да что у вас произошло здесь, голубчик месье Гаспар? – жалобно спросила она. – Адель! – в ужасе крикнула она. – Что у тебя на лице? Боже мой, что здесь случилось?

От ее крика Адель словно проснулась. Она встала и безучастно посмотрела в зеркало; но тотчас же ее лицо вспыхнуло, а взор загорелся дикой яростью.словно взбешенная пантера, одним прыжком она очутилась около матери и, наступая на нее со сжатыми кулаками, закричала:

– Это все ты, все ты, проклятая! Из-за твоей проклятой жадности я подверглась этому позору! О, я убью тебя! Ты – не мать, ты мне – злейший враг! Проклятая, проклятая!

Роза испуганно вскочила с кресла и вдруг тяжело рухнула обратно. Ее лицо приняло багрово-синеватый оттенок, глаза закатились, на губах показалась пена. Она силилась что-то сказать, но полувысунутый, прикушенный стиснутыми зубами, распухший язык не повиновался, а руки и ноги лишь вздрагивали, словно оторванные лапы паука-косаря. Ее вид внушал ужас и отвращение.

Я крикнул слуг, приказал им осторожно поднять старуху и перенести в ее комнату, а одного послал за доктором. Когда слуги подняли Розу на руки, Адель, с хмурой бесчувственностью стоявшая в стороне, подошла ко мне и сказала:

– Оставь ее, Гаспар! Пойдем, мне нужно продиктовать тебе письмо!

– Адель! Ведь это – твоя мать! Ведь она умирает! – сказал

я ей.

– Да благословит тебя Бог, Гаспар, если ты говоришь правду, – ответила Адель. – Но умирает ли она или нет, все равно ты не доктор и ничем не можешь помочь ей. А мне ты нужен. Пойдем!

Адель увела меня к письменному столу и продиктовала мне там следующее письмо к Одару:

«Одар! Я не буду говорить Вам о том, насколько дурен Ваш поступок со мной: все равно познание добра и зла неизвестно Вам. Но неужели Ваше сердце чуждо всяких человеческих движений? Неужели Вы не понимаете, что такую сильную привязанность, которая родилась к Вам в таком заброшенном, одичалом сердце, как мое, нельзя затапывать в грязь, как это сделали Вы?

А ведь я действительно была привязана к Вам, Одар, так привязана, что до любви оставался один крошечный шаг, так привязана, что даже теперь не вижу в своем сердце ни малейшей злобы против Вас... Да и нет в нем места злобе: оно все полно тоской и болью по обманутой, поруганной мечте... О, тот, другой, пусть поостережется! С ним у меня еще будут счеты! Но с Вами... Отныне Вы умерли для меня, Одар!

Но скажите по чистой совести, поройтесь в своем сердце, спросите самого себя: неужели ровно ничто не шевелится в Вас при мысли о том, что я навсегда потеряна для Вас? Неужели я была для Вас лишь орудием наказания провинившегося фаворита оскорбленной монархиней, только орудие-

ем и больше ничем? Ничем для Вас лично? Нет, не верю, не могу верить этому! Ведь Вы действительно одиноки, Одар, и одиночество действительно тяготит Вас. Вам было легко со мной, и Вы еще почувствуете горечь утраты существа, которое могло любить Вас так, как никто никогда не любил и не будет любить!

Наверное, Вы уже спрашиваете себя: зачем я пишу Вам все это? Я пишу Вам для того, чтобы открыть Вам глаза на Вашу собственную непредусмотрительность. Ведь Вам вовсе не надо было так оскорблять меня, чтобы привести в исполнение предписанное Вам государыней дело. Ведь я была так привязана к Вам, что, скажи Вы мне откровенно все, как было, и я сама помогла бы Вам поставить графа Григория в смешное положение. Подумайте только, Одар: Вы добились бы своего, отличились бы в глазах государыни и сохранили бы меня! О, я знаю, Вы чувствуете, что я говорю это совершенно искренне, что это действительно было бы так... Но Вам не пришло в голову пойти этим прямым, благородным путем, и результаты налицо!

О, я знаю, Вы далеко не равнодушно отнесетесь к этой упущенной возможности. И в этом-то цель моего письма, в этом та единственная маленькая месть, которой я отвечаю на Ваш недостойный поступок. Пусть нет-нет да встанет перед Вами мой образ, пусть иной раз перед Вами воскреснут часы прошлого счастья! И пусть при этом Вы подумаете: „В моей власти было удержать это счастье, но я не сумел сделать это.

Теперь все кончено!..“

Да, теперь все кончено, Одар! Вы умерли для меня, Вы для меня не существуете. Не пытайтесь объясниться со мной – я не приму Вас, если Вы придете, и не отвечу на Ваше письмо; я даже не стану читать его, если Вы вздумаете писать мне. Прощайте, Одар! Прощай, труп некогда любимого человека!»

Адель перечитала письмо, подписала его, запечатала и тотчас же отправила с нарочным.

Сразу же вслед за этим в комнату вошел врач.

– Сударыня, – сказал он, – считаю нужным заявить вам, что положение вашей матушки совершенно безнадежно. Едва ли она переживет завтрашнее утро...

– Вы уверены в этом, доктор? – взволнованно спросила Адель.

– К сожалению, тут не может быть никаких сомнений, – ответил врач. – От старости и... не особенно правильного образа жизни стенки сосудов у вашей матушки потеряли свою эластичность. В силу неизвестных мне причин – вероятно, от какого-нибудь сильного душевного волнения – кровь сразу прилила к мозгу, сосуды не выдержали бурного прилива, и кровь излилась в мозг. При таких обстоятельствах спасения не бывает – весь вопрос лишь в сроке...

– Слава Тебе, Господи! – со страстным волнением вскрикнула Адель, к величайшему удивлению, почти ужасу врача, который поспешил откланяться. – «Ныне отпускаеши»...

Теперь я свободна, теперь уже никто не помешает мне отомстить за сегодняшний позор!

Действительно Роза не пережила следующего утра: она скончалась ночью, не приходя в сознание.

А на другое утро Адель получила пакет, в котором был возобновленный контракт. Жалованье Адели оказалось не удвоенным, как она хотела, а утроенным: восторжествовавшая царственная соперница хотела хоть этим вознаградить посрамленную.

Глава 10

Розу Гюс похоронили очень тихо и незаметно. Из посторонних проводить покойницу пришли только Фельтен и Суврэ, не считая депутата от трупы, явившегося выразить Адели сочувствие от имени товарищей. Вообще ничто не напоминало в настроении участников процессии о похоронах. Да это и понятно: некому было искренне сказать о покойнице хоть одно доброе слово, и не было причин и оснований лицемерить с восхвалением добродетелей почившей.

Да и не до того было: нам предстояло решить несколько сложных вопросов: как жить и что предпринять в ближайшем будущем?

На первом плане стоял вопрос о квартире, и о нем-то надо было позаботиться как можно скорее. Правда, дом, в котором мы жили, был подарен Адели Орловым, а последний был слишком горд, чтобы взять обратно свой подарок. Но все дело заключалось в том, что дарственная не была оформлена, и таким образом по документам дом все же принадлежал фавориту, а Адель не желала оставаться в неопределенном положении полузависимости. Если бы не смерть матери, она уже на другой день съехала бы куда-нибудь, хоть в гостиницу. Теперь, раз уже прожили здесь два дня, не к чему было чересчур спешить. Однако уезжать из дома все же было надо. Но куда? Это было не так-то легко решить!

Адель непременно хотела снять небольшой особнячок в тихом месте, но неподалеку от Летнего сада, близ которого помещался театр, где играла французская труппа. В заречных частях города можно было найти нечто подходящее, но там было неудобно жить из-за плохого сообщения по реке, а поблизости мы ничего не могли подыскать. У нас была одна надежда на Фельтена, который отлично знал город и мог дать хороший совет. С этой целью Адель даже увезла его с кладбища к себе домой обедать. Она хотела зазвать также и Суврэ, но маркиз с ледяной чопорностью отклонил ее приглашение и сделал это так, что Адель даже вспыхнула от обиды. Впрочем, Суврэ и со мной был теперь только вежлив. Отчасти я понимал его. Если он и явился отдать последний долг соотечественнице, дом которой он изредка посещал, то отнюдь не был расположен продолжать бывать в доме после всей той грязи, которая внезапно всплыла около имени «Гюс». Сын своего века и общества, Суврэ мог мириться с чем угодно, если только дело не доходило до публичной огласки, до открытого скандала. В планы Екатерины всецело входило как можно шире огласить сцену, происшедшую между Гюс и Орловым, так как оглаской только и достигалось смешное положение Орлова и посрамление Адели. Эта огласка была сделана, о «деле Гюс» говорило все петербургское общество, приплетая к былям самые страшные небылицы. Следовательно, налицо был такой скандал, что можно было скомпрометировать себя, поддерживая хорошие от-

ношения с Аделью. К тому же, несмотря на густую вуаль, несмотря на толстый слой притирания, синевато-багровый рубец от левого уха до правой щеки слишком громко напоминал о том, что Адель весьма недавно били, как провинившуюся собаку. А в глазах даже такого умного, просвещенного человека, как Суврэ, этот рубец облекал Адель несравненно большим позором, чем длиннейший ряд поступков, наиболее противных нравственности и честности. Вот это-то и заставило маркиза так надменно отказаться от приглашения.

Я остановился на его чувствах так подробно потому, что они были характерны и для всего высшего петербургского общества: в первое время после всего этого скандала Адели даже и хлопали далеко не по-прежнему, и самые удачные монологи зачастую кончались почти без аплодисментов публики!

Вообще положение Адели в качестве самой модной львицы было сразу повержено во прах. Когда она показывалась на улице, то мужчины больше не кланялись ей наперегонки, а женщины не бросали на нее завистливо-восхищенных взглядов. И когда Адель делала в магазинах какие-либо заказы, то с нее довольно бесцеремонно старались получить деньги вперед. Ведь все отлично знали, что за спиной артистки не стоит теперь щедрый Орлов, готовый разбрасывать деньги, не считая, как знали и то, что Орлова не заменил пока никто. А что такое кредитоспособность артистки, какое бы большое жалованье она ни получала? Ведь одни театральные туалеты

могли съесть три четверти крупнейшего оклада!

Но вопрос о том, как мы теперь будем жить, был тоже не из последних в серии наших забот. Адель была так надломлена нравственно, что и слышать не хотела о прежнем беспутстве с вечно сменявшимися «гастролерами». Она твердо решила отойти от веселящегося, кутящего общества и не сдаваться ни на какие посулы. Впрочем, и сами «гастролеры» теперь отшатнулись. Они понимали, что незанятая женщина будет искать прежде всего серьезного поклонника, а никто из бывших «дольщиков» Орлова не мог предложить Адели что-нибудь подобное, безудержной щедрости фаворита. Но помимо финансовых соображений были соображения и политического свойства. Ведь теперь речь шла уже не о том, чтобы наставить рога Орлову; пришлось как бы бросать открытый вызов и ему, и государыне. Все же знали, что государыня подстроила так, что Орлов избил и оттолкнул актрису Гюс; значит, тот, кто открыто сблизится с этой актрисой Гюс, как бы пойдет против и государыни, и Орлова. Не так хорошо обстояло в России с гражданской свободой, чтобы рискнуть быть независимым даже в строго интимных делах. Так мудрено ли, что от Адели – особенно на первых порах – сразу отхлынул весь рой поклонников.

Только один Фельтен и оставался ее верным рыцарем. Кстати сказать, он не обманул наших ожиданий и проявил такое знание Петербурга, что с его помощью уже на следующий день подходящий дом был найден. Это был небольшой

особнячок в самом конце Фурштадтской, где уже начинали тянуться пустыри. Здесь было очень тихо, и в то же время езды до театра было всего минут десять. Дом был одноэтажный, но с антресолями и терраской, выходящей в довольно большой, запущенный сад. Не считая людских и служб, в доме было всего пять комнат, но больше нам и не требовалось.

Таким образом помещение было найдено, и мы стали хлопотать о переезде. Из старой квартиры Адель не взяла ничего – вся обстановка для дома на Фурштадтской была куплена заново. Точно так же ни один человек из орловской прислуги не остался на службе: новый скромный штат был набран при помощи Фельтена из людей, честность и порядочность которых были подвергнуты тщательному контролю и проверке.

Теперь оставалось еще окончательно установить, какой суммой располагаем мы для жизни. Как помнит читатель, старуха Гюс забрала всю кассу в свои руки. Хотя приход и расход и записывались мною в книгу, но в последнее время покойница сообщала мне заведомо ложные цифры, и по книгам выходило так, что наличных денег у Адели почти не было, а если и было некоторое состояние, то в виде нереализованных ценностей. Значит, надо было обратить в деньги все те ненужные золотые и серебряные вещи, которых было довольно много, а кроме того узнать, куда прятала свои деньги Роза. Хотя многого и не удалось найти, но все же кое-что отыскалось. Под кучей грязного белья обнаружился чулок с червонцами; по некоторым данным можно было выяснить,

что Роза положила в банковскую контору некоторую сумму на хранение. Билета, удостоверяющего прием на хранение денег, так и не нашли: вероятно, он был зашит покойницей в какую-нибудь тряпку, которую выбросили или сожгли при переезде. Тем не менее впоследствии эти деньги были выданы Адели по личному распоряжению государыни, желавшей быть великодушной до конца.

Во всяком случае первоначальный учет наших средств показал, что после погашения расходов по переезду и устройству рассчитывать не на что и надо довольствоваться одним жалованьем Адели. Впрочем, в той тихой жизни, которой зажили теперь мы, жалованья было вполне достаточно.

А жизнь у нас пошла действительно тихая. Адель бывала только в театре, ни с кем не поддерживала отношений и никого не принимала у себя. Исключение делалось для одного Фельтена, который стал у нас постоянным гостем. Я с удивлением заметил, что Адель сознательно и расчетливо кружит ему голову. Зачем ей это было нужно? Ведь она решительно порвала с прошлым и сурово отвергла притязания некоего петиметра (Франт, одевающийся с утрированной тщательностью.), разлетевшегося к ней в театральную уборную. А ведь этот петиметр был очень богат, тогда как у Фельтена не было ничего!

Впрочем, загадочность поведения Адели вскоре стала мне понятна.

Однажды в сумерках я незаметно вошел в гостиную и по-

пал на трогательную сцену: белокурый, розовый барон Фельтен плакал как ребенок, уткнувшись лицом в колени Адели, которые он обнимал, шепча между всхлипываниями слова нежности и страсти.

Я бесшумно повернулся и скрылся незамеченным, но, уходя, слышал ответ Адели Фельтену. Она сказала:

– Милый барон, я очень люблю вас, но далеко не так, как бы вы желали. Да ведь я и не могу любить теперь иначе кого бы то ни было! Меня оскорбили, надо мной надругались, мое сердце стонет от неотомщенной обиды, и только тот, кто поможет мне отомстить обидчику, может рассчитывать на мою полную любовь! О, всю себя я отдам тому, кто поможет мне в этом, всю себя! Разве это – плохая награда, Фельтен?

– Я жизнь готов отдать за нее! – воскликнул Фельтен. – Располагайте мной, как хотите!.. Я весь ваш!

– Ну, так встаньте с колен, барон, – ответила Адель, – и давайте поговорим. Успокойтесь, станьте мужчиной! Мне нужна помощь не влюбленного мальчика, а зрелого мужа! И помните одно, Фельтен: я не хочу слышать ни одного слова любви от вас до тех пор, пока мое сердце не будет успокоено наказанием моего врага!

С тех пор Фельтен стал бывать еще чаще, и его разговоры с Аделью стали еще дольше и таинственнее. Впрочем, посещения барона оставались тайной для всего общества, так как Фельтен жил близко от нас, эта часть Фурштадтской была очень глухой, да и Адель уже не привлекала так к себе внима-

ние петербуржцев, поэтому присматриваться, кто и как часто у нее бывает, было некому.

Так и жили мы, и наша жизнь лишь в редких случаях прерывалась какими-нибудь событиями. Опять наступила суровая зима; вокруг дома намело целые сугробы снега, и это еще более располагало к желанию посидеть, почитать или помечтать у камина. А вместе со снегом зимы, засыпавшим грязь и лужи после хмурой, сырой осени, непрестанно шел и снег времени, покрывавший прошлое пеленой забвения. Рубец на лице Адели зажил и окончательно изгладился. Злословье, свирепствовавшее вокруг ее имени в первое время, погасло само собой за недостатком пищи, так как строгий, замкнутый образ жизни Адели не давал материала для дальнейших пересудов, а толковать все об одном и том же было скучно. Да и жизнь петербургского двора была настолько богата постоянными скандалами, что на каком-нибудь одном из них не было возможности останавливаться. Одновременно с этим проходила также и холодность зрителей, и публика стала принимать Адель все теплее и теплее. Конечно, теперь ее успех был далеко не таким, как прежде, когда в театр съезжалось самое блестящее общество специально для того, чтобы устроить овацию артистке вне зависимости от удачного исполнения. Но зато уже никто не мог сказать, что Адель и на сцене выезжает не драматическим талантом, а женской распушенностью. Нет, даже товарищи по сцене, прежде завистливо косившиеся на Адель, открыто признавали ее громад-

ный талант, который в последнее время еще развился, окреп и обогатился новыми мощными струнами гнева, ненависти и страсти. В последних числах января ее ждал оглушительный триумф, которым она была обязана исключительно своему таланту, а никак не «побочным обстоятельствам».

Шла великолепная трагедия Вольтера «Меропа» – это дивное воплощение в звучных, красивых стихах всей глубины материнской любви. Адель играла королеву Меропу, которая почти не сходит со сцены на протяжении всех пяти актов. Роль Меропы трудна уже тем, что в ней артистка почти не имеет отдыха, так как с начала до конца королеву обуревают сильные чувства, и исполнительнице крайне тяжело все время вести роль в ярких, страстных тонах. Чисто лирических мест в роли Меропы совсем нет. Она или страстно скорбит о потерянном сыне, или выражает глубокую ненависть к тирану Полифонту, или приходит в бешенство при известии о мнимом убийстве своего сына Эгиста. И даже ее радость при неожиданном обретении Эгиста трагична, так как жизни сына грозит почти неминуемая опасность. А всякий, кто хоть немного знаком с театром, должен понять, как это невероятно трудно – провести подобную роль с непрерывным подъемом, ни разу не срываясь, не впадая в напыщенность и не теряя заданного ритма.

К волнению перед трудностями предстоящей роли для Адели прибавилось еще новое волнение при известии, что представление почтит своим присутствием государыня. Ека-

терина очень любила «Меропу» и отводила этой трагедии чуть ли не первое место в ряду драматических произведений Вольтера. Быть может, это происходило потому, что в «Меропе» очень красиво трактуется вопрос о материнской любви, а сама Екатерина никакими материнскими чувствами не отличалась: противоположность притягивает. Но помимо того, что государыня любила саму пьесу, она, по всем признакам, хотела окончательно изгладить последние следы осеннего скандала. Ведь в этом скандале участвовала не артистка Гюс, а распущенная женщина. Кроме того, это было семейное дело между Орловым и Аделью, и государыня хотела показать, что ее вся эта история совершенно не касается. Действительно вскоре после поднятия занавеса в ложе показалась величественная фигура «Семирамиды севера»; государыню сопровождали оба брата Орловы и статс-дама, графиня Брюс.

Я понимал, как должна была волноваться Адель, и очень боялся за нее. Мой страх еще усилился, когда я увидел, что с самого начала Адель ведет свою роль вовсе не так, как прежде. Ее короткие реплики Исмении были произнесены унылым, бесконечно скорбным, упавшим голосом.

«Неужели волнение лишило ее привычной силы?» – с ужасом думал я.

Но монолог в конце первого явления успокоил меня: я понял, что Адель просто бережет силы, а это она обыкновенно делала тогда, когда бывала в особенном ударе или когда по

каким-либо особым обстоятельствам ей нужно было произвести чрезвычайное впечатление. И действительно, страстность ее исполнения все росла и росла. Описание тех страшных моментов, когда бунтовщики разграбили дворец и убили мужа и детей Меровы (кроме Эгиста, которого она успела спрятать), вызвало у большинства зрителей нервную дрожь; от гордого, страстного отпора, данного королевой претенденту на ее руку, убийце мужа и детей, Полифонту, по залу пробежал сдержанный гул одобрения, а когда Меропа ушла, зрители не захотели слушать заключительный диалог Полифонта с Эроксом и разразились бурными аплодисментами, хотя этикет требовал, чтобы знак к аплодисментам подала государыня. Но Екатерина была, видимо, очень довольна и сама хлопала, не отставая от публики, что еще более усилило аплодисменты. И далее успех Адели рос с каждым явлением, с каждым актом. Когда во втором акте Мерове сообщили, что ее сын Эгист убит злодейской рукой, Адель издала такой страстный вопль, что вся публика замерла, и я видел, как Екатерина побледнела и невольно схватилась рукой за сердце. После третьего акта Адель позвали в царскую ложу, и государыня очень милостиво беседовала с нею несколько минут. Между прочим Екатерина спросила Адель, здоров ли я, и, когда узнала, что я в театре, пожелала видеть и меня. Она ласково пожурила меня за то, что я совершенно перестал бывать на эрмитажных собраниях, и взяла слово, что больше я уже не буду пренебрегать ими.

– Между прочим, – сказала она, – знаете ли вы, что я строю теперь специальное здание для наших дружественных собраний? Смотрите, не пренебрегайте нами теперь, а то впоследствии, когда мы заживем по-богато, уж мы пренебрежем вами!

Словом, прошлое было окончательно забыто, по крайней мере, по внешнему виду, и Адель с полным безразличием перекинулась даже несколькими незначительными фразами с Григорием Орловым. Быть может, Екатерина и Орлов вполне искренне не чувствовали никакой неприязни к Адели, но она сама ничего не забыла, и под корой внешнего равнодушия в ней тлел неугасаемый огонек мстительной злобы.

Кстати, очень интересно отметить здесь одно маленькое событие, которое произошло в связи с представлением «Меропы» и этой встречи с фаворитом государыни.

Самолюбие Орлова было больно задето тем, что Адель уехала из подаренного им дома, не взяв оттуда ни одной вещички и послав дворецкого сказать, что «дом очищен». Для графа это выглядело так, будто Адель была способна заподозрить, что теперь он воспользуется отсутствием формальной дарственной и отберет назад свой подарок. Ну, а оба Орловы в щедрости были действительно настоящими барами, и на такой поступок граф Григорий не был способен. И теперь, когда вся эта история забылась, когда он увидел, что его положение нисколько не пошатнулось и Екатерина лишь отделалась шутивным уроком, он уже не мог питать такую острую

злобу к Адели, как в первые минуты. Ему захотелось щегольнуть своим барским великодушием. На следующем спектакле Адели поднесли корзину цветов, в которой лежал пакет с дарственной на дом и очень любезным письмом Орлова. Он написал, что возвращает Адели лишь ее собственность, но что если даже она способна увидеть в этом дар, то такой большой, глубокий талант, каким обладает она, заслуживает и пр., и пр., и пр.

Адель на следующее же утро продиктовала мне письмо к Орлову и отправила ему его вместе с дарственной. Письмо было безукоризненно вежливо и бесконечно холодно. Адель написала, что не считает возможным принять этот дар и что на это у нее имеется очень много причин. Она отнюдь не хочет обидеть графа, но если он подумает, то поймет, что иначе она поступить не может. При этом всякая дальнейшая переписка по этому поводу, да и по каким бы то ни было другим поводам, совершенно излишня.

Тогда Орлов подарил этот дом Аркадию Маркову, которому он еще прежде для вида фиктивно проиграл его в карты. Марков не стал отказываться. С присущим ему коммерческим чутьем он очень выгодно распродал наиболее ценные вещи, а сам дом сдал за крупную сумму под немецкое посольство, которое как раз нуждалось в новом помещении. Это значительно увеличивало состояние Маркова.

Интересно отметить, что это письмо было от слова до слова продиктовано мне Аделью и сам я не прибавил ничего.

Между тем Екатерина, которой Орлов показал его, решила, что Адель поступила так под моим влиянием, которое после смерти ее матери стало главенствующим. И резкая перемена образа жизни Адели, наступившая после смерти Розы, была тоже истолкована торжеством моего благотворного влияния. Следствием всего этого было получение мною вскоре строго официального письма от Одара, в котором секретарь ее величества сообщал мне, что государыне угодно видеть меня тогда-то вечером на эрмитажном собрании. Ее величество хочет предложить гостям интересную тему для обсуждения, в котором будет очень ценно мое участие, как признанного моралиста.

Конечно, последние слова принадлежали насмешливому уму Одара, так как их ирония звучала слишком открыто.

Не помню, говорил ли я вам о том, что во время своих прежних посещений эрмитажных собраний я очень подружился с таинственной крестницей государыни, Катей Королевой? Вероятно, нет, так как в то время эта дружба не имела никакого значения для хода рассказа, а для запечатления всех подробностей нашего пребывания в Петербурге не хватило бы и двадцати томов.

Да, меня и хрупкую, нежную Катю действительно связывала самая чистая дружба. Ведь Кате говорил обо мне много хорошего «сам» маркиз де Суврэ, а это было самой лучшей рекомендацией для нее. Кроме того она слышала отзы-

вы различных лиц обо мне, и это еще увеличило силу ее доверия. Да и я как-то обмолвился, что очень симпатизирую маркизу де Суврэ и недолюбливаю Григория Орлова.

Каждый раз, встречаясь с нею на эрмитажных собраниях, мы подолгу беседовали с нею. Точно так же и на этот раз вся прелесть моего посещения дворца заключалась в разговоре с Королевой.

Собственно говоря, главная цель, которой мотивировала государыня свое приглашение через Одара, была до смешного незначительна и пуста. На представлении «Меропы» государыня обратила особое внимание на последние две строки заключительного монолога второго акта, действительно произнесенные Аделью с необыкновенной силой и мрачной выразительностью: «Когда все потеряно, когда нет более надежды, жизнь является бесчестьем, а смерть – долгом».

Как раз на другой день государыне доложили о необыкновенном случае, происшедшем той ночью. Офицер де Керси, сын французского эмигранта, был известен как страшный забияка и в то же время трус. Ему предстояла утром дуэль на шпагах с им же вызванным князем Голицыным, одним из лучших мастеров шпаги в придворном обществе. Но де Керси так боялся этой дуэли, что предпочел ночью пустить себе пулю в лоб.

Вот по этому-то поводу у государыни зашел спор с Паниным. Екатерина выразилась, что отказывается понимать поступок де Керси. Ведь самоубийство является доказатель-

ством твердости характера и храбрости! На это Панин возразил, что самоубийство доказывает лишь малодушие и трусость: самоубийца – бесчестный должник, ускользающий от расплаты. Государыня сослалась на авторитет такого философа, как Вольтер, и привела эти две строки из монолога Меропы. Но Панин возразил, что автор не может быть признаваем ответственным за слова, которые он вкладывает в уста героя: например, у Шекспира Фальстаф открыто проповедует противонравственные теории, но это не значит, что и сам Шекспир восстает против нравственности. Аргумент Панина показался государыне довольно убедительным, и она решила разрешить интересовавший ее вопрос на ближайшем эрмитажном собрании.

Только никакого обсуждения на собрании не вышло. Изложив собравшимся «историю вопроса», Екатерина мило стиво пожелала выслушать первым мое мнение. Ну, я и высказал все, что думаю по этому поводу!

Я сказал, что не знаю, вложил ли Вольтер в слова Меропы свое личное мнение или нет, но во всяком случае такой взгляд приличествует лишь язычнице Меропе, а не христианину, который в вопросах морали должен руководствоваться правилами своей религии. А христианская религия бесповоротно осуждает самоубийство как смертный грех. И, по-моему, самоубийство доказывает отсутствие не храбрости или трусости, а веры. Человек, искренне верящий в Бога, не потеряет надежды на Его милосердие, которое может

проявиться даже тогда, когда кажется, что спасения быть не может. Пример этому мы видим хотя бы в той же самой трагедии «Меропа»: во втором акте королева предается отчаянию и не видит иного выхода, кроме самоубийства, а последний акт кончается ее полным торжеством!

– Таким образом, – закончил я, – для меня вопрос о самоубийстве представляется не в виде акта храбрости или малодушия, а просто следствием определенного мировоззрения. Языческое мировоззрение оправдывает самоубийство, христианство бесповоротно осуждает его. А ведь часто бывает, что человек является по внутреннему складу и убеждениям чистейшим язычником, хотя он и значится христианином.

– Но позвольте, уважаемый месье де Бьевр, – сказал тут с обычными обезьяньими ужимками Одар. – Значит, по-вашему, покончить с собой может лишь неверующий человек? Однако покойный де Керси был набожен до смешного! Я ска- зал бы: набожен, как истинный трус! Ну, как вы примирите это со своей теорией?

– Мы не знаем, был ли де Керси в здравом уме, когда решил- ся на это страшное дело, – ответил я. – Ведь известны случаи, когда люди от страха сходили с ума, а вы же сами говорите, что он был страшным трусом. Я еще раз повторяю, что человек, совершающий или оправдывающий самоубий- ство, должен быть или неверующим, или сумасшедшим!

Ввиду того, что я сослался в доказательство своего воз- зрения на творения святых отцов, оспаривать мой взгляд бы-

ло не очень-то удобно: это значило бы открыто признаваться в неверии. Таким образом, к моему величайшему удовольствию, это нелепое обсуждение на том и закончилось.

Как только гости разошлись группами и парочками, ко мне подошла Катя Королева.

– Господи, как давно я не видела вас, милый месье де Бьевр! – сказала она мне. – А мне вас так не хватало!

– Ого! – смеясь ответил я, усаживаясь с девушкой в одном из уютных уголков зала. – А что сказал бы наш общий друг, маркиз де Суврэ, если бы услышал подобное признание? Жестокая! Вы хотите моей смерти! Ведь Суврэ немедленно вызовет меня на дуэль!

– Нет, – просто ответила девушка, – он этого не сделает. Суврэ знает, что я его так люблю, так люблю... Ах, что я только говорю! – перебила она сама себя, заалев и закрывая лицо руками.

– Полно вам стыдиться своего молодого счастья, дорогая моя! – ласково сказал я девушке. – Вы вот что мне скажите: поведали ли вы государыне тайну своего сердечка или все еще не решились?

– Нет, я еще ничего не говорила ей, но мне кажется, что она знает и относится благосклонно к нашей любви, – ответила Катя.

– О, так, значит, вас можно поздравить? Значит, ваше счастье не за горами? – весело спросил я.

– Оно дальше, чем было, – сказала девушка, с трудом по-

давяя слезы. – Ах, я так несчастна, так несчастна! Если бы я могла хоть с кем-нибудь поделиться своим горем.

– Как «хоть с кем-нибудь»? – удивленно воскликнул я. – А я? Разве...

– Осторожнее! – шепнула мне Катя. – Сюда идет Орлов! Говорите о чем-нибудь другом! Да скорее... Бога ради!

Я заговорил о театре, о произведениях Вольтера, о нравственных принципах, проводимых великим писателем со сцены. Подошел Орлов, с хмурой усмешечкой прислушался к моим разглагольствованиям, посмотрел на Катю долгим, тяжелым взглядом, заставившим ее побледнеть, и медленно прошел дальше.

– Ну-с, – сказал я, – чудище проползло мимо! Теперь мы можем прекратить разговор о Вольтере, который вас ничуть не интересует. Лучше расскажите мне, дорогая, что тревожит вас?

– Нет, Бога ради продолжайте! – с каким-то испугом прошептала Катя. – Все равно я ничего не могу открыть вам, а ваш рассказ интересен и отвлекает меня от моих тяжелых дум!

Я пожал плечами и продолжал свою лекцию. Опять прошел Орлов, постояв минутку около нас и впиваясь в Катю своим тяжелым, гнетущим взглядом. Я, не обращая на него внимания, продолжал рассказывать. Когда Орлов уже в четвертый раз остановился таким образом около нас, вдруг сзади раздался голос государыни:

– Что, просвещаете мою пичужку, месье де Бьевр? Что же, я не желала бы ей лучшего учителя, чем вы!

– Если бы я был достойным давать уроки, – ответил я, – то я не желал бы себе лучшей ученицы, чем мадемуазель!

– Ну! – сказала Екатерина, ласково взяв Катю за подбородок. – Собственно говоря, мы с пичужкой ровно ничего не знаем: учились мало, да и способностей нам Бог вовсе не дал, так что какая уж она ученица!

– В ученике ценнее всего не способности, а характер, – ответил я.

– О, да, – согласилась государыня, наклоняясь и ласково целуя девушку, – что касается характера, то на нее грех пожаловаться! Недаром мою пичужку все любят! Уж на что граф Григорий стал в последнее время нелюдимым, ни на кого глядеть не хочет, а и тот нет-нет да и подойдет... Ну, да недолго вам всем любоваться на мою Катю! Уж чувствую я, что где-то близко вертится злой коршун, который скоро утащит мою пичужку!

– Коршуна и подстрелить недолго, чтобы чужих птиц не таскал! – сказал Орлов, бросая многозначительный взгляд на Катю, которая сильно побледнела.

– Ну, наш-то коршун свою собственную утащит, – ответила императрица Екатерина, добродушно посмеиваясь. – Кстати, совсем забыла! Пойдем-ка, Григорий, ко мне в кабинет: есть важное дело!

– Бога ради, дорогой месье, сядьте рядом со мной, закрой-

те меня собой! – зашептала Катя, и я видел, как подергиваются у нее уголки губ и щеки, предвещающая близкие слезы. – Я не могу больше сдерживаться, я сейчас заплачу!

Я пересел так, чтобы закрыть от нескромных глаз тщедушную фигурку Кати, и сделал вид, будто занимаю ее веселым разговором. Когда же приступ острых рыданий прошел, я сказал бедняжке:

– Ну, а теперь, когда вы немного поплакали, дорогая моя, овладейте собою и примите более спокойный вид. А то, смотрите, подойдет кто-нибудь, и тогда вам волей-неволей придется дать объяснение слезам. Ну, а так как лгать вы не умеете, то боюсь, что ваше признание попадет на человека, заслуживающего доверия еще меньше, чем я!

– Да я вовсе не от недостатка доверия... Как вы могли подумать! – с упреком сказала девушка, собираясь снова заплакать. – Вам именно я сказала бы все и гораздо скорее, чем кому-либо другому. Но я боюсь, боюсь!

– А все-таки вам надо побороть свой страх, деточка, – твердо сказал я. – Я вижу, что вы не в состоянии одна справиться со своим горем...

– Ах, где тут справиться! – с отчаянием перебила меня девушка. – Знаете, милый, когда вы сегодня говорили о самоубийстве... Ах, вы не можете себе представить, что я испытывала в это время!..

– Вот что я вам скажу, – сурово остановил я Катю. – Как вижу, дело у вас очень серьезно, а мы с вами тратим время на

лирические излияния и на разные «ах!» да «ох!». Ну, успокойтесь и рассказывайте!

Бедная девочка рассказала мне все. С первого момента приезда в Россию она почувствовала непреодолимую антипатию к графу Григорию Орлову. Того это, должно быть, задело за живое, и вот он, всемогущий фаворит, стал преследовать Катю своим вниманием. Чем больше пугалась девушка этого внимания, тем назойливее становился граф. Быть может, в конце концов он даже и полюбил бы ее, как знать? Но это была бы страшная любовь, злобная, нечистая... Когда Катя полюбила Суврэ и убедилась, что и маркиз тоже любит ее, граф Григорий первый подсмотрел тайну ее сердца. С этого момента он стал еще назойливее и наглее. Как он ее мучает! Он открыто говорит ей, что не отдаст никому и скорее согласится видеть ее мертвой, чем принадлежащей другому. А уж маркизу де Суврэ он ее никоим образом не отдаст, нет, нет! И пусть она лучше даже не пытается вырваться из его, Орлова, власти! Жалобы императрице не помогут: все равно он всегда оправдается. Ведь у Кати нет никаких доказательств, а он, Григорий, слишком нужен государыне, чтобы она пожертвовала им ради нелепых девичьих страхов. Зато малейшая жалоба Кати, малейшая попытка сбросить с себя наложенные им цепи сейчас же отзовется на маркизе де Суврэ. Однажды Орлов прижал ее в темном уголке и поцеловал, Катя набралась храбрости и кинулась к императрице за защитой. Но ей сумели помешать, а в тот же вечер на

маркиза со всего маху наехала чья-то карета, и только чудом Суврэ отделался незначительным ушибом. Не прошло и часа с момента этого происшествия, как Орлов нашел возможность сказать Кате:

– На этот раз я пощадил его! Но помни, глупая девочка: если ты еще раз вздумаешь кинуться к государыне с жалобой, твоего француза не будет на свете! И не воображай, что ты сможешь принести свою жалобу втайне от меня: я все слышу, все вижу, все знаю!

Все это ставило девушку в безвыходное положение. Она не может сказать ни слова императрице, так как это сейчас же отразится на маркизе. Она не может искать защиты у маркиза, так как Суврэ горяч и кинется требовать объяснений у Орлова, а это не кончится добром. Но и выносить более преследования Орлова она тоже не может. Словом, жизнь для бедной девочки стала совсем невозможной и она не видит выхода из создавшегося положения.

– Милая, хорошая моя девочка! – сказал я Кате в ответ на это признание. – Ваше положение действительно очень неприглядно, и я дивлюсь той силе духа, которую дает такому хрупкому, пугливому созданию, как вы, горячая любовь. Ведь надо иметь немалую твердость, чтобы так долго таить в своем сердце всю эту муку. Но вот чего я не понимаю. Вы назвали себя очень верующей, а между тем отчаиваетесь и даже лелеете мысль о самоубийстве. Неужели вы так низко ставите Божье всемогущество, что не признаете возможно-

сти выхода? Неужели вы не верите, что Он может одним дыханьем Своим смести все препятствия?

– Господи! Да на Него Одного вся моя надежда! – страстно ответила девушка. – Как могла бы я жить, если бы у меня не было моей веры? Но вера верой, а все же трудно, когда ни в чем не видишь оправдания ей. Я ведь не знаю, может быть, Господу нужно для чего-нибудь мое страданье; может быть, мне не суждено быть счастливой! Ну, скажите вы сами, милый месье де Бьевр, видите ли хоть какую-нибудь возможность счастливого исхода из этого положения? Ну да, я знаю – вы скажете, что бывают всякие случайности. Орлов может заболеть, умереть, впасть в немилость... Но рассчитывать на это... Нет, вы скажите: видите ли вы какую-нибудь возможность в обычном порядке?..

– Да, милая барышня, я вижу ее! – торжественно ответил я, припомнив кое-что в этот момент. – Известно ли вам, что до сведения государыни дошли слухи о вопиющих злоупотреблениях в Новгородской губернии и что государыня собирается послать расследовать эти злоупотребления графа Григория. Может быть, об этом-то она и советуется с ним теперь!

– И что же? – пылко спросила Катя, глаза которой загорелись надеждой.

– А как только он уедет, вы признайтесь государыне в своей любви к маркизу де Суврэ и придумайте какую-нибудь правдоподобную историю, которой можно объяснить необ-

ходимость поспешить с браком... Скажите ей хотя бы, что маркиз отозван своим правительством или что его призывают важные семейные дела. Да мало ли что можно придумать! Суврэ в дружбе со своим послом, и тот устроит ему это. Если Орлов уедет на следствие, то оно отнимет у него недели две-три. Ну, а в течение этого времени вы можете успеть обвенчаться и уехать.

– Милый мой! – сияя счастьем, сказала мне девушка. – С какой радостью я расцеловала бы вас сейчас!

– Здесь это будет, пожалуй, неудобно, – шутливо ответил я, – но я буду считать поцелуй за вами долгом, подлежащим уплате в день обручения; а пока же наградой мне будет служить уже то, что вы опять расцвели. А то мыслимое ли дело! Еще заметил бы кто-нибудь ваши слезы, ваше волнение... Однако мне надо идти. Мы и так слишком долго сидим с вами, и будет чудом, если на это никто не обратил внимания!

Но чудеса вообще встречаются очень редко, и потому я тут же должен был убедиться, что на наш разговор с Катей кое-кто не только обратил внимание, но даже подметил в нем именно то, что мы хотели скрыть.

Не успел я сделать и десяти шагов, как меня остановил Одар, стоявший с несколькими молодыми людьми у колонны.

– Ах, вот как кстати я вижу вас! – с ужимками и гримасами воскликнул он. – Будьте добры, разрешите мое сомнение – к четырнадцатому или тринадцатому веку относится

эта песнь менестрелей?

И Одар с ужимками проскандировал:

Тайну сердца молодого
Сердцем пылким я подслушал,
Слезы первых мук любовных
Я сквозь слезы подсмотрел.

Намек был слишком ясен, насмешка слишком очевидна. Я внутренне вскипел, но наружно остался совершенно спокойным и спросил:

– Но почему же вы считаете меня более компетентным в этой области, чем себя самого?

– Да помилуйте, смею ли я равняться с вами в начитанности и учености! – с утрированным подобострастием ответил пьемонтец.

– О, зачем вы так принижаете свои дарования, месье Одар! – с обворожительной улыбкой возразил я. – Раз дело идет о том, что кто-то что-то «подслушал» и «подсмотрел», то ничья компетенция не сравнится с вашей!

Сказав это, я поклонился и отошел в сторону. Окружавшие нас придворные от души расхохотались, и Одар смеялся громче их. На такие «пустяки» он совершенно искренне не обижался!

– Господи! Сколько уже времени мы следим за каждым его шагом, и хоть бы что! Хоть бы одна ниточка, хоть бы один волосок!.. Неужели я так и останусь не отомщенной?!

Эти слова я услышал на пороге гостиной нашего дома, куда зашел «на огонек», вернувшись из дворца. Я сразу понял, кто был этот «он», о котором говорила Адель, и та фраза дала моим мыслям новый толчок.

«Он», то есть Григорий Орлов, был мне довольно безразличен. Симпатии к нему я, конечно, не питал и скорее чувствовал непонятное внутреннее отвращенье. Но и при всей своей антипатии к графу я никак не мог разделять мстительные чувства Адели. Ведь по отношению к графу Григорию она поступила почти так же скверно, как Одар поступил с нею, а поступок Одара по отношению к Адели был несравненно оскорбительнее, бесчестнее и болезненнее, чем поступок Орлова. Последний лишь погорячился, недостойно поднял руку на слабейшего, на женщину; но при этом он все же был первой оскорбленной стороной; поведение Адели вызвало его на такую дикую расправу. А Одару Адель никогда ничего, кроме хорошего, не делала, и все же он за грош продал ее. Однако мстить Адель хотела не Одару, а Орлову! Каюсь, я никак не мог найти психологический ключ к этому яркому проявлению так называемой «женской логики»!

Не сочувствуя мстительным замыслам Адели, я старательно уклонялся от участия в их обсуждении. Конечно, я был до известной степени в курсе всех предпринятых шагов. Я знал, что Адель при помощи Фельтена окружила Орлова целой стаей искусных сыщиков, которые доносили ей о каждом сделанном им шаге. Но, как назло, в жизни Орлова теперь

все было совершенно чисто, и его не удавалось поймать хоть на самой мелкой измене своей венценосной покровительнице. Адель и Фельтен просто с ума сходили от злости, и к этому-то относились услышанные мною при входе слова:

– Хоть бы одна ниточка, хоть бы волосок!

Эти слова сразу изменили мои мысли. Я не был расположен мстить Орлову за заслуженный Аделью удар плеткой, но за те страдания, которые причинял фаворит императрицы маленькой Кате, он заслуживал примерного наказания. Этим наказанием могло бы явиться устройство полного счастья Кати с маркизом, а в предупреждение его попыток устранить противника пригодилась бы устроенная Аделью слежка. Следовательно, если я хотел оказать Кате дружескую услугу, я должен был примкнуть к планам Фельтена-Адели и посвятить их в историю Орлова с Катей Королевой. Пусть у нас с Аделью разные мотивы, но цель-то ведь одна!

Поэтому, входя в гостиную, я торжественно сказал, как бы отвечая на цитированную в начале этой главы фразу Адели:

– Выслушай меня, и я дам тебе в руки не только волосок или ниточку, а целую сеть, из которой «он» не вывернется!

В ответ на полные радостного изумленья вопросы Адели и Фельтена я рассказал им о признании, сделанном мне крестницей императрицы.

– Устроив счастье маленькой Кати и маркиза де Суврэ, – закончил я, – мы тем самым нанесем злейший удар надменному фавориту!

Адель вспыхнула.

– Я совершенно не расположена заботиться о счастье господина Суврэ, – резко ответила она, вспомнив, с какой оскорбительной холодностью маркиз отклонил на похоронах Розы приглашение Адели. – И до страданий этой маленькой гусыни мне тоже нет никакого дела. Таким образом ты сильно ошибаешься, если думаешь, что эта трогательная история может иметь для меня какое-либо значение. Разве о такой мести думаю я? Разве булабочные уколы – казнь для гиганта? Я хочу обесчестить Орлова, насмеяться над ним, сбросить его с пьедестала в пропасть, растоптать! А ты предлагаешь мне оставить его без пирожного, словно провинившегося школьника!

– Нет, Адель, ты ошибаешься, – ответил я, – чувство Орлова – не простая прихоть, не случайный каприз; это – та самая одурманивающая страсть, которая толкает человека на преступление. Если бы ты видела, какие взгляды бросал он на девушку! Если бы ты слышала тон, которым он сказал: «Коршуна и подстрелить можно, чтобы он чужих птиц не таскал!» Здесь пахнет преступлением, Адель, потому что маркиз и Катя слишком любят друг друга, чтобы отказаться от своего счастья, а у Орлова мозг слишком затуманен страстью, чтобы уступить девушку другому. Иного исхода, кроме преступления, здесь не может быть. Правда, я подсказал Кате возможность мирного решения, но на эту возможность так мало надежды, что она едва ли осуществится. Я сказал

Кате Королевой, что Орлова, вероятно, командируют на расследование злоупотреблений, которых так много раскрылось в последнее время...

– Для этого имеется достаточно шансов, – перебил меня Фельтен, – мне только что рассказывал Всеволожский, который слышал это от Одара, что государыня крайне возмущена новым фактом, обнаруженным в Новгородской губернии. Там взяточничество возросло до такой виртуозности, что с крестьян брали деньги даже за приведение их к присяге на верность императрице! Действительно дальше идти уже некуда! Государыне доложил об этом чуть ли не Разумовский. Доклад был сделан часов в семь вечера, а в восемь государыня говорила об этом с Одаром, и в разговоре было упомянуто имя Григория Орлова, как самого желательного в роли ревизора.

– Ну да, я тоже слышал об этом, – ответил я, – и потому-то и подал Королевой надежду. Однако отъезд Орлова мало устраивает девушку. Как только Орлов уедет, она откроет государыне свою любовь к маркизу и придумает что-либо для ускорения свадьбы. Но все это слишком наивно, и я сказал это Кате лишь потому, что видел, насколько она пала духом. Между тем едва ли государыня согласится поспешить со свадьбой, а через три недели Масленица, затем Великий пост, пасхальная неделя... Ведь пройдет больше двух месяцев, пока свадьба может состояться... В это время Орлов успеет справиться с пятью ревизиями, а не то что с од-

ной, и вернувшись, пойдет на что угодно, лишь бы помешать этому браку. Но помешать он может лишь преступлением...

– Однако даже если государыня согласится на просьбу своей любимицы и устроит ее свадьбу до поста, все равно это мало поможет делу, – задумчиво сказал Фельтен. – Что стоит всемогущему Орлову бросить все и прискакать из Новгорода, чтобы до свадьбы устранить соперника!

– Не дай Бог! – сказал я, внутренне содрогаясь.

– Нет, дай Бог! – крикнула Адель, топая ногой. – Дай Бог, чтобы так и было, тогда Орлов в моих руках, и я раздавлю его! Если свадьба будет отложена на долгий срок, то у Орлова будет время исподволь, осторожно подготовить преступление, и легко может случиться, что у нас не окажется улики против него. Если же он узнает о готовящейся свадьбе в другом городе, он все бросит и примчится в Петербург, чтобы помешать! У него не будет ни времени, ни достаточного душевного спокойствия, чтобы как следует обдумать все, и мы тогда успеем схватить и удержать занесенную им руку, поймав его на месте преступления! Тогда кончено с тобой, Григорий Орлов! Как женщина, как государыня и как человек, императрица будет слишком глубоко задета твоим поступком, и ты упадешь еще ниже, чем та безвестность, из которой тебя подняла монаршья воля! И тогда я приду к тебе, плюну в лицо, Орлов, и скажу: «Ты ударил меня один раз, и вот за это я наступаю тебе на горло!» О, какой это будет отрадный миг!

Адель захохотала, и от ее хохота невольно пробирала дрожь. Вдруг она сразу смолкла; в дверях показался лакей, доложивший:

– Там пришел этот чумазый, барышня.

– Да ведь я же говорила, чтобы его пускать во всякое время! – нетерпеливо крикнула Адель.

Лакей отстранился от дверей и пропустил невысокого коренастого мужчину в потертом и выцветшем пальто. Оливковый цвет немолодого лица и жгуче-черные, начинавшие сесть волосы выдавали в нем южанина.

– В чем дело, Строфидас? – спросила Адель. Строфидас подошел вплотную к Адели и сказал:

– Его сиятельство граф Григорий Орлов оставил лошадей на углу Фурштадтской, недалеко от вашего дома, а сам пешком отправился в переулок. Мои люди следят за ним. Я тоже сейчас отправляюсь на слезку и зашел только предупредить, что завтра утром я буду у вас с докладом. Чутье подсказывает мне, что здесь мы наткнемся на что-нибудь интересное!

Строфидас ушел.

– Неужели наконец?... – стоном вырвалось у Адели.

Глава 11

Строфидас, грек по рождению, имел очень пестрое прошлое. В юности он был членом опаснейшей шайки международных воров, с которой объездил всю Западную Европу. Затем Строфидас работал только на себя, и однажды ему пришлось попасть в очень затруднительное положение, причем он уже не рассчитывал вылезти из случайной западни. И вот, забившись словно затравленная крыса в углу чердака и ожидая, что его с минуты на минуту схватят, Строфидас задумался о своей жизни. Он вспоминал все те беды, все волнения, все опасности, которые приходилось переживать, и понял, что, в сущности говоря, этот рискованный промысел не дал ему ровно ничего, а только обогащал скупщиков украденного им. Вот эти-то соображения в связи с явной безвыходностью положения привели его к торжественной клятве: если Бог выручит на этот раз его, Строфидаса, он бросит свой позорный промысел и будет зарабатывать насущный хлеб честным трудом.

На редкость благоприятное стечение обстоятельств дало Строфидасу возможность вывернуться из беды, и он решил отныне строго держаться данной им клятвы. Это случилось с ним в Орлеане. Строфидас прибыл в Париж, явился к начальнику полиции, откровенно повинился в своем прошлом и просил принять его на службу. С испокон века раскаяв-

шихся мошенников встречали в полиции с распростертыми объятьями. Так было и тут: Строфидаса сейчас же приняли в штат. Но на честном поприще ему не повезло. Менее чем за десять лет Строфидас перебивал на службе у Франции, Австрии и Англии. Наконец он прибыл в Россию, поступил на службу, но и здесь повторилась старая история: Строфидас не поладил с начальством и должен был уйти. Однако из России он на этот раз не уехал, а остался там, занимаясь частным сыском. После смерти императрицы Елизаветы Петровны к услугам Строфидаса обратились братья Орловы. Строфидас верой и правдой служил партии императрицы Екатерины Алексеевны, но однажды случилось так, что о тайне, вверенной Строфидасу, пронюхала неведомыми путями Воронцова, и заговор чуть-чуть не лопнул. Григорий Орлов не поверил уверениям Строфидаса в невиновности, жестоко избил ни в чем неповинного сыщика, не заплатил ему условленных денег и вытолкал вон. В самом непродолжительном времени после этого состоялся переворот, и на престол вступила Екатерина Вторая. Строфидас хотел было бежать из России, опасаясь преследований, но на первых порах его удержала жалость бросить хорошенький домик, построенный на трудовые деньги. Дальнейшее течение событий показало, что о Строфидасе и не думают, и сыщик понемногу стал опять выплывать на свет Божий, стараясь, однако, не попадаться на глаза Орлову.

Когда Фельтен, из любви к Адели, принял участие в ее

мстительных планах, он первым же делом поднял вопрос о необходимости нанять на подмогу опытного филера. Ведь у Орловых, при их бесшабашной натуре, вечно случались грешки, и иные из них были такого свойства, что фавориту императрицы и его брату несдобровать бы, узнай только о них Екатерина. Еще сравнительно недавно Орловы выкрали купеческую дочку, надругались над ее девичьей чистотой и потом безжалостно бросили в поле, где несчастная замерзла. Когда же отец с отчаянья решил кинуться в ноги императрице и просить ее о розыске и наказании виновных, почтенного старца постигла страшная смерть: ночью его дом загорелся со всех углов, а заколоченные снаружи двери помешали купцу спастись от пожара. И так сгорела страшная тайна преступления!

Подобных темных дел было немало на совести у Орлова, и, если бы удалось хоть одно из них вывести на чистую воду, справедливая императрица Екатерина не оставила бы преступного фаворита без примерного наказания. Но именно потому, что она была справедлива, она не стала бы наказывать, не имея на руках точных доказательств вины. Вот для добычи-то этих доказательств и нужен был хороший филер.

Однако, несмотря на то, что в то время Петербург не менее, если только не более, любой другой столицы кишел шпионами и сыщиками, было не так-то легко найти именно то, что нужно. При том огромном влиянии, при тех гранди-

озных средствах, которыми располагал Орлов, всегда могло случиться, что сыщик, накопив материал, отправится продавать его самому Орлову. И вот тут-то Фельтен вспомнил о Строфидасе.

Строфидас согласился взяться за слежку лишь после долгих колебаний. С одной стороны, ему страстно хотелось свести старые счеты с фаворитом, с другой – он боялся неудачи, боялся, что раскрытие какого-нибудь орловского грешка не поколеблет положения фаворита, и тогда гнев последнего окончательно раздавит его благополучие. В конце концов Строфидас пошел на своего рода компромисс: он вызвался с полным рвением и жаром помогать в расставлении западни фавориту, но заранее предупредил, чтобы на него, как на свидетеля, Адель не рассчитывала.

– Вы уж с этим считайтесь, сударыня, – сказал он Гюс, – если вы вздумаете потом ссылаться на меня, как на свидетеля, то я ни слова не скажу! Отопрусь от всего, даже от того, что собственными глазами видел!хлопотать и стараться для вас буду больше, чем старался бы для себя, ну, а уж показывать против графа – нет, увольте-с.

Так и порешили, и Строфидас взялся за слежку. Он показал себя большим мастером сыска, и иной раз Адель получала от него такие точные сведения об интимнейших и сокровеннейших сторонах жизни фаворита, что оставалось только руками развести от удивления, каким образом мог разузнать все это пронырливый грек. Но не Строфидас был виноват,

если в жизни Орлова, как назло, не было ничего преступного, и Адель начала уже терять надежду, как вдруг, в вечер моего возвращения из Эрмитажа, Строфидас на минутку забежал к ней, чтобы известить, что на следующий день он делает ей доклад о новом следе, на который он напал.

Можно себе представить, как лихорадочно ждала Адель следующего утра! И мне, и Фельтону, пришедшему ни свет ни заря, чтобы присутствовать при сообщении Строфидаса, пришлось почувствовать это нетерпенье, как говорится, «на собственной шкуре»!

Но чем напряженнее было ожидание, тем полнее оказалось разочарование, навеянное первыми откровениями Строфидаса.

Адель была совершенно обескуражена. Как! Значит, Орлов просто был у старухи-гадалки, которая поселилась в маленьком домике неподалеку от Фурштадтской? Ну и что же из этого? Мало ли кто ездит к ворожеям! Тут еще нет ничего преступного! И в том обстоятельстве, что, уезжая, Орлов сказал: «Значит, через три дня, старуха!» – тоже нельзя усмотреть что-нибудь чрезвычайное... Нет, она, Адель, положительно ждала чего-либо большего от прозорливости Строфидаса! Конечно, раз событий нет, Строфидас не может создать или выдумать их, но в таком случае не надо по крайней мере обнадеживать, не надо внушать несбыточные надежды.

Строфидас дал излиться потоку негодованья и потом спо-

койно спросил:

– Известно ли вам, что вчера поздно вечером граф Григорий получил от ее величества поручение отправиться на ревизию в Новгород?

– Да, я слышала, – ответила Адель.

– И неужели то обстоятельство, что через пару часов после этого назначения граф кидается к ворожее, не наводит вас ни на какие размышления? – улыбнулся Строфидас. – Ведь отъезд графа Григория назначен через три дня; в течение этого времени графу необходимо ознакомиться со следственным материалом, получить инструкции государыни, выбрать себе помощников. И все-таки граф находит возможным еще перед отъездом побывать у гадалки, как это явствует из его прощальной фразы: «Значит, через три дня, старуха!» Неужели это ничего не говорит вам?

– Да что же тут особенного! – пренебрежительно отозвалась Адель. – Граф играет в такую темную игру, что ему больше, чем кому бы то ни было, важно и интересно проникнуть в тайны будущего!

– Совершенно верно, – подхватил Строфидас. – К ворожеем ездят или из праздного любопытства, или тогда, когда что-нибудь тревожит. При данных обстоятельствах мы не можем заподозрить, что графом Григорием любопытство овладело с такой силой, которая заставляет его забывать о сборах и хлопотах. Значит, графа что-нибудь тревожит. Но что? Его политическое влияние в данный момент стоит вы-

соко и незыблемо, и это сказалось уже в самом поручении, для которого государыня хотела избрать наиболее влиятельное, заслуживающее наибольшего монаршего доверия лицо. Враждебная Орлову партия теперь очень ослаблена, и ее вожаки не пользуются у государыни ни малейшим авторитетом. Соперников в личной милости государыни у графа тоже нет. Значит, тревога относится не к государственной, а к частной жизни графа. В данный момент у Орлова нет никакого тайного романа; все его сердечные интересы сосредоточены около личности фрейлины государыни, девицы Королевой, которая не платит ему взаимностью и всецело отдала сердце маркизу де Суврэ. Отсюда следует одно: тревога графа объясняется боязнью, не ускользнет ли окончательно в это время девица Королева от графа Григория, и посещение гадалки вызвано надеждой графа, не поможет ли ему тут магия.

– Преклоняюсь перед вашей логикой, Строфидас, – сказала Адель, пожимая плечами. – Я вполне убеждена, что вы совершенно правы и визит Орлова к ворожее именно и объясняется этой дурацкой страстью. Но что дальше? Я не вижу, как мы можем использовать все это для наших целей! Допустим, что ворожея дала графу какой-нибудь любовный эликсир, допустим, что Королева разлюбит маркиза. Да нам-то какая польза от всего этого?

– Мне пришлось в свое время много интересоваться магией и разными волшебными напитками. Я пришел к убежде-

нию, что нельзя отрицать существование многих тайных сил и что существуют люди, которые умеют направлять эти силы. Но таких людей немного, а большинство всяких колдунов представляет собою просто шарлатанов-знахарей, торгующих малоизвестными медицинскими снадобьями и ядами. Так называемый «любовный эликсир» обыкновенно представляет собою вытяжку из некоторых растений, иногда даже настой из насекомых, обладающий свойством приводить человека в состояние особого любовного безумия. Под действием этого снадобья человека охватывает непобедимая любовная страсть, причем, вследствие потемнения рассудка, отравленный забывает стыд и доводы разума, уподобляясь дикому животному в беззастенчивости средств к погашению пожара чувств. Вот каково действие этого «эликсира». Волшебного в нем нет ничего, потому что всякий опытный врач сумеет найти следы и признаки его, ну, а волшебное не оставляет видимых следов. И теперь для меня ясно, что из посещения графом гадалки должно выйти что-нибудь преступное. Если эликсир поможет...

– О, государыня никогда не простит Орлову этого! – воскликнула Адель с загоревшимися глазами. – Да, да, в этом вы правы, Строфидас! Из этого еще может кое-что выйти! Только вот в чем вопрос: как нам проследить всю эту историю? Ведь что бы ни случилось, а одного посещения Орловым гадалки будет мало для улик?

– Я тщательно ознакомился с местностью, – ответил

грек, – и убедился, что ваш дом стоит почти на одной линии с лачугой гадалки. С улицы этого не заметно, так как повороты сбивают с толка. Но на самом деле ваш сад, который тянется длинной и узкой полоской, правым углом подходит к огороду, окружающему заднюю половину лачуги. Это очень удобно.

– Дальше, дальше, Строфидас! – лихорадочно крикнула Адель, когда грек снова остановился. – Не дожидайтесь вопросов, понуканий и поощрений! Я вижу, что у вас уже сложился готовый план. Так не томите и выкладывайте его!

План Строфидаса был очень прост и очень умен. Благодаря свирепствовавшим в последнюю неделю снежным бурям, в нашем саду намело целые горы. Задняя стена дома гадалки была тоже совершенно занесена, и из-под снега виднелся лишь край резного наличника. Первым делом надо было прорыть в снегу траншею до границ нашего сада, от границ идти коридором к дому и осторожно подобраться к окну. Тут надо устроить первый наблюдательный пункт. Затем Строфидас под видом клиента побывает у гадалки, посмотрит, нельзя ли устроиться так, чтобы видеть и слышать все происходящее внутри, и, когда через три дня Орлов приедет к ней, можно будет подслушать все, что там произойдет.

– Но в таком случае надо сейчас же браться за работу, не теряя времени! – крикнула Адель.

– Мои люди уже роют снег, – с поклоном ответил грек.

Вечером Строфидас явился опять, чтобы вести Адель по

прорытому снежному коридору к дому гадалки. С Аделью, кроме него, отправился Фельтен; я же остался дома, так как мое участие во всем этом деле могло лишь помешать, но не помочь. Строфидас совершенно верно заметил, что каждый лишний человек увеличивает возможность спугнуть подстерегаемую пташку. А между тем я даже как свидетель не могу быть особенно полезным, так как моя близость к Адели уменьшит убедительность моих показаний.

Итак, они отправились. Сначала они прошли траншеей до границ сада, затем нырнули в коридор, а у самого дома им пришлось даже проползти несколько шагов на коленях. Таким образом они попали в небольшую нишу, естественно образовавшуюся в снегу, облепившем стену и окно. Тут они приникли к широким щелям ставни.

Их взорам открылась довольно большая комната, обставленная небрежно, грязно, но роскошно. Видимо, это было частное помещение гадалки, а не ее приемная комната. Тут была роскошная шелковая оттоманка, около которой стояло грязное ведро. Простой некрашенный стол был полуприкрыт дорогой парчовой скатертью, залитой во многих местах жиром. На стульях, креслах и табуретах были разбросаны принадлежности женского и мужского туалета. В обширной русской печи мерцал огонек.

В комнате некоторое время никого не было. Наконец показался более яркий свет, и в комнату с трехсвечником в руках вошла гадалка. Это была очень старая женщина, оде-

тая в какой-то фантастический хитон с нашитыми на нем серебряными звездами и черепами. Гадалка бросила на стол несколько золотых монет, видимо, полученных за сеанс, и скинула с головы седой парик, из-под которого показались тяжелые черные косы. Затем она отошла в угол и принялась возиться около умывальника, после чего сняла хитон, накинула пестрый шелковый халатик и принялась накрывать на стол, расставляя там всякие яства и напитки. Снова открылась дверь; вошел молодой красивый турок, игравший роль слуги при гадалке. Увидев его, гадалка обернулась и показала подглядывавшим совершенно молодое, очень красивое лицо восточного типа, обрамленное тяжелыми черными косами. При виде этого лица Строфидас вздрогнул, побледнел, и с его уст еле слышным шепотом сорвался тихий возглас:

– Зоя-отравительница!

Гадалка поспешно поставила на стол бутылку вина, которую несла, и подбежала к турку. Она с бесконечной любовью и страстью прильнула к нему, он обвил сильными руками ее гибкий стан, и их губы слились в долгом, страстном лобзании.

Строфидас взял за руки Адель и Фельтена и знаками предложил им следовать за собой обратно.

– Однако дело оказывается еще интереснее, чем я думал! – сказал он. – Ведь гадалка-то на самом деле оказывается известной Зоей-отравительницей, моей прекрасной соотечественницей, из-за которой я в свое время – это было

лет пять тому назад – потерял службу! Теперь мне понятен этот маскарад! Ведь полиция была бы очень рада свести с ней старые счеты! О, это – очень опасная женщина! Она в совершенстве владеет ведьминской рецептурой, и редкий ученый-химик знает так разные тайные яды, как эта хитрая, красивая змея! Так значит, она опять принялась за старое? В царствование покойной императрицы Елизаветы много людей отправилось к праотцам раньше срока, и не сбеги тогда Зоя, ей не миновать бы строжайшего возмездия. В тот раз она ловко обошла меня... Ну, да это никому не интересно. Для нас важно лишь то, что из посещения Орловым такой ведьмы ничего, кроме преступления, выйти не может!

Весь следующий день Строфидас провел в розысках. Он побывал также (переряженным, разумеется) у гадалки и обнаружил, что между трубой небольшого очага, в котором она, должно быть, варила свои зелья, и потолком имеется широкое отверстие, через которое с чердака можно следить за всем происходящим в приемной комнате.

Перед вечером третьего дня агенты Строфидаса устроили на улице сильный шум, разыграв комедию драки. Как и ожидал хитрый грек, гадалка и турок выбежали на крыльцо, а тем временем сыщик с ловкостью кошки взобрался на крышу, проник через слуховое окно на чердак, обследовал там все, пристроил лестницу, по которой можно было легко взобраться туда, и спокойно скрылся обратно. Позднее, как только дозорный дал знать, что показались сани Орлова,

он повел Адель и Фельтена на чердак. Орлову приходилось идти пешком от угла, и таким образом Адель со своими сообщницами устроилась на наблюдательном посту еще до его прихода к гадалке.

Минут через пять после того как они прилегли у щели на заранее припасенных соломенных матах, во входную дверь послышался сильный стук. Турок бегом кинулся отворять, и вскоре в комнату вошел Григорий Орлов. Он был очень мрачен, взволнован и нетерпеливо мерил крупными шагами приемную комнату, ожидая появления ворожеи.

Но вот скрипнула дверь, и на пороге показалась Зоя-отравительница в своем маскарадном старушечьем виде. Увидев мрачную фигуру графа, она пронзительно, хрипло расхохоталась.

– Ну, что? Не удалось? – лаконично спросила она.

– Нет, проклятая старуха, не удалось! – сердито ответил граф Григорий. – Твое дьявольское питье лишь усилило ее любовь к другому, но не ко мне. Чтобы тебя черт побрал!

– погоди ругаться, молодчик, и лучше расскажи, как это было, – сказала ворожея.

– Я нашел возможность подлить ей десять капель твоего снадобья на другой же день, часов около двух. К вечеру она стала совсем безумной, принялась кричать, что она не может жить без своего миленького, и требовала, чтобы его сейчас же привели к ней. В заключение с ней сделался сильнейший припадок, она каталась в конвульсиях по полу, изо рта у нее

била пена, и доктор уже начинал бояться, что она не выживет. Но к утру она успокоилась, вчера весь день пролежала, а сегодня встала. Когда же я встретился и поздоровался с нею, она отскочила от меня еще боязливее, чем прежде, и в ее взгляде было еще больше отвращения, чем всегда!

Ворожея опять расхохоталась.

– Ну что же, – сказала она, – ведь я предупредила тебя, что, если ты хочешь овладеть любовью твоей красотки, то должен быть около нее в тот момент, когда снадобье начнет действовать. Ведь говорила тебе: человеческая любовь – это такая страшная сила, перед которой отступает знание самых сильных чародеев. Если сердце свободно, тогда не трудно посеять в нем семена страсти, тогда несколько капель моего снадобья кинут в твои объятия самую недоступную женщину. Но раз она уже любит другого, она не разлюбит его ни от каких волхвований: чистая любовь сильнее наших чар. И берегись, молодчик! Может случиться то, о чем я тебя предупреждала: что ты посеял для себя, благодаря этим каплям пожнет другой! Ну, а если твоя красотка станет женой своего миленького – все равно, по закону ли это будет, или нет, – тогда для тебя пропадет всякая надежда!

– Так на кой же дьявол нужно твое чародейство, если ты не можешь ничего сделать? – загремел взбешенный Орлов.

– Ну не шуми, не шуми, милый мой! – спокойно ответила ворожея. – Может, я уж не так бессильна, как ты думаешь. Если снадобье не помогло, так я за то и не ручалась. Ведь

я спросила, любит ли она кого-нибудь уже, и когда узнала, что любит, то сказала тебе: снадобье может и не помочь! Но можно сделать так, что оно поможет; для этого есть средство!

– Так выкладывай его!

– Но оно опасно!

– Я не боюсь опасности.

– И... дорого стоит!

Вместо ответа Орлов швырнул на стол туго набитый кошелек; тот сейчас же исчез в складках черного хитона ворожеи.

– Мое снадобье поможет, – заговорила она, – если сердце, которым хотят овладеть, свободно. Значит, надо сделать свободным сердце твоей миленькой; значит, надо устранить соперника. Девичье сердце отходчиво: поплачет-поплачет, а там, глядишь, уже и опять начнет по сторонам оглядываться. Вот тут ты и не зевай! Пять капель моего снадобья – и тогда отказа не будет!

– Устранить! Это легче сказать, чем сделать! Кинжал требует сообщника, яд оставляет следы...

– Нет, молодчик, это легче сделать, чем сказать! За что же я с тебя деньги-то взяла? Неужели за один совет? Нет, я тебе дам другое снадобье, которое убивает сразу, верно и бесследно. Вот, смотри! – Ворожея встала, достала из стоявшего в углу большого расписного сундука маленький ларец, отперла его и вынула оттуда маленький флакон. – Вот! – повторила она, торжественно поднимая флакон кверху. – В

этой склянке заключены многие тысячи смертей. Достаточно одной булавочной головки этого камня, чтобы человек расстался с жизнью. О, это – бесценное средство! Один запах его уже убивает. А крупинки так прозрачны, малы и незаметны, что их можно всегда подсыпать в стакан или тарелку. Я дам тебе две крупинки! Угости-ка одной из них того, кто отбил у тебя сердце красоты!

– Хорошо! – мрачно ответил Орлов, протягивая руку. – Завтра же я испробую, так ли хорошо это средство, как ты говоришь.

– Завтра? – с некоторым испугом сказала ворожея. – Ну, нет, молодчик, надо сначала погадать и спросить у судьбы, в какой день твой замысел может рассчитывать на успех. Дай-ка свою руку!

Она взяла графа за руку и принялась внимательно рассматривать линии его руки, затем взяла со стола глиняный стакан, потрясла его и высыпала находившиеся в стакане разноцветные камни на стол.

Сравнивая получившийся из камешков узор линий с линиями руки Орлова, она сказала:

– Нет, молодчик, раньше, чем через две недели, тебе нельзя употребить свое средство! Так говорит судьба, и если ты пойдешь против нее, то все откроется!

– Но я уезжаю завтра! – недовольно буркнул граф.

– Так поручи это кому-нибудь другому!

– Нет уж! В этом деле чем меньше сообщников, тем луч-

ше...

– Тогда обожди две недели. Раз судьба указывает этот срок, значит, до этого времени с твоей милочкой ничего не случится.

Орлов на минуту задумался, потом встал со стула и, не прощаясь, направился к выходу, предварительно спрятав две крупинки яда в потайное помещенье перстня.

Когда он ушел, из прихожей вышел турок.

– Через две недели? – улыбаясь спросил он по-турецки. Зоя-отравительница вместо ответа принялась смеяться. Строфидас, переведший слова турка Адели, не обратил внимания на то странное ударение, которое делалось на сроке: оно явно изобличало намерение ворожеи скрыться до этого. Но ему было не до того: его мозг лихорадочно работал, комбинировав дальнейшее течение интриги.

Когда Адель и Строфидас благополучно спустились с чердака и вернулись домой, Строфидас произнес, обращаясь к Адели:

– Итак, вы видите, что действительность блестяще оправдала мои предположения. В настоящее время мы вполне сориентировались и знаем, чего нам держаться. Ранее чем через две недели граф Орлов не возьмется за выполнение своего преступного замысла, а в течение этого времени мы окружим его и маркиза де Суврэ целой сетью слежки. Сейчас же нам нужно вот что: во-первых, необходимо уничтожить прорытый в снегу ход, потому что, не дай Бог, начнет таять,

и Зоя обнаружит наши траншеи: ведь она сразу догадается, что ее выследили, и это может испортить нам всю музыку; а во-вторых, хорошо было бы достать парочку таких же крупинок.

– Ну за это возьмусь уже я! – сказала Адель. – Завтра же вечером крупинки будут в моем распоряжении!

– Вот и отлично! – согласился грек. – Остальное я беру на себя. Послезавтра я зайду к вам, чтобы рассказать, если будет что-нибудь новенькое, и узнать, как удалось ваше предприятие.

«Предприятие» удалось Адели блестяще!

На другой день вечером они с Фельтеном в полумасках направились к гадалке. На вопрос ворожеи, что нужно посетителям, Адель ответила, что она пришла узнать свою судьбу. Ворожея попросила гостью дать левую руку и, разглядев вая линии, стала плести обычную чепуху. Как всегда это бывает у гадалок, Зоя-отравительница старалась держаться туманной неопределенности предсказаний; однако это не спасло ее от грубых промахов. Так, она предсказала Адели, что ее муж скоро умрет и что теперешний друг сердца Адели получит большое наследство и женится на ней.

В сущности говоря, это не было большим риском со стороны гадалки: она видела, что спутник посетительницы – человек ей посторонний, и понимала, что девица не рискнет отправиться ночью с посторонним человеком в такую глушь. Ну, а нравы дам высшего круга были таковы, что не надо

было особой прозорливости, чтобы угадать у любой из них «друга сердца».

Тем сильнее было смущенье Зои, когда Адель, выслушав все это, громко расхохоталась и сказала:

– Милая моя, вы все врете от начала до конца! Я вижу, что сама гадаю гораздо лучше вас. Ну-ка, дайте мне вашу руку! Адель схватила руку растерявшейся ворожеи, принялась рассматривать ее и воскликнула с отлично разыгранным изумлением: – Что я вижу! Милая моя! Да ведь вы просто наряжены старухой, а на самом деле молоды и красивы! Эге! У вас в прошлом были большие неприятности с полицией, и на вашей совести тяготеет не одно преступление. Ваша специальность – вовсе не гаданье, в котором вы ничего не понимаете, а яды, в которых вы знаете большой толк. Я даже могу сказать вам, как вас зовут! Ваше имя – Зоя!

Зоя-отравительница вырвала руку у Адели, отскочила в угол, затем, сверкая яростным взглядом, кликнула турка и быстро сказала ему несколько слов на непонятном Адели языке. Омер, как его назвала ворожея-отравительница, обнажил кинжал, но Фельтен достал пистолет и внушительно сказал:

– Лучше прикажите своему возлюбленному спрятать эту опасную игрушку и уйти прочь отсюда. – Мне достаточно выстрелить, чтобы трое дюжих и хорошо вооруженных молодцев, дожидаящихся нас за углом, ворвались сюда и разнесли в щепки ваше проклятое гнездо. Не беспокойтесь! Мы

знали, что в таких милых притонах надо быть начеку, и приняли свои меры предосторожности. Но мы не желаем вам зла, так что вы взволновались совершенно напрасно!

– Чего же вы хотите? – хрипло спросила Зоя.

– Сначала мы хотим, чтобы этот молодчик ушел отсюда.

Зоя приказала Омеру уйти, после чего спросила:

– Ну, что же дальше?

– А теперь, – продолжала Адель, – я хочу, чтобы вы дали мне парочку тех же крупинок, которыми угостили вчера одного из посетителей, пожелавшего избавиться от соперника!

– Да что вас сам ад прислал ко мне, что ли? – с изумлением и бешенством крикнула ворожея.

– Ну вот еще! – невозмутимо ответил Фельтен. – Ад терпеливо ждет, когда вы сами пожелаете туда, прелестная Зоя! А мы пришли сами по себе! Однако мы торопимся и очень просим не задерживать нас долее. Так как же? Соболаговолите ли вы наконец преподнести нам желаемую парочку крупинок?

Ворожея не отвечала; она продолжала стоять в углу, озираясь, словно затравленный зверь.

– Я, собственно, не понимаю, чего вы опасаетесь? – продолжал Фельтен. – Если бы мы питали по отношению к вам дурные намеренья или имели что-нибудь общее с полицией, то не стали бы выпрашивать у вас какой-нибудь пары крупинок. Мы просто велели бы арестовать вас и делу конец. Но, как вы видите, мы не проявляем никаких враждебных наме-

рений. И за ваши конфетки мы вам заплатим! Не так щедро, конечно, как заплатил вчерашний посетитель, но все же больше, чем ваши крупинки стоят! – и Фельтен положил на стол несколько золотых монет.

Зоя наконец решилась. Она подошла к сундуку, открыла его, достала ларец и вынула оттуда склянку, но, видимо, с умыслом достала другую.

– Нет, вы ошибаетесь! – сейчас же сказал ей Фельтен. – Мы просим тех же самых крупинок, которые вы отпустили вчерашнему посетителю высокого роста, а те крупинки находятся в высоком узеньком пузырьке с серебряной крышкой. Этот пузырек стоит в левом углу у крышки!

У ворожеи просто руки опустились.

– Вы могли знать меня раньше, могли выследить, что под лохмотьями старухи скрываюсь я, – глухо сказала она. – О крупинках вы могли узнать от вчерашнего гостя, хотя он и говорил, что не станет никого посвящать в эту тайну. Но как вы могли знать, где именно стоит пузырек, это совершенно непонятно! Ручаюсь, что вчерашний гость не видел расположения склянок в ларце!

Говоря это, ворожея пристально смотрела на Фельтена, и он чуть не выдал своего секрета: ему неудержимо хотелось взглянуть наверх, где между трубой и потолком была щель. Но он вовремя удержался и ответил:

– Вы должны поверить, что мы действительно обладаем большими познаниями в тайных науках!

– Но если вы сами – чародеи, так почему же вы не приготовите яда собственноручно? – недоверчиво спросила Зоя.

– Потому что нам нужен именно ваш препарат, – наугад ответил Фельтен, – а у нас нет под рукой необходимого материала!

Этот ответ попал в цель и окончательно сразил гречанку.

– Да, этого средства в Европе не найдешь, – пробормотала она и уже без всяких отговорок достала требуемый пузырек.

Адель положила две крупинки в принесенную с собой маленькую коробочку и вместе с Фельтеном с триумфом вернулась домой.

Теперь оставалось лишь выждать дальнейших событий. Последние были не за горами.

Глава 12

Во время припадка, вызванного «любовным эликсиром» Орлова, Катя Королева невольно выдала тайну своего сердца; впрочем, последняя не была новостью для императрицы, уже давно исподтишка любовавшейся расцветом этой молодой, чистой любви, а потому, когда Катя поправилась, Екатерина ласково расспросила ее обо всем и дала согласие на их брак с маркизом де Суврэ.

Однако, когда Катя стала просить государыню, чтобы свадьбу сыграли теперь же, еще до Масленицы, Екатерина лишь рассмеялась и замахала на нее руками. Что за пустяки мелет девочка! Разве мыслимое это дело в две недели все справиться? Да и непорядок это! Такой спешкой можно подать лишь повод для сплетен и дурных толков! А главное, к чему такая спешка? Неужели Кате трудно подождать каких-нибудь полгода?

Но тут приключилось нечто совершенно неожиданное: услышав про «полгода», Катя ахнула, взмахнула руками и упала в глубоком обмороке.

Девушка опять заболела. Роджерсон разводил руками, не понимая, в чем болезнь бедняжки. Несколько слов, оброненных ею в бреду, заставили доктора подумать, что причиной страдания больной является какое-то затаенное опасение, какой-то тайный страх. Но что именно могло угнетать

девушку? Роджерсон понял, что угадать это – значит угадать самую болезнь.

При первом же удобном случае он заговорил с Катей по душам. Девушка чувствовала себя слишком истерзанной, а доктор внушал такое доверие к себе, был так добр и ласков, что она не могла отделаться молчанием и все открыла врачу. Она рассказала ему о преследованиях и угрозах Орлова, и Роджерсон, знавший характер фаворита, понял, что этот страх был слишком реален, чтобы быть по силам хрупкой душе девушки. Действительно, теперь, когда вопрос о браке Кати был решен, Орлов способен пойти на что угодно, чтобы помешать осуществлению его, а вполне понятное желание императрицы отсрочить свадьбу давало слишком широкий простор его проискам. Безысходность положения девушки увеличивалась еще и тем, что она действительно не могла объяснить причину своих терзаний ни жениху, ни государыне! Бедняжка!..

Роджерсон задумался ненадолго и сказал:

– Вот и хорошо, милая моя девушка, что вы решились признаться мне во всем. Положитесь на меня! Я сумею соблюсти вашу тайну и добиться, чтобы свадьбу сыграли до возвращения этого кровожадного тигра!

Действительно Роджерсон сейчас же отправился к императрице. Он заявил ей, что ему удалось наконец открыть тайну болезни крестницы государыни: все дело в том, что девица Королева принадлежит к числу тех натур, которые не

созданы для девичества и должны выходить замуж сейчас же, как только созреют для любви. Наука знает массу случаев, когда девушка впадала в чахотку или сходила с ума из-за невозможности быстро выйти замуж. Такая же участь грозит и Королевой. Поэтому, если государыня хочет, чтобы ее любимица выздоровела, ей надо сейчас же объявить, что свадьба состоится в ближайшем будущем.

Екатерина была очень удивлена, когда услышала, что ее робкая, бледная Катя оказалась особой с таким темпераментом. Кто бы мог подумать! Но раз это так, было бы преступной глупостью откладывать свадьбу из-за пустых формальностей. Поэтому Екатерина отправилась к своей любимице, чтобы порадовать ее приятным известием.

И она была с лихвой вознаграждена за это! Катя сразу переродилась, порозовела, повеселела. Уже на другой день она веселой пташкой носилась по комнатам. Бедняжка не знала, что государыня известила о радостном торжестве своего любимца и что граф Григорий был приглашен ею приехать на интимный ужин, которым Екатерина хотела чествовать за два дня до свадьбы жениха и невесту!

Зато как съежилась, как побледнела Катя, когда утром в день этого ужина встретила во дворце с ненавистной ей атлетической фигурой графа!.. Однако Орлов быстро сумел рассеять опасения девушки. Он был так добродушно весел, так внимателен, что Катя начинала думать, уж не сном ли было мрачное ухаживанье графа. Ведь он так искренне по-

здравлял ее, так радовался, что она нашла настоящего, верного, надежного спутника жизни!

И все же ее сердце болезненно ныло, пока не приехал маркиз. Только увидев, что он был здоров и невредим, только заметив, что и с ним граф Орлов был искренне приветлив, она успокоилась. А тут еще по какому-то поводу государыня припомнила, как Орловы из «пустой проказливости» пугали принца Фридриха, пока тот не сбежал опрометью к себе на родину... Может быть, и в мрачном ухаживанье Орлова сказались все та же пустая проказливость, дикарское удовольствие напугать? Словом, Катя окончательно успокоилась и была оживлена и весела на редкость.

За несколько минут до начала ужина государыня и Орлов оставили общество и прошли в столовую, чтобы положить там подарки под салфетки жениха и невесты. А когда Екатерина на минутку отвернулась, Орлов уронил в бокал маркиза де Суврэ маленький незаметный кристаллик Зои-отравительницы.

И вот началось торжественное веселое шествие в столовую. Впереди шла Екатерина под руку с маркизом де Суврэ, сзади них – Орлов с Катей. Уселись. Послышались радостные «охи» да «ахи» Кати, которая, словно ребенок, радовалась подаркам. От волнения ей захотелось пить, и она попросила жениха налить ей чего-нибудь легкого. По ошибке Суврэ взял бутылку токайского и начал наливать.

– Ах, не то! – испуганно вскрикнула Катя. – Что вы наде-

дали! Разве я могу пить такое крепкое вино?

– Чего же так пугаться, птичка? – улыбнулся Суврэ. – Эту ошибку легко исправить!

Он взял Катин бокал себе, а ей налил легкого белого вина в свой. Затем они чокнулись. Кроме Одара, всегда все видевшего и за всем втайне наблюдавшего, никто не заметил, как побледнел Орлов. Он даже сделал движенье, как бы желая вскочить с места. Но было поздно. С улыбкой бесконечного счастья, с радостно искрящимся взглядом, обращенным на жениха, Катя до половины осушила свой бокал.

И вдруг этот бокал выпал из ее пальцев, покатился по полу, разбиваясь на сотни сверкающих кусочков, а сама Катя тихо сползла со стула. Поднялся невообразимый переполох. Все повскакали со своих мест, кинулись к Кате, подняли ее, перенесли на диван. Только две неподвижные фигуры диссонансом выделялись на фоне этого смятения. Скрестив руки на мощной груди, с демонически радостной скорбью во взоре стоял граф Григорий Орлов и, схватившись за голову, полулежал на столе окаменевший от горя Суврэ. Ни тот, ни другой не шевельнулись и тогда, когда все остальные были оглушены тихим приговором Роджерсона:

– Все кончено, государыня! Наш ангел вернулся к себе на небо!

Екатерина с рыданиями упала на колени около безжизненного тела Кати, с бледного лица которой все еще не сходила улыбка глубокого счастья. Графиня Брюс, залива-

ясь крупными слезами, бросилась в оранжерею, откуда вернулась с большой охапкой наспех срезанных цветов, чтобы осыпать ими хрупкую фигурку невесты, отшедшей к небесному Жениху. Орлов под предлогом отдачи каких-то распоряжений вышел из комнаты. Только маркиз де Суврэ продолжал сидеть, охваченный горем. Он так и не очнулся: столбняк перешел в жесточайшую нервную горячку, и несколько месяцев Суврэ был на волосок от смерти. Выздоровев, он уехал во Францию и там принял постриг под именем Жерома. Аристократическое происхождение, образованность, святость жизни и огненное красноречие могли бы быстро вознести его на высшие ступени церковной иерархии, но отец Жером с упорным смирением отказывался от всякого продвижения, и ему даже пришлось два раза съездить в Рим к папе, чтобы просить не трогать его с места настоятеля одного из беднейших приходов Парижа, населенного отчаянной голытьбой. В этом приходе отец Жером пробыл до 1793 года, когда ни прошлая деятельность проповедника, направленная к осуждению жизни привилегированных классов, ни любовь прихожан не спасли его от эшафота. Он умер пятидесяти трех лет от роду, умер как герой и мученик.

Впрочем, я забегаю вперед: с аббатом Жеромом нам впоследствии еще придется встретиться.

«Она отравлена», – шептали придворные, «она отравлена», – говорила высшая знать, и даже среди купцов, солдат и рабочих из уст в уста передавался все тот же слух: «Слыхали?»

Во дворце-то опять девушку отравили!» Когда же кто-нибудь по наивности спрашивал, кому могла понадобиться эта юная жизнь и кто мог покуситься на такое злое дело, спрашиваемый придворный тонко улыбался, делал неопределенный жест руками и спешил перевести разговор на другую тему. В средних кругах выражались определеннее. «Один ведь у России Мамай!» – сумрачно говорили там. И только «низы» злобно сваливали в одну кучу весь двор, говоря: «Мало ли там дикого зверья? Так и ждут, где бы клочок свежего мяса урвать!» Словом, весь город твердил одно: «Катя Королева умерла не своей смертью, а была отравлена», и с этим слухом хотя и незримо, но все теснее связывалось имя графа Григория. Никто не произносил этого имени вслух, и все же оно звучало все громче и громче.

Хотя под влиянием глубокой скорби императрица Екатерина и замкнулась от всего мира в своих апартаментах, но неведомыми путями и до нее дошли эти слухи. Она вызвала Роджерсона и прямо спросила его.

Но Роджерсон не мог по совести ответить на него категорически.

– Люди умирают от счастья так же, как и от горя, ваше величество, – ответил он. – Слабое сердце не выдерживает сильного волнения, и его хрупкий аппарат ломается. Но вместе с тем могу сказать, что в природе существует много ядов, не оставляющих в организме видимых следов. Для меня ясно только одно: наш ангел умер от того, что с его сердцем про-

изошла внезапная катастрофа, однако что вызвало эту катастрофу; органическая ли слабость сердечного аппарата или внешняя причина в виде действия ядовитой эссенции, этого я сказать не могу.

– Но ведь вы же лечили ее, вы должны знать ее организм! – нетерпеливо сказала Екатерина. – Разве ее сердце вызывало опасения?

– Нет, ваше величество, – ответил Роджерсон, – хотя покойная была очень хрупкого сложения, но ее сердце мне никогда никаких опасений не внушало. Однако, как врач, считаю долгом совести заметить, что наши знания еще очень несовершенны, и категорически сказать: «Покойная могла умереть только насильственной смертью», – я не имею права.

– Как врач? – мрачно повторила императрица. – Ну, а как... человек?

Роджерсон промолчал.

– Говорите! – нетерпеливо крикнула государыня. – Я хочу знать, как вы сами относитесь к этой смерти!

– Мое глубокое внутреннее убеждение говорит мне, что смерть последовала от отравления неизвестным мне ядом, – тихо сказал врач.

– Но кому же могла понадобиться смерть этой... – Екатерина внезапно замолчала, не договорив фразы, и почти с испугом посмотрела на врача.

Ей вспомнилось вдруг, что Катя переменялась бокалами с женихом. Значит, если тут действительно произошло отрав-

ление, то яд предназначался не Кате, а маркизу. Теперь в слухе о насильственной смерти Королевой появлялась уже некоторая вероятность: единственное возражение, отнимавшее у этого слуха правдоподобие: «Кому могла понадобиться смерть Кати?», – совершенно отпадало.

И невольно в памяти государыни стали всплывать отдельные черточки, штришки, сценки, которые прежде казались ей неважными, и из всего этого сплеталась такая ужасная картина, что Екатерина в отчаянии схватилась за голову.

Уже много лет спустя в интимном кружке государыни зашел однажды разговор о самых ужасных моментах в жизни. Екатерина вспомнила тогда смерть Кати Королевой и призналась, что никогда в жизни не переживала минут ужаснее тех, когда ей пришлось усомниться не только в любви и преданности, но даже в малейшей порядочности самого близкого ей человека.

Теперь несколько минут тянулось томительное молчанье. Наконец государыня глухо сказала:

– Если бы я могла получить хоть какие-нибудь доказательства!..

Она опять замолчала, знаком руки отпустила Роджерсона и, позвонив дежурной фрейлине, приказала сейчас же закладывать экипаж. Вскоре она уже неслась по дороге к Царскому Селу, в тиши которого хотела справиться с обуревавшими ее черными думами.

А в городе слухи об отравлении Кати Королевой не за-

молкали. Наоборот, из уст в уста передавались такие подробности, которые заставляли только разводиться руками. Каким образом могло проникнуть все это в толпу, каким образом секрет, известный ограниченному числу лиц, неспособных проболтаться, вдруг стал достоянием масс? Впрочем, в деле раскрытия преступления всегда играют большую роль слухи и толки, неизменно распространяющиеся из неведомого, таинственного источника и постоянно имеющие в основе немалое зерно истины.

Так и теперь в обществе вполне определенно твердили, что Королева отравлена Орловым по ошибке, что яд, предназначенный маркизу де Суврэ, был получен от старухи-гадалки и что всесильного фаворита выследил оскорбленный им некогда враг, в руках которого имеются все улики по этому делу.

Как только эти слухи появились, Адель очень встревожилась: весь успех ее обвинения мог покоиться лишь на неожиданности удара, нанесенного Орлову, а между тем эти слухи могли заставить его принять свои меры, тогда как к самой государыне все не было доступа.

Ночью явился Строфидас. Он пришел не через дверь, а совершил трудное обходное путешествие через пустыри и заборы, и сказал Адели:

– Я пришел, чтобы предупредить вас: или действуйте сейчас, или откажитесь от своей мести. Граф уже предупрежден обо всем, его люди проследили весь ход наших розысков. И

берегитесь! Не выходите из дома с наступлением темноты одна!

Он сказал это и исчез тем же таинственным путем. Адель тут же решила, приказала разбудить ее в шесть часов утра и приготовить Фюрибонд – огневую скаковую лошадь.

В седьмом часу утра она выехала из дома и направилась в Царское Село. Выехав за заставу, она пустила лошадь бешеным карьером. Накануне таяло, теперь был легкий морозец. Фюрибонд не раз поскальзывалась, и Адели сплошь да рядом грозило опасное падение. Но у нее на карте стояло нечто большее, чем жизнь: удовлетворение женской мстительности! И каждый раз, когда Фюрибонд, поскальзываясь, замедляла шаг, Адель отвечала ей на это резким ударом хлыста, что заставляло не переносившую плети лошадь взвизгивать на дыбы и затем бросаться в пространство с яростной быстротой, вполне оправдывавшей кличку (Фюрибонд по-французски значит «неистовая», «яростная».).

Наконец вдали показалось Царское Село. Фюрибонд, видимо, теряла силы; она храпела, ее спина порою конвульсивно вздрагивала; но Адель все энергичнее погоняла ее. Она убедилась, что Орловы уже приняли свои меры, что доступ к государыне охраняется и что ее торжество может быть достигнуто лишь бесшабашной стремительностью и натиском.

Почти у самого Царского она увидела на дороге двух конных солдат. Заметив всадницу, они встали посередине дороги, видимо, собираясь задержать Адель. Но она только под-

хлестнула лошадь и направила Фюрибонд прямо на стражу, так что лошади тех невольно шарахнулись в сторону, пропуская вихрем пролетевшую всадницу.

Теперь Адель направилась прямо в парк. Она знала, что государыня любила по утрам совершать одинокие прогулки, и, чем хуже было на душе у государыни, тем продолжительнее бывали эти прогулки; знала она также и любимые места Екатерины.

Подъезжая на всем скаку к парку, Адель увидела, что невысокие ворота закрыты, у калитки стоит часовой, а немного в стороне молодой офицерик со скучающим видом осматривается по сторонам. Раздумывать было некогда. Адель ударила лошадь хлыстом, и Фюрибонд птицей перемахнула через ворота. Адель понеслась по довольно широкой аллее. Сзади нее слышались крики, сигналы, однако она, не обращая на это внимания, неслась вперед. Из боковой аллеи выбежал какой-то толстый офицер и испуганно замахал руками на всадницу, но Адель проехала, чуть не растоптав его. Послышались выстрелы. Одна пуля попала в ствол дерева и осыпала Адель мелкими брызгами коры. Другая пролетела совсем близко и оторвала у лошади кусочек уха. Адель все неслась и неслась вперед, с отчаянием нахлестывая лошадь.

Но вот за крутым поворотом показалась другая аллея, и Адель въехала туда. Вдали виднелось какое-то светлое пятно. Через минуту Адель уже видела, что навстречу ей идет

императрица, одетая в легкую светлую шубку. Подъезжая еще ближе, Адель рассмотрела, что лицо государыни выражало удивление и легкую тревогу. Шум, выстрелы, всадник, несущийся во весь опор, были весьма понятной причиной этому.

Шагах в двадцати от государыни Фюрибонд резко замедлила шаги, потом остановилась и, как сноп, рухнула на землю. Адель еле-еле успела соскочить с седла на землю. Фюрибонд погибла, но зато цель была достигнута!

Адель сделала еще несколько шагов вперед и упала на колени, простирая к государыне руки.

– Что такое? В чем дело? Что случилось? – удивленно крикнула Екатерина, ускоряя шаг почти до бега. – Как? Это вы, Гюс? Зачем вы здесь? Что вас привело?

– Ваше величество! Правосудия! – задыхаясь, крикнула Адель и схватилась за сердце: она боялась, что вот-вот упадет в обморок.

– Боже мой, да что случилось? – тревожно спросила Екатерина, подбегая к Адели и поднимая ее с колен. – Ну, ну, успокойтесь, и тогда вы мне все расскажете! Не бойтесь, императрица Екатерина Вторая еще никогда никому не отказывала в правосудии, кто бы ни был обиженный, как бы высоко ни стоял обидчик. Ну, ну, не волнуйтесь! Пойдемте-ка вот сюда, на скамейку! Ишь ты какая смелая всадница!., даже лошадь загнала! – Императрица подвела Адель к скамейке, усадила ее и спросила: – Ну, если вы перевели дух, то, может

быть, вы удовлетворите мое любопытство и скажете мне, что вас привело сюда, ко мне?

– Ваше величество! – ответила Адель, – умоляю лишь о том, чтобы вы выслушали меня до конца! Я прискакала сюда, несмотря на массу препятствий, чтобы открыть вашему величеству возмутительнейшее преступление, жертвой которого стала несчастная Екатерина Королева!

Императрица побледнела и схватилась рукой за сердце. Екатерина ведь так страстно хотела, чтобы угнетавшее ее подозрение падавшее на Орлова, не оправдалось. На мгновение в ней даже шевельнулось желание прикрикнуть на Адель, не дать ей говорить, приказать немедленно выехать из России... Но тут же перед нею пронесся образ Кати. Вот она привязывает котенку бумажку на хвост и смеется с детской радостью, когда котенок начинает кидаться по комнате и пытаться поймать собственный хвост. Вот она со слезами смущения признается своей царственной крестной в любви к маркизу де Суврэ. Вот она с улыбкой бесконечного счастья выпивает свой бокал и затем клонится долу, словно подрезанная былинка. Нет, нет! Нельзя оставить неотомщенным, ненаказанным это зверское преступление! Но Орлов... этот колосс, вознесенный ею на самую большую высоту, ее рыцарь, друг, первый советник, опора! Неужели предоставить возможность доказать с беспощадной ясностью, что она всегда ошибалась в нем, что он никогда не заслуживал ее доверия? Да и может ли она судить его так же, как и всех прочих

людей? Ведь у Орлова нетронутая, первобытная натура, широкий нрав, сильные, вулканические страсти...

И вдруг, словно в ответ на эту мысль, Екатерине вспомнилась фраза, которую она лишь вчера вечером занесла в свою тетрадь: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам» (См. «Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения», гл. V, 34.). И эта фраза решила исход сомнений, которые впоследствии сама Екатерина называла друзьям «кратчайшими и мучительнейшими» в своей жизни.

– Гюс! – сказала она. – Подумайте лучше: может быть, вам не продолжать далее? Вы еще ничего не сказали, и если откажетесь от дальнейших разоблачений, то я сделаю вид, что не слыхала начала. Вы отдохнете, затем я прикажу дать вам лошадь, и вы мирно вернетесь в Петербург. Если же вы все-таки хотите продолжать, я выслушаю вас. Но помните одно: я считаю клеветой всякое обвинение, недоказанное прямыми уликами и показаниями неопороченных свидетелей. Мало того: клевету я считаю одним из тягчайших преступлений! И если вы не имеете доказательств того, что хотите раскрыть передо мной, если несмотря на это вы все-таки решитесь называть имена и приписывать им темные деянья – берегитесь: я покараю вас тем строже, что вы предупреждены мною! Ну, так как же?

– Ваше величество, – твердо ответила Адель, – я имею в своем распоряжении необходимые улики и необходимых

свидетелей.

– Хорошо! – мрачно сказала государыня. – Вы предупреждены, остальное ваше дело! Итак, вы сказали, что моя крестница стала жертвой возмутительного преступления. В чем же оно и кто совершил его?

– Преступление совершил граф Григорий Орлов, положивший яд в тот стакан, из которого пила Королева.

– Почему же графу Орлову понадобилась смерть этой безобидной девушки?

– Яд предназначался маркизу де Суврэ, но последний нечаянно обменялся бокалами с невестой. Граф Орлов преследовал Королеву признаниями в...

– Нет уж, дальнейшую мотивировку вы пока оставьте! Сначала потрудитесь изложить, в чем заключаются ваши улики и кто ваши свидетели!

В этот момент сзади скамейки в засыпанных снегом кустах послышался кашель, затем ветви зашуршали, и, обернувшись, Екатерина заметила чью-то быстро удалявшуюся тень.

Императрица вспыхнула.

– Нас подслушивали! – сказала она. – Невольный кашель выдал шпиона, и он скрылся бегством! Значит, не даром мне все время казалось, что я окружена тайным надзором!

В этот момент с другой стороны аллеи показался тот самый толстый офицер, которого Адель чуть не растоптала. Он, видимо, искал ее на других аллеях и теперь остановился

в нерешительности, увидев, что смелая всадница спокойно сидит рядом с государыней.

Екатерина подозвала его и сказала:

– Полковник, вы плохо блюдете охрану парка! Здесь шныряют какие-то темные личности, подслушивающие из-за кустов, что говорит сама государыня! Это недопустимо, и чтобы больше этого не было! Помните: если это повторится, вам не спрятаться от меня ни за чью широкую спину!

Полковник густо покраснел: намек был слишком ясен.

– А теперь потрудитесь распорядиться, чтобы мне сейчас же положили возок... Или дорога, должно быть, очень плохая? Ну, так карету! Но, главное, поскорее! Ступайте! Пойдемте потихоньку к дому! – обратилась она к Адели.

Они пошли по аллее, держась самой середины, и Адель стала вполголоса рассказывать государыне по дороге о том, как она выследила Орлова.

– Итак, ваше величество, – закончила она, – моя главная улика заключается в двух крупинках яда, того же самого, который употребил граф Григорий. Я уверена, что вторая крупинка все еще находится в перстне на руке у графа, но даже если граф успел отделаться от нее, можно исследовать действие представленных мною крупинок, и оно окажется точь-в-точь таким же, какое сказалось на несчастной Королевы. Что касается свидетелей, то самые ценные показания могут дать грек Строфидас и Зоя-отравительница. Конечно, добровольно они не дадут показаний, но если припугнуть их,

то в конце концов они откроют все. А главным свидетелем остается Фельтен, бывший всюду вместе со мной.

– Хорошо! – мрачно ответила Екатерина. – Мы все это разберем. Сейчас нам заложат карету, и вы поедете со мной.

Для меня совершенно ясно, что Орловы были готовы грудью встретить подстерегавшую их беду, что для этого за каждым шагом государыни следили, для этого шпион подслушал ее разговор с обвинительницей и для этого с закладкой кареты возились крайне долго. Даже больше: я уверен, что поломка оси, случившаяся на полпути к Петербургу и задержавшая государыню почти на целый час, была умышленно подстроена. Еще бы! Надо было выгадать время и дать возможность Орловым еще до приезда государыни в Петербург принять свои заранее обдуманые и подготовленные меры. Впрочем, и без того это время удлинялось тем, что верховой на хорошей лошади мог доехать до Петербурга в полтора часа, а при плохом состоянии дороги карете нужно было почти три часа. Таким образом Орловы могли иметь уже в девять часов утра известие, что в Царское прискакала Гюс, а в начале десятого второй всадник мог сообщить им, что Гюс действительно обвинила графа Григория в совершенном преступлении. Государыня прибыла в Петербург лишь после часа. Четыре часа – достаточное время, особенно когда кое-что сделано еще накануне.

Приехав во дворец, Екатерина приказала позвать полковника Вельяминова, старого, честного служаку, не гораздого

на поклоны и придворное угодничество, но зато слепо повиновавшегося каждому приказанию государыни.

– Полковник, – сказала ему императрица, – возьмите роту дворцовых гренадеров и исполните следующее мое приказанье, ни под каким видом не отступая от моих инструкций ни на волосок. Отправляйтесь на Фурштадтскую, в переулок... Впрочем, подробный адрес вам даст вот эта дама. Вы найдете там старый домик, в котором живет гадалка-ворожея. Оцепите дом гренадерами, арестуйте гадалку и ее слугу. Несколько гренадеров оставьте там и прикажите, чтобы до моего приказа никто не смел входить в дом. Да чтобы там все оставалось на месте! Затем отправляйтесь к полицеймейстеру, узнайте у него, где живет грек Строфидас, арестуйте этого грека и на его квартире тоже оставьте гренадеров. Затем отправляйтесь к майору Фельтену и привезите его во дворец, куда прикажите доставить и других арестованных. На квартире Фельтена оставьте двух гренадеров. Помните, что в помещение для всех арестованных никто посторонний не должен входить, что арестованные не должны сообщаться между собой и что им нельзя позволить оставаться хотя бы минуту без надзора после ареста. Внушите солдатам, что всякий, кто попытается словами или знаками вступить в общение с арестованными, должен быть тоже арестован. Если кто-нибудь из солдат отступит от соблюдения этого во всей строгости, то будет расстрелян!

Адель подробно объяснила полковнику, где находится

дом гадалки, и Вельяминов ушел.

Тогда государыня приказала позвать своего лейб-медика.

– Роджерсон, – сказала она ему, – вот эта дама заявляет, что Катя умерла от отравы и что крупинки, имеющиеся у нее, представляют собой тот самый яд, который сгубил бедную девочку. Вот они, эти крупинки. Считаете ли вы возможным, чтобы такое незначительное количество яда причинило такую мгновенную смерть?

Роджерсон взял в руки коробочку, внимательно посмотрел на крупинки и сказал:

– Действие яда лучше всего испытать на животном. У вашего величества есть безнадежно больная собака Джипси, отравить которую было бы благодеянием. Не разрешите ли вы, ваше величество, произвести опыт на Джипси?

Екатерина ненадолго задумалась, а потом ответила:

– Мне очень жаль бедную старенькую Джипси, но ей действительно жизнь – лишь мучение. Хорошо! Пусть приведут Джипси.

Старой, еле волочившей ноги собаке дали молока, куда бросили одну из крупинок. Джипси раза три-четыре лизнула молоко и вдруг упала. Доктор пощупал у нее сердце – оно не билось.

– Собака мертва, ваше величество, – сказал Роджерсон. – Картина смерти совершенно одинакова; обратите внимание, ваше величество: ни конвульсий, ни стонов... О, это – ужасный яд!

– Благодарю вас, Роджерсон, – сказала императрица, силой воли подавляя волнение. – Вы можете идти.

Она приказала убрать труп Джипси и позвать графа Григория.

Орлов вскоре появился. Он выказал себя недурным актером, так как держался совершенно спокойно и при виде Адель проявил лишь удивление.

– Граф Григорий Орлов! – торжественно сказала императрица. – Против вас возведено тяжкое обвинение, в котором от души желаю вам оправдаться. Госпожа Гюс обвиняет вас в том, что вы подсыпали яда в бокал маркиза де Суврэ, что послужило причиной смерти его невесты, взявшей этот бокал. В подтверждение своего обвинения госпожа Гюс приводит улики и свидетелей. Что вы можете сказать по этому поводу?

Орлов улыбнулся, слегка пожал плечами и спокойно ответил:

– Но, ваше величество, мне нечего сказать. Обвинение слишком фантастично, чтобы принимать его всерьез. Кто же – те свидетели, которые видели, как я сыпал яд в бокал маркиза де Суврэ?

– Госпожа Гюс, назовите графу имена ваших свидетелей и сообщите в общих чертах, что и о чем может свидетельствовать каждый из них.

– Никто не видел, как вы сыпали яд, граф, – ответила Адель, – но многие видели, как вы покупали его, а только что было проверено, как действие купленного вами яда произ-

вело совершенно такую же смерть, какой умерла несчастная Королева. Этими свидетелями явятся следующие лица: во-первых, ворожея, у которой вы покупали яд...

– Никогда в жизни я ни к какой ворожее не обращался!

– Затем двое лиц, бывших со мной на чердаке дома ворожеи в тот момент, когда она отпускала вам яд. Этими лицами является грек Строфидас...

– Ваше величество, наверное, вы помните этого Строфидаса? Он служил нам в памятном шестьдесят втором году, продал нас Воронцовой, чем чуть не погубил нашего дела. Я тогда сильно проучил его, и он должен быть очень зол на меня. Свидетель из достоверных!

– Вторым лицом, бывшим со мной на чердаке, был майор Фельтен.

– Фельтен? Ну, это – свидетель покрупнее, чем какой-нибудь прохвост-сыщик! Но только не ошибаетесь ли вы? Все-таки Фельтен – офицер и дворянин, и от него трудно ждать, чтобы он решился заведомо лгать в глаза матушке-царице! Хотя, конечно, чего не бывает! Чары любви сильны, и безумие страсти уже не одного Самсона сбивало с пути праведного.

– Между мной и Фельтеном никогда ничего не было, кроме самой чистой дружбы! – воскликнула с негодованием Адель.

– Не смею оспаривать, – учтиво ответил Орлов. – Значит, меня генерал Астапов подвел! Недавно я попал к нему, ва-

ше величество, как раз в тот момент, когда он кончал «мыть голову» майору Фельтену. Я спросил, за что он его так. «Да никакого сладу с человеком не стало! – с досадой ответил мне генерал. – С тех пор как Фельтен спутался с этой Гюс, он совсем службу забросил: постоянно манкирует, а и придет на службу – толка нет, так как его мысли Бог весть где витают. Да и пойдет ли служба на ум, когда он каждую ночь, чуть ли не до утра, все у своей француженки сидит?».

Екатерина искоса посмотрела на Адель. Действительно, от слов графа Орлова на свидетелей еще до их показаний легла густая тень.

А Орлов все с тем же беззаботным видом продолжал:

– Но это, вероятно, еще не все свидетели? Наверное, в ваших путешествиях по крышам и чердакам принимал участие и маркиз де Бьевр?

– Нет, – ответила Адель, – я не вмешала Бьевра в эту историю!

– Жаль! – сказал Орлов, иронически улыбаясь. – Это был бы самый крупный, самый достоверный свидетель! Маркиз де Бьевр имеет очень большой вес в глазах ее величества, и его-то как раз вы и не ставите свидетелем! Жаль!

– В самом деле, – резко заметила Екатерина, – как это могло случиться, что самый близкий вам человек, да еще живущий с вами под одной кровлей, вдруг ничего не знает о таком деле, не принимает участия в ваших похождениях?

– Вот именно потому, что он мне так близок и живет со

мною под одной кровлей! – ответила Адель. – Я боялась, что из-за этого его свидетельским показаниям не будет никакой цены.

– И совершенно напрасно боялись, – холодно ответила Екатерина. – Маркиз де Бьевр не из тех людей, которым можно не поверить только потому, что он защищает интересы близкого ему лица!

Вспоминая потом эти слова императрицы, Адель говорила, что она никак не может простить себе непоправимого ро-тозейства, которое она допустила, не попросив государыню вызвать меня, чтобы допросить о моем разговоре с Катей Королевой на эрмитажном собрании. Раз государыня действительно так верила мне, она поверила бы правдивости преследований, перенесенных покойницей от графа Григория, а это и перетянуло бы в решительный момент чашу доводов на сторону виновности Орлова, да и было бы в глазах государыни самостоятельной крупной виной, способной значительно поколебать положение фаворита.

Но ведь это старая истина, что хорошие мысли зачастую приходят слишком поздно. В тот момент Адель не воспользовалась этим веским орудием обвинения, а вскоре ей было уже не до того, чтобы что-нибудь соображать: слишком оглушительны оказались результаты похода Вельяминова за свидетелями.

– Ну, привели? – спросила его Екатерина, когда в дверях показалась коренастая, приземистая фигура полковника.

– Никак нет, ваше императорское величество! – ответил тот.

– Но почему же?

– Дозвольте доложить все по порядку?

– Говорите!

– Полицеймейстер заявил мне, что, по сведениям полиции, грек Строфидас выбыл из Петербурга около года тому назад и больше не появлялся. Это известно полицеймейстеру потому, что Строфидас нередко оказывал полиции частные услуги, так как славился как опытный и умелый сыщик. Еще недавно – месяца полтора тому назад – его опять искали, но его в Петербурге не оказалось.

– Но он был у меня еще вчера ночью! – растерянно крикнула Адель.

– Кто это может подтвердить? – спросила Екатерина.

– Да все – слуги, Бьевр, которому вы так верите, Фельтен...

– Простите, – вмешался Орлов, – разве ваши слуги и маркиз де Бьевр знали Строфидаса в лицо? Иначе говоря, могут ли они подтвердить, что лицо, которое было у вас вчера, которое у вас вообще бывало, было именно Строфидасом?

– Нет, – растерянно ответила Адель, – Строфидаса в лицо знал только майор Фельтен, который и привел его ко мне.

– А Фельтен? – сказала императрица. – Ну что же мы его спросим! Но вы сказали, полковник, что не привели никого? Что же помешало вам привести Фельтена?

– Смерть, ваше императорское величество! – ответил Вельяминов.

– Как! Он умер?

– Майор Фельтен покончил с собой. Слуги сказали мне, что майор с вечера заперся в кабинете и не велел себя беспокоить. Я постучал в кабинет, мне никто не ответил. Тогда я приказал взломать дверь. В кресле у стола сидел майор с простреленной головой. Его правая рука свесилась на пол, на котором валялся разряженный пистолет, а левая рука лежала на столе, на книге.

– И он не оставил никакой записки? Никаких объяснений?

– Нет, ваше величество! Только в книге, лежавшей перед покойным, оказалась густо подчеркнутой одна строка, которую можно принять за предсмертную записку. Я не помню дословно этой фразы, но ее значение таково, что лучше, дескать, позорная смерть, чем ложь, унижающая честь!

– Мир его душе! – сказал Орлов. – Я был уверен, что Фельтен не решится лгать в глаза матушке-царице!

– Этого не может быть! – крикнула Адель, чувствовавшая, что земля уходит у нее из-под ног. – Фельтена убили, он не сам покончил с собой!

– Вельяминов, позовите Роджерсона! – приказала императрица и, когда врач пришел, сказала ему следующее: – Доктор, отправляйтесь сейчас же на квартиру майора Фельтена. Его застали мертвым в обстановке, указывающей на

самоубийство. Попробуйте установить, действительно ли здесь произошло самоубийство или можно предположить, что майора убили. Вельяминов, пошлите с Роджерсоном гренадера; пусть скажет часовым, которых вы там оставили, что доктор идет в квартиру покойного по моему распоряжению!

Вельяминов, исполнив приказание государыни, вернулся.

– Ну, а гадалка? – нетерпеливо спросила его Екатерина.

– Я не нашел никакой гадалки, ваше величество. Когда я подошел к дому, описанному мне госпожой Гюс, я застал его пустым. Будочник, будка которого находится неподалеку, решительно заявил мне, что в этой лачуге никто уже давно не живет. Я проник в заколоченный дом. Действительно внутри у него такой вид, что похоже, будто там уже давно не живут!

– Но этого не может быть! Вы не туда попали! – крикнула Адель, хватаясь за спинку ближнего стула, чтобы не упасть.

– Я и сам так подумал, – ответил Вельяминов. – Для этого я осмотрел всю местность, но нигде не нашел ничего похожего на этот дом. Кроме того я вспомнил, что вы говорили, будто этот дом примыкает к вашему. Я проверил и убедился, что эта лачуга единственная, которая по ситуации подходит под ваше описание!

– Хорошо, вы можете идти, полковник. Благодарю вас! – сказала императрица. – Свидетелей нет, Гюс! – сказала она, обращаясь к бледной Адели.

Та молчала.

– Еще одно слово, граф! – продолжала Екатерина, обращаясь к Орлову: – Подойдите ко мне! Ближе! Протяните правую руку! Так! Теперь скажите, что это у вас за перстень и что находится в отверстии, имеющемся под камнем?

– Здесь у меня одно лекарственное снадобье, ваше величество, – ответил Орлов, открывая перстень и показывая лежавшие там белые крупинки.

– Снадобье? – переспросила государыня. – А от чего оно излечивает? Уж не от жизни ли?

– Вы думаете, что это – яд, ваше величество? – с величайшим изумлением сказал Орлов. – Господи! Это – самое невинное средство, которое изобрел мой врачешко Рейхталь против сердцебиения! – и, сказав это, Орлов спокойно взял одну из крупинок и проглотил ее.

Вскоре пришел Роджерсон. Он заявил, что убийство возможно, но не бесспорно. Самоубийство можно предположить с таким же вероятием, как и убийство. Поза покойного кажется искусственной, но категорически утверждать, что майора сначала убили, а потом посадили в определенную позу, в которой и дали труп застыть, – нельзя. Это только возможно, но не очевидно.

Екатерина знаком руки отпустила Роджерсона и глубоко задумалась. Наступила минута томительного, жуткого молчанья. Когда императрица вновь подняла голову, страшно становилось при виде ее осунувшегося, постаревшего лица, ее померкшего взора.

– Граф Григорий Орлов! – медленно, торжественно сказала она. – Ничто не подтвердило вескости взведенного на вас обвинения, но в этом деле слишком много странных, необъяснимых совпадений. Лишь один Небесный Судия может разобраться в таком сложном деле, я же – человек, и, не имея возможности проникнуть в сокровенное сердце, могу лишь судить по внешним признакам. Данных для обвинения нет, но... нет и полного оправдания. Во всяком случае, я считаю полезным, чтобы вы на некоторое время покинули Петербург, пока не уляжется волнение, поднятое темными слухами. Вы сегодня же вернетесь обратно в Новгород и останетесь там до тех пор, пока моя воля не призовет вас сюда. В Новгороде много работы. Постарайтесь разобраться в тамошних темных делах лучше, чем это удалось сделать мне сегодня в этом таинственном деле!

Орлов низко поклонился.

Екатерина опять замолчала.

– Госпожа Гюс! – сказала она потом. – Я грозила вам строгой карой, если ваше обвинение не подтвердится. Но я не буду карать вас. Я верю, что так лгать, как вы говорили мне сегодня, нельзя. Я верю, что вы сами считаете свои слова правдой, что вы не имели в виду обмануть меня, а ведь карать можно лишь злую волю... Как знать! Быть может, вы стали жертвой тяжелого сна, принятого вами за действительность. Быть может, жажда мести, злобные чувства к графу Орлову породили в вашей душе безумие, и все рассказанное вами

навечно призраками больного мозга... А может быть, и... Но все равно! Обвинение не подтвердилось, Гюс, доказательств нет! Между тем это обвинение придавило мою душу тяжелым кошмаром! И вам тоже надо уехать, Гюс, иначе ваше присутствие будет вечно угнетать меня и не даст мне успокоиться. Я даю вам отпуск на два года. Завтра вы получите жалованье за год, жалованье за следующий год вы получите через наше посольство в Париже. Но чтобы завтра к вечеру вы уже выехали из Петербурга! Если спешность отъезда вовлечет вас в убытки, подсчитайте их и подайте счет: я распоряджусь, чтобы вам уплатили все вместе с жалованьем. А теперь ступайте и, не теряя времени, принимайтесь за сборы: послезавтрашнее утро не должно застать вас в моей столице!

Адель поклонилась императрице и, пошатываясь, вышла из комнаты.

Я был крайне поражен, когда Адель, вернувшись домой, с безжизненным спокойствием рассказала мне о результатах своей поездки в Царское. Меня охватил ужас при мысли, сколько преступлений роилось вокруг этого блестящего трона.

«Бедная Екатерина! Бедная мудрая императрица! Бедная Семирамида севера!» – думал я. – Весь твой ум, величие души, желание добра – все разлетается в прах, разбиваясь о клубок темных хищных страстей несчастливого приближенных тобой людей. И эти люди способны превратить в ничто все твои благие начинания, все твои широкие замыслы! По-

может ли тебе судьба сбросить их иго или силы ада будут по-прежнему покровительствовать высокопоставленным негодьям? Бедная, бедная Россия! Судьба послала тебе государыню, которая способна возвести тебя на величайшую высоту, но хищники-паразиты, гнездящиеся в складках ее царственной мантии, разрушают и подтачивают тебя! Смрадной стеной стали они между государем и народом! И затемняет эта стена народу светлое чело мудрой царицы, и бессильна разглядеть царица из-за этой стены свой народ... Бедная Семирамида севера! Бедная Россия!

Но вскоре я оторвался от этих соболезнующих чуждой мне стране дум: меня не на шутку стала тревожить Адель. Она ходила, словно неживая, и тон голоса, которым она отдавала распоряжения, был сух и холоден, словно стук заколачиваемого гроба.

За обедом она была молчалива, мало ела, но много пила. – Знаешь, братишка, – сказала она мне в конце обеда, – ведь я давала Богу, которому ты так веришь, клятвенный обет, что я исправлюсь и буду вести чистую жизнь, если Он поможет мне нанести проклятому Орлову решительный удар. Ты видишь, в каком я положении... Ну что ж, не удалась Адель-праведница, так пусть весь мир кричит об Адели-развратнице! Берегитесь, люди! Вы не жалели меня, теперь уже и я вас не пожалею! Да здравствует разнузданность, да здравствует грех! Шире дорогу радостям жизни – какой бы ценой они ни доставались!

Она высоко взметнула бокал с крепким вином, допила его до последней капли и затем с силой хлопнула об пол, рассмеявшись тяжелым, сухим, неживым смехом. Затем, положив голову на руки, она заплакала, кусая себе пальцы.

А на следующий день к вечеру мы уже мчались из кошмарного Петербурга.

Глава 13

Помните ли, как в «Декамероне» Боккаччо рассказывает о происхождении новелл, вошедших в состав книги? В Италии свирепствовала чума, люди валялись, как мухи осенью, и всеми умами овладела паника. Тогда несколько беззаботных парочек удалились в имение и образовали там веселое сообщество, главной целью которого было прогнать от себя мысль о возможности страшного конца. На лоне природы они предались веселью, забавам, песням и любви. Где-то близко от них смерть справляла свой страшный праздник жатвы, один за другим валялись посиневшие, раздувшиеся трупы, воздух оглашался стонами и проклятиями, а беззаботное общество продолжало ничего не замечать, забавляясь рассказыванием побасенок и шуточных сказочек. Сплошным радостным пиром, веселой пляской наслажденья текла их жизнь!

Мне невольно вспомнилось это, когда по возвращении в Париж я огляделся на странные формы, в которые теперь вылилась парижская жизнь. Париж всегда жил весело, и высший класс никогда не отказывал себе в развлечениях. Но теперь в этом шумливом веселье чувствовались какая-то судорожность, какая-то отчаянность, даже принужденность, пожалуй! Так и казалось, что могущественный чародей махнул над Парижем волшебной палочкой, и все завертелось в под-

невольном сладострастном кружении...

Да, это был пир во время чумы! Народ стонал под непосильным ярмом, исходил кровавым потом на работе, умирал от голода и нищеты. Дворянство было поголовно разорено, но беззаботно рубило последнюю ветку, на которой оно еще держалось. Трон шатался под напором закипавшего народного бешенства, корона еле держалась на истасканном челе обезумевшего короля-сладострастника, а королевский скипетр превратился в погремушку венценосного шута. Не было больше королевского престижа, обаяния имени «монарх». Права превратились в лишенную обязанностей синекуру, обязанности, честь, долг – в лишенные смысла слова, власть – в произвол, закон – в насмешку над справедливостью. И по ночам казалось, будто над Парижем огненной надписью сверкает завещанное покойной маркизой де Помпадур мудрое жизненное правило:

«После нас – хоть потоп!»

Париж бешено кружился у самого края бездны – именно кружился, потому что парижан охватила какая-то мания танца. На каждом шагу открывались «танцульки», где смешивались самые разнообразные слои общества: сюда в погоне за новыми ощущениями бежала представительница старых аристократических родов и спешила гризеточка из Латинского квартала, а приближенный короля всегда мог встретиться здесь со своим конюхом или камердинером. Разумеется, бывали такие учреждения, куда нижний слой почти не

мог проникнуть, но таких, куда не проникала аристократия, не было!

Соответственно всему этому резко изменился и сам характер танца. Прежнюю благородную плавность сменила разнузданная порывистость, на смену грациозным движениям прошлого пришли грубые, зачастую неприличные прыжки и скачки. Танец уже не служил выразителем заложенного в природе человека благородного чувства, ритма и гармонии; он отражал с недавнее парижан торжище плотских страстей!

И это безумное кружение, этот отчаянный разгул представляли собой какой-то вихрь, водоворот, который сразу засасывал и увлекал. Самые благоразумные люди сплошь да рядом теряли голову и отдавались оглушающему потоку, закрывая глаза на действительность. Жизнь и честь обесценились до степени мелкой разменной монеты, съестные припасы и предметы первой необходимости возросли до ужасающей дороговизны. Создались условия, при которых не мог жить в элементарном довольстве не только простой рабочий, но даже средний обыватель. Хлеб ценился чуть не на вес золота, а золото слепо разбрасывалось пригоршнями, куда попало. Говядина стала предметом роскоши, человеческое мясо не стоило ничего. Каждый день на улицах подбирали трупы зарезанных и ограбленных; убийства из-за пустяка, из-за неловкого слова, из-за косога взгляда, из-за разницы в мнениях происходили на каждом шагу. Не стало честных жен-

щин, верных жен, мечтательных девушек – все продавалось, все имело свою цену на рынке безумных вожделений, и все приносилось в жертву на алтарь нужды и жажды роскоши. Если же и встречалась кое-где в виде редкого анахронизма добродетель, то она ходила в рубище, была источена голодом и болезнями. Зато сытые, хмельные, разодетые развратницы стремительным каскадом рассыпали вокруг себя золотой дождь.

А по смраднему трупу разлагающейся монархической Франции жадно шныряли хищные, прожорливые шакалы из «третьего сословия». Буржуям, вытягивавшим соки и из народа, и из нерасчетливого, промотавшегося дворянства, было привольно на этом кладбище; действительно большинство крупных мещанских состояний, большинство поколений финансово-мещанской аристократии имеют корни в эпохе Людовика XV, Людовика Возлюбленного, как, не сознавая адской иронии этого эпитета, прозвали короля льстивые придворные.

Вот какова была атмосфера, которую мы встретили в Париже по возвращении из России. Надо ли удивляться тому, что, оглядевшись по сторонам и вдохнув в себя этот запах тления, Адель оживилась, ее глаза засверкали, а ноздри широко раздулись? Могильный цветок, вскормившийся на соках разложения, еще пышнее распустился, почувствовав под собой родную, жирную почву.

Я был бы в крайне затруднительном положении, если бы

мне пришлось подробно описывать этот период нашей жизни в Париже. Ведь Адель с первого дня зажила той самой бесшабашной жизнью, которую я охарактеризовал в прошлой главе. Эта жизнь была полна неожиданностей, подобна вихрю своей стремительностью, вечной сменой впечатлений. Но это разнообразие было чисто внешним, а по существу вечно повторялось одно и то же. Пусть сегодня наибольшей милостью у Адели пользовался де Сартин, а завтра – князь Голицын, – все равно эта милость обуславливалась той суммой, которую я заносил на приход в кассовую книгу. Пусть сегодня танцевали где-нибудь на Монмартре, а завтра устраивали блестящий бал в кафе Фуа – схема увеселений оставалась одной и той же. Пусть общество, в котором вращалась Адель, отличалось крайней пестротой, и от родовитых аристократов Адель переходила к зазнавшимся богачам-мещанам, а от них – к кружку аристократов ума, – все равно: везде ее окружали одно и то же шумное беспутство, один и тот же знойный вихрь страстей.

Самые странные неожиданности того времени настолько носили на себе отпечаток характерной спутанности понятий, что это объединяло и равняло между собой явления самого различного порядка. Конечно, с первого взгляда может показаться весьма замечательным тот факт, что Луи Каракьоли, человек немолодой, родовитый и ученый, вздумал предложить Адели руку и сердце, а она отказала ему под тем предлогом, что его дворянство недавнего происхождения и

насчитывает не более двухсот лет. Но ведь надо принять во внимание, что для того времени тут не было ничего удивительного, особенно после того, как сам король сделал полуграмотную гризетку Вобернье графиней Дюбарри. А история Ленормана и девицы Рэм? Впрочем, об этой истории стоит сказать два слова поподробнее.

Муж покойной маркизы де Помпадур, Шарль Гюильом Ленорман де Турнегем-д'Этьоль, человек около пятидесяти лет, спокойный, рассудительный, очень богатый и крайне дороживший родовитостью и аристократизмом, однажды с видом полной убежденности высказал в довольно большом обществе, что, по его мнению, монархия – отживший институт и что всякий, желающий Франции добра, должен надеяться, что она станет республикой. Эти слова облетели весь Париж в качестве милой шутки и смешной благоглупости! Ленорман и республика! Что может быть между ними общего! И Париж весело хохотал над этой наглядной несообразностью.

Но вскоре пришла еще более поразительная весть: д'Этьоль сделал предложение знаменитой девице Рэм, и их свадьба должна состояться в самом непродолжительном времени. А надо вам сказать, что эта Рэм была самой отчаянной куртизанкой того времени.

Конечно, Ленорман сейчас же попал на зубок парижанам, и уже на другой день на всех перекрестках распевали язвительный куплет:

Pour ruperer miseriam,
Que Pompadour fit a la France,
Le Normand, plein de conscience,
Vient d'epouser Rem-publicam.¹

Ленормана так задразнили этими стишками, что брак расстроился. Но достаточно уже того, что этот брак был возможен. Так что же может удивить кого бы то ни было в приключениях Адели в этот период времени?

Поэтому, отказываясь от мысли восстановить шаг за шагом все те пять-шесть лет, которые мы прожили в Париже до вторичного возвращения в Россию, я просто отмечу то, что имело непосредственное отношение и влияние на дальнейшую судьбу Адели.

Прежде всего скажу два слова о себе, чтобы уже не возвращаться к этому. Вскоре по прибытии в Париж я узнал, что мои дядя и тетя Капрэ умерли, причем все состояние Капрэ завещал мне. Однако в данный момент я был лишен возможности вступить во владение завещанным, так как дядя оговорил ввод во владение необходимостью моего признания в том, что между мной и девицей Гюс все бесповоротно кончено. Правда, нотариус, сообщивший мне об этом, дал мне понять, что по точному смыслу завещания никакой

¹ «Чтобы исправить все то зло, которое Помпадур причинила Франции, добросовестный Ленорман собирается вступить в союз с республикой (или с публичной Рэм)» – в двусмысленности последней фразы и заключается вся соль эпитафии.

проверки моего признания произвести не поручено, так что этот пункт является пустой формальностью, ровно ни в чем не могущей стеснить меня. Но я отогнал от себя искушения дьявола. Гаспар Лебеф де Бьевр мог ошибиться и пасть, но бесчестным он не был и никаких компромиссов в делах совести не признавал. Поэтому вопрос о вступлении в наследство я отодвигал в туманное, смутное будущее. Как увидит читатель, еще не скоро пришлось мне назвать эти денежки своими.

Конечно, я далеко не с легким сердцем отказался от предложения нотариуса сделать в присутствии двух свидетелей требуемое признание и получить свой капитал. Но что же я мог сделать?

Говорить с Аделью было совершенно бесполезно, так как я сам видел, насколько был нужен ей. Адель была крайне беспорядочна в денежных делах и совершенно не умела вести их. Ей нельзя было отказать в коммерческом нюхе, и многие мероприятия, внушенные ей, были действительно целесообразны со своей точки зрения. Так, например, Адель пожелала, чтобы я вел три отдельных счета: счет военных, счет статских аристократов и счет богатых буржуа. Из месячных итогов каждого счета она могла видеть, какого общественно-го слоя ей выгоднее всего преимущественно держаться. Но подать мысль – мало, надо уметь осуществить ее, а на это Адель сама по себе была совершенно неспособна. Она была жадна до денег, умела вытянуть с поклонника все, что

можно, но в тех случаях, когда субсидия поклонника должна была поступать регулярно, она непременно забывала напомнить ему о наступившем сроке. Поэтому мне приходилось следить за этим и докладывать Адели, что тогда-то истек назначенный таким-то срок уплаты такой-то суммы, после чего Адель предъявляла требования об уплате. Вообще могу сказать, что эта сторона дела была поставлена у нас с коммерческой аккуратностью солидного торгового дома. Помимо этого, без меня прислуга и поставщики неминуемо разорили бы Адель. Я строго следил за подаваемыми счетами, не давал воли прислуге, не позволял красть слишком много, а Адель была настолько безалаберна, что у нее можно было все взять из-под носа. Она сама отлично сознавала это, и вот именно моя добросовестность являлась причиной того, что мне нечего было думать об освобождении.

Впрочем, даже если бы я вздумал пренебрегать своими обязанностями, Адель не рассталась бы со мной. По приезде в Париж она с такой стремительностью завертелась в водовороте веселой жизни, что у нее буквально не было времени следить самой за чем-нибудь, а положиться на нового человека при эпидемии убийств и грабежей, которая свирепствовала в то время, было невозможно. Свободного времени у Адели действительно не было. Вести о ее российских приключениях и артистических успехах проникли и в Париж, и уже на третий день после ее приезда дирекция «Комеди Франсэз» повела с ней переговоры о гастролях. Выступления

Адели каждый раз собирали полный зал и вызывали такой восторг, что от ангажементов и гастрольных предложений у нее не было отбоя.

А время, остававшееся от спектаклей и репетиций, без остатка уходило на бесконечные пиршества, маскарады, поездки и пр., и пр. Иногда случалось так, что Адели по двое суток не удавалось прилечь хоть на полчаса. Сколько раз, бывало, часов в одиннадцать утра она являлась домой, приходила в ту комнату, где я возился с книгами, счетами и корреспонденцией, сдавала мне деньги, садилась против меня и, потирая кулачками заспанные глаза, устало говорила:

– Ах, Гаспар! Какая скучная вещь – это их веселье!

И каждый раз, когда она произносила подобную фразу, в моей памяти вставала бледненькая девушка-подросток, со стоном говорившая: «Ах, мать, мать! Какие скоты – эти мужчины, и какая грязная история – эта их любовь!»

Да, всего-то каких-нибудь пять лет прошло с того времени, а какой большой скачок отделял теперь душу Адели от него! Теперь разврат уже не казался ей «грязной историей», наоборот – он был скучен ей именно потому, что давал слишком мало ощущений, выливался в слишком однообразные формы. Впрочем, и то сказать: мало ли надругались за это время над душой Адели? Так где же тут сохранить былую брезгливость?!

Да, Адель сильно изменилась с того времени и теперь очень ловко вертела мужчинами. Вскоре после нашего воз-

вращения к ней вернулись все ее прежние поклонники, и все они вскоре были удостоены зачисления в штат постоянных друзей сердца. В число их теперь попал и князь Голицын. Он сам, так сказать, капитулировал, напомнив Адели, как она ответила ему на его домогательства любви: «Придется нам с вами подождать, пока или я постарею до бескорыстной любви, или вы постареете до любви корыстной».

– По всем признакам я уже постарел, – с беззаботной улыбкой сказал князь, – а вы – все еще нет! Так вот, дорогая мадемуазель, не обсудим ли мы этот вопрос, как рассудительные, деловые люди?

Они живо обсудили этот вопрос, и князь Голицын стал бывать у нас на положении «премьера».

После Голицына ближайшими друзьями Адели были: маршал Шарль де Роган, принц де Субиз, генерал-лейтенант Антуан де Сартин и канцлер Ренэ де Мопу. Все четверо отлично знали о роли князя Голицына, равно как и сам он отлично знал о них. Но ревновать в то время было не в моде, это считалось дурным тоном, да и каждый из «гусситов», как шутя называли себя ближайшие друзья Адели, отлично понимал, что одному человеку немислимо удовлетворить хищный аппетит такой прожорливой птицы.

Кроме «коренника» – Голицына и славной титулованной тройки – Субиза, Сартина, Мопу – победную колесницу Адели помогали тащить многие «поддужные» со стороны. Состав этих «поддужных» был самый разнообразный. Встреча-

лись молодчики из провинции, оставлявшие в один вечер у Адели сумму, на которую они собирались прожить в Париже целый год. Были тут солидные отцы семейства, в течение года откладываявшие потихоньку деньги, чтобы иметь возможность посидеть хоть разок один-два часа в обществе Адели. Попадались купцы-толстосумы, нередко объявлявшие себя несостоятельными после недели веселого кутежа с Аделью. Иностранные владетельные особы, наезжавшие в Париж, считали своим непременно долгом осмотреть и девицу Гюс в числе общих парижских достопримечательностей. Среди этих владетельных принцев был один, которому суждено было впоследствии сыграть значительную роль в судьбе Адели и о пребывании которого в Париже мы поэтому поговорим подробнее.

Это был принц Густав, впоследствии шведский король Густав III. Но о нем дальше, а теперь вернемся к обществу Адели.

Глава 14

Помимо «карманных гусситов», существовали еще «гусситы» дружбы и каприза.

В числе первых – женщин было очень мало, в числе вторых – не было, разумеется, совсем. Самыми близкими «гусситками дружбы» были: артистка итальянской оперы Паскалина Фель и княгиня Екатерина Дашкова. Паскалина Фель пользовалась, как артистка и женщина, таким же успехом, как и Адель. Но все их интересы настолько различались, что никакого соперничества у них и быть не могло. Адель была драматической артисткой, Паскалина – оперной. По внешним данным Адель была золотистой блондинкой, умеренно полной, с осанкою и манерами дамы большого света. Паскалина была смуглой брюнеткой, очень порывистой, сухова-той, подвижной, гибкой. Адель была настоящей женщиной, Паскалина напоминала переодетого мальчишку. Адель была мягка в движениях и манерах, но резка и ядовита в словах, а Паскалина Фель как раз наоборот: отличаясь безобидным юмором, она бесконечно потешала общество, никого в то же время не обижая. Паскалина болтала без умолку и смеялась без перерыва; Адель говорила мало и почти никогда не смеялась, ограничиваясь улыбкой и прищуриванием зеленова-тых глаз. Поэтому они не боялись взаимного соперничества: тот, кому нравилась Паскалина, не прельстился бы Аделью,

а поклонники Адели находили, что с Паскалиной очень мило поужинать, но не больше. Так как делить обеим артистам было нечего, а в своих воззрениях на жизнь и в хищнических аппетитах они вполне сходились, то их дружба была совершенно естественна.

Екатерина Дашкова была «гусситкой» только наполовину, так как она в то же время была ярой «фелинисткой». Впрочем, Фель пользовалась ее симпатиями в большей степени, как выдающаяся певица, а в Адели Дашкова высоко ценила сильную женщину, умеющую твердо и прямо идти намеченным путем, добиваться своего и сметать всякие ненужные помехи вроде щепетильности, совестливости, сентиментальности и т. п. Дашкова была ярой поборницей прав женщины и находила, что мужчины забрали так много воли лишь по мягкосердечию и нежной податливости прекрасной половины. В ее глазах Фель была просто женщиной, которая пользуется своими чарами для беспечального существования; Адель же, по ее мнению, была женщиной, мстящей мужчинам за их правовое засилье. Удивляться этому нечего: княгиня Дашкова была очень умной и образованной женщиной и во многом отличалась трезвым отношением к жизни; но и у нее был свой «пунктик», и у нее были свои странности, благодаря которым умная Дашкова говорила и делала немало глупостей.

Дашкова была искренне привязана к Адели, но та внутренне относилась к княгине с недоброжелательной иронией.

Однако княгиня была полезна, а потому Адель тщательно таила свое действительное отношение к ней.

Благодаря Дашковой Гюс быстро сошлась с целым кружком выдающихся умов, которые, став «гусситами дружбы», увеличили ее ореол и обаяние. В состав этого кружка входили: барон Фридрих Гримм, резидент герцога Саксен-Готского и (впоследствии) деятельный корреспондент императрицы Екатерины; философы д'Аламбер и Дидро; скульптор Фальконэ, имевший особенный успех в России и отливший по заказу императрицы Екатерины конный памятник Петру I; художник Гренэ, тоже немало работавший для русской императрицы; Шарль Коллэ, талантливый автор массы популярных песенок, эпиграмм и сатир, основавший вместе с Пироном и другими лицами знаменитый кружок «Каво», который получил свое название от винного погребка, где собирались его члены (Каво – по-французски погреб). Этот кружок сыграл очень большую роль в предреволюционный период, так как меткие сатиры и эпиграммы, импровизируемые за стаканом вина, сейчас же подхватывались улицей, не давая заснуть в массах глухому недовольству и чувству политического бесправия.). Разумеется, «гусситами» стали и остальные члены этого кружка, насчитывавшего в своих рядах, кроме Коллэ и семидесятипятилетнего поэта Алексиса Пирона, следующих выдающихся мужей: романиста Кребильона-младшего (которому, однако, было пятьдесят восемь лет); поэта Жозефа Сорена; поэта Пьера Бернара, прозван-

ного Жантиль-Бернар (Т. е. милочка Бернар.); аббата Берниса, в юности – автора фривольных песенок, а впоследствии – кардинала, министра и члена Французской академии; ядовитого шевалье де Буффлера, который впоследствии стал очень важным губернатором Сенегала, но в то время беззаботно прожигал жизнь. Шевалье де Буффлер был самым младшим членом этого кружка: ему ко времени описываемых событий было около тридцати лет. Кроме указанных лиц, в кружке «Каво», а равно и в кружке «гусситов дружбы», было много других, но всех их не упомнишь, и я назвал только самых выдающихся.

Что касается «гусситов каприза», то я только теперь вижу, насколько был ошибочен в то время мой взгляд на эту сторону жизни Адели. Дело в том, что по временам Адель внезапно пленялась каким-нибудь бедным студентом, художником, начинающим поэтом, бросала на несколько дней свой роскошный дворец и проводила дни и ночи в мансарде бедняка, разыгрывая собою его музу. Я думал тогда, что в этих выходках сказывалась потребность в идеальной любви, что сердце Адели еще не окончательно источено развратом, и надеялся, что явится наконец такая сильная привязанность, которая спасет Адель и возродит ее к новой жизни. Но потом я убедился, что на эти приключения Адель толкали как раз, наоборот, крайняя испорченность, погоня за новыми ощущениями, а иногда и желание настоять на своем. Адель привыкла, чтобы в ее присутствии все мужчины млели и тая-

ли, а случилось так, что какой-нибудь мечтательный юноша окидывал ее ледяным взглядом, в котором читался суровый укор ее распутству и пороку. Этого было достаточно, чтобы Адель сейчас же принималась за свои фокусы. Она заводила с юношей более близкое знакомство, начинала жаловаться на свою судьбу, на окружающих ее мужчин, которые неспособны дать что-либо жизни сердца, говорила, что если бы ей удалось встретить настоящего мужчину, то ради него она порвала бы со всем... Разумеется, юный пижон попадался в сети опытной кокетки, и для него начиналась краткая пора «неземного счастья». Когда же Адель видела, что бедняга доведен до настоящей точки кипения, она высмеивала его в глаза и опять возвращалась домой. Конечно, бывали «капризы» и по другим мотивам.

Эти «капризы» служили Адели лишь мимолетным развлечением, но для самих объектов проходили не всегда бесследно. Двое глупых юношей покончили с собой, другие спились, несколько разбило себе жизнь, порвав с любимыми невестами. Много было несчастий... Но Адель только щурила свои зеленоватые глаза и говорила, пренебрежительно пожимая полными плечами:

– Кто же им велел? Я тут ни при чем! Да и мало разве страдала я сама от негодаев-мужчин?

Ни разу за все это время в Адели не вспыхивала даже искорка любви. Впрочем, была ли она способна к тому чувству бесконечного слияния, которое называется любовью?

Не знаю, право... Мне кажется, что способность любить пришла к Адели лишь позднее, когда с годами ее женское обаяние стало утрачиваться.

Так и жили мы – день да ночь, сутки прочь. Я окончательно ушел в себя, стараясь чисто механически относиться к окружающей меня ужасающей обстановке. Да и Адель стала утомляться этим беспокойным существованием. К тому же она видела, что эта жизнь нисколько не обеспечивает ее. Деньги текли отовсюду широкой струей, но соответственно с этим колоссальные расходы поглощали почти все без остатка. Приходилось вести широкий дом, тратить целые состояния на веселые ужины и вечера. Да и одни туалеты чего стоили! Таким образом, случись что-нибудь с Аделью, постигни ее болезнь или обезображивающее несчастье, и она сразу должна была стать нищей. Адель сознавала это, и такое положение вещей сильно тревожило ее. Она понимала, что единственное спасение – найти какого-нибудь богатого принца, который был бы способен один дать ей необходимую золотую рамку. Но где было взять такого? Принцы нередко навещали Париж; большинство из них достаивали Адель своей благосклонностью, но, проведя с нею несколько сумасшедших деньков и щедро оплатив ее «услуги», принцы обыкновенно уезжали обратно, не выражая ни малейшего желания связать себя с такой разорительной особой на более долгое время. Да, Париж был не то, что Петербург! Только в России можно было приобрести что-нибудь. Франция хороша для

славы, здесь можно получить патент на звание мировой знаменитости, но коммерчески использовать этот патент можно только в богатой, сумасбродной, дикой России! И Адель кусала себе губы, вспоминая, как глупо и неосторожно она обошлась с Орловым! Выдержать бы еще годик – и тогда у нее, наверное, скопилось бы недурненькое состояние, с которым она везде могла бы быть госпожой самой себе. А теперь пойди, найди другого Орлова! Правда, в России они нашлись бы, но туда ей было опасно возвращаться: Орловы были все еще в силе, и теперь они сумели бы заставить ее поплатиться за неудавшееся намерение свергнуть фаворита Семирамиды севера.

А тут еще вдобавок на Адель стали сыпаться несчастья. Самый щедрый из поклонников, князь Голицын, неожиданно порвал с нею, задумав жениться. Затем Адель понесла немалые убытки из-за одного «гуссита каприза» – скульптора Фальконэ (или Фальконета, как его почему-то называли в России). Тут, что называется, «нашла коса на камень». Уж на что Адель была хитрой бестией, а Фальконэ перехитрил даже и ее. Да и немудрено: не часто приходится встречать подобную выжигу, как этот господин! Несмотря на свои пятьдесят лет, Фальконэ сумел закружить Адель; она думала, что играет им, но в действительности являлась игрушкой в его руках. Она опомнилась, когда было уже поздно и в руки Фальконэ перешла кругленькая сумма денег. Затем пошли нелады с администрацией «Комеди Франсэз».

Адель стала серьезно задумываться и беспокожно осматриваться по сторонам. Но ее час еще не настал: уже близилось первое появление того, которому в скором времени предстояло стать послушным золотым бараном для хищной куртизанки.

Однажды мы сидели с Аделью за тревожным подсчетом сумм, имевшихся в нашем распоряжении, как вдруг вихрем влетела хорошенькая Паскалина Фель.

– Ну, Дель-Дель, – затараторила она, – ведь «он» приехал!

– Кто «он»? – с недоумением спросила Адель.

– Ах, да принц Густав, конечно! Ведь я же говорила тебе, что его ждут!

– Но как же я могу знать, что ты говоришь о принце, и почему ты думаешь, что для меня это так важно? – недовольно спросила Гюс.

– Вот это мне нравится! – захохотала Паскалина. – Принцы, дорогая моя, попадают не на каждом шагу, а такие «удобные», как этот Густав, и подавно! Принц очень любит Париж, а еще больше – парижанок. Он – страстный поклонник театра, и еще больше – красивых актрис... К тому же он глуповат, наивен, доверчив... И ты будешь утверждать, что тебе это все равно?

– Нет, это мне, конечно, не все равно, но... Но, милая Паскалина, ты его, наверное, уже видела?

– А как же! Вчера вечером его затащили к нам в оперу, а потом он был у меня в уборной...

– Ну, вот видишь!

– И я ему, как женщина, совершенно не понравилась! Он заявил, что я похожа на переодетого мальчишку и слишком неженственно резка. Его идеал – женщины более дородные, величественные, наклонные к сантиментам... Словом, Дель-Дель, если ты захочешь разыграть маленькую комедию...

– Но для этого нужно, чтобы я увидела его!

– Не беспокойся, пожалуйста, за этим дело не станет! Ведь ты завтра играешь в «Заире»?

– В том-то и дело, что я еще не знаю этого! У меня вышли такие неприятности, что...

– Нет, нет, ты непременно побори свое раздражение и играй завтра во что бы то ни стало. Завтра принца везут в «Комеди», и если не будет тебя, то ему подsunут кого-нибудь другого. Дичинато слишком жирная!.. Смотри, Дель-Дель, не скоро подвернется такой случай!

– Право, не знаю... Так не хочется уступить Дешанелю...

– А надо, милая, ничего не поделаешь! Смирись на один вечер! Потом ты уже можешь делать все, что захочешь!

Адель согласилась, что Паскалина говорит дело, и стала тщательно готовиться к встрече с принцем. Она сейчас же съездила к друзьям, разузнала все, что было можно, о привычках и вкусах принца, и на другой день явилась в театр во всеоружии. Играла она в этот вечер с редким подъемом, произвела потрясающее впечатление на публику, а вместе с ней и на принца: потом Густава повели к ней в уборную, а по-

сле спектакля у княгини Дашковой состоялся веселый ужин, за которым принца посадили рядом с Аделью. Тут за сценическим драматическим талантом Адели проявился свойственный ей талант житейско-драматический. Она говорила с принцем о литературе, об искусстве, жаловалась на трудности артистической жизни, на массу грязи, через которую приходится переступать, – словом, в совершенстве изобразила перед ним идеальный тип женщины, насильственно вовлеченной в тину жизни, но сумевшей сохранить в себе неиспорченную душу и тоскующей по чистым радостям бытия.

На другой день Густав был у нее с визитом и по ее просьбе остался к нарочито скромному завтраку. Вечером они были вместе в итальянской опере, потом солидно ужинали вдвоем в одном из кафе. На следующий день утром они поехали за город, где долго бродили среди трогательной прелести первого весеннего расцвета природы. Они гуляли по полю, взявшись за руки, словно влюбленный студент со скромной модисточкой, потом непринужденно завтракали яичницей и сидром в убогой деревенской гостинице. Принц был почтителен, робок и не позволял себе ничего, кроме скромного поцелуя руки. Но Адель видела, что он теряет голову, и ловко вела его к желаемому объяснению.

Однажды Адель должна была играть в какой-то новой двухактной пьеске, шедшей в один вечер с пьесой «Жорж Дантен» Мольера, где она не была занята. Перед спектаклем принц обедал у Адели, и она так мило хозяйничала, так арти-

стически разыгрывала роль наивной простушки, что принц окончательно растаял. Адель видела, что он готов сделать ей долгожданное признание, и направила всю свою энергию на то, чтобы подвести его наконец к этому. В результате принц воскликнул:

– Боже мой, как вы прелестны, дитя мое! Если бы вы знали, как бесконечно трогают меня ваша наивная грация, лучезарная ясность вашей души! О, если бы вы знали, как рвется мое сердце сказать вам кое-что... Но нет, не сегодня! Ведь сегодня вечером вы играете в новой пьесе, и я боюсь, что мои слова взволнуют вас...

– Разве вы хотите сказать мне что-нибудь неприятное, граф? (Густав путешествовал по Европе под именем графа Готского.) – наивно спросила Адель.

– О нет, как вы могли подумать! – возразил Густав. – Быть может, мои слова покажутся вам неприятными, но... Нет, позвольте мне пока промолчать и обождать до вечера!

Вечером, окончив свою роль в двухактной пьесе, Адель переделась и отправилась в ложу принца. На сцене шла веселая комедия Мольера, но парочка не смотрела на сцену: уютно устроившись в аванложе, принц и Гюс близко-близко сидели друг возле друга, вздрагивая под напором одолевавшего их нетерпения. Адель боялась, что принц так и не решится на признание, а Густав боялся, что Адель дурно истолкует его мотивы и намерения...

Наконец он поборол свою робость.

– Дорогая моя! – нежно сказал он, взяв артистку за руку. – Я боюсь, что мои слова, мое признание оскорбят вас. Но я прошу лишь об одном: не делайте заключений раньше времени и дайте мне высказаться до конца... Ведь я – принц, и бывают моменты, когда я почти жалею об этом! Мы многим связаны, мы не располагаем собой так, как располагают собой обыкновенные люди, но это не мешает нам быть тоже людьми и страдать, и чувствовать так же, как простые смертные. Взвесьте все это и поймите...

Тут в дверь ложи постучали. Густав с недовольным видом встал и открыл дверь: в щелку просунулась чья-то рука, протянувшая принцу письмо. Густав вскрыл конверт, прочитал записку и смертельно побледнел.

– Какое несчастье! – пробормотал он, в изнеможении опускаясь на диванчик.

Но тут, прежде чем мы перейдем к описанию дальнейших событий, нам необходимо сначала вкратце набросать биографию принца и состояние шведских дел того времени. Без этого читателю не будут понятны сложные чувства, охватившие принца при полученном известии. Кроме того, мне все равно придется повести за собой читателя в Швецию, так пусть же он отправится впоследствии за мной в эту страну уже вооруженным необходимыми знаниями.

Прежде всего замечу, что мнения относительно Густава сильно расходились. Одни, как, например, императрица Екатерина II, считали его дурачком-авантюристом, другие, как

Фридрих II, относились к нему с уважением. И сейчас находятся и люди, готовые видеть в Густаве III великого гения, как находятся такие, которые вполне разделяют мнение автора пьесы «Горе-богатырь Косометович» (Комическая опера Екатерины II, в которой венценосный автор выводит Густава III.). Я лично не принадлежу ни к тем, ни к другим. Правда, я видел Густава очень близко, долгое время наблюдал за ним, но современнику трудно усвоить себе полностью беспристрастный взгляд на историческую личность: необходима историческая перспектива, чтобы эта личность выглядела в надлежащем свете. Поэтому я, быть может, и ошибаюсь в оценке Густава. Но мне он рисуется хотя и неглупым, однако с придурью. По натуре он был очень неплохим человеком. Он был незол, довольно мягок, слабоволен, хотя и упрям. Вот это-то упрямство и дало ему возможность кое-чего добиться. Но им было очень нетрудно вертеть, и, если кто-либо, наподобие Адели, умел затронуть надлежащие струны его души, тот мог делать с Густавом все, что хотел.

Итак, обратимся к его биографии до того момента, когда в ложу подали письмо с каким-то печальным известием.

Густав родился 24 января 1746 года. Его отец, король Адольф-Фредерик, происходивший из дома Гольштейн-Готторн, был порядочным ничтожеством. Его мать, Луиза Ульрика, сестра прусского короля Фридриха Великого, отличалась большой энергией при небольших данных, причем эта энергия с лихвой замещала в ней некоторый недоста-

ток ума и такта. Но по отношению к Густаву она проявляла себя довольно разумной матерью, вверив его воспитание в надежные руки. Сначала первыми шагами принца руководил знаменитый Далин, считавший себя ученым историком и немножко поэтом, а на самом деле бывший больше поэтом, чем историком: его капитальный труд по истории Швеции лишен главного условия ценности исторического труда – критического отношения к источникам. Но Далин все же был образованным человеком, обладавшим к тому же педагогическими способностями, и под его руководством принц развил значительный умственный кругозор. Затем по требованию сената Далина уволили и приставили к принцу ограниченного, но осторожного графа Тессина, который сумел запечатлеть в душе Густава твердое сознание монарших обязанностей по отношению к народу. После этого к особе принца приставили графа Шеффера, человека опытного, испытанного дипломата.

Достигнув зрелости, Густав был уже достаточно подготовлен к принятию в свои руки государственного руля. Он отлично владел иностранными языками, был посвящен в тайны дипломатических отношений, знал историю своей страны, положение различных сословий, их требования и желания, средства к удовлетворению или причины невозможности удовлетворения этих желаний. И с военным делом он был знаком весьма недурно. Теперь ему захотелось ознакомиться лично со своей страной и с чужими странами. Он

совершил путешествие по Швеции, затем посетил Пруссию, откуда с восторгом направился к цели своих стремлений – Франции, которую он привык любить с детства благодаря матери, страстной поклоннице всего французского.

О состоянии Франции в то время мы уже говорили: это была эпоха величайшего умственного расцвета и нравственного распада. И то, и другое привлекали Густава. Он был страстным поклонником театра; но Паскалина не ошибалась, когда говорила, что артистки привлекают его не меньше. Густав был сильным женолюбцем, но его чувственность выливалась в чудаковатые формы: он хотел, чтобы распутство прикрывалось дымкой сентиментальной поэзии. При этом он имел еще неумную претензию быть высокого мнения о своей наружности, хотя его редькообразная голова, скошенный лоб, длиннейший нос, большие бараньи глаза и уродливый мясистый подбородок были слишком далеки от строгих античных линий. Женщина, достаточно умная, чтобы играть желаемую им роль, и достаточно бесстыдная, чтобы называть его красавцем, могла вертеть им, как угодно. Адель как нельзя больше подходила для этого, и он так пленился ею, что совсем забыл о той тайной политической миссии, ради которой он, в сущности, и прибыл в Париж.

Еще с того времени, когда восшествие на престол Елизаветы Петровны не оправдало надежд Франции на преобладание в русской политике, правительство Людовика XV вернулось к политике кардинала Ришелье, субсидировавшие-

го Швецию для создания на севере противовеса англо-русскому влиянию. Но в 1766 году, когда англо-русская партия захватила преимущественное влияние в шведских делах, Франция лишила Швецию обычной субсидии. Густаву и было поручено исхлопотать у тогдашнего французского главы правительства, герцога Шуазеля, восстановление субсидии. Но, поддавшись чарам Адели, Густав как-то совсем забыл и о Швеции, и о ее интересах. Вся его жизнь сосредоточилась на одном пункте: согласится ли Адель увенчать его пламя страсти. И вот, набравшись храбрости, он приступил к изъяснению своих чувств, но тут в дверь ложи постучали, и Густаву передали письмо.

Вскрыв конверт, принц нашел записку от графа Шеффера. Тот извещал Густава, что его отец скоропостижно скончался и что сенат избрал королем его, Густава.

Принц был так далек в этот момент от Швеции и шведских дел, что известие о смерти отца подействовало на него уничтожающим образом. Все кружилось перед ним, он сам не мог сказать, радость или горе испытывал он от этого известия. Одно только он понимал: оставаться в театре далее было неудобно.

– Дорогая моя, – сказал он Адели, – я получил очень печальное известие, которое заставляет меня уйти из театра. Завтра я буду у вас и все объясню! – и, сказав это, он быстро ушел, чтобы избежать расспросов.

Густав вернулся домой и там застал Шеффера. Тот изло-

жил ему подробности смерти короля. Кроме того, Шефферу было поручено представить Густаву те условия, на которых он может быть признан королем. Далее мы укажем, каковы были эти условия в связи с историей конституционного движения в Швеции, а теперь скажем только, что они были довольно унижительного характера и далеко не свидетельствовали о доверии родины к государственным талантам и порядочности нового короля. Но у Густава не было выхода, ведь его могли попросту не пустить обратно в Швецию, и он предпочел подписать поставленные ему требования, давая в то же время себе слово, что при первом удобном случае он нарушит их.

Когда с этим вопросом было покончено, Шеффер спросил Густава, как обстоит дело с субсидией. Густав не мог сказать ничего утешительного, а потому пустился на увертливые уверения, что все необходимые шаги предприняты и что в самом скором времени...

Но Шеффер довольно неделикатно остановил разглаговольствования своего бывшего ученика и почтительно заметил, что его величество сильно ошибается. Во-первых, дело с субсидией еще дальше, чем было раньше, так как герцог Шузель не желает давать ее Швеции; во-вторых, как бы благоприятно ни обстояло это дело, но медлить нельзя: надо сейчас же идти к Людовику, сообщить ему о смерти короля Адольфа и воспользоваться для исходатайствования желаемого тем, что французский король будет без своего ми-

нистра.

Густав стал уверять, что в такой поздний час (было десять часов вечера) нельзя попасть к Людовику и что подобной топорливостью можно лишь испортить все дело.

Однако Шеффер опять непочтительно перебил короля. Он высказал ему горький упрек в недостаточно сознательном отношении к нуждам родины, заявил, что его удивляет неосведомленность Густава, не знающего того, что известно всему свету, и т. п. В результате он заявил, что ждать нельзя, а так как на Густава надежда плоха, то он сам отправится к королю. И действительно Шеффер сумел проникнуть во дворец, заставил разбудить короля и ухитрился получить согласие на восстановление субсидии.

Так печально началось царствование Густава III: сначала его заставили подписать отречение от многих коронных прав, затем на деле доказали ему, что он – не более чем пешка, от которой трудно ждать пользы для государства.

Немудрено, если Густав с тяжелым чувством направился в Стокгольм, куда он прибыл 30 мая 1771 года. Он чувствовал необходимость восстановления прав и престижа короны, но не отдавал себе достаточно ясного отчета в том, каким образом он добьется этого.

Но почему же королевская власть была так унижена в Швеции и в чем именно сказывалось это унижение?

Нам необходимо выяснить это, так как иначе многое из последующего не будет достаточно понятным.

Глава 15

Карл XII, славный противник Петра Великого, пользовался всей полнотой неограниченной монархической власти. Эту полноту он использовал для того, чтобы вопреки желанию и интересам нации дать удовлетворение своей страсти к военной авантюре. При Карле XII Швеция все время воевала, но в результате территориально уменьшилась, а не увеличилась, и казна не обогатилась (как в Пруссии при Фридрихе Великом), а окончательно опустела. Гнет экономического застоя и поголовное обнищание нации страшно изнурили население, и, когда Карл умер (сраженный, как говорят, не вражеской, а шведской пулей), шведы постарались гарантировать себя на будущее время от подобных злоупотреблений властью. На престол была избрана сестра Карла, Ульрика Элеонора, но получение короны было связано для нее с необходимостью подписать отречение от монархических прерогатив. Была выработана конституционная хартия (так называемая «Конституция 1720 года»), состоявшая из пятидесяти одного параграфа, которые все склонялись к лишению монарха возможности действовать против желания и пользы нации. Теперь король мог только царствовать, правящая роль отводилась штатам и сенату.

Штаты собирались каждые три года на так называемые сеймы. В состав шведских штатов входили представители

всех четырех сословий – дворянства, крестьянства, купечества и духовенства. Штатам была предоставлена законодательная власть, а исполнительная принадлежала сенату, избираемому штатами. Последним предоставлялось исключительное право объявлять войну, заключать мир, производить выпуск монет. Они же следили за крупными судебными делами, и обвинение в государственной измене предъявлялось по усмотрению штатов. Это давало им возможность зорко следить, чтобы их прерогативы не нарушались, так как всякая попытка короля поступить антиконституционно считалась государственной изменой. Из состава трех сословий штатов – дворянства, купечества и духовенства (крестьянство было исключено) – избирался тайный комитет, являвшийся по существу настоящим монархом.

По окончании сессии сейма власть переходила к сенату. Закон гласил, что сенат – учреждение священное, а личность сенатора – неприкосновенна. Все сосредоточивалось в их руках. Даже иностранные депеши вскрывались сенаторами и лишь по прочтении ими передавались королю, который не имел права вскрыть депешу сам.

Что касается короля, то он вообще мало что имел право делать. Он мог возводить в дворянство, даровать титулы и... рекомендовать сенаторам тех или иных кандидатов на чиновничьи вакансии. Но сенат, разумеется, абсолютно не был обязан считаться с желанием короля и всегда мог отвергнуть кандидатуру. Надо сказать, что сенат широко поль-

зовался этой возможностью, и многое в практическом осуществлении конституции носило характер явного желания «указать королю его место». Сенат даже вмешивался в домашний распорядок личной жизни короля и королевы, которые были бесправнее любого приказчика из мелочной лавки.

Если так обстояло дело с мелким распорядком личной жизни короля, то чего было ждать от «большой политики»? В силу отсутствия фактического единодержавия, эта политика не могла быть единообразной. Таким образом, вскоре в среде депутатов наметились две партии, два течения. Во главе одной партии стал Гилемборг – эта партия старалась держаться Франции. Во главе другой находился граф Горн – это была партия русофилов. Первых называли «шляпами», вторых – «колпаками».

Последствия разлада скоро сказались. При вступлении на русский престол Елизаветы Петровны Россия двинулась в Финляндию и отобрала у Швеции три важнейших крепости – Нишлот, Вильманштрандт и Фредериксгамн, ключ к Петербургу. Правда, по требованию штатов были казнены генералы Будденброк и Левенгаупт, командовавшие шведскими войсками, но какая компенсация могла быть получена Швецией от этого акта бессмысленной жестокости?

Вот при каких обстоятельствах на шведский престол вступил (после смерти короля Фредерика I) Адольф-Фредерик, отец Густава III. Ему пришлось чуть ли не с первых шагов вступить в открытый конфликт с сеймом, конфликт, в кото-

ром победа оказалась не на стороне короля.

Еще будучи женихом, король преподнес своей невесте бриллианты. Вступив на шведский трон, Луиза Ульрика поспешила заложить все свои личные драгоценности, чтобы на полученную сумму основать партию монархистов; сестра Фридриха Великого была твердо уверена, что для поднятия королевского престижа достаточно энергии и доброго желания... Сенат узнал о замыслах королевы и потребовал проверки коронных бриллиантов. Когда специальный чиновник явился к королеве с извещением о состоявшемся постановлении, она обошлась с ним более чем пренебрежительно. Она заявила, что никому нет дела, куда она дела свои личные драгоценности; что же касается коронных, то, раз сенат позволяет себе подобное пренебрежительное отношение к своей королеве, она не желает носить их и просит их убрать. Тогда сенат сделал очень строгое и энергичное представление королю: пусть он, дескать, внушит своей супруге, что она в государстве – ничто, что она служит лишь для личной надобности короля, но к государственному устройству она никакого отношения не имеет; поэтому ей надлежит выказывать большую почтительность к такому высокому учреждению, как сенат.

Что было делать? Король проглотил и эту пилюлю.

Затем сенат стал вмешиваться во внутреннюю жизнь королевской семьи. Король указом запретил экипажам не принадлежавших к королевской семье лиц въезжать во внутрен-

ний дворцовый двор, а сенат отменил этот указ. Королева пожелала иметь наставником сына Далина, а сенат предписал Далина уволить и приставить к принцу Густаву Шеффера. Мало и этого. До сих пор король вместо подписи прикладывал к своим указам штамп. Сенат узнал, что властолюбивая Луиза Ульрика завладела этим штампом, и распорядился, чтобы отныне король непременно расписывался собственноручно, а штамп был отобран сенатом. И опять королю пришлось подчиниться. Что такое был его царственный сан? Пустой звук, бессодержательная проформа...

Конечно, народоправие в принципе имеет свои достоинства и преимущества. Но к чему же тогда обзаводиться королем? Неужели только для того, чтобы на каждом шагу подчеркивать его бесправие? Король при всяких обстоятельствах является представителем нации. Унижая своего представителя, шведы унижали самих себя.

Так шло дело, когда в 1765 году вспыхнула революция в защиту прав короля. Некто Гофман, которого через своих клеветников подстрекнула сама королева, собрал горсть партизан и двинулся на столицу «освободить короля». Его схватили, привезли в Стокгольм и здесь обезглавили. В наказание «колпаки», стоявшие в то время у власти, придумали королю новое унижение. В сенате освободилось место, и штаты выставили кандидатом человека, которого король считал своим личным врагом. Избрание должно было быть подтверждено подписью короля. Но Адольф-Фредерик категориче-

ски отказался утвердить намеченного кандидата. Три раза этого субъекта переизбирали, и, когда и на третий раз король отказался подписать указ о назначении, сенаторы приложили к указу подпись-штамп, отобранный ранее у Адольфа. Куда же было идти далее? Король потребовал, чтобы сейчас же был созван чрезвычайный сейм, на котором будет поднят вопрос о пересмотре монарших прерогатив. Сенат отказал в созыве сейма. Тогда Адольф-Фредерик послал своего сына Густава к сенаторам с требованием вернуть отобранный штамп. Сенат отказал и в этом. Тогда, подчиняясь инструкциям отца, Густав заявил сенаторам, что его отец отказывается от королевского сана, и они могут считать шведский трон вакантным. Сенату пришлось согласиться на созыв чрезвычайного сейма – иначе положение Швеции становилось крайне нелепым.

Но и этот чрезвычайный сейм почти не увеличил королевской власти: он отказал Адольфу Фредерику в его требовании предоставления королю права назначения личным усмотрением военных чинов, как отказал в увеличении гражданского листа, сокращенного до такой мизерной степени, что король не мог пользоваться даже элементарнейшей монаршей прерогативой: заниматься благотворительностью. Отказывая в праве назначения начальствующих лиц армии и сокращая гражданский лист, сейм хотел лишить короля возможности приобретать сторонников.

Вот как обстояло положение дел в Швеции в тот момент,

когда Густав стал королем. Теперь нам уже понятно, почему известие о смерти отца вызвало в его душе такие сложные ощущения: Густав III хотел царствовать и править, а ему предстояло с самого начала стать еще большей игрушкой в руках сената, чем его предшественники.

Я уже говорил, что, несмотря на унижительность поставленных Густаву требований, он все-таки согласился принять их, давая себе в то же время слово при первом же удобном случае повернуть все это дело по-своему. Но, будет ли такой удобный случай и как его использовать, этого Густав не знал. Зато он твердо знал, что в данный момент надо оставить мысль об интрижке с понравившейся ему актрисой: перед ним встали слишком серьезные политические задачи.

На следующий день, получив аудиенцию у Людовика XV, поблагодарив его за оказанную помощь и откланявшись, Густав приступил к отдаче необходимых прощальных визитов. Только после этого он приехал к Гюс.

Адель была напугана и встревожена его грустным, задумчивым видом. Конечно, она сейчас же стала расспрашивать, что именно случилось и что было в известии, погрузившем принца в такую грустную озабоченность?

– В письме, которое прервало нашу беседу, – ответил Густав, с сожалением и любовью окидывая красивую фигуру Адели, – в этом ничтожном конвертике была страшная весть: король, мой отец, умер!

Адель глубоко присела в церемонном реверансе перед Гу-

ставом и воскликнула:

– Ваше величество, примите мои искренние соболезнования и сочувствие тяжести постигшей вас утраты. Но ведь умер не только отец, умер король. Ну, а «король умер, да здравствует король!». Поэтому позвольте вашей ничтожной рабе принести вашему величеству сердечные поздравления со вступлением на престол!

– Полно! – грустно ответил Густав. – Разве с несчастьем поздравляют?

– Но, ваше величество...

– А разве не несчастье в мои годы взвалить на себя корону, сопряженную с массой обязанностей и лишенную всяких прав? Да, теперь мне придется отказаться от возможности интимного общения с людьми, теперь я должен сказать «прости!» дружбе и правдивости...

– Дружбе? – воскликнула Адель. – Но, ваше величество, чего-чего, а друзей...

– Друзей? – с горечью перебил ее Густав. – Их не бывает обыкновенно даже и у простых смертных, а у королей их просто не может быть!

– Но, ваше величество, мне казалось, что... У нас, во Франции, ваше величество так любят, и здесь найдутся искренние почитатели, восторженные друзья вашего величества!

– О, да, – ответил Густав, – в симпатии французов я верю, как верю и в то, что передо мной сейчас находится мой

искренний друг. Но... – Он задумчиво провел рукой по волосам, хмуро прошелся несколько раз по комнате и продолжал, искоса глядя на Адель: – Итак, я уезжаю. Неожиданная смерть короля-отца многое изменяет в моих намерениях. Я рад, что не успел договорить то, что начал в ложе. К чему это теперь? Все равно в настоящий момент я не властен над собой. Все личное отпадает – передо мной встали крупные государственные задачи, большие планы. Мне предстоит страшная борьба. Быть может, пройдут годы, пока передо мной встанет хоть тень осуществления моих целей. Могу ли я о чем-нибудь думать теперь, кроме них?

Он опять замолчал, опять прошелся несколько раз по комнате. Адель слушала его с побледневшим, вытянувшимся лицом.

– Однако, – продолжал король, – я могу, не договаривая до конца, все же открыть вам кое-что... Дорогая моя, вы должны были давно уже понять, что я бесконечно преклоняюсь перед вами, как перед артисткой, женщиной и человеком. Когда мне удастся восстановить в Швеции поправленное достоинство монарха, я позабочусь о поднятии на должную высоту искусства, которое у нас, в Швеции, находится в полном пренебрежении. И если я тогда напишу вам: «Дорогая моя, приезжайте, чтобы помочь мне в моих начинаниях, чтобы стать мне необходимым другом и помощником!», – могу ли я рассчитывать, что ваш ответ будет благоприятен?

Адель внутренне усмехнулась, подумав:

«Улита едет – когда-то будет! Эх, ты, дурачок, дурачок! Сделаешь ты что-нибудь путное, как же!.. Долго этого ждать... Но как не везет, в какую ужасную полосу вступила я! Надо же было так случиться... Эх!..»

Однако вслух она сказала:

– Ваше величество, я бесконечно скорблю, что по воле сложившихся обстоятельств мне приходится терять на неопределенное время человека, на которого я привыкла смотреть как на близкого, старого друга – уж простите мне эту вольность!.. Конечно, я всегда буду рада отозваться на ваш призыв, но ведь мы, артистки, – перелетные птицы, которые не вьют надолго гнезда... Сегодня я здесь, а где буду в тот момент, когда осуществляются пышные планы вашего величества, неведомо.

– Где бы вы ни были! – пламенно воскликнул Густав, страстно приняв к руке Адели. – Разве такая большая артистка может скрыться бесследно? Разве пресса всего мира не считает нужным оповещать публику о том, где подвизается великая Гюс? Где бы вы ни были, мой призыв всюду разыщет вас, лишь бы вы откликнулись на него! Могут ли я надеяться на это? Скажите, ответьте, чтобы я мог уехать успокоенным!

Уехать? Адели было мало дела до спокойствия или беспокойствия своего царственного поклонника, раз уверенность была нужна ему лишь для того, чтобы «уехать» со спокойной душой. Она уже по характеру и тону, который принял

разговор, рассчитывала, что Густав все же открыто признается ей в любви, а тогда она сумеет заставить его перейти от сдержанных намеков к чему-нибудь более существенному. Однако он по-прежнему говорил об отъезде, по-прежнему не выходил за границы полупризнания.

– Ваше величество, – желчно, недовольно сказала она, – раз вы не можете почему-то договорить до конца, то к чему начинать? Ведь я – человек, у меня имеются свои иллюзии, свои маленькие мечты, свои чувства наконец... К чему же вы так безжалостно дразните меня? К чему эти недомолвки, полупризнанья? Или монархи нас, жалких каботинок (Презрительное прозвище мелких актрис.), не признают за людей, имеющих живую душу? Или королю Густаву Третьему уже стало совершенно безразлично то, что еще недавно представляло интерес для графа Готского? Конечно, какое дело могущественному монарху до того, что распутная актриска Гюс ошиблась в расчетах и вложила больше сердца, чем это следует делать, что она...

– Дорогая моя! – страстным тоном вырвалось у Густава, который кинулся к Адели и стал в полубеспамятстве осыпать ее руки пламенными поцелуями. – Как вы жестоки и ко мне, и к себе! Вы – и «распутная»! Как только мог ваш язык повернуться, чтобы выговорить это слово! Да неужели вы не видите, что я преклоняюсь перед вами, что я готов целовать след ваших ног, что в вас для меня соединился весь идеал женственной чистоты, прелести... – Он остановился на по-

луффразе, выпустил руки Адели, схватился за голову и, словно ужаленный, отскочил к окну, где простоял несколько секунд в скорбном молчании. – Боже мой! – пробормотал он наконец. – Там, в родном замке, еще лежит труп моего короля и отца, а я... я... – Он стиснул свои руки так, что они резко, неприятно хрустнули, а затем, словно обретя в этом жесте необходимое равновесие, отошел от окна и сказал со спокойной грустью: – Не будьте ко мне слишком строги! В данный момент я стою перед таким важным шагом, который отвлекает мои мысли и чувства от всего личного. Поймите, я не смею сказать вам все, что хотел бы.

– Но почему? – крикнула Адель, пытаясь хоть последним натиском решить исход кампании в свою пользу. – Почему? Или вы думаете, что я не сумею понять и оценить ваши мотивы?

– Нет, – просто ответил Густав, – я нахожу, что сам я недостаточно спокоен и плохо владею собой, чтобы выяснить все, тревожащее меня. Позвольте мне теперь откланяться, но перед отъездом я еще выберу время, чтобы передать вам свой прощальный привет! – и, прежде чем Адель нашла что сказать, Густав поклонился и быстро вышел из комнаты.

Адель стала с нетерпением ждать обещанного прощального визита, надеясь, что авось ей все же удастся вырвать у короля категорическое признание, после которого ему останется лишь взять ее с собой в Швецию. Но и тут ей пришлось разочароваться: Густав не заехал, как обещал, а прислал про-

щальный подарок и письмо.

Он написал, что чувствует себя слишком слабым в присутствии Адели, а потому предпочитает избежать прощания, во время которого мог бы сказать ей больше, чем он имеет право в данный момент. Но он твердо надеется, что скоро наступит время, когда он сможет возобновить их прерванное знакомство, и тогда... о, быть может, тогда он тоже сможет познать самое обыкновенное, доступное всем простым смертным, но редкое у королей счастье!

Адель была очень довольна подарком, но все же он был слишком незначителен в сравнении с теми благами, которые уже рисовались ей в мечтах как последствие знакомства с «графом Готским». И она серьезно приуныла: судьба решительно отворачивалась от нее.

Ближайшим последствием этого разочарования было то, что Адель, что называется, «закрутила» вовсю. С каким-то озлоблением, с какой-то страстной отчаянностью и удалством она кинулась в самый вихрь безудержного разгула. А это все плачевнее отражалось на ее положении и на наших финансах. Ведь на бирже горячего человеческого мяса женщина ценится постольку, поскольку она умеет заставить себя уважать. И теперь учет наших кассовых книг показывал совсем другую картину распределения прихода по сословиям: статское дворянство почти совершенно отвернулось от Адели, из военного при ней оставалась лишь самая мелкота, и главными «кормильцами» теперь стали разбогатевшие куп-

цы и подрядчики – народ требовательный, грубый и неприятный.

Да, с каждым месяцем Адель все яснее видела, что ей необходимо уехать куда-нибудь. Но куда? В России все еще стоял у власти ненавистный и опасный Орлов. В Испании были государственные неурядицы, в Австрии царствовала добродетельная Мария Терезия с ханжой-сыночком Иосифом, преследуя всякую излишнюю роскошь и стараясь насаждать хорошие нравы в высших кругах (что при этих обстоятельствах было там делать Адели?). В Пруссии трудно было рассчитывать на какой-нибудь успех, так как Фридрих II к тому времени сильно постарел и уже не был склонен к повторению веселых эскапад юности. А в Швецию Адель не могла ехать, так как нельзя было рассчитывать на успех там, где ей еще недавно и вполне категорически было предложено «обождать». Но она все же надеялась, что Густав вспомнит о ней и пришлет наконец ожидаемое приглашение. Поэтому она старалась внимательно следить за всем происходившим там. Но то, что ей удавалось узнать о Густаве, еще более доказывало ей невозможность для него в данный момент думать о ком бы то ни было.

Действительно, с момента вступления на шведскую землю Густав энергично и осторожно принялся за достижение намеченной цели. В тронной речи, сказанной им при открытии сессии сейма, он первым делом отступил от выработанных традиций. Обыкновенно эту речь писал и читал от имени ко-

роля премьер-министр. На этот раз Густав произнес эту речь сам. Она была задумана хорошо, в ней юный король под видом благожелательности сумел указать на крупный недостаток шведского строя – избыток партийной вражды, влекший за собой пренебрежение реальными нуждами страны ради сведения личных счетов. Таким образом Густаву удалось поселить в умах многих трезвых людей сомнение: да нужно ли, полезно ли такое умаление королевской власти, какое было в Швеции?

Дальнейшие сведения говорили, что король зажил в полном согласии с сеймом и сенатом, но исподтишка, осторожно стал готовиться к возможности в случае нужды постоять за себя. Для этого он приблизил к себе молодого подполковника Спринг-Портена, человека очень отважного, умного и преданнейшего монархиста. Вместе с капитаном Хиллишиусом Спринг-Портен встал во главе группы офицеров, рвавшихся послужить королю и восстановить его авторитет. Спринг-Портен слишком скомпрометировал себя своей горячностью, и сенат удалил его в Финляндию. Возникло даже опасение, что сенат возбудит против короля обвинение в попытке нарушить конституцию. Хотя Густав и не считал себя достаточно подготовленным для открытой борьбы с сенатом, но напряженность момента была такова, что надо было рискнуть всем. И Густав рискнул. С горстью преданных офицеров и солдат он овладел арсеналом, привлек на свою сторону два полка и затем арестовал сенат в полном составе. Это

случилось 19 августа 1772 года. На другой день – двадцатого – король принимал присягу от народа, а на третий – опубликовал новую конституционную хартию, которая совершенно изменяла положение монарха. Созыв и роспуск сейма зависели от воли короля, его же единоличной волей назначались все без исключения гражданские и военные чины, и он мог свободно распоряжаться флотом, армией и финансами. Объявление войны, заключение мира и подпись международных трактатов были всецело в компетенции короля. И во многом другом эта компетенция значительно расширилась. Но к чести Густава необходимо прибавить, что он все же не подавил той свободы, которой пользовался народ: его конституция была направлена лишь на то, чтобы лишить народ возможности злоупотреблять своей свободой в ущерб достоинству монарха и пользе страны.

Итак, в каких-нибудь три дня Стокгольм признал новый порядок вещей, а благодаря стараниям братьев Густава, действовавших в провинции, этот новый конституционный строй был установлен и по всей провинции. Тем не менее дела шли не слишком гладко, и Адель с тревогой узнала, что Швеции грозят серьезные осложнения. Дело в том, что до разгона сената там главенствовали «колпаки», то есть приверженцы англо-русского сближения со Швецией, а Густав был известным поклонником всего французского. Поэтому Англия и Россия очень неодобрительно взглянули на устроенный Густавом государственный переворот и грозили вой-

ной. И опять Адель должна была признать, что при таких обстоятельствах Густаву не до нее. Да, полоса неудач не прерывалась, и Адели начинало казаться, что счастье навсегда отвернулось от нее. Но уже близок был тот момент, когда нависшие громады серых туч должны будут разорваться и опять засияет для Адели яркое солнце.

Было хмурое ноябрьское утро, и у нас с Аделью шел хмурый, унылый разговор. Не хватало денег для содержания огромного штата прислуги, и мы говорили о том, какие сокращения придется ввести в наш домашний бюджет. Надо было расстаться с половиной лошадей и экипажей, распустить половину прислуги, а если бы можно было быстро и не очень убыточно реализовать обстановку, то лучше всего было бы снять другое помещение и зажить на более скромную ногу.

К этим выводам меня приводила неумолимая логика цифр. Адель понимала, что я прав, но ей казалось слишком ужасным так резко изменить свою жизнь. Ведь это значило бы надолго, если не навсегда, отказаться от положения львицы и спуститься в низшие слои, где копошатся второсортные «рабыни веселья».

– Неужели нет другого выхода? – с тоской спросила она меня. Я только пожал плечами. Но словно провиденциальным ответом на этот вопрос раздался лихорадочный стук в дверь, а затем та раскрылась, пропуская княгиню Дашкову.

Дашкова была бледна и взволнована, но радостный блеск

ее умных, подвижных глаз свидетельствовал, что это было волнением не горя, а удовольствия.

– Орлов пал! – сказала она, опуская всякие светские церемонии и даже не здороваясь с нами. – Гюс, можете ли вы оценить по достоинству всю потрясающую силу этих простых, коротких слов: «Орлов пал!»?

Адель, вставшая при появлении гостыи, теперь почти упала в кресло: с известием, принесенным Дашковой, было так много связано для нее, что в первый момент она почувствовала слабость. Старые счеты, безвыходность данного момента – все устранилось с этим падением!

– Пал? – глухо повторила она. – Наконец-то!.. Наконец-то судьба сразила это дикое животное! О, княгиня! Бывают же такие моменты, когда я начинаю верить в существование высшей божественной справедливости!

Даже слезы выступили на глазах у девушки! «Орлов пал! Орлов пал!» – райской музыкой звучало у нее на сердце.

– Но как это случилось, княгиня? Кто же тот благодетель рода человеческого, которому удалось смирить безудержную гордость всесильного фаворита? – спросила она.

– О, на этот раз тут сделали свое дело время и сердце государыни, – ответила Дашкова. – Вы знаете, до какой степени были безрезультатны все прежние попытки поймать Орлова в западню, а тут это случилось само собой. В последние годы дерзость и наглость Орлова достигли высшего предела. Он стал дурно обращаться с государыней, запугивать ее воз-

возможностью нового переворота и требовал, чтобы она вышла за него замуж. Государыне было очень тяжело мириться с таким унижительным положением, но Орлов сумел держать ее в непрерывном страхе. К тому же Екатерина слишком самолюбива, чтобы устраивать какую-нибудь контрпартию, а без этого с Орловым было трудно справиться. Однажды он позволил себе уже слишком многое. Государыня стерпела, не показала недовольства, но через несколько дней почтила его лестным поручением взять на себя главное руководство мирными переговорами между Россией и Турцией. Орлов, не предполагая худа, отправился в Фокшаны, но уже на другой день его генерал-адъютантские комнаты оказались занятыми другим фаворитом. Орлов узнал об этом, хотел вернуться обратно, но... его подстерегали! Его даже не впустили в Петербург, и царским указом Орлову предписано безвыездное житье в Гатчине...

– Воображаю себе его бешенство! – сказала Адель с диким хохотом.

– О, да! – мрачно улыбнулась Дашкова. – Орлов не мог простить себе, что он так глупо попался в ловушку. Теперь его песенка спета – он сумел слишком надоесть государыне, чтобы она когда-нибудь вернула его к прежней власти!

– Но кто же – счастливцев, занявший место Орлова?

– О, это – полнейшее ничтожество, некто Александр Васильчиков, маленький офицерик. Васильчиков недурен собой, но в умственном отношении так ограничен, что долго в

милости ему не продержаться!

– Но как же случилось, что государыня обратила на него внимание?

– Ну, об этом уже постарались орловские недруги! – улыбнулась Дашкова. – Знаете, достаточно учесть психологический момент, и тогда... Около государыни давно никого не было, и удалось устроить так, что Васильчиков попался ей на глаза несколько раз подряд в исключительно выгодные моменты... Однако вот что, дорогая моя: у меня не так много свободного времени, и потому я спешу передать вам самое главное. Благодаря моим друзьям теперь, с падением Орлова, вспомнили и о нас. Панин сумел вставить в разговор с государыней словечко обо мне, сказал, как я тоскую по родине, и Екатерина милостиво пригласила меня вернуться обратно. Она даже прислала мне собственноручное письмо, где вспоминает о нашей былой дружбе и говорит, что она соскучилась без меня. Кстати, она упоминает там, что вы уже очень долго загостились у себя на родине и что Россия чувствует живейшую потребность как можно скорее вновь насладиться вашим дивным талантом! Так вот, едемте! Сколько времени вам нужно на сборы?

– Но, княгиня... Помилуйте! Ведь мне надо ликвидировать обстановку, ведь...

– Господи, а на что около вас всегда находится верный друг? – перебила ее Дашкова, указывая на меня. – Месье де Бьевр мог бы заняться этим и потом нагнать нас в пути. Де-

ло в том, что я имею поручение от ее величества пригласить в Россию господ Дидро и Фальконэ. Последнему ее величество хочет поручить исполнение кое-каких заказов, а Дидро государыня уже давно жаждет видеть, так как является его пламенной поклонницей. Наш философ немолод, да и Фальконэ тоже. Ну, и я тоже не стораю особенной жаждой лететь сломя голову, не зная ни сна, ни отдыха. Таким образом мы могли бы ехать не спеша, в интересном обществе!

– Ну, это не так-то интересно! – возразила Адель. – Вы, княгиня, все время будете ухаживать за своим другом, и мне придется довольствоваться постоянным обществом Фальконэ, а я теперь раскусила этого господина и нахожу, что это – такой негодяй, каких мало!

– Но зато, – с улыбкой ответила Дашкова, – некоторое неудобство от личности Фальконэ с лихвой окупится удобством самой езды, которая к тому же не будет стоить вам ничего, так как мне предоставлены от государыни довольно широкие кредиты на это путешествие. К тому же Фальконэ вовсе не так несносен, моя милая, и для дороги... сойдет отлично!

Адель звонко расхохоталась.

– Пожалуй, вы совершенно правы, княгиня! Гаспар может отлично уладить тут все один, а мы тем временем не спеша будем подвигаться к России!

– Ну, вот и отлично! – ответила Дашкова, вставая. – Я уже переговорила с нашими спутниками. Для Дидро именно

теперь как раз удобнее всего ехать, а Фальконэ не имеет в данный момент крупных заказов. О дне выезда я извещу вас точно, но это будет не позже, чем через неделю.

Дамы расцеловались, и Дашкова ушла.

– Ах, братишка, братишка! – радостно сказала мне Адель, когда мы остались с нею одни. – Как это вовремя и как это хорошо устроилось! Ведь нам с тобой было уже совсем плохо, а теперь опять все будет хорошо. Я с ужасом думала, что придется урезывать себя во всем, а теперь ликвидация становится вполне естественной. Я боялась, что она будет моим поражением, теперь же она явится моим торжеством. Тут-то я заткну глотки всем этим негодяйкам, которые кричат, что меня выгнали из России и что мне нет дороги ни на одну сцену! Ага! Сама русская императрица просит меня вернуться! Я еще покажу вам, мерзавки вы этакие, что такое – Аделаида Гюс! А потом, и сама ликвидация теперь произойдет совсем иначе. Ты можешь не торопиться и продавать не спеша, чтобы не продешевить. Если ты постарайся, то я выручу изрядную сумму денег, которая очень пригодится мне в России на первых порах!

– Адель, – взволнованно сказал я, – я не только постараюсь сделать все, как можно лучше, но, словно цепной пес, готов перегрызть горло за каждый твой денье (Мелкая монета.). Но только... Ах, Адель, если бы ты выслушала меня, если бы ты исполнила мою просьбу! Не было бы человека счастливее меня...

– Просьбу? – удивилась Адель. – Но в чем дело? Говори, пожалуйста! Ведь ты знаешь, что в пределах возможности я рада все сделать для тебя! Ну, в чем дело?

– Адель! Отпусти меня! Разреши меня от моей клятвы!..

– Что такое? – крикнула Адель, покраснев.

– Адель! Вот уже десять лет, как я верно и беспрекословно служу тебе. Ты знаешь, у меня нет никакой личной жизни, я отказался от всего, и все мои часы наполнены одной лишь заботой о тебе. На эту заботу ушли лучшие годы моей жизни. Мне скоро тридцать лет, Адель... Пожалей меня! Ведь пройдет еще десять лет, и тогда свобода будет уже не нужна мне... Адель! Пожалей! Отпусти!

– Да ты совсем с ума сошел! – крикнула Адель, с трудом выходя из состояния полного окаменения, в которое погрузила ее моя просьба. – Чтобы я отпустила тебя, когда ты мне так нужен? Да как у тебя язык-то повернулся обратиться ко мне с такой наглой просьбой? А! Пользоваться моей молодостью и неопытностью ты мог, а расплачиваться за это не хочешь? Молчи, молчи! Не смей возражать мне! Негодяй ты этакий! Отпущу я тебя, держи карман шире! Я вижу, что выпустила тебя! Ну, погоди! До сих пор ты был мне другом, а теперь будешь рабом. До сих пор я старалась возвысить тебя в глазах общества, а теперь сделаю тебя своим лакеем! Скажите, пожалуйста, наглость какая! Отпустить его! Ну нет, милый мой, подождешь еще! Чтобы я больше не слыхала от тебя слова «я»! Тебя нет, помни это! Существует только ма-

шина, которая будет служить мне, пока я не выброшу ее за негодностью! Понял? Ну, так ступай к себе, дурак, проснись и займись ликвидацией!

Глава 16

Не знаю, стало ли самой Адели стыдно той жестокости, той бесконечной наглости, которую она так ярко проявила в том разговоре, или она просто побоялась, как бы я не стал из чувства мести вредить ее интересам, но только до самого отъезда она обращалась со мной очень ласково и старалась с кошачьей вкрадчивостью опять завоевать мою симпатию. Однако все было напрасно. Адель добилась исполнения того требования, которое поставила мне в конце того ужасного разговора: «Тебя нет, помни это!» После этого разговора я ушел к себе в комнату и несколько часов пролежал на полу перед иконой. Со мной был жесточайший истерический припадок. Когда же я очнулся, я понял, что превращение состоялось: меня больше не было, была только человеческая машина, потерявшая надежду когда-нибудь опять стать человеком...

Это превращение так отразилось на мне, что с тех пор как я в своих черновых кратких записках подошел к описанию этого периода времени, я уже неоднократно ловил себя на следующем: вместо, например, фразы: «Я без злобы и радости смотрел, как Адель садилась в карету», – у меня было написано не я, а «де Бьевр без злобы и радости смотрел...» и т. д. Возможно, что я не раз буду сбиваться на третье лицо даже и в этих окончательно обработанных записках. Не все

ли равно, раз меня больше не стало?..

Итак, «де Бьевр без злобы и радости смотрел, как Адель садилась в карету». Карета тронулась в путь... последние прощания... Затем я так же беззлобно и безрадостно вернулся к своей работе.

А эта работа была немалая. Адель напрасно думала, что я могу пренебречь своими обязанностями в ущерб ее интересам. Если бы я был способен легкомысленно смотреть на необдуманно данную клятву, то я вообще порвал бы скывавшие меня узы. Однако раз я не порывал их, значит, вытекающие из клятвы обязанности были для меня священны... Впрочем, чего же и удивляться: Адель отчасти судила по себе. Ну, да Бог с ней пока!

Итак, я принялся за работу. Я вошел в соглашение с выдающимся аукционистом Лепренсом. Мы пересмотрели с ним всю обстановку, и он дал мне много ценных указаний, почерпнутых из его большого житейского опыта. Оказывалось, что три панно работы Ватто (Антуан Ватто – знаменитый французский художник и гравер, родившийся в 1684 г. в Валансьене. Его живопись отличалась излишней манерностью, но зато сюжет отличался веселостью, а рисунок – изяществом и приятным, нежным колоритом. При его жизни и недолгое время после смерти (скончался в 1721 г.) картины пользовались таким успехом, что до пятидесяти гравиров были заняты непрерывным воспроизведением их.) пройдут дешевле, чем кровать Адели, расписанная столь же пестро,

как и безвкусно маляром-ремесленником, так как это была кровать шикарной куртизанки... Затем, например, оказывалось, что не только нельзя бросать старые чулки и ношеное белье Адели, а надо прикупить новый запас этих частей дамского туалета и придать им несвежий вид: каждая вещь пройдет по сумасшедшей цене, так как дамы будут отбивать их друг у друга. Еще бы! Ведь по странному суевию считалось, что белье, бывшее некоторое время на теле женщины, имевшей успех у мужчин, может принести другой женщине «победоносные» свойства, а на том «пиру во время чумы», который свирепствовал тогда во Франции, любовные победы были дамам дороже всего.

Сообразуясь с практическими указаниями Лепренса и пользуясь его непосредственной помощью (Лепренс был заинтересован крупным процентом), я составил систематический каталог. Затем были расклеены объявления о дне аукциона и приглашено около десяти писцов, занявшихся перепиской каталога. Да, я совсем забыл упомянуть, что Лепренс посоветовал назначить довольно крупную входную плату для желающих посетить аукцион. Я думал, что это может помешать собраться на аукцион достаточному количеству желающих, но – что бы вы думали? – ведь для желающих не хватило ни места, ни билетов!

Если бы вы только видели, какая масса женщин устремилась на этот аукцион, может быть, вам стало бы понятным, почему монархическая Франция должна была погиб-

нуть! Хотя у большинства посетительниц были надеты тройные вуали, но их все же узнавали в самом скором времени. Так вот те самые герцогини и маркизы, крепостные крестьяне которых пухли с голода, тратили сумасшедшие деньги на приобретение разных глупостей, суеверно связанных с успехом у любовников!

Лепренс действовал великолепно. Как знал этот человек свою среду и свое общество! Между прочим, он оказался совершенно прав: три панно Ватто вместе с некоторыми действительно художественными произведениями искусства остались непроданными и были сданы мною на комиссию, а кровать Адели пошла по тройной цене против назначенной!

Аукцион продолжался около пяти дней, потому что из-за каждого пустяка торговались подолгу. Когда же он кончился, то для Адели после расчета с Лепренсом и слугами осталась такая крупная сумма денег, на которую она даже не могла рассчитывать. Конечно, я воспользовался случаем, чтобы взять себе жалованье, не получаемое мною уже более полугода.

Справившись со всем этим, я направился вслед за Аделью в Россию. Я прибыл туда всего только на несколько дней позднее ее; ведь я ехал на перекладных и не сибаритничал так, как эта компания!

Между прочим, приехав в Петербург, я убедился, что Адель без меня действительно не могла обойтись. Она не смогла найти себе помещение, жила в доме у Дашковой и

сейчас же поручила мне заняться этим. Встретила она меня очень приветливо, видимо, была рада мне и с довольным видом рассказала о любезном приеме, который имела у ее величества. Ее первый выход – рассказывала она мне – состоится на парадном спектакле французской труппы, который назначен в эрмитажном театре в честь приезда Дидро.

Мне тоже пришлось побывать на этом спектакле благодаря любезности княгини Дашковой, которая почему-то считала, что мне это очень интересно. В маленькой ложе справа, у самой сцены, сидела государыня с Дидро, в левой – граф Панин и вице-канцлер, граф Голицын. В остальных ложах сиял полным составом весь иностранный дипломатический корпус. Тут были чрезвычайный министр Австрии, князь Лобковиц, прусский посланник граф Сольмс, шведский посланник граф Поссе, французский посол Дюран, английский посланник сэр Геннинг и голландский – граф Рехтерн с датским поверенным в делах, полковником Нуммезеном. Кроме того, разумеется, здесь же собрался весь цвет ближайших придворных.

Спектакль удался на славу, и Гюс удостоилась почетного приглашения в царскую ложу, где Екатерина милостиво беседовала с нею. После спектакля императрица повела Дидро по Эрмитажу, чтобы показать некоторые новые приобретения, сделанные для ее коллекции корреспондентами. Когда она показала Дидро картины, купленные по ее поручению бароном Гриммом из коллекции покойного герцога Шу-

азеля, и сообщила, что Гримм сумел заплатить за них «все-го только» 340.000 ливров, Дидро с трудом подавил усмешку: ему, как человеку близкому к кружку «Каво», было известно, что на самом деле Гримм заплатил за эти картины только триста тысяч, а сорок тысяч пошло на удовлетворение каких-то неотложных надобностей прожорливой Паскалины Фель. Еще труднее ему было подавить улыбку, когда Екатерина с торжеством показала ему «подлинную» гробницу Гомера, найденную кем-то из русских адмиралов на каком-то острове Архипелага и привезенную в подарок Екатерине. Действительно, можно было только пожать плечами от смелости адмирала, желавшего выслужиться, и наивности Семирамиды севера, претендовавшей на величайшую и универсальную образованность.

Но если гробница Гомера и была не совсем подлинной, то того же нельзя сказать о роскоши ужина, последовавшего за осмотром художественных ценностей царской коллекции. Тут Екатерине действительно было чем блеснуть, и Дидро потом жаловался своей интимной приятельнице Дашковой, что подобные ужины являются просто покушением на человеческое здоровье и благоразумие.

Нечего и говорить, что ни Адель, ни я на этот ужин приглашены не были. Об этом не могло быть и речи, и если я и присутствовал на спектакле, то тайно, находясь в укромном уголке. Ведь это было не обыкновенное эрмитажное собрание, а парадный вечер, устроенный в здании Эрмитажа.

Но нечего и говорить, что ни я, ни Адель об этом вовсе не думали. Я все более замыкался в себе, все механичнее относился к внешним проявлениям жизни и уже вовсе не тянулся к большому свету. А Адель интересовало совсем другое: настолько ли велик ее сценический триумф в этом первом выступлении, чтобы опять она могла сразу занять выдающуюся роль светской львицы первого ранга? Ведь она знала, что общество так же часто забывает прошлые заслуги и успехи, как редко забывает былые неудачи, и что всякое положение в обществе, однажды серьезно скомпрометированное, впоследствии почти никогда не восстанавливается. После истории с Орловым «сливки общества» резко отвернулись от Адели, и, как помнит читатель, ей понадобился весь ее действительно великий талант, чтобы вернуть себе хотя бы сценическое внимание зрителей.

Правда, эта история была уже в прошлом, сам Орлов в это время успел пасть, и теперь общество уже смеялось над ним. Правда и то, что государыня успела в короткое время оказать артистке много внимания, а в мире виверов-придворных степень внимания или невнимания монарха к кому-нибудь служит ветром для жизненного флюгера. Но зато в первый приезд Гюс была моложе почти на десять лет, и именно ее обманчивый вид наивной девушки-подростка обеспечивал ей больший шанс на успех, чем внешность той пышной, цветущей женщины, какой она выглядела теперь. К тому же тогда она была почти «вне конкурса», а теперь в Петербурге

было немало талантливых и красивых женщин, расположение и внимание которых оспаривалось наперебой. И Адели было не так-то легко сразу выдвинуться из-за таких конкуренток, как, например, Катарина Габриелли, певица с мировым именем, любви которой иной раз безуспешно добивались венценосные особы и об остроумных словечках которой говорили во всех салонах.

Все эти соображения сильно нервировали Адель. Она понимала, что завоевать свое прежнее место можно только одним ударом, только сразу, только первым же выступлением. Удалось ли ей это? Этого она не знала вплоть до окончания спектакля, когда к ней в уборную, осторожно оглядываясь, вошел Аркадий Марков.

– Одно слово, божественная! – посмеиваясь, сказал он, нагибаясь, чтобы поцеловать руку Адели. – Компания очень милых людей, обрадованная возвращением к нам нашей обожаемой дивы Гюс, поручила мне просить вас удостоить наш товарищеский кружок вашим посещением...

За то время, которое Адель провела в Париже, Марков довольно сильно изменился. Он пополнел, стал солиднее, увереннее в движениях, и его голос приобрел чисто барские, грациозные раскаты. Кроме того, он и вообще-то играл в жизни Адели такую второстепенную роль, что немудрено, если в первый момент она не узнала его. Он заметил ее удивленный взгляд, понял причину ее удивления и поспешил добавить:

– Боже мой, да вы, кажется, не узнали меня? А ведь я – Аркадий Марков, тот самый Аркадий Марков, который был когда-то подставным другом вашего сердца и всегда хотел стать истинным! Так могу ли я рассчитывать на ваше согласие?

Разумеется, я говорю не о посвящении меня в истинные друзья вашего сердца – это было бы слишком преждевременно, – а только о вашем участии в нашем бесхитростном ужине! – сказал он засмеявшись.

Нечего и говорить, что Адель дала это согласие, как охотно дала бы и то, которое Марков считал «преждевременным». Его приглашение доказывало ей, что ее акции котируются достаточно высоко, а некоторое обстоятельство, явившееся следствием этого ужина, еще более утвердило ее в этом мнении. На следующий же день Адель принялась ошипывать перышки у богатого, немолодого, простоватого генерала Мелиссино.

И опять началось беспечальное прожигание жизни. Скоро Мелиссино отступился от Адели, испуганный ее разорительными привычками, но на смену ему уже стоял целый десяток кандидатов, которые, подобно пряникам из детской сказки, наперебой кричали: «Съешь меня, пожалуйста! Попробуй, какой я вкусный!»

И Адель без зазрения совести принялась «пробовать» их одного за другим, выбирая пряники послаще и покрупнее. Я только-только успевал записывать в приходные книги по-

ступавшие суммы.

Среди этого бесконечного ликованья до Адели время от времени доходили вести о различных выдающихся событиях; иной раз эти события, не имея никакого общественного значения, должны были бы глубоко задеть Адель лично, но все это скользило по ней, затрагивая ее только в том случае, если что-нибудь нарушало ее интересы.

В 1773 году состоялся первый раздел Польши, и, словно в наказание за это, на Россию нахлынуло бедствие «пугачевщины». Яицкий казак Емельян Пугачев самозванно принял имя царя Петра III, якобы избежавшего смерти, скрывшись среди верных казаков, и теперь призывавшего «православный народ» вступить за его попранные права. Пугачев наделал много бед и нанес не одно поражение регулярному русскому войску. Он даже чуть-чуть было не взял Москвы, но тут единомышленники выдали его. Успехи этого дикого казака особенно замечательны потому, что самый серый мужик не мог сомневаться в самозванстве «Емельки Пугача» – уж очень неотесан, груб и прост был этот «царь». И все-таки за ним шли.

Если бы Адель была способна думать о чем-либо, то она поняла бы, что возможность подобных явлений была тесно связана с возможностью открытого и наглого процветания таких особ, как она. Народ шел за Пугачевым не потому, что верил в его царский сан, а в силу законного и глубокого недовольства существующими условиями. А это недо-

вольство вызывалось тем, что деньги, высасываемые из мужиков-хлебопашцев их господами, шли на Адель и ей подобных. Мужики работали и голодали – баре сыпали золотым дождем на развратниц. У мужика не было целого зипуна, а Потемкин щеголял в камзоле с бриллиантовыми пуговицами и одаривал своих возлюбленных золотыми туфлями. Вдобавок ко всему с мужиками обращались невыразимо жестоко, и, несмотря на полное потворство помещикам со стороны местных властей, то и дело возникали возмутительнейшие дела об истязаниях. Если ближе к столице помещики все-таки смирляли свой нрав, так как всем было известно, как строго карает императрица Екатерина помещиков-истязателей, то вдали от центра творилось Бог знает что. Какая-нибудь развратная «барская барыня» (Так в те времена называли помещичьих возлюбленных.) из немок или француженок беспутничала на глазах у обездоленных крестьян и принимала живейшее участие в травле их. Таким образом крестьяне самых отдаленных уголков России знали, почему именно им плохо и на что идут заработанные их кровью и потом денежки. Мудрено ли, что они пользовались всяким предлогом, чтобы поднять знамя бунта? Мудрено ли, что даже Емелька Пугачев был способен оказаться в их глазах царем, если с этим признанием связывалась надежда на улучшение и облегчение их положения?

В России отлично понимали истинную подкладку этого явления, и Екатерина сама искренне тревожилась и волнова-

лась. Но что за дело было до ее волнений кружку развратных сластолюбцев, окружавших Адель, и какое дело было Адели до нужд, терзаний и бед чуждой ей страны?

В следующем году (1774) из Франции пришло известие о смерти Людовика XV и вступлении на престол Людовика XVI. Было что-то грозное, мрачное, предостерегающее в той дикой радости, с которой народ встретил смерть Людовика «Возлюбленного», в тех надеждах, которыми он окружал приветствия новому королю. Именно в этом народном настроении отчетливо сказались явные раскаты близившейся бури, возмездия, которое неминуемо когда-нибудь последует за «пиром во время чумы». Но и это известие не тронуло Адель и ее кружок. Впрочем, у Адели в этот момент были свои заботы, связанные с выбором нового ассортимента «пряников». Думать и прислушиваться к тому, что делалось во Франции или в России, ей совершенно не хотелось. Зато она особенно внимательно присматривалась к шведским делам, особенно после того, как кто-то в ее присутствии сказал:

– Король Густав осчастливил новой конституцией не Швецию, а хорошеньких женщин!

Действительно, одним из существеннейших пунктов шведской конституции 1772 года было предоставление королю права свободного распоряжения финансами, а так как сейм мог рассматривать только те вопросы, которые предлагались ему для обсуждения королем, то никаких запросов, а следовательно, и народного контроля над расходованием го-

сударственных денег быть не могло. Король в значительной степени использовал это право для насаждения в Швеции изящных искусств. Но мы уже упоминали не раз, что если Густав III любил искусство, то жриц его он любил еще больше. Поэтому шведская пресса, которой была оставлена широкая свобода слова, то и дело выносила на свет Божий одну пикантную историю за другой, разглашая те суммы, которые переходили в руки всевозможных звезд парусинного неба в поощрение их искусства... любить!

Свобода и щедрость, с которой Густав распоряжался шведскими деньгами, не могли не обратить на себя внимания Адели, а то, что вопреки сладким парижским обещаниям король и не подумал вспомнить о ней, не могло не тревожить ее. Почему, в самом деле он не вспоминает об Адelaide Гюс? Пусть прежде у него было слишком много забот; но находится же у него теперь достаточно досуга, чтобы не только заниматься театральным строительством, не только привлекать в Стокгольм драматические и оперные труппы, но и самому писать трагедии и оперы!

А главное – забыть о ней он не мог. Благодаря довольно широко развившемуся интересу шведского общества к театру, в местных газетах уделялось большое место театральной хронике, где сообщалось о всех выдающихся событиях европейского театрального мира. Не раз в шведских газетах подробно описывалось, с каким грандиозным успехом Адelaide Гюс провела ту или иную роль в петербургском театре.

Значит, Густав не забыл, не мог забыть о ее существовании, а просто не хотел вспоминать. Но почему? Узнать это – значило бы найти средство устранить помеху. Ведь помеха должна была быть, иначе это было бы необъяснимым.

Так оно и оказалось. Однажды – это было в 1775 году – Адели доложили, что ее желает видеть какой-то господин, имеющий крайне важное дело и не могущий назвать себя.

Подумав, Адель все же решила принять таинственного посетителя, но на всякий случай в соседнюю комнату посадила вашего покорного слугу, Гаспара Тибо Лебеф де Бьевра, в качестве телохранителя. Ведь в ту пору с соперницами не церемонились, а у особы, подобной Адели, их было без числа.

«Таинственный незнакомец» вошел, и, к удивлению Адели, им оказался шведский посланник, граф Поссэ.

– Боже мой, это вы, ваше сиятельство! – удивленно вскрикнула Адель.

– Бога ради, тише! – ответил Поссэ. – Я явился к вам от имени очень высокопоставленной особы, имя которого вы узнаете из этого письма! – и он подал Адели тщательно запечатанный пакет. – Мне поручено передать вам письмо и просить вас сохранить все это дело в строжайшей тайне!

– Вероятно, вам поручено также принять мой ответ, граф? – спросила Адель.

– О, нет, относительно ответа мне ничего не было поручено, – ответил тот.

– Все же я попрошу вас обождать, пока я прочту письмо: быть может, из текста его явствует необходимость ответа, – заметила Адель и, вскрыв письмо, стала пробегать его глазами. – Да, да, – сказала она затем, – ответ необходим, и будьте добры сказать мне, граф, каким образом мне удобнее вручить вам его для соответственной передачи?

– Но... я, право, не знаю... – с видом крайнего замешательства ответил посланник. – Мне кажется... насколько я понимаю... ответа вообще не ждут, и могу ли я взять на себя передачу...

– Граф Поссэ! – резко отчеканила Адель. – Возьмете ли вы на себя ответственность за то, что произойдет, если ответ будет послан обычным путем и подвергнется перлюстрации где-нибудь по дороге? А ответ будет послан все равно! Поняли?

Посланник недоуменно развел руками и принужден был согласиться, что Адель совершенно права. Тогда ему оставалось только указать, каким образом и когда удобнее всего вручить ему для передачи тот ответ, который напишет Адель.

Когда посланник ушел, Адель еще раз внимательно перечитала письмо, гласившее:

«Прощайте, Адель! Прощайте Вы, которая когда-то казалась такой близкой моему сердцу! С какой бесконечной болью, с каким невыразимым страданием пишу я это слово „прощай!“, когда всем сердцем, всем существом мне так

хотелось бы крикнуть Вам: „Приди!“... Но так нужно, того захотела судьба... О, Адель, какому злему духу надо было, чтобы Вы так низко пали?

Бога ради... Не обижайтесь, не сердитесь, не морщите нетерпеливо своих очаровательных бровей! Выслушайте меня сначала и поймите, если можете!

Это было четыре года тому назад, когда я встретил Вас в Париже. С первого взгляда, с первого слова я глубоко и нежно полюбил Вас, и именно потому, что моя любовь была так глубока и нежна, я не решался высказать ее Вам. Я боялся, что Вы примете признание за бесцеремонность принца, который считает, что всякая женщина должна принадлежать ему по первому знаку.

И вот я стал робко и почтительно искать Вашей дружбы, зорко присматриваясь, не блеснет ли и в Вашем сердце отзвук того чувства, которое так полновластно воцарилось во мне. Однажды я получил основание думать, что это эхо любви зазвучало в Вас, но судьбе было угодно, чтобы в тот момент, когда признание уже было готово сорваться с моих уст, мне принесли известие о смерти моего отца...

Я не мог думать о своей личной жизни в тот момент, когда передо мной встал суровый призрак долга, призывавшего к государственной работе. И так случилось, что я уехал, не сказав Вам о своей любви, обещав в то же время дать Вам весточку о себе, как только это окажется возможным. Вы поняли, что эта весточка должна была состоять из одного слова

„приди!“. О, Вы можете верить мне, Адель: это слово казалось и мне самым отрадным, самым сладким, самым восторженным из всего словаря Вашего звучного, дивного языка!.. И все же я говорю Вам не „приди“, а „прощай“...

Что же делать, так хотела судьба... Я не смею сказать, что Вы обманули меня, но что я сам обманулся в Вас, это для меня непреложная истина. Да, Адель, Вы – не то, чем я считал Вас, да и были ли Вы когда-нибудь тем светлым образом, который сложился в моем представлении? Как хотелось бы мне верить, что да, и как трудно поверить в это!..

Быть может, до Вас дошли вести о том, как с опасностью для жизни я произвел в своем отечестве монархический переворот, вернувший трону узурпированные у него права. Это было именно той задачей, которая в прошлом отодвигала от меня мечты о личном счастье, и, только исполнив свой долг по отношению к себе самому, своим потомкам и памяти моих предков, я уже мог обратиться к своей мечте.

О, если бы Вы могли видеть, с каким невыразимым чувством сладкого ожидания я взялся за перо, намечая те театральные реформы, которые в моем плане государственного строительства стояли непосредственно за политическими. Чтобы немного подразнить себя, чтобы отложить под конец самое сладкое, я взялся сначала за оперу и балет. Только потом пришел черед драме. И с каким трепетом я вывел на первом месте имя Аделаиды Гюс!

Но Вы должны себе представить мой ужас, когда, посмот-

рев на этот список, компетентное лицо сказала мне:

– Вы хотите пригласить в труппу Аделаиду Гюс? Неужели вы не боитесь за нравы нашего доброго старого Стокгольма? Это – особа с большим талантом, но...

И тут полились рассказы за рассказами, от которых у меня заледенела душа. Я не хотел верить, я отказывался, не мог поверить; я всем сердцем хотел считать все рассказанное мне лишь клеветой. Но тогда мне предложили проверить эти „сплетни“, указав на способ сделать это. Я обратился к проверке, и она обнаружила, что мой собеседник на самом деле был плохо осведомлен, так как действительность оказывалась еще хуже, еще непригляднее, чем то, чему я отказывался верить...

Ах, Адель, Адель, зачем Вы так безжалостно обманули меня! Ведь уже в то время, когда я... Но нет, к чему упреки! Разве ими поправишь что-либо! Разве ими уменьшишь хоть на йоту мои страдания! А я так страдаю, так страдаю... Впрочем, к чему Вам знать об этом, Вам, которая закружилась в вакхическом угаре чувственных удовольствий? Какое Вам дело до страданий несчастного короля, который чувствует себя таким одиноким, таким бедным...

Прощайте, Адель, прощай и ты, мечта моя! Я мог бы быть счастливым, но рок не захотел этого. Что же делать! Спасибо – редкая гостья тронов... Прощайте, Адель! Я не жду от Вас ответа. Он не нужен – о чем нам говорить, что нам выяснять? Прощайте, и примите последний привет от того, ко-

торый мог бы и хотел бы быть Вашим Густавом».

А вот ответ, который переслала Адель шведскому королю через графа Поссэ:

«Ваше величество! Вы не ждете ответа, и все же Вы прочтите его. Конечно, весьма возможно, что Вы не удостоите прочитать мое письмо. У Вас может не найтись для этого свободного времени, так как выслушивание и проверка сведений о нравах и нравственности приглашаемых в Стокгольм актрис, конечно, отнимает у Вашего Величества все часы досуга. Кроме того, человек так уж устроен... я надеюсь, что Вы не найдете ничего непочтительного в этом утверждении, будто и король в конце концов – только человек?.. Итак, человек так уж устроен, что его превращение, например, из графа Готского в шведского короля отражается на его отношении к миру и людям. И то письмо, которое прочел бы граф, будет оставлено без внимания королем... Но я надеюсь на счастливый случай, который все же даст возможность Вашему Величеству ознакомиться с содержанием письма развратной актрисы Гюс, и потому пишу его.

Итак, в чем же, собственно говоря, все дело? Восстановим его в его истинных, неприкрашенных формах.

Жили-были граф Готский и актриса Гюс. Графу угодно было обратить внимание на актрису, и он решил пошлать с нею. Но в тот момент, когда граф приступил к этому почтенному занятию, он узнал, что стал королем. Шалить было некогда, предстояло заняться важным делом. Граф-король

поспешил уехать; но так как он видел, что его шалость уже успела нанести несколько чувствительных ран сердцу актрисы, то он смазал эти раны маслицем заманчивых обещаний. Никто не требовал этих обещаний, они были даны в припадке нервической радости при виде короны, ниспавшей на высокую главу графа. И, чтобы избавиться от последствий данного слова, чтобы не нарушить святости королевского слова, на развратную актрису был возведен ряд обвинений...

Но помилуйте, Ваше Величество! Кто же предъявлял к Вам какие-либо требования? Кто же ждал исполнения случайно оброненных обетов? Вот уже совершенно не к чему было огород городить! Если бы дело было только в этом, я и не подумала бы отвечать Вам. Но Вы приводите определенные мотивы, Вы взводите серьезные обвинения... Это я уже никак не могу оставить без ответа!

Вы исходите из того, что я „обманула“ Ваше Величество! Однако в данном обвинении я не вижу главного – доказательств. Мне, как женщине, сталкивавшейся с людьми всевозможного ранжира, известно, что в основу современного всемирного культурного кодекса положено правило древних римлян: „Да будет выслушана и противоположная сторона!“ Известно мне также, что судебному учету подлежит лишь именное, а никак не анонимное обвинение. Между тем Вы, Ваше Величество, постановляете приговор, не выслушав обвиненной стороны. Мало того, приводя обвинение. Вы не называете свидетелей-обвинителей... „Мне сказали“, „Про-

верив сведения, я увидел“... Но, Ваше Величество, важно знать, кто сказал и чьим посредством совершена проверка! Нельзя же основываться на одних лишь слухах. Известно, что о всяком лице, занимающем известное положение в мире, их распускается слишком много, и Вашему Величеству, как королю, да еще вдобавок такому, о котором не только заграничная, но и отечественная пресса не устает рассказывать скандальные анекдоты, это должно было бы быть хорошо известным. И более чем неосторожно (я не хочу употреблять резких выражений) пользоваться для обвинений подобным сомнительным источником. Я могла бы быть чище воды и белее снега, – все равно это не избавило бы меня от сплетен.

Но я и не думаю соперничать в чистоте и белизне со снегом или водой. Сколько раз я при личном свидании называла себя развратной, сколько раз я жаловалась графу Готскому на роковую неизбежность моей жизни! Это – обман? И виновата ли я, что графу Готскому, до его превращения в короля, угодно было упорно не признавать моих признаний в нечистоте жизни?

Итак, обмана в смысле желания скрыть действительность не было. В чем же он? Быть может, в том, что, подав, как угодно намекнуть Вашему Величеству, надежду на взаимность, я не осталась верной памяти графа Готского? Но человек не может быть ответственным за то, что он делает до встречи с другим человеком. Точно так же не может быть и речи о верности тому, кто так пренебрежительно отталкива-

ет от себя любящее сердце, как это сделал граф Готский с развратной актрисой Гюс. Так в чем же дело и в чем обман?

На этот вопрос Вы не ответите, Ваше Величество, потому что на него... нечего ответить! Вы сами знаете это... Так к чему же было „огород городить“, повторяю? Ведь я не предъявляла никаких требований. Так оставьте меня жить с моим действительным разочарованием, как Вашему Величеству приходится жить с вымышленным!

Не буду оправдываться – мне это не нужно. Но ради счастья тех несчастных женщин, в жизни которых Ваше Величество будет играть роль, считаю необходимым рассказать то, чего Вы, очевидно, не знаете: как совершается падение таких женщин, как я.

Это происходит очень просто. С первых шагов актрисы на подмостках она наталкивается на то, что общество считает ее своей добычей. Молодая, привлекательная актриса не смеет думать о личной жизни, она должна служить хищническим аппетитам мужчин. Если она воспротивится этому, она не услышит ни одного хлопка, не получит ни выигрышной роли, ни выгодного ангажемента. А когда общество развратит актрису, оно начинает кричать о развратности театрального мира, забывая о том, что окружает хотя бы их собственный семейный очаг.

Что же делать? Забывая себя, откидывая прочь женское достоинство, актриса подчиняется создавшемуся положению вещей. Тогда обыкновенно является какой-нибудь важ-

ный барин, например граф Готский, который начинает, следуя нашему закулисному выражению, „крутить любовь“.

Как ни развратны актрисы, но они наивны, они не могут отделаться от глупой мысли, что и на их долю выпадет когда-нибудь светлое счастье искренней любви. Они начинают жить этой химерой, как вдруг... сладкоречивый барин исчезает, даже не подумав обставить поприличнее свой уход. В лучшем случае глупой актриске пишут письмо и шлют подарок. Кстати, я еще не имела случая поблагодарить Ваше Величество за изящный и ценный парюр, полученный мною от графа Готского вместо обещанного прощального визита. И вот наивная актриса шлепается с высоты обратно в родную грязь. И такая злоба охватывает ее от пережитого разочарования, что она уже не пытается встать, а, наоборот, еще глубже зарывается в тину жизненного болота.

Вот как совершается падение женщины. Мне кажется, что Вашему Величеству будет полезно узнать это. Ради этого я только и пишу настоящее письмо.

В конце Вашего августейшего письма Вы, Ваше Величество, прибавляете, что не ждете от меня ответа. Ну, а я заканчиваю свое письмо покорнейшей просьбой ни в коем случае не продолжать этой переписки. Я и так пострадала и не хочу страдать еще больше. Ведь я уже справилась со своим разочарованием, оно затаено в самой глубине моего сердца, а эта бесцельная переписка способна лишь оживить страдания, не давая ни малейшего утешения.

Ваше Величество! Среди Ваших венценосных предков были воины и миролюбцы, злые и добрые правители, умные в неумные люди. Но все они были рыцарями. Будьте же рыцарем и Вы! Оставьте меня в покое и не увеличивайте моих и без того глубоких терзаний. Я хотела бы забыть о графе Готском! Он умер, не воскрешайте его призрака и забудьте о покорной слуге Вашего Величества, развратной актрисе Аделаиде Гюс».

Запечатав и отправив это письмо, Адель потянулась и сказала со злым смешком:

– Поборемся еще, ваше величество! И погодите, дорого вы заплатите мне за это! Я заставлю вас ползать у своих ног, и не будет такой большой чаши унижений, которую вы не выпьете из моих рук!

Затем она отправилась к княгине Дашковой.

Та, конечно, приняла ее крайне любезно.

– Я к вам с огромной просьбой, княгиня, – сказала Адель. – Скажите, ведь вы все еще в прежних хороших отношениях с министром иностранных дел?

– С графом Паниным? Гм... В достаточно хороших, но не в прежних! – ответила Дашкова, весело рассмеявшись.

– Но все же ваши отношения достаточно хороши, чтобы вы могли узнать от графа кое-что, для меня очень важное и не составляющее государственной тайны?

– Смотря по тому, что именно...

– А вот следующее: правда ли, что русское правительство

собирается переменить своего посла при шведском дворе?

– О, это я могу сказать вам и без Панина! Да, это – правда!

– И правда ли, что на этот пост предполагают назначить Аркадия Маркова?

– И на этот вопрос я могу вам ответить без Панина. Но сначала я хотела бы знать, для чего вам это нужно?

– Да... видите ли, княгиня... Марков добивается моей любви...

– Ну и что же?

– Ну, а я нахожу, что в данный момент он еще не может окружить женщину достаточным комфортом. Конечно, кое-какое состояние у него имеется, но все же... если он получит такой важный пост, то...

– То это смягчит жестокое сердце прекрасной Гюс? В таком случае я могу сообщить вам, милочка, что Марков уже назначен шведским посланником! Но как же будет с театром? Разве вы не возобновите контракта?

– Нет, княгиня. Я нахожу, что вообще не следует подолгу играть на одной и той же сцене. А кроме того, я устала и хочу отдохнуть...

– Вот как? Значит, вы твердо решили уехать? Это очень жаль, милочка!.. Не скоро Россия увидит вторую Гюс!

Дашкова наговорила Адели массу комплиментов. Выслушав их, Адель поспешила отделаться от любезной княгини и вернуться домой: надо было скорее плести свои сети.

Ее план был прост и остроумен. Упускать такого «карася»,

как Густав III, ей не хотелось, но завлечь его в свои тенета было возможно лишь при личном свидании. Между тем, как добиться этого свидания? Поехать в Швецию ни с того ни с сего было бы неумно, так как имело бы явно предумышленный вид, а ничто так не губит самых остроумных планов, как преждевременное обнаружение их цели. Отличный случай провести намеченную интригу представлялся в принятии предложения Маркова, если была правда в слухе о его назначении на пост шведского посла.

Поджидая Маркова, который должен был прийти вечером, Адель с наслаждением думала о том, как она встретится с Густавом III. Она еле-еле поклонится ему и с холодным презрением отвернется от него. Это заденет короля, он будет добиваться объяснения, она станет сначала всеми силами уклоняться от этого. Когда же Густав дойдет до надлежащей точки кипения, ей будет уже не трудно сразу повергнуть его – очень влюбчивого – к своим ногам. А тогда... ну, берегись тогда, Густав! Словно раб, будешь ты пресмыкаться во власти опытной Аделаиды Гюс!

Пришел Марков, и Адели было очень нетрудно заставить его повторить свое предложение, которое он сделал ей неделю тому назад полушутя, так как боялся, что оно будет отвергнуто. Тогда Адель также полушутя уклонилась от категорического ответа; но она отлично понимала, что под шуткой таилось серьезное желание. Просто Марков был чрезмерно самолюбив и боялся смешного положения. Между

прочим заметим здесь, что щекотливое самолюбие Маркова послужило впоследствии немаловажной причиной ухудшения отношений между Швецией и Россией. Из-за оскорбленного самолюбия Марков обострял положение и извращал истину в своих донесениях.

Конечно, Маркову и в голову не могло прийти, какие мотивы на самом деле руководили Аделью. Будучи преувеличенного мнения о своих достоинствах, он приписал ее согласие своей неотразимости и чувствовал себя очень довольным и гордым. Его удовольствие было настолько велико, что Адели удалось без всякого труда добиться согласия на то, чтобы ее сопровождал в Швецию ваш покорный слуга. При других обстоятельствах Марков, наверное, воспротивился бы этому; да и, действительно, это вечное состояние при особе господи Гюс какого-то де Бьевра возбуждало немало насмешек. Но тут он чувствовал себя бессильным отказать Адели в чем бы то ни было, и так случилось, что мое рабство было продлено снова на неопределенный срок.

Перед отъездом в Швецию Марков имел продолжительную аудиенцию у императрицы. Ему было приказано вести там мирную, но твердую политику. Следовало тщательно избегать поводов для военного конфликта, так как Густав рвался к войне с Россией; но сама Россия только что ликвидировала турецкую войну, и ей надо было немного отдохнуть. Однако достоинство России не должно было страдать. Но ведь в том-то и заключается искусство дипломата, чтобы уметь

сохранить мир, ничем не поступаясь.

Кроме того, Маркову были предначертаны некоторые реальные планы. В прежнее время Россия и Англия действовали дружно и совместно при шведском дворе, но в последний период между этими странами возникли разногласия, и Россия хотела «пощипать» коварных «просвещенных мореплавателей» в области политического влияния. Для этого Маркову надлежало добиться заключения тайного союза между Швецией и Россией для совместных действий против Англии. Правда, сама Швеция логикой вещей должна была радоваться всякому унижению Англии. Густав III был страстным поклонником и искренним другом Франции, которая имела слишком много старых и свежих счетов с Англией. Но зато сам он имел свои счета и с Россией тоже. Вот почему было не так-то легко склонить его к союзу, хотя бы этот союз и был направлен против врага.

Кроме того, Маркову надлежало следить неусыпным оком за военными приготовлениями Швеции, чтобы Россия не была застигнута врасплох. Словом, этому чванливому, самонадеянному и не особенно даровитому дипломату были поручены такие важные дела, с которыми ему было не под силу справиться.

Важность инструкций и обширность полномочий сделали то, что Марков надулся еще более и являл собой отличный образец роскошного индюка. Его сборы в Швецию отличались необычайной торжественностью и тщательностью:

он только и думал о том, как бы каким-нибудь упущением не уронить там своей высокой особы.

Адель очень широко использовала эту черту его характера, заставляя своего дружка покупать ей много всякой всячины. Она ловко намекнула, что могут подумать, будто у русского посла не хватает состояния, чтобы окружить свою подругу достаточной роскошью, и, пользуясь этим, накупила себе за счет Маркова массу туалетов и драгоценностей.

Наконец настал день отъезда. На бриге, предназначенном для переезда Маркова в Швецию, был устроен прощальный обед, на который были приглашены друзья. Пировали на славу, тост следовал за тостом, пожелание за пожеланием. Но вот пробил колокол, провожающие сошли на берег, красавец-бриг распустил паруса, и судно плавно двинулось к морю.

Стоя на палубе, Аделаида Гюс задумчиво смотрела на исчезающий вдали Петербург, который она покидала навеки. Паруса трепетали, пощелкивали, ветер посвистывал в реях, слышалась методическая команда... Бриг быстро уносил Аделаиду Гюс из страны, где она была возлюбленной все-сильного фаворита, туда, где ей предстояло подняться еще выше; туда, где ей предстояло стать самой фавориткой, строгой, требовательной и капризной госпожой венценосного раба, его величества Густава III Шведского.

Часть 3. Самсон и Далила

Глава 1

– Нет, что же это такое? – кричал русский посланник на стокгольмском дворе Аркадий Марков, топая ногами и размахивая носовым платком, на котором виднелись причудливо расшитые инициалы «I.A.». – Что же это такое, позвольте вас спросить, а?

Аделаида Гюс, занятая в этот момент какими-то счетами со своим секретарем – вашим покорным слугой Гаспаром Тибо Лебеф де Бьевром, – спокойно вскинула на взбешенного Маркова взор зеленоватых кошачьих глаз и ответила с легким ироническим подергиванием хищных губ:

– Мне кажется, что это... носовой платок!

– Ах, вот как? Носовой платок? Маленький, ничтожный носовой платок, только и всего, не правда ли?

– О, нет! Он довольно большой и очень хорошего качества...

Марков сделал шей и ртом какое-то судорожное движение, словно рыба, которую вытащили на сушу.

– Какая наглость! Какое беспримерное бесстыдство! – глухо кинул он с хриплым, прерывистым воем. – Нет-с! На этот раз вы не отделаетесь от меня глупыми шуточками! Я

требую ответа и имею право на это, да-с! Слышите: я требую ответа! Что это значит?

– Мне кажется, милейший Марков, это я должна спросить вас, что значит эта глупая, смешная сцена! – с неподражаемым спокойствием ответила Адель.

– Нет, это переходит все границы... Помилуйте, вчера вечером являюсь невзначай – у горничной смущенное лицо. «Барышня нездорова... слегла в постель... сильный жар...». Слышу какой-то шепот в спальне. «Кто же там разговаривает? С кем барышня?» – «Помилуйте, сударь, барышня одна... Это – бред от сильного жара». Я, словно идиот, бросаю утром все дела и лечу сюда, чтобы проведать больную. Вбегаю в спальню... Постель еще не убрана, и из-под подушки торчит вот этот самый платок!

– И что же вы из этого заключаете? – с прежним ироническим спокойствием спросила Адель.

– Что я обманут... подло обманут наглой развратницей. Вы мне изменяете!

Адель лениво потянулась.

– Милый Марков, вы – глупы! – ответила она позевывая, затем встала, не торопясь подошла к Маркову, взяла его под руку и подвела к большому стенному зеркалу. – Ну, посмотрите: вот вы, вот я! Посмотрите на себя! Обратите внимание на эту круглую лысеющую голову, на этот сдавленный лоб, на глуповатые рачьи глаза, оттопыренные уши, словно штопором прорубленный рот, неуклюжий мясистый нос! Посмот-

рите дальше! Коротенькое, толстое, нескладное туловище, отвислый живот, кривые ноги... Красавец, что и говорить! Ну вот! А теперь взгляните на меня... Ведь я царственно красива, изящна, грациозна. Так, казалось бы, вы должны благодарить судьбу, что она послала вам такую подругу. А вы вместо этого устраиваете дикие, смешные сцены ревности! Да вы только посмотрите, посмотрите на себя хорошенько! Разве такие мужчины, как вы, имеют право претендовать на верность женщины? Ведь если бы я изменила вам, это было бы только законно и естественно!

Адель выпустила руку Маркова, которую он тщетно выдергивал во время ее иронического монолога, и вернулась обратно на свое место. Казалось, Марков вот-вот задохнется от бешенства. У него покраснели даже белки глаз, он судорожно дергал себя за воротник и тяжело переводил дыхание.

После нескольких секунд молчаливого созерцания распутившегося дружка Адель невозмутимо продолжала:

– Дурачок! Ты не хочешь понять, что из-за излишней мнительности только ставишь себя же самого в смешное положение. Повторяю, даже если бы я и на самом деле изменяла тебе, это было бы настолько законно и естественно, что тебе оставалось бы лишь «строить веселое лицо при плохой игре». Но тем более нелепо поднимать историю, не имея для этого ни малейших оснований... Да, да, ни малейших, сударь, ни малейших!

– Как! А этот платок...

– Заладил «платок» да «платок»! Чем он тебе так не нравится? Отличный батист и дорогое кружево, придающее ему скорее дамский вид, если бы не величина... А метка! Да ведь она сделана просто художественно! Мне так и представляется любящая сестра, которая перед отправлением брата из родимого замка ко двору сидит ночи напролет над вышиванием. Я уверена, что бедный мальчик будет очень огорчен, когда...

– Мальчик?

– Ну да, мальчик. Ведь «I. A.», это – Иоганн Анкарстрем, тот самый милый паж, который...

– Хорош мальчик! – иронически воскликнул Марков. – Да ему добрых двадцать лет!

– Нет, ему нет и восемнадцати. Но даже если и все двадцать! Вспомни, сколько мне лет! И к этому-то ребенку ты позволяешь себе ревновать меня?

– Но... как же... под подушкой...

– И это гораздо проще, чем ты думаешь. Вчера милый мальчик зашел ко мне под вечер – ведь я при тебе просила его не забывать меня и заходить. Во-первых, я ему очень обязана за его рыцарскую защиту, когда эти ведьмы из рыбацкой деревушки с руганью набросились на меня... Ну, да ты это знаешь! Во-вторых, у меня здесь все еще очень мало знакомых, и порой я очень скучаю; в-третьих, Анкарстрем мне действительно очень нравится. Прелестный ребенок! Сколько в нем внутреннего огня, недетской серьезности, порывов,

стремлений...

– Но это не объясняет мне...

– погоди! Анкарстрем посидел у меня около получаса, как вдруг я стала чувствовать себя нехорошо. Я выпроводила его и пошла к себе переодеться. Одев капот, я вернулась в будуар и вдруг заметила на ковре платок. Очевидно, мальчик уронил его. Я подняла платок и положила на этажерку рядом с собой, а сама взяла книгу и стала читать. Но с каждой минутой мне делалось все хуже: то меня знобило, то вдруг мне становилось так жарко, что пот крупными каплями выступал на лбу. Очевидно, по рассеянности я стала вытираться платком Анкарстрема и, зажав его в руке, машинально унесла в спальню. Вот и все! Не правда ли, как просто развеиваются все призраки, созданные твоей ревнивой фантазией?

Марков, мрачно шагавший назад и вперед по комнате, остановился перед столом, у которого сидела Адель, оперся на него обеими руками и глухо сказал:

– Да, это просто, Адель, просто и правдоподобно... даже слишком просто, слишком правдоподобно, чтобы быть вероятным! Но... я должен сложить оружие! Я внутренне чувствую, что ты нагло обманываешь меня, но что я могу поделаться? Пусть в данном случае я попал на ложный след, пусть Анкарстрем – только забавный ребенок для тебя, но внутренне я убежден, что есть какой-то другой «стрем», «сти-ерн», «гаупт» или «гильм», с которым ты смеешься над моей слепотой и доверчивостью! И берегись, Адель! Тоньше

играй в свою недостойную игру! Помни, что я уже в силу своего положения не могу позволить ставить себя в смешное положение. Не думай и того, что я допущу открытую измену, что я позволю тебе в случае разрыва между нами броситься в чьи-либо другие объятия здесь! Каковы бы ни были отношения между Швецией и Россией, но русский посланник – слишком большая величина, которой нетрудно будет добиться высылки особы порочного поведения! И если ты не чувствуешь себя в силах отказаться от обычной для тебя разнузданности, то лучше не доводи дела до открытого скандала, а добровольно уезжай отсюда. Помни это, Адель! Ну а теперь я спешу. До свиданья!

Он бросил платок Анкарстрема на стол, сделал резкое движение головой, которое должно было обозначать прощальный поклон, и быстро вышел из комнаты.

Адель с ироническим презрением смотрела вслед Маркову. Когда в конце коридора смолк шум его шагов, она взяла в руки платок, мельком взглянула на него и обратилась к секретарю:

– Ну, Гаспар, что ты думаешь обо всем этом?

– Гм... думаю, что в известных случаях жизни платки без метки гораздо удобнее платков с метками!

Адель рассмеялась.

– Bravo, братишка, ты делаешь значительные успехи! Ты уже не морализируешь, не пылаешь сдержанным негодованием, не смотришь на меня так, словно вот сию минуту меня

испепелит огненный дождь, а спокойно подходишь к вопросу с разумной стороны. Bravo, bravo!

Секретарь грустно посмотрел на свою госпожу.

– Помнишь, Адель, как ты крикнула мне: «Чтобы я больше не слыхала от тебя слова „я“! Тебя нет, помни это! Существует только машина, которая будет...»?

– Фу, какой ты злопамятный! Мало ли что может сказать женщина, когда она встала с левой ноги? Милый мой Гаспар, женщинам потому только и прощают так много, что с ними нельзя серьезно считаться!

– Да разве я к тому, Адель. Поверь, у меня так пустынно в душе, что там нет места никаким сильным чувствам. Я напомнил тебе твою фразу вовсе не для того, чтобы посчитаться с тобою. Я просто объясняю тебе, как произошла во мне та перемена, которую ты отмечаешь. Ведь действительно было бы просто смешно, если бы я еще стал моралистом в своем теперешнем положении! Это положение само по себе настолько находится вне морали, что слово «мораль» звучало бы даже дико в моих устах. Нет, оставим это... Кто я такой? – секретарь Аделаиды Гюс, живущей любовью. На моей обязанности лежит учитывать практическую сторону этого существования, помогать Аделаиде Гюс всем своим практическим опытом и юридическими знаниями, чтобы она могла извлечь для себя из жизни как можно больше. Только и всего... Что думает обо всем этом Гаспар Тибо Лебеф де Бьевр, как он относится к происходящему – совершенно не важно.

Важно лишь знать мнение секретаря девицы Гюс...

– И в качестве такового ты и выводишь мудрое заключение о превосходстве платков без метки?

– Совершенно верно. Я нахожу, что ты вообще стала в последнее время неосторожной и нерассудительной.

– Да я, что ли, оставила этот платок?

– Нет, но ты вступаешь в интимные отношения с мальчиками достаточно неопытными, чтобы сделать это! Я вообще не понимаю этого каприза. Он – мальчик, ты – зрелая женщина.

– Может быть, именно поэтому.

– До сих пор ты руководилась не чувством, а рассудком.

– И интересом тоже, Гаспар! Ах, ты не можешь себе представить всю наивную прелесть, которую дает общение вот с такими молодыми существами! Это божественно! Ощущать, как для тебя первой раскрывается причудливый цветок чувства, впивать в себя первый лепет впервые всколыхнувшейся страсти... Пусть там, впоследствии, придут другие, пусть впоследствии явятся бури зрелой страсти, покой брачного очага – все равно, того, что имела я, сорвавшая нежный цвет пробуждающейся зрелости, не будет иметь от него более никто и никогда!.. А потом, они такие смешные, эти мальчики! Возьми хоть Анкарстрема. Он говорит, пламенеет, рвется: весь он полон неистойвой страсти. Он готов опрокинуть весь мир только, чтобы схватить меня в свои объятия. А чуть утолилась жажда, он хватается за голову и с ужасом говорит:

«Меня мучит сознание, что мы делаем что-то дурное!» Но стоит мне подойти к нему, стоит мне прижаться в нежном лобзании, и он опять горит и пламенеет, опять отброшены в сторону сомнения и угрызения... Анкарстрем и вообще-то – удивительно интересная натура. В нем чувствуется какая-то вечная борьба двух начал. Несмотря на молодость, он уже терзается религиозными сомнениями, политическими разногласиями. Это удивительно необузданная натура; она одинаково может превратиться впоследствии и в великого государственного деятеля, и в преступника! Ах, а вообще, какие смешные, милые, забавные эти пажики!

– Но у них имеется дурная привычка разбрасывать платки с метками! Смотри, Адель, погубит тебя когда-нибудь вот такой милый пажик с платком!

Ах, если бы знали и госпожа, и ее секретарь, насколько пророческими окажутся их слова!.. Госпожу действительно погубил вот такой «милый пажик» с платком, а Анкарстрем действительно оказался преступником большого калибра (Иоганн Анкарстрем 16 марта 1792 года нанес шведскому королю Густаву III смертельную рану, выстрелив в него из пистолета на костюмированном балу в опере. Причины, толкнувшие Анкарстрема на этот шаг, были как политического (ограничение королем власти знати), так и личного характера. С ними читатели этого романа познакомятся из дальнейшего.), как предрекала госпожа!

Но в данный момент слова де Бьевра совершенно не про-

извели желаемого действия на Гюс.

– Ну, ну! – рассмеялась она. – Авось пронесет Господь! Мужчины в общем – порядочные дураки, и обойти их не так-то трудно! Уж вывернусь как-нибудь... Но мы значительно отклонились от темы. Когда я спросила тебя, что ты думаешь обо всем этом, я совершенно не имела в виду самой истории с платком. Анкарстрема я выдеру за уши, и делу конец. Но как тебе нравится этот пузырь Марков? Да он совсем от рук отбился! О, такие сцены происходили у нас не раз, – ты это знаешь! – но каждый раз бывало, что он быстро спадал с тона и первый начинал просить прощения, в конце концов сознавая в необоснованности обвинения... А теперь... Как тебе понравились его слова? Ведь он и в самом деле способен наделать мне неприятностей!

– Но ведь я уже сказал тебе, Адель, что пажики не доведут тебя до добра. Раз ты так дорожишь жизнью с Марковым, тебе следует...

– Ах, ты ровно ничего не понимаешь, Гаспар! Ведь должен же ты вспомнить, ради чего я сошлась с Марковым, ради чего терпела и терплю около себя эту подлую образину! Марков – лишь ступень, по которой я решила добраться до этого венценосного шута, торжественно именуемого Густавом III! Не думай, пожалуйста, что его угроза выслать меня в случае разрыва имеет хоть какие-нибудь основания. Этого ему никогда не добиться! Да и дойди до этого дело, я сумею доказать, что красивая женщина сильнее русского посла. Но

Марков сам не понимает, что тем не менее его угроза очень серьезна. Густав только потому и отказался от меня, что до него дошли слухи о частой перемене моих дружков. Следовательно, всякий скандал в этой области может только отдалить, а то и окончательно лишить меня возможности приблизиться к намеченной цели. Тем более дело осложнится, если хотя бы только возникнет вопрос о моей высылке за пределы Швеции!

– Но если дело обстоит так, то тебе тем более надо воздержаться.

– Да не говори ты хоть глупостей, Гаспар! Представь себе, что тебя посадили перед накрытым столом и говорят: «Воздержись от пищи, и тогда ты получишь миллион!» Конечно, если ты жаждешь этого миллиона, то ты проголодаешь и день, и два, и даже три, быть может. Но обещай тебе хоть все блага мира, ты все-таки не выдержишь неопределенно долгого времени! Вот так и я... Конечно, знай я, что мне нужно терпеть только какой-нибудь месяц, и Густав будет моим, то я и думать не стала бы. Пажики от меня не ушли бы... Но весь ужас в том, что могут пройти и год, и два, пока я добьюсь своего. Все мои попытки до сих пор терпели крушение – вечно вмешивается досадный случай. Я нарочно достала в театре ложу рядом с королевской, и в этот день Густава в театре не было. И вот так бывало несколько раз... А как хорошо пошло дело с первых шагов! Помнишь, и двух недель не прошло со времени нашего приезда в Стокгольм,

как я встретила в парке с королем. Он даже остановился от неожиданности, покраснел, смутился. Он хотел заговорить со мной, но я сделала вид, будто не замечаю этого желания, и с гордым кивком пошла дальше. Встреться я с ним на другой, третий день, и дело сразу пошло бы на лад... О, я добила бы своего! Но мне не представляется случай действовать. Я рассчитывала, что мне удастся устроить два-три гастрольных спектакля в здешней французской труппе. Так надо же было случиться такому несчастью, что режиссером здесь Дешанель, с которым у меня было столько неприятностей, что на мои роли у них уже имеется Госсю и что в составе труппы находятся такие влиятельные актрисы и мои личные враги, как старая ломака Белькур и проныра Флери. А ведь дай мне только случай выступить на сцене, и Густав снова будет моим. Да, вот не везет, так не везет!

– Но, Адель, тем более...

– Ах, что там «тем более»! Что же мне от скуки лопнуть, что ли? Ты только подумай, какую скучную жизнь я веду здесь! Это ведь не Россия, да и не Франция. Такого милого, неприятзательного общества, как там, тут не найдешь. Развлечений никаких. Шведский театр слаб, да и неприятно высиживать пьесы из чуждой жизни на плохо понимаемом языке. Во французский театр я нарочно не хочу ехать. Марков мне надоел до ужаса. Приятелей у него почти нет, так как его не любят ни в обществе, ни в дипломатическом корпусе. Изредка разве привезет он ко мне каких-то дикарей. Да

и то, чем они занимаются? Ни забавного разговора, ничего. Напьются, как свиньи, только и всего... Господи, да я даже за чтение взялась от скуки – куда уж дальше идти! И я еще должна отказываться от таких невинных развлечений, как игра в любовь с пажиками?

– Но если это так, то не лучше ли нам уехать отсюда и попытаться счастья в другом месте?

– Нет! Я не уеду отсюда, не восторжествовав над этим... О, он осмелился отвергнуть меня, я для него недостаточно нравственна! Ну, так погоди же!.. А потом, милый Гаспар, помимо вопроса самолюбия здесь и чисто практические соображения. Ведь ты-то знаешь, что мне уже тридцать пять лет! Тридцать пять лет, Гаспар! Ведь уже двадцать лет я живу жизнью женщины! Надолго ли меня хватит? Я теперь в самом опасном периоде. Я могу продержаться и пятнадцать лет, но легко может случиться, что года через четыре я вдруг проснусь увядшей и постаревшей. Конечно, я не сдамся старости без боя, я сумею придать себе обаяние молодости. Но... это уже будет не то, с этим уж нехватишь жирного кусочка. Мне пора обеспечить себя, а это обеспечение может дать только такой простофиля, как Густав Шведский! И он не уйдет от меня, я чувствую это, Гаспар! Мне не везло в последнее время, но теперь – я верю этому! – с минуты на минуту счастье постучится ко мне в дверь!

Не успела Адель сказать эти слова, как в дверь громко постучали.

И Адель, и ее секретарь не могли не вздрогнуть в этот момент. Далекое от суеверия, они тем не менее были поражены этим стуком, так совпавшим с последней фразой Адели. Ведь бывают в жизни такие совпадения, которые кажутся по своей разительности окруженными мистическим ореолом. Да и полно, только ли совпадением бывает это. Или рок, судьба, или как там ни назови таинственное сцепление элементов бытия, время от времени доказывают человеку его зависимость от высших законодательных сил мироздания?

Словом, как бы то ни было, но далекие от суеверия Адель и ее секретарь были настолько поражены этим стуком, что в первый момент не смогли вымолвить ни слова.

Стук повторился.

– Войдите! – крикнула наконец Адель.

Вошла Роза, камеристка и наперсница Адели, с редкой для прислуги искренностью привязанная к своей госпоже.

– Простите, барышня, – сказала она, – тут пришел месье Дешанель из французского театра. Он велел передать вам, что очень просит, как милости, разрешения переговорить с вами!

Адель густо покраснела, затем побледнела. Неизвестно зачем, она взяла с этажерки вазу и переставила ее на стол, поправила прическу, взяла вазу и переставила ее обратно на этажерку.

Затем, на вид спокойным, но подозрительно глухим голосом она сказала:

– Попросите месье Дешанеля войти... Проведите его в гостиную!.. А вы, месье де Бьевр, потрудитесь пока принять гостя и извиниться... Я не одета... Я сейчас же выйду.

Анри Дешанель был мужчиной лет сорока пяти, плотным, хорошо сложенным и вполне приспособленным для роли любовников как в жизни, так и на сцене. Только с одной разницей: на сцене он неизменно был первым любовников, а в жизни... последним, так как злые языки окружили его эпитетом «утешителя старости». При этом он был очень милым человеком в обществе, умел держать себя, обладал большим запасом анекдотов и остроумия и не менее большим запасом самообладания и наглости.

Секретарь девицы Гюс был не из разговорчивых, а потому время, пока не появилась Аделаида, прошло довольно томительно, хотя Дешанель и старался болтать как можно непридуманнее о разных безобидных пустяках.

Но вот дверь открылась, и на пороге показалась Адель.

– Дешанель! Вы... и у меня? – воскликнула она, приветливо протягивая руку врагу. – Поистине, должно быть, свет перевернулся!

Дешанель при появлении Адели упал на одно колено и, почтительно поцеловав ее руку, напыщенно воскликнул:

– Божественная! Бей, но выслушай!

Лицо Адели сразу стало серьезным.

– Я нужна вам Дешанель, я вижу это! Ну, так бросьте палясничать, встаньте, присаживайтесь и поговорим! В чем де-

ло?

Они сели друг против друга, и Дешанель приступил к изложению дела. О, он знает, что он лично очень виноват перед Аделью. Но ведь в их театральном мире не редкость, когда два человека, имеющих полное право рассчитывать на взаимное уважение, вдруг ни с того, ни с сего начинают враждовать, осыпать друг друга самыми грязными обвинениями!.. А из-за чего все это? Только из-за того, что нервы у них, артистов, слишком истрепаны и не могут подойти под общую мерку.

– К делу, Дешанель, к делу! Я давно знаю, что в тех случаях, когда человек нужен, нуждающийся находит тысячу сладких, извинительных слов... Мы – старые знакомые! Приступайте к делу!

Ну да, к делу... Конечно, божественная Гюс может отказать, но он, Дешанель, позволит себе почтительнейше заметить, что в данном случае на карту поставлена честь корпорации, даже больше – национальная честь, черт возьми!

Дело в следующем. Как-то на одном из придворных вечеров его величество король Густав поспорил с его высочеством герцогом Зюдерманландским относительно художественных достоинств шведской и французской драм. Ну... передавать их доводы за и против вряд ли стоит. Важно то, что спор было решено разрешить чисто практическим путем. Сегодня в шведском театре должна идти какая-то трагедия с таким варварским именем, которого не произнесешь,

не изломав себе языка, а завтра – во французском «Заира». И вот судьи должны вынести свой приговор.

Ну-с, что же! Риск не велик. Вся-то шведская трагедия родилась, можно сказать, вчера, а французская – слава Богу – существует уже достаточно времени. Но недаром говорят, что «человек предполагает, а Бог располагает». Сегодня вдруг выяснилось, что Госсю играть не может, а заменить ее некем. Значит, играть завтра нельзя. Но ведь это будет, наверное, сочтено уклонением от состязания. Боже мой! Вся кровь вскипает при одной мысли, что французских артистов могут заподозрить в желании уклониться от соревнования. Да что поделаешь, раз обстоятельства так складываются? И вот вся труппа постановила: командировать Дешанеля к Гюс, которая одна только может спасти честь французского театра.

– А что же случилось с Госсю? – спросила Адель.

– Нечто весьма для нее неожиданное: Госсю готовится стать матерью, и этот период протекает для нее так болезненно, что...

– Госсю готовится стать матерью? – смеясь переспросила Адель. – Вот уж чего никто не мог ожидать от нее! Кто же счастливый папаша?

– Этого не знает никто!

– А что говорит сама Госсю?

– На все расспросы она отвечает: «Ах, право, не знаю! Ведь я так близорука!»

Гюс рассмеялась.

Дешанель весело вторил ей, а затем сказал:

– Ну да! Теперь я смеюсь, но в первый момент мне было далеко не до смеха. Вы можете быть какого угодно мнения обо мне как о человеке, но что я искренне люблю свое дело, что я страстно предан родному искусству, этого не отнимет у меня и злейший враг. То же самое я могу сказать и о вас. Когда выяснилось, что Госсю ни в коем случае играть не может и что в такой короткий срок мы не можем подготовить ничего другого – да ничего другого и поставить нельзя, потому что шведская пьеса, которая идет сегодня для соревнования, написана приблизительно на тот же сюжет, – ну-с, так вот, когда все это стало ясно, то я сразу сказал: «Ребята, дело наше еще не пропало, нас выручит Аделаида Гюс». Когда же кто-то из группы высказал предположение, что Гюс захочет свести теперь счеты, я прямо сказал: «Дети мои, не болтайте глупостей! Гюс – прежде всего большая артистка, и этим все сказано!»

– Спасибо за комплимент! – сказала Адель с иронической усмешкой.

– О, это – не комплимент! – спокойно возразил Дешанель. – Впрочем, не будем тратить время на слова. Я знаю, вы будете играть, потому что не захотите покинуть в беде товарищей!

– Ну, эти «товарищи» выказали мне еще недавно очень мало товарищеских чувств!

– И все-таки вы будете играть, Гюс, я знаю это! Я знаю, что там, где на первый план выдвинут вопрос торжества родного искусства, все остальное отходит для вас далеко назад. И пусть все мы очень виноваты перед вами, пусть даже эта гастроль не представит для вас никаких выгод, пусть вы будете знать, что уже на другой день после того, как вы окажете эту бесценную услугу, труппа по-прежнему повернется к вам спиной, – все равно вы будете играть, потому что вы Аделаида Гюс! Но этого не будет, мы не допустим, чтобы вы оказались великодушнее нас. Поэтому вот! – Дешанель встал, взял с ближайшего стула положенный им при входе маленький портфель и достал оттуда две бумаги. – Сначала вот это! Здесь вся наша труппа обращается к вашей помощи, Гюс, и сознается в своей неправоте перед вами. А вот это – контракт, Гюс, который вам стоит только подписать, чтобы занять первое место в нашей труппе. Взгляните на условия: вы увидите, что я предоставляю вам все права и преимущества, какие только могу в силу своих полномочий. Ну, что же вы скажете, Гюс? Согласны вы?

Адель встала. На ее лице отразилось глубокое, с трудом сдерживаемое волнение, и ее голос слегка дрожал, когда она ответила:

– Да, вы правы, Дешанель, я согласилась бы играть даже и в том случае, если бы не было ни этого лестного обращения, ни этого выгодного контракта. Я не нашла бы в себе сил отказать товарищам в беде. Передайте всем, что я глубоко тро-

нута, благодарна и с удовольствием принимаю предложение. Но я должна поставить одно условие: пусть ни одна душа не знает о том, что я буду играть. Можете анонсировать о замене перед самым открытием занавеса, но до того мое выступление в «Заире» должно оставаться в строжайшей тайне!

Дешанель с чувством поцеловал руку Адели.

– У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас! А теперь позвольте мне удалиться: вся наша труппа собралась в театре и с трепетом ждет, какой ответ я привезу. Поспешу успокоить их, что честь французского театра спасена!

Когда Дешанель ушел, Адель взволнованно сказала:

– Предчувствие не обмануло меня – счастье действительно постучалось ко мне в дверь! Ты только подумай, Гаспар, как все удивительно хорошо складывается. Во-первых, я выступаю неожиданно и при исключительно выгодных обстоятельствах; во-вторых, теперь я вошла в состав труппы, и никакой Марков не страшен мне! Я дождалась, Гаспар, дождалась! Ну, теперь посмотрим! – Она повернулась, чтобы уйти, но в дверях снова остановилась. – Пожалуйста, Гаспар, кто бы ни пришел, я никого не принимаю! Эти два дня я работаю над ролью!

Глава 2

– Имею честь довести до сведения почтеннейшей публики, что по болезни госпожи Госсю роль Заиры исполнит госпожа Гюс!

В публике пробежал тот неопределенный рокот, которым зрители обыкновенно встречают известия о безразличных для них переменах исполнителей. Театралы знали, что Гюс – известная трагическая актриса, но и к Госсю в Стокгольме относились очень хорошо, хотя и не настолько, чтобы уж очень сожалеть о ее замене. Поэтому анонс был принят вполне равнодушно.

Только два человека были поражены этим известием. Это были посол Марков и король Густав. Последнего до такой степени взволновало это, что его состояние не укрылось от Софии Магдалины, его болезненной, некрасивой и очень ревнивой супруги.

– Болезнь госпожи Госсю, кажется, очень взволновала ваше величество? – с ядовитой иронией сказала она. – Кстати, правду ли говорят, что она готовится стать матерью? Вашему величеству это должно быть хорошо известным; недаром же вы так много и часто бываете за кулисами!

Густав с нескрываемым изумлением обернулся к королеве, но сейчас же опять отвернулся, небрежно пожав плечами и затаив внутреннюю усмешку. На этот раз ревность короле-

вы направились по ложном следу.

Но вот послышались три мерных удара, и занавес плавно раздвинулся.

Затаив дыханье, король откинулся в угол и с напряженным вниманием впился лихорадочным взором в сцену, полузакрываясь складками портьеры.

Перед зрителями был убранный с восточной пышностью сераль иерусалимского судана. Утопая в шелковых подушках, две рабыни – Фатьма и Заира – ведут разговор. Плавно льются дивные стихи Вольтера, выражая удивление грациозной Фатьмы.

Ужель Солим милее вам сенских берегов?

И в ответ ей раздаётся такой мечтательный, такой завораживающий, пленительно-томный голос, что в зале сразу воцаряется мертвая тишина, а Густав чувствует, как вся его душа уплывает куда-то далеко, за берега сознания, увлекаемая безудержным потоком возвращающейся страсти...

Могу ль желать того, чего не знаю я?

На этих берегах прошла вся жизнь моя...

Неубедительными кажутся Фатьме доказательства Заиры. Как, ведь еще недавно... А тот рыцарь, Нерестан, который отправился во Францию доставать средства на выкуп пленников-христиан? И чем дальше льются ответы Заиры, тем

все более растет недоумение ее подруги. А, так Оросман, их повелитель, любит Заиру? Неужели...

Нет, не жертвой минутного каприза избрал Оросман Заиру, а своей законной женой хочет он сделать ее.

Но ведь Заира родилась христианкой, а теперь она готова стать женой победителя ее единоверцев?

И снова мечтательной томностью дышит ответ Заиры. Вдруг волна страсти подхватывает ее, зной всежигающего чувства развеивает эту томность, и палящим вихрем сирийской пустыни несется в зал от сердца к сердцу ее свистящий шепот. Ведь она любит Оросмана и ради этой любви готова пожертвовать всем, даже верой.

Объятая страстным волнением Заира вскакивает, подходит к рампе и, упав на колени, простирая руки туда, где из-за складок портьеры королевской ложи на нее смотрит пылкий взор чьих-то восторженных глаз, она, задыхаясь от страсти, говорит, что ее взор видит только возлюбленного повелителя, созерцание которого наполняет ее душу невыразимым блаженством. И что-то больно колет Густава в сердце, когда жалобной укоризной льется признание Заиры: ведь не корона Оросмана привлекает ее, а он сам, и лишь человека, не государя, боготворит она в нем.

Не успел сомкнуться занавес, как Марков встал со своего места и поспешно направился к выходу. Пробираясь за кулисы, он слышал, как буря восторгов разразилась в зале. Гюс имела подавляющий успех, и даже ее товарищи по сцене

должны были признать, что артистка сумела вознести трагедию на трудно достижимые высоты искусства. Игра Гюс была даже не высокохудожественной интерпретацией, а нарастающим вихрем безумия, способным все закрутить и увлечь в своем неистовом стремлении. Со многим из ее игры нельзя было согласиться. К чему это коленопреклонение у рампы? Откуда эта страстная тоска, временами пронизывавшая ее признания? И все же это было так прекрасно, так увлекательно, что критика должна была отступить на задний план.

Марков сознавал это и потому особенно негодовал. Смутные, не вполне оформленные подозрения роились в нем. Ведь что-то было у Адели со шведским королем еще в Париже? Да, да! Русский посол в Париже подробно докладывал Панину о том, в какой обстановке Густав получил известие о смерти короля-отца! Уж не потому ли Адель, никогда не выказывавшая ему, Маркову, особенной склонности, приняла его предложение, как только выяснилось, что он будет отправлен в Стокгольм? Да, это было очевидно! Она затеяла интригу за его спиной; обнимая его, она в то же время ковала планы измены и предательства!

Конечно, если Адель и уйдет от него, жалеть об этом не приходится. Она надоела Маркову своей расточительностью, лживостью, капризами. Но было слишком чувствительно самолюбию, что не он первый оттолкнул ее, а она ушла сама, и вот поэтому-то это удачное выступление и было так неприятно.

Но, может быть, Адель не руководилась в данном случае никакими тайными планами? Ну, нет! Достаточно было видеть волнение короля, когда она с такой наглостью упала на колени, обращаясь к королевской ложе! Надо было спасать свое положение. Сию же минуту он объяснится с ней и оттолкнет ее от себя. Правда, после этого успеха разрыв не будет так чувствителен для Адели, как он мог бы казаться еще неделю тому назад. Но все же лучше сделать самому первый шаг, чтобы сегодня же в кругу знакомых объявить об «отставке», данной им своей возлюбленной. Все-таки первым окажется он!

Думая все это, Марков пробирался за кулисами, направляясь к уборной Адели. У двери уборной он почти столкнулся с нею. Адель взглянула на него безразличным, отсутствующим взором и вошла в уборную. Марков последовал за нею. Скрестив руки, он остановился посередине комнаты, в то время как Адель, совершенно не обращая на него внимания, села к туалетному столу и принялась подправлять кое-где грим.

– Адель, что это значит? – начал Марков, нахохлившись, словно рассерженный воробей. – Этому просто имени нет! Да как же ты решилась поставить меня в такое нелепое положение? Во-первых, это выступление на сцене не только без моего согласия, но даже и без всякого уведомления. Потом эти неприличные выходки... а как же вы осмелились, сударыня, пользуясь моими милостями, моим великодуши-

ем, моей щедростью, так открыто предлагать себя на глазах у всей публики?

Адель мельком посмотрела на него через плечо; ничего не отвечая, она взяла со столика тетрадку и принялась перечитывать роль.

– Я требую ответа! – взбешенно крикнул Марков, топая ногой.

– Пошел вон отсюда, дурак! – спокойно ответила Адель, не отрываясь от роли.

В дверях послышалось ироническое покашливание. Марков обернулся: там стояли король Густав и герцог Зюдерманландский.

– Здравствуйте, здравствуйте, ваше превосходительство! – сказал король, небрежно отвечая кивком головы на почтительный поклон посла. – Вы, кажется, собрались уходить? Так мы вам не мешаем! Посторонитесь, милый герцог, вы стали на пути его превосходительства!

«Ах, вот как! – с бешенством подумал Марков, выходя из уборной. – Дело-то пошло действительно на лад? Так вы ошибаетесь в расчетах, ваше величество! Погоди и ты, подлая змея! С позором будешь ты изгнана из Швеции и вспомнишь тот час, когда доставила мне это новое унижение!».

Он поспешил разыскать одного из атташе, бывшего тоже в театре, и приказал во что бы то ни стало, какой бы то ни было ценой достать грандиозный и роскошный букет. Затем он написал на своей карточке несколько слов. Он приветство-

вал Адель, как великую, недостижимую актрису, и извинялся за свою грубость, оправдываясь нервным состоянием, в которое его привела потрясающая игра Адели. И собственное нервное состояние заставило его забыть о нервном состоянии артистки, только что пережившей ряд сложных чувств и готовившейся к переживанию новых.

Распорядившись, чтобы букет с запиской подали Адели после третьего акта, Марков отправился дальше. В фойе он выразительно посмотрел на господина, стоявшего у окна в полной достоинства позе и лениво посматривавшего на проходивших дам. При этом Марков провел рукой по кружевным жабо, как бы проверяя, все ли в порядке, и сейчас же направился к длинному столу, за которым хорошенькая шведка продавала прохладительные напитки. Через минуту господин, стоявший у окна, тоже подошел к буфетному столу и стал рядом с Марковым. Тогда последний, не оборачиваясь к соседу и почти не шевеля губами, сказал:

– Сейчас же окружите дом Гюс людьми. Перед окончанием спектакля сядете в мою карету. Нам нужно поговорить.

Господин методически допил бокал лимонада и прежней ленивой походкой вышел из фойе.

«Ладно! – думал Марков. – Так скоро вы еще не споетесь, а тем временем я успею застать эту подлую змею с каким-нибудь франтом и произведу такой скандал, что небу станет жарко! А тогда получайте, ваше величество, выгнанную из дома в одной рубашке неверную любовницу русского

посла!»

В первый момент появление короля сильно смутило Адель: она не ожидала такого быстрого результата. Но король и сам был явно взволнован, сам старался скрыть под маской шутливой снисходительности свое смущение, так что Адель имела время оправиться и овладеть собою.

Как объяснил король, он привел к ней побежденного – того самого дерзкого, который осмелился утверждать, будто шведская трагедия стоит теперь не ниже французской. О, конечно, шведское искусство стоит очень высоко, но может ли оно равняться с тем, у которого существуют Вольтер и Гюс? Правда, когда он спорил с братом, участие Гюс не имелось в виду, а это ведь – большой козырь. Но... победителей не судят! Словом, вопрос складывается так: в споре с братом победителем оказался он, Густав, так как герцог признал себя побежденным уже после первого акта; но в этой победе решительное значение имела Гюс, а потому он счел себя обязанным прийти поблагодарить ее и привести с собой побежденного.

Оправившись от нежного смущения, Адель с бесконечно ледяной вежливостью ответила на дифирамбы короля. И эти ледяные ответы действовали, словно капли масла на костер. Шутливая снисходительность все более исчезала из тона Густава; все больше и больше прорывалась в нем затаенная страсть. Наконец, прервав на середине какую-то запу-

танную фразу, он сказал:

– Однако мы злоупотребляем терпением дивы! Ведь божественной Гюс надо приготовиться к следующему акту... Пойдем, герцог, мы еще найдем время выразить нашей славной актрисе всю полноту обуревающих нас чувств! – Густав взял брата под руку и направился с ним к двери. Но на пороге он остановился и самым естественным голосом воскликнул: – Ах, кстати... Идите, идите, герцог, я сейчас последую за вами!

Герцог, поклонившись, вышел.

Густав прикрыл за ним дверь и вернулся в комнату. Подойдя совсем близко к Адели, он сказал:

– Я только что говорил вам, будто пришел победителем... Нет! Солгал я... Побежденным, не победителем пришел я сюда! Ах, Адель, что вы сделали с моим сердцем! Оно опять полно только вами, опять только к вам одной рвется оно каждым биением! И в то же время...

Он замолчал, закрыв лицо руками.

Молчала и Адель, горящий взор которой отражал мрачное торжество. Скрестив руки на груди, молча ждала она, что скажет он далее.

– Я видел все, – продолжал Густав. – Я стоял у дверей, когда это самодовольное ничтожество, это грязное насекомое Марков накинулся на вас с упреками... Каким великолепным тоном указали вы ему на его место! Сколько ледяного презрения было в вашем голосе, в вашем жесте... О, вы не

можете уважать его! Но как же после этого вы отдаетесь ему, как можете вы пользоваться от него хоть чем-нибудь? О, дай же мне разгадать тебя, мой прекрасный, жестокий сфинкс! Кто ты?

Король был почти хорош в этом страстном отчаянии, в этом скорбном восторге, с которым простер к Адели руки. Но она отступила от него на шаг, как бы боясь его объятий, и с сухим смешком ответила, иронически покачивая головой:

– Кто я? Вы удивляете меня, ваше величество! Я – «развратная Гюс», актриса, которую вы, ваше величество, не решились пригласить в стокгольмскую труппу, боясь испортить нравы «доброго, старого Стокгольма». Я – и «сфинкс»! Что же такого загадочного, непонятного нашли вы во мне теперь? Ведь еще недавно я была почтена получением от вашего величества точнейшей характеристики моей развращенной натуры. И вдруг загадка! Ничего загадочного, ваше величество, ровно ничего! Все та же старая история! Кто больше заплатит – тот и владей «развратной Гюс»! Марков заплатил – он и владеет. Но, может быть, вам, ваше величество, благоугодно будет назначить более высокую цену? Не стесняйтесь, пожалуйста! Давайте торговаться; может быть, я найду ваше предложение выгодным!

Густав посмотрел на нее, словно не слыша ее оскорбительных слов, и страстно продолжал:

– Когда я узнал, что с новым русским послом приехала в качестве метрессы Аделаида Гюс, мною овладели и презре-

ние, и гнев. Я подумал, что вы, должно быть, действительно никогда не чувствовали ко мне ни малейшей симпатии, если решились на такой шаг. Но вот я встретился с вами. Я хотел показать вам, насколько я презираю обманчивую мечту прошлого, хотел заговорить с вами в снисходительно-небрежном тоне и подчеркнуть им все свое равнодушие... Но с каким испугом, с каким негодованием проскользнули вы мимо меня! И я в первый раз усомнился в своей правоте... А потом эта игра, этот порыв страсти в мою сторону... Была ли это только игра? Не оттолкнул ли я легкомысленной рукой величайшее счастье от себя? Я пошел к вам в уборную, чтобы попытаться прочесть на вашем лице мучившую меня разгадку, и застал сцену с Марковым. И вдруг в моем мозгу молнией пронеслась мысль: «Ведь она не уважает его и все-таки отдалась ему. А ведь Марков вовсе не так богат, чтобы Гюс, перед которой склонялись сильнейшие мира сего, руководилась одним лишь расчетом. Но зато Марков был назначен посланником в Швецию»... И я подумал: «А вдруг ее кинуло в объятия Маркова желание повидать того, кто, как она говорила, был первой благоуханной сказкой ее жизни?» О, я сам вижу, сам чувствую, сколько здесь противоречий! Но у меня мозг готов разорваться от мучительной тревоги... Адель, кто же ты? Что было только что там, на сцене? Бросила ли артистка женщину на колени перед безразличным ей лицом или женщина прорвалась сквозь артистку, увидев лицо, не безразличное ей? Не мучь меня, Адель, ответь! Ска-

жи, где же ты – в жизни или на сцене?

Взоры короля с лихорадочным нетерпением устремились на бледное лицо Гюс, на котором, казалось, боролись самые противоположные чувства: то словно полымя страсти озаряло, то вспыхивал оскорбленный задор.

Вдруг оба вздрогнули: в коридоре слышались звон колокольчика, торопливые шаги и голос сценариста: «На сцену! На сцену!».

Лицо Адели сразу окаменело в презрительной неподвижности и, глубоко склоняясь в иронически почтительном реверансе, она сказала:

– Вот вам и ответ, ваше величество! Провиденциальный, но верный. Я – на сцене, ваше величество, только на сцене, и туда в данный момент призывают меня мои обязанности!

– Нет! – крикнул король, простирая к Адели объятия. – В тебе говорят упрямство, оскорбленное самолюбие! Я не уйду отсюда, пока ты не ответишь прямо и честно на мой вопрос!

Адель ловко увернулась в сторону, проскочила мимо короля к дверям и оттуда кинула:

– В таком случае вашему величеству придется долго просидеть здесь, в уборной. Ну, а я пока что отправлюсь играть!

После третьего акта Адели поднесли грандиозный букет цветов. Вскрыв приколотую к ленте записочку, она подошла ближе к рампе и с подчеркнутой аффектацией послала Маркову обеими руками воздушный поцелуй, а король Густав побледнел и нахмурился. Через несколько минут он встал и

вновь отправился за кулисы. Но, когда он постучался в дверь уборной Адели, камеристка ответила ему, что барышня переодевается и не может никого принять.

Мрачнее тучи вышел оттуда король, и всем сразу стало ясно, что наступил один из тех моментов, когда от короля можно ожидать какой угодно выходки. Действительно он так резко оборвал свою супругу Софию Магдалину, что у той даже слезы выступили на глазах от незаслуженного оскорбления. Затем ни с того ни с сего король накинулся на подвернувшегося ему прусского посланника, графа Ностица, и заявил последнему, что он, король, больше всего на свете ненавидит нюхателей табака и немецкий язык. Граф Ностиц, страстный нюхальщик, был известен своей дерзостью, не знавшей никаких границ, и в данном случае он вполне оправдал свое реноме.

– У каждого свой вкус, ваше величество! – сухо ответил он, дерзко глядя королю прямо в лицо. – Вот я, например, больше всего на свете ненавижу таких шведов, которые упиваются грогом до потери сознания и усматривают для себя честь в смешном обезьянничании с французов!

Короля так поразила эта наглая дерзость, что он не нашелся, что ответить, но, по его приказанию, Ностицу уже на следующее утро были вручены его паспорта с предложением немедленно оставить пределы Швеции. Одновременно, как докладывал своему правительству Марков, «упивающийся грогом Густав III» послал своему державному дядюш-

ке, «нюхающему табак Фридриху II», категорическое требование избавить Стокгольм от Ностица. В ответ на это Фридрих приказал вручить паспорта шведскому посланнику, барону Отто фон Мантейфелю, и между обеими державами воцарились такие натянутые отношения, которые некоторое время вызывали опасения за прочность мира. И ведь никто не знал, что причиной этих дипломатических осложнений явилась, сама не подозревая этого, Аделаида Гюс!

Но одним Ностицем дело на этот раз не ограничилось. Многим ближайшим придворным пришлось в этот день испытать на себе гнев Густава. Не избег этого даже граф Шеффер, бывший гувернер Густава и затем один из самых близких ему государственных деятелей. В результате королевская семья уехала из театра еще в середине четвертого акта. Но, как перешептывались в театре, король уехал отдельно от супруги.

Адель имела один из тех потрясающих успехов, перед которым смолкает все – злоба, личные счеты, сплетни. Самые непримиримые враги Адели из труппы должны были согласиться, что к такому таланту неприменимы обычные мерки и что на Гюс-артистку нельзя переносить то негодование, которое можно было бы иметь против Гюс-женщины и человека.

По окончании пьесы к Адели в уборную вошли несколько артисток и артистов и стали просить ее позволить им чество-

вать славную победительницу товарищеским ужином. Адель была очень растрогана, перецеловалась с товарищами, искренне поблагодарила их, но просила, чтобы они отложили пирушку на следующий день. Сегодня она чувствовала себя утомленной – ведь она вела все четыре акта сплошь на нервах, и теперь реакция дала себя знать. Она, Адель, была бы плохой гостьей на веселом пиру: уже теперь у нее смыкаются глаза, и она только и думает, как бы добраться поскорее до кровати.

Адель и на самом деле ощущала острую необходимость остаться одной. О сне она, разумеется, даже и не думала; наоборот, она знала, что долго не заснет в эту ночь. Но ей необходимо было тщательно обдумать все происшедшее и выработать дальнейший план действий. Густав уже «сидел на крючке», это было видно по всему. Но как сделать так, чтобы он не сорвался в решительный момент? А потом Марков... Что, собственно, означают этот букет и покаянная записка? Подобный образ действий был не в его обычном духе. Да, тут надо было все тщательно обдумать, чтобы потом действовать наверняка!

Полная этими думами Адель в сопровождении Розы спустилась вниз. Небо было густо обложено тучами, шел мелкий дождь, и в тусклом свете театральных фонарей неясным силуэтом обрисовывался кузов одинокой кареты. Роза крикнула, кучер тронул вожжами, и карета подъехала к подъезду. Выездной лакей в кожаном плаще-дождевике, совершенно

скрывавшем его лицо, соскочил с козел, распахнул дверцу и помог Адели подняться на подножку. В этот момент послышался взволнованный голос Розы:

– Барышня! Да ведь это...

Однако ее голос прервался, словно ей сразу зажали рот.

Адель хотела обернуться, но лакей сильным, ловким движением втолкнул ее в карету, захлопнув дверцу, и в тот же момент кучер ударом бича заставил лошадей взять с места в полный карьер. От толчка Адель упала на сиденье. Ища опоры, она раскинула руки и вдруг коснулась чего-то теплого, мягкого: в карете был еще кто-то!

– Что это? – испуганно крикнула она. – Боже мой! Кто здесь?

– Бога ради, не пугайтесь! Это – я, Густав! – ответил ей знакомый глухой голос.

Вся кровь хлынула Адели в голову.

– А, это – вы, ваше величество? – с негодованием крикнула она. – Что же это такое? Насилие? Обман? Прикажите сейчас же остановиться и выпустите меня или я выбью стекла и стану кричать! И помните: я лучше убью себя и вас, чем позволю восторжествовать в таком наглom обмане! Остановите же карету! А, вы не хотите? Ну, так берегитесь!

Она размахнулась, чтобы выбить ударом кулака окно кареты, но Густав, уже освоившийся в темноте, заметил ее движение и успел поймать ее за кисти рук.

– Бога ради, не волнуйтесь! – с мольбой в голосе ска-

зал он. – Вам ровно ничего не грозит! Как могли вы подумать, будто я способен на предательство, на засаду ради удовлетворения низменной страсти? Нет, Адель, нет, дорогая! Только поговорить хотел я с вами! Я хотел лишь попытаться разрешить свои сомнения, которые тяжелым гнетом навалились мне на сердце. Мне пришлось пуститься на несколько экстраординарный способ, но я не мог отложить этот разговор, а где же было мне увидаться с вами? Я не хотел подвергать ни себя, ни вас излишним нареканиям и потому предпочел этот путь. Но, если вы не хотите облегчить мои страдания и намерены по-прежнему оставаться в упрямом, молчаливом озлоблении, если вы не хотите отвечать мне, то – клянусь вам! – это будет моей последней попыткой. Никогда больше не подойду я к вам, никогда не заговорю с вами о прошлом и буду молчаливо доживать свою безрадостную жизнь... Хотите этого? Вот я выпускаю ваши руки! Вы свободны. Там висит конец сонетки, дерните за него, и кучер сейчас же остановит лошадей!

Адель чувствовала, что Густав находится на высшей степени нервного напряжения. Перетягивать струны было бы очень опасно.

– Прежде всего, куда вы меня везете? – сухо спросила она.

– Но... никуда собственно. Я просто хотел поговорить с вами в карете, где нас никто не может подслушать или подглядеть.

– Но о чем же нам говорить, ваше величество? – с горечью

возразила Адель. – Разве между нами не все сказано? Разве не постановили мы безапелляционного приговора над «распутной Гюс»? Вспомните последние строки вашего письма ко мне, государь! О, я наизусть помню его; ударами хлыста горят в моей душе его фразы! «Я не жду от вас ответа! Он не нужен – о чем нам говорить, что нам выяснять?» Правда, я все же ответила вам, но этим тема была уже окончательно исчерпана... Ваше величество! Я понимаю, полнота власти приучает монархов быть капризными! Но неужели ничто не может тронуть вас? Неужели страдания оскорбленной женской души так ничтожны в ваших глазах? То вам ничего не надо выяснять, то необходимо что-то выяснить! Полно, ваше величество! Неужели для вас ничего не свято?

– Но вы не хотите предположить, что, быть может, именно ваш ответ пробудил во мне сомнения, прав ли я был; что эти сомнения все время не давали мне покоя, что под влиянием последних событий они еще более обострились. Да, вы правы, Адель, полнота власти приучает монархов быть капризными, даже больше – быть бессердечными. Вы – тоже монархиня... королева искусства, королева красоты, перед которой склоняется весь мир.

– И которая не смогла урвать для себя от жизни хоть одну минуту счастья! – страдальчески сказала Адель, безнадежно опуская руки.

Густав схватил и страстно пожал их.

– Но ты сама гонишь его прочь! – воскликнул король, сби-

ваясь на сердечное «ты». – Вот я стою с мучительной тревогой перед твоей загадочной душой, всеми силами стараюсь разгадать ее, а ты лишь обиженно морщишь лоб и упрямо надуваешь губки. А ведь я с такой мольбой спрашиваю тебя: «Девушка! Кто – ты?»

– Иначе говоря, вы требуете от меня оправданий, ваше величество? Никогда не унижусь я до этого! Если человек любит меня действительно, пусть любит и берет такой, какая я есть. Разве требую я, например, отчета в вашем прошлом? Разве я спрашиваю вас, почему вы не остались чистым в ожидании девицы Гюс? Полно! В тот самый миг, когда Иван и Марья обмениваются признаниями, в тот самый миг, когда они сплетаются в первом любовном объятии, все прошлое умирает, и, что бы ни было в этом прошлом, оба они возрождаются чистыми и невинными для новой жизни. Вот как я понимаю любовь! Вы скажете, что в данном случае этим Иваном является его величество Густав III? Ну, так я отвечу вам, что в делах чувства я не признаю ни королей, ни королевской воли!

– Ты не справедлива ко мне, Адель! – сказал Густав, и легкая дрожь в его голосе выдавала, насколько волнует его этот разговор. – Нет, видит Бог, ты не права! Если бы я жаждал лишь мимолетной интрижки, преходящего обладания, я не стал бы относиться к прошлому женщины с такой тревожной серьезностью. Какое мне дело до этого прошлого? Я сорвал мгновенье низменного восторга, отдал дань капризу чувств

– ну, и мимо! Но я никогда не был особенно склонен к таким интрижкам. Я ищу не женщину только, но и человека, ищу подругу, родственную душу. Как же я могу закрыть глаза на прошлое, если вижу в нем грозные признаки, если это прошлое заставляет меня сомневаться, способна ли желанная женщина быть для меня такой подругой?

– Если имеются сомнения, лучше отказаться от этой женщины!

– И этим отрезать для себя возможность к величайшему счастью.

– Ну, тогда... тогда следовало бы... рискнуть!

– Адель, я – король, а король – не только верховный вождь, но и представитель нации. Поэтому, оберегая достоинства сана, достоинства нации, король не имеет права рисковать смешным положением. Ты вот говоришь, что я требую у тебя отчета в прошлом. Нет, ты не так понимаешь это! Я не спрашиваю у тебя, почему ты любила многих, почему так часто меняла друзей. Я спрашиваю лишь, как могла ты отдаваться без любви, без чувства, как могла ты так открыто, так безжалостно обманывать людей? Вот в этом-то вся мучительная загадка для меня. Когда я вижу тебя, я сразу подпадаю под обаяние какой-то удивительной нежной чистоты, которая лучезарно струится от твоей души. Но стоит мне вспомнить, что ты могла отдаться Маркову, не любя, не уважая его...

– Скажите, пожалуйста, ваше величество, вы, должно

быть, были страстно влюблены в датскую принцессу Софию Магдалину, если сделали ее своей женой?

– Адель! Король менее кого-либо волен в своих чувствах! При заключении брака им руководит политическая необходимость!

Адель рассмеялась сухо, отрывисто, горько.

– Вот видите, ваше величество, насколько для нас бесполезно пускаться в объяснения! Мы расходимся уже в самых основах. Вы исповедуете особую – королевскую – мораль; ну, а я нахожу, что и король, и жалкая комедиантка – только люди, поступки которых слишком часто диктуются необходимостью. Нет, наше объяснение совершенно бесполезно! Да и к чему оно? Не скрою, когда-то я была готова полюбить вас, когда-то я видела в вас своего мессию и избавителя. Вы надломили это чувство, и его не склеишь теперь! Слишком много горечи накопилось в надломе. И все же я, пожалуй, готова удовлетворить ваше любопытство и рассказать вам о себе. О, вовсе не для того, чтобы сказать вам, будто я достойна стать вашей подругой. Эту честь я отклоняю от себя. Но я нахожу, что мужчинам всегда полезно слышать, как происходит падение женщины, которую они же роняют на землю и затаптывают в грязь! Да, я с удовольствием объясню вам, как случилось, что я всю жизнь стремилась к свету и оставалась во мраке и грязи. Но не сейчас: это мы отложим до следующего раза!

– Но почему?

– По причинам сугубо прозаического свойства. Во-первых, я устала, и тряска в карете вконец утомила меня. Во-вторых, стало холодно, а я легко одета. А в-третьих, я... просто голодна!

– Адель! – сказал король, и его голос звучал трогательной мольбой: – Несколько лет тому назад у меня была подруга, которая нежно любила меня. Ах, что за прелестное создание была моя Христина! Какой светлой, какой легкой казалась мне жизнь, пока она была со мной!.. Но Христина происходила из важной аристократической семьи, которая строго хранила честь дома. Она была Гилленстиерна, Адель! Беда была бы, если бы родные узнали о нашей любви! И вот, чтобы встречаться с Христиной без помехи, я устроил прелестное гнездышко. Я купил маленький домик, примыкающий с одной стороны к дому Гилленстиернов, а с другой – к гостинице, которую содержит сын моего любимого камердинера. Снаружи дом имеет совершенно необитаемый вид, но внутри есть две небольшие, уютные комнаты. В это тайное помещение ведут два входа: один – со двора, другой – из беседки сада Гилленстиерна. Кроме того, в конце коридора имеется дверь, которая ведет в личное помещение Ганса, хозяина гостиницы. Много хороших часов провели мы в нашем гнездышке с Христиной, и ни разу никто не видел ее лица!..

– Почему же вы разошлись?

– Она умерла в горячке... Но после ее смерти – тому прошло уже восемь лет – мое гнездышко поддерживается в

прежнем виде. Когда мне становится очень тяжело на душе, я отправляюсь туда, провожу там несколько часов в воспоминаниях, иногда даже работаю там – ведь в этом гнездышке тайная политическая корреспонденция хранится в большей безопасности, чем даже во дворце! Адель! Позволь мне отвезти туда тебя! Клянусь, я не питаю никаких грязных замыслов! Просто там нам будет хорошо, и за ужином, в тепле, в полной безопасности от чужого любопытства мы кончим свой разговор! О, согласись, молю тебя! Никто не увидит твоего лица, никто не будет знать, что ты была здесь. А я был бы так счастлив провести тебя в эти комнаты, озаренные сиянием моей первой нежной любви!

Сложные чувства зашевелились в душе Адели. Ее немножко трогало это признание и в то же время слегка колело ревность: ведь женщина ревнует и не любя! Но все это покрывалось волной острого презрения к Густаву. Вот такие все они, эти негодяи-мужчины! О, она, Адель, – грязная, падшая, развратная, но, если бы она полюбила кого-нибудь, если бы была счастлива такой нежной, поэтической любовью, разве повела бы она первого встречного в место, «озаренное сиянием первой нежной любви»?

– Скажите, ваше величество, – спросила она, – а после смерти вашей Христины там бывали другие женщины?

– Никогда!

– А вы не боитесь оскорбить память вашей Христины тем, что введете такую низкую женщину, как я, в комнаты, где,

быть может, витает ее чистый дух?

– Нет, почему же? – просто ответил Густав, оставляя без внимания язвительную иронию вопроса. – Христина всегда желала моего счастья, и, если ее дух витает в этих комнатах, он не может быть оскорблен моими попытками отыскать вторую хорошую душу. Да, в этих комнатах вошло и закатилось однажды мое счастье! Как знать? Может быть, от нашего разговора там оно опять взойдет или вновь окончательно закатится!

– О, что касается меня, то при всем добром желании я не могу придавать этому разговору такое значение! – с ледяной иронией возразила Адель. – Однако я голодна, мне холодно, а потому я согласна. Но только помните, ваше величество: я требую уважения к себе как к женщине, никаких покушений.

– Как вы могли подумать! – воскликнул Густав. – Нет, что бы ни было, обещаю вам, Адель, быть благоразумным!

– Ну, так поскорее! – сказала Адель, откидываясь в угол. – Я действительно устала... Это далеко?

– Да нет, совсем близко!

Густав дернул сонетку, карета остановилась, лакей приоткрыл дверцу. Густав сказал ему несколько слов, и они сейчас же двинулись дальше.

«Он в моих руках! – с торжеством думала Адель. – Только надо вести себя умно. Ведь этот дурашливый королек признает любовь лишь под сентиментальным соусом! Побольше

горечи, оскорбленного достоинства, в меру стыдливости и достаточное количество порывов страсти! Если только мне удастся угадать верную пропорцию всего этого, то готова ругаться, что чистый дух нежной Христины станет сегодня вечером свидетелем довольно забавной сценки! А тогда... Ну уж тогда тебе не вырваться, мой возлюбленный Густав!»

После нескольких минут езды карета остановилась.

– Одну минуту терпенья! – сказал король. – Лакей пошел предупредить Ганса. Сейчас в комнатах зажгут огонь. Это делает сам Ганс. Но и он уйдет, приготовив все: никто не должен видеть лицо дамы, с которой я приехал!

Через несколько минут лакей почтительно распахнул дверцу. Густав выскочил из кареты первым и протянул Адели руку.

– Боже мой! Что за грязь! – воскликнула Адель, с ужасом всматриваясь в светлый круг, отбрасываемый на землю фонарем в руках лакея. – Совсем подходящее дело для моих открытых туфель!

Не говоря ни слова, Густав охватил Адель, поднял ее на руки и легко понес, словно маленького ребенка. Они прошли через узкую покосившуюся калитку во двор. Лакей освещал им путь фонарем. Теперь Густав шел уже по деревянному настилу, но все не спускал с рук прижавшейся к нему Адели.

Так дошли они до невзрачного деревянного подъезда. И здесь король не выпустил Адели, а стал подниматься с нею на лестницу.

– Но ведь здесь уже нет грязи! – заметила Адель, слабо улыбаясь.

– Я хотел бы всю жизнь нести тебя так! – страстным шепотом ответил король.

Они поднялись на второй этаж. В сером, невзрачном коридоре, скудно освещенном тусклой масляной лампочкой, виднелась дверь, перед которой Густав опустил Адель на землю. Гюс вошла в дверь и даже ахнула от неожиданности: уж очень силен был контраст между комнатой и внешним видом дома!

Комната, в которую она попала, была очень большая и высокая; однако масса роскошной мебели, картины выдающихся художников, дивной работы лампы, заливавшие комнату сильным, но не резким светом, придавали ей вид маленького, уютного гнездышка, а зелень цветущих растений, в изобилии расставленных повсюду, создавала отрадные для глаза пятна, мягко контрастировавшие с нежным тоном штофной обивки и портьер.

– Пройдите пока в соседнюю комнату, дорогая, – сказал Густав. – Здесь Ганс с женой сейчас накроют ужин, и им во все ни к чему видеть вас. К тому же вы, наверное, хотите оправиться, а в соседней комнате найдется все необходимое.

Адель направилась в соседнюю комнату, но, открыв дверь, остановилась, словно пораженная ужасом.

– Что это? – негодующим тоном крикнула она, указывая рукой вглубь комнаты, где в красноватых отблесках то-

пившегося камина виднелась громадная, широкая кровать, оправленная к ночи.

– В чем дело? – удивленно воскликнул Густав, с испугом подбегая к Гюс.

– Что это? – повторила она, указывая рукой на кровать.

Густав укоризненно покачал головой.

– Бывало несколько раз, что, приезжая сюда отдохнуть и поработать, я оставался из-за дурной погоды ночевать. Поэтому Ганс всегда держит постель готовой, чтобы, когда бы ни приехал, я мог застать все в порядке. Что же такого ужасного, такого оскорбительного нашли вы здесь? Неужели вы могли подумать...

– Хорошо! – резко перебила его Адель. – Смотрите же, не заставьте меня обмануться в вас и в этом отношении, как я уже обманулась во многих других!

Она закрыла за собой дверь и с довольной улыбкой подошла к камину. Затем, с наслаждением опустившись в кресло и подставляя тело отрадной теплоте, она тихо смеялась над выражением лица Густава, изумленного этой неожиданно страстной отповедью... Да, все эти дураки-мужчины до ужаса просты! Чем меньше они понимают женщину, чем больше поражают их контрасты ее настроений, тем глубже способны они увлечься. И в этом весь секрет власти над ними. Никогда не быть однообразной, никогда не выявлять перед ними истинного «я», вечно оставлять их в ожидании, что в любимой женщине осталось еще много нераспознанного –

вот тайна женского могущества. И потому-то так часто бывает, что страстный жених быстро превращается в глубоко равнодушного мужа. Невеста с инстинктивным чутьем охотника, подманивающего добычу, бессознательно рассыпается перед ним целой радугой сложных чувств и настроений, и жених жадно и страстно стремится проникнуть в тайну ее «я». Но вот добыча взята в полон, и жена уже ничем не старается казаться. Ее «я» оказывается для мужа простым, понятным и... скучным. И паутина равнодушия покрывает места, где еще недавно цвели алые розы страсти!

Да, неожиданным, непонятным должно было показаться Густаву это негодование при виде приготовленной кровати! Он не знает, чем объяснить себе его: боязнию ли, проистекающей из отвращения к нему как мужчине, стыдливостью ли женщины, душа которой гораздо чище и лучше ее жизни, или мнительностью человека, которого не раз оскорбляли и который не хочет, чтобы на первый план выдвигался его пол! И теперь бедный, глупенький король будет тревожно ждать ее появления. Наверное, он ждет, что она опять будет резкой, негодующей, иронически пренебрежительной в обращении с ним. Нет, она, наоборот, выйдет смущенной, робкой, тихой и кинет ему такой ласково-манящий взгляд, от которого у него по телу побегут мурашки. И когда он окончательно будет сбит с толку противоречиями, контрастами, неожиданными переходами, тогда достаточно будет одного ее взгляда, жеста, слова и...

Дурачок! Он хотел что-то выяснить, что-то решить, но, ничего не выяснив, ничего не решив, как раб, упадет к ее ногам!

Однако для этого надо быть сильной, быть во всеоружии! Ее сила, ее оружие – красота! Ну, так – за вооружение!

Адель вскочила, взяла из корзиночки длинную лучину и зажгла ею от камина свечи на туалетном столе и у большого трехстворчатого зеркала. Она тщательно осмотрела себя и осталась довольна. Как хорошо, что на ней это простенькое темное платье! Большой вырез так заманчиво-дразняще обнажает самое начало красивых линий груди, а кружевная оборка вокруг со скромным бантиком посередине придает ее лицу что-то наивно-девичье, молодит ее! И как выгодно оттеняет темный цвет платья белизну кожи, а скромный покрой – гибкость и пластичность форм!

Но прическа не годится! К чему это сложное сооружение? Надо что-нибудь простое, девичье.

Адель села к туалетному столу, распустила волосы, которые золотым каскадом рассыпались по плечам, и свернула их простым, тяжелым узлом. Вот так! Хорошо! Право, в таком виде ей не дать больше двадцати лет! Скромная провинциалочка, впервые очутившаяся в большом свете и наивно раскрывающая чистые глазенки... Ха-ха! Вот это-то и нужно этим развратным мужчинам! Наивность, чистота – лакомый кусочек!

А теперь еще одно! В арсенале могущественных средств

ароматы занимают важное место! О, с каким умом, с каким тонким расчетом должна выбирать их женщина! Для каждого отдельного случая нужен отдельный аромат, специальная смесь. Аромат и привлекает, и отталкивает... О, как осторожна должна быть женщина в обращении с духами!

Свет свечей и кровавые отблески камина миллионами радужных брызг играли в гранях хрустальных пробок массивных флаконов. Вот роза, цветок желанья, вот мускус, яркий факел чувственности, вот вкрадчивый, льстивый гелиотроп, наивно-жеманная сирень, пьянящая яблоня, грубовато-добродушное, бодрящее сено... Немножко того, несколько капель этого... Вот так!

Адель достала платок и намочила кончик его в хрустальном блюдечке, где была приготовлена нужная смесь. Затем она протерла себе грудь, глубоко запуская платок за вырез. Так! А теперь – к огню! Теплота отнимает у духов их резкость, их наглую навязчивость; аромат как бы впитывается в поры кожи, и только по временам при движении от тела вдруг отделяется пряная волнующая струя!

В дверь постучали. Послышался голос Густава:

– Стол накрыт, дорогая! Готовы ли вы?

В ответ ему донеслось робко, смущенно:

– Я сейчас... Простите...

Стол был накрыт действительно по-царски. Массивное, тяжелое серебро, вазы, в которых прихотливая грань стек-

ла соперничала с богатством рисунка металла, монументальные подсвечники – чудо скульптуры, тонкое полотно – все удивительно гармонировало с пестротой тонов мясных и рыбных закусок, с нежной окраской фруктов, с цветными искорками граненых винных графинов.

Густав и Адель сидели рядом, пили и ели с аппетитом и оживленно разговаривали. И не раз король с тревогой поглядывал на артистку. Только что была она весела, только что дарила его восторженными взглядами! И вдруг затуманилась, вспыхнула, разразилась гневливой, ничем не вызванной фразой... А потом опять стала робкой, смущенной... опять тот взгляд, от которого все темнеет в глазах...

Боже, сколько загадочного, сколько страдальческого в этой женщине! И ее-то называют холодной кокеткой, развратной тигрицей? Как злы люди, как легко впадают они в злословье там, где может быть место лишь восторгу и преклонению!

У Адели гневом блестели глаза, вся она – была негодование...

– Женщины! – воскликнула она. – Что может быть несчастнее их? Лучше быть рабом-мужиной, чем свободной женщиной! Женщина не имеет права называться человеком; ведь все – иное для нее, чем для мужины. Я не говорю уже о законе; но возьмите хоть мораль, нравственность! Мужина, не ведавший любви, не познавший женщины, – огородное чучело, белая ворона, какая-то помесь дурака с

уродом. Чтобы не быть этим чучелом, он должен соблазнить женщину, а она в глазах общества считается из-за этого потерянной, обесчещенной. Одно и то же деяние возвышает мужчину и унижает женщину... И так во всем! У меня мозг готов лопнуть от негодования, когда я думаю обо всем этом! – она вдруг откинулась на спинку стула и уже совсем другим, застенчивым, смущенным тоном продолжала: – Много негодующих слов накопело у меня в душе, но... Ах, это вино! Что за предательский дух таится в нем! Он обволакивает, вкрадчиво обнимает и заставляет вопль гнева сменяться улыбкой нежности... Нет, сегодня я не способна злобствовать, как всегда. Вы – чародей, государь! Достаточно мне было провести с вами какой-нибудь час, и многое оттаяло у меня на душе. Не хочется думать о своей несчастной жизни, о безрадостном будущем. Впрочем, это и понятно: ведь я так устала... устала и физически, и нравственно. Ведь так тяжело вечно быть одной и в каждом мужчине видеть лишь прирожденного обидчика и врага! Ну, а физически... Сегодня был для меня трудный день! Столько волнений!.. – Она с глубокой нежностью посмотрела в глаза Густаву, и ее рука, безвольно опускаясь вниз, мимолетной лаской скользнула по его руке. – Вы уж извините меня, но я встану! Вот та кушетка уже давно манит меня!

Адель встала и, подойдя к кушетке, в томительной позе полуприлегла на нее.

«Теперь или никогда!» – пронеслось у нее в голове.

Расположившись на кушетке так, чтобы придать телу наиболее манящий изгиб, она мечтательно оглядела комнату. Прямо против нее на стене висел большой портрет прелестной женской головки. Кто это? Уж не Христина ли? Да, наверное, она! Об этом говорили стебли увядших роз, прикрепленных к раме.

Какой чудный портрет! Наверное, рука большого мастера рисовала его! Быть может, Густав нарочно выписал из-за границы какого-нибудь большого художника, который только за тем и приезжал, чтобы увековечить на полотне неизвестную ему девушку. Чудный портрет! И какой дивный оригинал!..

Бесконечно милое лицо с нежным овалом и большими, наивными, добрыми, веселыми глазенками! Почти ребенок еще...

«Да, ты умерла вовремя, Христина... умерла в пору весны своей любви, пока еще не успела обмануться и разочароваться. Что случилось бы с тобой, если бы ты дожила до этих пор? Должно быть, давно уже померкли бы розы твоих щек, и каким сумрачным стал бы взгляд этих наивных глаз! А теперь ты улыбаешься... вечно улыбаешься!»

Свет нагоревшей свечи дрогнул, и Адели показалось, будто портрет хитро подмигивает ей...

Да, надо действовать!

Она перевела взор на Густава. Вот сидит этот большой дурачок, сидит и не знает, что ему делать с собой. Неудержимо тянет его подойти к кушетке, на которой так живописно

раскинулось роскошное, желанное тело. И в то же время он боится двинуться!

«Я помогу тебе, дурачок!»

– Ах, – лениво сказала Адель, по-кошачьи потягиваясь. – Как манит меня этот дивный виноград! Но я так устала, так не хочется двигаться с места!

Густав поспешно сорвался с места, опрокинул на скатерть бокал красного вина, схватил художественно расписанную тарелочку, положил на нее большую гроздь винограда и поставил на низенький столик около кушетки.

– Вы так любезны! – смущенно сказала Адель. – Собственно я хотела черного винограда, но с удовольствием съем и этого!

Густав снова сорвался с места, схватил всю вазу и перенес ее на столик. Благодарностью ему был такой нежный взор, что он вспыхнул; одну минуту казалось, что он не совладает с собой и бросится к девушке. Но он поборол вспышку страсти, отошел к столу, залпом выпил большой стакан вина и затем вновь вернулся к Адели.

– Дорогая, – сказал он, – ведь вы обещали рассказать мне про свою жизнь!

– Вы непременно хотите этого? – с ласковой грустью ответила она. – Ах, мне так тяжело!.. Да и нужно ли это? Но вы хотите этого, а сегодня я ни в чем не могу отказать вам. Ну, так присаживайтесь и слушайте. Но что вы делаете? – крикнула она, полупривскакивая при виде того, как Густав

положил на пол подушку и собрался сесть у ее ног.

– Не отталкивайте меня, я так несчастен! – с тихой мольбой сказал он, положив к ней на колени свою голову. – Что дурного делаю я?

– Ах, а вы обещали мне быть благоразумным! – пробормотала Адель, словно невольно опуская закинутую руку и поглаживая ею Густава по голове. – Ну, Бог с вами! Но только... если вам не трудно... убавьте свет! А то эта лампа светит мне прямо в лицо... Ну, а когда раскрываешь душу, свет отпугивает.

Густав погасил все лампы и оставил лишь два восьмисвечника. Но и их он отнес в противоположные углы комнаты. Затем он вернулся на свое место.

– Ну, слушайте! – начала Адель, снова поглаживая Густава по голове. – Только предупреждаю – не ждите от меня оправданий, обеления себя... знаю, что я скверная... но и несчастная тоже! – Она вздохнула и продолжала: – Я была еще совсем маленькой девочкой, когда моя мать – она была тоже артисткой – заметила во мне искры сценического дарования. Она стала заниматься со мною, и с детства я привыкла слышать, что на моей карьере мать строит все наше будущее благополучие. При этом мать, не стесняясь, поучала меня, как я должна вести себя впоследствии, и еще девочкой я познакомилась со всей грязью жизни. Я очень рано сформировалась, и Бог один знает, сколько гнусных предложений наслушалась я еще ребенком. Если я благополучно сберегла

себя до шестнадцати лет, то этому помогли как инстинктивное отвращение перед физической любовью, так и поучения матери, которая всегда говорила мне, что добродетель – это такой капитал, который нельзя дарить первому встречному, а нужно пускать в оборот в решительный момент за выгодные проценты!

– Какая гнусность! – с негодованием воскликнул Густав. – И это – мать?! Бедная вы!

– Да, это была родная мать... Когда мне нужно было получить дебют в театре, родная мать надушила, принарядила меня и отправила на растление к маркизу Гонто, королевскому интенданту... Не могу описать вам, как скверно я себя чувствовала! Я готова была наложить на себя руки! Но мало-помалу во мне стало пробуждаться какое-то особое чувство. Я вообразила, что Гонто полюбил меня, и мое поруганное тело стало казаться мне священным. Ведь любовь – великая божественная тайна, и священен алтарь, на котором совершается она. Так думала по крайней мере наивная девочка. Но однажды, когда я встретила с маркизом в театре, я убедилась, что он даже не знает меня в лицо... Любовь! Какое кощунство!.. Долго после этого я не могла без ненависти смотреть на мужчину!

Она замолчала, как бы изнемогая под гнетом воспоминаний.

Густав страстно приник к ее руке и покрыл ее пламенными поцелуями.

– Я получила ангажемент в Россию, – продолжала Адель, нежно пожимая руку Густава. – Там я встретила Орлова, покойного фаворита русской императрицы. Он произвел на меня сильное впечатление, и, когда он стал домогаться мной близости, я отдалась ему. Что было мне беречь? И чего опасаться? Ведь любовь собиралась осенить меня своим священным крылом. Но однажды Орлов самым спокойным образом объяснил мне, что актрис любит лишь тот, кто не имеет достаточного капитала, а богатые лишь развлекаются с ними. Это были его подлинные слова! Но я все же не рассталась с ним. Я хотела окружить его любовью, вниманием, заботами и заставить полюбить меня. Этому не суждено было свершиться. Царица проведала о нашей связи и велела распустить слух, будто я изменяю Орлову на каждом шагу. Не проверив этого, Орлов пришел ко мне и избил меня нагайкой, словно собаку. Я хотела сейчас же уехать из Петербурга, но тут умерла моя мать, а, пока я похоронила ее, мне удалось узнать, что Орлов собирается соблазнить прелестную молодую девушку, таинственную любимицу императрицы Катю Королеву. Я решила остаться, чтобы выследить Орлова и не дать ему овладеть девушкой, которую он собирался похитить. Я не успела: Орлов подсыпал жениху Кати яд, но его выпила из бокала жениха Катя и умерла. Я кинулась к императрице, представила ей доказательства преступления Орлова; однако она не только не наказала фаворита, но еще выслала меня из России... Вы можете себе представить, в

каком состоянии я вернулась в Париж! Все во мне было опозорено, растоптано. К чему, ради чего берегла я себя? Ради чего старалась я быть лучше других женщин своей среды? Разве меня пощадили за это? Разве с моим добрым именем церемонились? И я действительно кинулась в безудержный разврат. Не скрою, порой мне это было бесконечно тяжело, порой я готова была рвать на себе волосы; но я заливала эти минуты отчаянья вином, развеивала разгулом. Я не могла остановиться: в минуту трезвого спокойствия я была способна наложить на себя руки. И вдруг...

– Вдруг? – повторил Густав, наклоняясь к ней и впиваясь в ее лицо горящим взором.

– И вдруг я встретила с человеком, от которого на мою страдавшую душу повеяло исцелением. Я сразу порвала с позором прошлого, обвеянная дивной сказкой, оживленная надеждой. Но этот человек возился со мною ровно столько времени, сколько у него было свободно от государственных дел; когда государственные дела потребовали его, он уехал, не сказав мне даже последнего «прости». Правда, он прислал мне богатый подарок, но... о, с каким наслаждением швырнула бы я ему этот подарок в лицо!

– Адель! – воскликнул Густав.

Но Гюс повелительным жестом остановила его и продолжала:

– И опять я проснулась от сладкого сна, и опять, чтобы уйти от ужасной действительности, я кинулась в бездну раз-

врата. Но на этот раз мной руководило не только желание забвения. Я говорила себе, что должен же быть где-нибудь мужчина, настоящий мужчина, достойный любви и поклонения. Я просто не могла до сих пор встретить его! И я стала искать этого «настоящего» мужчину! Я кидалась в объятья всякого встречного... О, это было профанацией любви, но... я была так несчастна! Я так жадно хотела вырвать у жизни хоть кусочек счастья! И как настойчиво искала я его! Всюду-всюду! Я покидала богатые чертоги и уходила в мансарды к начинающим поэтам, безвестным художникам. Я искала среди буржуазии, чиновничества, признанных артистов... Напрасно! Везде было одно и то же! Везде я встречала лишь желание чувственных восторгов и полное пренебрежение к душе женщины. Наконец я нашла одного, который показался мне достойным. Это был уже немолодой человек, прославленный художник... Его звали Фальконэ... И что же? Только мои деньги были нужны ему, и, обобрав те жалкие гроши, которые я отложила на черный день, он первый высмеял меня! Тогда я сказала себе: «Нет, довольно, Адель! Остановись! Нечего безумствовать, горячиться! Ты должна быть спокойной, холодной, расчетливой! Нечего искать того, чего не существует. Мужчины хотят твоего тела, ну, так пусть они платят за свое желание». И я опять зажила замкнутой жизнью. Вернувшись в Россию, я жила честнее всех гордых аристократок, перед которыми так преклоняетесь вы, мужчины. Редко, очень редко я давала волю вспышке страсти. Но ведь

я – женщина, которая не может совершенно подавить в себе желания. Ведь мне не семьдесят лет, и вся моя жизнь, вся окружающая меня обстановка не особенно-то располагали к монашескому воздержанию. И повторяю вам, это случилось со мной очень-очень редко... И что же? Уберегло это меня от злословья? Нисколько! Письмо, полученное мною от вашего величества, достаточно ясно показало мне, что моя репутация только ухудшилась после того, как жизнь стала чище. Да это и понятно! Ведь вы, мужчины, охотно клеветеете на женщину, у которой не имели успеха!

– Но я, дорогая Адель...

Адель снова прервала Густава повелительным жестом и продолжала:

– Признаюсь, если я вела себя так благоразумно, то это и было лишь благоразумие. Капитал женщины, особенно артистки – ее внешность, ну, а распущенная жизнь сильно и быстро старит. Да и из-за чего бы мне соблюдать себя? Ведь единственный человек, который глубоко-глубоко подошел к моей душе, отряс прах от ног своих. И вот случилось так, что его превосходительство господин Аркадий Марков сделал мне предложение стать... Ах, да что тут выбирать выражения!.. Предложил мне поступить к нему на содержание. Я стала взвешивать, судить, решать. Люблю ли я его, могу ли уважать – об этом, признаться, я и не собиралась думать; я только взвешивала, могут ли выгоды сожителства оправдать его тяготы. Я совсем было пришла к выводу, что этот

союз ни с какой стороны не может быть для меня желательным, как вдруг... вдруг я случайно узнала, что Маркова назначают посланником в Швецию... В Швецию! Боже, какой пожар разгорелся тут в моей груди! Я готова была бить себя, проклинать, но что я могла поделать с собой, если в моем мозгу гвоздем засело острое желание хоть еще разок взглянуть на человека, который сыграл такую большую роль в моей жизни! Пусть он обманул мои ожидания! Но ведь в тот момент, когда я еще верила ему, я была счастлива так, как никогда больше. И вот я приехала в Швецию...

– Адель! – страстным хрипом вырвалось у Густава. – А если этот человек скажет тебе: «Прости за невольное зло, прости за невольно нанесенную обиду! Он тоже страдал».

– Ах! – крикнула Адель и будто невольно обвила шею Густава. – Пусть я презираю себя, пусть я опять обманываюсь! Люби меня хоть немного, ты, единственный возлюбленный моего сердца!

Король кинулся к ней, но задел по дороге вазу. С громким звоном упала она на пол, разбиваясь в тысячу осколков.

Ах, что за дело было ему до какой-то несчастной вазы, когда, казалось, небо блаженства готово было обрушиться на него и раздавить его своей всежигающей страстью!

Глава 3

Прижавшись в угол кареты, Адель тихо, жалобно всхлипывала.

– Адель, дорогая моя, что с тобой? – испуганно и тревожно спросил Густав. – Ты плачешь? Неужели ты раскаиваешься, что подарила меня минутой несказанного счастья?

– Я так презираю себя, так презираю! – всхлипывая ответила Гюс. – Зачем я не сдержала своих чувств, зачем допустила их прорваться наружу? Что я для тебя? Игрушка минутного каприза! Но ведь...

– Адель! Как можешь ты говорить так! – возмущенно воскликнул Густав. – Неужели ты способна думать, что после всего происшедшего между нами...

– Что же, в сущности, произошло? – с горечью ответила она. – То, что уже десятки, может быть, сотни раз происходило у «развратной Гюс», способной отравить своим присутствием «добрый, старый Стокгольм»!

– Адель! – строго и серьезно перебил ее Густав. – С твоей стороны будет просто безжалостно, если ты станешь сомневаться в глубине моего чувства. Я люблю тебя, Адель, люблю так, как можно любить женщину. Я счастлив единой улыбкой твоей, каждая твоя слезинка тяжелым камнем падает мне на душу. И то, что произошло между нами, – не каприз, не минутная вспышка, а залог счастья на всю жизнь.

Только сейчас я еще не знаю, в какие формы выльется наша совместная жизнь. Пойми, у меня в душе все так смешалось от радости, что я не способен мыслить с достаточной ясностью. Конечно, ты должна немедленно расстаться с Марковым, но на первых порах нам надо будет соблюдать большую осторожность. Ведь что ни говори, а я все-таки – король, тогда как Марков – русский посол! Скандала, огласки надо избежать во что бы то ни стало. Но сейчас я слишком полон восторгом обладания, чтобы разумно мыслить о чем бы то ни было. Поэтому умоляю тебя, позволь отложить до завтра выяснение наших дальнейших отношений! В течение ночи я все обдумую и завтра... Не сможешь ли ты принять меня завтра вечером?

– Конечно, могу! Часов в девять?

– Скажем, в десять. Я приеду к тебе, и мы все решим. Положись на меня, дорогая, я не заставлю тебя страдать!

Карета подъехала к дому. Густав выскочил и галантно помог Адели.

– Значит, завтра в десять? – спросила она, посылая ему из подъезда приветственный знак рукой.

– Да, дорогая, в десять. Но... я хотел бы избежать... встречи...

– О, относительно этого не беспокойся!.. Покойной ночи, дорогой мой!

Адель скрылась в дверях, король сел в карету и уехал. Из темного угла за подъездом вынырнула какая-то тень, которая

быстро исчезла в предутреннем мраке.

– Значит, сегодня в десять часов?

– Точно так, ваше высокопревосходительство, сговорились ровно в десять.

– А кто это был?

– Не могу знать, ваше высокопревосходительство! Было так темно.

– Но все-таки, судя по внешнему виду, разговору, кто это мог быть?

– Да, надо полагать, птица невысокого полета – какой-нибудь захудалый дворянчик.

– Швед или иностранец?

– Боюсь сказать наверняка, ваше высокопревосходительство, но, по-видимому, швед.

– А как называла его эта подл... эта госпожа?

– Да просто «дорогой мой», без имени.

– Хорошо... можете идти! Кстати, велите послать мне барона Вольфа.

Вошел барон Вольф, один из советников русского посольства.

– Скажите, милый барон, – спросил его Марков, – экстерриториален (Экстерриториальность (или внеземленность) – право коронованных особ и их представителей (посланников и вообще членов посольств) во время пребывания на чужой территории не подлежит действию местных законов и вла-

стей. На основании этого права неприкосновенностью пользуется не только личность посланника, но и дом, занимаемый посольством. В прежнее время (до конца XVII века) изъятию из ведомства местной власти подлежал весь квартал, где обитал посланник, что вело ко многим неудобствам и даже опасностям, а потому «право квартала» мало-помалу исчезло. Однако долгое время вопрос о границах применимости понятия внеземленности оставался спорным, и нередко из-за него происходили обострения международных отношений.) ли дом, в котором живет Гюс?

Вольф удивленно взглянул на посла.

– Я спрашиваю вот почему, – пояснил последний. – Этот дом был снят «для нужд посольства». Можно ли рассматривать его как продолжение, отделение посольского дома?

– Это очень спорно, – ответил Вольф. – С одной стороны, конечно, раз этот дом является как бы продолжением посольского, то на него должны быть распространены и все прерогативы последнего. Но, с другой стороны, такое распространение может иметь характер восстановления «права квартала», а, как вам известно, это право ныне совершенно отвергнуто!

– Если спорно, так это великолепно! – сказал Марков. – Пусть потом отрицают наше право действовать так или иначе – мы будем настаивать на своем праве, и из происшедшего конфликта будет лишь установлено правило на будущее время. А все-таки мы сделаем то, что нам нужно! Как вид-

но, вас удивляют мои слова? Но я сейчас все объясню вам. Только это – большая тайна!

– Ваше превосходительство, кому же уметь хранить тайны, как не первому советнику посольства!

– Ну да, конечно... Я только так заметил... Словом, дело в следующем. Я получил доказательства, что Гюс изменяет мне. Она изменяет не только мужчине, но и послу. Через Гюс шведское правительство успело проникнуть в некоторые дипломатические секреты. Для меня не совсем еще ясно, каким именно путем и через кого добралась она до наших секретов, но ведь эта сирена хоть кому вскружит голову! Ну-с, теперь создается довольно неприятное положение. Если я попросту порву с Гюс, то эта особа будет продолжать черпать сведения из открытого ей источника, и, пока мы доберемся до предателя, могут произойти большие неприятности. Я хочу заставить Гюс покинуть пределы Швеции. Этого возможно добиться только путем такого скандала, который сделает для нее невозможным дальнейшее пребывание здесь. Я решил с помощью наших людей накрыть изменницу вместе с ее возлюбленным и попросту выгнать их на улицу, постаравшись не дать им возможности привести себя в порядок. Пусть-ка пробегутся полураздетыми! На это представление я приглашу кое-кого из представителей здешнего дипломатического корпуса и шведской знати. Через несколько часов весть о скандале разлетится по всему Стокгольму, и Гюс придется уехать. Но для успешности моего замысла необходимо,

чтобы я мог опираться на экстерриториальность дома, так как иначе вмешается полиция, и вся прекрасная затея разлетится прахом. Ну, что вы скажете?

– Я боюсь, ваше превосходительство, что наше правительство косо посмотрит на эту историю и найдет ваш способ немного... грубым...

– Этого вовсе нечего бояться, милый барон! Как раз сегодня я получил депешу от графа Панина, в которой мне настоятельно приказывается «немедленно, не щадя средств и не пренебрегая никакими средствами», пресечь возможность дальнейшего шпионажа. Ну, да это – особая статья. От вас мне нужно было только узнать, могу ли я настаивать на экстерриториальности дома Гюс, и раз есть хоть малейшая зацепка, то все обстоит благополучно. Спасибо вам, дорогой барон!

Вольф откланялся и ушел.

Когда дверь за советником закрылась, Марков вскочил с места и даже сделал какой-то сложный пируэт в воздухе. Он был в восторге, как хорошо все складывалось. Несколько времени тому назад ему была дана очень сложная миссия, но он провалил ее самым позорнейшим образом. Тогда Марков поспешил уведомить Панина, что не надеется на успех, так как непонятным образом тщательно оберегаемая тайна стала известна шведскому правительству. В ответ на эту правдоподобную ложь Марков и получил то предписание, о котором он только что говорил Вольфу. Действительно, теперь, ко-

гда Россия всеми силами старалась побудить Швецию соединиться с нею и Данией в вооруженный нейтралитет против Англии, малейшее разглашение инструкций, данных Маркову, могло повести к роковым последствиям. Марков рассчитывал, что русское правительство не найдет повода ставить скандальный эпизод ему в упрек, так как разве не приводил Панин ему в пример поведение маркиза де Ла Шетарди, французского посла при дворе Анны Иоанновны? Шетарди изображал собою кутилу и скандалиста, благодаря чему русское правительство не считалось с ним как с дипломатом, а, пользуясь этим, Шетарди втайне ковал свои хитрые козни!

Да, вот так именно и объяснит Марков Панину свое поведение. Он, дескать, хотел убить одним ударом двух зайцев: удалить из Швеции главную виновницу разглашения тайны и заставить шведское правительство подумать, будто дипломат, занятый сведением под пьяную руку счетов со своей метрессой, не способен на какие-нибудь подкопы! А в конце концов сюда прибавится еще и то, что после обвинения Гюс в шпионаже ей будет закрыт въезд в Россию. Да, дорого обойдется вероломной ее измена, и не раз будет она каяться в своей необдуманности!

Марков просмотрел очередные дела и затем велел подать себе лошадь. Заехав в цветочный магазин и захватив там красивый букет, он отправился к Адели.

Расставшись с королем, Адель долго не могла заснуть. Она была слишком взволнована той стремительностью, с ко-

торой вдруг распалась стена, столько времени теснившая ее, и осуществились все ее желания. Сначала этот неожиданный дебют, позволивший ей вновь вернуться в положение артистки – положение несравненно более выгодное, чем просто красивой женщины, продающей свои ласки. И не прошло нескольких часов со времени окончания спектакля, как ей удалось вновь вернуть себе сердце короля и стать его возлюбленной!

Теперь нужно было только старательно закрепить узелок попавшей ей в руки нити, и тогда ее будущее несомненно обеспечено.

Но как трудно было, какой обдуманности требовало это! Малейший неверный шаг – и все может пойти прахом!

Действительно, положение оказалось не очень благоприятное. Ведь как-никак, а Марков был представителем державы, к которой Густав относился враждебно, но на союз с которой его толкала насущная потребность данного политического момента. Как враждебность, так и необходимость временного союза одинаково заставляли быть осторожным в личных отношениях с послом. Если Адель прямо от Маркова перейдет к Густаву, если последнее случится даже в скором времени после разрыва с послом, история получит очень неприятную окраску. Следовательно, Адели предстоит долго и тщательно скрывать свои отношения с королем, они будут видаться редко, урывками, тайно...

Но это ей совершенно не улыбалось! Адель хотела власти,

поклонения, хотела играть выдающуюся роль, по своему желанию и к своей выгоде направлять шаги Густава. А это было возможно лишь в том случае, если ее положение королевской метрессы будет у всех на виду. Кроме того, чтобы держать втайне связь с королем, надо было жить крайне уединенной жизнью. А разве она сможет долго выдержать такую жизнь?

Все это еще осложнялось знакомой Адели медлительностью и нерешительностью короля. Наверное, он ничего не сумеет решить так скоро и, чтобы не оказаться вынужденным насильственно рассечь созданный гордиев узел, начнет мешкать и оттягивать окончательное устройство их судьбы. А тем временем мало ли что могло случиться!

Нет, надо было ускорить ход событий! Но как? Положим, раз она знала склонность короля к сентиментальности, ей будет нетрудно ускорить первый шаг. Когда он придет к ней, ей надо постараться опять вскружить ему голову, опять заставить забыть обо всем в пламенном лобзании. А потом можно будет разыграть сцену раскаяния. Она, дескать, не может теперь оставаться больше в доме того человека, которого она обманывает. Как! Пользоваться всем от Маркова, жить в его доме и в этом же доме ему изменять? Нет, этого никак не может требовать от нее любимый человек!

Ну, хорошо! Положим, этот первый шаг удастся ей; она порвет с Марковым, уедет из этого дома... А дальше?

Но как ни думала Адель, как ни ломала себе голову, она не

могла представлять, в каком виде именно сложится это «дальше».

Заснула она только под самое утро и, проснувшись, не чувствовала ни малейшего желания вставать и одеваться. Уж очень тягостными казались ей все эти необходимые формальности дня.

Она велела подать себе утренний шоколад в постель. При этом Роза доложила ей, что Анкарстрем уже с полчаса дожидается ее пробуждения.

Анкарстрем! Словно теплая волна разлилась по сердцу Адели при этом имени! О, конечно, она не любила его в полном значении этого слова, но все же это был единственный человек из всех окружающих ее, от которого она хотела только его самого. Ведь никакой корысти не было для нее в их отношениях. Зато, как грело ее это юношеское обожание, как приятно было ей отдаваться капризу после стольких расчетов!

Ей представились маленькая, шарообразная фигура Маркова, его самонадеянность, надменность, открытый цинизм. Рядом с ним вынырнул образ царственного шута Густава, этого Дон Кихота сантиментов, играющего в прятки с самим собою и старающегося прикрыть розовым флером самые обыденные, низменные страстишки. Они... и Анкарстрем! Этот милый мальчик с гибкой фигурой, девичьим личиком и большими, серьезными, пламенными глазами! Ах, милый пажик!

И когда Анкарстрем вошел, она с таким сияющим лицом, с такой искренней радостью распростерла навстречу ему свои объятия, что юноша вспыхнул и бегом кинулся к ней.

– Ах, как ты прекрасна, как ты божественно прекрасна! – страстно зашептал он, упав на колени около кровати и пламенно целуя склонившуюся к нему Адель.

Затем он стал извиняться, что пришел в неуказанный час. Но он не мог! Ведь вчера он был в театре, и он один знает, как мощно потрясла его душу игра Адели! Ах, почему их любовь должна быть омрачена обманом, почему не может она принадлежать только ему одному!

– Глупенький! – ласково сказала Адель, каким-то материнским движением погладив его по голове. – Когда я была молоденькой девочкой, я тоже мечтала, что буду любима и стану любить одного-единственного... вот такого же славного мальчика, как ты, мой Иоганн! Но жизнь безжалостно развеивает девичьи грезы! Мы – не господа своей судьбы, Иоганн; суровые законы необходимости довлеют над нами. Ну, скажи сам: знаешь ли ты хоть одну выдающуюся артистку, которая обходится без покровительства важного, богатого, но нелюбимого мужчины?

– Знаю! – серьезно ответил Анкарстрем. – Это – Карлотта Басси!

– Карлотта Басси? – воскликнула Адель, порывисто хватая Анкарстрема. – Кто она? Она тебе нравится?

– Я еще не видал ее, – ответил юноша, – но о ней много говорят в Стокгольме. Правда, она здесь всего месяц, но...

– Ах, да! Новая прима-балерина королевского балета, – задумчиво сказала Адель. – Знаю! Я видела ее! Она очень хороша, эта худенькая неаполитаночка! Со временем она будет красавицей, но сейчас детская угловатость еще не совсем исчезла у нее... Однако танцует она дивно... Да, да, Карлотта Басси! И ее-то ты ставишь мне в пример? Глупенький мальчик! Я расскажу тебе сейчас историю твоего идеала – я вспомнила теперь, ведь об этой Карлотте говорят уже года три, хотя ей всего только восемнадцать лет... Да, да, Карлотта Басси! Мне рассказывал о ней один из атташе неаполитанского посольства в Петербурге. – Адель взяла голову Анкарстрема в обе руки, повернула ее к себе и, глядя ему в лицо, стала рассказывать: – Карлотта Басси – дочь капитана армии, который имел неосторожность умереть, оставив без всяких средств двадцативосьмилетнюю красавицу-вдову и десятилетнюю дочь. Чем жила вдова Басси после смерти мужа? Этого не знает никто! В обществе ходили слухи, будто ради дочурки Басси-мать торговала своими ласками. Должно быть, так это и было, потому что жили они хотя и без роскоши, но и без нужды, причем вдова находила достаточно средств, чтобы дать дочери тщательное образование. Но что бы ни делала вдова под покровом тайны, на виду у всех она вела вполне приличную жизнь и тщательно ограждала дочурку от всякого зла. Да, в этом отношении она не

была похожа на наших матерей, на мою, например, которая с колыбели внушала мне необходимость торговли собою!

– Бедная! – грустно сказал Анкарстрем, ласково погладив Адель по руке.

– У Карлотты, – продолжала Гюс, – с детства обнаружился выдающийся талант к танцам. На пятнадцатом году она дебютировала в неаполитанском королевском театре и сразу стала любимицей публики. Но не думай, что этим успехом она была обязана только таланту. Нет, те жертвы, которых требуют обыкновенно от нас самих, за Карлотту приносила ее мать. И это уже не подозрение, не предположение, не слух; это происходило в таких кругах, где истину скрыть нельзя!

– Боже, сколько грязи в вашем мире! – с отчаянием воскликнул Анкарстрем.

– Да, грязи много, милый мальчик, и потому-то нельзя требовать от нас чистоты. Мы – то, что из нас делает наш повелитель – публика! Вот потому-то я и говорю, что твоя Карлотта – не образец. Ее первые шаги были облегчены самоотверженностью красавицы-матери. Ну, а дальше? Пройдет несколько лет, и, когда Басси отвергнет искания нескольких важных поклонников, ее начнут проваливать. Какая-нибудь несравненно менее талантливая, но более щедрая на ласки балерина вытеснит ее из милости публики, и Басси останется что-нибудь одно – или отказаться от сцены, или пойти общей для нас торной дорожкой! Итак, ты видишь – единственная артистка, которую ты смог привести в пример, находится в

исключительном положении и далеко не гарантирована в будущем от такой же грустной, но неизбежной судьбы! А я...

Анкарстрем высвободился из ее рук и мрачно зашагал по комнате.

– Я не виню тебя, Адель, – сказал он. – Я понимаю, что никто добровольно не пожелает вести такую тяжелую жизнь. Но пойми меня! Каждый раз, когда я думаю, что ту, которую я люблю, которая сама любит меня, может купить всякий, у кого найдется достаточно денег, – в такие минуты мне хочется убить и тебя, и себя, и, право же, я начинаю чувствовать, что в эти мгновения меньше люблю тебя. О, когда я замираю в твоих объятиях, тут уж не могу ни о чем думать, ничего взвешивать. Весь мир исчезает, и только одна, прекрасная, существует для меня. Прикосновение к твоему телу лишает меня разума. Но чем полнее самозабвение минут страсти, тем темнее становится у меня на душе потом! Ведь это – все-таки обман, ведь я – все-таки вор, украдкой отнимающий...

Он вздрогнул и остановился: в дверь быстро постучали, и сейчас же в спальню вбежала Роза.

– Барышня! – испуганно крикнула камеристка. – Только что подъехал господин Марков!

– Так иди скорее! Ступай ему навстречу, а я запру дверь... Скажи, что я больна, что я сплю.

– Барышня, да вспомните, что было прошлый раз, с платком! А что, если барин станет ждать, пока вы не проснетесь? Ведь из спальни другого выхода нет!

– Ах, это проклятое расположение комнат! – истерически крикнула Адель. – Боже мой, надо же было этому случиться именно теперь! Но что же делать? – она прислушалась, вдали уже слышались тяжелые шаги Маркова. – Придумала! – радостно сказала она, понижая голос до тихого шепота. – Роза, приспусти скорее шторы, а ты, Иоганн... сюда!

Она схватила пажа за плечи и толкнула его на кровать, заставив лечь поперек в ногах. Затем она прикрыла его одеялом, легла сама и с самым невинным видом взялась за недопитую чашку шоколада.

Послышался стук в дверь.

– Войдите!

В комнату вошел Марков с букетом в руках.

– Боже мой, еще в кровати! – весело сказал Марков, галантно целуя протянутую ему руку и преподнося привезенный букет. – А я-то думал застать вас на свежих лаврах!

– Спасибо, Марков, вы балуете меня! – томно сказала Адель, взяв букет и погружая лицо в цветы. – Ах, друг мой, у меня так болит голова, так болит! Теперь стало немного легче, но утром я думала, что у меня череп лопнет от невыносимой боли!

– Может быть, вы поздно легли вчера спать?

– О, нет! Во втором часу я была уже в кровати. – Марков внутренне усмехнулся: на этот раз Адель, по-видимому, не солгала. О, да! Во втором часу, а, может быть, и раньше, она уже была в кровати... только в чьей?

– Ну, в таком случае это от вчерашних артистических волнений! – сказал он вслух. – Позвольте мне еще раз приветствовать вас! Вы были восхитительны вчера! О, с какой гордостью озирался я на публику! «Ведь эта дивная женщина, эта изумительная артистка – моя подруга! – думал я. – Да, Адель, вами мог бы гордиться сам император!»

– Благод... – начала Адель и вдруг вскрикнула, дернулась и нервно засмеялась коротким, отрывистым смешком.

– Что с вами? – спросил Марков, удивленно вскидывая на нее глаза.

– Ах, да ничего... пустяки! – с легким замешательством ответила Адель. – Я страшно разнервничалась. У меня какие-то судорожные подергивания, которые овладевают мною в самый неудобный момент!

Она подчеркнула последние два слова и сильно с досады двинула при этом правой ногой.

В самом деле, ну что за глупый мальчишка! Знает, как она боится щекотки, и в такой момент лезет со своими ласками! Положим, необходимо принять во внимание также и его «щекотливость» – ведь трудно представить себе положение более щекотливое, чем его. И, словно извиняясь за то, что она только что так неделикатно ткнула Анкарстрема, Адель ласково погладила его ногой. В то время как он снова пылким лобзаньем приник к ее ноге, она продолжала:

– Да, я разнервничалась. На меня произвело очень сильное впечатление мое вчерашнее выступление. Я так давно

была лишена чистых радостей искусства! Ах... вот опять... Боже!.. Друг мой, лучше оставьте меня одну! Я чувствую себя плохо, и разговор, видимо, только ухудшает мое состояние... Ах, опять судорога! Нет, я должна попытаться заснуть!

– В таком случае оставляю вас! – сказал Марков вставая. – Постарайтесь заснуть, отдохните, чтобы быть к вечеру молодцом. Я для того и заехал к вам, чтобы предупредить. Сегодня я притащу к вам кое-кого из своих приятелей; мы хотим достойно отпраздновать...

– Нет, нет! – испуганно воскликнула Адель. – Бога ради, пощадите меня сегодня! Я совсем больна, я не могу. Я постараюсь заснуть, потом отправлюсь покататься, а в восемь часов уже опять лягу. Иначе нездоровье надолго затянется – ведь я себя знаю.

– Но, милая Адель, чем помешает...

– Нет, нет, об этом нечего и говорить! Прошу вас на сегодня освободить меня! Сегодня меня хотели чествовать товарищи по трупке, но я и то отказалась, хотя они и могут счесть это за гордость. Но я скорее согласна навлечь на себя неудовольствие, чем...

– Ну, тогда не будем и говорить об этом! До следующего раза!

Марков снова поцеловал руку Адели и ушел.

Едва только шум его шагов замолк в коридоре, Анкарстрем бомбой вылетел из-под одеяла. Он был очень взвол-

нован и, подойдя к окну, замер там в хмурой задумчивости.

Адель с ласковой призывной улыбкой смотрела на него, потягиваясь, словно кошка при виде блюдечка с молоком.

– Ну? – коротко сказала она.

Анкарстрем ничего не ответил.

Прошло несколько секунд. Вдали послышался грохот отъезжающего экипажа.

– Ну? – повторила Адель. – Иди же ко мне, моя глупенькая судорога!

– Мне пора идти, – глухо и неуверенно отозвался паж, не отворачиваясь от окна.

– Идти? – Адель гневно привскочила на кровати. – Да в уме ли ты, милый мой?

– Ты знаешь... я уже говорил тебе... прикосновение к тебе лишает меня разума, но и... отрезвление приходит быстро. Ну как могу я забыть сейчас в ласках, когда только что ушел из этой комнаты твой «господин», «хозяин»? Нет, нет, позволь мне уйти! – он подошел к Адели и поцеловал ее спокойным поцелуем в лоб. – К тому же у меня действительно дела! – с натянутой улыбкой прибавил он. – Ты ведь знаешь, я хлопочу о зачислении в гвардию, но король не торопится с разрешением. Родственники хлопочут за меня, и сегодня...

– Подари мне полчаса, и я сделаю тебя офицером! – сказала Адель, страстно обнимая юношу и умильно заглядывая ему в глаза.

– Ты? Каким образом?

– Мне стоит только попросить короля! Ты знаешь, красивая женщина может сделать больше, чем влиятельные родственники!

Анкарстрем с силой вырвался из ее объятий.

– Не смей! – гневно крикнул он, отскакивая на середину комнаты. – Никогда не смей произносить мое имя в присутствии короля! Я лучше откажусь от всего и уеду в имение, чем стану обязанным женщине своим повышением по службе! – Он вдруг остановился; казалось, что у него мелькнула какая-то новая мрачная мысль. – Вообще, – продолжал он, глядя на Гюс исподлобья недобрый взглядом, – помни, Адель: красивая женщина, которая будет иметь слишком много влияния на короля, не может оставаться моей подругой! Я не знаю, что ты задумала, мне неизвестно, что ты решила и на что надеешься, но... боюсь, что неспроста предложила ты мне свою протекцию! Смотри, Адель, если нечто подобное – между нами все кончено! Я знаю, тебя этим не остановишь, но все-таки... Однако мне пора!

Он ушел. Адель горько усмехнулась. Только теперь ей пришло в голову, что новая фаза в ее жизни, которую она так тщательно подготавливала, будет ей стоить Анкарстрема. О, конечно, это не остановит ее, но до известной степени усложнит ей жизнь. Анкарстрем мог бы помочь ей скрасить часы скуки во время вынужденного уединения, которое ждет ее, пока король не сочтет возможным открыто объявить ее своей подругой. Ведь ей придется быть в это время крайне

осторожной, и старый дружок был бы гораздо удобнее! А потом, ведь что ни говори, в этом мальчике была именно та поэзия, которой не хватало ее жизни. И Адель с тоской должна была признаться себе, что Анкарстрем ей гораздо дороже, чем она сама думала прежде.

Ах, эти глупые, мечтательные мальчики! Жизнь с редкой щедростью дарит ему то, чего другие тщетно добиваются ценой огромных жертв, а он отворачивается от пенной чаши искрометного наслаждения! Морализированием, глупыми укорами совести, ненужной рассудочностью он отравляет моменты блаженства. Вор! Вором назвал он недавно себя! Да он и был вором. Но лишь себя обкрадывает он, лишь у себя отнимает счастье!

А теперь грозит уйти совсем.

Но нет! Не отпустит она его без борьбы! Он сам обнажил свое слабое место, сам создался, что прикосновение к ней лишает его разума, мысль борется у него с телом... Но теперь она, знающая, искушенная в науке страсти женщина, вступит в союз с этим мятежным телом и задавит, победит угрюмую, сварливую мысль!

От Адели Марков поехал навестить кое-кого из приятелей и пригласил на вечер целую компанию. Эта компания была составлена по тщательному выбору: сюда входили представители самых разнообразных слоев – служилая и не служилая аристократия, высшие должностные лица или их сы-

новья, военные, члены посольств и т. п. Но все они были довольно молоды, любили выпить и были склонны к сумасбродным выходкам.

Приглашенные собрались к восьми часам, а уже к девяти вся компания была сильно навеселе. Марков, сам пивший в этот вечер более чем осторожно, усиленно подливал и подливал гостям. Когда нужное настроение было достигнуто, он очень ловко сумел навести гостей на тему о любви и измене.

Как должен отнестись настоящий мужчина к измене любимой женщины?

Мнения присутствующих разделились. Одни говорили, что муж, узнав об измене жены, должен подстеречь любовников и убить их на месте. Другие находили, что страдать должна только жена, так как мужчине нельзя ставить в вину, если он подбирает то, что плохо лежит. Третьи утверждали, что измена измене рознь и что существуют невольные измены, когда поплатиться должна не жена, а обольститель: мало ли что могло быть! Может быть, обольститель добился своей гнусной цели колдовством? Четвертые уверяли, что глупо драматизировать такие пустяки. Стоит ли марать руки из-за всякой негодяйки? Надо смотреть на такие вещи юмористически и стараться лишь избегать смешного положения. Лучшее всего в таких случаях следовать ветхозаветному правилу «око за око». В этом отношении не худо поучиться мудрости у Боккаччо. В одной из своих прелестных новелл он повествует, как жили-были два женатых приятеля. Один из них за-

метил, что другой спутался с его женой. Тогда обманутый муж хитростью завлек вероломного друга в сундук, запер его там, затем привлек на сундук жену друга и, приласкав ее на сундуке, выпустил несчастного из убежища, где вероломно-му пришлось испытать несколько весьма неприятных минут. Вследствие этого мир не был нарушен, остроумный муж сохранил и жену, и друга, да еще приобрел возлюбленную, причем в смешном положении оказался не он, а друг-изменник. Вот это – истинная житейская мудрость! Живи и давай жить другим! А то муки ревности, кинжал, яд... Стоит того!

– Господа! – сказал Марков вставая. – Вы обсуждали вопрос об измене жены, а меня интересовал вопрос о наглom надругательстве возлюбленной! Нечего греха таить, в изменах жен по большей части бываем виноваты мы сами. Мы посвящаем им очень мало времени, дарим слишком мало внимания. Но к возлюбленным мы бываем нежны и внимательны, потому что в тот момент, когда мы остываем к ним, мы их бросаем! Да, господа, меня интересует вопрос, как, по-вашему, должен отнестись мужчина к измене любовницы, которая ни в чем – понимаете ли? – ни в чем не может пожаловаться на него? При этом я имею в виду не такую измену, которая совершается под влиянием страсти; нет, я подразумеваю наглый обман, издевательство, которое ставит мужчину в смешное положение!

Опять среди гостей поднялся спор. Но теперь спорили лишь о способах отмщения. Зато все сходились в мнении,

что подобный обман нельзя оставить без внимания, что изменница должна понести жестокое наказание. В заключение кто-то выразил удивление, почему этот вопрос интересует Маркова.

– Потому что я сам очутился в таком положении, господа! – со злобной усмешкой ответил он.

Послышались голоса удивления.

– Вот как? Кто же счастливец? И что думает предпринять Марков?

– Я решил последовать примеру своего дядюшки! – с грубым хохотом ответил Марков. – Вы говорили тут, что негодяйку следует отхлестать как следует. О, этого мало! Что значит удар хлыстом для такой негодяйки? Ведь у Гюс это уже бывальщина! Сиятельный граф Григорий Орлов оставил ей на память хорошенький рубец, который долго не заживал. А что толку? Нет, господа, мой дядюшка Нератов оказался гораздо остроумнее! Я поступлю по его примеру и приглашаю вас присутствовать сегодня вечером при интересном спектакле.

Подвыпившие гости с восхищением согласились принять участие в замысле Маркова, но сначала им хотелось узнать, как именно отомстил Нератов за измену. И Марков рассказал им следующее.

Нератов, очень богатый и еще крепкий старик, приблизил к себе одну из своих крепостных актрис – Маньку Воробье-

ву. Что за красotka была эта Манька! Но зато и продувная бестия тоже!

Нератов увез Маньку в Петербург, и там они зажили роскошной жизнью. В их петербургском доме была устроена сцена, и нередко Манька выступала для развлечения гостей. Только Нератову показалось, что Маньке скучно с ним. Он дал ей вольную и предложил, если она хочет, оставить его и найти свое счастье с кем-нибудь другим. Вольную Манька взяла, но уйти отказалась. Она бросилась в ноги Нератову, стала молить, чтобы он не отталкивал ее, так как она, дескать, страстно любит его. На что ей молодые, когда он, Нератов, лучше всякого юноши – и красивый, и сильный, и ласковый, и щедрый! Нет, она не уйдет от него, пока он силой не прогонит ее.

– Ну, ладно, Манька, – сказал Нератов, – оставайся, коли любишь! Я ничего лучшего и не желаю. Только помни одно: измены я не прощу! Коли полюбишь кого – приди и прямо скажи! Пальцем не трону, одарю, с честью отпущу и еще тебе же буду благодарен, что ты мою седую голову от позора избавила. Но, ежели я узнаю, что ты меня обманула... Берегись, Манька! Я и дарить, и наказывать умею!

Не прошло и полугодя, как вдруг Нератов случайно узнал, что Манька обманывает его, и давно уже: тогда еще обманывала, когда в ногах валялась и в своей любви уверяла. Конечно, только щедрость любовника и нужна была этой подлой змее! И добро бы она полюбила кого, увлеклась... Какое

там! Словно перчатки меняла она дружков!

Стал Нератов думать, как ему быть. Умный он был старик, понимал, что не всегда человек в своей природе волен. Вот и решил он не срамить себя, позвать Маньку, сказать ей просто, что она ему надоела, да и отпустить на все четыре стороны.

Это решение пришло ему в голову ночью, когда, не в состоянии заснуть, он бродил по саду. Только что это? В окне Манькиной комнаты блеснул свет, вот она сама появилась у окна. Пригляделся старик и видит, что внизу стоит какой-то молодчик. Еще минута – из окна спустилась веревочная лестница, и кавалер быстро взобрался на второй этаж. Затем свет опять погас.

И пришло Нератову в голову послушать, о чем будут говорить между собою любовники. Кто очередной победитель Манькиного сердца – это он уже знал стороной, но тем интереснее было ему подслушать разговор. Ведь «коварным обольстителем» был Петька Щеглов, дальний родственник Нератова по покойной жене. Этого Петьку-сопляка Нератов пригрел, обласкал и пристроил в ведомство иностранных дел. Здесь Щеглов подучивался и вскоре должен был получить назначение в одно из посольств. Вообще благодаря покровительству влиятельного родственника и собственным стараниям юноша был на виду. Да, всем был обязан мальчишка Нератову. Так хоть чувствует ли он по крайней мере раскаяние, что обманывает своего благодетеля?

Влез старик по веревочной лестнице и стал прислушиваться. Ну и наслушался! Вперемежку между поцелуями и объятьями Манька с Петькой только и делали, что высмеивали старика. То Манька словцо скажет, а Петька хохочет, то Петька шутку отмочит, а Манька заливается. В заключение Петька еще и желает: «Хоть бы сдох поскорее старый Кашей!»

– Что ты, что ты! – испугалась Манька. – Разве можно такую беду накликать? Ведь он еще мне по завещанию ничего не отписал! Вот умаслю старого дурака, а тогда пусть хоть и околеваает. Не захочет, так и помочь смерти можно!

– Да, этого долго ждать! – заметил Петька. – А ведь я измучился! Ну что мы с тобой видимся? Урвешь какой час от ночи, только и всего! А там, глядишь, и ушлиют меня... Эх, Манька, кабы нам с тобой на свободе!..

– А вот погоди, – пообещала Манька, – мой Кашей все на охоту собирается. Как только он уедет, я дам тебе весточку, ты с ночи ко мне заберешься, да и пробудешь у меня день-два. Уж и попируем мы с тобой!

– А прислуга?

Манька в ответ сказала, что вот такая-то, такой-то да такой-то из прислуги ей преданы вернее собак и что на них вполне можно положиться. Ну, а для других она будет нездорова – только и всего. Словом, тонко обмозговала всю штуку!

Слез Нератов осторожненько на землю и тихохонько ушел

к себе. И стал он думать да гадать. Как быть, как наказать негодяев? Изувечить их – самому пострадать. Ведь всего только год-два как вступила на престол императрица Екатерина, которая сурово наказывала за дебоши. Там доказывай! Ну, а «предать все дело воле Божией» – это никак невозможно было. Нельзя оставить без наказания такую выдающуюся наглость!

Словом, думал-думал Нератов и придумал наконец. Утром вызвал он к себе старика-дворецкого и все с ним обсудил до мелочей. Среди дня стало известно, что барин собирается на охоту. Действительно, под вечер выехал Нератов с частью дворни – только не на пустошь, а просто в другой петербургский дом. И там принялся старик ждать следующего дня, когда должен был быть приведен в действие придуманный им план мести. А этот план был недурен. Нератов сознавал, что у него нет власти ни над Манькой, ни над Петькой. Прогонит он Маньку, она к другому уйдет – ведь этакую красотку любой возьмет – и над ним же смеяться станет...

Нет, опозорить надо было обоих, бескровно зарезать, без насилия убить!

Ну-с, на следующий день, часов в двенадцать, Манька с Петькой предавались блаженству, как вдруг дверь в их комнату распахнулась и туда ввалился Нератов с дюжими молодцами. Щеглов схватился за шпагу – куда там! Не успел он оружие обнажить, как уже схватили молодца за белые ручки и держат!

Подошел Нератов к Маньке и говорит:

– Всем ты от меня пользовалась, змея, все, что на тебе, – мое. Голой уйдешь отсюда, если только... уйдешь!

И раздели Маньку догола. А затем за Петьку взялись.

– На тебе, щенок, все свое, – сказал Нератов. – Ну, мне чужого не надобно, я не в тебя! Эй, разденьте-ка вы мне этого молодца, только все платье свяжите в узелок, да и привяжите к шее. Пусть свое добро на тот свет берет!

Раздели Петьку, привязали ему на шею узелок с платьем, да и вывели с Манькой во двор.

Стоят оба голенькие, держат их слуги за руки.

– А теперь пусть собаки их мясцом попользуются! – крикнул Нератов, да как гаркнет: – Спустить собак!

А собаки уж тут как тут... страшные, озверелые... Морды в пене, шерсть дыбом, так и рвутся с ремешка долой!

Как залают собаки!.. Взвизгнули тут Манька с Петькой да и рванулись из державших их рук! Ну, а так как держали их нарочно не крепко, то вырвались любовники, да и, как были, марш за ворота. Выбежали на улицу, а собаки сзади так и заливаются. Ну и припустились Манька с Петькой! Бегут, ног под собой не чувствуют, а сзади все время собачий вой да визг по пятам!

Конечно, если бы догадались обернуться, увидали бы они, что собаки так и оставались не спущенными: доезжачий верхом вел их на ремешке за беглецами. Только где же было им еще и оборачиваться?

Пробежали Манька с Петькой до Невского, а потом и половину Невского отмахали. Прохожие останавливаются, смотрят, смеются! Знакомые попадают – рты разевают! Скандал! Наконец Манька споткнулась и упала. Тогда доезжачий спокойно повернул назад и ускакал с собаками. Петька тоже недалеко от Маньки отбежал – и у него ноги подкосились.

Подобрали их сердобольные прохожие.

Эта история наделала много шума в городе. Узнала о ней императрица, разгневалась страшно и вызвала Нератова, чтобы лично его допросить. Однако Нератов твердо стоял на своем. Он, дескать, ни бесчиния, ни членовредительства не учинил, а хотел только попугать за обман да и отпустить с миром. Вольно же им было так перепугаться и броситься раздетыми бежать по улице! А если доезжачий и кинулся за ними, то против своей воли: собаки потянули его, а там лошадь понесла... Словом, никакой за ним, Нератовым, вины нет. Ну, приказала ему государыня отъехать в свои имения – наказала тоже! Он и сам все равно уехал бы из Петербурга!

Так и сошло ему все благополучно с рук.

А о Маньке с Петькой этого сказать нельзя. Щеглову пришлось отказаться от надежды на карьеру – хорош дипломат, которого голым по Невскому с собаками гоняли! – и уехать в свою усадьбишку, где десять душ дворовых голодали, а он одиннадцатым голодающим стал. А Маньке и того хуже пришлось. В прежнее время на нее все, как кот на сало, смотре-

ли, а теперь и показаться никому нельзя. Кинулась она было к Петьке – «так и так, из-за тебя я пострадала, и должен ты теперь меня устроить». Только куда там! Не мог Щеглов забыть, что он из-за Маньки такого срама натерпелся да всего будущего лишился. И хоть готова была она двенадцатой голодающей в усадьбе стать, однако Петька ее без милосердия выгнал. Толкнулась Манька туда-сюда... Сначала в Москве по купцовым рукам ходила, а там и совсем низко пала.

И подумать только, что незадолго до этого афронта государыня непременно хотела Маньку в свою труппу первой танцовщицей пригласить!

– Да, господа, – закончил Марков, – вот это – месть! Это я понимаю! Раздавить, стереть в порошок одним ударом тех, кто осмелился нарушить всякую честь и нагло глумиться над доверчивостью. При этом остаться героем, ни на минуту не быть в смешном положении... Да, это – месть!

В этот момент его вызвали.

Через минуту он снова вернулся к гостям.

– Представление готово, господа! – со злобной радостью объявил он. – Мне только что доложили, что незнакомец уже проник к Гюс. Интересно будет заглянуть ему под маску! Вообще нашей комедии никто не помешает, так как предусмотрительная Гюс отпустила всю прислугу, и даже ее секретарь в гостях у кого-то... Словом, мы дивно позабавимся! Выпьем еще посошок на дорогу, да и за дело!

– Посошок мы выпьем, – ответил фон Раух, атташе австрийского посольства и большой приятель Маркова, – но я не понимаю одного: как вы предполагаете, Марков, осуществить остроумный план своего дядюшки? Насколько я знаю, собак у нас нет; кроме того теперь ночь, улицы пустынные, да и стокгольмская полиция организована несравненно лучше, чем ваша петербургская!

– Друг мой, – ответил Марков, – разве необходимо рабски следовать чужому примеру? Я беру только идею, но применяю ее сообразно с обстоятельствами. Как бы ни была организована здешняя полиция, но она не имеет права помешать мне, так как дом, в котором живет Гюс, снят для нужд русского посольства, а следовательно – экстерриториален. Я там – и царь, и бог! Собак у меня нет, но, разве обманщицу и ее дружка, я прикажу нагайками выгнать их на улицу. А если улица и пустынна, то ведь это «изгнание супружеской четы после грехопадения из рая» произойдет на глазах у вас, то есть при «сливках» стокгольмского общества.

– Господа! – перебил его молодой граф Пипер, – существует еще одна сторона вопроса, которая никому пока не пришла в голову! Говорят, что Аделаида Гюс дивно сложена! Теперь нам предстоит воочию убедиться в этом!

Если у кого-нибудь из присутствующих и были сомнения, принимать ли им участие в задуманной Марковым эскападе, то теперь всякие сомнения окончательно рассеялись: предприятие приобретало пикантный характер! Выпив на дорож-

ку по стопке старого боярского меда, от которого в головах еще больше зашумело, вся компания – их было десять человек – двинулась в путь.

На улице к ним примкнуло еще четверо дюжих молодцов. Это были специально нанятые Марковым парни. Ведь гости должны были оставаться лишь зрителями! Станет дворянин пачкать руки о такое дело!..

Когда они подошли к дому, где жила Гюс, там оказалось уже все подготовлено. Без труда вошли они в подъезд и осторожно стали пробираться вверх по лестнице, стараясь не производить ни малейшего шума, чтобы не спугнуть добычи. Так добрались они до дверей в спальню и здесь остановились прислушиваясь. Из спальни слышался разговор, затем донесся звук поцелуя... По знаку Маркова наемники сразу навалились на двустворчатую дверь, и она широко распахнулась, пропуская ворвавшуюся банду.

Послышались отчаянный женский крик, шум опрокинутого кресла. В ужасе отскочила в сторону Адель, а в тени у стены виднелась чья-то высокая мужская фигура, положившая руку на эфес шпаги.

Наступила тревожная, жуткая тишина. Марков, сопровождаемый четырьмя наемниками, подошел к Адели. Скрестив руки на груди, смотрел он на нее негодующим взглядом. Приглашенные свидетели с интересом ждали, как разыграется задуманная комедия.

Наконец Марков начал:

– Так вот чем вы больны, сударыня? Вот как вы обманываете мое доверие? Воистину ваша наглость превосходит всякие границы! Неужели в вас нет хоть искры порядочности, чтобы избрать для своих измен другое место, чтобы не делать этого здесь, где все принадлежит мне? В моем же доме вы смеетесь надо мной! Но я предупреждал вас; я говорил вам, что со мной шутки плохи! Настал час расплаты! Вы уйдете отсюда, но не так, как вы думаете! Все, что на вас, оплачено мною и принадлежит мне! Голая, без малейших покровов выйдете вы отсюда! Вот эти молодцы сдерут с вас платье и белье, и, гонимая моей нагайкой, голая пройдете вы мимо этих господ, которые с радостью ждут возможности получше познакомиться с величайшей распутницей нашего времени. Да, голая выйдете вы на улицу, голая можете убираться, куда хотите! Но ни единой тряпочки не вынесете вы отсюда! Подлая... распутная! А вы, сударь, – крикнул он, подскакивая к мужчине, который продолжал стоять в тени, – вы тоже заплатите мне... – Он вдруг остановился и с диким изумлением впился взором в лицо незнакомца, как бы не веря своим глазам, но сейчас же отскочил на шаг назад и прерывающимся от волнения голосом воскликнул:

– Боже мой! Ва... ваше...

– Тише! – крикнул король, – без титулованья!

При звуке этого голоса все приглашенные на «веселую комедию» гости шархнулись в сторону и начали было протискиваться к двери.

Но их остановил повелительный окрик Густава: «Ни с места, господа! Прошу всех остаться здесь!» – а затем он подошел к четырем парням и повелительно спросил:

– Вы знаете меня?

Старший из них помялся с ноги на ногу и робко ответил.

– Где же нам знать всех важных бар?.. Мы – люди маленькие...

Король пытливым взглядом посмотрел ему в глаза: парень явно лгал, это было видно сразу. Тогда Густав достал из кармана несколько золотых монет, кинул их парню и сказал:

– Ну, смотрите же, чтобы вы и впредь не знали этого! Выпейте на эти деньги, и пусть грог отшибет у вас память! Да смотрите: если память невзначай вернется к вам, тогда о вас самих забудут люди, да и вы забудете, что существуют на свете вольный воздух и свобода, а теперь вон отсюда! – Он оглядел смущенные лица присутствующих и сказал: – Пипер! Встаньте в дверях и смотрите в коридор, чтобы никому не пришла в голову мысль подслушать нас! Ну-с, а теперь, – повернулся он к Маркову, – теперь потрудитесь ответить мне, сударь, что значит это ваше появление здесь в сопровождении палачей и благородных свидетелей?

– Ваше величество, – ответил Марков, и в тоне его голоса сквозь внешнюю почтительность ярко прорывалась тщетно сдерживаемая злоба. – Я пришел к себе домой, и мне странно слышать вопрос, почему именно я пришел и почему привел к себе тех или иных людей! В этом я никому не обязан отче-

том! Конечно, знай я, что встречу здесь ваше величество...

– Значит, вы не ждали встретить меня здесь? Хорошо! Но все-таки, хотя вы и у себя, я требую ответа: что значит, чем вызвана эта выходка? Что побудило вас инсценировать такой скандал в деле, в котором порядочные люди обыкновенно избегают излишних свидетелей? Вообще я хочу знать, что все это значит?

Голос Густава звучал слишком повелительно, да и Марков имел слишком строгую инструкцию во что бы то ни стало добиваться союза с Швецией, чтобы можно было дальше упрямо отговариваться лишь своим правом хозяина. Проклятое положение! Если бы знать!.. А теперь вся служба может пойти прахом...

– Ваше величество, – сказал Марков, – я не раз получал стороной сообщения, что любимая мною женщина обманывает меня. Я пробовал действовать увещаниями, грозил, умолял, взывал к ее совести – все было напрасно! Госпожа Гюс продолжала обманывать меня. Никто не может требовать от уважающего себя мужчины, чтобы он терпел измену и отказывался от мести. Мне донесли, что сегодня в десять часов у госпожи Гюс свиданье. Вы спрашиваете, государь, почему я привел «палачей и благородных свидетелей»? Я хотел, во-первых, отомстить за измену позором, а, во-вторых, дать всем этим господам доказательства, что такой женщине, как госпожа Гюс, верить нельзя. Ничего неблагородного в такой мести нет и быть не может: я накладывал распутнице

заслуженное клеймо и этим давал предостережение другим. Но, конечно, знай я, что встречу здесь вас, государь, я отказался бы от своей законной мести, так как бывают соперники, с которыми счеты невозможны.

– Господа! – сказал король, обращаясь к «благородным свидетелям», – вы, ставшие случайными зрителями этого недостойного фарса, должны присутствовать и при развязке его. Для этого я и удержал вас! Прошу вас выслушать меня. О, этого просит не король, а дворянин, как вы! – и он пылающим взором обвел присутствующих.

Все они склонили головы перед этим взором. Затем Густав продолжал:

– Я не хочу думать, что господин Марков лжет! Я сам – дворянин и не унижу без оснований другого дворянина таким подозрением. Но, значит, господин Марков плохо осведомлен, введен в заблуждение. О, это – обычная судьба тех, кто привык пользоваться не совсем прямыми путями. Бывают монархи, которые любят окружать себя шпионами. И таким монархам нет покоя от вечных заговоров, изобретаемых продажными наемниками, которые боятся потерять свой заработок и потому прибегают ко лжи, раз нет правды. Господин Марков по излишней недоверчивости тоже прибег к услугам шпионов, и, чтобы оправдывать получаемые ими деньги, эти господа изобретали несуществующих любовников. Наконец им посчастливилось: они напали на тень правды... «Тень правды», говорю я, господа, говорю и настаиваю

на этом слове! Сейчас вам станет понятным, почему я выражаюсь так. Я объясню вам все, что произошло между мной и высокоуважаемой Аделаидой Гюс!

Господа! Я и эта дама – старые знакомые. Еще будучи наследным принцем, я познакомился с нею в Париже, и там протекла весна нашей любви. О, не приписывайте слову «любовь» более низменного значения, чем оно имеет само по себе! Не только чего-нибудь интимного – даже самого невинного поцелуя не было между нами. Мы не успели даже признаться друг другу в любви, открыть друг другу свои чувства, как нам пришлось расстаться. После этого мы не виделись, и только вчера – слышите ли вы, господа? – только вчера мы узнали, что взаимно любим друг друга! Но вчера наши чувства были слишком взволнованы, чтобы мы могли спокойно обсудить дальнейшее. Поэтому мы решили встретиться сегодня, и всего только за несколько минут до вашего неожиданного появления, господа, мы пришли к решению, что не позже завтрашнего утра госпожа Гюс известит господина Маркова о невозможности для нее дальнейшей совместной жизни с ним и оставит его дом!

Я надеюсь, господа, вы понимаете, почему я говорю вам обо всем этом. Я не оправдываюсь, о нет! Но случаю угодно было поставить меня в положение человека, тайком крадущего нечто, отнюдь не принадлежащее ему. Я – первый дворянин своей страны, господа, и должен был снять с себя ту тень, которую набросил простой случай на мое имя.

Кроме того, господин Марков только что набросил мрачную тень на имя дамы. Я должен был снять и эту тень тоже! Ведь говорю вам, господа, – и надеюсь, что среди вас не найдется ни одного человека, способного хотя бы внутренне усомниться в правдивости моих слов, – только вчера мы объяснились с госпожой Гюс; значит, люди, докладывавшие господину Маркову о каких-то свиданиях, о каких-то изменах, нагло лгали, и только случайно эта ложь получила, как я уже выразился, тень правды!

Вот то, что я хотел объяснить вам, господа, как дворянин дворянам. Вы должны понять меня. Если бы я был просто дворянином, я не стал бы пускаться в эти объяснения, а обнажил бы шпагу и сумел бы с оружием в руках защитить доброе имя, как свое собственное, так и своей дамы. Но мое положение мешает мне избрать этот путь, да и – видит Бог! – я не желал бы его! Ведь из объяснений господина Маркова можно понять, что он не столь жалеет о потере подруги, как боится смешного положения обманутого. Из моих объяснений видно, что господин Марков обманут не был. Только вчера встреча всколыхнула наши заснувшие чувства, сегодня уже было решено, что госпожа Гюс открыто заявит обо всем Маркову. Значит, обмана не было; значит, нет действительного повода к какому бы то ни было острому разрешению создавшегося положения. Тем не менее, господа, случаю угодно было незаслуженно поставить меня в не совсем удобное положение. Я опять повторяю: в обычных условиях

все смешное, все неприятное при подобных обстоятельствах смывается кровью. В данном случае такой исход невозможен. Но, господа, я верю, что вы не захотите заставить меня поплатиться за преимущество ранга! Среди вас я вижу как представителей первых шведских семей, так и представителей иностранных посольств. О первых, я думаю, и говорить нечего! Я уверен, что для них желание короля является законом.

– В этом не может быть сомнений, государь! – воскликнул молодой барон Ферзен.

– Мне особенно приятно слышать это из уст одного из Ферзенов, с которыми ни моему отцу, ни мне не удавалось ладить! – с грустной улыбкой сказал Густав. – Но я и не сомневался в своих дворянах! Поэтому я обращаюсь только к представителям иностранных посольств... Господа! Не найдете ли вы, что будет справедливее, если происшедшее здесь останется между нами?

Среди присутствующих послышался краткий шепот, затем вперед выступил добродушный толстяк, саксонский посланник.

– Государь! – сказал он. – Все мы можем при случае выпить лишний бокал вина и под влиянием его пуститься на какую-нибудь эскападу, которая в винных парах кажется нам забавной. Но хмель не может настолько овладеть нами, чтобы мы забыли честь и совесть. Государь! За себя и своих товарищей торжественно обещаю, что все, чему мы явились

здесь свидетелями, будет забыто нами, как только мы переступим порог этого дома!

– Примите мою горячую благодарность, господа! – сердечно сказал король. – Ну, а теперь, милая Адель, нам нужно уйти отсюда! Мы в чужом доме, не будем забывать этого! Правда, господин Марков хотел снять с тебя все, что на тебе одето из купленного им. Ну, да авось он не так сердит, каким хочет казаться, и согласится доверить тебе под мое поручительство все необходимое для переезда по городу! А ты, милый Пипер, окажи дружескую услугу и дойди до ближайшего угла, где стоит моя карета! Теперь уж нечего принимать меры к соблюдению инкогнито, а моей даме будет тяжело шлепать по грязи... Ну так как же, уважаемый господин Марков? Согласны вы доверить мне на несколько часов принадлежащие вам женские одежды? Честное слово, завтра все будет вам прислано в целости! Согласитесь, что в эту промозглую сырость довольно неприятно будет отправиться голой!

У бедного Маркова и без того все давно уже спуталось в голове. Он чувствовал только, что бесповоротно провалился, что в смешном и позорном положении очутился лишь сам он и что вдобавок этот скверный анекдот может серьезно повлиять на все его дальнейшее положение. Надо было спасти хоть что-нибудь из этого полного крушения.

– Ваше величество! – стоном вырвалось у него. – Не будьте так жестоки ко мне! Ну войдите и в мое положение тоже! Мне говорят, что меня обманывает моя подруга... Я был

введен в заблуждение. Каюсь... Да ведь самолюбие-то разве так легко смирить? Конечно, все равно не сегодня-завтра мы расстались бы с госпожой Гюс – уж слишком открыто она выражала мне, насколько я ей неприятен, ну, а она... она, признаться, была мне даже дорога... («Боже мой! Что за чушь я понес!» – промелькнуло у него в голове.) Господи, я сам не знаю, что говорю. Ну, да вы меня понимаете! Я хочу сказать, что мной руководило лишь оскорбленное самолюбие. А теперь я вижу... обмана со стороны госпожи Гюс не было... Меня обманули... обманули те, кто говорил про обман... Ах, что за путаница!.. Но я подавлен, уничтожен. Ваше величество! Не добивайте меня! Умоляю вас! Не надо, чтобы госпожа Гюс сейчас покидала этот дом! Пусть он юридически мой, но фактически он ее... И все ее вещи, конечно, принадлежат ей, а не мне... Господи, в мелочности меня уж никак нельзя упрекнуть! Я хотел мстить, но... Словом, зачем же так форсировать события? Все объяснилось, все решено... Госпожа Гюс отлично может оставаться здесь, пока ваше величество... Да я вообще отступаю от всяких прав на этот дом! Только бы ваше величество простили мне неловкость, которую я – вот ей Богу! – совершил совсем невольно!

Густав, который в начале этой отнюдь не красноречивой речи Маркова начал улыбаться, а в конце открыто хохотал, вопросительно посмотрел на Адель.

– Я тоже нахожу, ваше величество, что форсировать события совершенно ни к чему, – холодно сказала она. – Гос-

подин Марков вообще несколько увлекся вначале. Он хотел, чтобы я ушла отсюда голой? Но он забыл, что здесь у меня найдется на порядочную сумму драгоценностей, приобретенных мною абсолютно без его посредства и даже задолго до знакомства с ним! Конечно, я готова подарить их господину Маркову, если он находит, что я слишком дорого обходилась ему, как он выразился. Но именно «подарить», а не «оставить»! Вообще я не хотела бы этого экстренного отъезда! Это имело бы вид бегства, а бегство свидетельствует о виновности. Между тем я ни в чем не чувствую себя виноватой перед господином Марковым! Нет, государь, я просила бы разрешения остаться здесь. Я утомлена, действительно чувствую себя не совсем здоровой. Ровно ничего не случится, если я проведу еще несколько дней в доме, который по праву мой! Помимо соображений личного характера я склонна удовлетворить просьбу господина Маркова хотя бы потому, что совершенно не желаю обижать его. Ведь все выяснилось, и выясненное доказывает, что у нас нет причины злиться друг на друга. Мы стали жертвой ошибки, ошибка открылась, ну и расстанемся совершенно мирно! Люди злы; виноват ли Марков, что он слишком легковверен?

Густав подошел к Адели и почтительно поцеловал ее руку.
– Господа! – растроганным голосом сказал он. – Это ли не сердце, это ли не прекрасная, чистая душа. После всего, что произошло, она же защищает того, кто был ее обидчиком! Ну что ж? Ваша воля для меня священна! Завтра я буду

иметь удовольствие навестить вас и сообщить о дальнейших планах. А теперь, господа, оставим госпожу Гюс отдыхать! Она заслужила отдых! Примите мой сердечный привет, прекрасная дама!

Король вышел из комнаты, за ним вышли остальные.

Оставшись одна, Адель заперла дверь и упала на диван, не будучи в силах долее выдержать приступ сумасшедшего смеха.

Ах, что за дурак этот Марков и как глупо провалился он! Хороша была его физиономия в этой истории... Вот уж поделом, так поделом!

Но помимо этого, как прекрасно все сложилось! Теперь Густав уже не будет мямлить, да и нет у него оснований облекать связь с нею в покров таинственности. Она сразу займет то положение, о котором мечтала, станет маркизой Помпадур этого царственного шута, и всем этим, в конце концов, она обязана только Маркову. И ей еще сердиться на него? Ах, как хорошо, как прекрасно все складывается!

И Адель принялась кружиться по комнате в каком-то фантастически безумном танце.

Королевская карета уже поджидала у подъезда. Послав всем приветственный знак рукой, король сел в экипаж и уехал. Молча пошли дальше все свидетели разыгранного скверного фарса. Расставаясь с Марковым, фон Раух сказал:
– Черт бы вас побрал, Марков! Надо же было придумать

такую глупость и поставить всех нас в идиотское положение! Впрочем, меня утешает то, что вы сами оказались в наиболее глупом положении.

Вслух это сказал только фон Раух, но Марков ясно чувствовал, что про себя это думал каждый из приглашенных.

И оставшись один в эту унылую, гнилую, мрачную осеннюю ночь, он в бессильном бешенстве заскрежетал зубами и погрозил в пространство сжатым кулаком.

Но он не сдавался, нет! Он еще подведет мину, от которой взлетят на воздух все эти господа – и подлая Гюс, и сам король Густав. Только дай срок!.. Далиле удалось хитростью остричь Самсона и превратить его в раба. Но это торжество было лишь временным, и, когда у Самсона вновь отросли волосы, он похоронил под развалинами всех врагов вместе с Далилой!

– Погоди, дай срок! Волосы еще отрастут... Он еще покажет себя!

И, укрепившись этой мыслью, дипломатический Самсон ожесточенно зашагал дальше.

Часть 4. Венценосный раб

Глава 1

Двадцать четвертого января 1779 года король Густав III справлял тридцать третий год своего рожденья.

Нельзя было сказать, чтобы этот день начался особенно удачно для короля! Еще утром в постели он получил целую кучу газет, и каждый печатный лист заключал в себе нечто такое, что заставляло короля болезненно ежиться.

Да, в Швеции царила полная свобода печатного слова, это сразу было видно! Нисколько не стесняясь, газеты весьма прозрачно высмеивали своего государя, выставляли напоказ всю его интимную жизнь, обливали целыми ушатами грязи его отношения с Аделаидой Гюс. Это бывало всегда, но именно сегодня, ко дню рождения короля, бесстыдство прессы достигло какого-то неистовства. Все газеты словно сговорились отметить этот день особенно язвительными эпиграммами и сатирическими выпадами, а в довершение всего – в одной из газет был напечатан «Послужной список знаменитой Г.». Какой наивный человек мог не узнать Адели под этой прозрачной буквой? Но что за грязный пасквиль представлял собою этот «послужной список»? Все прошлое этой гетеры было беззастенчиво развернуто перед публикой, и в

сжатом, но сильно шаржированном виде были представлены ее приключения. А в виде заключения газета задалась вопросом, какой уважающий себя и не совсем лишившийся последней капли разума и совести человек решится приблизиться к себе подобную особу?

Густав знал, чья рука руководила всей этой травлей в газетах, чья рука подавала в театре знак начинать шуметь и свистеть во время выходов Адели, чей кошелек оплачивал услуги низкого сброда, порою забрасывавшего королевскую фаворитку грязью во время ее прогулок. И все-таки, даже зная это, он был бессилён предпринять что-либо!

Да, всем этим руководил Марков, русский посол при стокгольмском дворе! Теперь Марков жил очень скромно, очень мало тратил на себя лично и не заводил никаких дорогостоящих связей, но все свои деньги тратил на то, чтобы собрать вокруг себя кружок лиц, враждебных Густаву и Гюс. В этот кружок входили литературные забулдыги, отличавшиеся бесспорным остроумием и бесспорной беспринципностью, готовые предоставить свое язвительное перо всякому, кто пожелает оплатить их беспутную, разгульную жизнь. Эти господа были «солю», главным действующим началом марковской шайки, так как их эпиграммы и сатиры подхватывались налету народом и проникали таким образом в широкие и самые разнородные массы. Но кроме них в этом кружке было много и таких лиц, которые считали травлю венценосного донжуана своим принципиальным долгом.

Лица этой категории отличались крайним разнообразием общественных положений и политических взглядов. Здесь были представители старых аристократических родов, которые не могли простить королю его демократизма (расширение Густавом прав народа за счет исконных привилегий знати), были демократы из народа, которые не могли простить королю самодержавные тенденции (отличаясь страстью к реформам, Густав никогда не считался, нужны ли они стране и желает ли их народ), и почти вся датская колония, во главе с датским послом, которая находила, что отношения Густава с актрисой наносят незаслуженное бесчестье королеве Софии Магдалине, в девичестве принцессе датской. Все эти лица сходились в одном: надо сделать личность Густава как можно более непопулярной в народе, выставляя в надлежащем свете ту, которую он открыто приблизил к себе.

В эту же шайку входили лица, не имевшие никаких счетов с королем – ни личных, ни идейных, – но просто любящие примкнуть всюду, где пахнет забавным скандалом. Были здесь и враги самой Гюс – отвергнутые поклонники, завистливые актрисы и дружки последних. Словом, кружок отличался большим разнообразием членов, и это обеспечивало ему успех и популярность.

Густав не мог понять, как это русское правительство допускает подобную деятельность своего представителя. Ведь травля была не только дерзкой и неприличной для посла; она была и нелогичной, так как одновременно с этим русское

правительство добивалось через того же Маркова утверждения дружественных сношений!

Конечно, шведский король не мог знать, что Марков сумел внушить графу Панину мысль о необходимости такого образа действий. Посол докладывал, что противодействие Швеции союзу имеет истинной причиной тайное влияние Аделаиды Гюс на короля. Гюс считает себя обиженной императрицей Екатериной, не может простить роль государыни в истории с Орловым, затем – печальный финал своих разоблачений о смерти Кати Королевой и – негодяйка – пользуется своим влиянием на влюбленного короля, чтобы разрушить все начинания русского правительства. Надо или отказаться от всяких надежд, или сломить ее! Но чем? Денег для этого понадобилось бы слишком много, да и не удивишь ничем эту гетеру, раз шведский король готов в любой момент сложить к ее ногам всю национальную казну! Единственным средством была такая травля. Что-нибудь одно – или Гюс сдастся на капитуляцию и откажется от контринтриги, или скандал разрастется до такой степени, что королю придется расстаться с нею.

Панин, не видевший оснований не верить Маркову, согласился с ним и поставил ему условием лишь одно: действовать на свой страх и риск, отнюдь не замешивая в интригу русского правительства.

Густав не мог знать всего этого и потому искренне недоумевал. Он не считал возможным предпринять какие-нибудь

официальные шаги: ведь травля марковской шайки была направлена не против государя, а против возлюбленного артистки Гюс! Это была интимная сторона его жизни, а король знал, как относится императрица Екатерина к нападкам на интимную жизнь монархов. Однажды ей принесли гнуснейший пасквиль, написанный по поводу одного из ее увлечений. Потемкин, знавший, кто – автор пасквиля, требовал сурового наказания. Но Екатерина ограничилась тем, что написала на докладе: «Пасквиль касается женщины, и царица может только презирать наглого клеветника!»

И в данном случае травля касалась возлюбленной мужчины, а не шведского короля. Поэтому Густав ограничился тем, что предписал своему послу в Петербурге неофициально поставить русское правительство в известность о поведении посла. Однако и это не привело ни к чему.

И вот теперь, в это утро тридцать третьего года своего рожденья, король особенно болезненно сознавал свое бессилие! Грязным потоком лились инсинуации, тучей moskitov вились около царственного чела колкие эпиграммы, а он... он только в бессильной злобе кусал пальцы. Будь король обыкновенным дворянином, он мог бы со шпагой в руках потребовать к ответу клеветников. Всех их поставил бы он к барьеру и заставил бы умолкнуть... Но он был королем! Положение и обязывало, и связывало!

А Адель?

Жуткая дрожь прошла по телу Густава, когда он вспомнил

о Гюс. Ведь она тоже, наверное, уже прочла всю эту грязь, и сегодня, когда он заедет к ней, его, наверное, ждет адская сцена. Опять польются упреки в слабости, в неумении поддержать свое достоинство, в нежелании отстоять честь любимой женщины, в лживости любовных уверений... И опять будут слезы, жалобы, угрозы разрыва!.. Ах, Адель – женщина! Поэтому-то она и не может понять такое простое обстоятельство, что он, Густав, – только король и что в известных случаях жизни этого очень мало!

Первым, явившимся поздравить царственного новорожденного, был граф Шеффер, прежде гувернер, а затем большой друг и преданный советник короля. С трудом дождавшись конца его поздравлений, Густав спросил:

– Милый граф, читали ли вы газеты сегодня?

– Читал, как и всегда, государь!

– Ну, и...

– И очень смеялся!

– Шеффер!

– Ну конечно, государь! А разве вы сами не находите, что шведы становятся все остроумнее и остроумнее? Я положительно считаю, что теперь они не уступают в этой области даже французам, признанным мастерам искусства эпиграммы! А это – очень хороший признак, государь! Недостаток остроумия, неумение шутить доказывают умственную вялость народа, его неспособность легко воспринимать и отзываться на бег сменяющихся событий! Я рад, что шведы начинают

в совершенстве овладевать этим могущественным оружием, и приписываю быстрый расцвет отеческим заботам вашего величества, так много сделавшего для умственной культуры своего народа!

Густав криво усмехнулся.

– Я сделал все, что мне предписывал долг монарха. И вот благие результаты! На мне же шведы испытывают прочность орудия, дарованного им, как вы говорите, мною самим! Да неужели вы не знаете, не хотите знать, что весь этот подлый поход поднят не шведами, а русским послом, за которым шведы пошли, как глупое стадо баранов? О, как много отзывчивости, умственной живости, душевного величия надо иметь для того, чтобы ради низменных интересов наглого чужеземца обливать грязью своего же монарха!

– Но, ваше величество, мне кажется, вы введены в заблуждение! Я как раз обратил внимание, что во всех этих выпадах ни прямо, ни косвенно не задевается особа монарха! Правда, вашему величеству иной раз достается, но не как государю, а как поклоннику той, на которую обрушивается общее негодование!

– Я не могу до такой степени разделять короля и человека! Все знают, как дорога мне эта дивная женщина, и самый элементарный такт должен был бы научить этот сброд относиться с уважением к той, которая облегчает королю тяготы правления!

– Но, ваше величество, если народ привык высоко ставить

своего государя, он делается очень требовательным ко всему, что его касается! Если бы вы, ваше величество, стояли низко в глазах народа, никого не удивило бы, что вы приблизили к себе недостойную женщину.

– Недостойную женщину! Да ведь это – редкая душа, удивительно чистая натура, дивное сердце!

– Насколько мне известно, все факты, приведенные в этом памфлете, отнюдь не измышлены! Разве неправда, что госпожа Гюс была избита Орловым за ряд самых вульгарных измен? Разве неправда, что, вернувшись во Францию, она открыто продавалась первому встречному, имеющему возможность заплатить за это удовольствие достаточную сумму? Вспомните, ваше величество, несколько лет тому назад вы проверяли эти слухи, и они оказались истиной! И разве неправда, наконец, что эта самая госпожа попала в подруги шведского короля прямо из объятий господина Маркова? Государь! Все это – факты, и потому...

– Я не могу придавать факту такую ценность, милый Шеффер! Если бы важен был только факт, суд не интересовался бы мотивами. А вы знаете, что при наличности двух одинаковых фактов и суд, и общественное мнение выносят совершенно различные приговоры. Да, прошлое моей Адели было полно грязи, и она первая не может забыть это! Если бы вы знали, граф, как тяготит, как убивает ее это прошлое!.. Но сколько бы ни было грязи в прошлом этого светлого существа, душа ее осталась незапятнанной! Нельзя осуждать не

зная. А тот, кто чернит эту дивную женщину, тот именно не знает тяжести тех обстоятельств, которые толкали ее на зло!

– Но, ваше величество, раз народ не знает...

– Раз он не знает, он должен молчать из уважения к королю. То, что находится в священной близости монарха, само становится священным! Народ должен знать, что государь не может выступить защитником в области своей интимной жизни. Но шведы пользуются беззащитностью монарха, злоупотребляют дарованной мною им свободой! Ну, так я лишу их ее! Детям нельзя позволять болтать все, что им взбредет на ум! Шведы доказали, что в этом отношении они – еще дети, и я дам им гувернера, который вовремя зажмет им рот! Граф Шеффер, в самом непродолжительном времени в Швеции будет введена цензура!

– Ну, что же... если ваше величество находит это необходимым... Но разрешите мне дать вам по старой памяти добрый совет, государь?

– Что за вопрос, Шеффер!

– Так вот, государь, накануне того дня, когда ваше намерение станет известным, окружите дом, где живет ваша подруга, патрулем и впредь не позволяйте ей выезжать без охраны!

– Что за дичь, Шеффер! К чему это?

– Но мне кажется, что вы, государь, очень привязаны к госпоже Гюс и вам будет жаль потерять ее! Между тем, если цензура будет восстановлена, то все поймут, что это сделано из-за нее, может быть, припишут даже ее влиянию эту меру,

и вполне возможно, что будут произведены попытки свести с нею счеты. Там, где затрагивают свободу, народ не разбирает пола, государь! Да, государь, восстановление цензуры именно теперь – как раз та мера, благодаря которой Гюс из осмеиваемой народом станет ненавидимой им!

– Ах, – воскликнул Густав, со стоном хватаясь за голову, – как бессилен государь, как эфемерна его власть! – он подумал минутку и глухо продолжал: – Вы сразили меня этим доводом, милый Шеффер. Да, вы правы! Такой мерой я достигну как раз противоположных результатов! Нападки станут еще злее, только теперь пасквили пойдут втихомолку по рукам... Нет, пусть уж ругаются вслух! Но должен же я сделать что-нибудь для моей Адели? За что она страдает, бедняжка? Да неужели она должна платиться за то, что полюбила не самого обыкновенного человека, а короля?

– Но, государь, мне кажется, что госпожа Гюс пожаловаться не может! Государыня какого-нибудь маленького немецкого княжества не имеет такого дворца, такого пышного штата и не располагает такими драгоценностями и средствами, как эта артистка-мещанка!

– Ах, что там роскошь и богатство! Разве мало видела всего этого Гюс? Однако она небрежно смеялась над самыми богатыми и щедрыми друзьями, которые не могли затронуть ее сердце! Я – первый, кто сумел пробудить в ней чувство, и, если бы я был хоть простым матросом, она все бросила бы и пошла бы за мной! Шеффер, мой старый, верный друг!

Ведь эта дивная женщина подарила мне весенний расцвет своего еще не любившего сердца! Я должен бессильно смотреть, как за это ее обливают грязью? Нет, граф, великодушие – лучшая добродетель королей! А я только беру, но ничего не даю взамен!.. Но я знаю, что я должен сделать! Я вознесу Адель так высоко, что ни один комок грязи не достигнет ее! Я возведу ее в дворянское достоинство под именем графини Лильегорн и приравняю...

– Ваше величество! – испуганно крикнул Шеффер. – Умоляю вас: только не это...

– Я не понимаю вас, Шеффер! Уж это-то, кажется, составляет неоспоримую прерогативу монарха. Кому какое дело до этого? Вспомните графиню Дюбарри...

– Государь! – сердечно сказал Шеффер. – Позвольте мне на минутку стать опять прежним гувернером, который так любил порученного его заботам маленького принца и всегда горячо принимал к сердцу его интересы! Позвольте мне также стать действительно «старым, верным другом», как только что милостиво назвали вы меня, и коснуться...

– Ах, что за предисловие! К делу, к делу, милый Шеффер!

– Вы, государь, только что упоминали о графине Дюбарри! Да, старый, выживший из ума король Людовик XV сделал графиней мелкую распутницу Марию Вобернье! Но, во-первых, он не даровал ей этого сана, а подыскал услужливого придворного, который на ней женился. Следовательно, графский титул госпожи Дюбарри никто не мог оспаривать:

он был законен и лежал на совести льстивого царедворца, унизившегося до торга старым, почтенным именем отцов! А, во-вторых, трудно привести более разительный пример, чем любой факт из последних лет жизни покойного французского короля! Ведь история графини Дюбарри, говорит о том, чего не должен делать монарх! Да, государь, вспомните только, во что обратилась ныне еще недавно сильная французская монархия! Ведь это – разваливающееся государство! Каждый момент можно ждать взрыва, и молодому королю придется жестоко расплачиваться за грехи деда (Людовик XVI был сыном дофина Людовика, сына короля Людовика XV и Марии Лещинской. После смерти отца (в 1765 г.) и он стал дофином (наследником) Франции, а в 1774 г., после смерти короля-деда – королем.). А ведь все это произошло только потому, что Людовик XV...

– Милый Шеффер, уж не хотите ли вы сравнивать меня с этим королем, который так часто унижал свой сан?

– Боже упаси меня от этого, государь! Я именно хочу доказать, что вашему величеству не приличествует сравниваться с этим монархом! Но даже и не это, собственно говоря, хотел я сказать вам! Имя графини Дюбарри, упомянутое вашим величеством, напомнило мне о том, при каких обстоятельствах мне пришлось недавно слышать его. Дня три тому назад я был у ее величества королевы, у которой собралось небольшое общество близких дам. Случайно разговор зашел о театре, об актрисах, и тут-то ее величество упомянула имя

госпожи Гюс...

– В смысле такта ее величество вообще оставляет желать лучшего.

– Уж не помню теперь, к чему, но кто-то упомянул имя графини Дюбарри. И вот тут-то ее величество со свойственной ей прямоотой заявила, что она не потерпела бы подобно-го. Пока король просто забавляется, она еще способна смотреть сквозь пальцы...

– Смотрением сквозь пальцы она называет, вероятно, те сцены, которыми угощает меня так часто.

– Но, – заявила королева, – если бы ее супруг вздумал осыпать свою развратную любовницу знаками высших почестей, то для нее, королевы, остался бы только один выход, это – развод!

– И ведь сумасшедшая баба и в самом деле способна выкинуть такую штуку! – сокрушенно сказал Густав. – Ну что я за несчастный человек! Я шагу ступить не могу, чтобы со всех сторон не возникали препятствия... Развод! Она способна на это! Но это вызвало бы войну с Данией, а сейчас... Шеффер! Ну скажите хоть вы, что мне делать?

– В данный момент или вообще, ваше величество?

– И в данный момент, и вообще!

– Вообще – не знаю, а в данный момент вашему величеству необходимо одеться и поспешить в тронный зал, где депутаты уже ждут чести приветствовать ваше величество! Депутация сената явилась уже с четверть часа тому назад, а

только что прибыл весь дипломатический корпус.

– Ах, и это еще ждет меня! Как хотелось бы мне именно сегодня не видеть мерзкой физиономии этого Маркова! Но что поделаешь! Вы правы, Шеффер, правы, как всегда! В данный момент мне, прежде всего надо одеться... Ну, так до свиданья, милый, верный друг мой! Да, вот что еще, Шеффер: как вам известно, сегодня во французском театре парадный спектакль с участием Гюс; после спектакля я на минуточку покажусь за ужином и уеду к Гюс, где соберется еще кое-кто из друзей. Я буду очень рад видеть и вас там!

– Ваше величество... я сочту за честь... – пробормотал Шеффер, скрываясь в дверях.

Уходя к себе, Шеффер с грустью думал, что тайная миссия, которую он сам возложил на себя перед поздравлением короля, к сожалению, кончилась полным провалом. Шеффер надеялся завести с королем разговор о его отношениях с Гюс и убедить его, что эти отношения необходимо изменить или, еще лучше, прекратить совсем.

Сначала король пошел как бы навстречу ему и сам заговорил о Гюс. Но из дальнейшего выяснилось, что Густав слишком увлечен своей страстью и что нужно думать лишь о том, как бы предохранить его от дальнейших неразумных шагов.

Да, цепко забрала эта Гюс в свои руки короля, и он, как покорный раб, пресмыкался у ее ног! Но что же за сила была заключена в этой женщине, чем именно взяла она так короля?

Впрочем, актрисы всегда пользовались особенным успехом, и история явила немало примеров головокружительной карьеры многих «принцесс парусиновых дворцов», отличавшихся более чем сомнительным поведением и все же добивавшихся выдающихся партий.

В чем была тайна этого влияния? Правда, еще в древности гетеры пользовались значительным влиянием. Но ведь они не были такими распутницами, как все эти Гюс, Госсю и компания! Афинские гетеры отличались красотой, умом, выдающимся образованием и по большей части бывали верны избранникам сердца. В их домах собиралось общество лучших умов, и там порою принимались важные решения, выяснялись крупные философские истины. Это были просто свободолюбивые женщины, не желавшие связывать себя цепями брака, но находившие, что для девицы поприще общественной деятельности слишком узко. Однако, находя себе мужчину по плечу, они не отказывались от честного супружества. Вышла же Аспазия за Перикла! Вовсе не то представляли собой все эти развратницы подмостков. Самыми грязными скандалами бывало окружено имя любой из них; но чем громче был скандал, тем сильнее становилось обаяние!

И покачивая своей умной, седой головой, граф Шеффер припоминал историю знаменитейших артисток, сделавших блестящую карьеру.

Родоначальницей их надо считать Феодору, танцовщицу и открытую распутницу, что все же не помешало ей стать

супругой императора Юстиниана!

Элеонора Гвайн, рыночная торговка в детстве, потом актриса, стала любовницей Карла II Английского; она прижила с ним сына, и последний был возведен королем в герцогское достоинство.

Девица Флоренсак, французская актриса, была открытой сожительницей герцога Орлеанского Филиппа II. Родившийся от этого сожительства сын был возведен в сан архиепископа Камбрэйского.

Мария Анна Киноль, сочлен труппы театра «Комеди Франсэз», стала супругой богатейшего, глупейшего и аристократичнейшего графа де Невэр. Людовик XV наградил ее орденом Святого Михаила!

Мангеймская актриса Жозефа Зейферт, возлюбленная баварского курфюрста Карла Теодора, получила титул графини Гейдек, а рожденный ею сын – князя Бреценгейм.

Розалия Дютэ, фигурантка парижской оперы, пройдя через руки многих поклонников (среди них особенно известны герцог Дюрфор и маркиз де Жанлис), попала к герцогу Луи Филиппу Орлеанскому, который был настолько пленен ею, что не мог провести дня без нее и посещал ее ежедневно. По этому поводу остроумные парижане каламбурили, что герцог Луи Филипп привык «prendre tous les soirs du the» («Пить чай». Каламбур в том, что по-французски говорят: «брать чай», и таким образом фраза получает двоякий смысл: герцог привык ежедневно пить чай, или... иметь Дютэ.).

Английская актриса Мэри совсем было вскружила голову принцу Уэльскому (впоследствии королю Георгу IV), и не ее вина, если их связь не продлилась больше года: в их отношения вмешался король-отец. Зато другой английской актрисе, Елизавете Фэррен, немало погрешившей в свое время, удалось стать женой графа Дэрби, представителя знатнейшей английской семьи.

Ну, а брат Густава III, герцог Фридрих-Адольф Остготландский? Разве не забыл он обо всем в объятиях шведской актрисы Софии Авфросинии Гагман?

Да, что-то роковое было в этих сетях, которыми умели опутывать «принцессы парусиновых дворцов» сильных мира сего. И король Густав тоже был опутан. Было бы бесполезно стараться порывать теперь опутавшую его сеть – этим можно лишь сильнее затянуть ее, но необходимо было стоять на страже, чтобы не дать авантюристке толкнуть короля на что-нибудь уж очень нелепое!

Раздумывая так, Шеффер направлялся в вестибюль, как вдруг его нагнал один из пажей и передал желание королевы поговорить с ним.

Шеффер поднялся в апартаменты Софии Магдалины. Он застал королеву сильно взволнованной, а ее красные веки свидетельствовали, что она недавно плакала.

С первых же слов София Магдалина обрушилась на графа целым каскадом жалоб. Далее так продолжаться не может! Король забывает все приличия, забывает о своем сане,

о священных обязанностях монарха! Скандал слишком разросся! Каково ей, королеве, читать, как ее мужа чуть ли не ежедневно обливают помоями! Но, видно, ему мало этого: только что ей, королеве, передали из верных источников, что Густав собирался пожаловать своей метрессе графский титул и уже приказал архивариусу подыскать что-либо подходящее. Этого она ни за что не допустит! Лучше она приведет в исполнение свою угрозу и разведется с королем, чем допустит совершиться такому открытому скандалу. Король потерял голову, он сам не знает, куда его увлекает позорная страсть. Но какой скандал, какой скандал! Она должна будет развестись – нельзя терпеть это! Но развод будет не менее скандален, возможна война... Да и каково будет ее положение разведенной королевы? Между тем король упрям, и если он уж что вбил себе в голову... Вот поэтому-то она и решила посоветоваться с графом Шеффером, который один только и может иметь какое-нибудь влияние на короля!

– Ваше величество, – сказал Шеффер, – позвольте ли вы мне говорить совершенно откровенно, без недомолвок?

– Но я прошу вас об этом!

– В таком случае извините меня, государыня, но до известной степени вы сами виноваты в том, что король заходит так далеко!

– Я? Но каким же образом?!

– Я сейчас объясню это вашему величеству. Но сначала разрешите мне один вопрос: кто негодует на поведение ко-

роля – королева или супруга?

– Супруга? – София Магдалина пренебрежительно повела плечом. – Это было бы смешно с моей стороны. Ведь вы знаете, милый граф, что наш брак был обычной политической сделкой и что с самого начала король делал все, чтобы не внушить мне никаких теплых чувств к нему... Уж не думаете ли вы, что я ревную его. Нет, меня только оскорбляет, когда он публично и в моем присутствии начинает до неприличия открыто заглядываться на других женщин. Я требую, чтобы он не ставил меня в нелепое положение и на виду у других не забывал, что он – король, а я – королева! Ревновать его!.. С тех пор как я дала Швеции наследника трона, ни мне от него, ни ему от меня больше ничего не надо. Нет, милый граф, супруга равнодушно молчит, и только королева требует, чтобы с нею считались!

– Значит, королева заинтересована не в том, чтобы галантные приключения короля прекратились...

– Было бы слишком наивно желать этого!

– А в том, чтобы эти приключения не выходили из рамок приличия. Хорошо. Теперь позвольте мне предложить еще несколько необходимых вопросов. Если не ошибаюсь, на прошлой неделе на интимном вечере у вашего величества был русский посол Аркадий Марков?

– Но я не вижу в этом ничего особенного.

– Значит, ваше величество не знает, что Марков открыто стоит во главе той клики, которая стремится раздуть скандал

как можно больше! Затем, известно ли вашему величеству, что датский посол тоже принимает участие в этой травле, основываясь на необходимости защищать шведскую королеву, являющуюся в то же время датской принцессой?

– Уж не думаете ли вы, что он делает это по моему желанию?

– Боже меня упаси! Смею ли я думать это? Я только хотел отметить этот факт, который приобретает некоторое значение, так как за послом идет вся датская колония. Затем, обратили ли вы, ваше величество, внимание, что недавно в театре, когда Аделаиде Гюс была устроена враждебная демонстрация частью зрителей, в этой части были также некоторые кавалеры и дамы из числа приближенных вашего величества, например, граф и графиня Бьелке, один из Флемингов, молодой барон Ферзен, граф...

– К чему вы перечисляете мне их имена? Неужели вы думаете, что меня касается, как относятся мои приближенные к игре того или иного артиста? Если они шикали, значит, игра Гюс заслуживала того!

– Нет, ваше величество, и вы сами знаете, что игра Аделаиды Гюс ничего, кроме одобрения, не заслуживает! Злейший враг этой госпожи в душе должен признать, что это – великая актриса. Вся беда в том, что театром пользуются для сведения с нею особых счетов, и вот это-то ухудшает то дело, о котором вашему величеству благоугодно советоваться со мной. Сведения, сообщенные вам, государыня, совершенно

верны: всего полчаса тому назад король поделился со мной намерением дать госпоже Гюс титул графини Лильегорн...

– Боже! Я так и знала!

– Но мне удалось отговорить его величество от этого намерения...

– Неужели? Неужели, милый граф, вам и в самом деле удалось это?

– Но я отнюдь не могу ручаться, что в скором времени король вновь не нападет на эту мысль с тем, чтобы обязательно осуществить ее! Очень возможно, что это случится уже завтра, именно завтра, если ваше величество не соизволит помочь мне удержать его величество от этого необдуманного шага!

– Господи, могу ли я не захотеть? Что я должна сделать для этого?

– Прежде всего, вашему величеству необходимо твердо усвоить себе философское значение артиллерийской истины: сила взрыва зависит от сопротивления. Заверните порох в бумагу и подожгите его – ничего кроме вспышки не получится! Но, чем прочнее будет стенка, тем сильнее взрыв... Вы сами изволили заметить, что король по натуре очень упрям. Но взрывчатая сила его души невелика, и, не будь сопротивления извне, ничего особенного не произошло бы. Короля раздражает травля, предпринятая против его увлечения, и, чем больше оскорбляют Гюс, тем сильнее стремится он вознаградить ее, чем ниже хотят поставить ее враги,

тем выше стремится вознести ее король. Вот почему его величество афиширует свои отношения к ней, вот почему он додумался до дарования ей графского титула, и если дело пойдет так и дальше, то его величество способен еще – Боже упаси! – сделать эту гетеру статс-дамой шведской королевы! Кроме того, это преследование придает королевской фаворитке ореол романтичности, что только усиливает страсть короля. Но стоит сегодня смолкнуть вражде – и уже завтра королю и в голову не придет дразнить общественное мнение. В тиши подаренного ей дворца он будет вкушать свое счастье, которое не продлится долго, потому что – повторяю – только желание идти наперекор, только упрямство поддерживает эту страсть. Мало-помалу король разглядит все недостатки, все пороки своей подруги, и тогда...

Шеффер сделал рукой движение, как бы отрезая что-то, и замолчал, пытливо глядя на королеву.

София Магдалина задумчиво смотрела в окно. После недолгой паузы она сказала:

– В ваших словах очень много правды, граф. Эта травля только ухудшает положение, это так! А к тому же, право, эта низкая женщина не заслуживает подобных гонений. Гонения возвеличивают, очищают... Да, вы правы! Но мне все же не легче от этого. Ведь я не принимаю участия в марковской шайке, в этом вы можете мне поверить! И едва ли в моей власти сделать что-нибудь!

– Во власти вашего величества очень многое: например,

предупредить или смягчить скандал, который должен разыгаться сегодня на парадном спектакле. Во-первых, вашему величеству непременно нужно отказаться от намерения уклониться от присутствия на этом спектакле. Мало того, вам, конечно, известно, что публика обыкновенно ждет, пока в королевской ложе не раздадутся аплодисменты. Но уже несколько раз бывало, что когда его величество подавал знак к аплодисментам, часть публики отвечала на это воем, свистом, шиканьем. Тогда король высовывался из ложи и с гневным видом принимался отчаянно аплодировать. Получался страшный скандал. Такой же скандал умышленно готовится сегодня. Я советовал бы вашему величеству первой подать сегодня сигнал к аплодисментам. Затем, в первом же антракте следует вызвать госпожу Гюс в королевскую ложу и сказать ей несколько милостивых слов по поводу ее игры. Вашему величеству не придется кривить душой: ведь сегодня Гюс выступает опять в «Заире» – в роли, в которой у нее нет соперниц! Таким оборотом дела вы поставите в тупик большую часть публики, которая воображает, будто враждебные демонстрации угодны вам. Затем было бы очень хорошо, если бы вы, ваше величество, поговорили с датским посланником и сумели дать ему понять, что поведение датской колонии оскорбляет и возмущает вас: никто не должен осмеливаться становиться судьей между царственными супругами. Этим шагом вы совершенно неожиданно отнимете у врагов значительную часть союзников, скандал будет предотвращен, и его

величеству уже не придется завтра думать о том, чем наградить госпожу Гюс за понесенный ею afront!

– Вы правы, милый граф, я вижу, как хорошо я сделала, что обратилась к вам! Вы – истинный, верный друг короля! Я согласна с вами и в точности последую вашему совету!

Королева протянула Шефферу руку; он почтительно поцеловал ее и ушел, милостиво отпущенный Софией Магдалиной.

Глава 2

Марков гордо восседал в своей ложе и с тайной радостью ждал начала спектакля. О, славную комедию разыграют они сегодня! То, что произошло недели две тому назад, было просто маленькой репетицией, проверкой действующих сил! Но сегодня было решено устроить полный разгром, такой провал, что – пусть хоть полиция вмешается! – спектакль будет неминуемо сорван! И это на парадном спектакле, в день рождения короля!

Посол заранее потирал руки от радости! Так приятно будет сидеть с олимпийской неподвижностью и спокойно любоваться взбешенным лицом короля! Уж не кинется ли он драться на кулачках с обидчиками его ненаглядной Адели? Ха-ха! Вот это была бы действительно картинка! Да, бессилен король сделать что-либо, бессилен помешать задуманной мести! Никто не боится его. Сама королева открыто возмущается его поведением, и усиленно поговаривают, что она окончательно решила развестись с мужем. Тогда неминуема война с Данией; ну, а знать воспользуется этим благоприятным моментом, чтобы свести счеты с королем, который вовлекает страну в такое бедствие из-за распутной бабы. Король будет свергнут... Вот тогда-то Марков посмеется ему в лицо! Вот тогда узнают и он, и эта подлая Гюс, что значит насмеяться над ним, Марковым! И чем сильнее разыг-

рается сегодняшний скандал, тем скорее решится королева на этот шаг! Правда, говорят, она отказалась присутствовать сегодня на спектакле – новый щелчок по длинному носу Густава! – но завтра газеты будут на все лады смаковать происшедший скандал!

Но вот дверь в королевской ложе открылась... Что это? Королева все-таки приехала? А, она, наверное, тоже хочет быть свидетельницей веселой комедии, тоже хочет послушать, как станут заливаться трещотки, припасенные кое-кем из его друзей.

А вот за королевой показалась долговязая фигура Густава... Добро пожаловать, милый король, добро пожаловать! Ты позабавишься сегодня всласть!

Королевская семья заняла места, и спектакль начался. Марков почти не следил за действием; его взор напряженно бродил по рядам зрителей, разыскивая знакомые лица союзников. Но вот Адель начала свой монолог, который всегда снискивал ей аплодисменты. Ага, близилось начало потехи! Марков напряженно уставился на королевскую ложу, чтобы налюбоваться бешенством короля. Вот замирают последние переливы монолога... Сейчас король подаст пример аплодисментам, и разразится буря свиста, воя, лая, треска...

Но что это? Сама королева первая зааплодировала? Но это – ошибка, это невозможно! А где же демонстрация? Вся публика аплодирует; аплодируют датчане, аплодируют приближенные королевы... Если кто и пытается, может быть,

свистнуть, разве услышишь единичный знак протеста в этой буре восторгов?

Но что это? Человек, сидящий рядом с Ферзенем, достал трещотку и попытался завертеть ей, но Ферзен сейчас же цепко ухватил его за руку и заставил прекратить попытку произвести шум... Нет, это – кошмар какой-то, что же произошло?

Или, может быть, решили отложить скандал под конец? Очень возможно, даже наверное это так! Если же его, Маркова, не предупредили об этом, то оно и понятно – прямо из дворца он заехал на минутку к Лили Якобсон, да и завертелся с этим бесенком.

Но что это за движение в королевской ложе? Король встал; к королеве, сидящей у самого барьера, подходит какая-то дама. Да ведь это – Гюс! Королева милостиво беседует с нею, затем снимает с груди бриллиантовую брошь и протягивает ей с очаровательной улыбкой.

Может быть, он, Марков, спит? Может быть, у него горячий бред?

Нет, не в кошмарных грезах представилось это ему! Затея была провалена, скандал не состоялся. Чья-то враждебная рука властно вмешалась в игру и все испортила.

Если бы это было возможно, Марков сейчас же уехал бы из театра. Но это значило бы открыто признаться в своем поражении, подчеркнуть свою роль в замысле... Нет, такого торжества он не доставит врагам! Впрочем, им рано торже-

ствовать вообще! Еще не все козыри пущены в ход, и не удалось сегодня одно, так завтра может удалиться другое.

Бедный! Он не знал, что в этот момент над ним уже собирались тучи и что ему самому с неожиданной стороны грозил крупнейший провал!

Спектакль прошел при непрерывном успехе и обошелся почти без инцидентов, если не считать одного факта, хотя и довольно резкого по существу, но быстро утонувшего в общем успехе.

После третьего акта Адель вызывали особенно бурно. Долго стояла она на авансцене, кланяясь публике, шумно приветствовавшей артистку. Наконец аплодисменты стали замирать, и Адель собралась уже уходить, как вдруг сквозь редкие отдельные всплески хлопков прозвучал чей-то голос:

– Браво, распутница!

В первый момент все до такой степени остолбенели, что на короткий миг воцарилась гробовая тишина. Но сейчас же буря аплодисментов покрыла эту тишину и растворила все впечатление от выходки, автора которой решительно никто не мог определить. Был ли он таким искусником или волнение придало его голосу чревовещательный характер, но только сидевшие слева думали, что голос раздался справа, а сидевшие справа – наоборот.

Однако Адель не осталась в неведении личности оскорбителя. Она сразу узнала его голос, и ее сверкающий взор

сейчас же отыскал молодого гвардейского офицера, сидевшего, скрестив руки, в четвертом ряду у широкого прохода. В последний раз поклонившись публике, она ушла, выгнала из своей уборной набившихся туда поклонников и приказала театральному лакею позвать к ней офицера Анкарстрема, сидящего там-то.

Едва только замолк шум аплодисментов, как София Магдалина обернулась к супругу и сказала так, чтобы ее слышали лица свиты:

– Какая недостойная выходка! Кто имеет право оскорблять артиста, как человека. Здесь она – великолепная, неподражаемая Заира, и только! Право, ваше величество, на вашем месте я пошла бы к бедняжке и сказала бы ей в утешение несколько ласковых слов! Она заслужила это – ведь она так прекрасно играет сегодня!

Густав и без того беспокойно двигался на стуле; его самого подмывало вскочить и кинуться к Гюс. Но Шеффер был прав, когда определял характер своего царственного воспитанника; в этот вечер он был доволен публикой, королева тронула его тем, что сама первая заплодировала и, не чувствуя сопротивления, он вел себя уже гораздо обдуманнее. Ведь если бы он сейчас же полетел утешать Гюс, это поставило бы и его самого и королеву в смешное положение!

Но теперь София Магдалина еще более растрогала его, облегчив ему выход.

Густав встал, нежно поцеловал руку жены и шепнул ей: «Поверьте, я умею ценить дружбу! Вы – ангел!» – а вслух сказал:

– Вы бесконечно добры, ваше величество! Не думаю, чтобы глупая брань могла оскорбить нашу диву, так как вся остальная публика с редким единодушием выказала ей одобрение. Но воля вашего величества – закон для меня!

Затем он не торопясь направился к выходу из ложи, перекинулся по дороге кое с кем несколькими словами и уже после того направился в уборную Гюс.

Адель была очень удивлена, что Густав хочет еще утешить ее. Да ведь она так довольна! Конечно, она видела, что некоторые лица пытались ошикать ее, но на этот раз вся публика воспротивилась этому. Это – огромная победа, особенно, если принять во внимание силу и организованность врагов. Артистка заставила забыть о женщине! Стоит ли говорить о каком-то выкрике. В этот момент в уборную вошел лакей.

– Они не хотят! – доложил он Адели.

– То есть как... Не хочет?

– Так что, говорят: «Скажи, мол, что не пойду. Делать мне там нечего!»

– В чем дело, мадемуазель? – спросил король. – Кто это?

– Ах, пустяки! – ответила Гюс. – Это – один из моих друзей, который вдруг стал врагом. Я заметила, что он пытался шикать мне, и хотела поговорить с ним, спросить, в чем дело...

– Кто же это?

– Анкарстрем.

– Анкарстрем? Не ждал я этого от него! В такой невежливой форме... Поди и скажи ему, – обратился Густав к лакею, – что я приказываю сейчас же прийти сюда!

Через несколько минут в уборную вошел Анкарстрем. Он был очень бледен, но дико горевшие глаза свидетельствовали, что юноша приготовился ко всему.

Адель внутренне усмехнулась. Конечно, он воображает, что она пожаловалась на него королю, и теперь готов доказать свое право называть ее так, как он выкрикнул в театре. Какой глупой считает он ее, если воображает, что она способна из пустой мстительности поставить на карту свои отношения с королем! Конечно, узнай король, что это Анкарстрем позволил себе крикнуть ей бранное слово, то юноше несдобровать. Но ей трудно будет оправдать в глазах короля свою прошлую связь с юношей, да и уж слишком низка была бы такая месть! Нет, она отомстит ему, не подарит ему этого оскорбления, но ее месть поразит его с самой болевой стороны. С какой – сейчас она еще не знает; но она умеет ждать!

Король встретил юношу очень сурово.

– Что это значит, Анкарстрем? – резко крикнул он. – Подобное поведение недостойно офицера! Офицер должен...

– Умоляю ваше величество простить мне это вмешательство! – перебила его Адель. – Но это дело ближе касается меня самой, и я лучше сумею выяснить его... Анкарстрем! –

обратилась она к юноше, – мы давно знакомы друг с другом, и после вашей услуги... Ведь я, кажется, говорила вашему величеству, – обратилась она к королю, – что этот юноша – мой спаситель! Однажды на прогулке на меня напала толпа женщин из простонародья, которые кричали, что я щеголяю в кружевах и шелках, тогда как они голодают. К ним присоединились и какие-то оборванцы, но Анкарстрем, случайно проезжавший мимо, разогнал весь этот сброд и помог мне благополучно выпутаться!

– Вот это больше похоже на моего Анкарстрема, чем такая выходка, как сегодня! – проворчал король.

– После вашей услуги, – продолжала Адель, обращаясь к юноше, – мы подружились, вы нередко навещали меня, и я находила много удовольствия в беседе с вами. И вдруг вы перестали навещать меня, однажды при встрече отвернулись, чтобы не кланяться. А сегодня... – она нарочно выдержала паузу, – сегодня мне показалось, что вы присоединились к тем, которые хотели во что бы то ни стало ошквать меня. Ведь я знаю, Анкарстрем, что сегодня я играла хорошо. К игре ваше шиканье относиться не могло. О, я верю, что у вас имеется какая-нибудь серьезная причина сердиться на меня. Но, милый мой мальчик, как же можно переносить на артистку то раздражение, которое питаешь против человека? Вот за тем, чтобы сказать вам это, я и просила вас прийти сюда, ко мне. А вы... и не стыдно было вам передать через лакея такой невежливый ответ даме? Да, должно быть, у вас

имеется действительно серьезная причина сердиться на меня, и вы объясните мне эту причину!

– Да, да, непременно объясните! – подхватил король.

– Но я думаю, что это будет лучше сделать наедине, – прервала его Гюс, – а потому решила вот что: для объяснения и отчасти в наказание вы, Анкарстрем, должны быть у меня сегодня на вечере после спектакля. Гости соберутся несколько позднее, и мы успеем поговорить!

– Слышишь, Анкарстрем? – сказал в свою очередь король. – Ты должен быть сегодня у мадемуазель! И даже сделаем так: после спектакля ты придешь сюда и потом отвезешь ее домой. Слышишь? Это – форменное приказание! Ступай!

Анкарстрем ушел.

Тогда Густав обратился к Адели:

– Но ты, конечно, расскажешь мне, дорогая, что мог иметь против тебя этот щенок?

– Я думаю, что могу сказать это вам и сейчас, дорогой мой Густав! Мальчишка начитался памфлетов, а, может быть, кто-нибудь из марковцев уверил его в том, что я – враг Швеции. Ну, вот... долго ли вскружить голову зеленому мальчишке? Но он – славный малый, и я быстро обращаю его в пай-мальчика!

– Как ты бесконечно добра, моя Адель! – растроганно сказал Густав, целуя руку Гюс. – Ты – ангел! Он оскорбил тебя, а ты еще подыскиваешь ему извинения! Боже, какая прекрасная женская душа в твоём прекрасном теле!

После окончания спектакля Анкарстрем явился в уборную Адели и с какой-то кривой, бледной усмешкой беззвучно отрапортовал по-военному.

– Во исполнение приказания его величества имею честь явиться!

– Иоганн, – сказала Адель, подходя к юноше, – я дорого дала бы, чтобы мне не было нужды в королевском приказании. Но, хотя я не желала королевского вмешательства, я все-таки рада, что так случилось: ведь теперь я имею возможность объясниться с вами. Во всяком случае верьте, что участие короля вышло совершенно случайным. В то время, как я послала лакея за вами, его величество зашел ко мне в уборную, и лакей при нем передал ваш ответ. Впрочем, наверное, вы не поверите словам «распутницы»? В таком случае, если хотите, я могу позвать лакея, он подтвердит вам...

Что-то совсем по-детски дрогнуло в лице Анкарстрема, когда, потупившись, он ответил:

– Я глубоко извиняюсь в своей выходке... Этого не следовало делать, я понимаю... Но, когда я сидел в театре и смотрел на вас, у меня на сердце мгновенно всколыхнулось похороненное прошлое, и... такая волна горечи поднялась... Я не сдержался... Но, еще раз повторяю, я бесконечно сожалею об этом и прошу меня извинить... Может быть, вы удовлетворитесь этими объяснениями и позволите мне не сопровождать вас?

– Иоганн! – воскликнула Адель. – Смотрите, я начну ду-

мать, что вы просто боитесь меня, опасаетесь, чтобы ваша любовь ко мне не ожила опять с прежней силой!

– Нет, этого я не боюсь, мадемуазель! – грустно, но твердо возразил Анкарстрем. – Да, я любил вас, любил всем пылом нетронутого сердца, но эта любовь сразу и бесповоротно исчезла.

– В таком случае я не могу исполнить вашу просьбу и считать объяснения исчерпанными. Я тоже считаю наше прошлое похороненным без возврата, но не нахожу в нем причин для дурных чувств. Вы во власти какой-то ошибки, и эту ошибку я должна выяснить. А потом... потом вам предоставляется полная свобода не узнавать меня при встречах! Теперь же благоволите дать мне руку и проводить меня до экипажа!

Всю дорогу они ехали молча, каждый погруженный в свои думы. Но вот они подъехали к парку, из-за засыпанных снегом деревьев которого сверкал огнями небольшой особнячок, въехали в ворота и остановились у широкого портала. Анкарстрем выскочил первый, помог Адели выйти и повел ее под руку по широкой мраморной лестнице, уставленной цветами и тропическими растениями. Оставляя в стороне парадные покои, артистка провела его в маленькую, уютную гостиную, где он должен был обождать, пока она переоденется к вечеру.

Оставшись один, Анкарстрем невольно задумался о том, как много обаяния в этой странной женщине. Ведь вот ни-

чего от прежней страсти не осталось в нем... о, нет! Совсем иной образ тихим сиянием освещал его душу теперь! Какой чистый, стыдливый, хрупкий образ был это! Так далек он был от жгучего хмеля страсти, которым дышало все существо Гюс! И все-таки, хотя былая любовь оставалась по-прежнему похороненной, хотя былые чувства даже не делали попыток ожить вновь, он опять оказался под властью прежнего обаяния, того самого, которое заставляло его прежде многое прощать Адели, ко многому относиться с несвойственной мягкостью. И теперь, под властью этого обаяния, все происшедшее начинало все больше и больше изменяться в глазах Анкарстрема, и в нем смутно зашевелилось сомнение в своей нравственной правоте...

Вдруг он вздрогнул и быстро поднял взор: в дверях стояла Адель и пытливо наблюдала за юношей. Заметив, что он почувствовал ее взгляд, она вошла, села около него и сказала:

– Ну, а теперь, милый Анкарстрем, давайте поговорим. Но я попрошу вас говорить со мной прямо и без уверток. Я понимаю, вам это неприятно... Но что же делать? Вы только что оскорбили меня, а мужчина должен уметь отвечать за свои слова и действия!

– Я готов. Спрашивайте, мадемуазель!

– Вы при всех называли меня «распутницей». Скажите, на каком основании вы позволили себе кинуть мне это слово? О, я отлично знаю, при желании вы можете сослаться на то, что моя прошлая жизнь богата тем, что на обычном язы-

ке называется «распутством»! Но это было бы увиливанием. Мое распутство мало чем отличается от обычного распутства других актрис, но бранное слово было кинуто мне одной. Значит, вы находите, что распутницей я была по отношению к вам? Это подтверждается и тем, что вы резко оборвали свои посещения, не узнавали меня при встречах, отворачивались... Я могла бы объяснить это ревностью, но вы сами сказали, что ваша любовь ко мне прошла. В чем же дело? Почему вы позволили себе эту выходку?

– Но, мадемуазель, я уже признал свою неправоту и просил извинения...

– На что мне ваши извинения? Их недостаточно, чтобы загладить нанесенное оскорбление! Я требую ответа: как вы дошли до того, чтобы решиться на это? Поймите, мне не важно, что вы сказали это слово вслух, а важно то, что вы это подумали! Я считаю незаслуженным такое отношение, и удовлетворение мне может дать не извинение, а откровенное признание. Ну, обвиняйте!

– Если вы непременно этого хотите... Но не обижайтесь, если я скажу что-нибудь неприятное. Понимаете, я действительно полюбил вас, и эта любовь заставляла меня мириться со многим, чего я, по своим принципам, обыкновенно не прощаю. Меня возмущала наша близость, возмущали ласки, которые мы крали у законного господина, но тут же я находил и извинение вам. Я говорил себе, что такие господа, как Марков, поступают еще хуже, чем самые низко павшие жен-

щины. Пользуясь туго набитым кошельком, они хладнокровно покупают себе женщину, как покупает крестьянин рабочий скот. Богатство позволяет им становиться рабовладельцами, и, если любовница изменяет таким господам, то это – законная месть поработанного. И раба хочет жить сердцем... Могу ли я винить женщину, которая полюбила меня? Но себя я не извинял так легко. Я мучился, колебался, однако горячая кровь брала свое... Помните тот день, когда Марков застал меня у вас? Выскочив из-под одеяла, под которым я притаился, я готов был провалиться от стыда. Мне вдруг, совершенно неожиданно, представилась вся унижительность моего положения. Пусть мы любим друг друга, но не все может оправдать любовь. Я чувствовал, что наши отношения надо изменить. Как изменить – этого я решить не мог. Надо было подумать. И вот я ушел и стал думать. Мне должно было исполниться девятнадцать лет, когда я вступал во владение частью своих имений. Этого хватило бы на скромную, но вполне достаточную жизнь. А там не за горами было и полное вступление во владение всем состоянием. Словом, мы могли жить без обмана. И вот на следующее утро, когда я собрался идти к вам, чтобы поделиться с вами своим решением, вдруг я узнаю скандальную новость, о которой глухо говорили во дворце. Говорили, будто ночью Марков застал вас с королем, будто произошел скандал... Волосы встали у меня дыбом! Я решил подождать. Слух подтвердился – по крайней мере через несколько дней вы стали открытой фа-

вориткой короля. Боже, какое глубокое возмущение поднялось в моей душе!.. Я вспомнил, как вы предлагали мне свою протекцию у короля. Это было за несколько часов до того, как Марков застал у вас его величество. Значит, у вас было уже все обговорено с королем в тот момент, когда вы ласкали меня? Значит, вы обманывали нас всех троих? Обманывали Маркова со мной и с королем. Обманывали меня, затевая с королем интрижку. Обманывали короля, лаская меня, в то время как у вас уже был сговор с королем. Значит, вы не любили никого из нас. Значит, все мы были просто игрушками в руках искусной интриганки! Значит, все то, чем я оправдывал ваше поведение, отпадало, и одно объяснение оставалось для него – распутство! И вот тогда я отвернулся от вас. В театре меня подхватила злобная волна. Я вспомнил все свои ласки, признанья, обращенные к женщине, которая только смеялась надо мною. Я вспомнил, что люблю ныне чистое существо и не могу отдать себя таким же чистым, потому что весь цвет первой страсти, все, что должно было принадлежать одной истинно любимой, предательски обворовала обманщица... И вот, не помня себя от злобы, я кинул вам оскорбительное слово. Я не должен был делать этого. Я искренне прошу извинить меня...

– Мы оба с вами виноваты, Анкарстрем, – ответила Адель, и ее голос звучал глубокой, отлично имитируемой искренностью. – Только наши вины не так велики. Ваша вина в том, что вы не прибежали ко мне сейчас же и не предъявили мне

этого обвинения. Сделай вы это, я объяснила бы вам все, и вы были бы избавлены от мучений оскорбленного самолюбия. Ведь только по счастливой случайности ваша выходка не кончилась для вас печально! Что, если бы заметили, кто кинул это слово? Король не простил бы вам этого, и ваша карьера была бы кончена. Это было бы слишком суровым наказанием за простую мальчишескую необдуманность! А я, Анкарстрем, я виновата в том, что допустила между нами интимную близость. Этого не следовало делать, потому что я действительно не любила вас. Только поймите меня правильно: я не любила вас, как возлюбленного, но очень любила – да люблю и сейчас, несмотря ни на что, – любила как хорошего человека, как милого, верного друга. Только я сама не сознавала, какой именно любовью любила я вас, и в этом была моя ошибка. Я была так одинока, и вы очень верно охарактеризовали мои чувства: я была купленной рабой и мстила по-рабски. Кроме того, я боялась, что вы уйдете от меня, что, полюбив другую, вы перестанете дружить со мною. И вот, чтобы привязать вас к себе, я допустила между нами интимность. Но я не хотела ничего дурного и сознательно не обманывала вас, как не обманывала и не обманываю короля. Да, Анкарстрем, все время я любила и люблю только одного короля. Вы должны узнать мою историю с ним. Я познакомилась с королем в Париже, мы полюбили друг друга, но не успели объясниться: умер отец короля, ему пришлось спешно уехать. Мы расстались. Злые люди оклеветали ме-

ня перед королем, и он в письме кинул мне оскорбительное обвинение, не подумав – вот как и вы теперь – сначала потребовать у меня объяснений. Я почувствовала себя глубоко оскорбленной, замкнулась в оскорбленном негодовании и заставила умолкнуть болевшее сердце. Случай привел меня в Швецию, случай заставил выступить на сцене вместо заболевшей Госсю. В сердце короля опять всколыхнулось прежнее чувство; он пришел ко мне в уборную и стал настаивать на необходимости объяснений. Сначала я отказывалась, говоря, что для этого было достаточно времени в прошлом, но, в конце концов, королю удалось выпросить у меня позволение приехать ко мне на другой день. В этот день вы были у меня, и я особенно страстно обнимала вас, радуясь, что буду в состоянии через несколько часов высмеять, обдать холодным презрением того, кто безжалостно надругался над моим сердцем. Но вот приехал король... И что же? С первых слов выяснилось, что оба мы были жертвой роковой ошибки! И тут я поняла, что все время любила только одного Густава, что все мое распутство было лишь следствием глубокого страдания. В это время в комнату грубо ворвался Марков. Но и ему было все объяснено, и ему было доказано, что он не был обманут, так как между мной и королем еще ничего не было, и все решилось только сию минуту, а уже на другое утро он должен был быть оповещен мною о нашем разрыве. Марков остался посрамлен. Он не мог простить мне этого, чем и объясняется затеянная им травля, к которой сегодня

примкнул и господин Анкарстрем!

Адель замолчала и с улыбкой глядела на Анкарстрема.

Он сидел, согнувшись в кресле, закрывая обеими руками красное, смущенное лицо.

– Вот вся моя история, вот история моего обмана, – продолжала Гюс после недолгой паузы. – Вы видите, если я и была распутницей, то перестала ею быть сразу же, как только получила такую возможность. Я нашла любимого человека и верна ему – кто может сказать хоть слово о моей теперешней жизни? Вот и все, что я хотела объяснить вам. Не ради себя, нет! Но мне было больно думать, что у вас на сердце остается горечь, что вы воображаете себя обманутым. Я не хотела, чтобы из-за роковой ошибки вы стали недоверчивым, подозрительным... Ну а теперь можете идти. Ведь вам тяжело оставаться в доме у «распутницы»!

Анкарстрем встал, подошел к Адели и глубоко взволнованным голосом сказал:

– Позвольте мне остаться! О, если бы вы знали, как мне бесконечно стыдно за свою ребяческую выходку! Поверьте...

Адель протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал, и сказала смеясь:

– Ну, ну! Не надо так много слов, мой милый мальчик! Верю, что вы искренне каетесь, и этого с меня довольно! Садитесь на свое место и давайте поговорим, как добрые друзья, которые давно не видались и которым есть о чем порас-

сказать друг другу!

Они проговорили с полчаса, и из сердца Анкарстрема исчезли последние следы горечи. Он глубоко поверил в рассказ Гюс и искренне каялся, что позволил себе оскорбить такую хорошую женщину. Да и как было ему не поверить? Ведь все говорят, что ее влияние на короля очень велико, и следовательно, ей ничего не стоило бы заставить его, Анкарстрема, жестоко поплатиться за эту выходку. А она... Ах, да что там говорить! И без слов ясно, насколько она – хороший человек!

В конце разговора Адель спросила:

– Ведь мы теперь опять друзья, не правда ли? Ну, так вы простите мне один вопрос. Видите ли, я уже не раз замечала, что мужчина начинает ненавидеть любимую женщину не тогда, когда разлюбит ее, а когда полюбит другую. Не ошибусь ли я, если предположу, что вы полюбили, мой друг?

– Да, – смущенно ответил Анкарстрем.

Какая-то мысль блеснула в голове Адели.

– Карлотта Басси? – быстро спросила она.

– Да, она! – ответил Анкарстрем, и его глаза заблестели. – Боже, что это за чудное создание! Честь и слава ее матери, которая сумела провести ее невредимой сквозь всю грязь жизни!

– И она тоже любит вас?

– Да, любит, но... многое еще надо преодолеть, чтобы достигнуть полного счастья.

В душе Адели все возликовало – вот тот слабый пункт, в котором она болезненнее всего уязвит дерзкого мальчишку! Но вслух она сказала:

– От души желаю вам счастья, друг мой! И вы, и она вполне заслуживаете его! Вы составите прекрасную парочку! Однако насколько я слышу, там уже собрались гости. Надо выйти к ним! Пойдемте, друг мой!

Действительно в зале уже собралась большая часть приглашенных. Появление Адели было встречено явным восторгом и тайными насмешками и перешептываньем. Вид Анкарстрема свидетельствовал о только что пережитом глубоком волнении, да и на лице Адели также были видны следы волнения: она всегда волновалась, когда играла, а ведь ей только что пришлось разыграть перед Анкарстремом довольно-таки трудную сцену!

Среди присутствующих уже побежала грязная сплетня насчет истинных причин запаздывания хозяйки, но случайно эта сплетня была остановлена в самом начале появлением короля.

Увидев Анкарстрема, Густав воскликнул:

– А, и наш бунтовщик здесь? Как же, дорогая мадемуазель, удалось вам смирить мятежника и повергнуть к своим всепокоряющим ногам?

– О, да, ваше величество, – весело ответила Адель, – все недоразумение быстро разъяснилось, и я была совершенно права, когда высказывала свое предположение о причинах

происшедшего. Но не будем больше говорить об этом! Мы заключили союз верной дружбы, и теперь все должно быть забыто. А вот, если ваше величество позволит мне напомнить, что ужин сервирован...

– Великолепно! – отозвался король, и все направились в столовую.

– Ах, как я устал сегодня и как рад побыть с тобой наедине! – сказал Густав, оставшись вдвоем с Аделью. – С самого утра мне пришлось много сердиться и волноваться. Стоило мне только взглянуть на сегодняшние газеты, как вся кровь бросилась от бешенства мне в голову!

– Но ведь мы с вами предвидели, что именно ко дню вашего рождения наши друзья постараются превзойти самих себя, и вы уже решили, Густав, как ответить им на это!

Король как-то съежился, замялся и не совсем уверенным тоном произнес, глядя куда-то в сторону:

– Да, мы... так думали... Но... мы многого не учли... Сегодня утром я говорил об этом с Шеффером, и он....

– Он, конечно, поспешил доказать, что такая дрянь, как Гюс...

– Господь с тобой, Адель! Ты напрасно думаешь, что Шеффер – твой враг! Разве ты не обратила внимания на то, как сегодня за ужином я подчеркнул свою дружбу к нему? Я это сделал только в благодарность за тебя! Ведь ему мы обязаны тем, что затеянный в театре скандал не состоялся

и сменился твоим полным торжеством. Шеффер отправился к королеве и доказал ей, что она унижает свой сан, присоединяясь к моим врагам. Таким образом все, кто примыкал к Маркову из желания угодить королеве, сегодня изменили ему, и скандал не удался... Но, видишь ли, Шеффер был у королевы, когда ее приближенные судачили о тебе и высказали предположение, что ты, чего доброго, получишь какой-нибудь титул. Ну... и... королева решительно заявила, что, если это случится, она сейчас же потребует развода... И я ведь знаю ее! Она так и сделает... Ты только подумай, какой скандал! Развод в королевской семье... возможна война с Данией... К тому же королева была так любезна с тобой, что это тронуло меня, и я не хотел бы причинить ей неприятность... И вот по здравом размышлении...

– По здравом размышлении вы решили капитулировать, ваше величество? – Адель резко расхохоталась. – Вы великолепны, мой храбрый король! Пока вы сидите у меня в будуаре, вы полны самых геройских намерений, но стоит вам только соприкоснуться с действительностью, как вы благоразумно ретируетесь! Достаточно королеве или Шефферу сказать вам хоть одно слово, и вы уже трусливо прячетесь... По здравом размышлении! Ха-ха-ха! Королева с Шеффером скоро начнут посылать вас в угол, словно провинившегося мальчишку, а вы «по здравом размышлении» добровольно встанете?

– Адель! – укоризненно воскликнул король. – Как можешь

ты быть так жестока со мной! Я и без того мучаюсь, и вот нигде-нигде не нахожу отдыха и покоя. Ты неправа по отношению ко мне! Раз в одном существе король сталкивается с человеком, человек должен уступить!

– Да? – презрительно возразила Адель. – Не говорили ли вы мне, ваше величество, что из всех государей новейшего времени вас больше всего привлекает могущественная фигура Петра Великого, которого вы избираете своим образцом? На словах это, ваше величество, только на словах! Петр Великий был действительно государем, каким не можете быть вы, ваше величество! В нем никогда никто ни с кем не сталкивался, а что он хотел, то и делал. На него восстала сестра, он упрятал ее в монастырь. Шведы грозили ему войной – Петр двадцать раз терпел поражения, но в двадцать первый раз сам разбил шведов наголову. Духовенство хотело помешать ему – он подчинил его светской коллегии! Дворянство осмелилось выказать недовольство – он огнем и мечом смирил недовольных и создал новое дворянство! Сколько раз вы сами рассказывали мне об этом!

– Но ведь это касалось его государственной деятельности...

– А в семейной жизни? Полно, ваше величество! Жена оказалась Петру не под пару – он отделался от нее! Сын не разделял отцовских взглядов – он умер под пытками! А его второй брак?! Простую крестьянскую девушку, которая была не лучше меня, он сделал императрицей всероссийской,

а прижитых с нею до брака дочерей – принцессами крови! И для этого ему не надо было советоваться с разными Шефферами! Монаршая воля, один росчерк пера – и все покорно склонялись! А когда вашему величеству предстоит сделать свою подругу всего только графиней Лильегорн, то из этого вырастает целая трагедия! Необходимо советоваться с Шеффером, узнавать, как поглядит на это королева, трепетать перед Данией и в результате брать назад монаршее слово!

– Но, Адель, я не отказываюсь... Ты не поняла меня... Я лишь нахожу, что данный момент не подходящ... Но со временем...

– Со временем? Нет, ваше величество, у меня тоже есть свое самолюбие! «Со временем» не будет ничего. Вообще вижу, что я стала в тягость вашему величеству. Из-за меня вас осыпают в печати самыми гнусными насмешками, которых не стерпел бы не только Петр Великий, а и никто из любых мелких государей! Из-за меня супруга грозит вам разводом, из-за меня готова возгореться война с Данией... Боже сохрани! Пожалуй, из-за меня настанет всемирная война, потом потоп, мор, уж не знаю что! Нет, я слишком низкого мнения о своей особе, чтобы допустить столько ужасов из-за себя. И чтобы спасти весь мир вообще, а ваше величество в частности, я уйду! Шеффер и королева утешат вас в этой легкой потере. В крайнем случае приживете со своей Софией Магдалиной еще пару ребят, и тогда миру окончательно ничто не будет грозить!

Она повернулась, чтобы уйти, но Густав моментально очутился около нее. Он упал перед ней на колени и, охватив ее стан, принялся горячо и подобострастно целовать ее руки.

– Злая девочка! – укоризненно заговорил он, страстно обнимая ее. – Так и шутить-то жестоко! Неужели ты способна бросить меня из-за пустой размолвки? Неужели я так мало дорог тебе? Злая, злая!.. И что за ценность видишь ты в этом графском титуле? Ну на что он понадобился тебе так внезапно?

Адель слегка смутилась и замялась. Не могла же она сказать ему, что ей уже не под силу становилось выдерживать долее чинную жизнь, какую приходилось вести теперь? Она понимала, что каждый ее шаг подстерегается Марковым, а потому была очень осторожна и не компрометировала себя. Но это было крайне скучно, очень буржуазно, чересчур прилично! Она боялась, что сорвется в один прекрасный день, и тогда все будет кончено с королем. Вот на случай такого крушения ей и хотелось обеспечить себя хотя бы графским титулом: в умелых руках – это тоже капитал, который не трудно реализовать.

Но ведь не могла же она сказать это королю! К тому же она подумала, что, пожалуй, слишком натянула струны, а потому поспешила взять другой тон.

– Глупенький мой король! – нежно сказала она, нагибаясь к Густаву и приподнимая его с колен. – Неужели вы не понимаете, что это нужно не мне, а вам самим? Пойдемте,

сядем и поговорим! – Она притянула короля к кушетке и, усевшись, нежно прильнула к нему. – Неужели вы не понимаете, что я хлопочу не из-за себя? Поверьте, если бы вы сказали мне, что хотите дать графский титул не мне, а хотя бы моей горничной, если бы ваше решение стало известным другим и под влиянием этих других вы отказались от этого решения, я точно так же возмутилась бы, как и теперь! Я ничего не ищу от вас! Мне нужна ваша любовь, Густав, потому что я действительно люблю вас! Но женщина, когда любит, хочет видеть своего милого выше, лучше, сильнее всех! Меня оскорбляет, когда я вижу, как вами помыкают, а вы из доверчивости послушно идете на поводу у тех, кто только и думает, как бы ограничить монаршую власть. Мне нужен графский титул, чтобы видеть, что вы – действительно король! Дайте мне этот патент, и я никогда не назовусь графиней, а останусь той же Гюс, спрятав бумажку в свой ящик как приятное воспоминание. Но вы должны дать грамоту, потому что обещали. Вы должны дать ее, чтобы доказать, что вы – король! Вы говорите, что момент неблагоприятен и нельзя действовать напролом? Действуйте, как хотите, действуйте хитростью – как угодно, но действуйте всячески, чтобы не позволить помыкать собой!

– В твоих словах много правды, милая Адель, – задумчиво сказал Густав, – но ведь и я не совсем не прав! Именно теперь было бы неразумно из-за пустяков поднимать крупную историю. Но если ты согласна удовольствоваться временно

тайным указом... Я подтверждаю его в самом скором времени официально, и тогда, понимаешь ли, никто не посмеет сказать что-либо, так как налицо будет давность...

– Я повторяю лишь то, что уже сказала, – ответила Адель, обрадованная таким поворотом дела: – Действуйте, как хотите, но приучайтесь даже в мелочах быть королем! Вот каким должен быть мой Густав, которого я люблю! Если он начнет с мелочей, то овладеет и крупным, и скоро слава Петра Великого померкнет перед славой моего Густава!

– Ну, так завтра уже ты получишь право тайно именовать-ся графиней Лильегорн! – радостно воскликнул король. – А теперь забудем, дорогая моя, обо всех этих мелочах повседневной жизни! Предадимся чарам великой богини любви и утонем в ее сладких дарах, дающих нам забвение и отрешение от будничных огорчений! Ну, поцелуй же, обними же меня, дорогая моя, моя единственная отрада!

Адель с готовностью обняла короля и привлекла его к себе. Венценосный раб требовал награды за послушание. Ну что же? Он заслужил ее!

Глава 3

Марков сидел в своем кабинете и гневно покусывал пальцы, что у него неизменно являлось признаком большого душевного волнения.

Еще бы!.. В последнее время с какой-то фатальной стремительностью неприятности следовали одна за другой!

Сначала этот «провал провала», этот неудавшийся скандал в день парадного спектакля! Кто мог подумать, что эта сухопарая София Магдалина неожиданно переменит фронт и начнет осыпать любезностями мужнюю метрессу? А ведь это отняло значительную часть союзников.

Правда, и с оставшимися можно было кое-что сделать. Но тут опять вмешалось следующее: администрация театра вывесила объявление, что чрезмерно резкие выражения негодования или восторга не будут терпимы; публике, недовольной исполнением данной роли, не возбраняется выразить артисту свое неодобрение, но «не выходя из границ приличия». Марков с друзьями хотели сыграть и на этом распоряжении. В один из спектаклей, когда Гюс не играла, против какой-то мелкой актрисы была подстроена буря свиста. Марков рассчитывал, что репрессии будут предприниматься лишь тогда, когда играет Гюс, и хотел разразиться новым памфлетом, что вот, дескать, какую-нибудь мелкую актрису, которая не имеет чести состоять в особых отношениях

с важными особами, можно освистывать сколько угодно, а чуть дело коснется актрисы Гюс... Но его расчеты не оправдались: чуть только поднялся шум, несколько чрезмерно ретивых свистунов были подхвачены под руки и выведены. Это отбило у значительной части охоту играть на руку Маркову.

Правда, оставалось еще немало таких, которых никакими репрессивными мерами не испугаешь: всякое видали! Но это были как раз те, усердие которых поддерживалось подачками, а Марков имел несчастье недавно проиграться в пух и прах, и денег у него совершенно не было. Таким образом все прежние старания, все материальные затраты – все бесплодно погребло!

Не успел Марков освоиться с этой неудачей, как за ней последовали другие. Приятель прислал из Петербурга цидулку, а в ней было сообщение о новой неприятности: Панин окончательно отошел от дел, а иностранные сношения сосредоточены в руках князя Безбородко. Даром, что князь – всего только второй советник департамента иностранных дел, но даже Остерман ничего против него поделать не может! Новая метла всегда чисто метет! Первым делом Безбородко заявил, что русские иностранные миссии поставлены очень скверно, и затребовал к себе разные производства. По поводу шведских дел он особенно многозначительно промышчал, и видно по всему, что ждать Маркову крупных волнений!

Эта новость была уже позначительнее, чем провал интриги против Гюс. Она била Маркова по самому чувствитель-

ному месту, так как угрожала его служебному положению. Никто лучше самого Маркова не знал, сколько грешков и упущений накопилось в его посланнической деятельности. Только копнись... копать-то как раз и собирались!

И, кажется, докопались! Вскоре после письма приятеля пришла депеша от князя Александра. В ней Безбородко сообщал, что медлительность и неуспешность Маркова в вопросе о союзе со Швецией побуждают правительство послать в Стокгольм полномочного курьера, который на месте разберется в создавшемся положении и совместно с послом обдумает все необходимые шаги, надлежащие к исполнению. При этом Безбородко весьма внушительно оттенял, что этот курьер – полковник Зорич – снабжен действительно широкими полномочиями и что Маркову надлежит видеть в нем представителя правительства. Иначе говоря, Зорич был ревизором, который мог или погладить Маркова по головке, или поставить его в угол!

При чтении этой депеши Маркова охватил сильный приступ бешенства. В первый момент он готов был с места послать прошение об отставке, но тут же увидел, что это было бы, по меньшей мере, опасно. Ведь тогда пришлют нового человека принять от него дела, быть может, поручат это тому же Зоричу, а при сдаче дел может выясниться несравненно большее, чем при простом собеседовании об одном только вопросе. А тогда... Нет, самое скверное в этой истории было то, что он лично был бессилён предпринять что бы то ни

было!

Почти одновременно с этой депешей пришла на имя шведского короля депеша от его посланника при петербургском дворе. Вскрыв ее, Густав сейчас же отправился к Адель.

Заметив из окна подъезжавшие сани, Гюс перешла в кабинетик и уселась за какое-то вязанье. Работа всегда придает женщине особенно чистое сияние; Адель понимала это и потому постоянно бралась за работу в присутствии влюбленного короля.

Густав вошел к фаворитке очень взволнованным.

– Дорогая моя, – сказал он, целуя ее руку, – я получил очень важные известия, которые хотел бы обсудить вместе с тобой. Ведь ты – мой лучший министр! Право, дорогая, не говоря уже о женщинах, я даже среди мужчин встречал мало таких, которые были бы способны вроде тебя быстро и ясно разобраться в любом вопросе.

– Вы слишком снисходительны ко мне, милый Густав! – ответила Адель с обворожительной улыбкой. – Я – просто невежественная женщина, которая только и умеет, что любить своего Густава. Может быть, любовь дает мне немного ясновидения, может быть, глубокая преданность восполняет недостаток понимания, но...

– Да, да, дорогая моя, я уже знаю, что венец твоих добродетелей не лишен ценного украшения – скромности! Но пе-

рейдем к делам... Граф Поссэ сообщает мне, что петербургское правительство снаряжает в Стокгольм специального курьера, снабженного особыми полномочиями. Каков характер этих полномочий – об этом говорят весьма по-разному. Одни уверяют, что полковник Зорич... таково имя курьера...

– Зорич? – переспросила Адель. – Но ведь это – один из фаворитов государыни?

– Да, и выбор его для этой цели подчеркивает важность миссии. Итак, одни уверяют, что Зорич должен сменить Маркова, другие – что Зоричу поручено лишь произвести ревизию дел, третьи – что Зорич является самым обыкновенным курьером, который должен передать Маркову на словах нечто такое, что было бы опасно или нежелательно доверять бумаге. Впрочем, как бы там ни оценивалась важность самого Зорича, совершенно бесспорным является то, что Марковым недовольны и что поручение, с которым отправляют Зорича, весьма важно. Из разных сопоставлений наш посол выводит мысль, что русское правительство хочет какой угодно ценой добиться соглашения со Швецией. Значит, в данный момент мы стоим перед необходимостью решительно и без уверток высказаться или за соглашение, или против него. Но... вот это как раз самое неприятное во всей этой истории. У меня с Россией еще имеются непогашенные счета, но вместе с тем в данный момент Швеция еще не готова к войне!

– Значит, вы склоняетесь в сторону соглашения?

– Да никуда я не склоняюсь, черт возьми! Я – самый

несчастный монарх на свете, который не знает, как примирить личные симпатии с пользой отечества! Лично я глубоко ненавижу Россию, но... прав ли буду я, если вследствие этого Швеция окажется вовлеченной в войну, к которой она, повторяю, не готова?

– Ну, в таком случае попробуем мыслить спокойно и логически. Почему Россия так настойчиво добивается соглашения?

– Да, потому что...

– Потому что, очевидно, она тоже не готова к войне! Будь она готова воевать, она разговаривала бы иначе. А в том, как она ведет переговоры, видно скорее, что именно она боится войны!

– А ведь ты права, пожалуй!

– А отсюда вытекает, что соглашение нужно в гораздо большей мере России, чем Швеции. Между тем Россия, в лице своего представителя Маркова, вела себя все время настолько вызывающе, что вам, Густав, нет ни малейшего основания делать что-либо в угоду ей. Следовательно...

– Следовательно, надо решительно отвергнуть всякие попытки к соглашению, черт возьми!

– Зачем? Достаточно вести прежнюю политику и не высказывать ни «да», ни «нет»! Мне кажется, милый Густав, что у вас нет ни малейших оснований менять свой образ действий! Зачем? В прошлом году Марков имел смелость заявить вам, что Россия усмотрит в дальнейшей медлитель-

ности Швеции явное недоброжелательство. Вы попросту отвернулись от него, и... и что изменилось от этого? Да и какое вам дело, шлет ли Россия курьеров к Маркову или нет? Это – их семейные дела, которые Швеции отнюдь не касаются. Ну, а на попытки запугать себя Швеция всегда сумеет ответить достойным образом.

– Я просто не понимаю, где была моя голова? Ведь это так ясно!.. Да, Адель, каждый день я благословляю судьбу, что она дала мне такую подругу, как ты! Ты действительно сумела стать для меня вторым «я»!

И влюбленный король принялся расточать своей метresse комплименты, которые быстро перешли в сладчайший любовный шепот.

Зорич, приехав, с места в карьер взялся за порученное ему дело. Предъявив Маркову сертификат, он тут же приступил к опросу о положении дел и сумел поставить ряд вопросов так искусно, что, как ни вертелся, как ни пыжился Марков, ему пришлось сознаться, что ничего-то он не смог добиться.

– Так-с, – сказал Зорич. – Следовательно, главнейшей помехой соглашению является королевская метресса? Что же вы предприняли, чтобы перетянуть ее на нашу сторону?

– Но... мне кажется, вам должно быть известно...

– Что вы повели войну против нее? Да, это мне известно! Вы сделали все, чтобы вооружить ее против нас... Но в предпринятой вами войне побежденным оказались вы. Так вот, я спрашиваю, когда вы увидели, что этим путем не добьетесь

ничего, что вы предприняли, чтобы исправить ошибку?

– Но... я не вижу...

– Гм... значит, ничего? Так-с... Вы разрешите мне воспользоваться вашим экипажем?

– Ну конечно! – воскликнул Марков. – Какой может быть вопрос! А куда вы собираетесь?

– Куда? И вы еще спрашиваете? Ну, конечно, к божественной Аделаиде Гюс!

– Как? Вы...

– Простите, ваше высокопревосходительство, один вопрос. Насколько я помню, излагая мне положение дел, вы ни словом не упомянули мне о том, что Швеция спешно вооружается? Между тем мы получили точные сведения об этом, и в Петербурге немало дивились, что наш посол, сидя на месте и затрачивая крупные суммы на содержание целой армии шпионов, не сообщает нам об этом и что мы принуждены узнавать обо всем окольным путем через берлинский двор... Следовательно, вы сами видите, что упущено слишком много времени и следует спешить!

– Но... я думал... вы сначала позавтракаете со мной.

– О, я уверен, что Гюс не откажется покормить меня! Ведь она слывет самой доброй женщиной в мире – никому ни в чем отказать не может! Тем более она не откажет в таком пустяке, как завтрак!

Адель была очень удивлена, когда ей доложили, что ее же-

лает видеть полковник Зорич. Конечно, она сразу поняла, что Россия взялась за ум и решила повести дело с надлежащего конца, но никак не могла ожидать, что это будет облечено в подобную беззастенчивую форму. Она знала, что Зорич прибыл только сегодня утром, еще не делал никому никаких визитов (на это у него до сих пор и времени быть не могло) и вдруг является прямо к ней!

Конечно, Гюс решила принять его, но уже заранее наслаждалась мыслью о том, какой презрительной иронией встретит она попытки этого отставного фаворита «Семирамиды севера». После того, что позволил себе Марков, осмелиться явиться к ней?!

Но, войдя в комнату, где дожидался ее Зорич, Адель почувствовала легкий укол в сердце... Как красив был этот серб! Какой великолепный образец истинного мужчины! Какой-то опьяняющий ток струился от него, и против воли Гюс чувствовала, что один взгляд этих выразительных черных глаз настраивает ее гораздо мягче, чем она сама хотела бы.

– Присаживайтесь, полковник, – сказала она, отвечая на изящный поклон Зорича. – Присаживайтесь и объясните мне, чему я обязана неожиданной честью этого визита?

– Сударыня, – ответил Зорич, и звук его голоса еще больше взволновал «отзывчивое» сердце Адели. – Я – не дипломат, я – солдат, а потому привык во всем и всегда действовать прямо. Я не обучен дипломатическим тонкостям и не умею подходить слева тогда, когда на самом деле это нуж-

но делать справа. Потому разрешите мне прямо подойти к истинной цели своего посещения. Дело в следующем. Когда я уезжал из России, матушка-царица пожелала видеть меня, чтобы лично дать инструкции о порядке ревизии здешних дел. Ее величество поручила мне предпринять самостоятельно все шаги, какие я найду нужными для успеха дела, разрешила иметь переговоры со всеми лицами, которые могут быть полезными. Затем она сказала мне: «Кстати, заезжай и к моей старой знакомой госпоже Гюс: скажи ей, что все мы ее хорошо помним и жаждем снова насладиться ее дивной игрой; а, кстати, передай ей вот эти пустячки на память». Прибыв сегодня и рассмотрев с нашим послом положение дел, я убедился, что единственное лицо, которое может быть полезным нам, это – вы! Таким образом, являясь к вам, я сразу исполняю два дела. Поэтому разрешите мне передать вам вот это!

Адель взяла из рук Зорича очаровательную шкатулочку из разных уральских камней – малахита, ляпис-лазури, яшмы, авантюрина и т. п. В этой шкатулочке она нашла миниатюрный, оправленный в бриллианты портрет императрицы и роскошный браслет. Это был действительно царский подарок, целое маленькое состояние!

Адель внутренне вся вспыхнула от радости, но наружно осталась совершенно спокойной и холодно ответила:

– Я очень благодарна ее величеству за внимание, даже не знаю, могу ли я, в сущности, принять такой подарок. После

всего того, что я натерпелась от официального представителя России при стокгольмском дворе, мне странно...

– Вы имеете в виду дикое поведение Маркова? Но, уважаемая мадемуазель, ведь Марков – просто осел!

– Однако этого осла продолжают держать на посольском посту!

– Да, это было непростительной ошибкой, хотя вместе с тем поведение нашего правительства вполне понятно. Нельзя назначать на ответственное место человека, к которому не питаешь доверия. Следовательно, самый факт назначения сюда Маркова показывает, что Маркову доверяли. Но нельзя же под влиянием нескольких неудач лишать сразу доверия. Однако, как только у нашего правительства нашлись основания заподозрить нецелесообразность действий Маркова, так сейчас же был командирован человек, а именно я, с большими полномочиями. Мне достаточно было двух часов, чтобы прийти к тому убеждению, которое я вам уже высказал. Вас возмущает то, что Марков так подло поступил по отношению к вам, мадемуазель? Ну, а меня это нисколько не возмущает...

– Как? Вы осмеливаетесь...

– Мадемуазель, будем смотреть на вещи трезвыми глазами. Шпионство – дело гнусное, однако все военачальники пользуются услугами шпионов. Политика не ведаёт сентиментальности; она знает только успех. Марков прикрывал свои неблагоприятные действия тем, что Россия от этого бу-

дет иметь пользу. Я же сразу убедился, что Марков никогда не имел в виду пользы России, а руководствовался только личной мелкой мстительностью. Это было уже гадко. Но я убедился еще кое в чем. Я убедился, что путь, который избрал Марков, совершенно неправилен, так как не такому ничтожеству, как он, бороться с вами. И потому я говорю, что Марков глуп до чрезвычайности.

– Иначе говоря, вы убедились, что без меня вам не добыть того, чего вы хотите, а потому и пришли ко мне? Ну что же, давайте говорить! Чего вы хотите?

– Но вы знаете, мадемуазель, что целью желаний России является соглашение со Швецией!

– Да? Ни более, ни менее? И в этом должна помочь вам я, которая от вас так натерпелась? И эту важную дипломатическую победу я должна обеспечить России ради прекрасных глаз ее государыни? Вы наивны, милейший полковник! Уж не думаете ли вы, что купили меня парой драгоценностей? Да у меня шкафы ломаются от них... Или, может быть, вы предложите мне денег за мою услугу?

– Нет, мадемуазель, это было бы действительно наивно! Кто же не знает, что у Аделаиды Гюс, этой истинной королевы Швеции, имеется все, чего она только может пожелать из земных благ! Но в то же время у вас есть кое-что, чего вы никак не можете добиться, и вот это «кое-что» явится наградой за содействие нам.

– А, так вы ставите мне условия? Это интересно! Послу-

шаем!

– Да никаких условий, мадемуазель! То «кое-что», о котором говорю я, явится само собой логическим следствием вашей помощи. Чего вы желали бы сейчас больше всего на свете? Не скрывайте! Больше всего вы желали бы восторжествовать над Марковым, затоптать его в грязь. Теперь рассмотрим, что получится, если я добьюсь соглашения. Правительство скажет: «Зорич не дипломат, Марков – дипломат. Однако Марков в несколько лет не смог добиться того, чего добился Зорич в один день. Значит, Марков – глупец, которого надо метлой гнать от посольских мест». Наоборот, представьте себе, что я ничего не добьюсь. Тогда наше правительство скажет: «Марков был прав, от шведского короля нельзя ничего добиться, пока около него находится враждебная России Аделаида Гюс. Следовательно, хотя он и не добился ничего, но он действовал единственным способом, которым можно было достичь успеха!» Словом, мой успех ничего мне лично не даст, но зато вам он даст торжество над врагом. Таким образом, вы получите то, чего больше всего желаете, и вдобавок – полное право рассчитывать в случае нужды на нас.

Опять Адель внутренне вспыхнула. Прямота Зорича, убедительность его доводов сразили ее. Действительно, разве не прекрасно было бы доказать России, что она, Гюс, никогда не была против соглашения, что неуспех русских домогательств проистекал лишь из неумного поведения ее посла?

Но... Да, немалое «но» было тут... Ведь всего несколько дней тому назад она доказывала королю Густаву необходимость отклонить соглашение. Как же теперь ей ни с того, ни с сего действовать совершенно обратно?

– Я признаю, что вы правы, – сказала она. – Да, если бы вам удалось быстро добиться соглашения, это была бы резкая пощечина Маркову. Но я не сделаю шага в этом направлении, если вы не докажете мне, что это соглашение нужно не только России, но и Швеции!

– О, это мне не трудно будет сделать. Россия, Англия и Швеция косо глядят друг на друга. Но двое всегда сильнее одного, и потому Россия должна вступить в союз со Швецией или Англией, чтобы как-нибудь Англия не спелась со Швецией против нее. По многим причинам Россия предпочитает союз со Швецией. Но наш посол в Лондоне уже сделал все шаги, и стоит мне потерпеть здесь неудачу, как я еду в Англию, и через месяц будет заключен союз с Лондоном. Следовательно, отказавшись вступить в союз с Россией, Швеция подпишет себе сама приговор. Россия занята сейчас югом, ей надо гарантировать себя с севера. Мы знаем, что Швеция не готова к войне. Поэтому, подписав соглашение с Англией, Россия сейчас же двинет войска в Финляндию, отхватит добрый кусок ее и заставит Швецию заключить мир на любых условиях, каких только пожелает победительница. Тогда Россия займется югом. Но Россия не хотела бы, как я уже сказал, союза с Англией. Вот почему она добивается союза

со Швецией. В этом соглашении обоюдная выгода. И пусть у шведского короля имеется тысяча причин коситься на Россию, реальная политика требует заключения союза!

– Но я не знаю, удастся ли мне заставить его величество так быстро изменить мнение, сложившееся уже давно.

– О, вам удастся все, чего бы вы ни захотели! Достаточно только посмотреть на вас, чтобы знать, какую силу вы представляете! – и, сказав этот комплимент, Зорич так посмотрел на Адель, что у молодой женщины на щеках выступил легкий румянец чувственного волнения.

В ней опять всколыхнулось сознание буржуазной серости ее теперешней жизни. Ничего острого, дразнящего... И вечно притворяться, вечно прикидываться влюбленной в этого скучного короля...

Адель встала, встал и Зорич. Долго глядели они друг на друга, и их молчаливые взгляды были красноречивее любого разговора. Наконец Адель сказала:

– Итак, ради пользы России вы уговариваете меня сделать то, что послужит к пользе Швеции? Но разве Зорич, добившись при помощи Гюс полезного для России, не извлечет из своего успеха выгоды лично для себя? Так что же получит лично для себя Гюс, если она поможет Зоричу?

– Но, дорогая мадемуазель, я уже говорил...

– Зорич, вы глупы! – сказала Адель, подходя к красавцу-сербу и обдавая его пламенным взглядом чувственных глаз. – Не собираетесь ли вы опять предлагать мне деньги

или подарок? Вы нравитесь мне, и я хочу своей награды за услугу!

– Приказывайте! – страстно шепнул Зорич, наклоняясь и целуя руку Адели.

Она мимолетной лаской погладила его по щеке и сказала смеясь:

– Ну, хорошо! Помните, вы сами предоставили мне право назначать условия! Сегодня, в одиннадцать часов, я жду вас у себя, и тогда я поставлю вам свои требования! Ну, а теперь вот что. Через... – она взглянула на часы, – через час король должен быть у меня. Этого времени нам хватит, чтобы позавтракать, а потом вы сядете в экипаж и отправитесь кататься по городу. В течение этой вашей прогулки я подготовлю почву. Через полчаса вы вернетесь и обо всем переговорите у меня с королем.

– Вы – богиня! – пламенно воскликнул Зорич, снова целуя руку Адели.

– Как вы думаете, милый Густав, кто у меня был? – спросила Адель, когда король явился к ней в назначенный час. – Никогда не догадаетесь! Зорич!

– Зорич? – удивился король. – Что ему было нужно?

– Представьте себе, он явился, чтобы передать мне от имени императрицы Екатерины вот эту шкатулку, в которой я нашла портрет ее величества и этот браслет!

– Неужели? Это очень мило со стороны моей кузины!

Этот акт внимания к самой дорогой мне женщине во многом примиряет меня с императрицей! Гм... Я все более убеждаюсь, что ты совершенно права, когда говоришь, что России очень нужен союз с нами. Ну, чем нужнее он России, тем больше у нас оснований не спешить.

– Между прочим, дорогой Густав, Зорич очень рассчитывает переговорить с вами и...

– Да? Ишь ты, какой приткий! Ну, если он этого хочет, пусть обратится к гофмаршалу и добывается аудиенции в установленном порядке. Только боюсь, что ему придется долгонько ждать ее.

– Этот путь Зоричу не подходит. Он не имеет официального поручения и...

– Не имеет? Тогда ему аудиенции не получить.

– Да, но видите ли, друг мой, Зорич доказал мне, что будет очень важно повидаться с вами частным образом, так как... Словом, я позволила ему через полчаса вернуться сюда. Я нашла, что эта «случайная» встреча будет удобнее всего.

Густав резко встал и посмотрел на Адель со смесью гнева и презрения.

– Как? – глухо сказал он. – Неужели и ты?.. Вот что значит женщина! Две-три безделушки, и она побеждена!

Адель не дала королю договорить. Вскочив в свою очередь со стула, она схватила Густава за руку и подтащила его к большому, окованному железом шкафу, стоявшему в углу комнаты. Открыв этот шкаф, она сказала:

– Благоволите взглянуть сюда, ваше величество! Все полки этого шкафа уставлены подарками моего короля, которого я имела наивность считать своим другом... И если мной руководит только одна корысть, то как же эта ничтожная шкатулка могла перевесить в моих глазах все то, что я имею от вашего величества?

– Но, Адель, я...

– Молчите, ваше величество, и не смейте перебивать меня. Я требую от вас ответа: как вы осмелились кинуть мне такое грязное обвинение? И это – любовь? Или я в глазах вашего величества – только метресса, нечто вроде собаки, которую ласкают, когда пришел такой каприз, и которую бьют, когда она лезет не вовремя?

– Но, дорогая...

– Молчите, молчите! Все равно, ничего лучшего вы не скажете! Благодарю вас, ваше величество! Всего могла я ждать от вас за свою преданность, но такого обвинения... Довольно! Больше вы мне этого не скажете, ваше величество! Возвращаю вам ваши подарки и... прощайте! Аделаида Гюс может многое стерпеть от человека, которого она презирает, с которым ее связывает лишь необходимость, но... от вас...

Она очень искусно заплакала.

Бедный король окончательно потерялся.

– Но ты меня не так поняла, Адель! – с отчаянием воскликнул он, целуя ее руки. – Я просто хотел сказать, что ты

чересчур мягкосердечна! Россия бесконечно оскорбляла тебя, но стоило тебе получить самый ничтожный знак внимания, как ты уже готова все простить!

– Да разве я когда-нибудь руководствовалась личными симпатиями? Когда я давала вашему величеству тот или иной совет, я думала только о пользе страны, король которой окружил меня лаской и заботой! Зорич сказал мне, что его правительство ничего не знало о подлых поступках Маркова, что, узнав, оно было возмущено... Может быть, вы думаете, что я поверила? Я знаю, что это говорится потому, что политика Маркова потерпела неудачу! Но Зорич сумел внушить мне сомнение в правильности моих взглядов на соглашение. И вот я подумала: «Я – слабая, глупая женщина. Но как знать? Может быть, король, переговорив с Зоричем, тоже увидит, что был введен в заблуждение?» И вот я решила устроить это неофициальное свидание...

– Адель, дорогая, ну, прости меня за неосторожное слово! – стал молить король, опустившись на колени и целуя руки плачущей комедиантки. – Я не думал обидеть тебя! Просто мне показалось странным... Ну скажи: чем я могу вымолить твое прощение?

– Разве я могу долго сердиться на вас, Густав? – сказала Адель, бросая на короля такой взгляд, от которого у него в глазах поплыли зеленые круги. – Но на этот раз вы уже слишком обидели меня, и я прощу вас лишь на том условии, если вы дадите мне слово, что во всем, что я скажу вам по поводу

соглашения, вы не усмотрите никаких эгоистических целей с моей стороны!

– Обещаю тебе это, дорогая! Только не сердись! Ты знаешь, я вспыльчив, несдержан, могу иной раз сказать то, чего вовсе не думаю.

– Хорошо, вы прощены, мой король! Но слушайте меня внимательно!

Адель вкратце рассказала Густаву все то, что сообщил Зорич. Когда она упомянула о проекте соглашения России с Англией, Густав не на шутку встревожился.

– Как? – воскликнул он, – ты говоришь, что в Лондоне все готово, и договор может быть подписан в любой момент? Но если это – правда, то это значительно меняет дело! Только правда ли это?

– Видите ли, Густав, Зорич пленил меня именно своей солдатской прямоотой. Он с того и начал, что не обучен дипломатическим вывертам и считает прямооту лучшей политикой. Но, конечно, где же мне было разобраться, хитрит он или нет! Вот поэтому-то я и решила, что лучше всего вам самому поговорить с ним и что этому разговору следует произойти у меня.

– Дорогая моя! – с чувством сказал Густав. – Я опять повторяю, что небеса, должно быть, сильно благоволят ко мне, если послали мне такого друга, как ты!

И опять венценосный раб покорно склонился к ногам хитрой интриганки!

Зорич проговорил с королем не более часа и, поддержанный Гюс, при которой происходил их разговор, окончательно склонил Густава на сторону соглашения. Прелиминарный тайный договор был подписан, окончательная ратификация его должна была последовать при личном свидании Густава с Екатериной. Только место и время последнего не были окончательно выбраны. Густав не хотел ехать в Петербург сам; когда же Зорич сказал, что императрица готова приехать в Стокгольм, король просто испугался расходов, связанных с приемом русской государыни. Потому он предложил, чтобы встреча произошла где-нибудь на границе владений обоих государей. На этом пока и порешили.

Покончив с этим, торжествующий Зорич вернулся в посольский дом.

– Долго же вы, однако! – встретил его Марков.

– Долго? – Зорич весело расхохотался. – А по-моему, я отделался необыкновенно быстро, если сумел в три часа сделать то, чего вы не могли добиться в три года! Прелиминарии подписан!

– Как? Вы виделись с королем?

– Ну да! Вы удивлены? Но, многоуважаемый мой, ведь я говорил вам, что вы взялись за дело не с того конца! Я подошел к нему с надлежащей стороны – и результат налицо! Вы повели войну против Гюс; это стоило очень дорого и вам, и России и доставило вам лично, много неприятных минут. Я

же обошелся с дивной Аделаидой, как надлежит обращаться с хорошенькой женщиной; ни мне, ни России это ничего не стоило, а кроме того, доставит мне еще несколько приятных минут сегодня вечером!

– Как?.. Вы...

– Да, да, многоуважаемый! Сегодня в одиннадцать часов вечера я должен явиться к Аделаиде Гюс, чтобы заплатить по счету. Никогда не думал, черт возьми, чтобы дипломатические успехи достигались такой приятной ценой!

Марков кое-как довел разговор до конца и потом, зеленея от злости, ушел к себе в кабинет. Как? Эта подлая змея все-таки восторжествует? Никогда! А тут еще этот мальчишка, этот проходимец, выскочка, собирается одним ударом поколебать все служебное положение его, Маркова? Нет, тысячу раз нет!

Марков уселся в своем кабинете за писанием левой рукой какого-то таинственного послания, а затем оно было вручено не менее таинственно одному из тайных агентов, брат которого служил лакеем в королевском дворце.

Густав был очень удивлен, когда, сунув вечером около одиннадцати руку в карман за платком, нашел там какое-то письмо. Повертев его с недоумевающим видом перед глазами, он вскрыл конверт и прочел следующее:

«Как ты думаешь, слепой король, из чего сделана твоя корона? Из рогов, король, из рогов... из тех самых, которые наставляет тебе твоя добродетельная подруга! Загляни к ней

ненароком сегодня после одиннадцати, и ты увидишь, в чем тайна быстрых дипломатических успехов красивого серба!».

– Лошадей! – крикнул король задыхаясь.

Через несколько минут он уже садился в экипаж, чтобы мчаться к дому Гюс. Он накроет изменницу, и тогда...

Но вот показалась решетка сада, сквозь зеленеющие ветви деревьев блеснул белый фасад дома. Новые чувства зашевелились в груди несчастного короля.

Можно ли верить всякому анонимному клеветнику? Можно ли верить, что нежная Адель променяет своего царственного друга на какого-то заезжего офицера?

Но почему же с такой точностью указано время?

Э, негодяй играет в прозрачную игру! Он знает свойство человеческого сердца сохранять впечатление от всякого, даже недоказанного подозрения! Вот анонимный клеветник рассчитывает на это психологическое действие клеветы! Еще бы!.. Мало ли людей в Швеции, которые дорого дадут за возможность поссорить короля с его единственным верным другом?

И он будет играть им на руку? Никогда!

– Кучер, стой! Назад, домой!

Кучер повернул обратно, и венценосный раб очутился спиной к тому дому, где уставшая от добродетели куртизанка отдыхала в объятиях красавца-серба!

Было решено держать прелиминарное соглашение втайне, а потому Марков должен был оставаться пока на своем по-

сту, так как его отзыв мог возбудить ненужные толки. Впрочем, после неудачной попытки расстроить дело соглашения Марков окончательно пал духом и теперь держал себя тише воды, ниже травы. Он примирился с мыслью, что ему не победить Гюс, и теперь старался лишь сохранить хоть остатки служебного влияния. Поэтому он изо всех сил хлопотал над довершением успеха Зорича.

Маркову надлежало установить с королем место и время его свидания с императрицей Екатериной. Первое ему удалось – местом свидания был избран Фридрихсгам, маленькая крепость на границе шведской Финляндии, крайний пункт тогдашних русских владений. Но время свидания все откладывалось. Марков искренне хлопотал над назначением этого времени; он даже побывал у Адели и откровенно признался ей в своем поражении, но судьба была против него. Раза три время назначалось, и каждый раз что-нибудь случалось: то заболел сам Густав, то наследный принц. А когда свидание было окончательно решено, Густав нечаянно свалился с лошади и сломал себе руку. Сраживание осложнилось воспалительным процессом, свидание с императрицей Екатериной опять пришлось отложить!

Тем временем Адель поднималась все выше и выше в торжестве над посрамленными врагами. Никто уже не осмеливался поднимать голос против нее; на ее приемах не в редкость было встретить послов иностранных держав; высшие

чины государства заискивали перед нею, а однажды к ней явился граф Шеффер. Он намекнул Адели, что она окажет большую услугу королеве, если попросит его величество сделать то-то и то-то. Словом, сама королева считалась с силою и значением Гюс!

И все-таки Адель не чувствовала себя вполне счастливой. С каждым днем ей было все труднее выдерживать ту добродетельную жизнь, которую ей невольно приходилось вести. Объятия Зорича окончательно взволновали ее авантюрную кровь, и Гюс с трудом сдерживалась, чтобы не затеять какую-нибудь веселенькую интрижку.

Но именно теперь это было бы очень опасно. Она была на виду, и потому малейший неосторожный шаг мог погубить ее. А ведь, в сущности говоря, Адель к тому времени не успела еще достигнуть ничего такого существенного, что позволило бы ей рискнуть положением. Король исполнял ее малейшую прихоть, все ее желания исполнялись, но на руках она имела очень мало денег. Вместе с тем дело официально признания ее графиней Лильегорн двигалось тоже очень туго. Король придумал такой компромисс: в список лиц, которые должны были сопровождать его в Фридрихсгам, Гюс была занесена под именем госпожи Лильегорн. По возвращении в Стокгольм она должна была стать уже графиней Лильегорн. Но для этого надо было побывать сначала в Фридрихсгаме, а вот это-то как раз все время откладывалось и откладывалось!

Хоть бы этого добиться! Но Адель серьезно опасалась, что она не выдержит и сделает какую-нибудь глупость, не добившись даже этого!

Однажды, когда Адель сидела, объятая этими горестными думами, ей доложили, что ее желает видеть Анкарстрем.

Анкарстрем! Опять вся кровь бурно разыгралась в Гюс! Милый пажик! Как он умел любить! Правда, теперь он стал уже офицером, и его серьезность все возрастала. Но вот это и было самое забавное в его любви – смесь чувственного разгула с глубокой серьезностью, широкой страсти с девичьей стыдливостью... О, она попытается опять закружить его, опять увлечь своими чарами! Адель радостно выбежала ему навстречу и воскликнула:

– Анкарстрем! Наконец-то!.. Вы совсем забыли обо мне! И не совестно вам пренебрегать до такой степени старым другом?

Но уже первые слова его ответа заставили ее разочарованно вздрогнуть, а последующие – содрогнуться от негодования.

Да, он знает, что давно не был; но что поделаешь? У него много неприятностей, и голова совсем пошла кругом. Вот и теперь – если она, Адель, не выручит его, как добрый друг, то ему может прийтись очень плохо!

В чем дело? Дело в той самой любви, о которой он когда-то говорил ей. Он глубоко и бесповоротно полюбил Кар-

лотту Басси, и она отвечает ему тем же. Они хотели пожениться, но его родственники, узнав об этом, решили просить короля Густава не допускать совершения этого брака. Тогда он, Анкарстрем, решил опередить их и подал сегодня прошение королю. Однако, если Адель не поддержит его ходатайства, то его величество вряд ли разрешит своему офицеру жениться на танцовщице. Вот с этим и пришел он к Адели.

– Хорошо, друг мой, – ответила Гюс, – я сделаю все, что могу, и буду просить за вас короля. Но должна предупредить вас, что его величество очень нетерпим в вопросах о браке офицеров. Поэтому мне хотелось бы знать, что вы предпримете, если король откажет вам в согласии?

– Король властен распоряжаться моей судьбой лишь до тех пор, пока я ношу военный мундир! – мрачно ответил Анкарстрем. – Если же он мне откажет, я подам в отставку и увезу Карлотту к себе в имение. Там, в родовом замке, состоится наше венчание, которому уже никто не будет в силах помешать!

Ах, так? В тот момент, когда она, Адель, готова была все простить и опять раскрыть ему свои объятия, он не нашел ничего лучшего, как просить ее содействия при устройстве своего счастья с другой. Она, Адель, будет сгорать на медленном огне, довольствуясь опостылевшими ласками этого венценосного шута, а дрянь-девчонка, кичащаяся своей добродетелью, получит и любимого мужа, и богатство, и положение? Нет, не бывать этому!

«Браво, распутница!» – вспомнился ей возглас Анкарстрема.

Хорошо, «распутница» покажет себя!

В этот день король был настроен особенно милостиво. Вскоре после того, как он пришел к Адели, он показал ей какую-то бумагу и произнес:

– Представь себе, этот дурачок Анкарстрем хочет, во что бы то ни стало жениться! Обращается ко мне с просьбой о разрешении.

– И что вы решили, Густав? – спросила Адель, не отрываясь от вязанья.

– Да... видишь ли, милая моя, я думаю... отчего бы ему и не позволить? Карлотта Басси ведет себя изумительно, она – дочь офицера, дворянка. Конечно, прямо со сцены было бы не совсем удобно стать госпожой Анкарстрем; все-таки это – одна из древнейших шведских фамилий. Но Карлотта могла бы уехать на время куда-нибудь, а там... люди скоро забывают! Ну и пусть себе женится!

– Скажите, милый Густав, за что вы так не любите этого милого мальчика?

– Я? Не люблю его? Я не понимаю тебя, Адель!

– Ну, конечно! Только враг может желать ему этого брака!

– Но что же ты можешь иметь против?

– О, так много, что меня удивляет, как вы сами не видите этого! То, что Карлотта Басси – танцовщица, еще не так пло-

хо; но что она – дочь заведомой потаскушки, это уже никуда не годится. Вы говорите, что она ведет себя изумительно? Это значит, что госпожа Басси согласна продать себя не иначе, как за знатное имя! Добродетель для нее – лишь капитал для выгодной реализации! Что она не любит Анкарстрема, это очевидно. Ей известно, что все родственники Анкарстрема ополчились против этого брака. Следовательно, если Анкарстрем женится на ней, это поссорит его со всеми родными. Мало того, эти родные будут питать недобрые чувства к вам за то, что вы пошли против законного права близких мешать неопытному юноше портить себе жизнь. Если бы она любила Анкарстрема, то, зная все это, не настаивала бы на браке, а зажили бы они просто так, как живет много парочек. Но очень ей нужно думать о судьбе Анкарстрема! Ей просто важно выйти замуж, а потом... ну, потом она себя покажет! И Анкарстрем скоро увидит, что вся его жизнь испорчена.

– Но ты совершенно права, милая Адель! Как это не пришло мне самому в голову. Конечно, этот брак не принесет счастья самому Анкарстрему и только поссорит меня с его родными... непременно откажу ему и лично поговорю с ним повнушительнее!

– И вы думаете, что этого достаточно? Ну, так вы плохо знаете эту Басси! Ведь Анкарстрем был у меня сегодня утром. Оказывается, Карлотта уговорила его в случае вашего отказа подать в отставку и потом все-таки обвенчаться! Хороша особа! Готова испортить всю карьеру юноше!

– Но это Бог знает что такое! Этого нельзя допустить! Что же мне делать, Адель?

– Надо сегодня же ночью посадить эту дрянь – итальянку на корабль и отправить куда-нибудь подальше! Анкарстрем побесится, а потом сам же будет благодарен вам. Но чтобы он не мог помешать, хорошо бы услатить его с поручением в отдаленный город!

– Ты – умница, моя Адель! Да, ты совершенно права, я так и сделаю! Ах, Адель, что бы я делал без тебя?!

В тот же вечер Анкарстрем получил от своего полкового командира приказ отправиться с пакетом в одну из мелких крепостей. Юноша поспешил как можно скорее справиться с возложенным на него поручением, но по возвращении его поразила страшная весть: Карлотта вместе с матерью была схвачена, посажена на корабль и выслана неведомо куда как особа порочного поведения...

Анкарстрем сейчас же подал в отставку и, не дожидаясь окончания всех формальностей, уехал к себе в имение. С той поры в его сердце залегла глубокая ненависть к королю. Юношеская любовь к Карлотте забылась, Анкарстрем женился на особе своего круга и стал счастливым мужем и отцом, но ненависть к тирану-Густаву не только не изглаживалась с годами, а, наоборот, все обострялась. И, в конце концов, она привела Анкарстрема к роковому вечеру 16 марта 1792 года, когда Густав пал, сраженный пулей бывшего жениха несчастной Карлотты Басси!

Глава 4

Резвая лошадь быстро мчала легкий экипаж вдоль набережной. Вдруг кучер стремительно натянул вожжи; послышался чей-то вскрик, и Адель, испуганно высунувшаяся из экипажа, увидела, что резко остановившаяся лошадь поднялась на дыбы, а у самых ног ее лежит какой-то юноша. Вот-вот лошадь тяжело рухнет вперед и размозжит копытами голову несчастному...

Адель пронзительно вскрикнула, но юноша собрал всю энергию и выскочил из-под лошади. Однако силы сейчас же изменили ему, и юноша, покачнувшись, снова упал.

Адель выскочила из экипажа и подбежала к упавшему. Он был одет в костюм королевских «синих пажей», был очень молод, тонок, гибок, обладал изящным девичьим лицом и парой хитрых, шельмовских, каких-то искусственных глаз. По его лбу тонкой струйкой текла кровь.

– Вы ранены? – спросила Адель, доставая платок и вытирая им кровь со лба.

Юноша вскинул на артистку вкрадчивый, томный, хитроватый взгляд и ответил:

– О, не беспокойтесь, пожалуйста, сударыня! Простая царапина... Но вы так добры!..

Новый взгляд был красноречивым продолжением недоговоренной фразы.

– Вы – паж короля? Как вас зовут?

– Ларс Гьортсберг, к вашим услугам!

– Ну, так вот что, милый мой Гьортсберг, попытайтесь встать и дойти с моей помощью до экипажа... Вот так, молодцом!.. Ну, а теперь крепче держитесь за мою руку и пойдем!

– Я мог бы дойти и один, сударыня, но... кто же откажется от счастья касаться вашей руки? – сказал паж, сопровождая свои слова самым умильным взглядом.

Адель расхохоталась.

– Однако вы из молодых да ранний.

– Сударыня, – томно ответил пажик, – в присутствии такой красоты, как ваша, можно или совсем потерять дар слова, или стать красноречивым, как поэт!

Адель снова рассмеялась. Ей становилось все веселее и легче на душе. Точно всю жизнь была она знакома с этим забавным пажиком! Ведь еще мальчишка совсем, а как смотрит, как говорит! Должно быть, испорчен уже до последней степени. Как это забавно!

Они уселись в экипаж. Но не успели они отъехать и нескольких шагов, как Ларс вдруг сильно побледнел и откинулся в угол.

– Вам нехорошо? – испуганно спросила Адель.

– Нехорошо? – слабым голосом повторил он. – Как же мне может быть нехорошо, раз я с вами?

– Ах ты, дерзкий мальчишка! – смеясь воскликнула

Адель, которую все больше и больше забавлял пажик. – Ну, погоди же, я отучу тебя болтать глупости! – и она шутя ударила его по левой щеке.

– Сударыня, – молящим тоном сказал Ларс, – окажите мне божескую услугу и ударьте теперь по правой тоже. А то я боюсь, что левая очень возгордится выпавшей на ее долю честью, так возгордится, что... вздуется от гордости!

– Нет, он неисправим! – засмеялась Адель. – Вот льстец! Так, значит, тебе хорошо со мной?

– И вы еще спрашиваете?

– Ну, так если ты не совсем глуп, то пойми мои слова: если ты хочешь, чтобы тебе было совсем хорошо, пусть тебе будет очень плохо! Если же тебе будет совсем хорошо, то... ничего хорошего не будет!

Лицо пажика вспыхнуло, глаза загорелись радостью. Жадным взором окинул он всю фигуру склонившейся к нему Адели и вдруг, закрыв глаза, откинулся в угол экипажа и сказал слабым голосом:

– Ах, вот опять мне стало очень, очень плохо... Так плохо, что... – он приоткрыл правый глаз и уморительно подмигнул Адели, – что вам придется приютить меня у себя на несколько дней!

– Ты умен, мой мальчик! – ответила Адель, улыбаясь. – Ну, а если добродетель никогда не вознаграждается, то ум – почти всегда!

– Добродетель? – повторил Ларс и вдруг скорчил такую

уморительную гримасу, что нельзя было удержаться от смеха. – Не объясните ли вы мне, что это такое? Я что-то слышал об этой редкой птице, только это было давно, и теперь совершенно не помню. Не правда ли, это – нечто вроде белой вороны?

Говоря это, он совсем близко прижался к Адели и вдруг, быстро оглянувшись по сторонам, обнял ее и страстно поцеловал в грудь.

– Не дури! – сказала Адель, отталкивая дерзкого мальчишку. – До дома недалеко, а впереди времени еще много! – Ларс сейчас же закрыл глаза и бессильно откинулся в угол.

Вскоре экипаж остановился у подъезда. Адель крикнула лакеев и приказала им внести Ларса на руках в маленькую комнату, бывшую поблизости от ее будуара. Там Ларса положили на диван, и Адель уселась писать королю, чтобы сообщить о происшедшем несчастье. Она попросила прислать доктора и прибавила:

«Так как мне сказали, что Ларс Гьортсберг – один из любимейших пажей моего государя, то я сама буду ухаживать за пострадавшим».

Вскоре прибыл доктор, а за ним и сам Густав. Доктор тщательно осмотрел юношу и заявил, что хотя поранены лишь верхние покровы, но возможно, что испуг и сотрясение вызовут горячку. По крайней мере, слабость пострадавшего иначе совершенно необъяснима. Поэтому, если возможно, лучше бы юношу не переносить, а оставить здесь на несколь-

ко дней.

Конечно, Адель с готовностью заявила, что она согласна. Правда, это не так уже удобно, но ведь причиной несчастья были ее лошади; кроме того, раз Гьортсберг – любимый паж короля, то о чем же тут может быть речь?

Словом, дело устроилось ко всеобщему удовольствию. Правда, Густав оставался отчасти внакладе, но он не знал этого.

Болезнь Ларса Гьортсберга протекала так странно, что лейб-медик короля, знаменитый Акрель, положительно разводил руками. Лихорадочное состояние, даже бред при нормальном пульсе и нормальной температуре – нет, ничего подобного старому Акрелю до сих пор видеть не приходилось!

Притворство? Но Акрель положительно не находил причин для сознательного притворства, а потому склонен был объяснить все нарушением психических отправления под влиянием ушиба и испуга. Так или иначе, но о «водворении пострадавшего на место жительства» вопрос не поднимался, и Ларс оставался на попечении «отзывчивой» Гюс.

Это был для Адели один из приятнейших периодов ее жизни. Совершенно открыто, почти не стесняясь, могла она вести хитрую и дерзкую интригу прямо на глазах у короля. Теперь ей было удивительно легко и радостно на душе. Ее жизнь уже не шла так размеренно буржуазно, как прежде: налицо были все элементы, необходимые для счастья, то есть богатый, доверчивый, но нелюбимый покровитель и юркий,

забавный пажик, словно нарочно созданный для ответственной роли друга дома.

Да, Ларс Гьортсберг был в этом отношении на высоте своего призвания, и, на что уж Адель видала виды, даже она порой приходила в умиление от богатых задатков, сказывавшихся в этом полуребенке. Бывают плоды, которые еще в завязи подточены червем; снаружи они развиваются как будто нормально, но внутренне оказываются источенными еще в пору самого нежного расцвета. Таким плодом была душа Ларса. Оставаясь с виду нежным ребенком, он обладал нравственным растлением зрелого человека, и только шельмовские огоньки в глазах иной раз выдавали, какие нечистые, извращенные помыслы, какой непроходимый слой чувственной грязи таится под этой внешней обманчивой чистотой.

А забавнее всего было то, что общество, захлебываясь, спешило расточать Адели похвалы за ее христианское милосердие. Насколько прежде все стремились приписывать ей несуществующих любовников, настолько теперь самый вздорный сплетник не решался сказать хоть слово в осуждение ее. Кто же мог подумать, что мальчик, еще не достигший полных шестнадцати лет, явится желанным другом сердца тридцатилетней женщины? (По крайней мере, Адель уверяла, будто ей тридцать лет, хотя в описываемую пору ей было уже тридцать девять).

Но в то же время странный процесс происходил в душе у Густава. Это был истинный человек оппозиции, вечно ста-

новившийся против господствующих течений. Когда все общество закидывало Адель грязью, Густав готов был воздвигнуть алтарь своей метрессе и всенародно поклоняться ей. Теперь же, когда общество примирилось, он начинал критически присматриваться к ней и порой ощущал нечто вроде разочарования. Он сам не мог дать себе отчета в том, что в сущности творилось в его душе, и продолжал по инерции внешне относиться к ней так же, как и раньше. По-прежнему он приходил советоваться с Аделью о всяком политическом шаге, по-прежнему рабски склонялся перед ее мнением, по-прежнему являлся по вечерам читать ей свою трагедию «Эбба Браге», содержанием которой служила любовь предка Густава, короля Густава-Адольфа II, к представительнице знаменитого рода Браге. В этой лирической трагедии Густав изливал свои собственные мысли о том, что корона является не приятной прерогативой, а тяжелой обязанностью, мешающей королю пользоваться доступным всякому обыкновенному человеку счастьем. Роль Эббы Браге должна была играть Адель, и по инерции, повторяем, он воплощал в любви своего предка собственную любовь к Гюс. Но параллельно с этим смутное недовольство все накапливалось в его душе.

Густаву было странно признаться самому себе, что он ревновал Адель к этому мальчику Ларсу. Однажды, войдя невзначай в комнату, где лежал больной, он застал Адель склонившейся к юноше. Густаву показалось – хотя он не мог бы наверняка утверждать это, – что перед его приходом «ми-

лосердная сестра» целовала своего пациента. Но при его появлении Адель несколько не смутилась и только, улыбаясь, сделала ему рукой знак, чтобы он не шумел.

– Бедный мальчик все время был беспокоен, а теперь наконец заснул! – шепотом объявила она. – Я люблю порой смотреть на него, когда он спит. Бедный ребенок! И подумать только, что у меня мог быть такой взрослый сын!

Это объяснение было как нельзя более естественным; оно рисовало Адель с самой лучшей стороны, выдавало внутреннее благородство ее помыслов. Густав с умилением поцеловал руку своей возлюбленной. Но в то же время он чувствовал, что предпочел бы не заставить такой сцены.

В следующий раз он вошел в комнату в тот момент, когда Адель, как показалось Густаву, страстно обнимала Ларса. Подойдя ближе, король увидел, что был неправ в своей подозрительности: юноша лежал в глубоком обмороке, и Адель подхватила его, чтобы отвести на диван. Оказалось, что Ларс сделал попытку пройтись по комнате, но эта попытка закончилась обмороком.

Опять Густав должен был признать, что его подозрительность не имела оснований, и опять таинственным путем эта подозрительность еще более укрепилась в нем!

Но всякая болезнь когда-нибудь кончается. Наконец выздоровел и Ларс Гьортсберг, и придворные дамы должны были признать, что болезнь пошла сильно на пользу юноше. Он еще более похорошел, в нем еще более усилилась своеобраз-

ная чувственная томность, производившая на женщин чарующее впечатление. В результате в самом непродолжительном времени разыгрались две очень скандальные истории, и Густав пребольно выдрал пажа за ухо, пригрозив ему совсем прогнать его. Но внутренне он был доволен. Ревнивые сомнения замерли в его душе, и вечера, проводимые королем с Аделью, облеклись еще более интимной прелестью.

Так прошло лето, наступила осень, и надо было серьезно подумывать о поездке в Фридрихсгам, так как барон фон Ролькен, шведский посол, сменивший графа Поссе при петербургском дворе, довел до сведения Густава, что отношения с императрицей могут сильно осложниться, если король и впредь станет так беспричинно откладывать свидание. Пришлось перестать медлить. И вот русское правительство было извещено о дне, когда монархи России и Швеции могут встретиться для личных переговоров.

Фридрихсгам (или Фредериксгавн) – первоклассная крепость, предоставлявшая собой такой же сухопутный ключ к Петербургу, каким с моря является Кронштадт – вызывал в Густаве самые неприятные чувства, напоминая ему о былых, еще не отмщенных унижениях Швеции.

Это началось с того, когда Карл XII, не умея вовремя остановиться, принялся легкомысленно дразнить таких титанов, как Россия и ее Великий Петр. Ряд последовательных побед над русскими еще более вскружил голову этому коро-

лю-авантюристу. Но, когда – как то мог предвидеть всякий трезвый ум – армия Карла оказалась разгромленной, Швеция лишилась тринадцати городов, трехсот селений и двухсот замков, что было страшной потерей для такой бедной страны.

Желание реванша привело к новым потерям. Швеция не только не вернула прежнего, но была принуждена отказаться от Ингрии, Ливонии, Карелии, Эстонии, поступиться частью Финляндии и Выборгом. В общей сложности потери Швеции территориально выразились в полосе длиной свыше трехсот лье (1120 верст).

Под влиянием всего этого в Швеции, как нам уже приходилось упоминать, образовались две партии – «колпаков» и «шляп». «Колпаки» были русофилами, и это была партия мира. «Шляпы» держались Франции и представляли собою партию реванша. Когда у власти стали воинственные «шляпы», России опять пришлось взяться за оружие.

Война началась с победы русских у Вильманстранда и закончилась абоским миром (1743 г.), по которому к России отошли целые провинции и три первоклассных крепости: Нейшлот, Вильманstrand и Фредериксгавн (Фридрихсгам). Потеря последней крепости была особенно чувствительна; ведь Швеция традиционно продолжала надеяться на отображение Петербурга, а мы уже говорили, что Фридрихсгам был сухопутным ключом к русской столице. Уступив эту крепость, Швеция отнимала у себя значительный шанс на тор-

жество в будущем. Вот почему Фридрихсгам вызывал в Густаве такие неприятные чувства.

Да, тяжело было на душе у короля, когда он ехал на это свидание! Все его существо страстно рвалось к бою, к отмщению, перед внутренними глазами короля проносились призраки героев, победивших вшестеро сильнейшего неприятеля (при Нарве десять тысяч шведов наголову разбили шестьдесят тысяч русских), а действительность заставляла его бездействовать. Впоследствии (в 1788 году), когда Густав без прямого объявления войны напал на Россию, он в следующих выражениях оповестил сенат о своих намерениях: «Я возьму Петербург и уничтожу там все памятники русской наглости, кроме памятника Петру Великому, который я увековечу тем, что прикажу высечь на пьедестале имя Густава!» И вот, тайно питая такие надежды, он должен был ехать на свидание с русской императрицей, убеждать ее в искренности своих дружественных чувств, уверять в твердости союзных отношений. У Густава было много недостатков, но ему нельзя отказать ни в честности, ни в прямоте; лгать, хотя бы из дипломатических соображений, обманывать, хотя бы ради блага страны, ему было бесконечно трудно.

Эта тяжесть, навалившаяся на его душу, еще более сблизила его с Аделью, ехавшей в его свите под именем госпожи Лильегорн. Никому из сопровождавших его лиц (в свите Густава были: граф Филипп Крейц, столь прославившийся впоследствии граф Густав Мориц Армфельд, барон Мунк,

несколько офицеров и пажей, а среди последних, конечно, и Ларс Гьортсберг) не мог он открыть свою душу, ни с кем не мог говорить так откровенно, как с Аделью, знавшей все его планы, думы мечты и надежды. Ревнивые подозрения смолкли: не до них было теперь королю, и только человек-друг, а не красивая женщина был нужен ему в Гюс. Поэтому Густав радовался, что в эти тяжелые дни свидания Адель будет все время около него.

Однако это оказалось невозможным вследствие предусмотрительности императрицы Екатерины.

Государыня прибыла в Фридрихсгам в сопровождении графа Ивана Чернышева, графа Александра Безбородко, обер-шталмейстера князя Нарышкина, своего фаворита, красавца графа Ланского и шведского посланника при петербургском дворе барона Фридриха фон Ролькена. Среди роскошного цветника придворных дам выделялась своей меланхолической красотой Мария Девятова, двоюродная сестра Державина, и чисто мужским умом – княгиня Екатерина Дашкова.

Для пребывания обоих дворов в Фридрихсгаме Екатерина приказала построить два дома; они были обставлены внутри с чисто азиатской роскошью и соединены между собой крытой галереей. В одном из этих домов должен был поселиться Густав со свитой, в другом – Екатерина, а галерея облегчала монархам возможность видаться друг с другом в любой момент.

Но когда Густав прибыл в назначенный ему дом, оказалось, что для Адели помещения не приготовлено. Густав страшно разобиделся и хотел во что бы то ни стало сейчас же повернуть обратно: раз государыня открыто помещает с собой Ланского, она могла отнестись с уважением и к пассивности шведского короля. Напрасно граф Армфельд, ставший в последнее время одним из наиболее близких к Густаву лиц, указывал королю, что Ланской – граф, что фаворит императрицы имеет придворную должность, на основании которой и имеет право состоять в ее свите вне каких бы то ни было интимных отношений к государыне. Густав ничего и слышать не хотел, и понадобилось вмешательство самой Адели, чтобы как-нибудь успокоить расхорившегося короля. Но все-таки, открыто пренебрегая приличиями, Густав первым делом отправился подыскивать подходящее помещение для своей возлюбленной и не успокоился, пока таковое не было найдено и обставлено с надлежащей роскошью.

Только после этого Густав немного успокоился и занялся приготовлениями к встрече с русской императрицей.

Екатерина не была бы истинной «Семирамидой севера», если бы ей не удалось быстро очаровать своего царственного гостя и рассеять его хмурое настроение духа, и как ни противился внутренне Густав ее чарам, он, как и все остальные, должен был поддаться им.

Все-то умела сказать Екатерина какую-нибудь любезность, у всех умела найти чувствительное место! Оказалось,

что ей уже знаком первый акт трагедии «Эбба Браге», и она, сама писавшая для театра, рассыпалась в восторгах по поводу некоторых мест пьесы Густава, находя, что ему удалось возвыситься до чисто классических высот трагического. Графу Филиппу Крейцу, несравненно более гордившемуся своими поэтическими трудами, чем блестящими дипломатическими успехами, Екатерина указала на некоторые строки поэмы Крейца «Атис и Камилла», которые больше всего нравились ей. Графу Армфельду она сказала много любезного по поводу его славных предков, остановившись на генерале Карле Густаве, выказавшем поразительную храбрость в сражении Стар-Киро с корпусом Апраксина, во много раз превосходившем своею численностью его отряд. Словом, с обычным искусством Великая Екатерина умела найти у каждого слабую струнку.

От нее Густав переходил к Безбородку и Чернышеву, с которыми лично вырабатывал детали соглашения. И тут хмурость шведского короля должна была рассеяться. Густав умел работать сам и ценил деловитость в других, а Безбородко и Чернышев были именно людьми, сразу снискавшими себе уважение серьезной, строгой деловитостью.

По вечерам Екатерина обыкновенно приглашала Густава на чашку чая, и незаметно текли часы в уютном салоне среди красавиц и умниц, среди веселых, тонких шуток и интересных, серьезных разговоров.

Из всех дам свиты императрицы Густава особенно очаро-

вали Екатерина Дашкова и Мария Девятова.

Сорокалетняя Екатерина Илларионовна пленила Густава своим недюжинным умом. С ней было интересно поговорить, потому что эта женщина состояла в непосредственном общении со всеми великими умами того времени. И в результате Густав был так побежден ее широкой образованностью, что пожаловал ее званием члена новоучрежденной Стокгольмской академии наук.

Но еще более пленили его те минуты, когда ему удавалось поговорить с любимицей императрицы, Марией Девятовой. Густаву сообщили ее историю. Мария была выкрадена в детстве цыганами (Богатая приключениями и в высшей степени интересная жизнь Марии Девятовой подробно описана в романе Эттингера «Аталла России», издание А. А. Каспари.), потом попала в гарем, который открыто держал властный временщик Потемкин. За строптивость последний упрятал Марию в сумасшедший дом, откуда ей удалось тайно бежать. Тогда Мария в мужском костюме поселилась под видом пажа у великого князя Павла Петровича, которого давно тайно любила. Но это не была любовь фавориток французского типа. Ровно ничего не искала Мария для себя, только счастье царственного друга преследовала она. По ее настоянию великий князь Павел Петрович женился, чего от него требовала мать. Затем многое пришлось перетерпеть Марии вследствие преследований Потемкина, пока истина не выплыла наружу. Тогда императрица взяла несчастную девушку к се-

бе и окружила ее ласками и вниманием. Но в душе несчастной Марии продолжала жить неутешная грусть. Она не могла забыть любимого Павла и оставалась верной его памяти, избегая в то же время ради его пользы каких-либо сношений с ним. И вот эта-то неизбывная грусть придавала особенный меланхолический оттенок ее нежной красоте.

Густава трогали чистота и глубина ее самоотверженности, и сам добрый, чувствительный по природе, он чуть не со слезами думал, как несправедлива судьба, отказывая этой чудной девушке в праве на личное счастье. И чудаковатый король относился к ней, как к какой-то величайшей святыне.

Девятова отвечала тоже искренней симпатией на симпатию короля. Она знала, что, в сущности говоря, этот бедный король очень несчастен. Она знала, что его жена не любит и не уважает его, что любимая женщина нагло обманывает его, что дворянство и армия смотрят на него с тайным недружелюбием (Когда в 1788 г. Густав выступил против России, исход кампании обернулся неблагоприятно для Швеции главным образом потому, что армия отказалась повиноваться королю, действовавшему, якобы, против блага и воли нации.), что остальные государи смеются над ним и что сама Екатерина, расточавшая ему ныне столько любезностей, оставаясь наедине со своими друзьями, на всякие лады издевается над своим новым союзником.

Между тем, по мнению Марии, и Густав тоже был достоин лучшей участи. Конечно, не Бог ведь как был умен швед-

ский король, но он был лишь именно чудаковат, и некоторые странности придавали ему порой вид какого-то Иванушки-дурачка. Между тем главной причиной было то, что Густав запоздал родиться. Родись он на сто лет раньше, это был бы величайший государь. Но теперь его душа рвалась к подвигам, а действительность в лице ослабевшей Швеции связывала ему руки.

На почве этой обоюдной симпатии у Густава и Марии при встречах возникали долгие разговоры, не раз затягивавшиеся до полуночи. И совсем иным, чем прежде, шел король после этих разговоров в дом, где жила «госпожа Лильегорн».

Целый день парада, дипломатических переговоров и работы утомляли Густава, и он хмуро и нехотя отвечал Адели на ее расспросы о положении дел. К тому же теперь, после долгого наслаждения близостью прекрасной и чистой Марии, Адель начинала видеться ему совсем в ином свете. Он замечал, что ее молодость создана искусственно, что Адель вовсе не так натуральна, что в ее голосе, движениях, даже ласках чувствуется какая-то фальшивая струна. Однажды императрица, в расчеты которой вовсе не входило, чтобы влияние Гюс, слишком легко подкупаемой, упрочилось, нарочно обронила в разговоре тонко рассчитанную фразу, из которой явствовало, что Гюс действовала в этом деле далеко не бескорыстно. Еще очень недавно такая фраза заставила бы Густава вспыхнуть, ответить какой-нибудь резкостью, теперь же он равнодушно пропустил ее мимо ушей, с

какой-то скорбью думая о том, что в поведении Адели действительно чувствуются предательство и измена. Словом, то отчуждение, которое началось в душе Густава еще год тому назад и сменилось кратковременной вспышкой доверия, теперь начинало пускать глубокие, мощные ростки. Только Густав сам не отдавал себе вполне ясного отчета в своих чувствах. Он объяснял это усталостью и думал, что по возвращении в Швецию все пойдет прежним чередом. Словом, он переживал то самое состояние, которое лучше всего сравнить с водой, замораживаемой при абсолютном спокойствии. Если ничто не нарушает этого покоя, то вода может охладиться до очень низкой температуры и все же оставаться в прежнем, жидком состоянии. Но достаточно малейшего толчка, достаточно бросить в воду камень, как она на глазах быстро начнет кристаллизоваться в лед. И душе Густава нужен был такой толчок, чтобы истинные чувства к Адели могли сразу выкристаллизоваться.

Глава 5

Так прошла неделя, и наступил день отъезда. Оба монарха взаимно осыпали лиц свиты подарками, орденами и знаками милостивого внимания. Шведы получили кто портреты императрицы в бриллиантах, кто высшие русские ордена. Русские получили такие же портреты Густава с равным количеством бриллиантов равной величины и соответствующие ордена. Кроме того Екатерина преподнесла Густаву картину, изображавшую ее во время мирной беседы с ним. Эту картину писал знаменитый датский художник Гейер, специально выписанный для этого императрицей.

Утром в канун отъезда Густав зашел на минутку к Адели, чтобы предупредить ее, что не сможет в этот вечер побывать у нее, так как, наверное, он с императрицей засидится, а завтра предстоит ранний отъезд.

Адель посетовала, что «противные» дела совсем отняли у нее милого Густава, но внутренне осталась очень довольна. Сейчас же после ухода Густава шустрая Роза кинулась с записочкой Адели к Ларсу Гьортсбергу.

Но случилось так, что к вечеру у императрицы разразилась адская мигрень. Еще за парадным прощальным обедом она начала чувствовать легкое недомоганье, и последнее стало так быстро усиливаться, что Екатерина еле-еле досидела до конца. В десять часов, когда обед кончился, она извини-

лась и ушла к себе. Густав поговорил некоторое время с Чернышевым и Безбородко и тоже ушел. Он испытывал большую досаду. Ведь он так рассчитывал в этот вечер поговорить с Девятовой!

Угрюмо шел Густав по галерее, соединявшей оба дома. Чем наполнить пустоту вечера? Ему не хотелось ни говорить с кем-нибудь из дипломатов, ни читать, ни работать. И спать тоже еще было рано... Разве сыграть с Ларсом партию в шахматы?

Эта идея понравилась Густаву. Ларс был любимейшим из «garçons bleus» (Дословно «голубой слуга». Так назывались (по цвету присвоенного мундира) личные пажи Густава.) короля, и его бойкий, насмешливый ум часто разгонял морщины на лбу Густава.

Но в передней перед кабинетом короля находился другой паж.

– Где Ларс? – спросил Густав. – Разве не его дежурство сегодня.

– Нет, ваше величество, Гьортсберг сменит меня в двенадцать часов ночи.

Король недовольно повел плечом. И от этого приходилось отказаться! А именно сегодня ему хотелось легкой, беспритязательной беседы... Уж не пойти ли к Адели?

Король взглянул на часы и покачал головой: было уже начало двенадцатого... Но тут он выглянул в окно, и это окончательно решило его сомнения. Что за чудная, теплая ночь!

И как ярко светит мечтательный, таинственный диск луны!

Густав накинул плащ и пошел к Адели, с наслаждением вдыхая солоноватый воздух, которым тянуло с нагретого моря. Озаряемый луной и окутанный зеленью, мирно спал маленький чистенький городок. Вдали, почти на самом краю города, в полосе яркого лунного света белел дом, где жила Адель. Вот кокетливая береза и угрюмая сосна, словно верные стражи, приникшие к окнам спальни. Но почему в этих окнах свет? Что же она делает, почему не спит?

Густав подошел поближе и остановился против окна. Легкий ветерок слабо колыхал плотную занавеску. Вдруг та откинулась, и в окне появилась Адель. Она была в очень откровенном «дезабиле», и как ни кратковременно было это явление, Густаву показалось, будто за нею виднеется какая-то стройная фигура, одетая в расстегнутый голубой мундир. Густав сделал шаг вперед, но занавеска сейчас же упала, и Адель скрылась. Тогда, не помня себя от бешенства, король бросился в дом.

Дверь подъезда была на крючке, но Густав так бешено ударился о нее, что крючок отлетел. Король кинулся вверх по лестнице, которая вела на второй этаж. Дверь спальни Адели тоже была заперта, и, когда Густав постучался, оттуда слышалось удивленное:

– Кто там?

– Это – я! Сейчас же откройте! – крикнул он задыхаясь.

Послышалось поспешное шлепанье туфель, щелкнул за-

мок, и в открывшейся двери показалась встревоженная Адель.

– Это – вы, Густав? Что случилось? Почему...

Но король не дал ей договорить. Оттолкнув Гюс, он кинулся в комнату.

Спальня Адели состояла из двух комнат, отделенных друг от друга аркой. В первой из них, представлявшей нечто вроде будуара, стоял стол, уставленный остатками кушаний, пустыми бутылками и грязными тарелками. Приборов и стаканов было по два. Густав обнажил шпагу и кинулся в самую спальню. Тут он принялся с бешенством искать по всем углам, даже ткнул шпагой под кровать.

– Ваше величество, что с вами? Кого вы ищете? – испуганно спросила Адель.

– Я ищу мерзавца, с которым ты только что ужинала!

– Но он, вероятно, уже спит, ваше величество! Господи, да никак вы заподозрили?... Ваше величество! Часа два тому назад я ужинала здесь со своим секретарем, и уже никак не могла подумать, что Бьевр способен возбудить ревность вашего величества!

– С каких это пор Бьевр носит голубой мундир? Да, да! Не отпирайся, обманщица! Я сам видел, что здесь, в комнате, был кто-то в голубом мундире!

– В голубом? Но, ваше величество, вы видели вот это самое платье, которое брошено мною на стул!

Густав взглянул: действительно на стуле у окна лежало яр-

ко-голубое платье.

Весь гнев короля сразу спал, сменившись чувством величайшего смущения и стыда. В самом деле, если бы здесь был кто-нибудь, ему не удалось бы скрыться незаметно: убегая, дружок Адели должен был натолкнуться на него.

Неужели необоснованная ревность вызвала обман чувств?

Густав был так смущен, что не знал, как ему выйти из этого глупого положения.

– Ах, Густав, Густав, – ласково и грустно сказала Адель, подходя к королю. – Как вы необузданны и как способны обидеть из-за малейших пустяков! Вы увидели с улицы что-то голубое и уже решили, что я изменяю вам. Неужели же я дала вам основания подозревать меня? Но я даже и сердиться не могу... Ревность – сестра страстной любви.

– Адель, как мне искупить...

– Ну что вы, что вы, Густав! Ведь я уже сказала вам, что не могу сердиться на вас! У вас просто нервы развинтились от всех этих переговоров, вам надо отдохнуть! Вот вернемся мы с вами в наш Стокгольм и опять заживем по-старому! Ну, подите же ко мне! Дайте же мне обнять вас, дорогой! Положите свою усталую голову ко мне на грудь... Ах, вы мой ревнивец!..

Часа через два Густав вышел от Адели. Он сам не мог понять, что творилось с ним. Ведь только что он искренне об-

нимал женщину, а теперь... теперь опять в груди вставляли сомнения... Адель доказала ему свою невинность, и все-таки он не был удовлетворен! Может быть, и в самом деле все это – просто нервы?

Размышляя об этом, Густав огибал угол дома. Но что это белеет на высоком заборе садика? Платок? Метка «Л. Г.»?

Ларс Гьортсберг!

Этот платок был тем самым толчком, от которого выкристаллизовались истинные чувства Густава. Завеса спала с его глаз. Теперь он все понял, теперь он знал, что за женщина была эта Гюс!

В первый момент Густав сделал движение, чтобы броситься обратно в дом, но тут же спохватился и презрительно повел плечами... К чему? Чтобы она опять проявила свою виртуозную способность лгать? Нет, ему нужна была уверенность, и ее даст ему сам Ларс... Негодяй-мальчишка!.. Но, впрочем, можно ли сердиться на этого полуребенка? Где же было незрелому юноше устоять против чар этой сирены, умевшей отуманить ум зрелых, опытных мужчин? Нет, Ларс не виноват!

Да и не все ли равно, как зовут того, с кем эта подлая змея насмеялась над своим благодетелем? Не он, так другой... И, вероятно, много было их, этих «других»!

«Но, Ларс должен все рассказать! Теперь он на дежурстве. Я застигну его врасплох и заставлю во всем признаться!» – решил король.

Войдя в свою прихожую, Густав был поражен странным запахом, стоявшим там. Это была смесь винного перегара с какими-то резкими, раздражающими, но знакомыми Густаву духами.

Король оглянулся по сторонам – в углу мирно похрапывал, развалившись в кресле, Ларс Гьортсберг.

Густав подошел поближе. Голубой мундир Ларса был неправильно застегнут; сразу было видно, что это делалось второпях... Да и этот запах тоже шел от него... Густав нагнулся к юноше: дыхание Ларса благоухало винным перегаром, а мундир издавал тот самый резкий аромат, который поразил Густава при входе.

Ну, конечно! Ведь это же любимые духи Адели! Так что же еще узнавать, что выпытывать? Разве и так не все ясно?

Но нет, Густав хотел знать. И, подойдя вплотную к юноше, он схватил его за плечи и резко встряхнул.

Ларс с трудом открыл глаза.

– Ларс! Где ты был до дежурства? – крикнул король.

Юноша сразу проснулся. Последние остатки сна и хмеля испарились из его головы. Он смертельно побледнел и с криком отчаяния кинулся королю в ноги.

– Встань, Ларс, – спокойно сказал Густав. – Я не сержусь на тебя и, если ты откровенно признаешься мне во всем, я по-прежнему оставляю тебя в своей милости. Но помни, я знаю все! Я только хочу слышать истину из твоих уст! Берегись же! Малейшее умолчание, малейшая ложь – и ты же-

стоко заплатишься! Ну, говори! Ты был у Гюс в тот момент, когда я подходил?

– Да, ваше величество.

– Гюс меня увидала?

– Да, ваше величество.

– Каким же образом ты скрылся?

– Через окно, ваше величество.

– Как? Через окно?

– Ну, да, ваше величество; мы рассчитали, что, пока вы будете огибать дом и подниматься по лестнице, я успею незаметно скрыться.

– Но ведь комната во втором этаже!

– У самого окна растет береза.

– По которой ты и спустился? Понимаю! Затем ты, должно быть, пробежал через садик и перелез через забор? По крайней мере на одном из кольев я нашел вот это! – и король кинул пажу платок. – Ну, а когда у вас с ней это началось?

– С того дня, когда на меня наехала лошадь госпожи Гюс.

– Но ведь ты был совсем болен!.. А, понимаю... То-то Ак-рель руками разводил, не понимая твоей болезни! Значит, это была комедия?

– Да, ваше величество!

– Ларс, Ларс! – сказал король, грустно покачивая головой. – Понимаешь ли ты, что ты сделал мне? Разве мало добра оказал я тебе? Нет выше порока, чем неблагодарность, Ларс... А это даже не неблагодарность; это – предательство!

Я обещал не наказывать тебя и сдержу свое слово. Но я очень надеюсь, что ты на досуге обдумаешь свое поведение и поймешь, насколько оно мерзко. Я извиняю тебя только молодостью... Хотя... ведь молодость – лучшее время; в молодости человек бывает чище и добрее, а ты... ты вообще скверно ведешь себя! В твои годы пьянствовать, развратничать!.. Я обещал не наказывать тебя за прошлое, но помни: если от тебя когда-нибудь будет опять так пахнуть вином, как сейчас, я собственноручно высеку тебя. А теперь ступай!

– Ваше величество, простите! – крикнул Ларс, заливаясь слезами и падая на колени. – Верьте, государь, какой-то непонятный туман окутал мой мозг. Я сам не сознавал, что делаю...

– Я верю тебе, Ларс, – грустно сказал король, – по крайней мере, хочу верить... Да и где было тебе, мальчишке, втайне мечтающему о победах, устоять против чар этой женщины! Но пусть это будет тебе уроком на будущее время... Ступай к себе, проспись! Мне никого не нужно!

Густав прошел к себе в кабинет и уселся за письмо к Адели. Вот что он написал ей:

«Я знаю все! Платок, оставленный Вашим любовником на заборе, открыл мне глаза, а его признание подтвердило мои давнишние подозрения. Значит, Вы никогда не любили меня? Значит, все было одной рассчитанной комедией?

Я не буду тратить слова на упреки. Что значат упреки для такой женщины, как Вы? Поэтому перехожу к делу.

Никогда, пока я жив, не осмеливайтесь переступить шведскую границу. Можете оставаться в Фридрихсгаме, можете уезжать, куда угодно, но в Швецию Вам путь закрыт навсегда. Если Вы хотите взять что-либо из оставшегося в Стокгольме имущества, можете поручить это своему секретарю или кому-либо другому.

Уполномоченному Вами лицу будет выдано все, что принадлежит Вам.

Затем вот еще что. Не вздумайте именоваться, где бы то ни было графиней Лильегорн. Сам я уничтожаю данный мною Вам тайный патент и требую, чтобы Вы вручили его подателю сего. В случае же, если Вы откажетесь сделать это, я опубликую в газетах всей Европы, что авантюристка Гюс не имеет права пользоваться этим титулом. Прощайте навсегда! Густав».

Это письмо было послано Адели с одним из пажей рано утром. Прочитав его, Гюс истерически разрыдалась, но патент пажу все-таки вручила. Она понимала, что скандал, которым грозил король, был бы слишком опасен для нее.

Впрочем, слезы недолго лились из все еще прекрасных глаз Адели. Наплакавшись, она подошла к зеркалу, долго и тщательно рассматривала себя и потом воскликнула:

– Я все еще хороша, черт возьми! Ну, мое от меня не уйдет! Не он, так другой; на мой век дураков хватит...

Да, никакие беды не могли укротить эту необузданную женщину. Но время уже делало свое: она не создавала, что

на этот раз платок действительно погубил ее!

А теперь, милый читатель, я, Гаспар Тибо Лебеф де Бьевр, опять поведу рассказ от своего имени.

Я хочу рассказать тебе, как прошел для Адели переходный период, который начался для нее разрывом со шведским королем, а кончился возвращением во Францию. Этот период пестрит бесконечными приключениями, но они, в сущности, очень однообразны: вечно повторялась одна и та же история: Адель по легкомыслию упускала знатного покровителя ради какого-нибудь негодяя, и, если бы я стал подробно описывать все эти приключения, то лишь утомил бы тебя.

Но и упустить этот период нельзя. С одной стороны, он доказывает, что Адель действительно «погубил платок», с другой – лишь приключения этого периода могут объяснить, как совершился в душе Гюс тот переворот, который превратил ее из распутницы аристократического пошиба в кровавого революционного зверя.

Поэтому я расскажу тебе об этом переходном периоде в виде сжатой, сухой хроники. Таким образом и пробел будет восполнен, и я не рискую надоесть тебе.

Платок действительно «погубил» Адель. Ведь ко времени разрыва с Густавом Шведским ей было уже около сорока лет, а это – опасный возраст для женщины, все существование которой неразрывно связано с юностью тела. И как артистка, и как женщина, Адель отдала Швеции лучшую пору своего расцвета, когда ее обаяние достигло вершины могу-

щества. Если бы она оставалась в Швеции, ее дальнейшее увядание не бросилось бы в глаза публике, привыкшей ценить любимую артистку; если бы она была честной подругой короля, упадок телесной красоты не посеял бы между ними охлаждения, так как король Густав был из тех мужчин, которые способны оставаться верными честной подруге до могилы. Адель, несмотря на увядание, прожила бы там в почете, холе и довольстве. Но она играла в опасную игру с пажиками, и это положило конец надежде на благополучие.

Правда, Адель все еще была очень красива, и никто не дал бы ей ее лет. Но даже искусно скрываемое увядание невольно чувствуется опытным мужчиной. Так самый жаркий осенний день неспособен дать нам иллюзию лета.

Да, Адель была еще красива, но теперь уже не могла рассчитывать на покровителя «первого сорта». Ей уже нельзя было надеяться пленить второго Орлова или второго Густава. На первое время она еще могла привлечь второсортного почитателя, а с каждым лишним годом дело становилось все хуже. Впрочем, ей представлялась возможность привлечь еще одного монарха, но... Адель оставалась Аделью!

Итак, Адель решила искать счастья в новых местах. Но где? И вот мы разложили с ней карту и стали рассматривать ее. В Россию было лучше не соваться – там Адели никогда не везло, да и теперь, перевалив за пятьдесят лет, Екатерина стала проявлять большую строгость к другим. В Австрии царствовал Иосиф II, с которым шутки были плохи, прус-

ский король Фридрих II стал под старость совсем полоумным в преследовании роскоши, во Франции начинались смуты и царил тревога. В Италии?.. Ну, там в счет шел только Фердинанд I (IV), король Обеих Сицилий, да и то он был настолько под башмаком своей супруги, энергичной дочери Марии Терезии, королевы Марии Каролины, что на него можно было махнуть рукой. Испания, помогавшая североамериканским колониям в их войне за независимость, была отвлечена военными действиями. Насчет денег в Испании было плохо! Англия? Но если на настроении лондонского общества мало отражалась несчастливая колониальная война, если разврат лондонцев к тому времени достиг небывалого размаха, то национальность Адели была помехой ее успеху там: Англия была слишком раздражена на Францию за ее содействие мятежным американцам! Нет, об Англии и думать было нечего...

Но куда же тогда кинуться? В Турцию разве? Но в Турции царили слишком жестокие нравы. Женщина там была на положении котенка, которого не грех и украсть, если он понравился. Уж на что собака считается привычным объектом жестокого обращения, но в Турции собаке жилось несравненно вольготнее, чем женщине. В глазах турок собака была священным животным, а женщина – тоже животным, но отнюдь не священным. Ударить собаку – грех, бить женщину – богоугодное дело. Ну, а за измену один конец: либо просто голову долой, либо в мешок да и в воду! Нет, Турция была

неподходящей страной для Аделаиды Гюс.

Так куда же ехать?

И вдруг мы оба сразу расхохотались. Мы засматривались на дальние страны, а то, что близко, упускали из вида. А Дания? А Христиан VII? Да ведь это – просто клад для Адели!

Еще бы! Желая захватить власть как можно полнее в свои руки, королева-мать умышленно спаивала короля-сына и сводила его с красивыми женщинами. Христиан VII был уже несколько лет припадочным полу идиотом. Это ли – не желанная добыча для преславной Аделаиды Гюс?!

Итак, было решено ехать в Копенгаген. Куда мы с Аделью и отправились.

Устроив Адель, я должен был съездить в Стокгольм, чтобы взять там оставшиеся ценности. Еще перед отъездом я убедился, что Адель на верной дороге. Возвращаясь обратно, я ждал, что она уже пристроена. И что же? Вдруг я нахожу у нее какого-то немолодого мужчину, грязного, дурно одетого, страшно наглого, который именовал ее: «Эй ты, милая моя... как тебя там?»

Это был француз-парикмахер Лельевр, неведомыми путями попавший во французскую труппу актером, но очень быстро отставленный оттуда из-за полнейшей неспособности. Он жил уже месяца два в Копенгагене, был должен, что называется, вдоль и поперек, решительно никуда не мог пристроиться и существовал лишь смутной надеждой на счаст-

ливую случайность. Эта счастливая случайность проявилась для него в сумасшедшей Аделаиде Гюс, которая ради Лельевра отказалась от представившейся ей возможности стать подругой Христиана VII.

Любовь? Нет, любви тут не было! Вернее сказать, Адель нашла в Лельевре человека под пару себе, пожалуй, даже своего господина, и это так заинтересовало ее, что она пустилась на авантюру с ним.

Действительно, трудно было представить себе более порочное, в корне испорченное существо, чем этот Лельевр! Наглый, грубый, льстивый, жестокий, трусливый, вороватый, беспринципный, к тому же еще – пьяница и картежник, он представлял собой истинный идеал первейшего негодяя.

Его знакомство с Гюс произошло так. К Адели в номер гостиницы зашел знакомый актер из местной французской труппы. Поговорив, они спустились поужинать в общий зал. Здесь к актеру подошел какой-то вертлявый, наглый субъект; не дожидаясь приглашения и не обращая внимания на явное недружелюбие, он преспокойно подсел к столу, принялся, как ни в чем не бывало, болтать, наел, напил и затем ушел, не сказав ни слова благодарности и предоставляя заплатить за себя невольным компаньонам. На следующий день он подошел к Адели, как старый знакомый, и сумел пленить ее своей беззаветной наглостью. На следующий день они уже поселились вместе на положении супружеской пары.

У Адели денег было очень немного, у Лельевра их и во-

все не было. Правда, у меня были небольшие деньги, скопленные в течение службы у Гюс, но я твердо решил не давать ничего на удовлетворение барских замашек господина Лельевра, с которым, кстати сказать, сразу встал во враждебные отношения.

Началось это с того, что однажды, когда Лельевр при мне замахнулся на Адель, я схватил негодя за руку и торжественно обещал переломать ему все кости, если он еще раз позволит себе нечто подобное. К моему удивлению, Адель тигрицей накинулась на меня. Никто, дескать, не смеет становиться «между мужем и женой», а тем более я, обязанный Адели полным повиновением. Лельевру очень понравилось это, и в следующий раз он позволил себе гнусную выходку лично против меня. Но тут уж ему пришлось много хуже. Я взял его за шиворот, поднял, как щенка, на воздух и торжественно поклялся размозжить ему голову о стену, если он попытается когда-либо повторить свою выходку. Адель попыталась вмешаться, но я не менее твердо заявил ей, что не могу признать за ее правами на меня такое расширенное толкование; если же она вздумает настаивать на том, что я должен быть лакеем при господине Лельевре, то я предпочту нарушить клятву и уйти.

Так и пошла у нас жизнь. Лельевр пьянствовал, задавал Адели трепку и проживал ее деньги. Когда же деньгам пришел конец, в ход были пущены драгоценности.

Однажды, разбираясь в драгоценностях Адели и выиски-

вая для ликвидации что-нибудь, чего не было бы особенно жалко, я обнаружил, что футляр с ценным бриллиантовым парюром исчез. Я сообщил об этом Адели, и мы стали ждать возвращения Лельевра, чтобы расспросить его. Но Лельевр не показывался три дня, затем пришел пьяный и злой. Адель кинулась на него с упреками, он же схватил ее за волосы и принялся таскать по полу, охаживая собачьим арапником. Мне с трудом удалось вырвать несчастную женщину из рук озверевшего негодяя.

На другой день я опять имел серьезный разговор с Аделью, и на этот раз она вняла моим доводам. Нельзя так беззаботно бросаться драгоценностями – вместе с туалетами они слишком важны для сценического успеха. Да и не наготовишься парюров для Лельевра, который способен проиграть в карты или прокутить с женщинами самого низкого разбора любое состояние.

И вот я и Адель тщательно разобрали все, что у нее еще оставалось. Значительная часть драгоценностей была заперта и вручена мне на хранение, остальные я ликвидировал и выручил достаточно денег, чтобы без лишений прожить месяца три-четыре. Но для Лельевра это было слишком ничтожно. Сначала он стал выманивать деньги у Адели нежностями, потом – побоями, когда же и это не помогло, он не остановился перед покушением на убийство.

Услыхав крик Адели, я высадил дверь в ее спальню и обнаружил негодяя. На следующий день я сказал Адели, что

Лельевр, по моему мнению, едва ли примирится с выпавшим на его долю сухим пайком, весьма вероятно, повторит свою попытку; никто не может гарантировать меня и Адель от попытки Лельевра отравить нас, чтобы завладеть драгоценностями, кроме того, не всегда же я окажусь в решительный момент поблизости. Нет, если Адель дорожит жизнью, она должна бросить Лельевра!

Адель очень дорожила жизнью, и – это было летом 1785 года – вечером, когда Лельевр по обыкновению ушел в один из притонов, мы оба бежали тайком на корабль, и тот отвез нас в Гамбург.

Глава 6

Вольный и древний город Гамбург был как нельзя более подходящим местом для поисков счастья: город богатейших купцов, отличавшихся к тому же довольно свободными нравами.

Основание Гамбурга относится к эпохе Карла Великого, который счел нужным возвести здесь крепостицу. Но крайне выгодное географическое положение сделало уже в XII столетии Гамбург первоклассным, торговым городом. Действительно, трудно нарочно придумать более выгодное местоположение! Хотя Гамбург лежит за сто верст от впадения Эльбы в Северное море, но устье реки так широко и удобно, что морские суда, свободно подходя почти к самому городу, находят здесь великолепную гавань. Поощряя торговое развитие города, императоры даровали Гамбургу ряд привилегий, и уже исстари гамбургцы не знали таможенных стеснений: товары имели свободный ввоз. При таких условиях народонаселение Гамбурга все возрастало и богатело, и в Гамбурге путем исторического подбора народился совершенно своеобразный тип купца – ловкого, оборотистого, энергичного, образованного, свободолюбивого и гордого, как дворянин. Ну, а сношения с дикарями (Гамбургцы одни из первых увлеклись колониальным делом. Не имея военного флота, они, тем не менее, вели обширные сношения с дикарями,

повсюду устраивая свои фактории и плантации.) приучили гамбургцев не быть особенно щепетильными в вопросах морали. Адель была все еще очень хороша и могла пленить какого-нибудь из этих богачей.

Да, Адель все еще была очень хороша, с этим надо было согласиться! Ведь порочная жизнь несравненно более способствует процветанию красоты, чем жизнь сурового, честного труда. В Аделины годы порядочная женщина кажется старухой, а знаменитая Гюс выглядела совсем молоденькой.

Но годы все же брали свое, и ужасная жизнь, которую вела Адель с Лельевром, не прошла без следа для нее. Сначала надо было изгладить эти следы. И вот на первых порах мы зажили в Гамбурге тихой, мирной жизнью. Все наши заботы были сосредоточены на том, чтобы выхолить красоту Адели: как добросовестный раб, я содействовал даже тому, чему не сочувствовал.

Но все это требовало денег. И вот из заветного ящичка исчезла еще пара драгоценностей. Когда Адель решила выйти на арену, для приобретения необходимых туалетов пришлось снова обратиться к ящичку.

Свои победы Адель начала с маскарада, где пленила какого-то податливого старичка. Он оказался довольно большой шишкой: это был граф Бернсторф, датский министр, не раз бывавший в фаворе и не раз подвергавшийся опале. Бернсторф приехал в Гамбург по делам своего покойного дяди,

Иоганна Бернсторфа, того самого, которого Фридрих Великий называл «датским оракулом». Будучи в немилости, граф Иоганн уехал в Гамбург, где и умер. Между прочим, будучи редчайшим гуманистом своего времени (Граф Иоганн Бернсторф первый из датских помещиков отпустил своих крестьян на волю, его племянник, граф Андрей, о котором идет речь, подготовил законодательное уничтожение крепостного права в Дании. Оба они в свое время были датскими министрами и много сделали для поднятия просвещения и развития наук.), он в своем завещании оставил очень много на благотворительность. Не были забыты и гамбургские бедняки. Последним обстоятельством и был вызван приезд графа Андрея.

Адель сильно пленила Бернсторфа, но... платок действительно погубил ее! Ее прелести ныне не было достаточно, чтобы заставить графа забыть о своем имени, ранге и семейном положении. Бернсторф отдал дань старческой похотливости тем, что задержался в Гамбурге на целую неделю дольше, чем было нужно, но затем спокойно уехал, даже не подумав взять с собой в Данию Адель. А ведь, рассчитывая на его пленение, Адель успела наделать безумных долгов!

И вот нам опять пришлось бежать под покровом ночи и тумана.

Я не раз пытался образумить Адель, но мои попытки были тщетны.

Теперь мы перебрались в вольный город Любек. Там подвизалась бродячая французская труппа, дававшая свои представления в каком-то деревянном бараке. Ее дела шли очень плохо, но труппа не унывала: это были люди, способные весело смеяться на тощий желудок, готовые любить по капризу, пренебрегая выгодой, или играть перед пустым залом, если придет минута вдохновения.

Адель столкнулась с ними. Было решено, что она станет играть не за плату, а за установленную часть валового сбора. Из заветного ящичка извлекли еще пару драгоценностей, затем я обошел влиятельных сотрудников местных газет, имел краткий, но убедительный разговор с начальником местной шайки клакеров. В результате выступление Адели стало истинным триумфом, и убогий деревянный барак превратился в место встречи самой богатой и фешенебельной публики Любека.

На короткое время звезда Адели опять взошла. У нее в уборной теснились поклонники, и опять в нашем доме воцарилось полное довольство.

Среди этих поклонников был один, который занял первое место в милости Адели. Для этого у него были все данные: дон Мигуэль де Манतिकвейра, бразилец родом, был юн, красив, пылок, щедр и, как казалось, богат. Он прибыл в Любек с грузом туземных товаров и распродал их с большой выгодой. На вырученные деньги он хотел приобрести европейских товаров, имевших большой сбыт в Бразилии. Но эти

деньги после знакомства с Аделью получили совсем другое – менее целесообразное – назначение: они целиком ушли на удовлетворение ее хищных appetитов.

Кончились деньги, и любовь Адели кончилась. Об этом она самым хладнокровным образом объявила дону Мигуэлю, гримируясь в своей уборной к предстоящему выходу. Бразилец молил, грозил, проклинал, ползал у ног – Адель лишь смеялась в ответ. Тогда он крикнул, что покончит с собой. Адель хладнокровно заметила, что это было бы для него лучше всего. Тогда дон Мигуэль выхватил из кармана пистолет, приставил его к виску и спустил курок. Грянул выстрел, которым положительно размозжило голову несчастному. При этом в лицо Адели брызнуло мозгом.

– Фу, свинья! – ворчливо сказала она, вытирая лицо. – Не мог отойти подальше! Вот изволь pereгримировываться!

Но pereгримировываться ей не пришлось. Товарищи-актеры были так возмущены происшедшим, что предпочли отказать от заведомых выгод, лишь бы не иметь дела с Аделью. Публике были возвращены деньги, Адели было объявлено, что труппа исключает ее из своей среды. И опять все пошло насмарку!

Мы уехали в третий вольный город – Бремен. Здесь Адель встретила с другой бродячей труппой (в то время в редком немецком городе не гастролировали французские актеры), встала во главе ее и направилась в турне по разным городам. Дела шли не блестяще, иногда мы почти голодали, и ящик

с драгоценностями опустел совсем. Дошел черед и до моих сбережений. Наконец, когда мы прибыли в Кассель, у нас уже не оставалось никаких ресурсов.

Кассель был в то время резиденцией ландграфов Гессен-Кассельских. Впоследствии он сыграл известную историческую роль в качестве столицы Вестфальского королевства, основанного Наполеоном для своего брата Джерома (Иеронима) в 1807 и кончившего свое существование в 1813 году. Но в это время, не чаяя грядущих событий, кассельцы вкушали мир и наслаждались искусствами под скипетром ландграфа Вильгельма IX.

Имя Аделаиды Гюс не могло быть неизвестным при дворе такого мецената, как Вильгельм. Поэтому труппе был оказан блестящий прием, и ряд спектаклей превратился в сплошной триумф. Опять расцвели надежды Адели. Но у ландграфа была умная жена, и это спасло Вильгельма от паучьих лап гетеры. Ландграфиня Вильгельмина Каролина, урожденная принцесса датская, самым решительным образом предложила Адели на выбор: остаться здесь и рисковать скандалом или... получить переводное письмо на кругленькую сумму к франкфуртскому банкиру ландграфини. Адель имела полное основание предпочесть последнее, и мы двинулись далее.

Тем временем на нашей родине разыгрывались страшные, великие события. Народ, изголодавшийся, замученный, ис-

терзаный, не захотел более выносить ярмо аристократического засилья. Поднялась буря, которую уже нельзя было задушить ничем. Министерство Людовика XVI пыталось осуществить теперь те реформы, которые уже давно должны были быть проведены. Но с одной стороны их усилия парализовались сопротивлением аристократии и духовенства, а с другой – при теперешних обстоятельствах народ, почуяв свою силу, не был расположен довольствоваться жалкой подачкой, которую ему хотели кинуть. Вся почва тряслась во Франции, взрыв был неминуем, неотвратим.

И вот одно за другим стали доходить страшные известия. Генеральные Штаты, созванные в 1789 году королем для урегулирования дел в королевстве, отказались разойтись, когда этого потребовало правительство, почуявшее опасность в настроении депутатов. 17 июня они самовольно превратились в Национальное Собрание. 14 июля народ взял приступом и разрушил Бастилию – государственную тюрьму, державшую в своих стенах массу жертв тирании. 4 августа Национальное Собрание опубликовало «Декларацию прав человека», твердо устанавливавшую незыблемые основы свободы, братства и равенства.

Король Людовик XVI, его двор и аристократия трепетали. Король уже был фактическим пленником в руках нации. Кровавое море надвигалось на знать. Шатко держались на плечах головы тех, кто ряд столетий играл головами народа. Наступил час расплаты.

1790 год застал нас на пути в Цвейнбрюкен, где правил известный своим распутством герцог Карл II. Адель жадно прислушивалась теперь к рассказам о творившемся на родине, и ее глаза вспыхивали злобным блеском, когда она узнавала о все ширившемся неистовстве парижской черни. Кровью пахло от этих рассказов, и ноздри Адели широко раздувались, словно улавливая этот возбуждающий, пряный запах. И с какой страстью говорила она о том, что надо бить, давить, крушить тиранов.

Конечно, это было нелогично: ведь Адель всю жизнь цвела милостью этих «тиранов», и женщины, подобные ей, сыграли немалую роль в создании ненормальных социальных условий.

Но, во-первых, Адель была женщиной, а от женщины не приходится требовать логики. Во-вторых, в ней главным образом говорила личная злоба на этих тиранов, которые не хотят позволить любовнице обманывать себя. Будь Адель в этот момент обожаемой подругой хотя бы того же Густава Шведского, она громила бы «подлую чернь, осмелившуюся восстать на законного монарха». Но она была отвергнута, она старела, не успев как следует использовать свое былое очарование. Кого же винить? Себя? Женщина на это неспособна. И вот Адель обрушивалась каскадами страстных речей на аристократию и «тиранов». Но это все-таки не мешало ей ехать ко двору герцога Карла II.

Пфальцграфу и герцогу Цвейнбрюкенскому Карлу II бы-

ло в то время сорок четыре года, из которых тридцать были прожиты в непрерывном угождении плотским капризам. Его отец, пфальцграф Фридрих, и дядя, пфальцграф Христиан, также были любителями женщин; таким же был и младший брат Карла, принц Максимилиан Иосиф.

Оба брата были женаты, что, разумеется, не мешало им жить в свое удовольствие. Но в последние годы в Цвейбрюкене было плохо насчет эффектных женщин. Достойные братцы начали уже скучать, как вдруг появилась Гюс.

Как? Аделаида Гюс? Та самая, которая... У Гюс было слишком славное боевое прошлое, чтобы это «которая» не сопровождалось достаточно длинным послужным списком. И нужно ли удивляться, что оба брата одновременно пленились Аделью.

Правда, ей было в то время уже сорок шесть лет. Но я же говорил, что Адель сохранилась на диво. Братцы не знали истинного возраста Адели, а ведь немецкая поговорка, гласящая «чего я не знаю, то меня не касается», глубоко права. И герцог Карл, и принц Максимилиан начали наперебой добиваться благоволения Адели.

Это было не так уж трудно. Каждый из соперников быстро достиг желаемых результатов, но каждый при этом был уверен, что счастливымчиком является только он.

Случай открыл им глаза. Произошла резкая сцена, но добродушие взяло верх.

– Слушай-ка, брат, – сказал герцог, – не хватает еще, что-

бы мы поссорились из-за первой встречной подлой твари. Вот еще! Конечно, общинное владение мне не по вкусу, но почему бы нам не предоставить высказаться судьбе? Давай разыграем Гюс в карты!

Принц согласился, братья уселись за экартэ. Герцог проиграл, судьба указывала, что единоличным хозяином прелестной девицы Гюс быть принцу Максимилиану.

Итак, Адель стала подругой принца Максимилиана. Описывать ее времяпровождение в Цвейбрюкене – значит повторить то, что мне уже не раз приходилось говорить: на склоне пятого десятка Адель не стала благоразумнее. К тому же она быстро увядала. И вот однажды – это было в 1792 году – принц сказал ей, позевывая:

– Кстати, милая моя, не находишь ли ты, что тебе пора на покой?

– Что такое? – крикнула Адель, вскакивая.

– Ну, да... Я нахожу, что ты уже выслужила срок действительной службы и тебе пора в запас. Ангел мой, не вечно же тебе цвести и побеждать! Я недавно разговорился с маркизом ле Ретиф де Ла Бретон. Он рассказывал мне о том, как маркиза де Помпадур ловким шагом избавилась от твоего соперничества. Маркиз уверяет, что он был тогда молоденьким офицером. Господи! Да ведь и Помпадур умерла уже двадцать восемь лет! Значит, тебе никак не меньше пятидесяти теперь, ну, а это – такой возраст, когда женщине подо-

бает думать о душе...

– Негодяй! – закричала Адель, замахиваясь на принца. – Оскорблять беззащитную женщину?

– Что такое? – завизжал перетрусивший принц. – Вы позволяете себе наносить оскорбление принцу крови?

Но Адель развоевалась и безжалостно туфлей отхлестала принца крови по щекам. Еле-еле убежал принц Максимилиан от расвирепевшей мегеры.

Но не прошло и часа, как явился офицер с пятью солдатами. Без всяких дальних разговоров Адель и меня посадили в экипаж и отправили в путь. Мне хоть позволили захватить свои вещи, а Адель выслали, в чем она была. На границе владений нас ссадили и предоставили нашей судьбе.

Куда было деваться? Что предпринять? Адель должна была сознаться, что ее звезда закатилась. Она была стара, без средств, без друзей, ее роль на жизненной сцене кончилась.

Кое-как добрались мы до ближайшей харчевни и там стали обсуждать свое положение. Одно оставалось нам – вернуться во Францию.

– Да, во Францию! – мрачно сказала Адель, и ее глаза за сверкали злобным огоньком. – Кровавый пир царит там теперь, и на этом пиру найдется место и мне! Я упьюсь кровью этих засильников, вырву их внутренности и обмотаю себе шею этим ценным трофеем. Смерть тиранам! Смерть оскорбителям народа! О-о-о! Все свои счета сведу теперь я с ни-

ми!

Мы направились во Францию. Труден был наш путь. Денег у нас почти не было, и не раз нам приходилось преодолевать большие концы пешком, пробираясь Христовым именем. Изредка удавалось разыскать остатки бродячей труппы, и с ней Адель устраивала представления. Но это бывало нечасто, денег приносило мало... Да, труден был наш путь на родину, особенно труден после стольких годов праздности.

Чем ближе мы подвигались к Франции, тем мрачнее и страшнее становились вести, долетавшие до нас. Король Людовик вздумал бежать от взбунтовавшегося народа, его поймали, отвезли обратно в Париж; тут народ признал его лишенным сана за измену нации. Король с семьей был заключен в тюрьму. Это было началом страшного эпилога тиранической трагедии, столько веков уже терзавшей Францию.

Наконец, после мучительного странствования мы добрались до Парижа. Этим кончился переходный период жизни Адели и начался последний – пожалуй, самый страшный – этап ее.

А теперь, милый читатель, я опять отстраняю себя до поры до времени и опять поведу в третьем лице речь о страшных приключениях этой женщины, к которой меня, как каторжника к ядру, приковала злая судьба. В отдельных частях этой правдивой рукописи под названиями «Кровавый пир» и «На обломках трона» я завершу возложенную мною на себя задачу – описание «Приключений девицы Гюс».

Часть 5. Кровавый пир

Глава 1

Максимилиану Робеспьеру снился сон. Перед ним раскинулось большое угрюмое поле, и это поле была Франция. Низко-низко над землей нависали густые клубы удушливого дыма, прорезаемые зловещим багрянцем пожарного зарева, которое кидало кровавые зайчики на чахлую, серую растительность и трупы, в изобилии усеивавшие поле – Францию. А среди трупов бродили волки. Большие, косматые, страшные, они со сладострастной жадностью набрасывались на скорчившиеся в мучительной агонии тела, вгрызались в них оскаленной пастью и по уши погружали окровавленные морды в горячие, еще дымящиеся внутренности.

Всесильному диктатору стало страшно. Ему хотелось бежать от этого зрелища, хотелось отвернуться, закрыть глаза. Но мертвенная неподвижность сковывала ноги, и глаза, не подчиняясь воле, продолжали в упор смотреть на разгорающуюся оргию кровавого пира.

И видел Робеспьер, что у тех волков – человеческие лица... знакомые, близкие лица! Вот безжалостный Барэр де Вьезак «Анакреон (Знаменитый греческий лирик.) гильотины», вот Сен-Жюст, этот «мозг» диктатора, и Кутон, его «ру-

ка»; вот гениальный стратег, администратор и инженер Карно, «бич Вандеи» Ронсен, страстный трибун Дантон; вот оба Приера, Ленде, Колло д'Эрбуа, Жан-Бон, Сент-Андре, Вадье, Лавикомтри, Дюбаррен, Леба, художник Давид, Анахарсис Клоц. И себя самого наконец увидел под личиною волка всемогущий Максимилиан Робеспьер! В таинственной раздвоенности он был и тут, и там: одновременно смотрел на ужасное зрелище и принимал в нем участие, замирал от боли, скорби и негодования при виде бедствия родины и в то же время хищно скалил зубы, выискивая новую жертву.

А прежних жертв уже показалось мало ненасытным волкам. Скаля зубы, злобно поблескивая фосфорическими огоньками в глазах, издавая стонущее рычание, они недоверчиво озирались друг на друга, и вдруг их косматые тела сплелись в общей свалке. Вот присел, отбиваясь от стаи недругов, неистовый Дантон. С бешенством разбрасывал он по сторонам наседавших на него волков, пока Робеспьер-волк, к ужасу Робеспьера-зрителя, не ринулся на него, не ухватил его зубами за затылок... И когда под яростно ущемляемыми челюстями Робеспьера стали с мягким хрустом поддаваться шейные позвонки волка-Дантона, когда тот вдруг начал оседать и корчиться в бессильной ярости, Робеспьер выпустил свою жертву, выпрямился, вытянул шею и протяжно, торжествующе завыл. Остальная стая принялась догрызать павшего Дантона, и миг от гордого трибуна остались одни лишь клочки.

Кончили волки, облизнулись, а затем вдруг стали медленно подползать к Робеспьеру, пощелкивая зубами, жадно поблескивая фосфоресцирующими зрачками. На одну минуту всеильным диктатором овладело чувство безумного страха. Он закрыл глаза, и это погубило его. Сразу на него свирепая стая. Вот и ему, как Дантону, вцепилась в загривок чья-то горячая пасть. Вот надели на него тяжелые, шершавые тела товарищей-волков. Робеспьер сделал отчаянное усилие, чтобы высвободиться, вцепился в тело ближайшего волка, напрягся и... скинув с головы душившее его одеяло, с досадой отбросив подушку, в которую он вгрызся зубами, соскочил на пол и остекленевшими от ужаса глазами осмотрелся вокруг.

Все было удивительно чисто, приветливо, мирно в этой скромной, почти бедно обставленной спальне. Вид чисто выбеленных стен, на которых играли первые лучи раннего осеннего солнца, подействовали успокоительно, отрезвляюще на разгоряченное кошмаром воображение Робеспьера. Он медленно провел обеими руками по лицу, как бы отряхивая последние остатки страшного сна, надел туфли и подошел к окну.

Широко распахнув обе половинки окна, Робеспьер до половины высунулся, наслаждаясь ароматной свежестью ясного осеннего утра. Кроткая, грациозная меланхолия, которой всегда полна осень, нежной дымкой обвевала позднюю роскошь цветов, как будто торопившихся разукрасить послед-

ние дни своего короткого существования пестрым фейерверком ярких красок. А над цветочными куртинами свисали понурые ветви серебристых тополей, в матовой листве которых, словно седина в волосах стареющей красавицы, уже проглядывала предательская желтизна. И только неугомонные птицы с обычной деловитостью суетились в садике, оглашая воздух трескучим щебетаньем, как будто для них не существовало времен года и вечно царила одна весна.

Робеспьер жадно дышал свежим, ароматным воздухом, смотрел на тихую прелесть этой идиллической картины и чувствовал, как сознание мало-помалу стало воцаряться в его разгоряченном мозгу, как все строже укладывались хаотически разбросанные мысли, как все энергичнее вступал в свои права холодный, трезвый рассудок. И, рассеянно следя за какой-то птицей, которая с ликующей песней понеслась все выше и выше к безоблачному небу, Робеспьер думал:

«Почему так глубоко поразил меня этот вздорный сон и почему душа уже готова видеть в нем мрачное пророчество? Разве этот сон открыл мне что-нибудь такое, чего я раньше не знал? Разве Дантон втайне не обречен мною на смерть и разве не твердил я себе каждый час, что всякий шаг к власти приближает меня к эшафоту? Да, и меня принесут когда-нибудь в жертву интересам великой Франции, как теперь ради той же цели я жертвую другими жизнями. Это – закон необходимости, который я давно познал. Почему же какой-то сон мог смутить меня?»

Быть может, меня взволновало то, что мы, идейные вожди освобожденной Франции, явились в этом сне под личиной бессмысленных, одной лишь кровожадностью воодушевленных волков? Но разве я не знал и без того, что все эти отбросы низверженной тирании иначе не называют нас, как волками? Они думают оскорбить нас этим. Глупцы! Они не знают, что и волк – лишь исполнитель воли Верховного Существа, что кровожадность зверя – звено в стройной гармонии мироздания! Не будь волков, и все слабые, больные, отсталые тяжелым бременем легли бы на армию, задержали бы ее шествие вперед. Не будь волков, поля сражений обратились бы в очаги страшной заразы. Так и мы отсекаем все то слабое и немощное, что способно задержать великое движение человечества на пути к идеалам свободы. Так и мы исполняем обязанности великих социальных санитаров, уничтожая элементы тления и заразы, убирая политически мертвые организмы. Да! Мы – волки! Но мы можем гордиться этим. Ведь мы творим лишь волю Высшего!

Значит, все это не могло, не должно было подействовать на меня так угнетающе. В чем же дело? Неужели в том, что до сих пор моя смерть представлялась мне лишь умозрительно, отвлеченно, а ныне предстала предо мной во всей своей трагической реальности? Неужели же я дрогну, когда придет этот час, и трусливо, робко положу последний камень воздвигнутого мною памятника? Неужели допущу, чтобы низменные животные инстинкты преодолели разум философа?»

На одну минуту Робеспьер закрыл глаза руками, как бы охваченный мучительными предчувствиями, но, когда сейчас же отнял руки, его лицо уже дышало полным спокойствием. И устремив взор туда, где из-за тополей проглядывало ослепительное сияние утреннего светила, он преклонил колени, простер руки к солнцу и с глубокой верой сказал:

– О, Ты, Высшее Существо, правящее миром! Просвети и наставь меня, дай мне сотворить волю Твою! Когда же настанет мой час, дай мне твердость, чтобы я мог умереть, как подобает гражданину!

Эта молитва окончательно успокоила Робеспьера, окончательно внесла мир и порядок в чувства и мысли. Он с обычной щепетильной тщательностью занялся туалетом, затем отыскал на кухне молока и хлеба, позавтракал с отличавшей его аскетической скромностью потребностей и сел за письменный стол, чтобы просмотреть очередные дела.

Глава 2

Дел, ждавших быстреего рассмотрения, было очень много. Тут были вопрос об урегулировании цен на съестные припасы, возросших до невероятных размеров, записка об окончательном утверждении конституции и мнения о необходимости задержать ее применение, проект закона о подозрительных и многое другое. Но Робеспьер отложил в сторону папки с этими делами и развернул одну, на которой красными чернилами, словно кровью, было четко выведено: «Революционный трибунал».

В этот день предстояло заседание этого страшного судилища, почти не ведавшего оправдательных приговоров, знавшего лишь два рода наказаний – ссылку и смерть, но за редкими исключениями не практиковавшего первого из них. Президентом революционного трибунала был Герман, вице-президентом – Дюма, судьями и присяжными – Кофиналь, Дюпле (квартирный хозяин Робеспьера), Никола (его типографщик), Субербьель, Рендуен и Топино-Лебрен, публичным обвинителем – Фукье-Тенвиль. Таким образом сам Робеспьер, бывший официально лишь одним из членов комитета общественного спасения, как будто не имел отношения к автономному, безапелляционному трибуналу. Но это было лишь «как будто», а на самом деле Робеспьер так же неограниченно распоряжался делами этого судилища, как и

делами комитета и всей Франции. Он был полновластным диктатором, и революционный трибунал был одним из органов его власти. Независимые внешне члены трибунала получали все инструкции от Робеспьера, который в важных случаях предрешал судьбу обвиняемых.

Сегодняшний процесс – процесс «десяти аристократов» – был очень важен в глазах Робеспьера. Из десяти обвиняемых, представителей самых громких фамилий старой аристократической Франции, только двое были скомпрометированы уликами в попытке организовать бегство королевы Марии Антуанетты из тюрьмы. Против пятерых было только необоснованное подозрение, а остальные трое могли считаться скорее друзьями нового строя, чем защитниками павшей монархии. Вот почему процесс был отложен, так как Робеспьер отдал строгий приказ во что бы то ни стало подготовить почву для обвинения. Со старой Францией надо было кончать! Наследственные враги народа должны были сойти со сцены жизни!

Теперь данные для обвинения были добыты, и еще третьего дня Фукье-Тенвиль вручил Робеспьеру подробный доклад о полученных результатах, но диктатор за массой дел и тревог не успел еще просмотреть его. За этот-то доклад и взялся теперь Робеспьер.

Как докладывал публичный обвинитель, данные обвинения могли считаться вполне достаточными, принимая во внимание патриотическое одушевление судей. Виконты

д'Аррас и де Брюйес, а также граф Огюст Морни уличены бесповоротно и не только сознались в заговоре против блага республики, имевшем целью освободить «гражданку Капет» из тюрьмы, но имели еще дерзость заявить, что исполнили лишь долг дворянина и верноподданного. Маркиз де Верту, барон д'Юзес, шевалье де Броншар и граф де Луру-Беконэ не сознались в соучастии, но их вина доказывается тем, что они бывали постоянными гостями д'Арраса и подолгу совещались с ним и с Брюйесом и Морни. О чем же могли говорить эти аристократы, как не о деле, интересовавшем всех лакеев низверженного тирана, то есть об освобождении вдовы казненного Людовика XVI? Кроме того, из допроса первых двух выяснилось, что они относились несочувственно к казни короля и заключению королевы, а последние трое, равно как виконт де Лион д'Анжер и маркиз де Нивернэ, были замечены в театре «Лицея» страстно аплодировавшими пьесе «Адель де Саси», в которой, как известно, достаточно похоже инсценирована история королевы.

«Только по отношению к последнему обвиняемому, – написал далее Фукье-Тенвиль, – улики оказались крайне шаткими, вернее – их нет совсем. Дознано, что маркиз де Ремюза...»

При этом имени Робеспьер вздрогнул и невольным движением оттолкнул от себя доклад. В последнее время он забыл, что в числе обвиняемых находится также и Ремюза, и теперь это имя опять вызвало в душе диктатора целый хаос

самых разнообразных чувств и дум. Робеспьер сам не мог понять, радуется ли он или досадует на то, что против Ремюза нет никаких улик; не мог разобраться, перевешивает ли в его душе человек или политик.

Да, против Ремюза не было улик, и Робеспьер понимал, что их и не могло быть. Одна только вина была бесспорна, это – происхождение от длинного ряда угнетателей народа, все же остальные улики служили по большей части лишь маской, прикрывавшей эту главную, самую глубокую вину. Но... но разве та услуга, которую оказал Робеспьеру пять лет тому назад Ремюза, не обязывала к благодарности? Правда, эта услуга была оказана частному человеку, и только как частный человек, а не как государственный деятель мог отблагодарить его Робеспьер; но разве сама по себе эта услуга не свидетельствовала, что Ремюза в значительной степени лишен обычных пороков своей касты, что он – не защитник монархического произвола? И в воспоминании Робеспьера воскрес тот трагический эпизод, при котором состоялось его знакомство с маркизом де Ремюза.

Это было в Аррасе, где Робеспьер занимался адвокатурой, посвящая свои досуги литературе и философии. Тогда он еще не мечтал о широкой государственной деятельности и скромно жил в уютной квартирке вместе со своей племянницей Люси Ренар, дочерью его рано умершей старшей сестры.

Люси была истинным солнцем, благословением его тру-

довой жизни. Очень хорошенькая, живая, веселая, умненькая, она наполняла домашнюю атмосферу звонким щебетанием ликующей юности. Дядю она окружала самой внимательной, любовной заботой, заменяя ему мать, жену и сестру. Как славно, как тихо текла тогда жизнь Робеспьера! Юриспруденция – теоретическая и практическая, философия – главным образом любимый Жан-Жак Руссо – и поэзия заполняли всю его тихую, довольную жизнь. Да и поэзия тоже! Кто бы мог поверить, что Робеспьер, теперь кровожадный, неумолимый, жестокий, пять лет тому назад писал нежные, чувствительные стишки, что и теперь он не оставил служения музам?

Так шли дни, и казалось, что вечно будет длиться безоблачное счастье. Но горе уже сторожило их.

Однажды, возвратившись домой довольно поздно после заседания Аррасской академии, в делах которой Робеспьер принимал деятельное участие, он с ужасом узнал, что Люси ушла под вечер на часок к подруге, но до сих пор не возвращалась. Робеспьер прождал ее некоторое время, затем кинулся к этой подруге, обегал всех знакомых, у которых могла бы быть Люси, но везде слышал в ответ, что никто из них не видал в этот день девушки.

Робеспьер побежал домой, питая слабую надежду, что Люси тем временем вернулась. Когда же эта надежда не оправдалась, он словно зверь забегал по комнате, перебирая в уме все способы выручить племянницу из постигшей ее

беда... Он уже не сомневался, что беда действительно случилась, и отлично понимал, какого рода была эта беда. За хорошенькой девушкой усиленно гонялись местные петиметры, ну а этот народ способен на все!

Какие ужасные минуты переживал тогда Робеспьер! Главное, что приводило в отчаяние и бешенство, – это сознание полной беспомощности. Поднять на ноги полицию, добиться приема у губернатора и молить его содействия, обратиться к друзьям? Но ведь для того, чтобы можно было сделать что-нибудь, надо прежде всего знать, где искать Люси! Конечно, завтра весть об исчезновении девушки облетит весь город и, наверное, к дяде пропавшей придут все, кто мог дать хоть какое-нибудь указание. Но разве есть хотя бы какая-либо возможность бездеятельно ждать этого долгого, страшно-го «завтра»?

Грохот подъехавшего экипажа вывел Робеспьера из этого мучительного состояния. Он кинулся на улицу и увидел, что какой-то молодой дворянин привез растерзанную, до неузнаваемости изменившуюся Люси. С девушкой делалось Бог знает что: она то падала в глубокий обморок, то билась в сильнейшем истерическом припадке, рвала на себе платье и волосы, ломала руки, кусала пальцы и кричала страшным, душу ледящим голосом.

Дворянин, оказавшийся маркизом де Ремюза, помог внести несчастную в дом, съездил за доктором и вообще выкал участие, чрезвычайно тронувшее обезумевшего от горя

Робеспьера. И все время долгой болезни Люси маркиз постоянно заезжал узнавать о ее состоянии.

Не скоро удалось добиться от Люси рассказа, как случилась с нею беда. Но самое главное было уже известно из показания маркиза.

Да, невеселая была это история! Все время, пока Люси шла к подруге, за нею неотступно следовала какая-то карета со спущенными занавесками на окнах. В глухом переулке карета вдруг остановилась, из нее вышли трое молодых людей с масками на лицах, схватили растерявшуюся девушку, заткнули ей рот платком и сунули ее в карету. Последняя сейчас же понеслась с бешеной скоростью. Куда? Это Люси не могла видеть, так как шторы окон были плотно закрыты. Она только чувствовала, что сначала они ехали по шоссе, а затем, видимо, свернули на проселочную дорогу.

Наконец карета остановилась, Люси завязали глаза, затем взяли на руки и понесли куда-то. Когда ей снова развязали глаза, она увидела себя в очень хорошеньком лесном домике, обставленном с большой роскошью. Затем девушку освободили от платка во рту, и один из похитителей обратился к ней как ни в чем не бывало с предложением принять участие в ужине и подкрепить свои силы. Когда же девушка с негодованием потребовала объяснения такого чудовищного насилия и приказала немедленно отпустить ее, покончив с шуткой, зашедшей слишком далеко, тот же дворянин ответил ей с дерзким смехом:

– Полно, красавица моя, ты уже вышла из детских лет и должна понимать, где раки зимуют! Не для того похищают хорошеньких мещанок, чтобы отпускать их, ничем не попользовавшись. Так тебе отсюда не уйти! Ну, так примиришься с неизбежным и будь умницей! Садись, ешь и пей! А завтра утром я отпущу тебя, одарив знатным приданым. Примиришься, девушка, покорись, потому что все равно – добром или насилием, но ты будешь моей!

Сказав это, он протянул руку, чтобы обнять Люси, но энергичная девушка ответила ему звонкой пощечиной и кинулась к дверям. Однако в один миг ее настигли, и, хотя Люси отбивалась, царапаясь и кусаясь, словно пойманный зверек, негодяи быстро скрутили ее по рукам и ногам и положили на широкую оттоманку.

Затем они уселись за стол и принялись жадно есть и пить. Пили они особенно много, и по мере того, как вино кидалось им в голову, в их растленном мозгу рождались все новые преступные мысли. В конце концов они выработали адский план. Раз красавица так недоступна и зла, то порознь им, пожалуй, с нею не справиться. Но... разве они не друзья? Так чего же им стесняться друг друга. Они по очереди докажут мятежной мещанке, что она сделала глупость, не примирившись добровольно с неизбежным! А потом, когда все трое пресытятся ее прелестью, от девушки надо будет избавиться. Конечно, убивать ее они не станут – неблагородно дворянину пачкать руки в крови женщины, они просто зане-

сут ее связанной в чашу и оставляют там: в этой местности много всякого хищного зверя, который и сделает все остальное!

Случилось так, что около этого времени маркиз де Ремюза, гостивший у родственников в Аррасе, возвращался в город после визита к одному из соседних помещиков. Юноша ехал в легком экипаже по красивой лесной дороге, как вдруг издали донеслись заглушённые женские крики о помощи.

Оглядевшись, маркиз сообразил, что находится неподалеку от знаменитого «охотничьего домика» графа де Понте-Корво.

Об этом домике и его хозяине в народе ходили недобрые слухи. Де Ремюза знал графа по Парижу и понимал, насколько эти слухи правдоподобны. Действительно, граф де Понте-Корво, единственный наследник громкого имени и громадного состояния предков, отличался дьявольской развращенностью. Его предки были выходцами из Италии, отличались чрезвычайной гордостью и боялись унижить себя неравным браком, а потому у них практиковались исключительно семейные союзы. И так случилось, что кровь, не освежаемая притоком извне, стала вырождаться. Отец и дед графа покончили с собой в припадке острого сумасшествия. У единственного ныне графа де Понте-Корво извращенная разнузданность, жестокость, доходившая до сладострастия, и отвратительная кровожадность явно указывали на умственную ненормальность. И действительно, было что-то безумное в удовольствиях и развлечениях графа.

Крики о помощи явно указывали маркизу, что граф в тиши леса терзает новую жертву. Не раздумывая долго, де Ремюза остановил экипаж и кинулся в лес на голос.

Невозможно описать ту страшную, возбуждающую глубочайшее отвращение картину, которая открылась маркизу в охотничьем домике. Вид жертвы придал мужество юноше. Не обращая внимания, что негодяев – трое и что тут могли оказаться еще и слуги, он ринулся с обнаженной шпагой на насильников. Слуг в домике не было (граф избегал лишних свидетелей), а неожиданность появления непрошеного защитника, растерянность негодяев, хмель – все это стало союзником юноши. Граф де Понте-Корво тут же пал, сраженный ударом шпаги в сердце, а его приятели трусливо бросились в окна. Маркиз не стал преследовать их. Подхватив на руки бесчувственную девушку, он понес ее к экипажу. Кучер сейчас же признал девушку, и поэтому ее прямо свезли к дяде.

Долго проболела Люси, а потом пришло новое горе. К несчастью, маркиз опоздал на полчаса, и самому графу удалось добиться своего. Теперь последствия насилия стали сказываться: Люси с ужасом обнаружила, что скоро станет матерью. Правда, нервная горячка, которую вызвало это открытие, избавила Люси от плода, но зато все перенесенные муки так потрясли ее хрупкий организм, что дело кончилось параличом, поразившим нижнюю половину тела. И так случилось, что хорошенькая, жизнерадостная девушка в рас-

цвете лет оказалась навсегда прикованной к креслу!

В первый период болезни маркиз де Ремюза чуть не ежедневно бывал в доме скромного адвоката. Его так трогало безграничное отчаяние Робеспьера, ему так жаль было надломленной молодой жизни девушки, что он не мог уехать, не дождавшись поворота в состоянии здоровья больной. Поэтому он со дня на день откладывал свою поездку в Англию, куда собирался отправиться с образовательной целью.

В течение этого времени Робеспьеру пришлось много беседовать с маркизом, и он имел возможность убедиться, насколько Ремюза непохож на большинство людей своей касты. Конечно, будучи молодым, веселым и богатым, Ремюза не вел жизни анахорета; нет, он давал полный выход молодым силам, искрометным ключом бившимся в его натуре, и его любовные приключения не раз вызывали сенсацию даже в самом Париже, которого ничем не удивишь. Но во всех этих историях сквозило неизменное душевное благородство, в них никогда не было ничего, способного наложить пятно на имя порядочного человека, а главное – они не составляли для него цели и сути существования. Ремюза много читал, думал, и взгляды, которые он высказывал в разговорах с Робеспьером, доказывали, насколько его ум мог подняться над эгоистическим лесом кастовых интересов.

Маркиз откровенно признавался, что не может понять короля и еще менее – его наушников и советчиков.

– Если бы я, – не раз говорил он, – потерпел корабле-

крушение и доплыл до необитаемого острова, нагруженный съестными припасами, и если бы на этот остров прибыл еще один потерпевший, лишенный всего, я поспешил бы поделиться с ним своим добром. Но в таком акте сказало бы прежде всего только благоразумие. Человек, ставший перед лицом необходимости, не станет рассуждать о правах других, а постарается обеспечить свое собственное существование, и, если я не поделюсь с товарищем по несчастью, он напряжет все свои силы, чтобы убить меня и завладеть всем моим добром. Народ и дворянство ныне поставлены в положение именно таких двоих людей. Франция разорена и может прокормить население только при дружественной совместной работе. И прежде всего аристократия должна поступиться своими привилегиями, должна отказаться от права вести разгульную жизнь за счет изнывающего в работе земледельца. В стране не хватает хлеба, а аристократы твердят о священности прав! Но когда у народа нечего будет есть, он сам отнимет эти права вместе с жизнью. Ни аристократия, ни сам король не хотят понять, что они танцуют на вулкане, что право возможно лишь при нормальных условиях жизни, а там, где жизнь вышла из нормы, законы права уступают законам необходимости. Король громко вещает о прерогативах монарха, о том, что Божий помазанник творит лишь волю Его и ни перед кем, кроме Него, не ответствен! Но ведь это – богохульство валить все на Господа Бога! Разве Его воля, чтобы страна разорялась, народ нищал? Нет прав без

обязанностей, и раз король доказал, что не может вывести государственный корабль из бездны, он должен призвать на помощь других кормчих, должен поступиться своими прерогативами в пользу народа. Ведь сам-то король плавает в довольстве, страдает народ. Так кому же, как не народу, решать свою дальнейшую судьбу?

Много говорил по этому поводу маркиз де Ремюза, и всегда его рассуждения были проникнуты благородной трезвостью ума, искренней любовью к родине, горячим сочувствием к обездоленному народу. Не будучи в душе революционером, отнюдь не одобряя насильственных действий, Ремюза открыто говорил, что при упорстве короля и знати только революционный путь может спасти Францию от окончательного разгрома.

Когда Люси стала поправляться, Ремюза уехал в Англию и пробыл там несколько лет. Тем временем Робеспьер был избран депутатом от третьего сословия в собрание генеральных штатов и переехал с разбитой параличом Люси в Париж. Дороги Ремюза и Робеспьера разошлись, и вот после нескольких лет имя Ремюза всплыло перед Робеспьером, когда оказалось в списке десяти аристократов, арестованных комитетом общественного спасения по доносу одного из тайных агентов – Жозефа Крюшо.

Уже тогда имя маркиза де Ремюза остро поразило Робеспьера и охватило его душу невыразимым смятением. Первым его движением было сейчас же бежать в комитет и при-

казать, чтобы Ремюза выпустили на свободу. Но Робеспьер был прежде всего человеком нравственного долга; он тут же сказал себе, что безопасность государства не может страдать от личных чувств его руководителей, что добродетель человека не искупает преступления гражданина, что услуга была оказана не Франции, а Робеспьеру. Но в то же время нежный образ Люси ярким укором стоял перед его глазами! Поэтому, не придя ни к какому окончательному решению, Робеспьер решил сначала обождать результатов дознания.

Теперь эти результаты были перед ним, теперь настало время сказать свое последнее слово. О, как не хотелось всеильному диктатору опять, как всегда, отрешиться в этом деле от всяких личных чувств, как протестовало чувство гражданского долга против малейшего пристрастия в силу личных соображений! Как же быть? Как выйти из этой дилеммы мысли и чувства?

Но прежде всего надо было дочитать доклад Фукье-Тенвиля. И опять взяв в руки бумагу, Робеспьер стал читать далее:

«Дознано, что маркиз де Ремюза состоял во враждебных отношениях с виконтом д'Аррасом, который еще несколько лет тому назад обвинил маркиза в неподходящем для аристократии образе мыслей, и что с графом Огюстом Морни у Ремюза было несколько месяцев тому назад сильное столкновение на почве любовного соперничества, и это привело ко взаимному оскорблению и вызову на дуэль. Однако дуэль

была предупреждена вмешательством шевадье де Броншара, друга детства маркиза де Ремюза, к слову сказать, единственного, с кем из всех обвиняемых поддерживал отношения последний. Впрочем, дуэль была лишь отложена на неопределенное время, и в этом-то и заключается главная улика против упомянутого Ремюза: будучи спрошен о причинах отсрочки дуэли, последний ответил, что противники признали настоящее время неподходящим для сведения личных счетов, и оно отложено до лучших времен. Де Ремюза не мог объяснить, чем недостаточно хорошо для него настоящее время и на какое лучшее он надеется!»

Волнение, луч растроганности, выражение участия – все сбегало с лица Робеспьера, когда он прочел последние строки доклада. Взор диктатора загорелся суровым фанатическим огоньком, лицо сразу застыло, окаменело. С силой хлопнув ладонью по докладу, Робеспьер сказал ледяным тоном:

– Довольно сентиментальностей! Улика ясна и очевидна. То, что проповедовал Ремюза пять лет тому назад, было или лицемерием, или болтовней юноши, в котором хищные кастовые интересы еще не убили юного стремления к правде. Теперь Ремюза созрел, торжество народовластия внушает опасения, гибель членов касты пугает его. И вот он уже забыл бред юности и мечтает о наступлении лучшего времени, то есть о возрождении тирании, под крылышком которой так легко живетя всем ему подобным! Существование

таких Ремюза – залог величайшей опасности для свободной Франции. Смерть ему! Смерть всем, в ком коренится хоть крупица смерти и тления для свободного духа!

Твердую рукою Робеспьер взялся за перо и энергично макнул его в чернильницу. Вдруг громкое чириканье отвлекло его внимание. Робеспьер обернулся: на подоконнике в забавно горделивой позе уселся толстый воробей, задорно тарасивший черные глазенки. Лицо Робеспьера осветилось слабой улыбкой. Вдруг он с испугом бросил перо и сказал с глубокой тревогой:

– Бог мой! Я совсем забыл про канарейку! Ведь бедняжка без воды и корма! – и кровожадный, безжалостный диктатор, целыми партиями отправлявший людей на эшафот на основании одних необоснованных подозрений, бросил все дела и торопливо вышел из комнаты, чтобы не причинить страданий слабой пичужке.

Глава 3

Все это происходило в первый месяц страшной эпохи террора, когда по всей Франции шла разнузданная вакханалия кровавого пира. Впрочем, ввиду того, что различные исторические писатели относят начало террора к разным моментам, мы принуждены пояснить, что это было в сентябре 1793 года.

Действительно, в то время как одни считают началом террора 5 сентября, другие утверждают, что эпоха террора началась с 14 июля 1789 года (день падения Бастилии), третьи же относят возникновение террора к 20 июня 1792 года, считая, что сентябрьские убийства уже были его полным воплощением, а четвертые считают эту эпоху от дня изгнания жирондистов монтаньярами, то есть от 31 мая 1793 года.

Подобное разногласие проистекает от разницы в понятии самого слова «террор», которое, исходя от французского «*terreur*», означает «страх», «ужас». При этом одни говорят, что страх, испытанный парижанами при известии о движении прусской армии на Париж, послужил причиной проявленной ими жестокости в сентябрьских убийствах; поэтому эпохой террора надо считать такое время, когда народ под действием испытываемого страха теряет меру добра и зла. Другие же утверждают, что террор – понятие чисто административно-правовое, а уж никак не медицинское. Это

– система управления, при которой порядок и повиновение поддерживаются чувством страха. Словом, уже в основе этого спора заложено противопоставление страха, испытываемого кем-либо, страху, кем-либо нагоняемому (Так называемая субъективная и объективная теория репрессий. Можно пояснить все сказанное следующим примером из русской истории. Царствования Иоанна Грозного и Петра Великого в достаточной мере богаты казнями. Но в то время как Иоанн казнил потому, что испытывал постоянный страх (мания преследования), Петр казнил для того, чтобы послушники и противники реформ ходили под постоянным страхом.). Но, выясняя эту разницу понятий, мы были принуждены перечислить столько различных дат и терминов, что само объяснение останется неполным, если мы не коснемся общей истории всех этих событий. Если весь ход Великой французской революции ясно и свежо стоит перед глазами читателей, мы покорнейше просим их попросту перевернуть страницы этой главы и прямо перейти к четвертой. Но читателю, который чувствует себя не очень твердым в истории этой эпохи, мы настоятельно советуем не пропускать этих строк: без них многое в дальнейшем течении нашего повествования покажется непонятным. Мы же постараемся быть возможно краткими.

Отчаявшись выйти из затруднительного финансового положения, грозившего полным банкротством, Людовик XVI созвал в 1789 году генеральные штаты. Это собрание пред-

ставителей всего государства созывалось и прежде (первые генеральные штаты собрались в 1302 году), но роль так называемого «третьего сословия», то есть лиц непривилегированных – мещан, купцов и крестьян, была там самая незначительная. Теперь времена переменились, и депутаты третьего сословия потребовали равноправия. Когда первые недели прошли лишь в бесконечных пререканиях о правах третьего сословия, последнее увидело себя вынужденным прийти к важному решению. А именно – третье сословие 17 июня 1789 года объявило себя национальным собранием. Король не хотел примириться с захватом депутатами таких прав и потребовал, чтобы они разошлись, но члены национального собрания принесли клятву не расходиться и отказались повиноваться. Король, инспирируемый тайным придворным комитетом, душою которого была королева Мария Антуанетта, для видимости покорился, однако сам стал стягивать к Парижу наемные иностранные полки. Депутаты видели, что придворная партия замышляет кровавыми репрессиями подавить проснувшееся народное самосознание, и потребовали от короля, чтобы он отозвал иностранные войска. В то же время они переименовали национальное собрание в учредительное.

Высокомерный ответ короля на требование народа и роспуск министерства Неккера, благожелательного к собранию, вызвал сильное возмущение среди парижан. Начались стычки с королевскими войсками, народ вооружился и 15

июля 1789 года кинулся на Бастилию – тюрьму для государственных преступников, которая была фактическим олицетворением произвола прежнего режима. Весть о падении этой крепости как громом поразила двор. Король явился без всякой стражи в учредительное собрание и уверил депутатов, что отнюдь не покушается на их права и составляет одно целое с нацией.

Был ли он искренен тогда? Весьма возможно, что да. Но Людовик XVI легко поддавался чужому влиянию, отличался неустойчивостью, а придворная партия имела слишком хорошего представителя своих интересов в лице королевы Марии Антуанетты, которую король очень любил. Мария Антуанетта стала злым гением короля, всей королевской семьи и самой себя. Колеблясь между нацией в лице собрания и придворной партией, Людовик выказал такую нерешительность, вел себя так двусмысленно, что нация имела полное право отказать ему в доверии. Это было тем ужаснее для самой идеи монархической власти, что движение, выразившееся во взятии Бастилии, перекинулось на провинцию и распространилось далеко вглубь страны. Таким образом скоро король остался совершенно без опоры, а королева и придворная партия слепо вели к сопротивлению нации, то есть – к своей гибели.

А в Париже начался голод, этот могущественнейший союзник всех революций и переворотов. Голодающий народ, раздраженный пирушками короля в Версале, произвел

несколько нападений на дворец, и в конце концов короля чуть не силой перевезли из Версаля в Тюильри. До 1791 года королевская семья играла комедию, притворяясь, будто новый порядок вещей признан ею. Но в июне 1791 года Людовик тайно покинул Париж, собираясь при помощи брата королевы, императора Леопольда II, начать восстановление старого порядка с границы. Однако в Варенне короля опознали и вернули в Париж. Там он был взят «под надзор нации», то есть арестован, и был вынужден присягнуть новой конституции.

Теперь участь Людовика XVI казалась уже предрешенной, его роль низвелась до полного ничтожества. Фактически главой государства стало национальное собрание, переименованное сначала в законодательное собрание, а потом – в национальный конвент.

В собрании к этому времени уже определились партии. Крайнюю правую занимали фельяны (конституционные монархисты), левую – жирондисты и монтаньяры. «Жиронда», получившая свое название от департамента, депутаты которой играли главную роль в этой партии, состояла из людей очень талантливых, работоспособных и образованных, но умеренных. Эта-то умеренность и была впоследствии причиной их падения. Монтаньяры, то есть «горцы», получили свое название от того, что занимали самые высокие скамейки в собрании. Это была партия непримиримо-крайних; достаточно сказать, что из ее рядов раздались призывы к тер-

рору и вышли самые кровожадные террористы. Кроме этих партий, была еще «равнина». Это была инертная, трусливая масса, которая шла то влево, то вправо, смотря по тому, кто сумел повести ее за собою. Сначала «равнина» (или «болото») помогла «жиронде» занять в конвенте господствующее положение, затем помогла «горе» низвергнуть «жиронду». Когда «гора» раскололась на партии Эбера и Дантона (этих партий в сущности было очень много), «равнина» помогла Робеспьеру уничтожить враждебные партии, и она же помогла свергнуть самого Робеспьера.

Кроме всех этих элементов необходимо назвать еще клубы и коммуну.

Из клубов главную роль играл якобинский, члены которого собирались в прежнем монастыре якобинцев. Это были самые крайние, самые нетерпимые фанатики террора. Клуб якобинцев играл такую важную роль, что члены его, как, например, Дантон и Марат до избрания в конвент, не будучи членами правительства, играли, однако, первую скрипку в актах правительственной власти. Что касается коммуны, то это был общинный муниципалитет города Парижа, сменивший королевский муниципалитет прежнего режима.

Итак, короля заставили присягнуть конституции, но в то же время Людовик известил государей других стран, что его согласие было лишь вынужденным. Австрия и Пруссия приняли тогда вызывающий тон по отношению к революционному правительству Франции, к тому же король снова начал

настаивать на своих монарших прерогативах, и в результате, после народного восстания 10 августа, законодательное собрание взяло короля под стражу и объявило его лишенным власти. В то же время агенты законодательного собрания стали, по настоянию Дантона, хватать без разбора всех «подозрительных», не давая пощады даже женщинам, старикам и детям. Все арестованные содержались в ужасающих условиях в переполненных тюрьмах, но скоро наступило очищение мест заключений: узнав, что иностранная армия двинулась на Париж, население пришло в такую ярость, что стало врываться в тюрьмы и избивать заключенных – даже детей и старцев. Это и были знаменитые своею беспощадностью «сентябрьские убийства».

Но Франция реагировала на вражеское нашествие не только этими позорными убийствами. Весть о вторжении врага вызвала бурный взрыв патриотизма, для пополнения армии отовсюду стали стекаться толпы волонтеров. Нашлись и талантливые полководцы. И вот 20 сентября в битве при Вальми генерал Дюмурье смял пруссаков и сам перешел в наступление. Вообще революционная армия оказалась на очень большой высоте, что легко можно объяснить: ведь каждый солдат знал, во имя чего и за что он жертвует жизнью!

21 сентября открыл свои заседания национальный конвент. Теперь фельянов уже вовсе не было, крайними правыми оказались жирондисты.

В сущности и жирондисты, и монтаньяры (якобинцы)

одинаково были ярыми республиканцами и демократами. Но они расходились во взглядах на внутреннюю политику момента. Жирондисты протестовали против насилий народных масс, а монтаньяры возводили эти насилия в государственную систему. Кроме того, между ними лежала еще личная антипатия: большинство жиронды страстно ненавидело Дантона, игравшего в то время главную роль. Между тем Дантон неоднократно искал сближения и примирения с жирондой, и удайся это, Франция была бы избавлена от террора. Но соглашения не состоялось, это погубило сначала жиронду, а потом и Дантона.

Под влиянием успехов французской армии монтаньяры подняли вопрос об объявлении Франции республикой и о суде над королем как над изменником нации. Это было в ноябре 1792 года. С этого времени началось усиление Робеспьера и его партии. В заседании 13 ноября Сен-Жюст, друг и правая рука Робеспьера, произнес сильную речь, требуя не суда, а осуждения короля. 3 декабря на ту же тему говорил Робеспьер. Он доказывал, что король – не обвиняемый, а конвент – не судьи. «Вам предстоит не высказываться за или против известного человека, но принять меру, необходимую для общественного спасения».

11 декабря 1792 года Людовик предстал перед конвентом, 15 января 1793 года началось поименное голосование о его виновности, 19-го выяснилось, что большинство высказалось за казнь короля, 20-го было решено, что эта казнь

должна состояться без всяких проволочек, и 21 января 1793 года, в 10 часов 22 минуты утра, Людовик XVI был обезглавлен.

Жиронда сделала все возможное, чтобы спасти жизнь королю, так как, по их мнению, его казнь была политической ошибкой. Вообще жирондисты были очень озабочены тем, что Францию все более и более увлекают на путь жестокостей и насилия, далеко не оправдываемых обстоятельствами, но нужных вожакам якобинцев для личных целей. Действительно вся масса якобинцев состояла из очень немногих честных, искренне заблуждавшихся людей, каковым был, например, Робеспьер, и подавляющего числа развращенных негодяев. Для последних террор был средством наживы и сведения личных счетов. Вламываясь под предлогом политического списка в дома богатых, эти господа крали там деньги и драгоценности. Крупные состояния Тальена («короля воров»), Фуше (министра полиции при Наполеоне), Ровера, Барраса, Мерлена, Ревбея и многих других были составлены именно из награбленных ценностей. Кроме того эти негодяи, пользуясь своим званием комиссаров конвента, производили так называемые «реквизиции». Право реквизиции позволило комиссарам требовать в исключительных случаях от граждан того или иного города лошадей, оружия, фуража, съестных припасов и т. п. для нужд национальной армии. Но как понимали комиссары свое право, свидетельствует, например, следующее: Фуше потребовал, чтобы ему

доставили 60 фунтов кофе, 150 аршин муслина, 3 дюжины шелковых галстуков, 3 дюжины перчаток, 4 дюжины шелковых носков и т. п.

Жиронда, эта партия истинных государственных людей, болела душою, видя, на какой гибельный путь вступает Франция. Она пыталась внести больше законности в жизнь страны, старалась добиться таких гарантий для личности гражданина, которые были бы достойны истинно республиканских идей. Но это шло вразрез с политической идеологией якобинцев. С этого момента, то есть со дня казни короля, история французской революции представляется нам историей борьбы якобинцев за власть, историей возвышения Робеспьера и низвержения им своих политических врагов.

Март 1793 года дал якобинцам хорошее оружие для этого. В Вандее вспыхнуло сильное роялистское движение, признаки которого появились еще с августа 1792 года, и мятежники-шуаны (как называли вандейских роялистов), действуя партизанскими отрядами, наделали много хлопот республиканцам. В этом же месяце генерал Дюмурье изменил республике, пытаясь возмутить армию, и когда это не удалось, бежал за границу. Причина измены Дюмурье заключалась в том, что он тоже не мог примириться с ростом насилий и беззакония. Но его измена лишь вызвала усиление того и другого. Дюмурье был ставленником жиронды, и якобинские газеты подняли шум о «великой измене жирондистского генерала». Этим стали готовить раздражение населения про-

тив жирондистов.

Контрреволюционное движение в Вандее и измена Дюмурье дали монтаньярам основание требовать в конвенте усиления репрессий. 10 марта был учрежден революционный трибунал – страшное судилище, на решения которого не было апелляции. От 18 до 28 марта конвент выпустил ряд декретов против контрреволюционеров, об обезоруживании дворян и духовных лиц, об изгнании на вечные времена всех эмигрантов и смертной казни тех из них, которые осмелятся вернуться во Францию, об учреждении общинных революционных комитетов для надзора за подозрительными и многое другое. 6 апреля конвент организовал комитеты общественного спасения (административный орган) и общественной безопасности (полицейско-сыскной орган).

В течение апреля замечались внутреннее усиление жиронды и ухудшение дел на границе (успехи австрийцев против республиканских войск) и в Вандее. Якобинцы искусно воспользовались тем и другим, и 31 мая состоялся переворот, о котором мы уже упоминали в предисловии: под пушками канониров генерала Анрио конвент санкционировал исключение жирондистских депутатов.

Теперь в конвенте правящей партией стали монтаньяры и их вождь – Дантон. В это время внешние дела Франции ухудшились, враг вторгся во французские пределы, роялисты в Вандее наносили поражение за поражением республиканцам. К тому же 13 июля экзальтированная девушка Шар-

лотта Кордэ убила Марата, знаменитого демагога, редактора кровожадной газеты «Друг Народа», вдохновителя сентябрьских убийств. Все это служило важным аргументом в устах сторонников крайних мер и ускоряло приближение террора. Действительно кровавые декреты стали сыпаться, словно из рога изобилия, особенно после того, как (27 июля) в комитет общественного спасения вступил Робеспьер. На одном только заседании 1 августа были декретированы: смертная казнь скупщикам, конфискация имущества лиц вне закона, предание суду королевы, разрушение места погребения королей (в Сен-Дени), установление принудительного курса бумажных денег, предание огню и мечу Вандеи и т. п.

Одновременно с этим революционный трибунал все усиливал и усиливал свою деятельность. Но Робеспьеру, занявшему к августу преобладающее положение в комитете и успевшему повсюду просунуть преданных ему лиц, деятельность революционного трибунала казалась слишком медлительной. Трибунал был сначала удвоен, потом учетверен, а вскоре присяжным было дано право заявлять, что дальнейшие прения не нужны, так как они достаточно ознакомились с делом и могут безотлагательно вынести решение. Этим путем у обвиняемого, казнь которого была предрешена, отнималась возможность доказательства своей невиновности.

Конечно, такая система управления уже вполне подходила под понятие «террора». Правительство не видело возможности поддерживать порядок путем проведения во всем стро-

го правовых норм и стремилось запугать население. Но все же до поры до времени официально за террористическими мерами признавали лишь временный характер. Террор, как цельное понятие, как сущность идеологии государственного управления, даже как самое слово, впервые откровенно появилось на заседании 5 сентября 1793 года.

К этому времени нужда в Париже достигла своей высшей степени. Зарботки рабочих упали, цена на хлеб поднялась до пределов полной нелепости. На этой почве 4 сентября разразился голодный бунт, а 5-го толпа ворвалась на заседание конвента, требуя установления предельных цен на съестные припасы и смерти скупщикам. Тогда Дантон произнес эффектную речь, в которой поддержал все революционные требования народа. Напрасно немногие благоразумные члены конвента старались сдерживать расходившиеся страсти. Монтаньяр Друе прямо воскликнул: «Так как ни добродетель, ни умеренность, ни философские идеи наши ровно ни к чему не послужили, то будем разбойниками для блага народа». Тут же был принят ряд террористических мер, среди которых выделяется предоставление права участковым революционным комитетам арестовывать и держать под стражей всякого подозрительного человека, другим же выдавать по своему усмотрению свидетельства о благонадежности. В заключение Барэр де Вьезак, этот истинный «Анакреон гильотины», воскликнул:

– Поставим террор на очередь дня!

И действительно, с тех пор террор был поставлен «на очередь дня». Ряд дальнейших мер ярко доказывает это. Мы только что упоминали о предоставлении революционными комитетами права ареста «подозрительных». Для того, чтобы точнее определить, кого считать подозрительными, был издан закон 17 сентября 1793 года, который гласил, что подозрительным признается не только тот, кто показал себя приверженцем королевской власти, но и тот, кто не может доказать, что он надлежащим образом выполнил свои гражданские обязанности и обнаружил приверженность к республике. На основании этого закона были арестованы те десять аристократов, процесс которых так взволновал Робеспьера в утро, когда началось наше повествование.

Глава 4

Заботливо снабдив весело чирикавшую канарейку водой и кормом, Робеспьер повернулся, чтобы идти в кабинет, как вдруг до него из комнаты Люси донесся шум колес передвигаемого кресла. Быстро подойдя к комнате девушки, Робеспьер постучался и крикнул:

– Ты уже встала, птичка?

Ему ответил нежный голос, звучавший бесконечной грустью:

– Да... Войди, дядя Макс!

У Люси была прелестная большая комната с массой света и воздуха. Благодаря неправильной форме стен, в ней было очень много окон, выходивших в сад, куда вела также широкая дверь с просторным балконом.

Посредине комнаты от одной стены до перил балкона шла довольно толстая веревка с узлами. Подтягиваясь за эту веревку, Люси могла без посторонней помощи подъезжать к окнам, к столикам с книгой или работой и выезжать на балкон. В этом кресле проходила вся жизнь несчастной. Утром к ней приходила Тереза Дюплэ, дочь квартирохозяина Робеспьера и страстная почитательница последнего. Тереза помогала Люси умыться, одевала ее, затем поднимала хрупкую, тщедушную девушку и сажала ее в кресло, где параличная и оставалась до вечера. Но Люси – кроткая, покорная, рассу-

дительная – мирилась со своим несчастьем без озлобления и бурных протестов. Она говорила себе, что на свете существует много людей гораздо несчастнее ее, что нежная заботливость окружающих почти не дает ей чувствовать свою неполноценность, что очень много людей согласилось бы пожертвовать ногами, чтобы пользоваться таким довольством и ласкою, какие были у нее. И с утра до вечера слышался ее веселенький голосок, распевавший грациозные наивные песенки Нормандии.

Но в последнее время все чаще и чаще облачко грусти затемняло взгляд открытых, умных глаз девушки; в ее пении стало чувствоваться много тоски и внутренней скорби, сама она теряла прежнюю ровность и сдержанность характера. Девушку бесконечно угнетали потоки крови, не перестававшие литься по Франции, а еще больше мучило сознание, что это ужасное, ничем не оправдываемое положение вещей вдохновляется ее дядей, человеком, которого она ставила на голову выше всех остальных людей.

Робеспьер сразу заметил, что Люси находится в одном из обычных для последнего времени периодов тоски. Он озабоченно подбежал к Люси, склонился над нею, заглянул в ее отуманенные глазки и с глубокой сердечностью в голосе спросил:

– Что с тобою, птичка моя? Тебе нездоровится? Ты плохо спала? Или просто так взгрустнулось? Или у тебя что-нибудь болит?

Люси обвила его шею прозрачными, тонкими ручками, притянула к себе, поцеловала и ответила:

– Нет... ничего не болит, дядя Макс. Или, впрочем, душа болит... Тереза сказала мне, что сегодня состоится процесс десяти, что их участь решена... Господи, когда же кончится этот кошмар? Когда же станет свободной моя несчастная родина? Неужели народ сверг одного тирана только для того, чтобы взвалить себе на шею другого? Прежде дворянин вешал крестьянина только за то, что он – крестьянин, а теперь дворянина казнят лишь за то, что он – дворянин.

– Дитя, – сурово сказал Робеспьер, освобождаясь от нервных рук Люси, – сколько раз уже я просил тебя не заводить со мною разговора на эту тему! Ты знаешь, я не люблю говорить с тобою о государственных делах, потому что...

– Ну, да, – запальчиво перебила его девушка, – потому что я – не Тереза Дюплэ, которая только тарасит на тебя восторженные глаза и поддакивает каждому твоему слову, ловя его, словно божественное откровение! Всесильный Робеспьер не привык к критике и противоречиям, за малейшее возражение он посылает на плаху. Но передо мною он бессилен, я и без того казнена судьбой, и вот...

– Да, Люси, ты – не гражданка Дюплэ! Она – чужая мне и все-таки глубоко верит в меня, верит, что мои поступки подсказываются мне разумом. Я потому и люблю говорить с нею, что она слепо доверяет моему бескорыстию, широте и величию моих задач. А ты...

– Но ведь я бесконечно люблю и чту тебя, дядя Макс! Пойми, в моих глазах ты всегда был чрезвычайно высок. Я пророчила тебе блестящую будущность, жаждала для тебя широкой деятельности, чтобы ты мог проявить себя во всем размахе. И вот что же? Да ведь это – ужас один! Почему ты и твои единомышленники восстали против прежнего строя? Потому что его основой была несправедливость! На чем же вы хотите построить новый строй? На несправедливости! Мой разум отказывается понимать это! Каждый день над десятками людей проделывают комедию суда, чтобы потом по заранее предрешенному приговору отправить их на гильотину. Улики против них придумываются, защищаться им не дают... все из-за чего? Из-за того, что они родились в привилегированном сословии, что их предки причинили много зла Франции... Знаешь, дядя Макс, говорят, будто собаки произошли от волков. Ну, так не перевешать ли всех собак за беды, которые причинили их предки?

Робеспьер отошел к окну и сумрачно смотрел в сад. Прошла минута неприятного молчания. Наконец он повернул к Люси окаменевшее лицо и спокойно сказал:

– Я потому и не люблю говорить с тобою обо всем этом, что твой разум не в состоянии понять меня: он недостаточно широк и свободен. Вы, женщины, ко всему прикидываете мерку чувства, я же не позволяю чувству брать верх над разумом. Но ты не понимаешь этого. Так к чему же мы будем продолжать разговор, который только мучает нас обоих? Смот-

ри, ты опять разволновалась. Тебе вредно волнение, Люси! – Он помолчал и вдруг сказал, подхваченный волной острой горечи: – Да и вообще я не понимаю, тебе ли защищать этих господ? Не хищной ли разнузданности привилегированного класса обязана ты тем, что твоя молодая жизнь разбита в пору нежного расцвета?

– Дядя Макс, – робко и смущенно ответила Люси, потупив красивые, выразительные глаза, – среди этих десяти нет ни одного, кому я обязана своим несчастьем, но зато есть один, кому я обязана жизнью!

– И ты думаешь, что добрый поступок, сделанный гражданином Ремюза по отношению к частному лицу, уменьшает его вину перед народом?

– О, нет! Ведь его вина в том, что он – маркиз.

– Люси! – сказал Робеспьер, подходя к девушке, – боюсь, что в тебе говорит не только ложно понятое чувство справедливости, что благодарность к спасителю, пустившая более теплые ростки в твоём сердце, заставляет тебя особенно тревожиться за участь Ремюза. Да, в таком случае все мои доводы останутся напрасными. Мне не убедить тебя! Но во имя нашего прежнего понимания друг друга заклинаю тебя: верь мне, что для меня моя безжалостность – только суровый, по временам чрезмерно трудный долг. О, как хотелось бы мне иметь право отдаваться чувствам! Но я не могу, не смею, не должен.

– Я верю тебе, дядя, – сердечно сказала Люси, тронутая

глубокой скорбью, звучащей в его последних словах. – Ты прав, не будем лучше говорить об этом!

И опять они замолчали, терзаемые духовным разладом, волнуемые родственной нежностью. Робеспьеру хотелось сказать Люси что-нибудь сглаживающее, примиряющее, ласковое, и нужные слова не шли на ум. Вдруг он обратил внимание на вышивку, пестрый конец которой высывался из объемистой рабочей корзины.

– Что это ты вышиваешь, Люси? – спросил он, нагибаясь к работе.

Люси порозовела, ее глаза загорелись светлой, чистой радостью.

– Помнишь, дядя Макс, – оживленно ответила она, – недели две тому назад ты рассказывал нам с Терезой о религии, алтарь которой тебе хотелось бы утвердить? О, это было так прекрасно, так прекрасно... как сказка, как светлый сон! У меня перед глазами вырисовался образ твоего Верховного Существа, бесконечно справедливого, мудрого и благостного... И мне представилось Оно, окруженное радостью бытия... Злой тигр смиренно склонил к его ногам свою голову, кроткая лань доверчиво приникла к Нему. А вокруг Него радостным роем танцуют пестрые бабочки, нарядные птицы, хрупкие мотыльки. И вот я подумала: почему мне не сделать вклада для твоего будущего храма? Почему не вышить покрыва на алтарь Верховному Существому и не изобразить на этом покрыве всего того, что представилось в этом видении?

И вот я взялась за работу. Вот здесь, видишь, у меня бабочки... Они ведь удачно вышли, правда? А вот тигром я недовольна: шелк попался какой-то блеклый... Да вот посмотри... – Люси стала доставать работу из корзины, энергично перебирая ее складки, как вдруг из корзины вылетела потревоженная моль. – Боже мой, моль, моль! – крикнула девушка. – Убей ее, дядя Макс, она мне все перепортит... Да ну же...

В первый момент Робеспьер невольно взмахнул руками, чтобы прихлопнуть насекомое, но сейчас же его руки опустились, и где-то в самой глубине взора блеснул отсвет затаенной насмешки.

Люси продолжала волноваться, и даже ее лицо пошло пятнами.

– Да ну же! – с искренним огорчением кричала она, досадливо хлопая рукой по столику. – Ах, какой ты неловкий, дядя Макс! Теперь она улетела и где-нибудь спряталась! Не мог ты ее прихлопнуть!

– Видишь ли, Люси, – спокойно ответил Робеспьер, – я готов был прихлопнуть бедное насекомое, но вдруг мне пришло в голову, что это было бы несправедливо. Почему ты знаешь, что моль действительно принесла тебе какой-нибудь вред? Может быть, она просто присела отдохнуть на твоей работе? Нельзя же убивать, не имея доказательств вины!

Люси изумленно взглянула на дядю, не смеется ли он над ней. Но нет, его лицо оставалось совершенно серьезным.

– Час от часу не легче! – протянула девушка, широко разводя руками. – Да ты подумай, что ты только говоришь? Каких доказательств тебе еще надо? Разве ты не знаешь, что моль оставляет дырочки на ткани, и если ее не истреблять, то платье, белье, шерсть, даже бумага – все пойдет прахом?

– Я знаю, что моль вообще приносит вред. Но где у тебя доказательства, что именно эта самая что-нибудь тебе испортила? – серьезно спросил дядя.

– Да ведь, пока я буду отыскивать доказательства, моль улетит, и скоро у меня все будет изъедено! – воскликнула Люси. – Я просто понять не могу, что за дикие мысли приходят тебе в голову! Точно я наказываю моль, точно я – судья. Не успела напортить – тем лучше! Но истребить ее надо, чтобы она не могла напортить потом!

– Почему же тебе кажется диким, если я повторяю только то, что ты сама говорила перед этим? Защищая необходимость казни дворян, я рассуждал совершенно так же: пока народ будет искать доказательств, причинил ли какой-нибудь вред именно данный аристократ, эти паразиты разрушат всю ткань неокрепшей еще республики; народ довольствуется сознанием, что аристократы по своей природе вредны новому строю; народ – не судья, он не мстит и не наказывает, а только охраняет свою родину. Почему же в данном случае ты отвергаешь справедливость рассуждения, которым сама пользуешься в другом?

– Да ведь то – моль, насекомое, а то – человек!

– Дитя мое, поверь: личность в государстве – несравненно мельче, ничтожнее, чем моль в твоей комнате, да и кроме того целость и благо государства стоят дороже, чем твоя вышивка! Нет, Люси, все дело в том, что вы, женщины, не умеете быть логичными до конца. Чувства перевешивают у вас разум... Ну, так доканчивай свою прелестную вышивку, за которую от души благодарю тебя, и предоставь нам, мужчинам, заботу о высшей государственной справедливости!

Робеспьер поцеловал Люси и твердым шагом вышел из комнаты. Побледнев как смерть, молодая девушка безнадежно поникла головой.

Ветер шаловливо играл листами доклада Фукье-Тенвиля, и Робеспьер, вернувшись к себе в кабинет, заметил теперь, что не дочитал его до конца: на обороте было еще примечание, ускользнувшее первоначально от внимания диктатора.

А в этом примечании Фукье сообщал нечто очень важное: в самую последнюю минуту гражданин Лебеф заявил ходатайство о разрешении ему защищать на суде обвиняемого Ремюза. По мнению обвинителя, участие Лебефа в процессе было настолько важно, что он даже предлагал выделить дело Ремюза из процесса десяти и судить сначала только первых девять. Ведь Лебеф отличается умением воздействовать на судей и присяжных, и сколько уже жертв ускользнуло от карающего меча республики благодаря его защите! Если бы дело касалось одного только Ремюза, то с этим еще можно было

бы примириться. Но ведь Ремюза судят совместно с остальными, и Лебеф естественно коснется также вопроса о виновности последних. А ведь и без того устои колеблются, и без того растут заговоры. Если карающий меч начнет дрожать в руках трибунала, противники республики поднимут головы, ободрятся... Только страхом, только суровыми мерами можно удержать кормило власти в руках народа. Вмешательство таких маньяков «божественной справедливости», как Лебеф, может лишь погубить еще неокрепшее, молодое народовластие.

Дочитав до конца, Робеспьер досадливо откинулся на спинку стула. Словно целый легион злых сил ополчился на него в последнее время! Все так ясно, так просто укладывалось мысленно по его системе, а жизнь, как назло, вечно приводила его на распутье, вечно ставила перед дилеммами. И особенно много сложного клубком свилось вокруг такого простого, такого ясного дела Ремюза!

Лебеф... Да, он пользуется влиянием, уважением и обаянием. Это делает его личность крайне опасной. Но в то же время он решительно отказывается от какой-либо роли, от какого-либо административного назначения. Значит, он не честолюбив, значит, он чуждается демагогии... значит, он безопасен! Но всей своей индивидуальностью Лебеф поставлен в полную оппозицию к той системе, которой одной только и доверяет он, Робеспьер, спасение Франции. Правда, Лебеф не произносит речей против существующе-

го режима, не выступает в печати, не шепчется по углам. Но он и не скрывает своего неодобрения тому, что совершается, умеет придать своим выражениям вескость и основательность. Таких людей Робеспьер привык одним движением сметать со своего пути. По отношению к Лебефу эта необходимость еще увеличивается его учащающимися выступлениями в защиту врагов республики. Но... Ах, эти проклятые «но»! Сколько их живой колючей изгородью сплетается на твердом, неуклонном пути диктатора! Как «устранить» Лебефа, если он, несмотря на свою умеренность, пользуется всеобщим уважением, как патриот и честный человек, и если несмотря ни на что самого Робеспьера так неудержимо влечет к этому старику!

Робеспьер встал со стула и несколько раз прошелся по комнате, словно пытаясь убежать от натиска всех этих сомнений и дум. Но насыщенный заботами мозг упрямо продолжал работать далее. Как же быть с этим процессом и выступлением Лебефа? Не допускать его до защиты? Но на это нет формальных оснований. Сурово подтвердить судьям и присяжным, что они не имеют права задаваться вопросами формальной справедливости, что справедливость высшая требует осуждения и казни? Но защита Лебефа может поколебать присяжных, увлечь на мгновение, а ведь одного мгновенья достаточно, чтобы отклонить меч правосудия! Конечно, Франция еще не пострадает от того, что какой-нибудь Ремюза и даже все десять обвиняемых окажутся на сво-

боде. Зато пострадает принцип, система. Этого уже никак нельзя допустить, нельзя позволить, чтобы революционный трибунал стал алтарем формальной справедливости!

Но почему Лебеф взялся за защиту именно Ремюза, а не остальных обвиняемых? Какими данными располагает он для успеха? На чем хочет построить защиту?

Лицо Робеспьера просветлело: стоит только поговорить с самим Лебефом, получить от него ответы на эти вопросы, и тогда сразу будет видно, что следует предпринять. И, взяв шляпу, Робеспьер вышел из дома.

Пройдя грязными задворками, он остановился перед низеньким, мрачным, старым домиком, весь вид которого говорил о нищете и грязи. В его окнах виделись растерзанные женщины, переругивавшиеся с соседками, слышались детский плач, грязная ругань мужчин. Где-то, должно быть, дрались, и звон разбиваемой посуды смешивался с хриплыми проклятиями и глухим шумом борьбы тяжелых тел. Но из всего этого адского концерта звонко и отчетливо вырывался истерический женский визг, которому по временам вторил противный, удивительно цинический смешок.

Робеспьер брезгливо поморщился, взял горсть песку и кинул ее в окно полуподвального этажа, из которого доносилась ругань. Сейчас же вслед за этим окно распахнулось, и оттуда высунулась растрепанная женская голова.

Этой женщине было лет пятьдесят. Когда-то она, должно быть, отличалась выдающейся красотой и ее золотистые во-

лосы до сих пор могли бы возбудить зависть любой красавицы, а жемчужно-белые зубы сверкали, как у пятнадцатилетней девочки. И теперь, придетая, она могла бы произвести впечатление. Но волосы, давно немые, нечесанные, липкими прядями беспорядочно падали на лоб, щеки и разодранный ворот грязной ночной кофты, багровые пятна бешенства, покрывавшие лицо, старили и уродовали его, а налитые кровью светлые глаза нескромно выдавали, что, несмотря на ранний час, женщина уже была сильно под хмельком.

– Что за грязная каналья... – грозно начала она, готовясь обдать нарушителя покоя каскадом отборной ругани, но вдруг съежилась и испуганно открыла рот, узнав Робеспьера. – Боже мой! Гражданин Робеспьер! – залепетала она бесконечно противным, испуганно-льстивым тоном. – Могла ли я ожидать... Я...

– Гражданин Лебеф дома? – спросил Робеспьер, холодно обрывая извинения женщины. – Впрочем, что же и спрашивать, гражданка Гюс! – с бледной, иронической усмешкой добавил он сейчас же. – Раз твой сладкий голосок разносится по всему околотку, значит, семейное счастье налицо!

– Но помилуй, гражданин Робеспьер, – ответила Аделаида Гюс, – этот святоша хоть кого из терпенья выведет! Как его еще в сумасшедший дом не упрятали! Виданное ли дело, что он затеял?.. Осмеливается выступать на защиту тех, кого признала виновными сама Великая республика, решается выгораживать подлых аристократов! Я ему уже давно

добром твердила: «Лебеф, ты играешь в опасную игру!» А ему хоть бы что! И вот сегодня узнаю...

– В этом ты права, гражданка, Лебеф действительно играет в опасную игру! – ледяным тоном согласился Робеспьер. – Но какое дело тебе до этого? Разве женщина может оценивать поступки мужчины? Это – наше дело! Берегись, гражданка! Нехорошо, когда женщина слишком много занимается политикой! Вспомни Теруань де Мерикур и ее судьбу (Собственно «Анна Тервань из деревни Мерикур». Это – одна из интереснейших личностей революции. Она родилась в 1762 г. Ее отец, богатый купец из крестьян, дал ей хорошее воспитание. Соблазненная каким-то дворянином, Анна семнадцати лет сбежала из дома. В начале революции очутилась в Париже, и здесь ее салон охотно посещали все знаменитости того периода времени. В первое время Теруань де Мерикур была чрезвычайно популярна, но ее отвращение к эксцессам и жестокостям революции сделало ее неудобной для якобинцев. Спасаясь от преследования, Т. бежала за границу, попала в Вене в тюрьму, из которой была выпущена по личному распоряжению императора Леопольда. Пребывание в тюрьме на короткое время вернуло Т. прежний ореол, но, когда по возвращении в Париж она открыто высказала свое отвращение по поводу сентябрьских убийств, к ней опять начали относиться холодно. 31 мая 1793 г., когда решался вопрос о судьбе жирондистов, Т. долго и страстно защищала на площади вблизи конвента жиронду. Окончив свою речь, она

ушла в Тюильрийский сад. Вдруг туда пришла целая толпа якобинок, так называемых «tricoteuse de Robespierre» («чулочниц Робеспьера»), которые бросились на Т. и подвергли ее мучительному сечению розгами. Теруань де Мерикур тут же сошла с ума. Ее отправили в дом умалишенных, где она пробыла до смерти (1817 г.)... А с Лебефом поговорю я сам. Позови-ка мне его!

Сказав это, Робеспьер презрительно повернулся спиной к Адели и принялся задумчиво чертить что-то тросточкой на песке. Выражение дикого бешенства скользнуло по лицу Гюс. Скрипнув зубами, она погрозила кулаком всесильному диктатору и скрылась.

Через минуту из-за угла показался Лебеф. И для него тоже время не прошло бесследно. Его волосы совершенно поседели, глубокие морщины избороздили лицо, старя его лет на двадцать. Но держался он все еще прямо и бодро.

Робеспьер искоса взглянул на Лебефа и усмехнулся его бледности и подавленности. Но он ничего не сказал. Молча поздоровавшись с ним, Робеспьер повел его в сад.

Молча пошли они по дорожкам сада: один – молодой, но хилый, с нездоровым землистым лицом, с блуждающими глазами фанатика, другой – придавленный, но не согнутый бременем тяжелой судьбы и лет, с лицом, просветленным старческим опытом, с детски-чистым взором.

Сбивая тросточкой придорожные травинки, Робеспьер начал:

– Я узнал сегодня, что ты, гражданин Лебеф, берешь на себя защиту одного из обвиняемых «процесса десяти». Почему же ты, которого я справедливо считаю столь близким и родственным себе по духу и добродетели, должен вечно становиться мне на дороге в моих заботах о благе страны? Пойми меня, гражданин, если бы на твоём месте был кто-нибудь другой... о, я не стал бы тратить слова! Одно слово, одно движение руки! Но ты... ведь мы с тобою служим одному богу, мы поклоняемся одному алтарю... Почему же наши дороги сталкиваются, почему не идут они рядом?

– Нет, гражданин, – тихо и скорбно ответил Лебеф. – Не одному богу служим мы с тобою! Мой бог – право, законность, справедливость!

– Значит, по-твоему, действия революционного правительства лишены права, закона, справедливости?

– Ты сказал...

В глазах Робеспьера вспыхнул фанатический огонек, лицо искадила бледная, грустная усмешка.

– Право, закон, справедливость! – с задумчивой иронией повторил он. – Слова, слова и слова! Волк хочет есть и утаскивает единственную овцу у крестьянина, а крестьянин хочет есть и убивает волка, чтобы сохранить овцу. Кто прав из них? Оба, а значит – никто! Только необходимость может оправдывать, осмысливать поступок... Закон! Но если революционное правительство вынуждено быть более энергичным, более свободным в своих действиях и движениях,

разве в силу этого оно становится менее справедливым и законным? Нет, гражданин, оно опирается на самый священный из законов – благо народа, и на самое неотъемлемое из всех прав – необходимость!

– И эту необходимость ты усматриваешь в гибели какого-нибудь Ремюза?

– Друг Лебеф, ты видишь личность там, где я вижу только принцип! Я говорю: закон необходимости приказывает очистить Францию от всякого элемента опасности. Эту опасность я вижу в самой природе аристократа. Вот мой принцип! Будет ли казнено десять аристократов, девять или пятнадцать – не все ли равно для Франции? Но для Франции не все равно, если будет поколеблен самый принцип ее права руководствоваться лишь необходимостью! Для Франции не все равно, если такие мечтатели, как ты, совлекут ее с пути законной защиты на путь правовой щепетильности! Тебе кажется ужасным, если среди многих виновных случайно пострадает невиновный. Ну, а для меня... Да, если бы половине населения Франции надо было погибнуть, чтобы остальная половина могла быть счастлива, если бы я сам был в числе первой половины, я, не колеблясь ни минуты, подписал бы приговор этим миллионам невинных людей и первый бесстрашно повел бы их на казнь!

– А я... – грустно возразил Лебеф. – Если бы для счастья всей Франции нужно было казнить десятерых и если бы смерть их зависела не от их доброй воли, а от моего приго-

вора, – я отказался бы подписать такой приговор и сказал бы всей Франции: «Вы не имеете права на счастье, если оно зиждется на гибели невинных!» Но к чему мы будем говорить о вещах, в которых никогда не могли сойтись, в которых никогда не сойдемся? Ты прав, гражданин, нас с тобою многое связывает, у нас много общего – хотя бы в том, что оба мы не преследуем никаких личных целей. Но наши пути различны, нам их не сблизить, не объединить... Зачем же столько слов? Участь Ремюза предрешена тобою, я вижу это. Может быть, ты даже запретишь мне выступать с защитой? Что же, там, где справедливость, право и закон заменяются одним словом «необходимость», это будет понятно и логично...

Лебеф замолчал, грустно поникнув головой. Молчал и Робеспьер, нахмуренный лоб которого отражал напряженную работу мозга. Наконец он сказал:

– Я ничего не предрешал. Но ответь мне сначала на несколько вопросов. Почему именно ты взялся за защиту Ремюза?

– Меня просил об этом аббат Жером.

– Ага! Под ризой монаха сказалась кровь маркиза де Суврэ (Имя отца Жерома до пострижения). Видно, свой своему поневоле брат!

– Полно, гражданин, разве ты не знаешь, что отец Жером совершенно порвал с аристократическими кругами и всецело посвятил себя народу? И разве он не одним из первых принес гражданскую присягу?

– Что же заставило его ходатайствовать за Ремюза?

– Отец Жером сказал мне, что, казнив Ремюза, республика потеряет одного из тех людей, которые как раз нужны для ее блага и процветания.

– Вот как? Громко сказано!.. Но к этому мы еще вернемся, а теперь объясни мне вот что: почему же ты из всех обвиняемых защищаешь одного только Ремюза? Его ты считаешь невиновным. Значит, в виновности остальных ты уверен?

– К чему употреблять выражение, от которого ты сам отрещиваешься, гражданин? Что значат виновность или невиновность? Сам же ты сказал, что волк не виноват, если, подчиняясь своей природе, тащит овцу у бедного крестьянина. Аристократ, защищая дело роялизма из убеждения, поступает доблестно и честно. Но его интересы противоположны интересам народа, и народ ограждает себя, устраняя его.

– Я понимаю виновность как вред государству!

– Ну, так из всех обвиняемых трое сознались, четверо скомпрометированы, хотя их вредоносность отнюдь не доказана. А двоих – Лион д'Анжера и Нивернэ – обвиняют лишь в том, что они аплодировали на представлении пьесы «Адель де Саси». Да ведь актриса, игравшая заглавную роль, подруга сердца Нивернэ, а д'Анжер хлопал, чтобы поддержать приятельницу друга! И подумать только, что обоих этих молокососов, которые так же мало заботятся о роялизме, как и о народоправии, для которых вся жизнь заключается в попойках, вине и картах, обвиняют в каких-то замыслах против идеи,

которая их не трогает! Все это было бы очевидно для всякого суда, но только не для революционного. Для ваших судей мало доказательств, что обвиняемый не был плохим патриотом, а необходимо еще доказать, что он был хорошим. Третьим первым моя защита не нужна: их вина очевидна. Шестерых других я мог бы защитить в приписываемых им дурных намерениях, но не мог бы доказать, что у них были хорошие. Им я все равно не помог бы, только общая защита могла бы скомпрометировать последнего – Ремюза.

– Значит, у тебя имеются доказательства, что Ремюза добрый патриот?

– Да, гражданин!

– Вот как? Какие же?

– Ремюза отказался от дуэли с Морни потому, что считал свою жизнь принадлежащей отечеству. Как раз в момент ареста он писал заявление о желании поступить в национальную армию, но комиссар Крюшо, арестовавший его, почему-то скрыл этот факт. Затем, помнишь ли, гражданин, брошюру «О задачах конституционного и революционного режимов»?

– Подписанную «гражданин Азюмер»? Еще бы! Я был поражен сходством мыслей этого Азюмера со своими собственными и чрезвычайно жалел, что не мог дознаться, какой добрый патриот скрывается под этим именем!

– Ну так прочти его наоборот, и тебе станет ясным, что Азюмер, это – Ремюза!

Робеспьер резко остановился и от волнения даже схватил Лебефа за руку.

– Может ли это быть? – пробормотал он. – Так это – Ремюза? «Задача конституционного правления – сохранить республику, задача революционного – создать ее. Можно ли охранять то, что еще не окончено созиданием? Можно ли требовать конституционных гарантий от революции?» А дальше! «Революция – война свободы против тирании и рабства; конституция – режим победоносной свободы. Лицемеры! Можно ли испечь хлеб, не размолот зерна? Вы же требуете хлеба и негодуете, когда мелют муку!» Но ведь это – мои мысли, Лебеф, мои собственные, кровью мозга выношенные мысли! И этого-то человека... Иди, Лебеф, иди! Иди, и да благословит тебя Высшее Существо!

– Значит, ты ничего не имеешь против моей защиты, гражданин? – спросил обрадованный Лебеф.

Лицо Робеспьера стало ласковым, просветленным, пронизанным детской чистотой. С бесконечно милой улыбкой он ответил:

– Позволяю тебе не только защищать, но и защитить Ремюза! И не бойся ничего: я успею сказать словечко-другое президенту Герману и присяжным! Ступай, не заботься ни о чем! О, Высший Разум, правящий миром! Неисповедимы пути Твои, которыми приводишь Ты нас к познанию истины!

Робеспьер простер вперед руки и замер в позе верховного жреца, в горячем молении слившегося со своим божеством.

Лебеф радостно пошел домой. На повороте он обернулся и еще раз посмотрел на диктатора. Из-за потускневшей зелени кустов виднелась тонкая, высокая фигура Робеспьера. В восторженном порыве по-прежнему простерты были вверх его безмускульные руки, глаза невидящим взором устремлялись к небу. Солнце, пробиваясь сквозь листву тополей, кидало на его лицо золотистые кружки и сверкающим сиянием играло в волосах. И весь он был какой-то необыкновенный, особенный, неземной.

– Странный человек! – пробормотал Лебеф. – Что же такое – добро и зло? Боже, просвети меня! Детски незлобива душа Робеспьера, жестоки поступки его. Жаждой добра и справедливости горит его мозг, деянья его – гибель и несправедливость. Из одного блага соткан он. Как же могло благо породить вопиющее зло? Но ведь и мир был создан совершенным. Или и в самом деле зло – тот огонь, который необходим для очищения добра? Как постигнуть пути Твои, Господи?

Лебеф даже остановился, лихорадочно объятый неразрешимостью этих мучительных вопросов. Но тут же в его сознании радостно мелькнула мысль о спасении Ремюза, и эта мысль перевесила в нем все остальное. Бодрым шагом поспешил он к себе домой.

Адель и друг ее сердца – агент Жозеф Крюшо – все еще сидели в первой комнате за бутылкой вина. Они о чем-то горячо беседовали, но при входе Лебефа на полуслове оборва-

ли разговор.

– Ну-с? – с иронией спросила Адель. – Ты не будешь защищать аристократа?

– Буду, – лаконично ответил Гаспар, проходя к себе в камеру.

– Негодяй! – бешено крикнула Адель и сделала движение, чтобы вскочить и броситься за Лебефом, но Жозеф удержал ее за руку и сказал:

– Оставь! Ты со своей крикливостью только без толкуводишь на подозрения, а ведь, знаешь ли, самое скверное, когда начнут копать да докапываться... Что может значить какой-нибудь Лебеф в хитро налаженной механике национального правосудия? Разве защитительная речь Десеца была плоха, разве не сумел он растрогать и взволновать всех слушателей? Ну и что же? Разве это помешало казнить короля? Полно, друг мой, защита – такая же комедия, как и весь наш суд!

– Но удалось же Гаспару отстоять подряд добрый десяток обвиняемых!

– Да, но каких обвиняемых! Все это были жалкие забытые парни, не имевшие ни характера, ни ума, ни энергии, они были ровно никому не опасны, а так как у них не было никакого состояния, то их смерть была бы абсолютно бесполезна. Ремюза... Не забудь, что он очень богат. Помнишь речь Камбона, которому мы так аплодировали? «Хотите покрыть несчетные расходы на ваши четырнадцать армий? – гильоти-

нируйте! Хотите погасить ваши неисчислимые долги? – гильотинируйте!» Да-с, друг мой, если в наше время человека обвиняют в таких тяжких преступлениях, как аристократическое происхождение и богатство, то какому-нибудь Лебефу трудно подыскать оправдательные мотивы! Все дело в том, что решил Робеспьер.

– Но я именно и боюсь, что чувство благодарности перевесит в нем...

– Чувство благодарности? – перебил свою подругу Крюшо, расхохотавшись с таким видом, будто она сказала что-то очень остроумное. – Ну, знаешь ли, наш Максимилиан Великий не страдает этим недостатком! Уж не из чувства ли благодарности он держит столько времени в тюрьме человека, против которого... словом... Ну, да мы одни с тобою, а ты ведь не хуже меня знаешь, что против Ремюза нет ни малейших улик! И несмотря на это, Робеспьер палец о палец не ударил для него! Нет, я скорее думаю, что Робеспьер не может простить Ремюза ту услугу, которую оказал ему этот дворянчик!

– Значит, ты думаешь, что с ним кончено?

– И это тоже трудно заранее решить. Повторяю тебе: все зависит от того, к чему придет Робеспьер. Во всяком случае было бы гораздо лучше, если бы его убрали. Конечно, как я тебе только что говорил, нужно особое совпадение обстоятельств, чтобы мы столкнулись все вместе, потому что помнит меня в лицо только девчонка, а она, слава Богу, прикова-

на креслу. Но... как знать! Во всяком случае у меня свалится с сердца большая тяжесть, когда голова этого молодчика скатится с плеч... Однако нам пора в суд! По крайней мере, мы сразу узнаем, как обстоит дело! Одевайся-ка да пойдем!

– Ладно! – ответила Адель и, не стесняясь присутствием Жозефа, принялась тут же приводить в порядок свой туалет.

Глава 5

И процесс, и приговор по «делу десяти» вполне удовлетворили слушателей, в изобилии набившихся в зал суда. Еще бы – семерых приговорили к смертной казни, двоих – к вечному изгнанию и конфискации их имущества. А какое наслаждение было слушать сильную и страстную речь Фукье-Тенвиля, каждое слово которого казалось ударом молота, вгоняющего новый гвоздь в гроб обвиняемых!

Даже полное оправдание последнего из обвиняемых – Ремюза – отнюдь не испортило общего впечатления. Оправдание одного придавало особый ореол осуждению девяти, как бы оправдывало справедливость последнего. Кроме того, Ремюза сразу завоевал симпатии, как выгодной наружностью, так и удивительно благородной манерой держать себя на суде, манерой, в которой сказывались и прирожденное достоинство, и глубокое уважение к суду. Да и прекрасная речь Лебефа, легкость, с которой он разбивал все доводы обвинения, восхищали слушателей. И когда в пылу прений рассерженный Фукье воскликнул, что защита аристократа есть уже прямая измена народу, так как народ не может и не должен прощать происхождение от ряда угнетателей, какой гром аплодисментов покрыл ответ Лебефа:

– Высшая измена народу, это – клевета на него! А гражданин-обвинитель клеветает на великий французский народ,

приписывая ему чувства мелкой и злобной мстительности. Он клеветает и на высокий трибунал, перед которым мы находимся, предполагая, что это – орган мести, а не справедливости! Так я ли совершаю измену своему народу, указывая на опасность пути, по которому пошел гражданин-обвинитель?

Только двое слушателей были явно не удовлетворены исходом процесса, и во взгляде, которым они обменялись после произнесения приговора, чувствовались испуг и раздражение. Это были Адель и Крюшо.

– Ну погоди же ты у меня! – злобно прошептала Адель, угрюмо посматривая в сторону скамьи подсудимых, где Ремюза радостно пожимал руки своему защитнику. – Будешь ты у меня помнить, как устраивать такие гадости! Я тебе покажу...

– Да будет тебе глупости молоть! – раздраженно перебил ее Крюшо, сильно дернув за рукав. – Уж ты и в самом деле готова верить, что оправдание Ремюза – следствие талантливой защиты? Смех, да и только! Твой Лебеф – такая же марионетка, как и все эти строгие судьи и присяжные! Подумать только – троих защитников председатель подряд лишил слова, а этому молодчику дал выболтаться до конца... Смотри, смотри! – с испугом шепнул он вдруг, растерянно впиваясь взглядом туда, где стояли Ремюза и Лебеф.

Адель взглянула и так стиснула пальцы, что кости звонко захрустели. Действительно к Ремюза с приветливой улыбкой

шел Робеспьер. Вот он подошел к нему, горячо пожал руку и стал говорить что-то, потом полуобнял за плечи Лебефа, после чего все они стали пожимать друг другу руки.

– Жозеф! – с ужасом прошептала Адель.

– Да, вот где опасность... – начал было Крюшо, но вдруг сразу его голос пресекся: под влиянием его пристального взгляда Ремюза обернулся и сказал что-то Робеспьеру, который тоже обернулся и пристально посмотрел на агента.

– Пойдем отсюда, – шепнул Крюшо вставая, – и помни: ни слова упрека Лебефу! Все дело повернулось в самую скверную сторону... У них явились подозрения... Будь приветлива и мила с Лебефом, наговори ему комплиментов по поводу его защитительной речи. Это собьет их с толка... Иначе беда!.. А, гражданин Дюран! – приветливо заговорил он, кланяясь высокому, толстому мяснику, проталкивавшемуся мимо них к выходу. – И вы тоже здесь? Не правда ли, как возвышает и облагораживает душу созерцание этого нелицемерного народного судилища?

– Истинно так, гражданин комиссар! – ответил толстяк, с силой потрясая своей огромной мохнатой лапищей тонкую, жилистую руку Крюшо. – Мое почтение, гражданка! Да-с... зрелище, поистине возвышающее душу настолько, что... не худо бы выпить за здоровье наших судей!

– Вот истинно патриотическая мысль! – подхватил тонкий, вертлявый мужчина лет тридцати, с плутоватыми, бегающими глазами и головой иезуита, на которой взгляд

невольню искал следы тонзуры (У католических священников: выбритое место на макушке.).

И действительно гражданин Фyшэ готовился к духовной деятельности, но его вырвал из нее ураган революции.

– Так пойдем к отцу Рено промочить глотку! – весело подхватил Дюран, увлекаая за собой Крюшо с Аделью и Фyшэ и заывая по дороге всех встречных знакомых.

В кабачок отца Рено они пришли уже довольно внушительной толпой, для которой пришлось сдвинуть вместе несколько столиков. Через минуту дочь кабатчика, восемнадцатилетняя Сесиль, притащила целую корзину вина, которую впору было бы донести любому парню. Но Сесиль – тонкая, очень красивая – отличалась недюжинной физической силой, и, когда Дюран на правах старого знакомого вздумал облапить ее и посадить на колени, она энергичным движением сразу освободилась от него. Затем, подняв из-под густо сросшихся черных бровей пламенно-угрюмый взгляд темных глаз, девушка коротко спросила:

– Ну?

– Все обошлось на славу, красавица! – ответил Дюран, с полуслова понимая вопрос любимицы. – Семерых отправили в гостеприимные объятия матушки-гильотины, двоих изгнали!

– Семь и два – девять! – лаконично заметила Сесиль.

– Ах, ты, ненасытная! Десятого – Ремюза – оправдали. Да и то сказать, гражданин Лебеф мастерски провел его защиту

и доказал...

– Или вернее: ему позволили доказать! – поправил Фушэ, вытягивая свою лисью мордочку.

– Доказал невиновность Ремюза, хочешь ты сказать, гражданин? – с усмешкой договорил Крюшо. – Полно, господа, будем, прежде всего, справедливы! Конечно, нельзя отрицать, что Лебеф произнес красивую, дельную речь. Но, как заметил гражданин Фушэ, Лебефу именно «позволили» произнести эту речь. Ведь зажал же честный Герман рот остальным защитникам! Может быть, они тоже сказали бы что-нибудь дельное, привели бы убедительные доказательства! Но к чему? Участь их подзащитных была заранее решена, так зачем же даром терять время?

– Да разве участь Ремюза тоже не была решена заранее? – спросил подмигивая Фушэ.

– Да... но... для обвинения всегда есть мотив: патриотизм. А для оправдания... Тут надо было втереть очки общественному мнению. Вообще я никого не осуждаю, я понимаю: все мы – люди. Но будем же справедливы в оценке фактов, граждане! Вы вот говорите, что Лебеф что-то доказал. Но вы судите по тому, что вы слышали, а я... Не забудьте, что первоначальное следствие вел я! Ну, так вот: те улики, которые были приведены на суде, принадлежат к числу самых невинных, а были и посерьезнее... Но – странное дело! – ни на допросах, ни на суде о них и речи не было. – Крюшо встретил пыливый, явно ироничный взгляд Фушэ

и невольно смешался, поняв, что пронырливому расстриге отлично известно, что комиссар лжет самым бессовестным образом; но во взгляде Фушэ, кроме иронии, чувствовалось открытое одобрение этой лжи, и Крюшо быстро оправился: он вспомнил, что Фушэ принадлежал в конvente к числу тех лиц, которые осторожно, тайно, но упорно подкапывались под Робеспьера. – Я опять повторяю: не будем осуждать, но останемся справедливыми! – продолжал он. – Робеспьеру не так-то легко отправить на гильотину человека, оказавшего ему личную услугу. Велика ли беда, если одним аристократом останется больше? Франции это не повредит, а...

– Ну да «мне это ничего не стоит, а им доставляет большое удовольствие!» – как ответила на исповеди молодая грешница, спрошенная духовником, почему она так уступчива в грехе, – вставил Фушэ.

– Я не могу допустить, чтобы Робеспьер был способен из личных чувств пойти против справедливости и блага государства! – заявил нахмуриваясь Дюран.

– О, конечно, тебе трудно поверить этому! – насмешливо возразил Крюшо. – Помнишь, что ответил тебе наш великий человек, когда ты пришел просить к нему за сына своего друга: «Какое дело государству до личных чувств? Берегись, гражданин! Ходатайствуя за преступника, ты сам взваливаешь на себя часть его вины!»? Но ведь это он говорил про других! Ну, а для себя у него другие законы.

– Робеспьер – гнусный, вредный лицемер! – резко заявила

Сесиль, сверкнув пламенным взором. – Фу, гадость какая!.. Помесь сентиментального попа с бездушным палачом. Он – истинный бич Франции, но он сумел забрать нас всех в руки, застращать! Ах, вы, мужчины! Но ничего: если мужчины слишком малодушны во Франции, чтобы сбросить рабское ярмо, то за родину встанет женщина. Слава Богу, Шарлотты Кордэ еще не перевелись у нас!

Крюшо и Адель переглянулись многозначительным взглядом, но сейчас же опустили глаза под насмешливо-пытливым взором Фушэ. Дюран испуганно вскрикнул:

– Сесиль! Безумная девчонка!

Рено окинула толстяка пламенно-холодным взглядом и ответила:

– Ты боишься, что на меня донесут? Ну так пусть! Все равно, мне своей участи не избежать. Однако я исполню до конца свой человеческий долг: осуждать зло повсюду, где его вижу, а, может быть, судьба пошлет мне счастливый случай и... – она не договорила и, резко отвернувшись, вышла из комнаты.

– Вот шалая! – сокрушенно вздохнул Дюран. – И ведь всегда она была такой бешеной! Бывало, маленькой девочкой забьется в угол и сидит, как волчонок. Однажды отец хотел ее силой вытащить, так она ему все руки искусала. Рассердился отец Рено, схватил ее в охапку, задрал юбочку, да и отстегал ремнем. Сесиль выдержала наказание не пикнув, но, как только отец ее выпустил, схватила глиняную плоску

да и пустила ему в голову. Рено опять выпорол ее, а она о него полдюжины стаканов разбила. Побился, да и перестал! Поди-ка, справишься с таким зверенышем! А уж невзлюбит кого, так лучше не подходи. Например, ее ненависть к Робеспьеру! Ну что ей за дело до Робеспьера? А ведь вот не возлюбила, так на самую последнюю крайность готова!

– Хэ-хэ-хэ! – захихикал Фушэ. – Ты плохо осведомлен, гражданин Дюран! В данном случае, как и всегда, действуют личные мотивы! Это ведь в теории хорошо выходит, что личные мотивы должны отступать на задний план, а фактически весь мир движется ими! Особенно, если еще крылатый божок Амур вмешается.

– Что ты говоришь, гражданин Фушэ? – удивленно спросил Дюран. – Не хочешь ли ты сказать, что Сесиль влюбилась в Робеспьера?

– О, нет, но здесь довольно презабавная связь причин. У Сесиль имеется друг детства, очень миленький юноша...

– Сипьон Ладмираль? Писец в канцелярии конвента?

– Вот именно! Их связывала самая нежная дружба, которая у Сесиль перешла в страстную любовь, такую же дикую, как она сама. Но Сипьон втюрился, словно безумный, в Терезу Дюплэ, а Дюплэ, как известно, на всем свете видит одного только Робеспьера. А последний так влюблен в «народное благо», что не находит времени увенчать любовь нежнейшей из своих поклонниц!

– Но я не вижу здесь прямой связи! Если бы Сесиль нена-

видела Терезу, это – другое дело! А так...

– Однако это очень просто. Сесиль находит, что помехой ее счастью является лицемерное целомудрие Робеспьера. Если бы наш великий человек увенчал страсть Терезы, Сипьон убедился бы, что для него все потеряно, и вернулся бы к Сесиль. Так, по крайней мере, думает эта девчонка!

– Но ведь здесь нет логики!

– Эх, папа Дюран, захотел ты логики от женщины, да еще в делах чувства!

– Но как ты знаешь всю подноготную, гражданин! – с восхищением воскликнул Крюшо.

– О, да, я действительно знаю очень многое! – ответил тот, насмешливо подчеркнув два последних слова и сопровождая их таким взглядом, от которого у Крюшо невольно побежал холодок по спине.

«Проклятый расстрига! – подумал он, невольно кидая злобный взгляд на Фушэ. – Он знает все! Но откуда, как? Ах, да не все ли равно? Но что за несчастный день сегодня!»

Крюшо почувствовал, что обычная подвижность и изворотливость ума совершенно покидают его, что ему необходимо наедине все обдумать и решить. Поэтому он кивнул Адели и встал из-за стола. Но и Фушэ тоже встал, сказав:

– Нам по пути, пойдем вместе, гражданин!

Они простились и вышли. Всю дорогу они шли молча, и каждый раз, когда Фушэ быстрым движением поднимал взор, он встречался с недобрый взглядом Крюшо. Но Фушэ

только усмехался в ответ и продолжал молчать.

Наконец они остановились у дома, где жил Фушэ. У калитки он взял Крюшо за пуговицу фрака и сказал:

– Вникни в то, что я тебе скажу, гражданин, и запомни мои слова. Тебе совершенно ни к чему смотреть на меня так враждебно. Я знаю очень многое, и в этих сведениях – моя защита против недругов. Но я никогда не пользуюсь своими тайными сведениями против людей, которые для меня безвредны, а тем более не стану пользоваться против того, кто действует в моих планах и интересах. Ты пошел правильным путем, Крюшо, иди же им и дальше. Правда, тебе не хватает тонкости: если хочешь уронить идола в глазах почитателей, никогда не поноси его, а, наоборот, защищай, но так, чтобы эта защита была обвинением. Пойми, что в массе страшно развито чувство противоречия. Если ты, например, хочешь оттенить чье-либо пьянство, никогда не принимайся ругать его за этот порок, потому что всегда найдутся такие, которые станут защищать, и неизвестно еще, что перевесит. Зато представь себе, что ты заговоришь так: «О, да, конечно, он пьет очень много, но, господа, при его тяжелой работе и жизни... Разве можно осуждать? К тому же это у него наследственное: его отец и дед были пьяницами! Но ведь он напивается всегда наедине, так что его опьянение никого в соблазн не вводит. При этом он не шумит, не скандалит, а свалится где-нибудь на пол да и спит». Поверь, чем жарче ты будешь защищать его таким образом, тем больше отвраще-

ния внушишь слушателям к защищаемому, и в конце концов кто-нибудь непременно воскликнет: «Как можно защищать такое животное? Фу, какая гадость! Что за мерзкая свинья». Ты ведь именно и хотел бы, чтобы это было сказано? Но зато это сказал не ты – тут большое преимущество! Так-то, друг Крюшо! Но в общем я тобой доволен. Продолжай действовать так, колебли пьедестал идола! Ну, а под конец можно приберечь и девчонку! Если ее натравить как следует... Ведь она страстная, смелая, ловкая и сильная! Много ли человеку нужно? Маленькая царапинка ножичком... ранка шириной в полдюйма да глубиной дюйма в два, ну, и... заготовливай прочувствованную надгробную надпись, хэ-хэ-хэ! Так-то, друг Крюшо! А меня тебе бояться нечего! – и Фушэ, хитро подмигнув комиссару, приветливо поклонился и скрылся в калитке дома.

Несколько секунд Жозеф простоял, словно оглушенный, потом выражение бешеной злобы искривило его лицо, а пальцы судорожно сжались в кулаки.

– Что с тобой, Жозеф? – удивленно спросила Адель. – Опомнись, разве Фушэ не прав? Разве он тебе не друг? Разве вас не связывают общие интересы, общая цель?

– Фушэ прав, – замогильным голосом ответил Крюшо, – нас связывают общие интересы, общая цель. Но он – не друг мне, а главное, он знает все. Я – лишь орудие в его руках, и стоит мне отказать ему в повиновении, моя песенка будет спета. О, быть игрушкой в руках этого хитрого расстриги...

Адель, меня мучают дурные предчувствия! Над моей головой собираются тучи!

Предчувствия редко оправдываются, когда они основываются на пустых предзнаменованиях или на причинах внутреннего характера: упадке нервов, болезненности или просто малодушии. Но когда эти предчувствия диктуются не чувством, а разумом, когда они основываются на правильно истолковываемых фактах, тогда с ними необходимо считаться.

Для Крюшо такими фактами были оправдание Ремюза, его возобновившаяся дружба с Робеспьером, взгляды, которые кинули на него тот и другой. И действительно, если тут еще не было грозowych туч, уже скопившихся над самой головой Крюшо, зато на горизонте явственно виднелось пятнышко, возвещавшее о возможности наступления непогоды.

Когда Ремюза кинулся жать руки и благодарить Лебефа, последний поспешил отклонить благодарность.

– Полно, полно, гражданин! – смущенно отбивался он. – При чем здесь я? Не меня надо вам благодарить, а... а вот его! – договорил он, указывая на подходившего к ним Робеспьера.

Ремюза кинулся к нему с благодарностью.

– Гражданин! – сказал Робеспьер, горячо пожимая руку оправданного, – я уверен, что как истинный патриот, которым ты оказался по расследованию, ты не поставишь мне в вину, если я не воспользовался своей властью в личных це-

лях. Ты понимаешь сам, что моя благодарность тебе за спасение сестренки бесконечна, но это – благодарность Робеспьера-человека, не имеющего ничего общего с Робеспьером-деятелем. Если бы я выпустил гражданина Ремюза из тюрьмы только потому, что этот Ремюза когда-то оказал мне величайшее благодеяние, то по логике вещей я должен был бы сажать в тюрьму всех тех, кто когда-либо прежде оскорбил меня. Но Франция, моя прекрасная родина, осталась бы в стороне... Во что же превратилась бы власть? В сведение личных счетов! Значит, если ты не можешь упрекать меня за свое безвинное заключение в тюрьме, то тем менее имеешь право благодарить за освобождение. Но вот его, – и он указал на Лебефа, – ты можешь благодарить, как должен благодарить его и я! – Робеспьер обнял за плечи защитника Ремюза. – Ведь благодаря ему я узнал, кто такой – гражданин Азюмер! Но что ты так смотришь в публику, гражданин?

– Я почувствовал на себе пристальный взор ненависти, оглянулся, словно от толчка, и увидел того самого комиссара, который арестовал меня, – задумчиво ответил Ремюза. – Его лицо, говор, манеры – все является для меня мучительной загадкой. Я уже видел его когда-то, но когда, где, под каким именем? – не знаю, не могу вспомнить! Но нас с ним что-то связывает, это бесспорно. Во всяком случае во всем, что касалось моего ареста, им руководило не служебное рвение, а что-то личное, это для меня совершенно ясно!

Робеспьер, еще при первых словах Ремюза оглянувшийся

на Крюшо, недовольно нахмурился и сказал:

– Да, этот человек подозрителен мне самому! Но не будем отравлять себе эту приятную минуту – всему свой черед, и делом Крюшо я серьезно займусь. А теперь я хотел просить тебя, гражданин Ремюза, чтобы ты оказал мне честь и пожаловал сегодня ко мне обедать. Я знаю человечка, который будет очень рад повидать старого знакомого! Приходи, конечно, и ты, друг Лебеф! Сейчас у меня имеется небольшое дело, а часа через полтора я к вашим услугам! Ну, так жду непременно! – и, ласково кивнув головой, Робеспьер прошел дальше.

Люси Ренар грустно сидела в своем колесном кресле и с печальной улыбкой слушала страстную речь Терезы Дюплэ.

Тереза, дочь столяра Дюплэ, квартирохозяина Робеспьера и присяжного революционного трибунала, была высокой, хорошо сложенной, сильной девушкой с красивым, энергичным лицом. Густые черные брови шли ровной чертой, сливаясь над переносьем, и придавали лицу суровое выражение, которое многих отталкивало. Но и поклонников у девушки было тоже немало; однако Тереза была глуха и слепа ко всем исканиям, так как на всем свете видела одного только Робеспьера. В ее глазах тщедушный Максимилиан был полубогом, героем классической древности, непобедимым, мощным титаном. О, как хотелось бы Терезе стать всем для него! Но Робеспьер, не знавший никаких чувственных страстей и из-

лишеств, живший в тесном кругу своих фанатических идей, как-то не замечал страсти Терезы. Даже не то что не замечал – нет, он не раз говорил ей, что не желал бы себе лучшей жены, чем она, но, по его мнению, теперь, когда молодая республика требовала особенных забот о своем преуспейнии и целости, для него, Робеспьера, призванного свыше спасти родину, было бы преступлением отдаваться каким-либо личным чувствам. Поэтому каждый раз, когда Робеспьер отдыхал в обществе Терезы – а это было для него лучшим отдыхом, – он говорил ей исключительно о своих великих планах, задачах и целях. Ей льстило его деловое доверие, но все же много, очень много отдала бы она за то, чтобы сквозь ровный металлический тембр его голоса просочились хоть раз воркующие нотки пламенеющей страсти. Быть другом, поверенным – прекрасно, но быть только другом... Ах, ведь Тереза любила Робеспьера, любила не менее пламенно, свято, глубоко, чем ее саму любил Сипьон Ладмираль, чем любила последнего Сесиль Рено.

О своей любви и бесстрастии Робеспьера и говорила теперь Тереза Люси.

– Меня убивает эта холодность сердца, открытого только для политики! – жаловалась она. – Как он может быть так жесток со мною? Ведь он видит, что я мучаюсь, сгораю на медленном огне, схожу с ума от тоски и страсти! Словно нищий, я молю хоть корочку хлеба, а он спокойно протягивает мне камень дружбы.

– Но, милая Тереза, – со слабой улыбкой возразила Люси, – не подходит ли к твоему положению пословица «как аукнется, так и откликнется». Ведь и ты сама не очень-то благосклонно относишься к поклонению Ладмираля, который сходит с ума по тебе не меньше, чем ты по дяде Максиму!

– Ах, ну как ты можешь сравнивать, Люси! – с негодованием воскликнула Тереза. – Это – совсем другое дело! Сипьон противен мне, я не переношу людей, у которых нет ни малейшего чувства собственного достоинства! Разве это – мужчина? Он то хнычет, валяясь у моих ног и целуя оборку моего платья, то вдруг начинает грозить, хватается за нож... И все же, если бы я не любила другого, если бы я не знала, что Сипьона глубоко и искренне любит другая, чувство которой он растоптал, изменив без всякого основания... тогда я была бы добрее с ним, постаралась бы полюбить его. Но ведь я люблю другого! А Робеспьер никого не любит! Я не прошу его отдать мне то, что предназначено его сердцем другой... Даже больше: он не раз давал мне понять, что из всех женщин только я одна могла бы заставить заговорить струны его сердца. Почему же они все-таки молчат, эти струны? О, меня иной раз просто пугает эта сверхчеловеческая холодность, это неземное величие духа... Робеспьер стоит за гранью человечности, он перерос бури личных страстей, ему неведома теплота личного счастья!

– Да, ты права! – тихо промолвила Люси, и из ее кротких глаз брызнули слезинки, жемчужинами скорби сверкнувшие

на бледной коже нежных щек. – Дядя Макс крепко держит свое сердце на цепи, и не у него найти участие страдающему, теплому сердцу. Но ты еще счастлива, Тереза, у тебя есть надежда, есть возможность увенчать свои желания... А если и нет, так ведь ты все равно близка душой любимому, ты делишь его мечты и планы, постоянно имеешь его перед собою. А я...

Слезы потоком брызнули из глаз Люси, и рыдания заглушили слова.

– Люси, птичка бедная! – тревожно воскликнула Тереза, тут же забывая о своем личном горе и кидаясь к подруге, которую она нежно любила. – В чем дело? Значит, и у тебя завелась сердечная тайна? Но ты никогда не говорила мне ни слова об этом!

– Не говорила, потому что знала, что я не найду у тебя участия своему горю.

– У меня?! Нет, Люси, ты всегда найдешь его!

– Даже если ты увидишь, что это горе исходит от твоего божка. Не думаю, Тереза, ведь у тебя всегда найдется слово в защиту Робеспьера. Но все равно! Я слишком слаба, чтобы страдать втайне, я должна поделиться с кем-нибудь своим несчастьем, иначе оно задушит меня. Ах, Тереза, Тереза!.. – Люси заплакала, но сейчас же усилием воли подавила рыдания и продолжала: – Помнишь, я рассказывала тебе, как несколько негодяев похитили меня и... совершили насилие. Мне грозила смерть, но судьба послала мне на помощь от-

важного рыцаря, который освободил меня из рук негодяев. А теперь, сегодня, этого храброго, честного, бесконечно порядочного человека судят, как преступника... мало того, его непременно осудят... Лебеф говорил мне, что против него нет ни малейших улик, но... дядя Макс во что бы то ни стало хочет осуждения его. Я понимаю, в чем тут дело: ведь Робеспьер больше всего на свете боится, как бы его не обвинили в послаблении преступнику из личных целей. Этот несчастный спас меня, и это-то и служит причиной его гибели. Тереза, я не могу больше! У меня сердце разрывается; я не переживу Ремюза... О, лучше бы я погибла сама, лишь бы не быть причиной его гибели!

– Бедная, бедная Люси! – Тереза опустилась на колени около несчастной женщины и нежно обняла ее. – О, Робеспьер! – вздыхая продолжала она, – ты взобрался на недостижимую высоту, откуда тебе уже не видно земли с ее радостями и страданиями! Ты один в этой холодной пустыне и... порою блуждаешь, сбиваясь с пути! Ведь он любит тебя, моя маленькая Люси, любит глубоко и нежно. И если даже ты не можешь смягчить это стальное сердце, чего же ждать мне? Бедная, бедная птичка! Значит, ты очень любишь своего спасителя? А он тебя?

– Ах, не знаю! Я никогда не думала об этом! Все равно мне нечего было и мечтать о счастье. Что я такое? Несчастливая калека, да еще растленная, падшая, а он – высокий, чистый, прекрасный. Нет, я никогда не рассчитывала на взаим-

ность! В первое время, когда он чуть не ежедневно бывал у нас в Аррасе, я просто наслаждалась его близостью, звуками его голоса, взором его прекрасных глаз. Потом я заболела... Очнувшись после долгого беспомощства, я была так слаба, что не думала ни о ком и ни о чем. Потом явилось воспоминанье, воскресло прежнее тихое чувство. Я узнала, что он уехал путешествовать, и благословила его мысленно. С тех пор я жила мечтой о нем. Ремюза постоянно был около меня, я поверяла ему свои молитвы, надежды, огорченья, и жизнь уже не казалась мне такой тяжелой. И вдруг меня словно громом поразила весть: Ремюза вернулся, замешан в процессе десяти, и его ждет суд... О, этот суд! Но я все еще надеялась. Ведь дядя Макс имел возможность хорошо узнать Ремюза, узнать, что этот человек не может быть преступником. Но все напрасно, участь Ремюза решена! Только чудо может спасти его, да где теперь чудеса? Правда, маленькая надежда у меня еще есть – ведь его защищает Лебеф, а судьи и присяжные знают, что Лебеф защищает лишь тех, в невинности которых он уверен. Однако ведь ты знаешь, что мнение великого Робеспьера важнее закона, справедливости, личного убеждения судей, а сегодня я убедилась, что это мнение – не в пользу Ремюза. Ах, Люси, я с ума сойду от одного ожидания! Каждый нерв, каждая жилка, каждая частица мозга напряжены до последней степени! Хоть бы скорее узнать что-нибудь наврное!

Тереза молча смотрела на Люси, не находя слов утеше-

ния и ободрения. Да и чем можно было утешить несчастную? Тереза ставила на ее место себя, а на место Ремюза – Робеспьера, и сознавала, что перед такой страшной действительностью слова слишком бессильны. Но ей хотелось хоть несколько отвлечь несчастную от ее тревожных дум, и поэтому она спросила:

– А скажи, кстати, Люси, ты не знаешь, какая участь постигла этих негодяев, которые... сделали тебя несчастной?

– Один из них, хозяин имения, где все это произошло, и главный виновник моего... несчастья, граф де Понте-Корво, был тут же убит на месте. Двое его сообщников бежали. Хотя они и были в масках, но дяде удалось быстро узнать, кто это были. У Понте-Корво как раз гостило двое друзей, которые скрылись после этой истории. Один из них – виконт Гальен – нашел защиту в лице королевы, так что оказался недостижимым для правосудия; потом он эмигрировал в Англию. А другой – самый главный зачинщик, спаивавший слабоумного графа и толкавший его на всякие мерзости – его звали шевалье де Бостанкур, – исчез без следа... О, Тереза, если бы ты видела это чудовище! Кажется, умирать буду, так не забуду этого зверского лица, этих холодных, жестоких глаз!

– Но ведь ты только что сказала, что они были в масках?

– Да, но, когда эти негодяи бросились на меня в охотничьем домике, я оказала им сильное сопротивление, и во время борьбы маска у Бостанкура отцепилась, так что я могла увидеть его лицо. О, где бы то ни было, я всегда узнаю его!

Знаешь, Тереза, страшная власть, которой пользуется дядя Макс, всегда пугает меня, но я благословила бы ее, если бы судьба помогла мне найти этого негодяя. Да только где же? Ведь я – жалкая калека, я не выхожу за пределы дома, а этот Бостанкур, если даже он в Париже, поостережется нанести мне визит. Но что это? Шаги! Это дядя Макс! – девушка смертельно побледнела и схватилась рукою за сердце.

Действительно это были шаги Робеспьера, и скоро его голос весело окликнул Люси из-за двери:

– Ты одета, птичка? Можно привести к тебе гостей?

Люси хотела ответить, но судорога так сдавила ей горло, что несчастная женщина не могла выговорить ни звука: дядя Макс вернулся – значит, суд кончен, участь Ремюза выяснилась. Какова же эта участь? Люси чувствовала, что ее сердце от волнения останавливается.

За нее ответила Тереза:

– Можно, можно, Люси одета!

Дверь открылась, в комнату вошли Робеспьер, Лебеф и... Но, увидев этого третьего, Люси смертельно побледнела, ее глаза расширились, из груди вырвался хриплый стон. И вдруг несчастная калека, столько лет просидевшая недвижимо в кресле, простерла вперед руки и встала на ноги. Но тут же ее глаза закрылись, и, пораженная счастьем, Люси безжизненно съехала на пол.

Поднялся невообразимый переполох. Тереза подхватила несчастную на руки и словно ребенка отнесла на кровать,

Лебеф кинулся за доктором, Ремюза побледнел и ухватился за оконную раму, чтобы не упасть от волнения. Только Робеспьер продолжал стоять на месте, сохраняя полное хладнокровие.

Положив Люси на кровать, Тереза подбежала к Робеспьеру и сказала с горячей укоризной:

– Ты убил ее, гражданин! Ты ведь должен был знать, как волновалась она за участь человека, к которому всю жизнь питала самое нежное, самое горячее чувство! Как же мог ты привести его теперь к ней, не предупредив, не подготовив?

При этих словах Терезы Ремюза вздрогнул, посмотрел на девушку недоумевающими, растерянными глазами и затем, пошатываясь, неверным шагом, словно лунатик, подошел к кровати, на которой лежала бесчувственная Люси.

– Радость не убивает, но часто излечивает! – тихо ответил Робеспьер, улыбаясь Терезе нежной, ласковой улыбкой. – Очень возможно, что благодаря испытанному волнению моя бедная Люси избавится от своего недуга и опять к ней вернется утраченное обладание ногами. Да, воистину неисповедимы пути Всевышнего! Ремюза когда-то спас жизнь Люси, теперь ему же суждено сделать одним своим появлением то, в чем сказалось бессилие лучших врачей. А ведь не будь этого процесса, не стой Ремюза так близко к плахе, не было бы волнения Люси и этой спасительной радости. Как познать пути твои, о, Всемудрый? Но смотри, смотри! – продолжал он, указывая рукой на кровать.

Ремюза опустился на колени у кровати и в каком-то опьянении шептал бесчувственной Люси нежные слова. Словно почувствовав близость любимого, словно услышав его голос, Люси на минуту открыла глаза, ее лицо все осветилось высшим счастьем, взор с невыразимой любовью остановился на коленопреклоненной фигуре Ремюза. Затем ее рука с трудом простерлась к нему, губы тихо задвигались. Но в то время как Ремюза покрыл эту руку поцелуями, глаза Люси опять закрылись.

Робеспьер, не переставая улыбаться, снова обратился к Терезе и сказал:

– Нет, нашему брату вредно смотреть на такие чувствительные сцены. Они распаивают твердость сердца, и самому начинает хотеться испытать хоть немного личного, человеческого счастья. И в такие минуты я даже способен сказать: «А что, Тереза, не попытаться ли нам проверить, стану ли я менее честным патриотом, если найду в твоём сердце немного счастья?»

– Мое божество, мой любимый! – простонала Тереза, задыхаясь от счастья.

Больше она не могла произнести ни слова. Да и что слова, когда говорят взоры, к чему бледные фразы, когда сердца так ярко, так громко поют страстный гимн тесному единению? И тихо-тихо стало в комнате! Только какое-то нежное жужжанье слышалось в этой тишине; то жужжали, трепеща в радостном танце, крылья божка Амура, весело круживше-

гося по комнате в торжестве новой победы над мятежными людскими сердцами. О, этот коварный божок, о, этот извечный господин судеб людских! Всюду-то проникает он, везде расставляет свои незримые сети, торжествуя над гордой волей человека! И пусть звенит коса смерти, пусть бледный ужас справляет свой кровавый пир – все равно шалун-небожитель не прекращает своего победоносного полета, не перестает играть людскими сердцами!

Глава 6

Октябрь 1793 года вполне оправдал свое новое название брюмера, хотя и за плювиоз (Конвент реформировал календарь, приняв началом новой эры день провозглашения республики – 22 сентября. Каждый месяц разделялся на три десятидневных периода («декады») и имел новое название. Первый месяц продолжался от 22 сентября до 21 октября и назывался «вандемьер», т. е. месяц вина, так как в это время производилась уборка винограда и отжимка вина. Затем в последовательном порядке шли: брюмер (месяц туманов), фример (месяц заморозков), нивоз (снежный), плювиоз (дождливый), вентоз (ветряный), жерминаль (месяц произрастания), флореаль (цветения), прериаль (лугов), мессидор (дарящий жатву), термидор (дарящий жару) и фрюктидор (дарящий плоды.) он мог бы отлично сойти. Так, по крайней мере, ворчал одинокий пешеход, осторожно кравишийся поздним вечером по улицам Парижа среди густого тумана и мелкого, всюду проникающего дождя.

На улицах было необыкновенно пустынно и жутко тихо. Пронизанный сыростью воздух напоминал скорее киселеобразную кашу, чем легкий газ, и заглушал всякий шум. Город казался вымершим, и когда из тумана вдруг совсем близко вырисовывалась смутная фигура запоздалого встречного прохожего, испуганно шархавшегося в сторону при ви-

де нашего путника, последнему представлялось, что это – не живой человек, а бесплотная тень, бесшумно скользящая по местам своего земного существования.

– «Брюмер»! – со злобной иронией ворчал себе под нос прохожий, тщетно стараясь укрыться в складках широкого плаща от пронизывающей холодной сырости. – Черт их знает! Точно накликали! С воцарением этих мерзавцев-санкюлотов в добром старом Париже все пошло шиворот-навыворот – даже погода. Впрочем, как раз сегодня мне не приходится жаловаться на туман и дождь: будь на дворе тепло и ясно, я и сегодня не решился бы выбраться к попу, и неизвестно еще, когда представился бы другой такой благоприятный случай. А я устал ждать, устал вечно притворяться, таиться, быть настороже, не смей даже наедине с самим собой сказать слово от сердца. Меня душит это молчание, я задыхаюсь от необходимости мешаться среди всякого сброда и представляться самому одним из них. Уф! Я чувствую, что еще немного – и я не выдержал бы и наделал бы глупостей...

Пешеход вдруг остановился и прислушался: ему ясно показалось, что сзади него послышался какой-то шум – словно кто-то поскользнулся. Но – нет! – все оставалось совершенно тихо, только где-то невдалеке в водосточной трубе журчала вода – журчала таинственно глухо, словно призрачная вода в призрачной трубе.

– Воображение! – буркнул прохожий и направился дальше, невольно ускоряя шаги. – Но немудрено, если и казаться

начнет! Никакие нервы не выдержат этого вечного напряжения. Сколько раз уже я готов был бросить все, махнуть рукою и скрыться, пока сам жив. Велик ли прок мне от всех богатств, если придется сложить голову под санкюлотской дьявольской машиной? «Живому псу лучше, чем мертвому льву», – сказано в писании. Но... слишком велик соблазн попытаться остаться и львом, и живым! Однако дороге нет ни конца, ни края. Уж не сбился ли я с пути в этом чертовом тумане. Но нет, вот что-то темнеет невдалеке! Это – церковь! Ура! Теперь еще несколько шагов, и я у цели!

Действительно из тумана как-то сразу вынырнули очертания мрачной, убогой церкви, казавшейся еще неприветливее в этом унынии осеннего мрака. Пешеход принялся переходить на другую сторону узкой улочки, как вдруг с середины ее понеслись его проклятия, но тут же испуганно смолкли. Только хлопанье грязи показывало, что незнакомый с местностью прохожий старался выбраться из глубокой лужи.

Пока он копошился в грязи и тьме, от угла отделилась чья-то тонкая, юркая фигурка; в несколько легких бесшумных прыжков она проскочила дальше по улице, быстро перебралась на другую сторону по набросанным здесь большим камням и затем скрылась в углу около подъезда маленького покосившегося домика, уныло притаившегося в глубине церковной ограды. Здесь юркий человечек согнулся в три погибели, притаился и стал ждать.

Через несколько минут легкий шум осторожных шагов

по каменным плитам двора выдал, что завязнувший в грязи прохожий выбрался наконец и теперь приближается к тому же подъезду.

Скоро из тумана показалась коренастая фигура прохожего. Он взошел на невысокую лестницу подъезда, ощупью отыскал молоток и уже хотел постучать, но вдруг раздумал, опять сошел вниз и стал обходить фасад домика. Увидев наконец освещенное окно, он поднялся на цыпочки и осторожно троекратно постучал в него. Через несколько секунд занавеска у окна откинулась, рама распахнулась, и в тусклом свете масляной лампы показалась голова старого священника. Он поднес руку козырьком к глазам и, напряженно всматриваясь в туманную мглу, спросил глухим старческим голосом:

– Кто здесь?

– Крест и лилия! – ответил прохожий.

Руки священника дрогнули, голова испуганно откинулась назад. Сразу было видно, что эти простые слова произвели на него потрясающее, явно неприятное впечатление. Несколько секунд он растерянно молчал, затем с трудом выговорил:

– Да неужели... Граф, это...

– Бога ради, отец Жером! – испуганно воскликнул названный графом. – В этом проклятом царстве дьявола я – гражданин Рибо, и только! Однако впустите меня, отче! Во-первых, на дворе чертовски сыро и я промок до мозга костей, а, во-вторых, не очень-то безопасно переговариваться через

окно о таких делах, как наше!

– Идите к подъезду, я сейчас открою! – отрывисто сказал отец Жером.

Действительно скоро скрипнул замок входной двери, и «гражданин Рибо» скрылся в сенях. Как только новый скрип замка возвестил, что дверь опять заперта, из-за подъезда вынырнула тоненькая фигурка юркого человечка, который крадучись подобрался к освещенному окну. С бесшумной ловкостью кошки неизвестный вскарабкался на выступ фундаментного наличника и осторожно подтянулся к окну, раму которого священник от волнения забыл закрыть. Благодаря открытому окну и щели между занавеской и косяком неизвестный отлично мог видеть и слышать все, что происходило в комнате.

Не успел он как следует укрепиться на своем наблюдательном посту, как в комнату вошли отец Жером и Рибо.

– Итак, вы пришли... – сказал отец Жером, пристально и недоверчиво всматриваясь в лицо позднего гостя.

– Получить то, что должно быть вручено человеку, сказавшему условленный пароль! – закончил Рибо.

Священник ничего не ответил и продолжал молча всматриваться в лицо гостя.

– А, понимаю! – громко захохотав, сказал тот. – Вас несколько поражает мой вид! Вы ожидали встретить изящного аристократа, а видите какого-то рыжебородого лавочника. Меня утешает, что мой маскарад оказался таким удач-

ным, но неужели же вы предполагали, что можно явиться за наследством графов де Плэло в своем настоящем виде? Ну-с, чтобы окончательно рассеять ваши сомнения, скажу, что ларец, который оставила вам для меня моя мать, графиня де Плэло, сделан из красного дерева и инкрустирован перламутром, черным деревом и медным кружевом. В середине верхней крышки вделан серебряный щиток, поддерживаемый двумя амурами, на котором вырезан...

Не слушая его дальше, отец Жером подошел к камину, видимо давно не топившемуся, нажал на одно из украшений верхней решетки, и сейчас же боковая стенка со звоном отскочила, обнажая небольшой тайник.

– Пожалуйста, подойдите и достаньте сами, – сказал он затем. – Я стар, а ларец довольно тяжел.

Гражданин Рибо, или – вернее – граф де Плэло, в один прыжок очутился возле камина, нагнулся к тайнику и вытащил на свет ларец, подробно описанный им перед тем. Ларец был действительно довольно тяжел, но сгоряча граф не заметил этого. Он жадно осмотрел замок, убедился, что печать, наложенная графиней, цела, затем достал из кармана ключик, отпер ларец и торопливо погрузился в рассмотрение его содержимого.

Тем временем отец Жером со скорбной брезгливостью смотрел на графа, думая, что у этого аристократа не нашлось даже вопроса о последних минутах матери, которая так горячо любила своего единственного сына. При первых же рас-

катах революционной грозы граф Арман, захватив свои личные деньги, бежал в Англию, без сожаления оставив большую, слабую старуху-мать. А между тем графиня только о нем и думала, и когда революция разразилась, она собрала все самое ценное, заперла в этот ларец и отдала его на хранение отцу Жерому, своему духовнику, который поклялся ей сберечь доверенное в целости для графа Армана. А так как отец Жером не знал лично последнего, то было условлено, что де Плэло, явившись за наследством, скажет «Крест и лилия» и подробно опишет наружный вид отлично известного ему ларца. Графиня едва только успела написать обо всем этом сыну и вручить письмо вместе с ключом преданному лакею для доставки графу в Англию, как ее предчувствия сбылись: ее обвинили в измене нации и казнили.

Эта казнь вызвала в заграничной прессе вопль негодования и потоки иронического злорадства. Всем было ясно, что обвинение больной, беспомощной старухи состоялось лишь ради секвестрования (Секвестр – запрещение пользования каким-нибудь имуществом, налагаемое органами власти.) сокровищ графов Плэло, а между тем секвестровать оказалось нечего. Правда, к нации отошли громадные поместья графской семьи, но велик ли был в них прок, когда молодая республика нуждалась в золоте и наличных деньгах. Роялистские листки, захлебываясь от восторга, описывали, как бесятся конвенционелы, ломая голову, куда бы могли деваться все деньги, все фамильные драгоценности, все? Ведь

сокровища графов Плэло славились, их было так много, что на целой подводе не увезешь, а теперь изволь-ка довольствоваться несколькими серебряными ложками да крестом на золотой цепочке!

Никто не знал, что еще покойный муж графини, давно предсказывавший плачевный конец монархии, держал почти все деньги в лондонском банке и что сама графиня, не желавшая, чтобы какие-либо ценности достались «цареубийцам», приказала своим верным слугам в одну ночь вырыть яму в саду, свалить туда все столовое серебро и громоздкие ценности, закопать, сверху распахать клумбы и высадить приготовленные цветы. Затем она собрала золото и фамильные драгоценности, среди которых было знаменитое жемчужное ожерелье стоимостью в полмиллиона ливров (Около двухсот тысяч рублей.) и изумрудный парюр, один только главный камень которого оценивался в двести-триста тысяч, уложила все это в ларец, отправила к отцу Жерому, написала письмо сыну, раздала часть денег прислуге, распустила ее и с яснovidением просветленной старости стала спокойно ждать ареста, который и последовал через два дня.

Все это вспоминалось отцу Жерому, в то время как он мрачно следил за жадными движениями графа, рывшегося в ларец. Этот пристальный взгляд заставил графа вскинуть голову. Должно быть, он понял неудобство своего поведения; по крайней мере, он сейчас же захлопнул ларец и чрезвычайно фальшивым голосом произнес:

– Извините меня, батюшка, но я был так счастлив дотро- нуться до вещей, которые заворачивала и запаковывала моя милая матушка, что даже забыл поблагодарить вас. Позволь- те же мне...

– Вы мне ничем не обязаны, – сухо ответил священник, как бы ограждая себя жестом руки от его благодарности. – Я клялся и исполнил клятву, я сделал это для вашей матушки, но не для вас... Значит... вообще, извините меня, граф, но я устал и нуждаюсь в отдыхе.

При этих словах отца Жерома Плэло грозно нахмурился, но, вспомнив, что в его положении было бы неразумно оби- жаться и поднимать историю, поспешил придать лицу выра- жение грациозной шутливости и сказал:

– Иначе говоря, пожалуйста к выходу! Не так ли, отец Же- ром? Ай-ай, батюшка, по-христиански ли будет выгонять усталого путника в такую ужасную ночь? Я так отсырел... и при мысли, что мне надо сейчас опять... бррр! Может быть, вы позволите мне переночевать у вас? Вообще мне страш- но неудобно тащиться с этим ларцом – и тяжело, да и из- под плаща будет выпирать, еще остановят чего доброго... Я предпочел бы оставить у вас этот ларец и постепенно пере- таскать в карманах вещи к себе... Вы, конечно, ничего не будете иметь против этого, батюшка?

– Нет! – оборвал его отец Жером. – Берите свое добро и уходите! Уходите сейчас!

– Но я, батюшка, право, не понимаю!..

– Уходите, говорю я вам, потому что я и так сделал больше, чем мог, чем имел право! Увлеченный жалостью и пастырским долгом, я дал клятву, исполнением которой нарушаю долг гражданина. Да, да, граф! Все состояние графов Плэло добыто кровью и потом задавленного в рабстве народа, и не на удовлетворение прихотей разнузданной аристократии, а для нужд этого воспрянувшего народа должно было...

– Ого, честный отец, – с резким хохотом перебил его Плэло, – оказывается, под тонзурой монаха кроется мозг неукротимого якобинца! Ну что же, вам остается только поспешить донести на меня!

– Да, в качестве честного гражданина я должен был бы сделать это, – спокойно ответил священник. – Но это значило бы не выполнить клятвы до конца, значило бы немедленно отнять то, что я обязался вручить вам.

– Ага, значит священник все же перевешивает в вас санкюлота? Так будьте логичны до конца! Разве не обязывает ваш сан оказывать помощь и давать приют всякому, будь то друг или враг?

– Скажите, граф, – спросил отец Жером, делая шаг к Плэло, – можете ли вы дать мне слово дворянина и честного человека, что ни одна полушка из достающихся вам через мое посредство богатств не пойдет против Франции, не будет обращена на формирование роялистских армий?

– Я никому не обязан отчетом в своих действиях! – над-

менно ответил граф.

– Ну, так и меня не обяывают ни религия, ни сан дать приют под своей кровлей Иуде Искаротскому! – резко возразил отец Жером.

Вся кровь кинулась графу в голову при этом оскорблении, глаза побагровели, жилы на висках вздулись.

– Эй ты, поп! Берегись! – крикнул он задыхаясь.

– Опомнитесь, граф! – глухо ответил священник. – Не вам ли надо беречься?

Плэло судорожно стиснул кулаки, закусил губы, но промолчал. Кинув на священника полный страстной ненависти взор, он решительно схватился за рукоятку ларца и понес его к выходу, однако, сделав несколько шагов, был вынужден остановиться и вновь поставить ларец на пол: резная ручка больно впивалась в пальцы, а сам тяжелый ящик при каждом шаге колотился окованными медью углами о ноги.

– Я в одном только отношении одобряю действия господ якобинцев, – злобно кинул Плэло. – Они совершенно правы, когда без оглядки рубят поповские башки! Лицемеры! От вас – все зло! Вы насквозь пропитаны иезуитской моралью и заражаете ею все вокруг! Только вам обязана Франция всеми ужасами братоубийственной бойни, вы держались за свои привилегии, вы, угрожая Божьей карой, мешали королям снизойти до истинных нужд народа! На вас вся кровь! И вы со всеми своими высокогражданскими принципами – только лицемерный поп! Вам угодно доказательств? Они –

перед вами! Не говорили ли вы сейчас, что выдать меня – значит, не довести клятвы до конца. Ну, а выгоняя меня на улицу с такой неудобной ношей, которая сразу обратит на себя внимание первого полицейского, первого рьяного патриота, разве вы этим не выдаете меня?

– Вы правы! – сухо ответил священник. – Подождите! – Он вышел в другую комнату и сейчас же вернулся с парой больших плетеных корзин, в которых разносчики носят зелень. На дне этих корзин виднелись лук и картофель. – Вот! – сказал отец Жером, ставя все это на пол. – Переложите содержимое ларца в обе корзины, засыпьте сверху картофелем и луком, зацепите за этот ремень и возьмите через плечо. Если вас остановят, скажите, что вы еще до закрытия ворот пришли из предместья, но засиделись у...

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, святой отец! – с язвительной иронией перебил его Плэло. – В случае крайней необходимости даже и мирянин сумеет лгать и притворяться не хуже, чем это делают попы... всегда! – Он быстро выложил содержимое ларца на пол и продолжал: – Ну, а уж эту коробочку мне придется оставить у вас! Позвольте мне преподнести ее вам в знак моей признательности и искреннего уважения!

Не обращая внимания на наглое издевательство Плэло, священник поднял с пола ларец, пренебрежительно сунул его обратно в тайник, запер его и вышел из комнаты, не удостоивая графа ни единым словом.

Оставшись один, Плэло принялся разбирать пакетики.

– Наши родовые патенты... – бормотал он. – Ну что же, это пригодится со временем, когда мы усмирим разыгравшуюся чернь! Удостоверение на получение капитала из лондонского банка... Вот это – самое ценное, это – сюда! – он развернул камзол, вытащил из-под рубашки полотняный мешочек, сунул туда документы, застегнулся опять и снова взялся за разборку, раскладывая пакетики с драгоценностями по корзинам. Вдруг его взор упал на довольно объемистый кожаный мешочек. Плэло развязал стягивавший его ремешок, сунул туда руку, и наблюдатель, все еще стоявший приникнув к занавеске, увидел, как на ладони графа засверкала кучка золотых монет. – Это очень приятно! – с довольной улыбкой пробормотал граф. – Мои фонды уже сильно уменьшились, а ведь впереди еще предстоит много расходов! Да... самое главное еще впереди! – и вздохнув, он продолжал свою работу.

Должно быть, юркий человек решил, что он видел теперь совершенно достаточно. По крайней мере он осторожно спрыгнул на землю и крадучись выбрался из ограды. Быстро и бесшумно пробежав до угла улочки, он остановился и принялся потирать руки, заливаясь беззвучным смехом.

– Пожива будет знатная! – пробормотал он. – Но что больше всего радует меня, так это торжество моего чутья! Да, да! Полицейским нельзя сделаться, им надо родиться! С по-

мощью большого прилежания и воли можно стать недурным живописцем, поэтом, полководцем, но с одним только прилежанием, без прирожденного таланта не сделаешься даже посредственным полицейским! Тысячи людей проходят перед тобою – все люди как люди! И вдруг в одном из этих тысяч чутье подсказывает неуловимые признаки чего-то особенного. Начинаешь следить, и... хлоп! – он хлопнул в ладоши. – Птичка попалась! Да, но это – уж не птичка, а жирный гусь! Я буду в состоянии извлечь неисчислимы выгоды из обнаруженной мною тайны! Берегись, Робеспьер! Я чувствую, что из этого случая мне удастся выпилить несколько крепких досок для твоего гроба, не говоря уже о том, что моя касса знатно пополнится! – добавил он смеясь и затем быстро пошел дальше.

Пройдя еще несколько кварталов, юркий человечек остановился и пронзительно свистнул. В ответ послышался заглушённый шум колес, и из тумана вынырнули фонари легкого экипажа.

– Домой да поскорее, Жюстин! – сказал юркий человечек, садясь.

Через двадцать минут коляска остановилась перед массивными дубовыми воротами. Жюстин соскочил с козел и принялся отчаянно дубасить в них. Послышался шум бегущих шагов, заскрипел засов, ворота распахнулись, и в них показался работник с фонарем.

Экипаж, въехав во двор, остановился перед подъездом.

Работник подбежал к экипажу и, помогая барину сойти, высоко поднял фонарь. Лучи света ударили в лицо юркому и осветили лисью мордочку Фушэ.

– Не откладывай, Жюстин, мне скоро надо будет опять поехать. А ты, Тибо, – обратился он к работнику, – беги и приведи мне сейчас же Ришара, Гаво и Сильвана. Приготовь мне поскорее переодеться, Филиппина, – приказал он старухе-экономке, выбежавшей ему навстречу. – Я промок до костей! И вина мне дай, – кинул он, торопливо проходя к себе в комнату.

Переодевшись, выпив стакан старого хереса и обогрившись перед камином, Фушэ лениво потянулся и мечтательно посмотрел на письменный стол.

– Ах, устал! – протянул он. – Но лениться некогда, «куй железо, пока горячо»! – Часы звонко отзвонили десять ударов. – Боже мой! Уже десять часов! А ведь меня еще ждет Крюшо со своей достойной подругой! Надо поторопиться! – Фушэ еще раз потянулся, зевнул и затем сел за работу.

Первое письмо он написал левой рукой и, запечатав, оставил без надписи. На втором, написанном уже вполне нормально, надпись гласила: «Гражданину-комиссару по охране парижских застав». Покончив с этим, он приказал впустить уже ожидавших его Ришара, Гаво и Сильвана – его личных агентов, отличавшихся силой, расторопностью и бесконечной преданностью.

Тем временем, как и предполагал Фушэ, Жозеф Крюшо и

Аделаида Гюс с большим нетерпением и волнением ожидали прибытия Фушэ.

– Пойми, Адель, – волнуясь и размахивая руками, говорил Крюшо, – дразнить Робеспьера – это все равно, что к волку в пасть лезть! А Фушэ становится все более и более требователен! Теперь он затеял этот дурацкий «праздник Разума». Да ведь Робеспьер – этот крокодил с повадками попа – на стену полезет от такого богохульства! Ну, да черт с ним, мне-то невелика забота! Но зачем же мы должны принимать участие во всем этом? Шомет и Анахарсис Клоц и без того стараются изо всех сил; казалось бы, достаточно этого дурачья. Так нет, проклятый расстрига с непонятной мне целью хочет запутать и нас в эту кашу. Это при теперешних-то обстоятельствах, когда Ремюза на свободе и у власти, девчонка неожиданно стала поправляться, а мне так чертовски не везет в розысках, что того и жди, меня обвинят в измене нации, да и делу конец! Нет, видно, придется бежать, чтобы спасти свою шкуру!

– Бежать? – презрительно повторила Адель, передернув плечами. – Бежать, чтобы влачить за границей жалкое, полуголодное существование? Ну да, я понимаю еще эту меру, если не останется других, но... ведь я давно говорю тебе: отделайся от Фушэ! Уверяю тебя, мои русские крупинки действуют на славу, я сама видела, а ты из-за какой-то глупой совестливости все не решаешься!

– При чем здесь совестливость! В нашем-то деле? Но, ви-

дишь ли, Адель, Фушэ хоть и требователен, да зато щедр.

– На чужой счет!

– Не все ли равно? Благодаря ему мне удалось в последнее время порядочно подработать. На одном только обыске у Рошемонов я заработал около двух тысяч.

– Две тысячи сто пятьдесят пять!

– Ну вот, видишь? Таким образом можно будет в какой-нибудь год составить капиталец да и махнуть за границу. К тому же Фушэ утверждает, что если его планы будут соблюдены в точности, то не пройдет и года, как Робеспьер будет низвержен.

– Да, но если ты будешь слушаться Фушэ, то Робеспьер успеет скрутить тебя в три дня! Велико утешение, что он сам пойдет на эшафот хоть на другой же день!.. тебя этим не воскресят. Для Фушэ это все равно – он преследует свои личные цели.

– Ах, но что же делать, что делать? Проклятое положение! Бежать не с чем, оставаться – рисковать головой.

– Но ведь я же говорю тебе, что надо делать!

Крюшо мрачно прошелся несколько раз по комнате и наконец глухо сказал:

– Сегодня я в последний раз попробую умолить его. Если же это не удастся мне, тогда... – и он сделал жест, как бы отсекающий что-то.

– Наконец-то! – с довольным видом воскликнула Адель. – Сейчас! – она кинулась к комоду, порылась там в ящиках, до-

стала крошечную коробочку и сказала, вручая ее Крюшо: – Слушай, когда настанет момент, я уроню что-нибудь сзади, а ты не зевай: как только проклятая лиса обернется, ты и опусти в его бокал крупинку. Но, чу... я слышу шаги! Это – он!

Действительно на лестнице послышался шум чьих-то шагов, затем в дверь постучали, и в комнату вошел Фушэ.

– Здравствуйте, друзья мои! – сказал он, усаживаясь. – Но чем это вы так взволнованы? В чем дело?

– Гражданин Фушэ! – взволнованно заговорил Крюшо. – Я долго думал о твоих словах насчет этого... праздника... и... Гражданин! На что тебе нужно наше участие в этом маскараде?

– На что? – Фушэ весело рассмеялся. – Да неужели ты не понимаешь всей красоты замысла, гражданин? Прежде всего, уже сама идея устроить республиканский праздник в честь Разума, тогда как нашей республике главным образом разума-то и не хватает! Это ли – не дивная насмешка! А затем подумай, гражданин: в качестве богини Разума на троне будет восседать гражданка Гюс.

– Я?

– Да, да, гражданка, ты, и именно в качестве богини Разума, а не Распутства, хэ-хэ-хэ... В качестве же гения, охраняющего Разум, – гражданин Крюшо. Как, и вы еще не смееетесь, несчастные? Вы только подумайте: богиню Разума мы оденем во фригийский колпачок и туфельки, а если будет уж очень холодно, то, так и быть, прикроем плащом.

– Но, гражданин Фушэ...

– Да, да, гражданка, я понимаю, что для тебя с этим мас-карадом связаны известные хлопоты! Все-таки придется помыться и причесаться, от чего ты, кажется, уже давно отвыкла. Но, черт возьми, надо же пожертвовать хоть что-нибудь на алтарь идеи!

– Довольно шутить, гражданин! – мрачно вступился Крюшо. – Вот уж поистине «кошке – игрушки, а мышке – слезки». Как ты не понимаешь, что именно теперь я должен держаться тише воды, ниже травы. Достаточно малейшей неосторожности, чтобы моя голова скатилась под топором гильотины! Я ведь подробно объяснял тебе, почему...

– А я разве не объяснил тебе, что бояться нечего, так как я все взвесил, все принял во внимание?

– Да, тебе легко говорить: ведь ты рискуешь чужой головой, а не своей!

Фушэ резко ударил ладонью по столу, встал и, вплотную подойдя к Крюшо, сказал с расстановкой:

– Это что такое? Ты начинаешь бунтовать, друг Крюшо? После того как я посвятил тебя во все свои планы, ты хочешь отойти в сторонку? Ну нет! Тебе не купить своего спасения ценой измены мне! Что-нибудь одно: или ты будешь беспрекословно подчиняться мне, или я тебя у-ни-что-жу! Понял?

Злобная искорка сверкнула и потухла во взоре Крюшо. Потупив глаза, он пробормотал:

– Значит, ты во что бы то ни стало хочешь нашего участия

в этом празднестве?

– Да! – было твердым ответом.

– Ну... что же делать! Адель, дай нам вина! Сядем за стол, гражданин, и поговорим о деле, раз иначе нельзя!

Адель подала бокалы и вино. Чокнулись. Фушэ дождался, пока Крюшо отпил первый, а затем и сам отхлебнул из своего бокала. Но в тот момент, когда он поставил его на стол, сзади вдруг послышались звон и грохот какой-то посуды, нечаянно разбитой Аделью. Фушэ на мгновение обернулся, но этого мгновения было достаточно, чтобы Крюшо успел протянуть и отдернуть руку.

– Итак, гражданин? – сказал он после этого.

– Ну-с, так вот... – Фушэ потянулся и зевнул. – Фу, вот устал-то! Прошлую ночь опять почти не спал!

– Все дела? – заискивающе спросила Адель, подходя.

– Представьте себе, нет! Стыдно сказать: просто зачитался! Взял, понимаете, на сон грядущий какую-то глупую книжонку и так увлекся, что читал почти до утра! Но под конец я пожалел о даром потраченном времени! Начало было так интересно, а конец глуп до чрезвычайности. Представьте себе, жили-были два умных человека – Анрио и Марио, – которые совместно обделали ряд чрезвычайно остроумных и выгодных дел. Но вот наступил момент, когда Анрио всецело использовал Марио, тогда как Марио еще нуждался в Анрио. Вот Анрио пригласил друга на пирушку, да и подсыпал ему в бокал яда. А Марио заметил это, да и переменялся стакана-

ми. Анрио отхлебнул от бокала, да и протянул ножки. Ну, не идиот ли этот Марио? Ведь Анрио был ему еще нужен, а он дурак, увлекся чисто внешним остроумием проделки и ради остроумия пожертвовал выгодой! Нет, я на его месте сделал бы вот так! – Фушэ толкнул окно, выплеснул свое вино на улицу и, протягивая пустой бокал остолбеневшей от ужаса и неожиданности Гюс, сказал: – Ну-ка, ополосни посудинку, хозяйюшка, а еще лучше – дай чистый бокальчик! Теперь поговорим серьезно. Ведь это ты, кажется, сказал, гражданин, «довольно шутить»? Отлично, повинуюсь! Я оставлю свои невинные шутки, а вы... винные! – он указал пальцем на бокал. – Ай-ай! И подумать только, что необдуманная шутка могла стоить жизни человеку! Однако не будем отвлекаться и действительно поговорим серьезно! Только, пожалуйста, приди в себя, гражданин, так как мне нужно, чтобы ты внимательно выслушал и понял меня.

Спокойный, серьезный тон Фушэ дал возможность Крюшо и Адели несколько оправиться, и они с большим интересом выслушали его продолжительную речь.

Это была целая лекция о настоящем положении вещей и возможности в будущем направить ход событий по желанию; тут были стройный и разумный план, целая идеология интриганства и проходимничества.

В личности Робеспьера таится величайшая опасность и для Франции, и, главное, для каждого гражданина. Нельзя долго прожить в такой душной атмосфере, которая создана

террором: в этом пожаре легко может сгореть все. Что же делать? Тушить пожар? Но не всякий пожар можно скоро и безопасно потушить! Даже наоборот: бывает что, когда выбивают окна и двери, чтобы проникнуть к очагу огня, последний так разгорается, что все остальные меры оказываются бесполезными. Зато, если наглухо заколотить все отверстия, тогда очень скоро огонь пожрет самого себя и погаснет.

То же и с Францией. Нельзя бороться с диктатурой Робеспьера обычными средствами, бесполезно тормозить начинания этого фанатика, вредно взывать к умеренности. Надо заманивать Робеспьера все выше и выше, завести его на такую высоту, откуда один только исход – падение. Надо мало-помалу устранить всех его друзей, оставить его одного, загнать в тупик, направлять события так, чтобы уже не Робеспьер руководил ими, а чтобы они увлекли его мощью своего течения. И тогда наступит апофеоз: зло, как огонь, пожрет самого себя!

Для этого прежде всего надо создать конфликт между Робеспьером и республиканской идеей. Одной из опаснейших ловушек явится задуманный ныне праздник в честь Разума.

Низвержение христианства и поклонение лишь разуму в природе прямо и логически вытекают из идей якобинства. Конечно, умный человек поймет, что это – истинная чепуха. Разве христианский Бог не есть Высший Разум? Ну, так как ни называй Его, дело не изменится. Ведь называют же французы Его «Дье», немцы – «Готт», греки – «Теос», ла-

тиняне – «Деус». Ну, а республиканцы станут называть Его «Разумом». Только ведь, чтобы понять это, надо быть умным человеком, а по существу и Шомет и Робеспьер – первоклассные дураки! Дураки – потому что фанатики! Фанатики-атеисты воображают, что республиканский Бог обязательно должен называться иначе, а фанатик-деист Робеспьер видит в этом ужасающее богохульство. Робеспьер и так уже произнес несколько грозных речей против атеизма. Устройство атеистического праздника заставить его принять крайние меры против богохульников. Ну, а «крайние меры» Робеспьера давно известны: обвинение в измене нации и гильотина! А отсюда проистекут два последствия величайшей важности!

Еще недавно Робеспьер читал в якобинском клубе свой проект новой «гражданской» религии, построенной на учении Руссо. По этому проекту глава правительства должен быть первосвященником этой религии. Скандал, вызванный празднеством в честь Разума, заставит Робеспьера ускорить введение новой религии. Уступит ли честолюбец кому-нибудь другому честь быть первосвященником, и захочет ли кто-нибудь оспаривать эту честь у Максимилиана Великого? Конечно, нет! Ну, а тогда Робеспьер станет республиканским папой, тогда нетрудно будет посеять в массе сомнения, не метит ли диктатор куда-нибудь повыше, не хочет ли он шагать из пап в короли?

– Конечно, – продолжал Фушэ, поблескивая умными, хит-

рыми глазами, – умный человек отлично понимает, что идеи монархизма или республиканства решительно ни при чем! За исключением кучки милых безумцев, людьми правит только личная выгода, а уж никак не идея. Роялисты отстаивали не идею, а свое право на лучшие куски. Республиканцы восстали не за идею народоправия, а в погоню за этими лучшими кусками. Таким образом широкой массе будет решительно все равно, каким чином станут величать главу правительства. Но в самом празднестве будет таиться маленькое зернышко того, почему усиление Робеспьера окажется не по вкусу большинству. Ведь я уже говорил, что надо будет мало-помалу подвести под нож всех друзей Робеспьера, то есть людей, стоящих с ним на одной точке зрения. Тут не надо брезговать ни большими, ни малыми. Дантон сослужил такую же службу, как и какой-нибудь захудалый поп, вроде дружка Робеспьера – отца Жерома. Затем я уже говорил, что наше празднество заставит Робеспьера принять меры против атеистов, а ведь атеисты в смысле политического мышления – более крайние, чем он. Кроме того, на днях состоится казнь двух десятков жирондистов, представляющих людей более умеренных взглядов, чем Робеспьер. Ну, так когда наш диктатор объявит себя республиканским папой, все – и большие и малые – станут говорить: «Робеспьер устраняет тех, кто не дошел до его крайности, тех, которые сравнялись с ним, и тех, которые превзошли его в крайности. Так какие же политические взгляды гарантируют нам безопасность и жизнь?»

Нет, при таких обстоятельствах нельзя допустить дальнейшего усиления этого человека!» Раскусили? Вот тут-то ему и крышка! И ведь какое роскошное дерево вырастет в кратчайший срок из крошечного зернышка, именуемого «празднество в честь Разума»!

– Но позволь, гражданин! – сказал Крюшо. – Ты сам же говоришь, что празднество вызовет преследования против атеистов, и хочешь, чтобы мы играли видные роли во время этого празднества?

– Дурашка! – ласково ответил Фушэ. – Разве Робеспьер обрушивается на таких незначительных козявок, как ты и гражданка Гюс? Он захочет срубить голову самой гидре безбожия, а эти головы в его глазах – Шомет, Клоц и Эбер! Для Робеспьера все равно, кого эти господа заставят разыгрывать кощунственную роль, что же касается тебя, то ты будешь там по долгу службы, ведь в таких сблищах всегда можно обнаружить подозрительных! Нет, господа, вам обоим почти ничего не грозит!

– «Почти ничего»! А тебе совершенно не нужно, чтобы мы участвовали в этом празднестве! Ну подумай сам, разве не лучше будет, если все празднество проведут одни только «милые дураки», как ты их называешь?

– Ну, я вижу, что только даром потратил час времени! – с укоризной возразил Фушэ. – Ты так-таки ничего не понял из того, что я толковал тебе, друг Крюшо! Ведь я ясно сказал тебе, что последствия проявятся тем энергичнее и ярче, чем

крупнее выйдет скандал! Между тем, если довериться этим фанатикам, то ровно ничего не выйдет! Ты только подумай, Шомет говорил мне, что богиню Разума должна изображать молодая, красивая женщина, лучше всего актриса, так как тут нужна «пластичность движений и жестов». Затем костюм «богини» должен быть строго классический, само празднество – состоять из торжественных песнопений и т. п. Фу! Да ведь это выйдет прилично до тошноты! Нет, я хочу, чтобы богиней Разума оказалась разнузданная, смелая женщина и чтобы около нее были люди вроде тебя – умеющие поддаться жару, когда нужно! Пусть празднество превратится в вакханалию, пусть из него получится гнусная карикатура на католическую процессию и службу, пусть оно будет возмутительным до последней степени, черт возьми! Вот мне и нужно для этого с полдюжины разумных людей, которые, замешавшись в толпу, поведут ее к тому, что требуется! Понял?

– Понял... – упавшим голосом уронил Крюшо.

– А в награду за послушание я доставлю тебе хороший случай отличиться и поживиться! – продолжал Фушэ. – Я совершенно случайно напал на след подозрительного человека, в котором угадываю крайне опасного аристократа. Поимка его должна сильно выдвинуть тебя, а потом, по моим сведениям, у молодчика должно оказаться тысяч десять, которые можно будет... при обыске... – и Фушэ, выразительно подмигнув, хлопнул себя по карману.

Взор Крюшо сверкнул радостью, но сейчас же померк. Он

подозрительно взглянул на Фушэ и сказал:

– Почему же ты сам не воспользуешься таким солидным кушем?

– По двум причинам, друг мой. Во-первых, никто мне не будет служить даром, и должен же я предоставить тебе какую-нибудь выгоду в награду за послушание. А, во-вторых, у меня имеются свои соображения. Я выслеживаю другую, более крупную птицу, и если скомпрометирую себя прямым участием в этом деле, то упущу другую сумму, гораздо более солидную. Однако пора домой! – сказал он, вставая и с затаенной хитростью пристально следя за выражением лица Крюшо. – Да, кстати, последняя новость: граф Ронсар арестован при попытке скрыться в Англию! Ведь это такое дурачье – эти аристократы! Непременно лезут на северное побережье.

– Да ведь оттуда удобнее всего перебраться в Англию!

– Вот тем-то и неудобнее, что удобнее! Дороги на север и северо-запад от Парижа очень тщательно охраняются, и там больше всего шансов влопаться.

– Так куда же, по-вашему, следует направляться беглецам? – с плохо разыгранным спокойствием спросил Крюшо.

– Как «куда»? – будто бы не замечая интереса Крюшо к этому вопросу, воскликнул Фушэ. – Да мало ли мест? Я, например, отправился бы прямо в одну из деревушек вблизи Макона, нанял бы там парусную баржу, спустился бы по Соне и Роне в Арль и дальше по Средиземному морю к испан-

скому берегу – ведь парусные баржи постоянно ходят по Лионскому заливу, поддерживая торговлю с Испанией. А в Испании уже легко сесть на любое английское судно и выбраться куда угодно! Но что это я с такими подробностями рассказываю об этом? – рассмеялся он. – Точно я сам собираюсь бежать! Ну-с, пора и идти. Так вот завтра-послезавтра я доставлю тебе все данные относительно того молодчика, о котором я говорил, и, кстати, дам все инструкции по поводу нашего праздника.

– Как? Уже? Но ведь праздник предполагается...

– В конце брюмера. Совершенно верно! Но сам-то я должен уехать на днях. Меня вместе с Коло-д'Эрбуа командируют в Лион на усмирение, и я успею вернуться всего за несколько дней до праздника! А пока будьте здоровы! – и, делая вид, будто он не замечает радости, ярко блеснувшей при последних словах в глазах Крюшо, Фушэ простился и ушел.

Оставшись одни, Крюшо и Адель выразительно переглянулись.

– Ну? – сказал наконец первый.

– Отлично! – отозвалась вторая. – Мне кажется, что у нас блеснула одна и та же мысль!

– Ведь ты у меня – умница, а значит – да! Сначала надо с благодарностью прикарманить те десять тысяч, которые сулит нам Фушэ, затем...

– Собрать все свои сбережения и...

– Махнуть путем, который указал нам сам Фушэ!

– Да! Вот верно-то, что «на всякого мудреца довольно простоты»! Уж на что Фушэ хитер, а между тем сам указал дорогу!

О, если бы могли только видеть Крюшо и Адель, с каким дьявольским видом потер Фушэ руки, выйдя на улицу и произнеся одно только слово:

– Марионетки!

Глава 7

«Гражданин Рибо», или, иначе, граф Арман Плэло, был очень поражен, когда, добравшись благополучно до дома, нашел у себя на столе какое-то таинственное письмо. От кого могло оно быть? Может быть, это – ошибка? Но выжившая от старости из ума Целестина, вынырившая когда-то графа Армана, клялась и божилась, что письмо предназначалось именно ему – графу Плэло. Так, по крайней мере, подтвердил ее вопрос присланный, кстати сказать, очень статный и необыкновенно любезный молодчик.

– Как? Значит, ты подтвердила ему, что я – граф Плэло? – в ужасе воскликнул Арман, хватаясь за голову. – Но ведь я тысячу раз твердил тебе, что это имя нельзя произносить вслух, что это может стоить мне головы!

В ответ Целестина идиотски захихикала и сказала приседая:

– Вашему сиятельству угодно шутить со своей старой нянюшкой, но меня-то не собьешь, недаром я съела зубы на службе у графов Плэло и знаю, что их имя может принести только почет! Да уж не из тех будет имя графов Плэло, чтобы еще скрывать его!

– Ступай вон! – с отчаянием крикнул Арман, махнув рукой старухе. – Да пришли мне Мари!

Старуха ушла, непрерывно приседая и бормоча что-то

невнятное. Арман опять взялся за письмо и, растерянно повертев его в руках, наконец решился вскрыть печать. Окончательно теряясь, он прочел следующие строки, написанные явно измененным почерком:

«Граф, власти получили сведения, что в Париже скрывался Арман Плэло, явившийся за утаенным наследием отцов. Кроме того, комитет общественного спасения поручил одному из своих агентов проследить за гражданином Рибо, личность которого вызвала какие-то неясные подозрения. Правда, тождество графа Плэло с гражданином Рибо еще не установлено, пока его еще даже не подозревают, но при малейшей неосторожности с нашей стороны все выплывет наружу.

Поэтому неведомый Вам друг, стоящий на страже Вашей безопасности, умоляет Вас не предпринимать ничего и никоим образом не делать попыток выбраться из города. Заведующий охраной городских застав отдал начальникам патрулей строжайший приказ не выпускать из города никого, за исключением лиц, снабженных свидетельством о благонадежности. Таким образом, попытка выбраться из Парижа повлечет для Вас лишь арест и раскрытие истины.

Но не бойтесь ничего, граф! Я стою на страже и дам Вам возможность благополучно доставить Вашу... зелень („лук и картофель“) в Англию. Для этого от Вас потребуются только терпение и полное послушание моим инструкциям. Памятью Вашей покойной матушки заклинаю Вас довериться мне и ждать дальнейших указаний! Потерпеть Вам придется лишь

дня два-три. Это письмо, разумеется, немедленно сожгите».

Плэло в полном изнеможении опустился на стул. Все вертелось у него в голове – письмо было так непонятно, так фантастично.

Не говоря уже о том, что самое существование таинственного друга казалось странным, совершенно невозможно было объяснить, откуда мог этот друг узнать про «зелень»? Мысль закрыть корзины с драгоценностями луком и картофелем явилась у отца Жерома в последний момент, только он один мог знать об этом, но даже, если он посвятил кого-нибудь другого в эту тайну – чего Плэло совершенно не мог допустить, – этот «другой» не имел бы времени написать подобное письмо и, главное, опередить письмом приход самого графа. Кроме того, отец Жером не имел никакого понятия о том, что граф Арман поселился в почти необитаемых развалинах, где ютилась старая Целестина с девятнадцатилетней внучкой Мари. Нет, с этой стороны письмо исходить не могло. Но тогда с какой?

Может быть, тут ловушка? Но нет, и эту мысль тоже надо было совершенно отбросить. Враг не стал бы терять время на всякие хитрости, когда достаточно прийти и арестовать его, графа, со всеми сокровищами! Письмо мог написать только доброжелатель. Но кто он и откуда у него такое всеведение?

Лишь одно объяснение могло быть этому. Еще в Лондоне Плэло слышал легендарный рассказ, будто в Париже оперирует небольшая кучка отважных роялистов, неулови-

мо скрывающихся под личиной выдающихся патриотов. Эти храбрые рыцари являются звеном, связующим эмигрантов и шуанов (Так назывались повстанцы-роялисты, которые вели (главным образом в Вандее) партизанскую войну с республиканским режимом. Происхождение этого названия точно не установлено. Одни производят его от вождя майеннских роялистов Коттро, прозванного Жаном Шуаном. По мнению других, это название объясняется криком птицы из породы сов, называемой по-французски chouette, который был условным знаком для опознания единомышленников-роялистов.) со столицей. Оставаясь неизвестными никому, кроме членов лиги, отличаясь дьявольской ловкостью и паразитическим всеведением, имея у себя на службе отлично организованную армию тайных агентов, они очень часто проделывают такие штуки, которые приводят якобинцев в страшное бешенство. Благодаря этой лиге уже немало аристократов успели спастись от верной казни.

Плэло всегда скептически относился к этой лиге, утверждая, что каждая эпоха обязательно создает свою легенду. Теперь он должен был поверить в ее реальность: иного объяснения всей этой таинственной истории с письмом не могло быть!

Но, может быть, Мари сумеет дать какие-либо объяснения.

– Скажи, милочка, – спросил он, когда девушка вошла в комнату, – не знаешь ли ты, каким образом появилось здесь

письмо для меня?

– Не знаю, милый барин, – ответила девушка, – меня не было дома, я только что пришла! Бабушка сказала мне, что письмо принес какой-то...

– Ах, уж эта мне твоя бабушка! – с отчаянием воскликнул Арман. – Старуха окончательно выжила из ума! Представь себе, ведь она самым спокойным образом выложила посыльному, что я – граф Плэло!

– Да, бабушка стала совсем плоха. Она – душой в прошлом, и настоящее стало для нее непонятным. Еще полгода тому назад она начала заговариваться, а теперь... совсем, что малый ребенок. Я стараюсь не оставлять ее одну, но... иной раз не вытерпишь. Ведь уж целый год мы живем в этих ужасных развалинах. Так хотела покойная графиня, чтобы у вас было, где найти приют... Но – честное слово! – еще несколько месяцев, и я чувствую, сама сойду с ума, как бабушка!

– Ну, теперь тебе недолго еще терпеть! – недовольно ответил граф. – Я покончил с делами, и мне надо только подготовить отъезд. Дня через два, через три...

– Вот хорошо-то – воскликнула Мари, всплескивая руками. – И за вас спокойнее, да и... брр... – ее плечи передернулись, словно от холода. – Тогда можно будет зажить по-человечески!

– Вы с бабушкой будете щедро вознаграждены мною за все лишения! – надменно заявил граф. – А теперь окажи мне еще одну услугу. Я получил известие, будто городские заста-

вы охраняются особенно тщательно и что для выезда требуются такие формальности, которых прежде не было. Не можешь ли ты разузнать, правда ли это?

– О, мне это очень легко! Ведь мой... жених... – девушка запнулась и потупила глаза, – служит в национальной гвардии и стоит в патруле у Клиши.

– Твой жених? Твои предки несколько поколений верой и правдой служили моим, а ты выходишь замуж за бунтовщика, убийцу, головореза?

Что-то холодное блеснуло в серых глазах девушки, когда, подняв голову, она твердо ответила:

– Убийцу! Мой Огюст и мухи не обидит! Он только исполняет то, что приказывает начальство. Уж такова доля простого человека – плясать под чью-нибудь дудку. Только теперь все же легче. Короли посылали солдат бить своих же братьев, пухнувших и кричавших от голода, а теперь...

– Так, так! – презрительно протянул граф. – Да, видно на Францию приходится махнуть рукой: якобинские идеи заразили все вокруг. Ну, да что говорить! Так ты, пожалуйста, узнай мне, что я просил!

Арман отпустил девушку и долго ходил по своей каморке, мучаясь сомнениями, навеянными на него таинственным письмом. Каждый шорох заставлял его вздрагивать: ему все казалось, что вот-вот придут арестовать его. Граф Плэло не был трусом, но ему казалось уж очень обидным, чтобы его предприятие окончилось неудачей именно теперь, ко-

гда оставался всего какой-нибудь шаг до полного спасения и благополучия.

Ночь он почти не спал, встал поздно и с тяжелой головой. В полдень пришла Мари и сообщила, что сведения графа о новых строгостях у застав совершенно верны: Огюст по секрету рассказал ей, что власти узнали о пребывании в городе какого-то важного аристократа, и теперь стерегут заставы во все глаза.

Значит, автор таинственного письма не солгал? Но в таком случае, значит, на него можно положиться, его советам надо следовать в точности?

Граф стал ждать обещанных инструкций, но прошел день, а таинственный друг не подавал о себе никаких вестей. Почва горела у Армана под ногами от нетерпения, и на второй день он решил пойти потолкаться по городу.

Не успел он выйти из ворот, как нос с носом столкнулся с Жозефом Крюшо. При виде агента граф вздрогнул и чуть не повернул обратно. Но Крюшо шел, не обращая внимания на встречного, и Арман направился далее.

«Так он служит в полиции? – думал он. – Ну что же, самая подходящая дорога для такого отребья! Но как бы он не узнал меня. Впрочем, этого бояться нечего! Едва ли мое лицо запомнилось ему тогда, да и рыжая борода, и костюм изменяют меня до неузнаваемости!»

Он погулял по улицам, зашел в кабачок и тут со смущением убедился, что агент преследует его по пятам. Но графу

тут же вспомнилась фраза таинственного письма: «Комитет поручил одному из агентов следить за гражданином Рибо». Ничего! Таинственный друг учел это обстоятельство и сумеет парализовать вредные последствия! И «гражданин Рибо» спокойно выпил свою бутылку вина, как и всегда, много ораторствовал о необходимости поскорее отделаться от проклятых «аристо», предавал анафеме лионских мятежников, отказавших в повиновении конвенту, и изливал целые реки восторженных дифирамбов на голову «отцов отечества».

Выйдя из кабака, он побродил еще немного по городу и вернулся домой, убедившись, что агент неотступно преследует его. Но дома ждало новое письмо: таинственный друг сообщал, что личность гражданина Рибо подвергается усиленному выслеживанию, но чтобы это не пугало графа, так как все меры приняты. Он отнюдь не должен выказывать ни малейшего волнения и не изменять своим привычкам. Но послезавтра он должен не покидать дома, так как в этот день граф будет вывезен из Парижа.

Послезавтра! Волна горячей радости подхватила Армана! Следующий день он опять провел на улице, в кабаках и в порыве шаловливого чувства осмелился даже заговорить с агентом. Вечером он сделал все последние приготовления, вручил Мари пригоршню золотых монет в награду за ее заботу и преданность и улегся спать, полный радостных надежд на близкое освобождение.

Вскочил он ни свет, ни заря: освободитель не назначил

времени своего прихода, и надо было быть готовым. Но прошло утро, на ближайшей колокольне пробило двенадцать часов, час, два, а никто не являлся.

Вдруг около трех часов в ворота въехала простая деревенская телега с сеном. С облучка соскочил молодой мужчина – по виду самый обыкновенный крестьянский парень из предместья; он быстро подошел к выбежавшему ему навстречу Плэло и, показывая на захваченный им с телеги узел, сказал:

– Скорей, гражданин! Нельзя терять ни одной минуты! Через четверть часа здесь будут полиция и солдаты! Скорей, в комнату!

В узле оказались черный костюм, какой обыкновенно носили юристы, и затрапезный наряд крестьянки.

– Скорей! – командовал «спаситель». – Бороду и усы долой! Вот так! Теперь оденьте костюм. Отлично! А теперь юбку и кофту. Великолепно! А теперь позвольте превратить вас в старуху! – и он достал из узла седой парик и принадлежности для грима.

Как раз в тот момент, когда лицо графа наполовину было превращено в физиономию старой крестьянки, в комнату вошла старая Целестина. В первый момент старуха в недоумении остановилась, но затем залилась старческим, дребезжащим хохотом.

– Господи, Боже милостивый! – хохотала она, хватаясь за бока. – Все такой же, мой дорогой, милый бариночек! – Любил в детстве проказы, нечего грех таить! Ишь, как прина-

рядился! Уж, наверное, понадобилось к какой-нибудь красавице в дом пробраться. Знаем мы эти штуки, знаем!

– Мари, да убери же ты старую идиотку! – раздраженно крикнул Плэло.

Прибежала Мари и увела смеющуюся, причитавшую старуху. Тем временем маскарад графа Плэло закончился. «Спаситель» захватил обе корзины с «зеленью», сунул их в сено, усадил Армана, уселся сам и крикнул:

– Готово! Эй, девушка, запри-ка ворота за нами, да когда будут стучаться, не отворяй сразу!

Телега двинулась в путь. У окна вслед ей смотрела старая Целестина, не перестававшая смеяться и желать «дорогому бариночку» успеха в его любовном приключении.

Очень скоро графу пришлось убедиться, что «спаситель» явился в самый решительный момент: когда телега повернула за угол узенькой улички, навстречу показался целый отряд конных и пеших солдат. Произошло даже легкое замешательство, вызвавшее поток проклятий со стороны предводительствовавшего отрядом Крюшо. Но отряд посторонился, и телега благополучно проехала дальше.

Они проехали несколько пустынных улиц – в этот день было назначено гильотинирование целой партии осужденных, и все население беднейших кварталов устремилось на это зрелище, интерес к которому все еще не уменьшался. Наконец они остановились около колоды, где крестьяне, приехавшие из ближайших деревень, обыкновенно поили ло-

шадей. У колоды стояла привязанная верховая лошадь, на пороге ветхого шалаша мирно дремал сторож при колодной помпе.

– Он не скоро проснется! – заметил возничий, показывая пальцем на дремавшего. – Об этом уж позаботились! Но нельзя терять ни минуты! Слезайте!

Возничий сорвал с Плэло платок и парик, помог освободиться от платья, достал коробочку с каким-то жиром, помазал им лицо графа, и, вытерев его затем чистым платком, стер таким образом весь грим.

На всю эту процедуру ушло не более минуты. Затем все с той же деловитой молчаливой быстротой возничий подошел к верховой лошади, мирно ожидавшей у колоды. По бокам седла были привешены два дорожных мешка. Из одного из них он достал дорожную шляпу и с поклоном подал ее графу, затем вытащил из телеги обе корзины с «зеленью», подстелил в мешки сена, опорожнил туда содержимое корзины, бросил женское платье, корзины и парик в телегу, хлестнул лошадь так, что она во всю прыть понесла воз с сеном куда глаза глядят, и сказал, обращаясь к графу:

– Соблаговолите выслушать инструкции и помнить, что от точного выполнения их зависит ваша жизнь. Вы сядете на ту лошадь и отправитесь в Корбейль, не мешкая и не останавливаясь нигде по пути. Туда вы прибудете часов через шесть: лошадь очень вынослива и выдержит этот путь. В Корбейле вы остановитесь в гостинице «Золотой лев». Перед самой го-

стиницей к вам подойдет человек, который скажет «Крест и лилия». Этот человек сообщит вам дальнейшие инструкции. Вот вам пропуск и документы.

– Но позвольте же мне узнать, кому я обязан...

– В свое время вы все узнаете, а теперь не тратьте времени попусту и торопитесь!

– Так позвольте же мне хоть вознаградить вас.

– Я уже вознагражден тем, кому нужно ваше спасение.

Еще раз повторяю: не мешкайте!

Граф вскочил в седло и поспешно направился к заставе.

На следующий день после решительного объяснения Фушэ опять зашел к Крюшо. Он пришел сообщить ему кое-какие подробности относительно той самой жирной птицы, которую предстояло поймать Жозефу.

Фушэ сказал ему, что подозрительного человека зовут, «гражданин Рибо», но каково настоящее его имя, пока еще неизвестно. Достоверно только то, что под его личиной скрывается один из опаснейших роялистских вождей и на днях ему передадут кругленькую сумму для нужд вандейских мятежных шаек. Поэтому пока Крюшо должен только осторожно выслеживать мнимого Рибо, не предпринимая никаких мер и никому ничего не сообщая.

Через день Фушэ зашел опять, сообщил, что завтра выезжает в Лион, но перед отъездом успеет повидаться с агентом и даст ему все инструкции относительно как этого дела, так

и приготовлений к празднеству в честь Разума. Действительно, что касалось первого, то Крюшо мог быть удовлетворен: Фушэ доставил ему такие сведения, от которых у агента даже под ложечкой засосало! Теперь освобождение из-под ярма было так близко, так близко!

Подумать только: завтра, по точнейшим сведениям Фушэ, мнимый Рибо должен будет получить обещанную сумму! Одновременно с этим его посетят два опаснейших шуана, уже давно скрывающихся в Париже. Захват всей этой троицы так выдвинет Крюшо, что Фушэ будет нетрудно добиться назначения его на ответственную должность куда-нибудь в провинцию, где он, Крюшо, уже может не бояться преследований за старые грешки. Но чтобы предприятие удалось, необходимо проявить большую точность и тонкость.

Визит шуанов к мнимому Рибо назначен ровно в три часа. Если Крюшо явится слишком рано, он спугнет птичек и захватит одного только Рибо, но без всяких улик, а главное – без денег. Если он явится слишком поздно, то все птички могут успеть сбежать. Поэтому Крюшо должен поступить так. Он возьмет конных и пеших солдат и сейчас же после трех часов окружит цепью весь квартал, а сам с остальными двинется в самую берлогу. Тогда, если даже молодчикам удастся выбежать через какой-нибудь тайный ход, то далеко они не уйдут!

Крюшо был в восторге от этих детальнейших сведений самого плана, казавшегося ему необычайно остроумным. Да, в этом

деле можно действительно выдвинуться!

Адель, выслушав его восторги, спросила:

– Так как же ты решаешь? Значит, от бегства ты уже отказываешься?

– Видишь ли, – ответил ей Крюшо, подумав, – я попытаюсь перехитрить эту лису – Фушэ. Если дело окончится так, как я рассчитываю, то мне не трудно будет самому выхлопотать себе назначение в провинцию. Тогда к чему бежать? Если же птички окажутся не из таких важных, как предполагает Фушэ, или, если мне будет отказано в моем ходатайстве, тогда придется спасаться, потому что дразнить Робеспьера я больше не согласен! Во всяком случае, когда Фушэ вернется, меня не будет в Париже, так что участвовать в придуманном им маскараде я не стану!

– Что ж, я сама рада буду, если удастся остаться во Франции, – ответила Адель. – Знаешь ли, ведь я пошаталась по разным заграницам и скажу тебе, что нигде наш брат не чувствует себя так привольно, как во Франции. А потом это и для меня самой вернее. Кто тебя знает: скрывшись за границу, ты, пожалуй, еще махнешь на меня рукой.

– Как тебе не стыдно, Адель! – с искренней укоризной воскликнул Жозеф. – Разве я давал тебе когда-либо повод сомневаться в моей любви?

– Та-та-та, друг мой! Все это очень хорошо звучит, а на деле... Я ведь старею, Жозеф; только чудом я так моложава на вид. Но пройдет еще несколько лет, и природа возьмет

свое!

– Все равно я никогда не разлюблю тебя! Ведь и я не так уж молод! А главное: мы с тобою – одна душа. Где я найду другую такую подругу? Нет, Адель, я никогда не изменю тебе, на мою верность ты можешь положиться!

– Верность! Это – слово придумано людьми для собственного утешения. Верной бывает только женщина, да и то когда она начинает стариться. Разве я знала когда-нибудь прежде, что значат «искренняя любовь», «верность»? Словно мотылек, я перепархивала от одного наслаждения к другому, не заботясь о том цветке, с которого только что упорхнула. Только под старость мы начинаем жадно цепляться за свое ускользящее очарование, только под старость ухватываемся за одного, кто сосредоточивает на себе всю нашу позднюю любовь. А уйдет этот «один» – кто тогда захочет взглянуть на нас? С ним уходит все прошлое, все право на личное счастье. Для меня ты – этот самый «один», «последний»... Но не таковы вы, мужчины; вы – до смерти мотыльки.

– Пусть все, но не я, Адель! Никогда и ни к кому еще в жизни я не привязывался, до тебя я не знал, что такое любовь и полное слияние! Я был один, потому что не находил ни мужчины, ни женщины, достойных меня. В тебе я нашел такого человека, вот почему мы – неразрывная пара, над которой время не властно! Ведь ты умна, решительна, смела, ловка, ты чужда всяких глупых предрассудков, которыми люди портят себе жизнь. Мы – одно с тобою, Адель. Могу ли я от-

казаться от своей собственной половины?

– Ну что же, будем верить, что это так... Приди же, поцелуй меня, мой верный рыцарь!

Они провели несколько очаровательных часов, полные любви и радостных надежд. Но, видно, судьба нашла, что Жозефу Крюшо отпущено слишком много благополучия: неприятности не заставили себя ждать!

Началось это с жестокой нахлобучки, полученной Крюшо от своего прямого начальника за мелкое упущение по службе. Действительно, в последнее время Крюшо не везло, и у него довольно часто происходили служебные «осечки», а тут еще ловушка, в которую заманил его хитрый Фушэ, окончательно смутила покой агента и лишила необходимой для работы сосредоточенности.

Но все это было бы еще ничего, если бы во время разноса не вошел сам Максимилиан Робеспьер. Зашел он совершенно случайно, но, узнав, в чем дело, тут же подложил несколько крупных поленьев в костер, на котором жарился неудачник-агент. Робеспьер с присущей ему прямоотой высказал, что, разумеется, агенту некогда заниматься своим делом, если он с головой ушел в политическую интригу.

– Я мог бы раздавить тебя, как мошку, – сказал диктатор, – но не сражаюсь с мошкаррой! Однако берегись! В данный момент я олицетворяю собою республику, и то, что направлено против меня из личной неприязни, может вырасти в государственное преступление, если грозит общественно-

му спокойствию. В твоей деятельности много темных мест, Крюшо! Смотри, как бы революционному трибуналу не пришлось заняться освещением их!

Крюшо призвал на помощь все свое самообладание, чтобы не выказать растерянности и смущения. Торопясь оправдаться, он заявил, что не понимает намеков Робеспьера, что никогда не занимался никакой интригой; если же он иной раз и говорит слишком свободно при посторонних, то этим путем он лишь расставляет сети врагам республики и ее великого главы. Точно так же мелкие упущения, в которых его теперь обвиняют, произошли только потому, что все последнее время он был занят выслеживанием серьезного политического заговора. Теперь все нити у него в руках, и завтра он наглядно докажет, насколько несправедливо обвинять его в бездействии и халатности.

Конечно, его стали расспрашивать, и вот тут-то Крюшо сделал большую ошибку, в которой первый же стал каяться потом. Подхваченный хвастливым чувством, он расписал предстоявшее ему дело в таких ярких красках, что самая удачная действительность должна была побледнеть в сравнении с ними. А ведь для Крюшо было именно так важно поразить достигнутыми им результатами!

Параллельно с этим в нем возросла тревога за исход этого дела. Случись какая-нибудь неудача – и он окончательно погибнет!

Да, Жозефу Крюшо предстояло сделать крупную ставку,

и он употребил все усилия, чтобы сорвать ее. Весь остаток дня он употребил на то, чтобы тщательно обследовать квартал, где было расположено местожительство гражданина Рибо, заметил все лазейки и проходы, занес свои наблюдения на бумагу и сделал на плане пометки о наиболее разумном распределении сторожевых постов. До поздней ночи он на все лады рассматривал разработанный им план ареста и в конце концов должен был сам признать, что этот план вполне удовлетворителен: птички не могли упорхнуть из расставленных им сетей!

Ровно в три часа Крюшо вступил с вооруженным отрядом в квартал и быстро расставил сторожевую цепь. Когда квартал оказался оцепленным, агент двинулся с унтер-офицером Мало к воротам дома. На углу узкой улочки отряд столкнулся с возом сена, на котором восседала седая, морщинистая крестьянка. Крестьянский парень, правивший телегой, не успел вовремя посторониться, и в отряде, разбитом телегой на две струи, произошло временное замешательство. Но телега проехала, порядок восстановился, и через несколько минут Крюшо был уже перед воротами дома Рибо.

Ворота оказались запертыми. Крюшо постучался, ему никто не ответил. Он постучал еще и еще – никто не отзывался.

Тогда он приказал высадить ворота ударами прикладов. Теперь, когда грохот ударов разнесся на весь квартал, из-за ворот послышался испуганный окрик:

– Кто там?

– Ага, наконец-то! – усмехнулся Крюшо. – Именем республики откройте!

Послышалось скрипение засовов, наконец ворота распахнулись, и Крюшо увидел молодую девушку, которая с испуганным недоумением смотрела на непрошенных гостей.

– Кто ты такая? – спросил ее Крюшо.

– Мари Батон, гражданин! – ответила девушка.

– Ты здесь живешь?

– Да, гражданин.

– Одна?

– Со старой бабушкой. Она больна и не в своем уме.

– Здесь живет еще некий гражданин Рибо. Где он?

– Гражданин Рибо? Он... кажется... ушел...

– Ушел? – крикнул Крюшо, чувствуя, что земля ускользает из-под его ног. – Этого не может быть! Ты лжешь! Где его помещение?

– Помещение? – молодая девушка усмехнулась. – У нас самих в этих развалинах не помещение, а собачья конура.

– Без шуток! – крикнул взбешенный Крюшо. – Именем республики приказываю тебе провести меня в помещение, занимаемое гражданином Рибо!

Мари пожала плечами и повела Крюшо, сержанта Мало и двух гвардейцев в полуподвальный этаж, где она ютилась с бабушкой в трех случайно уцелевших от общего разрушенья каморках. В одной из этих каморок все носило на себе следы чьего-то недавнего пребывания. Здесь, по словам Мари, и

жил гражданин Рибо. Но теперь комната была пуста – птичка улетела, хитро миновав расставленные ей сети.

Тщательный обыск комнаты не дал никаких результатов, показания Мари сводились только к «ушел» и «не знаю». В отчаянии, граничившим с полным безумием, Крюшо вместе с сержантом и солдатами устремился в остальные комнаты. В последней они застали старуху Целестину, важно восседавшую в старом колченогом кресле.

На вопрос Крюшо старуха задумалась с выражением величайшего напряжения. Вдруг ее лицо прояснилось, губы скривила идиотская улыбка.

– Гражданин Рибо? – повторила она. – Ах, да, ведь этот проказник, граф Арман, приказывал называть себя так! Разве вы его не встретили? – она захихикала, подмигивая одним глазом. Ну, да вы, конечно, его не узнали! Вот шалуниска-то! Взял да и нарядился старухой. Смехота!.. Я сама своим глазам не поверила. И ведь уселся на сено, словно всю жизнь...

– Проклятье! – стоном вырвалось у Крюшо. – Мало, живей! Послать во все стороны нескольких конных! Они не успели далеко отъехать! Живей! Ко всем заставам! Нагнать!

– Бабушка! Что ты наделала?! – с ужасом воскликнула Мари.

– А, вот как! Значит, ты знаешь больше, чем хотела показать, красавица? Взять ее! – Один из гвардейцев взял девушку за руку и грубо повел ее во двор, Крюшо последовал

за ними, но на пороге обернулся и, снова подойдя к старухе, спросил: – Граф Арман, говоришь ты? Ну а как его фамилия, твоего графа Армана?

Старуха горделиво подняла голову и ответила с важным упреком:

– Вы не знаете, как его зовут? Не делает вам чести! Имя графов Плэло не встречается на каждом шагу!

– Граф Арман Плэло! – воскликнул Крюшо, хватаясь за голову.

Мало, услышав этот возглас, остановился, присел, хлопнул себя по бокам и залился беззвучным хохотом.

– Ну-ну! – произнес он наконец. – Не завидую я тебе, гражданин Крюшо! Конвент никогда не простит тебе, что ты упустил такую пташку! Граф Плэло! Да ведь это один из самых ожесточенных и к тому же – один из самых богатых врагов республики! Ну, ну!

Глава 8

Граф Арман благополучно доехал до Корбейля и, как было условлено, перед гостиницей «Золотой Лев» встретил человека, который произнес нужный пароль и отвел его в приготовленную ему комнату. Попытки разузнать у агента неизвестного благодетеля, кому именно и в силу каких причин обязан граф своим спасением, окончились полной неудачей. Незвестный ответил лишь, что граф в свое время все узнает и что не умно будет тратить время на бесполезные расспросы, когда дорога каждая минута отдыха: через несколько часов ему снова придется пуститься в путь!

Дальнейший путь проходил с той же таинственностью. Граф аккуратно получал инструкции, везде находил свежую лошадь, все необходимые указания; раза два ему приходилось менять направление и костюм; но ничто не давало ему ни малейших указаний, ни малейшего намека как на причины, руководившие его спасителями в этом добром деле, так и на саму их личность.

Прошло трое суток утомительного путешествия. Граф Плэло прибыл в указанный ему лесок у горы Святой Мадлены в верховьях Луары. Здесь он получил свежую лошадь, новый костюм и утешительное известие: в городе Роане, находившемся в десятке верст отсюда, вся таинственность приключения будет раскрыта, граф увидит своего избавителя и

лично от него все узнает. Кроме того, в Роане графу предстоит отдых в течение нескольких дней; но пусть его ничто не пугает: все меры приняты, препятствия будут устранены, и далее граф поедет без всяких затруднений.

С этой малопонятной фразой посланец неизвестного простился с графом и скрылся.

Граф Арман отправился указанным путем далее и скоро въехал в заставу города Роана. Невдалеке от заставы находилась гостиница с громкой вывеской «Знамя свободы». В этой гостинице, согласно последней инструкции, граф и остановился в радостном ожидании раскрытия окружавшей его тайны и в предвкушении окончательного пути к спасению.

Вскоре Плэло понял, что означало предупреждение последнего агента «избавителя». Не прошло двух часов после прибытия графа в Роан, как в гостиницу явился полицейский комиссар и потребовал у путешественника его документы. Получив таковые, комиссар мельком проглядел их, сунул в карман и буркнул, что путешественнику придется пробыть в городе неопределенное время; затем, не давая никаких дополнительных объяснений, он ушел.

Прошло два томительных дня. Комиссар не возвращал документов, таинственный «спаситель» не появлялся. Плэло переходил от надежды к полному отчаянию, готов был пуститься на безумный риск и бежать из Роана. Но благоразумие одержало в нем верх, и он твердил себе, что таинствен-

ный друг не оставит его в таком незначительном затруднении, если сумел выручить из громадной беды.

Наконец, на третий день вечером, в дверь комнаты Плэло раздался стук.

– Войдите! – крикнул граф.

Дверь открылась, и в комнату просунулась лисья мордочка Фушэ. Он старательно запер за собой дверь и произнес, с улыбкой и поклоном подходя к графу:

– Крест и лилия!

– Мой спаситель! – с жаром воскликнул Арман, кидаясь к посетителю, но вдруг его лицо выразило испуг и недоумение, и он даже отступил на шаг назад.

– А, понимаю! – засмеялся Фушэ: – Вас смущает вот эта игрушка? – и он указал на опоясывавший его трехцветный шарф. – Вы никак не ожидали, что вашим спасителем окажется должностное лицо?

– Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить? – спросил, несколько оправясь, Плэло.

– Я – Барэр де Въезак, – было ему ответом.

Это имя произвело оглушительный эффект на графа. Барэр де Въезак? «Анакреон гильотины»? Человек, известный цветистой, сентиментальной лирикой речей, в которых он требовал самых жестоких мер и оправдывал самые грубые насилия якобинцев?

Плэло отступил еще на шаг и растерянно оглянулся по сторонам.

– У вас такой вид, дорогой граф, будто вы ищете подходящее оружие, чтобы укокошить меня! – улыбаясь заметил Фушэ. – Но я надеюсь, что это лишь кажется мне. Вы – слишком разумный человек, чтобы ни с того ни с сего погубить себя. На всякий случай соблаговолите взглянуть в окно! Ага. Изволили обратить внимание, что я позаботился о надлежащей охране своей персоны? Но это – только охрана, потому что если бы я хотел погубить вас, то мог бы это сделать двадцать раз и в Париже, и по пути сюда! Ну так бросьте же свою подозрительность, давайте сядем и потолкуем, как подобает двум деловым людям!

– Но, мне кажется, подозрительность более чем уместна в моем положении! – ответил граф, нерешительно следуя приглашению мнимого Въезака и присаживаясь по другую сторону стола. – Прежде всего, я не понимаю... почему... Ведь вы...

– Да, я – Барэр де Въезак, и это имя говорит столь красноречиво, что от меня трудно ждать сочувствия к роялисту. Я – страстный приверженец республиканского строя и ненавижу низверженный режим и его представителей. Но... почему же наша молодая республика так плохо вознаграждает своих верных сынов? Ваш арест прибавил бы мне славы, но ее у меня и так достаточно. Ваше спасение прибавит мне достатка, которого у меня слишком мало. Было бы недостойно разумного человека колебаться между двумя этими положениями!

– Иначе говоря, – заметил граф, по лицу которого скользнула холодная, презрительная улыбка, – вы желаете получить плату за оказанную мне помощь? Хорошо, будем кратки. Сколько?

– О, сущие пустяки! Я – человек скромный и не стану ставить вам жестокие требования, пользуясь вашей беспомощностью! Но согласитесь сами, дорогой граф, что без моей помощи вам никак не выбраться бы из Парижа и что мне пришлось немало и потрудиться, и потратиться, чтобы обеспечить вам путь к спасению. А изобретательность, ум, ловкость? Разве все эти качества не должны приносить хорошие проценты? Вы только вспомните прекрасный фарс, когда вы проехали мимо самого носа полиции под видом старухи-крестьянки, которой уже через четверть часа не оказалось в природе!

– Да, в этом отношении я должен отдать вам полную справедливость: во всем этом деле, с первого момента вплоть до моего прибытия сюда, вы выказали гениальную предусмотрительность и дьявольскую находчивость! При всей своей несклонности к суеверию я порой готов был поверить в помощь таинственных сил – так непонятно и загадочно казалось мне многое. Но и теперь, даже узнав руководившие вами мотивы, я все же многого не понимаю.

– О, я с удовольствием разьясню вам все, потому что это в моих интересах! Вам необходимо знать, как было все на самом деле, чтобы вы могли оценить мои старания. Я имел кое-

какие подозрения относительно отца Жерома и часто бродил вокруг его дома. В достопамятный вечер я имел случай подсмотреть, чем вы там занимались, и сразу понял, в чем дело. Наблюдая за вами обоими, я заметил, какие злобные взгляды кидал на вас коварный поп, когда вы на него не смотрели. В моей голове уже родился определенный план, а эти взгляды грозили моему плану полным крушением. Я решил последить за попом и заметил, что, оставив вас в первой комнате, он удалился в спальню и там принялся что-то писать. Мне удалось вскарабкаться на окно и подсмотреть, что он писал. Это был донос конвенту на гражданина Рибо.

– Я так и знал! – крикнул граф. – Ну погоди, лицемерный поп! Мы еще посчитаемся с тобой.

– Этот донос, – продолжал Фушэ-Барэр, – был мне вовсе ни к чему, так как мешал спасти вас и заработать на этом спасении. Я сейчас же написал вам письмо, которое должно было сильно удивить вас. Затем я начал действовать. Путем ряда ловких махинаций мне удалось добиться, чтобы ваше дело было передано именно тому агенту, с которым я был в большой дружбе и который часто обращался ко мне за советами. Таким образом я все время был в курсе дела, мог извещать вас о положении розысков, подготовить ваше бегство и послать к вам своего человека, который и увез вас за несколько минут до прибытия полиции. Дальнейшее было уже совсем легко. У меня имеются преданные люди, которые подготовили для вас путь до Роана. Теперь благоволите

прикинуть следующее: во-первых – мои расходы, во-вторых – вознаграждение моим людям, в-третьих – оценка понесенного мною риска и хлопот. Все это должно быть вознаграждено, дорогой граф!

– Но я уже предложил вам краткий и ясный вопрос: сколько?

– О, сущие пустяки для вас! Я, видите ли, большой охотник до... зелени, и та, которую вы везете в двух дорожных мешках, отлично вознаградила бы меня!

– Но вы с ума сошли! – крикнул граф. – Да ведь это грабеж! Нет, это невозможно! Этого не будет!

– Очень сожалею, граф, – холодно ответил Фушэ, – в таком случае ваша песенка спета! Дорожа безделицей, вы потеряете все!

– Но вы и так отнимаете у меня все! – с отчаянием воскликнул Арман.

– О, нет! Я оставляю вам самое важное: во-первых, жизнь, а, во-вторых... во-вторых – разве плохая сумма ждет вас в Англии, когда вы предъявите ту самую бумажечку, которую так бережно храните на груди в замшевом мешочке?

– Вы – дьявол! – простонал граф, откидываясь на спинку стула.

Наступила короткая пауза, затем Фушэ спросил:

– Ввиду того, что я тороплюсь, не разрешите ли вы мне, граф, крикнуть своего человека, который унесет столь мило-стиво пожертвованную мне вашим сиятельством награду?

– Но будьте же милосердны! – простонал Арман. – Ну давайте сделаем так: берите уж, что поделаешь, один из мешков.

– Нет, граф, меня устраивают только оба!

– Ну так дайте мне отобрать несколько вещей! Ведь некоторые из них очень дороги мне по воспоминаниям о...

– О заплаченных за них предками суммах? – договорил Фушэ. – Но с этой точки зрения и я очень дорожу воспоминаниями!

– Но помилуйте...

– Граф, вы бесцельно оттягиваете время, которое мне очень дорого! Я не уступлю булавочной головки из своих справедливых требований!

– Хороша справедливость! – вздохнул граф. – Но что же делать? Я – в ваших руках. Только вот что: за что же вы получите награду теперь, когда я еще далеко не в безопасности, и что служит мне гарантией дальнейшей безопасности? Как знать, может быть, уходя отсюда с ценной добычей, вы шепнете пару слов городским властям, и...

– Дорогой граф, не находите ли вы, что мой прямой расчет как можно скорее переправить вас через границу? – ответил Фушэ.

При этих словах лицо графа вдруг вспыхнуло радостью. Он встал и, насмешливо поклонившись Фушэ, надменно процедил:

– Милейший Въезак, приношу вам искреннюю благодар-

ность за то, что вы просветили мой смущенный ум и указали способ действий. Вы немедленно примете меры к тому, чтобы я мог продолжать свое путешествие, и обеспечите его услугами ваших людей. А в тот момент, когда я перейду границу, я вручу вашему агенту такую сумму в возмещение расходов, какую найду нужным!

Фушэ с любопытством посмотрел на графа и ответил:

– Я думал, что вы больше дорожите жизнью, граф! Значит, мне остается только подойти к окну и крикнуть солдат?

– О, вы этого никогда не сделаете! Вы сами понимаете, что я молчать не буду и на допросе откровенно расскажу, кто помог мне бежать и кто в надежде поживы ковал измену против республики! Вас мало утешит, что я сложу свою голову, если при этом и вам придется расстаться со своей!

– Но вы – удивительно наивный человек, граф! – возразил Фушэ, не изменяя своей спокойной позы. – Вы только что изволили отметить, что во всем этом деле я проявил «гениальную предусмотрительность и дьявольскую находчивость», и, тем не менее, допускаете мысль, что я упустил возможность подобных угроз с вашей стороны, что я не принял меры, чтобы парализовать действие вашего «искреннего признания»?

– Хотел бы я знать, какие это меры! – с кривой усмешкой возразил Плэло.

– О, я не был бы ни предусмотрителен, ни находчив, если бы раскрыл вам свои карты! Но чтобы вы могли быть уверены в моей готовности к подобному обороту дела, укажу вам

на одну только возможность, повторяю – на одну только, так как у меня их много, и этой я воспользуюсь лишь в самом крайнем случае. Представьте себе, что я прикажу вас арестовать. Вас связывают и мне дают несколько солдат, чтобы конвоировать вас в Париж. По дороге я простреливаю вам голову вот из этого самого пистолета, даю конвоирам по паре золотых из ваших же средств, отпускаю их домой, а сам завладеваю вашими сокровищами и по приезде в Париж докладываю, что вы сделали попытку к бегству и мне пришлось вас пристрелить... Ага, у вас изменилось лицо при этой перспективе, милый граф! Теперь вы видите, как опасно для вас продолжать упорствовать и дразнить во мне желание проучить вас? Скажу вам больше: путь, который я только что начертал перед вами, был мне гораздо удобнее. Я мог бы арестовать вас уже в Корбейле, отнюдь не компрометируя себя. Почему же я не сделал этого? Потому что искренне хочу исполнить те обязательства, за которые требую награды. Если вам мало этой гарантии, то другую я вам дать не могу. Ну-с, мне некогда! Могу я взять мешки сейчас, или...

– Берите! – прохрипел Плэло.

– Благоразумие восторжествовало, отлично! Ну-с, теперь ваш маршрут! Как только вам вручат ваш паспорт – это будет, вероятно, денька через два, – я поговорю с Пежо, прокурором синдика здешней коммуны. Получив паспорт, вы немедленно отправитесь в Риом, минуя Черный Лес и Пюи де Монтоксель. Это – довольно дикие места, но теперь со-

вершенно безопасные. В Риоме вы получите все дальнейшие инструкции, так как я тем временем подготовлю ваше дальнейшее бегство до границы Испании. Ну-с, а теперь....

Фушэ подошел к дверям, отпер их, тихо свистнул в коридор. Оттуда сейчас же показался человек, и Плэло узнал в нем того самого, который встретил его около Роана.

Этот человек по молчаливому указанию Фушэ взвалил на плечи дорожные мешки с сокровищами графов Плэло и кряхтя направился к дверям.

– Теперь всего хорошего! – сказал Фушэ. – Мы едва ли когда-нибудь увидимся, так как я возвращаюсь в Париж, а вы, наверное, постараетесь держаться как можно дальше от этого города! На прощанье усиленно прошу вас в точности следовать моим инструкциям и терпеливо ждать. Малейшая неосторожность может погубить вас, а ведь я тоже заинтересован, чтобы вам удалось благополучно скрыться за границу!

Плэло промолчал в ответ, но его злобная усмешка была красноречивее всяких слов!

На улице Фушэ подвели лошадь. В то время как Сильван – один из довереннейших агентов Фушэ – старательно подвязывал мешки к седлу, Фушэ бормотал с хитрой улыбкой:

– Ты очень наивен, мой миленький граф! Ты воображаешь, что Фушэ не умеет читать в душе и не смог истолковать твою улыбочку? О, я прочел по ней, как по книге, такую мысль: «Погоди, дай мне только добраться в Лондон, и я оповещу весь мир, как Барэр де Вьезак продал республи-

ку за чечевичную похлебку». Но, миленький, во-первых, до Лондона надо добраться, а, во-вторых, – если даже тебе это удастся, в чем я немножко сомневаюсь, то позорь, сколько тебе угодно, Въезака! Какое дело до этого Жозефу Фушэ? Готово, Сильван? – вслух спросил он, увидав, что агент закончил с работой. – Ну, так ты говоришь, что «он» уже на месте?

– По моим расчетам, он должен был часа два тому назад уже прибыть туда.

– Гаво предупрежден и на страже?

– Конечно!

– Так едем, друг мой! Нам предстоит сделать добрых пятнадцать лье, и если мы будем очень торопиться, то успеем прибыть туда только к двум часам. А утром до восхода солнца мне надо быть уже в Лионе! Едем!

Фушэ вскочил в седло, Сильван последовал его примеру, и они быстро скрылись в сгущавшейся тьме.

Конные солдаты, посланные Жозефом Крюшо во все стороны, вернулись ни с чем. Правда, телегу, в которой скрылась мнимая старуха, они нашли; но телега была пуста, и там обнаружили только скинутое беглецом платье да парик. Очевидно было, что беглец скрылся под какой-то другой личиной. Но под какой? А ведь, не зная этого, искать было очень затруднительно!

Все-таки Крюшо не терял надежды. Зная, с какими про-

волочками и формальностями был связан пропуск через заставы, он решил объехать их все и пересмотреть пропуска, чтобы направить агентов вдогонку за всеми подозрительными лицами. Долго искать ему не пришлось: у ближайшей же заставы оказался пропуск, выданный на имя младшего агента полиции Андрэ Сорье, причем заставным властям приказывалось не чинить этому Сорье никаких задержек, так как агент спешит по важному розыскному делу. Под пропуском стояла подпись Жозефа Крюшо!

Нашему неудачнику достаточно было одного взгляда, чтобы видеть, что эта подпись подделана, хотя и довольно искусно. Это открытие повергло его в полное, безграничное отчаяние. Было страшно даже обмолвиться перед начальством о том, что Рибо-Плэло скрылся под личиной Сорье, на что указывали все сопоставления и приметы. Ведь начальство было и так предубеждено против Крюшо и не поверит, что этот приказ о пропуске вообще подделан, а если и подделан, то без ведома и согласия самого агента. Значит, в результате – обвинение в измене и казнь! Но и неудачи с поимкой Плэло ему тоже не простят! Как же быть? Что делать? Бежать! Только бежать! Но куда?

Крюшо кинулся домой, чтобы посоветоваться с Аделью. Та сразу поняла опасность положения, и ее решение было: бежать и немедленно!

– Слушай, – сказала она, – не говорил ли ты мне, что повсюду за границей так и кишат тайные агенты республики,

скрывающиеся под видом бежавших роялистов и выслеживающие настоящих роялистов?

– Да, и многих из них я знаю лично, – ответил Крюшо.

– Ну, так разве любая политическая полиция не возьмет тебя на службу, чтобы ты мог выслеживать и разоблачать этих сыщиков? Полно, а ты еще горюешь, на какие средства мы будем существовать за границей! В том же Лондоне мы сразу и отлично устроимся! Те несколько тысяч франков, которые у нас имеются, помогут нам выбраться из Франции, а там...

– Ты права, дорогая, совершенно права, но как выбраться отсюда? Того и гляди, явятся арестовать меня!

– Как? Но ты забыл о плане, который выболтал нам Фушэ! Надо сейчас же собраться и сломя голову скакать в Макон, а там....

– Но успеешь ли ты собраться?

– Я? Но если я отправлюсь вместе с тобою, милый друг мой, то нас живо сцапают! Нет, я обожду недельки две, а там самым спокойным образом отправлюсь в Калэ и оттуда уже переправлюсь в Англию. Ведь мне-то ничего не грозит!

Спорить и пережевывать план бегства было некогда – нельзя было терять ни минуты. Крюшо поспешно собрался, взял часть денег, легкий чемодан с необходимым бельем и платьем, крепко поцеловался с Аделью и уехал.

Через заставу его пропустили беспрепятственно: ведь агенту частенько приходилось выезжать за город по служеб-

ным делам.

Очувившись за городской чертой, Жозеф Крюшо облегченно перевел дух и погнал во всю прыть свою лошадь.

Ехал он быстро, на отдых и пищу тратил самое необходимое время. И все-таки ему казалось, что он подвигается вперед недостаточно быстро.

В первый день он сделал очень серьезный перегон, но зато его лошадь совсем выбилась из сил. На другое утро оказалось, что она загнана и дальше бежать не может. Между тем другую лошадь найти не удалось: в округе недавно была конская реквизиция, и все годные лошади были уведены для нужд армии. Крюшо пережил несколько тяжелых часов. Наконец он решил взвалить на лошадь чемодан и пешком повел ее на поводу.

Недостаток в лошадях сильно тормозил его путешествие и впоследствии. Наконец, на исходе пятого дня трудного пути, перевалив через Котдор, Крюшо завидел вдали голубые воды Соны и крыши города Макона.

Теперь еще одно последнее усилие – и испытание конечно. Только бы найти сговорчивого судовладельца, спуститься в шаланде по Соне и Роне, выбраться в море, а там... там уже можно было считать себя спасенным!

Самым трудным было отыскать подходящую шаланду. Правда, много их пестрило воды реки, но... чего доброго, попадешь еще на патриота или жулика! Жулик отберет деньги да прогонит – жалуйся там на него! А патриот – еще хуже

– заподозрит неладное и донесет. Трудное это было дело, и много осторожности требовало оно!

Отдохнув немного в гостинице и закусив, Крюшо отправился побродить по набережной. Быть может, ему повезет и он хоть разузнает что-либо.

Он медленно пошел вдоль берега, жадно всматриваясь в суда, в изобилии стоявшие на реке. Тут были и маленькие, и большие, и новые, и старые, и только что прибывшие, и готовившиеся поднять якорь. Вдруг Крюшо почувствовал, что его кто-то толкает под локоть. Он обернулся и увидел перед собой молодого парня в матросской одежде.

– Что это ты с такой жадностью смотришь на реку, гражданин? – с добродушной иронией спросил его матрос. – У тебя такой вид, будто ты был бы очень не прочь совершить небольшую прогулку в... Испанию! Ну, ну, ну! – успокоительно произнес он, заметив испуганное движение Крюшо. – Бояться тебе нечего, да и притворяться тоже... бесполезно! У меня глаз наметан, гражданин, и я сразу вижу птицу по полету! Я хотел только сказать тебе следующее: наша республика – да сохранит ее Всевышний на долгие годы! – все же порой бывает крутенька, и этим господам из конвента ничего не стоит лишить человека такого украшения, без которого ему трудно обойтись – самой верхней надстройкой! Ну, а мы с хозяином – люди жалостливые, и за небольшую сумму денег уже не одного такого несчастного благополучно вывезли в море! Так вот, гражданин, если я не ошибся и ты дей-

ствительно собираешься совершить прогулочку, то позволь доложить тебе, что наша «Мари» – судно доброе, крепкое и быстрое на ходу, а судовой повар знает свое искусство в совершенстве. Ну, а если я ошибся, то прости на неловком слове!

Крюшо внимательно посмотрел на матроса: ничего подозрительного в его лице или взгляде не было. Да и уместна ли здесь подозрительность? Разве не говорил Фушэ, что в Маконе многие судовладельцы промышляют этим? Поэтому он решился спросить:

– А сколько берет твой хозяин за... это?

– О, мой хозяин не прижимает несчастных беглецов, можешь быть спокоен! Вы с ним легко столкуетесь! Все зависит от того, срочно ли это для тебя, то есть можно ли будет принять товар кое-где, или надо лететь стремглав. Ну, и от стола тоже – насколько ты требователен насчет корма. Словом, у нас найдется проезд на всякую цену, об этом не беспокойся! Ведь не совсем же без денег ты пустился в бега?

– Ну так отведи меня к своему хозяину!

– Да его еще нет, он уехал по делам и будет только ночью!

– А когда вы трогаетесь в путь?

– Да видишь сам, что ветер попутный! Долго прохладиться не будем – часа в два-три ночи и снимемся с якоря! Только ты об этом не беспокойся; если хочешь воспользоваться нашей «Мари», то можешь смело довериться мне. Приезжай хоть сейчас. Я отведу тебе каюту, а там придет хо-

зьяин, и вы столкнетесь!

Крюшо согласился, что это будет для него самым подходящим делом, и попросил матроса сейчас же сходить с ним в гостиницу и взять его вещи. Так и сделали, и через какой-нибудь час Крюшо уже сидел в отведенной ему каюте и смотрел в маленькое окошечко на видневшиеся вдали городские огни. И ему думалось при этом, что теперь-то он наконец у гавани и что самые большие трудности позади. Пусть даже один из этих огоньков освещает лицо человека, посланного в погоню за ним, Крюшо, все равно – еще несколько часов, и шаланда двинется на парусах вперед, к свободе и безопасности!

Ветер крепчал, волны начинали все сильнее качать заякоренную шаланду, которая скрипела, словно жалуясь на бесцеремонные шутки стихии. Но этот скрип сладкой музыкой отдавался в ушах беглеца: он возвещал ему, что все складывается благоприятно для бегства и попутный ветер быстро домчит шаланду за пределы досягаемости.

Однако эта качка просто укачивала; хотелось спать, особенно после всех волнений и тягот трудного пути. Приказав Пьеру Гаво – так назвал себя матрос, приведший Крюшо на судно – постучать, как только на судно прибудет хозяин, беглец улегся на койку и вскоре заснул глубоким сном.

Крюшо проснулся от топота и шума на палубе. В первый момент он вскочил с койки, испуганный до последней степени: ему представилось, что это пришли арестовать его. Но он

сейчас же успокоился: шум и топот происходили от того, что шаланда снималась с якоря. Действительно, заскрипел кабе-стан, шаланду сильно качнуло несколько раз, и вдруг воца-рилось полное спокойствие – якорь был поднят.

Затем весь корпус судна сильно вздрогнул два раза, что-то скрипнуло, шаланда плавно легла на один бок, и Крюшо заметил вдруг, что огонек прибрежного фонаря вдруг стал удаляться: это натянули паруса, и шаланда двинулась в путь.

С облегченным сердцем Крюшо лег опять, и только начал забываться, как в дверь с силой постучали.

– Кто там? – крикнул он сквозь сон.

– Пожалуйста! – ответил голос Гаво. – Хозяин желает по-знакомиться, да и насчет расчета поговорить!

Крюшо кряхтя встал с койки, поправил туалет и последо-вал за Гаво. Тот довел его до каких-то дверей и, лаконично объявив: «Тут», – впустил внутрь.

В каюте над маленьким письменным столом горела ви-сячая масляная лампа, освещая какую-то согнутую фигуру, что-то старательно писавшую. Свет лампы ударял прямо в глаза Крюшо, и он не мог хорошенько разглядеть писавше-го. А тот не обращал ни малейшего внимания на вошедшего. Крюшо кашлянул – ни малейшего эффекта, сделал несколь-ко шагов вперед, умышленно стараясь ступить погромче, – тот же результат. Наконец он нетерпеливо сказал:

– Вы хотели поговорить насчет расчета, патрон!

Тогда писавший положил перо, повернул голову, и Крюшо

увидал перед собой лисью мордочку Фушэ.

Словно пораженный громом, Крюшо окаменел, не будучи в состоянии проронить ни звука. В это время Фушэ сказал:

– Да, да, друг мой Крюшо, нам с тобой пора уже рассчитаться! Гм... Ты задумал бежать? И тебе не пришло в голову, что моя рука всюду достанет тебя?

Крюшо продолжал молчать. Язык отказывался повиноваться ему. В голове мутилось. Начинало казаться, что он просто сошел с ума и видит картины бредовой фантазии.

Фушэ встал, взял за рукав окаменевшего Крюшо, толкнул его на табуретку около стола, уселся сам и продолжал:

– Да, милый мой, нам нужно рассчитаться. Сначала ты сделал попытку отравить меня, а когда это не удалось, ты решил сбежать. Да как же ты решился на это, раз я вполне определенно сказал, что ты нужен мне в Париже? Друг мой, берегись! Два преступления подряд! Третьего я уже не прощу!

– Но... я... ты... как же... – бессвязно произнес Крюшо, к которому все еще не возвращался утерянный дар слова.

– Впрочем, – продолжал Фушэ, – уж не знаю, право, не махнуть ли мне на тебя рукой? К чему мне дожидаться третьего проступка, когда первые два достаточно наглядно показали, что на тебя нельзя положиться? Нет, лучше будет, пожалуй, по прибытии в Лион отправить тебя под конвоем в Париж и написать несколько слов лично Робеспьеру!

– Пощади! – глухо простонал Крюшо. – Ведь ты не знаешь,

что заставило меня бежать! Мне не удалось арестовать Ри-бо, под личиной которого скрывался граф Арман Плэло. А между тем накануне неудавшегося ареста я случайно столкнулся с Робеспьером, который пригрозил мне гильотиной за интриги против него. Если бы я остался в Париже, мне не уйти бы от казни. И ведь всем этим я обязан только тебе!

– Допустим, что это несколько смягчает твою вину. Допустим даже, что я согласен простить тебя, забыть все прошлое, как если бы его не было совсем. Но обещаешь ли ты впредь слепо повиноваться мне?

– Но, гражданин, я и так... Только роковое стечение обстоятельств...

– Хорошо! В таком случае ты должен немедленно вернуться в Париж!

– Гражданин, да подумай сам, разве это...

– Что? Возражения? И это называется слепо повиноваться? Молчи и слушай! Ты немедленно возвратишься в Париж...

– Нет, гражданин Фушэ, добровольно я на гильотину не пойду! Тогда уж лучше прикажи связать меня и отправить в Париж под конвоем. Вдобавок ко всему прежнему, что могу я сказать, если меня спросят, где это я пропал столько времени?

– Ты можешь сказать, что кинулся преследовать бежавшего графа Плэло и...

– И не настиг его? – Крюшо горько усмехнулся. – Хорошо

оправдание!

– Нет, настиг и связанным доставил на суд народа! – произнес Фушэ, а, когда Крюшо с изумлением посмотрел на него, он усмехнулся и продолжал: – Дурашка! Я тысячу раз говорил тебе, что сам ничего даром не делаю, а потому не могу требовать, чтобы и мне служили даром! Какой мне смысл губить тебя, какая польза отправлять в Париж, если по логике вещей там тебя должны ожидать крупные неприятности? Наоборот, чем твое положение будет тверже, тем лучше и для меня, так как тогда ты сможешь с большим успехом способствовать моим планам. Ах, Крюшо, Крюшо! Я дал тебе столько доказательств своей ловкости, а ты все еще не доверяешь мне! Помни одно: если ты будешь слепо повиноваться мне, то я никогда не оставлю тебя в беде. Я сумею увести тебя из суда под самым носом у судей, я найду средство освободить тебя из-под самого ножа гильотины! Только – доверие, доверие и доверие! Моя голова устроена так, что я умею все предвидеть, умею учесть всякую мелочь! Разве я не знал, что ты при первой же возможности сбежишь? Доказательство налицо: ведь я даже сумел предугадать твой путь! Если бы я хотел, я мог бы помешать тебе сделать хоть шаг из Парижа, но я видел, что ты все еще не убежден в истинной величине моего могущества, что тебе надо дать наглядное представление о нем. Теперь ты видишь: ты в моей власти в тот самый момент, когда думал, что находишься в полной безопасности. Мало того, я даю тебе возможность вернуть

все утраченное, вернуться в Париж с высоко поднятой головой, доставить туда важного арестанта. Неужели тебе мало этого, неужели ты все еще не постиг, что со мной ты – все, а без меня – ничто? Ну так как же: согласен ты слепо, беспрекословно повиноваться мне, готов ты теперь поверить, что со мной тебе ничто не грозит?

– Приказывай, гражданин! – несколько ободрившись, ответил Крюшо.

– Хорошо, слушай! Но сначала несколько слов: ты не должен никогда ни полусловом обмолвливаться, что я давал тебе какие-либо инструкции. Это важно для тебя потому, что только при этих условиях я буду в состоянии выручить тебя из затруднительного положения, которое не раз представится тебе в Париже. И помни всегда, что, как бы безысходно ни казалось тебе какое-нибудь положение, Фушэ всегда найдет выход! Теперь слушай!.. Мы спускаемся вниз по Сене и через час дойдем до Бельвиля. Там ты высадишься, а я отправлюсь дальше, так как мне надо до восхода солнца быть в Лионе. В Бельвиле в данный момент находится воинский отряд под командой лейтенанта Ризенера. Ты обратишься прямо к нему, предъявишь... – Фушэ достал из папки подписанный приказ, вписал в него имя Крюшо и продолжал, – предъявишь вот этот приказ и возьмешь шесть конных солдат, с которыми отправишься на рысях в Сен-Жермен. Там ты будешь ждать возвращения Гаво, который отправится вместе с тобой. Гаво сообщит тебе в точности, где

именно должен состояться арест. Но помни, что при встрече с Плэло ты должен придать всему происшествию характер случайности. Это необходимо по моим соображениям... Да, вот еще что: по прибытии в Сен-Жермен не располагайся на отдых, а будь готов выступить в любой момент. По моим соображениям, ты захватишь Плэло около четырех часов дня между Сен-Жюстом-ан-Шевалэ и Нуаретаблем...

– Но я не понимаю, как можешь ты, гражданин... – начал Крюшо.

– Ты многого не понимаешь, это видно по всему, – оборвал его Фушэ. – Но именно потому тебе необходимо слепо повиноваться мне! А теперь ступай к себе, у меня еще много дела!

Крюшо ушел. Фушэ сел за работу. Он написал прокурору синдика Роана, чтобы путешественнику немедленно вручили задержанные бумаги, так как препятствий к тому более не встречается, а затем – письмо к графу Плэло, в котором извещал последнего, чтобы тот немедленно по получении документов пускался в путь, так как, по-видимому, на его след напали. При этом он добавил, что графу стоит только добраться до Риома, и тогда все опасности останутся за спиной.

Затем Фушэ вызвал к себе Гаво и сказал ему:

– Слушай меня внимательно! Ты высадишься вместе с Крюшо в Бельвиле. Крюшо обратится там с требованием, чтобы ему дали солдат. Дождись, будет ли удовлетворено это

требование. Если нет – оставь Крюшо там, а сам лети во весь опор ко мне в Лион за инструкциями. Если да, отправляйся в Роан и передай вот эти два письма: сначала – графу Плэло, а потом прокурору. Но передай письмо графу не сам, а через кого-нибудь, сам же выследи, отправится ли граф на Риом, и если да, то какой из трех дорог. Вернее всего, что он отправится по направлению Сен-Жюста и Нуаретабля. Дорога между этими городками идет через горы. В пяти лье ниже Сен-Жюст-ан-Шевалэ имеется деревушка Сопиноль. Дорога до нее все время идет по подъему и так трудна, что в местной гостинице путешественники всегда останавливаются на отдых. Здесь и должен состояться арест. Поэтому, убедившись, по какому направлению отправился Плэло, ты возьмешь пару крепких лошадей и стремглав понесешься в Сен-Жермен.

– Вы говорите о Сен-Жермен-Лаваль?

– Ну, конечно! По дороге ты пересядешь на другую лошадь, а уставшую поведешь на поводу. Это необходимо, так как дорога трудна, а весь успех дела в той быстроте, с которой ты успеешь доехать. В Сен-Жермене уже будет находиться Крюшо с солдатами. Ты поведешь их прямо на Нуаретабль, а оттуда – навстречу Плэло. По моим расчетам вы успеете добраться в Сопиноль раньше него, и там состоится арест. Как только дело будет сделано, ты вернешься ко мне с докладом.

– Но может случиться, что граф изберет не эту дорогу.

– Это почти невозможно. Но если даже так, то предостав-

ляю план действий твоей сообразительности. Во всяком случае Плэло не может миновать Нуаретабль, а вы придете туда раньше него. Помни только одно: арест должен состояться не в городе, и после ареста Плэло надо вести в Париж, минуя Роан. Вот и все! Теперь ступай и приготовься, так как, по моим расчетам, мы через четверть часа подойдем к Бельвилю.

Гаво ушел. Крюшо поднялся на палубу и стал сторожить, чтобы вахтенный не пропустил в предутренней дреме Бельвиля.

Глава 9

Дальнейший ход событий наглядно доказал, что Фушэ был прав, хвастаясь своей способностью рассчитать заранее всякую мелочь. Правда, и в этот расчет могла вмешаться – да и вмешалась – такая мелочь, которую нельзя было предугадать и которая все же значительно изменяла финал задуманного дела. Так, например, Фушэ никак не мог предугадать, что как раз в тот момент, когда он готовился завершить свой частичный, сложный план, Робеспьер немного прихворнет и что эта болезнь в некоторых отношениях расстроит общие планы Фушэ, хотя в других – впоследствии поможет им. Что касается ближайших событий, он выказал довольно-таки пророческое ясновидение, и в три часа следующего дня Крюшо вместе с Гаво и шестью солдатами въезжали в Сопиноль.

По всем расчетам, Плэло должен был прибыть туда через полчаса. Поэтому Крюшо с Гаво первым делом отправились знакомиться с топографией местности.

Дорога из Сен-Жюста к Сопинолю делала очень крутой и извилистый подъем, и это облегчало наблюдение, так как с сопинольских скал можно было видеть проезжающих за добрую тысячу шагов. Чтобы отрезать графу отступление, Крюшо оставил двух спешенных солдат при въезде в деревушку, выбрав для них удобный пост за громадным камнем. Двое

конных были отправлены за околицу на выезд из деревни, чтобы графу никак не удалось ускользнуть, а сам Крюшо с двумя остальными засел в гостинице «Луара».

Гаво остался сторожить, и скоро условленный свист известил, что Плэло появился вблизи деревушки. Тотчас же после этого в кабачок прибежал и сам Гаво. Он быстро подтвердил еще раз последние инструкции Фушэ и поспешно скрылся в соседней комнате: Плэло не должен был видеть его здесь.

Через четверть часа послышался стук лошадиных копыт, и у гостиницы остановился Плэло. Он спешил, отдал поводья подбежавшему хозяину, а сам вошел в общий зал.

При входе он вздрогнул и остановился, увидев двух солдат. Он даже сделал невольное движение, как бы собираясь повернуть обратно, но ему сейчас же пришло в голову, что было бы неблагоприятно навлекать на себя подозрения, так как солдаты благодушно распивали бутылку вина. Поэтому он прошел внутрь комнаты и только было собрался крикнуть служанку и заказать себе поесть, как из угла послышался иронический возглас:

– Боже мой, да ведь это – граф Арман Плэло! Какая неожиданная, но приятная встреча!

Вслед за этими словами к оторопевшему, растерявшемуся в первый момент графу подошел Крюшо.

– Именем республики я вас... – начал агент, но Плэло уже опомнился.

– А, Иуда-предатель! – с бешенством крикнул он и, выхватив из-за пояса пистолет, направил его на Крюшо, но сильный удар одного из подоспевших солдат заставил его выронить оружие.

Однако справиться с графом все же оказалось не так-то легко. Крюшо пришлось вызвать остальных четверых солдат, но, несмотря на то, что против Плэло теперь было целых семеро, он до последней возможности оказывал бешеное сопротивление. Разумеется, это сопротивление было бесполезным, и вскоре Гаво понесся в Лион с донесением, что Плэло, получивший несколько серьезных ран, связан по рукам и ногам и поспешно увезен в Лапалис, где ему будут сделаны необходимые перевязки.

Так и сделали. В Лапалисе местный врач перевязал раны пленника, которого затем взвалили на телегу и повезли дальше. Теперь успех окрылил Крюшо, и ему хотелось как можно скорее добраться до Парижа, чтобы с триумфом представить своего пленника. Поэтому они всю дорогу ехали почти без передышки. Два солдата все время скакали впереди и подготавливали свежих лошадей; таким образом весь путь до Парижа был проделан менее чем за двое суток.

И все-таки Крюшо не терпелось. В десяти лье от Парижа он оставил Плэло под охраной солдат, а сам поскакал вперед.

Нечего и говорить, что его встретили с распростертыми объятиями. Но что при других обстоятельствах было бы поставлено ему в вину, при наличии успеха послужило только

к его же славе. Ну, конечно, ему не надо было тратить время на то, чтобы испрашивать разрешение начальства, а следовало сейчас же, по горячим следам, кинуться в погоню!

И надо было видеть, каким павлином раздулся Крюшо от всех этих похвал!.. Чтобы придать больше цены и веса аресту Плэло, он сфантазировал целую историю, случайно оказавшуюся очень близкой к действительности. Он с приукрашиваниями рассказал историю своей первой неудачи, сообщил, что Плэло явно находился под покровительством каких-то могущественных и осведомленных лиц, которые извещали его обо всех приготовлениях полиции, что и дало возможность графу так нагло явиться в Париж и так смело, дерзко избежать преследований, пока талант, настойчивость и служебное рвение Крюшо не восторжествовали над всеми кознями.

Его рассказ показался вполне правдоподобным и встревожил власти. В то время в Париже все учащались случаи самого дерзкого исчезновения лиц, принадлежавших к роялистам или скомпрометированных сношениями с ними. Бывало так, что преследуемый «подозрительный» вдруг исчезал на глазах у явившегося арестовать его комиссара; уже много титулованных арестантов таинственно скрывались из тюрем, а один из захваченных полицией вождей шуанов был освобожден и укрыт по дороге к гильотине: по неизвестной причине на улице произошло замешательство, а когда волнение улеглось, оказалось, что осужденный бесследно исчез.

Относительно виновников этих освобождений ходили три версии. Одна приписывала освобождение таинственной лиге аристократов, скрывавшейся в самом Париже и имевшей разветвления в Вандее и Англии. Другая говорила, что в самом конвенте образовалась партия недовольных террористическими излишествами и что вот эти-то недовольные и освобождают арестованных. Третья версия утверждала, что все это – дело рук совершенно беспартийных головорезов, играющих с огнем из чисто спортивного интереса.

Как бы там ни было, Робеспьер был сильно встревожен всем этим и тщетно ломал голову над способом раскрытия истинной природы и организации тайных освободителей. Арест Плэло давал некоторую надежду на то, что можно будет разыскать кончик нити, по которой уже легко будет добраться и до всего остального. Поэтому он отдал приказ: выслать навстречу арестованному сотню солдат во избежание попыток освободить Плэло, поместить арестованного в надежное помещение под надежной охраной и поручить его заботам искусного хирурга. Кроме того, Робеспьер, еще не выходявший из дома по болезни, пожелал лично повидаться с Крюшо, чтобы порасспросить его.

Известие, что на следующее утро нужно будет явить к Робеспьеру на дом, показалось Крюшо ложкой укуса после вкусного обеда. Оно значительно омрачило нежность и пылкость первого вечера, который они с Аделью проводили вместе после разлуки. Но, в конце концов, он успокоился. В нем

жила непоколебимая уверенность в Фушэ, который сумеет выручить его из беды.

Поэтому Крюшо с достаточной уверенностью входил на следующее утро в кабинет Робеспьера.

Сам диктатор сидел в кресле у стола, а у окна в нежной, интимной позе стояли Ремюза и Люси, опиравшаяся на палку: с того времени, как неожиданное появление тайно любимого Ремюза вызвало в ней сильное нервное потрясение, к ней вернулось утраченное после болезни владение ногами, и девушка хоть и с трудом, но уже могла передвигаться по комнате без посторонней помощи.

При входе агента Робеспьер кинул ему «Сейчас!» и продолжал что-то поспешно дописывать. Люси продолжала говорить с Ремюза. Вдруг она равнодушно перевела взор на Крюшо, и ее спокойное, улыбавшееся лицо сразу изменилось. Щеки сильно побледнели, губы затряслись, зрачки расширились. Крюшо чувствовал, что земля уходит у него из-под ног.

Однако Люси только смотрела, но ничего не говорила, и Крюшо стал мало-помалу успокаиваться, думая:

«Быть может, ей бросилось в глаза отдаленное сходство – мало ли кто на кого бывает похож! Может быть, она даже не может вспомнить, когда и при каких обстоятельствах родились ожившие теперь воспоминания. Во всяком случае терять голову рано!»

Робеспьер кончил писать, положил перо и сказал, обра-

щаяся к Крюшо со своей обычной холодной улыбкой:

– Очень рад, гражданин, что тебе так быстро и убедительно удалось доказать, насколько мы были неправы, нападая на тебя в тот день! Арестом этого Плэло ты оказал громадную услугу республике, и она не забудет этого! Но скажи мне сначала, сильно ли ранен арестованный и скоро ли можно будет приступить к его допросу?

– О, нет, гражданин! – ответил Крюшо. – Его раны очень незначительны, и только из-за дорожных неудобств появилась лихорадка. Но здесь, на покое, все это...

Уже при первых звуках его голоса Люси вздрогнула и с утроенной напряженностью впиалась в него взором. Теперь же она вдруг истерически вскрикнула:

– Это – он, он! Я узнала его! Ну, теперь...

Она порывисто двинулась к Крюшо, как бы желая схватить его, удержать, не дать ему убежать; но ее неокрепшим ногам было еще не под силу такое резкое движение; она пошатнулась и упала, изо всех сил ударившись головой об угол стола.

Робеспьер и Ремюза поспешно подбежали к упавшей, которая неподвижно лежала на полу. Крюшо забыл обо всем, забыл, что он лишь компрометирует себя попыткой к бегству, что времени много, так как девушка, по всей вероятности, не скоро очнется после такого удара. Нет, только безудержный инстинкт самосохранения заговорил в нем и он одним прыжком очутился у окна, собираясь выпрыгнуть.

Вдруг чья-то сильная рука схватила его за шиворот и резко пригнула к полу. Это Ремюза заметил попытку Крюшо и предупредил ее.

– Постой, голубчик, – прохрипел Ремюза, с бешеной яростью тряся агента за шиворот, – сначала ты ответишь нам на несколько интересных вопросов, а потом уже отправишься куда следует!

Он продолжал трясти Крюшо, словно щенка, но Крюшо не делал ни малейшей попытки высвободиться. Он чувствовал, что петля, которая уже так долго раскачивалась над его шеей, теперь окончательно захлестнулась и что пришла пора расплаты за все прошлое.

Когда прошла первая минута растерянности, Крюшо понял, что его единственный шанс к спасению – отмалчивание. Поэтому на все расспросы Ремюза и Робеспьера он отвечал упорным незнанием.

Почему Люси крикнула таинственное «Это – он!»? Но как же может знать он, Крюшо, что пришло в голову больному человеку? Почему же он хотел кинуться в окно?.. Чтобы позвать доктора?.. Но для этого существуют двери!.. Из окна ближе до калитки и улицы, а в таких случаях дорога каждая минута.

Может быть, все это и не было очень правдоподобно, но ничего другого добиться от Крюшо не удавалось. Оставалось ждать, пока Люси придет в себя и сможет объяснить свой

испуг и возглас. Но доктор, приглашенный к пострадавшей, нашел ее положение очень серьезным и опасался даже, что Люси никогда не придет в себя: она ударилась так несчастливо, что, весьма возможно, последует повреждение умственных способностей.

Приходилось запастись терпением. Крюшо отправили в тюрьму, посадили в одиночную камеру и строго изолировали от малейшего соприкосновения с внешним миром.

Тем временем легкая лихорадка, которой заболел от полученных ран граф Плэло, прошла, и можно было приступить к допросу арестованного. Так как Робеспьер придавал особенно важное значение этому аресту, то и допрос он решил вести сам. Однажды утром он в сопровождении Сен-Жюста явился в комнату, где лежал Плэло.

Робеспьер был приятно поражен, когда арестованный выразил полное согласие дать самые исчерпывающие показания, никого не прикрывая. Однако эти показания были таковы, что по мере плавного рассказа Плэло Робеспьер и Сен-Жюст изумлялись все более и более, и в результате они категорически отказались верить ему.

Если мы поясним, что Плэло в своем рассказе держался строго фактической стороны, уже известной читателю, то станет понятным, почему это показалось таким невероятным. Как отец Жером, такой искренний, убежденный республиканец, скрывает у себя крупное роялистское богатство и вручает его эмигранту по первому требованию? Не гово-

ря уже о возмутительном факте недонесения, отец Жером дал врагам республики самое мощное орудие борьбы с нею – деньги! И это в то время, когда законом, признанным самим отцом Жеромом, все имущество эмигрантов было объявлено национальной собственностью, когда республика так нуждалась в средствах!

А дальше шло нечто уже совсем невероятное. Один из главных столпов конвента – сам Барэр де Вьезак – помог роялисту скрыться от преследований, и в награду за это отобрал у него в свою пользу все его деньги и драгоценности! Нет, это слишком неправдоподобно! Пусть Плэло придумает другую ложь!

– Господа санкюлоты, – с презрительной усмешкой ответил им на это граф Арман, – да вы меня просто умиляете! Вы оба – юристы, вы считаете себя призванными править судьбами целого народа, а между тем вам не хватает простейшей юридической логики! Конечно, при других обстоятельствах я вообще не стал бы говорить ни слова, но отец Жером глубоко оскорбил меня, а к «честному» Барэру я тоже не могу питать добрые чувства за открытый грабеж. Поэтому я, так и быть, помогу вам, укажу, каким образом вам легко будет проверить мои показания! – Он подумал немного, перевел дух и продолжал: – Вам известно, что когда меня арестовали, при мне нашли очень немного – сравнительно, конечно – наличных денег и документов, но ни крупных сумм, ни драгоценностей при мне не оказалось. Значит, вам надо толь-

ко допытаться, были ли у меня драгоценности при выезде из Парижа или нет. Если окажется, что драгоценности были, значит, я не солгал и у меня кто-то взял их. Затем вы были так любезны, что в начале допроса ответили на мой вопрос и рассказали об аресте Мари и Целестины. Конечно, трудно сказать, чем виноваты обе бедные женщины, но я знаю, что вам бесполезно говорить о сожалении. Поэтому я не буду отвлекаться и скажу только: передопросите еще раз Мари. – Целестину нечего допрашивать, так как она совсем сумасшедшая, – и девушка скажет вам, что мне не раз носили записочки, предупреждавшие об опасности, и что бежать мне помог какой-то неизвестный мне человек. Значит, вполне естественно, что если драгоценности у меня действительно были и их кто-нибудь взял, то это сделал тот, кто помог мне скрыться. Иначе говоря – в драгоценностях весь узел дела. Как же выяснить, были ли они у меня? Очень просто. Я сообщил вам, что они хранились у отца Жерома, но не передал некоторых подробностей. Драгоценности лежали в ларце и хранились в тайнике. Ларец по виду таков... – Плэло подробно описал сундучок и продолжал: – Мне неудобно было тащить такую тяжесть в ящике с острыми углами, и священник дал мне две корзины, в которые я и переложил свое наследство. А ларец он сунул обратно в тайник. Сходите к священнику на дом, пройдите в первую большую комнату, нажмите левый угловой шарик верхней решетки у камина, и тогда левая стенка отскочит, и вы найдете тайник и ларец.

Предъявите этот ларец отцу Жерому, и ему трудно будет отвертеться от правды! Тогда он сам подтвердит вам мои слова. Ну, а раз это окажется верным, то что неправдоподобного во второй части моего показания?

Робеспьер согласился, что путь, указанный графом Плэло, – самый верный и может послужить исходной точкой розыска. Поэтому он решил пока прекратить допрос и произвести обыск у отца Жерома.

В первый момент Робеспьер хотел сам отправиться в дом священника, но он так боялся, что показания Плэло окажутся верными, что поручил сделать это Сен-Жюсту, а сам отправился домой. Там он стал с лихорадочным нетерпением ожидать результатов. Кому же верить, если отец Жером окажется предателем? Но нет, этому Робеспьер не мог, не смел даже поверить! Они так сошлись в последнее время, у них оказалась такая общность взглядов, идей... Да и вся жизнь, вся деятельность этого святого... Нет, нет! Что угодно, но только не это!

Однако действительность оказалась еще хуже, чем ожидал Робеспьер. Не веря своим ушам, выслушал он доклад Сен-Жюста о результатах обыска. Все так и оказалось, как говорил Плэло. Нашлись и тайник, и ларец, да и отец Жером на допросе подтвердил слово в слово всю часть показаний Плэло, касавшуюся получения наследства. Правда, тут оказались обстоятельства, смягчавшие вину отца Жерома. Он действовал так во исполнение клятвы, которой не мог не дать

умирающей и которую не мог не сдержать по долгу пастыря. Зато при обыске раскрылась такая вещь, для которой нет и не может быть никаких смягчающих обстоятельств. В тайнике оказалась целая пачка роялистских прокламаций, компрометирующих писем, разных списков и планов, не оставляющих никаких сомнений.

– Как, и это еще? – воскликнул Робеспьер, хватаясь за голову. – Но что же говорит по этому поводу отец Жером?

– Что же он может сказать? – с грустной улыбкой ответил Сен-Жюст. – Только то же самое, что обыкновенно говорят все они! Он не знает, как к нему попали эти бумаги, так как не только не клал их туда, но и не видел никогда! Только разве его история с Плэло не доказывает, что хитрый поп, притворяясь убежденным республиканцем, под шумок исправно поддерживает сношения с роялистами?

– Сен-Жюст! – страдальчески прошептал Робеспьер, хватая за руки своего ближайшего друга и единомышленника. – Кому же верить после этого? Меня обвиняют в жестокости, в подозрительности! Какая насмешка! Я слишком доверчив, Сен-Жюст, слишком снисходителен! О, Жером, Жером, от тебя должен был я получить этот урок! – Он закрыл лицо руками и несколько секунд просидел в мучительной неподвижности. Затем провел рукой по лбу, словно отгоняя, стряхивая что-то с себя, и встав, заговорил обычным ледяным тоном, как будто только что не пережил одного из величайших страданий в жизни: – Значит, отец Жером подтвердил, что

Плэло увез крупные деньги и драгоценности?

– Да, он подтвердил слово в слово его показание!

– Значит, и остальная часть показаний Плэло верна!

– Барэр де Вьезак...

Робеспьер прошелся несколько раз по комнате и ответил.

– Да, это – невероятно, невозможно, дико даже, но... чем можно теперь удивить нас с тобою, Сен-Жюст? Во всяком случае это обстоятельство необходимо проверить!

– Но как? Ведь здесь необходима величайшая осторожность, так как дело слишком щекотливо! К тому же участие Барэра кажется мне явно неправдоподобным. Зачем он стал бы называть себя? Разве он не понимал, чем рискует? Да и отлучался ли он на это время из Парижа? По-моему, кто-то просто хотел причинить ему неприятности!

– В таком случае остается одно: отправиться к Барэру и спросить его, не подозревает ли он кого-нибудь в интриге, направленной против него.

Так и сделали. Только вышло-то не совсем так. Робеспьер, несмотря на внешнее спокойствие, внутренне был слишком взволнован и не сумел облечь вопрос в надлежащую форму. А между ним и Барэром уже происходили легкие трения. Поэтому, когда Робеспьер без всяких околичностей сообщил Барэру об обвинении, вытекающем из показания Плэло, тот всплеснул и потребовал немедленно очной ставки. Разумеется, Плэло не признал в Барэре того, кто являлся к нему под этим именем в Роане, но Барэр все же продолжал смотреть

на все дело как на личное оскорбление со стороны Робеспьера. Он в тот же вечер забежал к своему другу и единомышленнику Било-Варену, и тот, выслушав всю историю, сказал, качая головой:

– Да, этому господину во что бы то ни стало хочется отправить на гильотину всех нас! Пора принимать свои меры!

От Било-Варена Барэр де Вьезак забежал к другим влиятельным членам конвента, и все согласились, что эта сказка просто придумана Робеспьером с целью кинуть тень на конвент и этим оправдать в глазах народа суровые меры, путем которых диктатор собирался избавиться от соперников.

А Робеспьер, не подозревавший, что из этого незначительного инцидента уже выпиливаются, как выразился Фушэ, «доски для его гроба», тщетно ломал голову над вопросом, как добиться истины. Но он мог придумать только следующее – отправить Сен-Жюста в Роан, где, по показаниям Плэло, его бумаги были неизвестно почему задержаны, узнать в силу чьего приказа это было сделано, а если приказ был письменный, то чья подпись стояла под ним? Может быть, хоть таким путем можно будет добраться до истины!

Сен-Жюст уехал, и на целую неделю приходилось запастись терпением. Тем временем Робеспьер ежедневно навещал Плэло и пытался из расспросов добыть хоть кончик нити. Но напрасно! Плэло не мог даже описать, каков был этот мнимый Барэр, так как своего «спасителя» он видел только один раз, да и то в полутьме.

Однажды у Робеспьера блеснула мысль.

– А не думаете ли вы, что всю эту комедию мог подстроить сам Крюшо? – спросил он Плэло.

– Крюшо? – с удивлением переспросил Плэло. – Кто это? Я его не знаю!

– Как не знаете? Это – агент, арестовавший вас!

– Ах, так его зовут теперь Крюшо? – рассмеялся граф. – Нет, этот Иуда слишком недалек для такой интриги, которая, надо отдать справедливость, была проведена очень чисто. Да и отдельные сопоставления совершенно не подходят...

– Простите, – остановил его Робеспьер, – вы говорите, что его зовут так «теперь». А разве раньше его звали иначе?

– Ну конечно! Его настоящее имя – шевалье де Бостанкур!

– Бостанкур! – крикнул Робеспьер, невольно всплескивая руками. – Теперь все понятно!

Шевалье де Бостанкур, один из тех трех негодяев, которые совершили злодейское насилие над Люси! Так вот почему несчастная крикнула: «Это – он!»

Да, теперь все было понятно. И как только раньше не пришло этого в голову ни Робеспьеру, ни Ремюза? Но Робеспьеру все еще хотелось уверенности, и на его расспросы Плэло рассказал ему следующее.

Несколько лет тому назад он был по делам в Бельгии – это было как раз в ближайшие месяцы после того, как совершилось скверное дело над Люси – и попал проездом в малень-

кий городок Намюр. Один из знакомых австрийских офицеров пригласил его зайти в игорный дом, где предстояла потеха: собирались поучить некоего шевалье де Бостанкура. Этот молодчик вот уже второй месяц обыгрывает всех, и барон фон Унгерн хотел дать сегодня доказательства, что Бостанкур – шулер. Доказательства были представлены, и Бостанкура действительно сильно побили.

Когда Робеспьер выслушал это, участь Крюшо была окончательно решена, и хоть одно таинственное дело получило свое объяснение. Зато другому – самому главному, по-видимому, так и не суждено было раскрыться.

А между тем, быть может, Робеспьеру было бы нетрудно добраться до смелого хищника, прикрывшегося личиной Барэра, если бы он как следует сразу же взялся за Крюшо. Стоило ему только приказать подробнее допросить агента об обстоятельствах, при которых протекало выслеживание Плэло, и Крюшо непременно бы проговорился, упомянул бы имя Фушэ, и тогда дело приняло бы совершенно новый оборот.

На первый взгляд, казалось, вполне естественным, что, распутывая тайну, окружавшую один из эпизодов бегства Плэло, надо было обратиться за дополнительными разъяснениями к тому, кто этого Плэло арестовал. Но как ни просто было подобное соображение, на первых порах оно не пришло в голову Робеспьеру, а потом было уже поздно: Фушэ тоже не дремал!

Для Фушэ, который, как уже знают читатели, вел тонкую и опасную интригу против Робеспьера, было чрезвычайно важно находиться в постоянной связи с Парижем, чтобы иметь возможность вовремя предупреждать разные нежелательные осложнения. Поэтому перед своей командировкой в Лион он позаботился организовать между Парижем и Лионом частную почту, по которой известия передавались со сказочной для того времени быстротой. Считая, что всадник на короткой дистанции может без труда сделать четыре лье в час, он разделил весь путь на пятнадцать приблизительно равных участков и в каждом посадил по доверенному лицу. Как только его главному доверенному в Париже надо было передать в Лион спешное известие, из Парижа стремглав летел всадник с эстафетой. Он сдавал эстафету человеку, дежурившему на первой станции, тот вскакивал на лошадь и летел до второй станции, и таким образом известие почти безостановочно передавалось в Лион, прибывая туда через сутки с небольшим. Такая организация доставки стоила довольно дорого, но недаром же Фушэ, умерев, оставил своим сыновьям только четырнадцать миллионов франков: такой гениальный мошенник должен был оставить по крайней мере миллиард!

С помощью этой почты Фушэ очень скоро узнал, что Крюшо арестован. Это известие сильно взволновало его. Помимо опасений за целостность собственной головы, ему, как истинному художнику, было бы жалко неудачным мазком испортить

уже законченное великое произведение. Все так хорошо сложилось, и с таким успехом сбылись все предначертания Фушэ! Отец Жером арестован и будет осужден: этим Робеспьер лишается нравственной опоры, так как после «измены» отца Жерома подозрительность диктатора должна непременно возрасти и приблизить его к гибели. Барэр де Вьезак оскорблен тем, что его имя замешано в деле, и сумел взволновать весь конвент, так что Фушэ по возвращении в Париж уже нетрудно будет увеличить ряды своих тайных приверженцев. И вдобавок ко всему этому – целое состояние в виде премии! Как все хорошо сложилось! И вдруг неожиданный, непредвиденный арест Крюшо грозил испортить все. Нет, это надо было предупредить во что бы то ни стало.

Фушэ тут же решил, что надо внушить Крюшо уверенность в спасении, отнюдь не спасая его, однако: к чему оставлять лишнего бесполезного свидетеля? Кроме того, необходимо было ускорить казнь обвиняемых, так как – кто знает? – возможны всякие осложнения. Вдруг конвент вызовет Фушэ для чего-нибудь в Париж, и Плэло признает его?

Фушэ передал своему парижскому агенту все детальные инструкции, и они были в точности соблюдены. Крюшо получил весточку, что его друг стоит на страже и что спасение обеспечено. Время от времени он продолжал получать такие ободряющие весточки, и это вернуло ему надежду. Разве Фушэ не доказал уже своего всемогущества? О, он спасет его из-под самой гильотины!

Поэтому, когда Сен-Жюст вернулся ни с чем из поездки в Роан и Робеспьеру пришла запоздалая мысль допросить Крюшо, от него уже ничего нельзя было добиться. К тому же агенты Фушэ симулировали несколько раз попытки освободить Плэло, и Робеспьеру пришлось решить ускорить суд, не дожидаясь, пока будет выяснен один из героев этой темной истории.

В самом ближайшем времени состоялось заседание революционного трибунала. Скамью подсудимых заняли: безумная старуха Целестина, отец Жером, юная Мари, ее жених – наивный солдатик Огюст Лекорню, граф Плэло и шевалье де Бостанкур. Процесс отличался краткостью. Плэло отказался отвечать на вопросы, заявив, что не признает за какими-то голоштанниками права судить его. Отец Жером подтвердил в нескольких словах свое первоначальное показание и отказался от дальнейшей защиты. Бостанкур-Крюшо отвечал краткими «да» и «нет», ничего от себя не прибавляя. Мари и Огюсту было нечего говорить и не в чем защищаться. А Целестина совершенно не понимала, где она и что с ней происходит.

В восемь часов утра процесс начался, в девять всем обвиняемым был вынесен смертный приговор, а сама казнь должна была состояться через два часа.

Был чудный солнечный день. Легкий морозец подсушил грязь и придал улицам более нарядный вид. Со всех сторон на площадь стекались жадные до любимого зрелища зрите-

ли. На деревянном помосте у гильотины копошились палачи, а вокруг этого страшного орудия весело порхали птички, воссылавшие ликующие гимны к безоблачным, кротким небесам.

Осужденных ввели на помост. Первой была очередь старухи Целестины. Безумная никак не могла понять, что от нее требуют, и долго не соглашалась положить голову на плаху, пока рассерженный ее упорством палач не схватил ее за седые волосы и при гомерическом хохоте зрителей не толкнул ее под гильотину. Старуха упала, но так неудобно, что только в два приема удалось отделить ее голову от высохших, изможденных плеч.

Мари и Огюст слились в последнем поцелуе, в котором уже не было ничего земного. Глубокая скорбь читалась в глазах отца Жерома, когда он смотрел на юную парочку. Но палач спешил. При новом взрыве зрителей палач схватил солдата за плечи и приказал ему приготовиться. Какой-то досужий остряк из толпы звонко крикнул:

– Ну-ка, брат, поцелуйся-ка теперь с тетушкой гильотиной!

Эта шутка была тоже покрыта одобрительным смехом толпы.

Увидев, что ее возлюбленного тащат под нож, Мари дико вскрикнула и сделала движение, готовая кинуться к нему. Один из помощников палача грубо схватил ее за плечи и так сжал, что лицо девушки потемнело от боли. А все тот же

досужий остряк из толпы крикнул:

– Не торопись, красавица! Не всем же сразу! Погоди, успеешь и ты! Тетка гильотина никого не обижает!

Да, добрая «тетушка-гильотина» никого не обидела! Щелкнул нож, и вслед за головой Огюста в корзину полетела голова Мари. Пришла очередь отца Жерома.

Привычным жестом священника отец Жером благословил толпу. По рядам зрителей пробежала волна недовольства, послышался протестующий гул голосов:

– Уберите эту обезьяну, что он колдует! Он насыляет на нас несчастья!

– Господи! Прости им! Не ведают, что творят! – страдальчески взмолился отец Жером, повторяя крестную молитву Спасителя, и покорно положил голову на плаху.

С надменной, пренебрежительно улыбкой подошел к гильотине граф Арман Плэло. И столько обидного презренья, столько дерзкого вызова было во всей его фигуре, что толпа зрителей взвыла, может быть, только теперь почувствовав, что из всех казненных лишь этот – ее действительный, исконный, прирожденный враг...

Крюшо, стоявший последним в этой страшной очереди, не смотрел на казнь. Его взгляд с безумной смесью отчаяния и надежды бегал по толпе, густо обступившей помост. Вдруг он увидел Гаво, стоявшего в первом ряду и смотревшего на него со спокойной, ободряющей улыбочкой. Вся кровь хлынула в голову Крюшо, он даже зашатался от волнения. Гаво

здесь, он так спокойно стоит, так весело улыбается! Значит, помощь близка, значит, не о чем и беспокоиться!

Вдруг он почувствовал резкий толчок в бок.

– Ну ты, поторапливайся! – грубо крикнул ему палач, хватая за руку и подтаскивая к гильотине.

И вдруг сразу Крюшо понял все – понял, что не ждать ему пощады от Фушэ, что его обещания были сплошной комедией, что Фушэ только и надо было, чтобы он не проговорился.

– Пойдите! – отчаянно крикнул он упираясь. – Я все скажу теперь, я...

– Ладно! Рассказывай на том свете, что хочешь! – грубо оборвал его палач и подтащил под нож.

Один нажим рычага – и голова Жозефа Крюшо-Бостанкура свалилась в ту же корзину, в которой уже валялись пять других голов. У корзины узенькой полоской тянулась кровавая лужа, от которой тоненькой струйкой к морозным небесам поднимался пар. Толпа медленно расходилась. Палач с помощниками деловито чистил и смазывал гильотину. Правосудие восторжествовало.

Когда Фушэ вернулся из Лиона, ему был устроен торжественный прием. Ведь ценою многих, очень многих ведер крови он восстановил в Лионе спокойствие, и каждая отрубленная голова была лишним лучом в его патриотической славе. Конвент декретировал ему благодарность за понесенные труды, клуб якобинцев избрал его своим председателем.

В один из первых дней по приезде Фушэ разыскал и навес­тил «вдову» казненного Крюшо. Карающий меч республи­канского правосудия пощадил ее – по забывчивости ли или из уважения к Гаспару Лебефу, но Робеспьер не поднял во­проса о привлечении ее к суду, хотя налицо была такая тяж­кая вина, как близость ее к Крюшо: ведь казнили же солда­тика Огюста Лекорню лишь за то, что он был женихом Мари Батон. Но Адель отнюдь не питала за это особой благодар­ности к Робеспьеру. Даже наоборот – эта неблагодарная го­ворила о мести и возмездии. Поговорив с нею каких-нибудь четверть часа, Фушэ ушел, с довольным видом потирая ру­ки. Ни один козырь не пропал даром в его сложной игре. Даже непредвиденная казнь Крюшо должна была принести обильную жатву!

Совершая далее свой обход, Фушэ зашел к Било-Варену и Въезаку, поговорил с ними о «прискорбном инциденте, в котором Робеспьер не побоялся замешать имя такого без­укоризненного гражданина», будто вскользь кинул, что Ро­беспьер категорически высказал необходимость «почистить конвент, в котором завелось много вредных насекомых», по­сетовал о том, что «в такое трудное для государства время никто не может ручаться за целостность своей головы», и ушел, оставив обоих в сильной тревоге.

Встретив на улице Сипьона Ладмирала, Фушэ довел его до неистовства, поддразнивая тем, что Робеспьер из-под са­мого носа юноши увел Терезу Дюплэ, а зайдя потом в каба-

чок папаши Рено, он со скорбной миной пожалел «бедную Терезу», которая приходит в полное отчаяние от холодности Робеспьера.

– Впрочем, – прибавил он, исподтишка любуясь, как вспыхивают глаза пламенной Сесили, – вот уж верно говорится, что «если кто-нибудь плачет, то другой тому же радуется»! Встретил я Ладмирала и подивился даже! Ожил совсем, молодчик! Видно, ему Тереза подала надежду. Да и то сказать: что ей ходить за Робеспьером, раз под рукой у нее имеется такое преданное, верное сердце.

И ходил, и ходил этот хитрый паук по Парижу, повсюду распуская свою паутину, в которой суждено было запутаться самому Максимилиану Робеспьеру!

Глава 10

Десятого ноября празднество в честь Разума все-таки состоялось, хотя и не при такой скандальной обстановке, на которую рассчитывал Фушэ. В соборе Парижской Богоматери было устроено торжественное гражданское богослужение, во время которого стройный хор пел гимн на слова известного поэта Шенье и музыку Госсэ. Богиню Разума изображала даровитая артистка Майльяр. Одета она была в белое платье, голубой плащ и красный фригийский «колпак свободы». Народ на триумфальной колеснице доставил ее в конвент, где «богиню Разума» торжественно приветствовал именем французского народа президент конвента.

Все это было очень невинно, вполне прилично и даже красиво. Богохульства тут тоже еще не было, потому что это празднество выражало собой не противорелигиозное, а лишь противокатолическое движение. Франция слишком много натерпелась от католического духовенства, которое традиционно отстаивало не народные, а свои и дворянские права. Но по форме все празднество напоминало прежние духовные игрища, совершавшиеся в церквах и на папертях с музыкой и драматическим действием, в котором Иисуса Христа, Деву Марию и прочих библейских персонажей представляли актеры, как теперь «богиню Разума» представляла актриса. Цель празднества была следующая: Франция хо-

тела показать, что вместо традиции, правившей прежним государственным строем, в новом все будет нормироваться Разумом, и если бы республике действительно удалось сделать Разум своим богом, то история великой французской революции стала бы величайшими скрижалями мира. Но так как истинным богом Франции того времени была необходимость, зачастую ложно понятая, то все это обожествление Разума приобрело характер наивной, ребяческой буффонады.

Однако празднество взволновало Робеспьера несравненно более, чем даже рассчитывал сделать это Фушэ приданием торжеству оргиастического характера.

Для этого у диктатора было много причин. Прежде всего инициатива исходила от коммуны, а Робеспьер был уже серьезно озабочен той независимостью, которую все более старалась подчеркивать парижская коммуна по отношению к конвенту. Затем Робеспьер отлично учитывал, что младшие агенты власти неизбежно окажутся «более монархистами, чем сам монарх». Действительно необразованные, грубые конвентские комиссары в департаментах усмотрели в празднестве призыв к решительной борьбе против религиозных верований. До чего доходило их «рвение» в этом отношении, может дать понятие хотя бы такой факт: эльзасец Рауль собственноручно разбил сосуд с миром, принесенный, по преданию, голубем с неба святому Реми для коронавания короля Хлодвига.

Робеспьер с ужасом смотрел на эти крайности, возмущаясь и как политик, и как ревностный христианин. Ведь в самый разгар террора благодаря ему в католических церквях не прекращались богослужения, а в соборе Парижской Богоматери постоянно совершались богослужения за его здоровье. Робеспьер стал произносить громовые речи против атеизма, но, словно издеваясь над ним, – коммуна ответила на эти выступления постановлением о закрытии всех церквей в Париже.

Тут Робеспьер понял, как он в сущности одинок и как шатка та власть, на которую он думал опереться, а отсюда проистекала необходимость изыскать новые меры к ограждению этой власти.

Робеспьер напрасно ломал голову – он не мог найти никаких других мер, кроме усиления террора. Вокруг него царят распущенность, алчность, честолюбие, все преследуют свои личные, эгоистические цели, и никому нет дела до высоких идеалистических стремлений идейных вдохновителей переворота. При таких условиях он не мог допустить, чтобы все эти темные силы прикрылись щитом конституционных гарантий. Для установления истинного народоправия было еще слишком рано, конституции надо было сначала расчистить место кровью и железом. И, искренне скорбя душой об этой необходимости, Робеспьер должен был признаться в своем бессилии сделать что-либо без усиления репрессий.

Но ему грозила опасность с новой стороны: в Париж спе-

шил популярный и влиятельный трибун – Дантон, который открыто ополчился против чрезмерной ретивости обоих комитетов (общественного спасения и общественной безопасности) и собирался разрушить их могущество.

Для Жоржа Жака Дантона история изготовила особый штамп, который постоянно прикладывался к его имени, и уже сколько исторических писателей, говоря о нем, неизменно называли его: «безнравственный, но талантливый Дантон». Был ли он действительно безнравствен? Для подобного утверждения не имеется ни малейших документальных данных. Враги обвиняли его в организации сентябрьских убийств, но факты доказывают, что Дантон не только не принимал участия в этом проявлении временного умопомешательства народных масс, но даже был бессилён предупредить и сдержать народ. Его обвиняли в подкупности и растратах народных денег. Привел ли кто-нибудь доказательства этому, легло ли в основу подобного обвинения что-нибудь, хоть на йоту превышавшее обычную злоречивую сплетню? Нет! Но это не помешало потомству заклеить память Дантона дурной славой. Что же делать, и у истории бывают свои пасынки, и ее суд не всегда справедлив и нелицеприятен!

Жорж Жак Дантон происходил из уважаемой провинциальной семьи юристов. Он родился в 1759 году, готовился в Париже к адвокатуре и принимал горячее участие в масонстве. По политическим убеждениям он был первоначально «постепеновцем», верил в возможность проведения бла-

годетельных реформ сверху и не одобрял насильственных, резких переворотов. Но жизнь с каждым днем предоставляла ему наглядные доказательства того, что от слабовольного Людовика XVI нечего ждать добровольных уступок народным требованиям, что при настоящем положении вещей отстаивать постепенную, медленную эволюцию государственного строя – значило самому рыть могилу своим идеалам.

С характерной для себя трезвостью Дантон отрекся от взглядов, неправильность которых осознал, и полностью отдался революционной деятельности. При этом, когда в 1791 году была уничтожена занимаемая им должность адвоката при совете короля, Дантон, чтобы оставаться совершенно свободным, не принял на себя никакой другой.

Ему удалось очень скоро выдвинуться, и Франция была сильно обязана Дантону умелой остановкой борьбы против роялистов и коалиции. Выбранный депутатом в конвент, Дантон сделал очень много для упорядочения внутреннего положения, насколько это было возможно при тогдашнем хаосе. Между прочим, он выработал и предсказал тот путь, по которому, как политик (не как завоеватель) повел впоследствии Францию Наполеон.

Подобно Робеспьеру, Дантон требовал решительных террористических мер, но в этом отношении сходство между ними было лишь поверхностным. Ведь Дантон обладал истинным государственным умом, тогда как Робеспьер был ограничен, как всякий настоящий фанатик. «Максимилиан

Великий», как иронически называли Робеспьера враги, был безусловно честен и высоко добродетелен, но своей добродетелью он чрезмерно кичился, придавая ей слишком большое, совершенно не соответствующее значение. Он скорбел о внутреннем неустройстве Франции, но о пороках сограждан скорбел еще больше и считал себя призванным исправить нравы. Однако для последнего надо было больше времени и способностей, чем те, которыми располагал Робеспьер. Вот почему в своем бессилии он и обращался исключительно к обычному оружию прежнего строя – казням, не понимая, что вакханалия кровавых мер лишь растлевает нравы, а не облагораживает их. Нравы граждан всегда определяются их общественным устройством и политическим режимом. При кровавой диктатуре Робеспьера трудно было ожидать высоких проявлений общественной добродетели. А он все усиливал оргиастическое напряжение управляемого им кровавого пира, окончательно запутываясь в этом заколдованном кругу.

Иначе обстояло дело с Дантоном. Признавая, так сказать, «педагогическое» значение яростного террора для общественных масс в момент полной анархии, он видел в нем лишь временное средство, лишь паллиатив, от которого неизбежно надо было как можно скорее переходить к радикальному исцелению. Он не гнался за чистотой нравов, не хотел никого исправлять и думал лишь об устройении государства. И насколько Робеспьер был человеком кабинетной

мысли, настолько Дантон был общественным деятелем.

Но как ограниченный честный фанатик, Робеспьер был твердо уверен, что только он и может вывести Францию на надлежащий путь. Поэтому всякий человек, способный вырвать у него кормило власти, казался ему государственным преступником, от которого было необходимо избавиться. Дантон с его призывом к умеренности, с его популярностью и способностью увлекать толпу страстным красноречием прирожденного оратора всегда казался Робеспьеру опаснее всех Робеспьеру, потому что его целью было укротить кровожадность комитетов спасения и безопасности. Робеспьер занес его мысленно в свой проскрипционный список, но решил подождать: в данный момент Дантон был нужен, его надо было сначала использовать!

В первое же свидание с Дантоном Робеспьеру удалось установить с ним общие точки зрения. Дантон согласился, что путь, по которому увлекают Францию геберисты, поведет только к упрочению анархии. 26 ноября 1793 года он произнес громкую речь в конвенте против «религиозных маскарадов». Вскоре по его настоянию власть парижской коммуны была ограничена и усилена центральная власть конвента. 6 декабря было постановлено запретить все действия, направленные против свободы богослужения. Затем началась чистка клуба якобинцев: по настоянию Робеспьера оттуда исключили Анахарсиса Клотца, Шомета, Гебера и некоторых других.

Тем временем французской армии удалось одержать несколько существенных побед. Великая вандейская армия была уничтожена Марсо и Клебером, после битвы при Гейсберге (26 декабря) французы вступили в австрийские пределы. Таким образом и с внешней стороны дела пошли настолько хорошо, что можно было бы приняться за правильное государственное строительство.

Дантон открыто говорил, что теперь, когда вандейцы побеждены и границы очищены от неприятеля, ничто не может оправдать продолжение террора. Но Робеспьер и не думал отказываться от исключительных мер. Останется ли он у власти, если в действие будет приведена отсроченная прежде конституция? Конечно, нет! Ну, а потеря власти для Робеспьера означала отказ от мысли исправить нравы сограждан. Нет, он не мог оставить втуне миссию, для которой чувствовал себя рожденным и призванным свыше!

Но Дантон продолжал теснить Робеспьера, желая во что бы то ни стало проникнуть в действующий правительственный состав. В декабре истек срок полномочий комитетов, и надо было объявить новые выборы. Однако Робеспьер настоял на продлении комитетских полномочий, предупредив таким образом избрание Дантона, которое непременно состоялось бы.

Вот при каких обстоятельствах наступал 1794 год. Против Робеспьера восстали гебертисты и дантониисты. В распоряжении первых была газета «Отец Дюшен» – низкий, вуль-

гарный уличный листок, требовавший самых крайних, решительных мер; в распоряжении вторых – газета «Старый Кордельер» талантливого Дюмулена, требовавшая умеренности и законности. Таким образом сбылось предсказание Фушэ, что Робеспьеру неминуемо придется очутиться в самом фальшивом положении между крайними и умеренными!

Положение Робеспьера было тем труднее, что в сущности он никогда не отступал от законности. В его глазах закон олицетворялся конвентом и выражался декретами последнего. Добиваясь того или иного декрета, Робеспьер действовал исключительно убеждением, доказательствами, никогда не прибегая к насилию. Его смерть – лучшее доказательство тому. Когда закон в лице конвента отвернулся от Робеспьера, он предпочел взойти на эшафот, но только не прибегать к перевороту, как силе незаконной. А ведь Робеспьеру стоило только кликнуть клич, и нашлись бы десятки тысяч людей, готовых отбить его у врагов! В этом отношении Робеспьер являет собою единственный во всей мировой истории пример тирана, добровольно подчинявшегося закону!

Но именно поэтому было так затруднительно положение Робеспьера в это время и с такой тревогой встретил он грозный – и для него, и для многих – 1794 год!

Теперь, окинув беглым взглядом нарастание событий к этому времени, вернемся к нашему повествованию.

Мы расстались с Люси Ренар в тот момент, когда, крикнув: «Это – он, он!», девушка пошатнулась и упала, сильно поранив голову об угол стола.

Много тревожных дней и ночей пережили Робеспьер и Ремюза у кровати больной, лоя каждый проблеск сознания. Наконец период мучительной неизвестности миновал. Доктор признал свою ошибку: глубокое волнение, пережитое девушкой нравственное, а не физическое потрясение послужили причиной болезни. Теперь надо только запастись терпением; полный покой и заботливый уход изгладят все последствия.

В заботливом уходе недостатка не было. Ремюза и Тереза безотлучно находились при больной, и каждый раз, когда Люси на минуту приоткрывала глаза, она встречалась с полным любовной тревоги взором любимого.

Мало-помалу периоды просветления становились все чаще и продолжительнее, но все же выздоровление продвигалось очень медленными шагами.

На это время Ремюза совершенно отстранился от всякой общественной деятельности: весь мир замкнулся для него в тихой комнатке, где лежала любимая девушка, и события протекали где-то вдали, не волнуя его и не задевая воображения. А между тем эти события волновали не только Париж и Францию, но и вызывали гул возмущения во всей Европе.

Оргия кровавого пира разгоралась все шире и шире. 16 октября 1793 года казнили Марию Антуанетту, 31-го – жи-

рондистов в количестве двадцати одного человека. Среди них умерли: Верньо, Жансоне, Валазе, Фонфред, Дюко – целая плеяда светлых мыслителей, умер Бриссо, посвятивший последние дни своей жизни составлению мемуаров об освобождении негров, епископ Фоше, первый присягнувший гражданскому уложению о духовенстве, и многие другие.

8 ноября на эшафот взошла госпожа Роллан, убежденная республиканка, женщина большого ума и сердца, царица политического салона, куда стекались лучшие умы. Умирая, она воскликнула:

– О, свобода! Сколько преступлений творится во имя твое!

Смерть жены не мог перенести Жан Мари Роллан, тоже осужденный, но скрывавшийся. Не желая навлекать преследования на своего хозяина, Роллан покончил с собой на улице. При нем была найдена записка следующего содержания:

«Кто бы ни был ты, нашедший меня, ты должен оказать уважение моему праху, ибо это – прах добродетельного человека!»

11 ноября, на другой день после «празднества в честь Разума», на эшафот повезли Байльи, талантливого литератора и астронома, парижского мэра после взятия Бастилии, первого президента национального собрания. В этот день было очень холодно, и старика – Байльи было пятьдесят семь лет – охватила дрожь.

– Ты дрожишь? – насмешливо кинул ему один из присутствующих.

– Друг мой, это – от холода, – просто ответил осужденный. И ведь все это были выдающиеся, честные, глубоко патриотически настроенные люди. Да, можно было подумать, что наступила эпоха реставрации, что роялисты мстят казнями всем тем, кто поднял в 1792 году знамя народоправия.

А сколько мелких, сереньких, незаметных людей погибли наряду с этими выдающимися умами! Сатана мог быть доволен. Франция захлебывалась в потоках крови.

Но все эти страшные события текли, не задевая и не волнуя Ремюза. Его глаза видели только Люси, его уши слышали только ее бред и стоны; когда по временам Робеспьер говорил ему о своих делах и затруднениях, о прибытии Дантона, о союзе с ним, о борьбе с геберистами, о начавшихся тренингах с дантонистами, Ремюза, выслушав, сейчас же переводил разговор на Люси и ее болезнь, вне чего для него не было жизни.

Наконец болезнь была побеждена, и Люси уже могла понемногу вставать и прохаживаться по комнате. И какая светлая, радостная награда ждала Ремюза за его преданность и заботы!

Еще тогда, когда Робеспьер привел его в день оправдания к себе домой и при виде тайно любимого Люси испытала такое сильное потрясение, которое вернуло ей обладание парализованными членами, Ремюза понял, что все время нежный

образ Люси неотступно ласкал его сердце тихой мечтой. Молодые люди объяснились, поведали друг другу о своем чувстве, но... тем дело и кончилось. На просьбу Ремюза стать его женой Люси ответила категорическим отказом. Она считала себя опозоренной, обесчещенной печальным эпизодом своей юности, и, как ни уверял ее Ремюза, что насилие позорит и бесчестит лишь насильника, но не жертву, девушка продолжала стоять на своем. Но теперь болезнь растворила твердость воли Люси, и когда Ремюза, смеясь и рыдая, схватил ее в свои объятия, говоря, что отвоевал себе жену у смерти, у девушки не хватило духа повторить свое вечное «нет», и она должна была дать согласие.

Теперь наступила полоса полного, безмятежного счастья. Выздоровление девушки пошло гигантскими шагами вперед, в конце марта 1794 года мы уже застаем ее на балконе вместе с Терезой Дюплэ. Счастливая невеста старательно шила себе приданое, а Тереза рассказывала ей о событиях последнего времени.

– Если бы ты знала, Люси, какое тяжелое время пережил Максимилиан, – говорила она, мечтательно устремляя взор черных глаз к пышно распускавшейся зелени сада. – Ты-то лежала себе в своей комнатке, не имея ни о чем понятия, а я порою приходила в полное отчаяние. По временам казалось, что все-все кончено и что Робеспьеру не справиться со всей сворой насевших на него собак. И опасность еще усилилась, когда на заседании пятого февраля – или, по-нынешнему,

семнадцатого плювиоза – он открыто дал отпор обеим враждебным партиям. Ах Люси, как хорош был он, когда, сверкая глазами, произнес свои знаменательные слова: «Среди вас образовалось два течения, из которых каждого достаточно, чтобы погубить Францию. Одно из них толкает нас к слабости, другое – к крайностям. Представители одного течения хотят превратить свободу в распущенную вакханалию, представители другого стремятся проституировать ее! Только террор способен вывести Францию из омута этих враждебных течений. Но террор не есть разнузданность власти, как думают некоторые из вас, это – лишь быстрое, суровое и непреклонное правосудие!»

– Правосудие! – вздохнула Люси, и ее нежное лицо омрачилось скорбной улыбкой. – Разве для торжества правосудия так уж нужно было казнить хотя бы милую госпожу Роллан?

– Полно, Люси!.. – сурово ответила Тереза. – Если ты спешишь на помощь к умирающему и тебе попадетса под колесо камешек, ты откинешь его в сторону, будь то булыжник или ценный бриллиант! Все, что становится на пути к великой цели, должно быть устранено! Но в том-то и трагедия Робеспьера, что даже самые близкие ему люди не понимают его... Однако слушай дальше. Вскоре после этого и Максимилиан, и Кутон заболели, а Сен-Жюст был в Эльзасе. Вот-то обрадовались в конvente! Дюмулен в своем «Старом Кордельере» дошел до невероятных границ наглости; он открыто называл Робеспьера «выдохшимся» и требовал, чтобы его «убра-

ли». Но вот в начале вантоза вернулся Сен-Жюст, и тогда все эти голубчики почувствовали, где жареным пахнет! Конечно, первым делом надо было обуздать дантонистов, желавших помешать конвенту очистить Францию от вредных людей. Он так-таки им и выложил: «Общество должно очищаться, а кто мешает ему в этом, тот развращает его. Развращая же – разрушают. Хотите ли вы быть разрушителями Франции или хотите видеть ее великой и свободной?» Кто-то заикнулся было, что государство может быть сильным и свободным без таких исключительных мер и что бесчеловечность теперешнего режима превышает все, что было прежде. Тогда вступился Робеспьер и произнес громовую речь против иллюзий, которые хотят внушить гражданам относительно их бесчеловечности. В то время как революционный трибунал казнил в течение года триста злодеев, королевский суд казнил ежегодно свыше двадцати тысяч. Во всех европейских государствах и теперь казнят не меньше, чем во Франции, но только там дело обделывается без шума. Неужели же граждане из пустых сентиментальных иллюзий воспротивятся необходимому очищению?

– Ну, и конечно, «граждане приступили к очищению»... по рецепту дяди Макса? – с грустной иронией спросила Люси.

– Да! Четырнадцатого марта геберисты были арестованы, третьего дня (24 марта.) их казнили... Но что же делать? Если бы Робеспьер верил, что Францию может вывести на пра-

вильный путь не он, а Гебер или Дантон, он добровольно отстранился бы и уступил бы место кому-нибудь из них. Но раз Максимилиан сознает, что спасти отечество может только он один, было бы бесчестно с его стороны не принимать мер к защите своей власти!

– Все это, может быть, и так, но... Тереза, да неужели тебя саму не пугает этот кровавый поток, который все шире и шире заливаает Францию? Ты говоришь, что эта кровь нужна для спасения родины... Но что такое «родина», «Франция»? Неужели это – только кусок земли, только понятие? Ну, а мы с тобою, сам Робеспьер, его друзья – входим ли мы все в состав Франции? Ведь да? Так не страшно ли думать, что ради нашего спокойствия и счастья нужно убить стольких людей? Нет, Тереза, печальны те спокойствие и счастье, которые зиждутся на крови... Знаешь, по временам мне невыносимо думать, что дядя Макс, мой милый, добрый, любимый дядя Макс, и Максимилиан Робеспьер, ненасытный, кроваво-жадный диктатор – одно и то же лицо! Но ты все равно не поймешь меня... Так не будем же говорить об этом. Скажи мне лучше, как обстоят твои личные дела с дядей?

На лице Терезы отразилось страдание. Она провела рукой по лбу и волосам и глухо ответила:

– Как же они могут обстоять? Все так же, Люси, все так же... Тогда – ты помнишь? – луч света мелькнул мне, и Максимилиан сказал, что попробует, быть может, личное счастье не помешает ему, как гражданину и патриоту... Но это

была лишь краткая минута слабости. Его сердце опять замкнулось в суровую броню долга, и нет в этом сердце места для несчастной Терезы. Сколько раз я валялась у его ног и страстно молила: «Возьми меня! Пусть я буду твоей собакой, бегущей на свист хозяина и робко прячущейся в угол, когда хозяину не до нее! Пусть я буду только ковриком для твоих ног! Попри, растопчи меня, только возьми! На что мне жизнь, честь, стыд, раз вне тебя нет для меня существования? Максимилиан, я не могу долее жить так! Или возьми, или убей меня!»

– А он?

– А он?.. Он погладит меня по голове, да и скажет: «Потом, Тереза, потом: сейчас не время думать о себе... Скоро мне удастся упорядочить дела страны, тогда мы обвенчаемся, и ты станешь моей милой женошкой!» Напрасно я говорю ему, что не гонюсь за формой, что хочу теперь же вполне слиться с ним, чтобы быть для него опорой, отдыхом, теплом, он каждый раз уклоняется от решительного ответа, говоря: «Хорошо, хорошо, Терезочка, мы еще поговорим с тобой об этом, а теперь ты... того... уйди, потому что у меня спешная работа». А ведь он любит меня, Люси, я знаю это! Он весь преображается, когда видит меня, и только наедине со мною он – обычно твердый, суровый, непреклонный – порой превращается в слабого, усталого человека! Да, ты счастливица, Люси! Твой Ремюза все бросил, как только ты заболела, он...

Тереза вдруг прервала свою речь тихим возгласом испуга: над забором показалась чья-то голова.

Это был Сипьон Ладмираль. Прежде у него было бледное, тонкое лицо с наивными, немного грустными голубыми глазами, но теперь его лицо обращало на себя внимание типичной для пьяниц одутловатостью, а растрепанные волосы и налившиеся кровью глаза придавали ему зверский, разбойничий вид. Видно было, что юноша сильно пьян. И все же налившиеся кровью глаза были с выражением бесконечной любви устремлены на Терезу. Но, увидев, что он замечен, Ладмираль резко расхохотался и исчез за забором.

– Несчастный! – сочувственно сказала Люси.

– Несчастный? – с негодованием воскликнула Тереза. – Негодяй, а не несчастный! Пьянствует, развратничает, добился того, что его со службы выгнали, а его бедная мать сидит без хлеба!

– Но ведь это он из любви...

– Из любви? Хороша любовь, нечего сказать! Уж не хочет ли он пленить меня таким приятным видом и поведением?

– Как ты безжалостна, Тереза!.. Разве не жаловалась ты сама только что на холодность дяди Макса?

– Да как ты можешь даже сравнивать то и это? Мы с Максимилианом любим друг друга, и я жаловалась на его холодность, на то, что узко понимаемое чувство долга заставляет его, а вместе с ним и меня, страдать, отказываясь от высшего блага на земле – полного единения с любящим челове-

ком. Но разве, страдая от холодности Максимилиана, я перестала быть человеком, как этот пьянчужка? А потом нас с Ладмиралем никогда ничего не связывало. Ведь любил же он прежде Сесиль Рено и Сесиль платила ему такой же нежностью! Что же заставило его бросить ее? Ведь несчастная девушка выплакала все глаза... По правде сказать, не особенно-то я ее долюбиваю – у меня при виде нее всегда рождается какое-то непонятное чувство смутной тревоги. Но что правда, то правда, и Сипьон очень скверно поступил с нею. Она жизнь готова была бы отдать, лишь бы он ласково взглянул на нее, а он... Ну да! Когда ему приходится уж очень плохо, тогда он идет к Сесили и ищет у нее сочувствия... негодяй!

– Ах, как странно, как непонятно устроена жизнь! – сказала Люси вздыхая. – Целая сложная цепь... Сесиль Рено тоскует по Ладмиралю, Ладмираль – по тебе, ты – по дяде Максу... А как просто могла бы разорваться эта цепь, если бы только Ладмираль излечился от своей губительной страсти к тебе и вернулся к Сесили, которая дала бы ему полное счастье!.. Но – нет – непонятны пути Того, Кто правит миром. Однако ты напомнила мне о старухе Ладмираль! Надо навестить бедную и снести ей чего-нибудь! – и с этими словами, сложив работу, Люси пошла в дом.

Глава 11

Положив в корзину хлеба, холодного мяса, бутылку вина и баночку какой-то очень целебной мази от ревматизма, Люси направилась к дому, где доживала в болезнях, бедности и горе старуха Ладмираль.

Люси шла хоть и медленно, но довольно легко, и только некоторая связанность и неуверенность движений еще свидетельствовали о перенесенной девушкой болезни, от которой она избавилась почти чудом.

Стояли чудные дни, полные весенней неги. На улицах было пыльно, грязно, дурно пахло, но вдруг, неведомо откуда, набегал ветерок, напоенный ароматом творчества природы, пронизанный запахом трав, листьев и почек. И тогда к сердцу подступала мягкая, ласкающая, разнеживающая волна, и хотелось плакать неведомо почему, хотелось неведомо чему смеяться.

Люси шла, глубоко задумавшись о себе, Терезе, Ладмирале. Как мало нужно людям для счастья, и все же как редко счастье у людей! А если и приходит оно, то какой дорогой ценой, какой цепью мук и страданий достается оно! Вот, например, она сама, Люси. Она счастлива теперь. А какой ценой куплено это счастье? Как только не поседела она за те страшные дни, когда счастье было так близко, а совесть не позволяла протянуть к нему руку! Теперь все это минова-

ло... слава Богу! Да оно и лучше. К чему портить себе жизнь излишней мнительностью, к чему?..

– Привет счастливой невесте!

Люси вздрогнула от неожиданности, подняла глаза и увидела лисью мордочку Фушэ, высунувшегося из окна второго этажа дома, мимо которого она проходила, и кинувшего ей это приветствие.

Люси никогда не могла видеть Фушэ без чувства почти суеверного страха. В первый же раз, увидев его, она невольно вспомнила маленькую старинную церковь в Аррасе, где в притворе были изображены семь смертных грехов и адские муки. Дьявол, заманивавший грешников в свои сети, был удивительно похож лицом на Фушэ, и девушка никак не могла отделаться от признаваемой ей же самой за совершенно вздорную мысли, что в этом человеке действительно заключена часть темной, демонической силы. Поэтому-то ее всегда охватывало тягостное чувство при встречах с Фушэ, а теперь его приветствие, кинутое ей как раз в самый разгар нежных дум о счастье, показалось ей зловещим предзнаменованием грядущей беды. Девушку охватил такой ужас, что, не отвечая на приветствие, она съежилась и припустилась, как только могла, дальше, слыша, как вдогонку ей несется язвительный смех. Но до домика, где жила старуха Ладмираль, было недалеко. Слава Богу, вот и дворик... Наконец-то!.. Люси облегченно вздохнула.

Несмотря на адские боли в ногах, старуха Ладмираль все

же сползла с кровати и пыталась дрожащими руками убрать пыль и грязь. Ведь несчастная женщина не привыкла к такой обстановке! С мужем она жила хоть и без роскоши, но в полном довольстве, а потом кроткий, ласковый, работающий Сипьон делал все, чтобы пригреть догорающие дни старой матери, пока на него палящим вихрем не налетела губительная страсть к Терезе. В первое время юноша боролся с собою, но дело валилось у него из рук, дни и ночи его грызла мысль о несбыточности надежд на личное счастье, и в конце концов Сипьон окончательно сломался. Он забросил работу, стал пьянствовать, звереть, и уже несколько раз случалось так, что в ответ на ласковые упреки матери Сипьон кидался на нее с кулаками. Но старуха все еще надеялась и крепилась; как только боль в ногах хоть немного уменьшалась, она принималась за уборку, и за этим-то занятием и застала ее Люси.

Увидев входившую девушку, старуха расплылась в счастливой улыбке, но Люси грозно подступила к ней и сердито сказала:

– Вы это что же, сударыня? Опять за старое? Ах вы, бунтовщица вы такая! Марш сейчас же в кровать!

– Да полно, барышня ты моя золотая, – ответила Ладмираль, – мне сегодня совсем хорошо, и я...

– Не разговаривать! – прикрикнула Люси, топая ногой. – Марш в кровать, говорю я вам! Ну-с! – девушка охватила старуху за талию и, несмотря на то, что та смеясь протесто-

вала, подвела к кровати. Уложив старуху, Люси достала принесенную с собою мазь, старательно растерла больные ноги, тщательно укутала их и продолжала: – Ну-с, теперь займемся немного уборкой!

Девушка схватила щетку и тряпку и принялась быстро и ловко приводить комнату в порядок.

– Благослови тебя Бог, хорошая моя! – сказала старуха, растроганным взором следя за движениями грациозной девушки. – Сама-то ты еще не совсем здорова, а туда же, других лечить! Твое ли это дело возиться в нищенской грязи?

– Уж скорее мое, чем ваше! – смеясь ответила Люси. – Ну, а теперь, когда с уборкой покончено, мы можем позавтракать... Наверное, вы опять голодали, поберегая лучший кусок для сына, который даже и не торопится проведать мать.

– Нет, дорогая, нет, слава Богу, в добрых ангелах недостатка нет, и меня, старую, не забывают. Утром у меня опять была госпожа Дантон. Вот тоже святая женщина! Говорят, она из аристократок; ее отец будто бы даже воевал против республики и отправил на тот свет немало честных патриотов. Господь их там знает, так это или нет, а только хорошая она женщина, ласковая такая, простая... Да вот загрустила, бедняжка! Говорит, что плохо им придется: твой-то дядюшка погубить ее мужа хочет... Эх, ничего-то я не пойму, барышня ты моя хорошая! Стара я стала, что ли... Словно волки все друг на друга набрасываются! И ведь все – хорошие люди, а друг с другом ужиться не могут! Вот Клоца казни-

ли... Знала я его прежде: смешной такой немец! «Хочу, – говорит, – чтобы все люди были братьями и чтобы никаких границ и государств не существовало!» Ну, а твой-то, Робеспьер, разве он хочет, чтобы люди друг другу врагами были или чтобы немец на француза, француз на итальянца с ножом лезли? Ведь нет? А вот Клоца-то казнили... Может быть, так оно и нужно, а только не пойму я, старая, ничего в этих делах!

– Я понимаю во всем этом не больше вас, бабушка Ладмираль, – глухо ответила Люси, поникая головой. – Для меня самой это – такая мучительная загадка, которую я никак не могу разгадать!

– Да ты подумай только, – подхватила опять старуха. – Ну, вот Дантон... Его жена плакала сегодня, когда рассказывала. Говорят, что уже решено арестовать Дантона с друзьями и что даже срок назначен: на днях это будет... Дантон и в ус себе не дует! «Пусть! – говорит. – Лучше самому быть казненным, чем казнить других!» Жена уговаривала его бежать, пока есть время, а он ей и говорит: «Разве можно унести отечество на подошвах своих башмаков?» Ведь вот он какой человек! Высокой души, высокой... А его казнить!.. Может быть, еще смилуется твой-то?

– Да разве этот человек знает, что такое – милость? – с отчаянием воскликнула Люси. – Не мучьте меня, не говорите об этом! Я и так истерзалась вся... Меня душит эта кровь, которую так щедро проливает дядя Макс.

– Ну, ну, не будем говорить об этом, не будем! А ты мне вот что скажи, красавица: скоро ли твоя свадьба?

– Ах, уж поскорее бы!.. Но Ремюза уехал с декретом конвента на юг и пробудет там целый месяц. Ведь когда он вернется, словом месяца через два... Однако что же это я? Ведь надо покормить вас!

Люси достала из корзины бутылку вина и пакеты с хлебом и мясом и встала, чтобы достать из углового шкафчика тарелку и нож.

В этот момент у двери послышались тяжелые, неуверенные шаги, и в комнату ввалился пошатываясь Сипьон Ладмираль. Увидав на столе бутылку вина, он расхохотался пьяным смешком и сказал заплетающимся языком:

– Вино? Од-д-добряю! Мамаша за ум взялась! Выпьем, мамаша?

Люси обернулась к нему из своего угла и твердо сказала:

– Это – вино для вашей больной матери, Ладмираль, а не для пьянства! Запрещаю вам даже касаться этой бутылки!

Заметив девушку, Сипьон побагровел, и пьяная ярость с такой силой охватила его, что даже жилы вздулись у него на висках.

– Тебе что здесь нужно, робеспьеровское отродье? – гаркнул он, угрожающе подступая к девушке. – «Запрещаю»! Ишь, дрянь какая! Вот как возьму да...

– Сипьон! – с мольбой простонала старуха.

– Молчи ты там, старая рухлядь! Еще разговаривает! Са-

ма принимает подачки от людей, сгубивших ее сына, а туда же... – и он, подойдя к кровати, грубо ткнул ногой скорчившуюся мать.

Вся кровь бросилась в голову Люси.

– Пошел вон отсюда, негодяй! – крикнула она, подступая к пьяному зверю и бесстрашно осыпая его молниями негодующего взора. – Пошел вон или, клянусь Богом, я выбегу на улицу и крикну народу, что пьяный мерзавец бьет свою больную мать!

Слышал ли Ладмираль эту угрозу, понял ли он ее тяжесть? Едва ли! Но Люси была так гневно-прекрасна в тот момент, что пьяница смутился, отступил на несколько шагов, помялся у дверей и наконец, кинув: «А ну вас всех к черту!», – махнул рукой и скрылся.

– Барышня, золотая, дорогая моя! – взмолилась старуха. – Простите его! Разве он понимает, что говорит? Бедный мальчик измучился, он сам не свой... Ах, жизнь, жизнь... – старуха тихо заплакала. – Только не говорите об этом дяде! Может быть, мальчик еще образумится!

– Полно вам, милая! – ответила Люси, нагибаясь к плачущей и ласково поглаживая ее по щеке. – При чем здесь дядя, и разве стану я сводить счеты с пьяным, который сам не сознает своих поступков? Ну, полно плакать, успокойтесь!

– Я успокоюсь, дорогая моя, успокоюсь, но... вы... – старуха схватила руку Люси и лихорадочно проговорила: – Спасибо вам за все, но... лучше уйдите! Теперь мальчику само-

му совестно, он прячется где-нибудь во дворе и ждет, пока вы уйдете, а как только вы уйдете, он придет ко мне... он всегда так ласков, так нежен после грубости... Он ведь и сам не рад...

– Бог с вами, конечно, я уйду, если так! Всего хорошего, дорогая, поправляйтесь! – и Люси, нежно поцеловав старуху, вышла из комнаты.

Задумчиво опустив голову, проходила она двориком. Вдруг она почувствовала, что кто-то робко удерживает ее за платье. Она подняла глаза: перед нею был Ладмираль.

– Если можешь, прости меня! – глухо пробормотал он, тяжело поникая головой. – Ты – хорошая, ты – не то, что этот... Я преклоняюсь перед тобою, готов целовать следы твоих ног... Но разве я – господин себе? Ах, все пропало, все пропало! Я погиб, ничто не спасет меня! – и, схватившись руками за лицо, Ладмираль затрясся от рыданий.

Люси поспешно юркнула в ворота. Что могла она сказать ему? Разве существуют такие слова утешения, которыми можно было бы ободрить этого несчастного? А он все стоял, роняя горячие слезы.

Вдруг кто-то с силой хлопнул его по плечу: перед Ладмиралем был Фушэ, иронически воскликнувший:

– Что я вижу, друг Сипьон? Кающаяся Магдалина в камзоле! Кстати, уж не начал ли ты приударять за прелестной Люси Ренар с отчаяния, что не менее прелестная Тереза Дюплэ...

– Я убью тебя, дьявол! – крикнул Ладмираль замахиваясь.

– Ну, а кто же будет давать тебе на выпивку, если меня не станет? – спокойно спросил Фушэ, не двигаясь с места.

Рука Сипьона застыла в воздухе.

– Ведь сознайся, хочется выпить? – невозмутимо продолжал искуситель.

Лицо Ладмиралья исказилось страстной мукой, руки задрожали и с мольбой прижались к груди.

– Выпить?.. О, да, да... выпить! – страстно пробормотал он. – Выпить... забыть... не мучиться...

– Ну, вот то-то! – философски заметил Фушэ и, взяв Сипьона под руку и увлекая его за собою, продолжал: – А у меня, кстати, имеется кое-что новенькое для тебя! Пойдем, и авось ты познаешь забвение!

– Привет счастливой невесте!

– Кому это ты, Фушэ? – лениво спросил Шарль Морис Талейран-Перигор, осторожно наливая в бокалы старый шамбертен, сверкавший гранатовыми искорками.

– Очаровательной Люси Ренар! – ответил Фушэ. – Ведь она – счастливая невеста Ремюза, который решил искупить грехи прошлого своих братьев-аристократов. И он прав, ей-Богу, прав! Чего там смотреть на грешки да пятнышки? Бери сокровище, раз оно дается в руки! Прелестная девчонка!.. А как припустилась-то, как припустилась! – воскликнул он, посылая вдогонку девушке язвительный смешок. –

Не знаю почему, но я внушаю ей непреодолимый страх, хэ-хэ-хэ! Однако рассказывай дальше, друг Талейран. Я чрезвычайно жалею, что легкое нездоровье приковало меня в тот день к дому, и не пришлось посмотреть, как эти мечтательные барашки шли на бойню. Так ты говоришь, что они ничуть не струсил?

– О, наоборот! – ответил Талейран, протягивая Фушэ бокал. – Твое здоровье!.. Геберисты держались молодцами... Дожидаясь своей очереди, Гебер что-то приуныл. «Ты грустен, Гебер?» – с удивлением воскликнул Ронсен. «Да, – ответил тот, – меня убивает мысль, что республика должна погибнуть!» – «Успокойся! – возразил Ронсен. – Она – бессмертна!»

– Очаровательно! – воскликнул Фушэ, покатываясь со смеху. – Барашки даже и под ножом не перестали блять строфы из политической пасторали! Воображаю, какое впечатление произвела их геройская смерть!

– О да, особенно, когда Клоц крикнул с эшафота на всю площадь: «Франция, излечись от индивидов!» Едва ли кто-нибудь понял, что он хотел сказать этой глупостью, но все почувствовали, что умирает достойный человек и что по воле Робеспьера сотворено преступление над республиканской свободой!

– Нет, друг Талейран, это – вовсе не глупость! Клоц всегда проповедовал, что в истинной республике должен править коллектив, а не индивид, вся масса, а не отдельная личность.

Там, где индивид навязывает свою волю коллективу, получается тирания. Робеспьер – вот живой пример этому! Если Франция хочет остаться республикой, она должна излечиться от индивидов. Клоц прав!

– Но разве это возможно?

– Ну, конечно, нет! Это – одна из частых утопий! Обществом всегда правила, правит и будет править личность, увлекающая за собою коллектив! Но именно потому-то Франция и не останется республикой, а если и останется, то должна будет сменить свою сумбурную форму на другую, более правовую. Да разве можно жить так, как живем мы, черт возьми?

– Ну, ну! Друг Фушэ не может пожаловаться! Несмотря на плохие времена, он таскает себе кирпичик по кирпичику для будущего домика!

– Дурак я, что ли? Но к чему будет мне этот домик, когда в один прескверный день Робеспьер может послать меня на эшафот?

– А он, кажется, очень не прочь сделать это! Из клуба-то тебя... того?

Талейран преуморительно прищурил глаз, причмокнул и выставил вперед указательный палец, как бы рисуя тот путь, по которому вылетел Фушэ, недавний председатель клуба якобинцев, ныне удаленный оттуда по требованию Робеспьера.

Но Фушэ в ответ только весело расхохотался и ответил:

– Ах, не говори! Этот Робеспьер – такой болван, такой болван! Разве ты не знаешь, кто выбран теперь председателем клуба?

– Нет.

– Лежандр!

– Который? Математик?

– Да нет, мясник, Луи!

– Да ведь он – дантонист?

– Вот в этом-то и штука! А председателем конвента избран Талльен, тоже дантонист и непримиримый противник Робеспьера! Теперь у Максимилиана руки связаны, и ему придется согласиться на устранение Дантона с друзьями. До сих пор он все еще колебался, но теперь я наверное знаю, что завтра комитеты декретируют предание суду всей этой компании!

– Разве ты так не любишь Дантона?

– Ровно ничего не имею против него!

– Но... тогда... Право, не понимаю! Почему все эти казни доставляют тебе такое удовольствие?

– Ай-ай, Талейран, а я еще всегда находил у тебя государственный ум! Но я понимаю тебя! Ты просто хочешь как можно подробнее выведать мои планы и прикидываешься несмышленьшем!

– Друг мой, ведь я не обучался у иезуитов!

– Ну, ну! Епископ отенский (При старом режиме Талейран состоял в сане епископа. Он вышел из духовного сосло-

вия в 1790 г., когда разразилась революция.) – тоже не мальчик в этих делах! Но я охотно пойду сам в твою западню, потому что для нас с тобою, как для верных союзников, необходимы полное понимание и согласованность. Я радуюсь всем этим казням по двум причинам. Во-первых, каждая отсеченная голова приближает к могиле самого Робеспьера. Чье порождение – Робеспьер? Революции. До каких пор он может держаться? Пока не иссякнет живая сила революции! В чем эта живая сила? В лучших умах, естественно разбивающихся на партии. Жирондисты, геберисты, дантонисты – все это корни республики. На одном корне – робеспьеристах – дерево не может держаться, и оно рухнет, увлекая в своем падении и самого Робеспьера. Значит, желая скорейшего падения Максимилиана, надо желать, чтобы этот процесс отсечения живых корней ускорился. Робеспьер уже начинает понимать это, но он зарвался, ему не удастся остановиться, события увлекают его вперед и несут к гибели. Как же мне не радоваться? Я ничего не имею лично против Клоца, Гебера, Дюмулена, Дантона, Робеспьера, но тот порядок вещей, который они создают, служит вечной угрозой моему собственному существованию. Вот одна сторона вопроса, друг Талейран. А теперь перейдем к другой! – Он допил свой бокал и продолжал, поудобнее откидываясь в кресле: – Мы с тобою рождены для того, чтобы править судьбами мира. Можем мы рассчитывать на выдающееся положение при теперешней неразберихе? О нет, потому что стоит нам только

чуть-чуть высунуть голову – и Робеспьер, который бреет всю Францию под один – очень маленький – размер, сейчас же сбреет головы и нам. Поэтому нам надо сидеть и ждать, пока Робеспьер, обрив всю Францию, не обреется и сам. Но ведь Робеспьер, сам не зная того, работает для другого, неведомого, того, который еще должен прийти.

– Вот что значит духовное образование! Какой стиль, какой полет мысли!

– И когда этот неведомый придет, ему понадобятся люди, способные поддержать его власть. Вот тогда мы высунем головы и скажем: «А мы – тут!» Хэ-хэ-хэ! И выйдет, что Робеспьер работал для нас с тобою, да! Ну, так нам ли не радоваться его работе? Мы должны всячески помогать ему теперь, хэ-хэ-хэ!

– Помогать, но чем же? Я понимаю, если ты скажешь, что ты сделаешь то или се. Но я? Чем могу помочь твоей работе я – человек без веса и влияния?

– Вот что, друг мой, – насмешливо сказал Фушэ, – смирение – украшение девиц и монахов. Девицей ты никогда не был, насколько мне известно, а монахом перестал быть добровольно. Ну так сбрось же личину, которой меня не обманешь! Я предложил тебе союз, развил тебе свои планы и спрашиваю: хочешь идти со мной заодно? Да или нет?

– Ну, так да, если хочешь! – лениво ответил Талейран, наливая еще вина себе и гостю.

– Да так да! – отозвался Фушэ, допивая вино. – А теперь я

пойду. Мне еще надо заточить новую стрелу для нашего диктатора. Собственно даже и не стрелу, а маленькую колючку, но... иной раз такая маленькая колючка попадет лошади под седло, и она так взбесится, так понесет, как и от удара ножом ждать нельзя! Да, да, друг мой, маленькие причины обыкновенно важнее больших, потому что им не придают значения! Однако до свиданья! – и, простившись с Талейраном, Фушэ направился к дому Ладмирала.

Войдя в ворота, он застал как раз тот момент, когда Сипьон униженно просил прощения у оскорбленной им Люси. Затем Люси убежала, и между Ладмиралем и Фушэ произошел разговор, приведенный в прошлой главе.

– Ты познаешь забвение! – сказал Ладмиралу Фушэ.

Забвенье! Чего бы не отдал Сипьон, чтобы унять ту гложущую боль, которая ни днем, ни ночью, ни в трезвом состоянии, ни в хмелю не оставляла его!

– Забвение! – глухо повторил несчастный. – Оно не всякому дается.

– Дуракам вообще ничего не дается, – презрительно отрезал Фушэ. – Но на то и существуют умные люди, чтобы выводить из беды дураков. Я познакомлю тебя с женщиной, которая...

– С женщиной! – с горьким смехом перебил его Ладмирал. – Мало ли их прошло через мои руки в последние месяцы!

– Может быть, и много, да зато каких? Нет, милый мой,

долго мне еще учить тебя! Ведь, путаясь со всяким сбродом, ты хотел загрязнить свою любовь к Терезе, а вместо этого только острее чувствовал, что теряешь ее... То есть, может быть, ты и ничего не теряешь, но в этом, по крайней мере, ты себя уверил. Многие считают, что забвение тот же сон. Нелепость! Иной сон способен истомить и измучить больше, чем действительность! Нет, забвение – только в мечте, которую мы сами создаем себе! Женщина, про которую я говорю, может дать тебе иллюзию любви...

– Но в таком случае чего мне искать еще? Разве у меня нет Сесили, которая была бы счастлива дать мне забвение, которая любит меня?

– И которая именно потому-то и не может помочь твоему горю! Любовь требовательна; Сесиль будет вечно мучиться мыслью, что ты ищешь ее ласки лишь с горя... Ее любовь вечно будет преградой между тобою и полным забвением! Нет, друг мой, я вижу, что без меня ты бессилён справиться со своим горем. Поэтому довольно вопросов и сомнений! Чем ты рискуешь, доверившись мне? Не помогу я тебе – так ведь хуже-то тебе от этого не станет! А вдруг в самом деле помогу?

– Ты прав... Что же, попробуем...

– Ну вот, то-то же!

Фушэ привел Ладмираля к себе, напоил и накормил его, велел прилечь, сказав, что вовремя разбудит, а сам написал записку Адели Гюс и сейчас же отправил ее с кучером. Бы-

ло часов семь вечера, когда Фушэ разбудил тревожно спавшего юношу и приказал ему помыться и привести себя в более приличный вид. С помощью гардероба самого Фушэ последнее до известной степени удалось, и тогда они выехали из дома.

Глава 12

После смерти Крюшо-Бостанкура Адель всецело отдалась в руки Фушэ, став покорным орудием его воли. По его приказанию она переменяла квартиру и временно разошлась с Гаспаром Лебефом.

Лебеф мог стать опасным свидетелем в той рискованной игре, которую вела теперь Адель. Но все же она ни в коем случае не хотела отпускать его на свободу, и Лебеф продолжал быть по-прежнему рабом клятвы, так неосторожно данной в угаре молодой, давно уже прошедшей страсти. Впрочем, он был рад и тому, что ему можно было теперь отдохнуть наедине с самим собою. Он получил скромное место клерка в нотариальной конторе и молчаливо работал, добывая необходимое пропитание. От всякой общественной деятельности он совершенно отказался – особенно от защиты обвиняемых в революционном трибунале. Да и какой смысл мог быть в этой защите, когда все судебные гарантии были стеснены до последней степени и на очереди уже стоял вопрос о полной отмене их?

Но тем страстнее кинулась в общественную деятельность Адель Гюс, в которой Фушэ нашел на редкость способного и энергичного сотрудника. Из предыдущей деятельности Адели читатели уже знают, что у нее был большой талант к интриге, а когда в дело вмешивались страсть и ненависть, этот

талант обострялся до чрезвычайности. Гюс только и жила теперь мыслью об отмщении Робеспьеру за смерть Крюшо. Фушэ уверил ее, что это отмщение явится само собой результатом ее помощи его планам, и этого было достаточно, чтобы Адель со страстью кинулась в работу.

Ее деятельность отличалась лихорадочностью. Переодеваясь и гримируясь, она появлялась под самыми различными видами в самых различных слоях общества. И везде ее целью было прославлять Робеспьера так, чтобы парижанам становилось все яснее, какой угрозой дышит усиление его власти. Способная ученица Фушэ отлично усвоила и проводила на деле ту справедливую истину, что чрезмерная услужливость друзей часто вредит больше, чем открытая злоба врагов. Ведь страдания вызывают сочувствие, а успех – злобную зависть.

Получив теперь записку Фушэ, Адель оживилась и обрадовалась. Она была посвящена и в эту часть общего плана великого интригана: держать наготове озверелого цепного пса, доведенного до неистовства. И она сейчас же принялась за приготовления.

Прежде всего, Адель уселась перед зеркалом и принялась добросовестно изучать свое лицо и фигуру. Нет, право, несмотря на свой возраст, она была еще очень хороша! Волосы, зубы, кожа – совсем, как у молоденькой барышни. Глаза тоже не потеряли своего влажного блеска, а формы... формы... Нет, с этой стороны бояться нечего!

Конечно, годы делают свое дело: мускулы лица и шеи несколько одрябли, уголки рта опустились, линия подбородка потеряла свою чистоту. От внимательного, опытного взгляда не скроешь того неуловимого «нечто», которым природа клеймит увядание женщины, как бы хорошо она ни сохранилась. Но это на свету... да и потом... какой-то Ладмираль... Нет, нет, эта часть программы не может не удалиться!

Затем Адель взялась за дело. Она вооружилась заячьей лапкой, белилами, румянами и карандашом, чуть-чуть только кое-где тронула краской, выделяя упругую округлость лицевых линий и затушевывая провалы и обвислости, увеличила глаза, провела кармином по мочкам ушей и опустила золотистые пряди волос так, чтобы из их волн дразнящими язычками выглядывали уголки розовых ушных раковин. Да, так будет хорошо!

Затем наступила очередь костюма. Адель достала длинную зеленоватую шаль из прозрачной материи, затканной золотыми звездочками. Материя сильно выгорела и была кое-где заштопана, золото звезд потускнело, но все это – на свету, а в специальной обстановке, при особых условиях...

Этой шалью Адель умело задрапировалась, подкалывая материю широкими, живописными складками. Как эффектно просвечивала розоватость кожи сквозь прозрачную зелень ткани! И как подчеркивала эта зелень свежесть кожи голых рук и ног!

Долго провозилась Адель перед зеркалом, поправляя за-

меченные дефекты, а затем взялась за приведение в порядок комнаты.

Из шкафа на свет Божий появились старые, потускневшие ткани; ими Адель занавесила окна, закрыла диван и ветхие кресла. Когда по ее приказанию плотно закрыли ставни и зажгли розовато-молочный фонарь, выцветшая обстановка комнаты и наряда засверкала какой-то своеобразной, сказочной прелестью.

Адель внимательно оглядела комнату, поправила кое-где, принесла и поставила на стол поднос с несколькими длинными, узенькими трубочками, приказала затопить камин и стала ждать. Скоро стук в дверь передней и шум шагов известили ее, что ожидаемые гости прибыли.

На улице было еще довольно светло, и Ладмираль был неприятно поражен, когда Фушэ ввел его в полутемную комнату, где со свету глаз ничего не разбирал.

– Почему так темно? – недоверчиво спросил он, останавливаясь.

– Забвение – мечта, а мечта – враг яркости! – ответил ему Фушэ, подталкивая к креслу. – Садись, садись, не бойся ничего!

Ладмираль сел, оглядываясь по сторонам. Его нервы были напряжены до последней степени, вызывая жуткую яркость ощущений. Скоро глаз осмотрелся в темноте, стал отчетливо разбирать обстановку. Ладмираль провел рукой по материи, драпировавшей кресло, и его рука с неприятным ощу-

щением скользнула по дыре, трухляво расширившейся при прикосновении, а каминный огонь, на мгновение вспыхнувший ярче, осветил с предательской резкостью вытертые пятна ковра, покрывавшего пол. Лицо юноши исказилось брезгливой гримасой. Так вот он, тот волшебный, райский уголок, о котором пел ему по дороге сюда Фушэ! Ну, если и забвение того же сорта...

– Итак, начнем! – сказал Фушэ вставая. – Прежде всего, вот это! – он взял с подноса одну из трубочек. – Невелика штучка, но сколько чар таит она в себе! Здесь, во Франции, с этой прелестью почти незнакомы, но в Англии аристократы и особенно аристократки очень одобряют ее! Это – чанду, восточное средство против всяких огорчений. Соки индийского мака и конопли, перебродив особенным образом, дают его... Да вот, попробуй!

Фушэ подошел к камину, достал щипцами маленький уголек, положил его в трубку и протянул юноше.

Сипьон потянул из трубки. Сладкий, удушливый дым наполнил ему рот, легкие, пронизал мозг, вьелся в кончики пальцев рук. В первый момент Ладмиралу показалось, что он задохнется, что сердце не выдержит того бешеного трепета, которым наполнило его это странное вещество. Но в то же время такой сладостный туман заволок его мозг, что Сипьон с силой вдохнул еще раз. Все вокруг завертелось в быстром кружении. Юноша откинулся на спинку кресла и, разжав пальцы и выпуская из рук подхваченную Фушэ труб-

ку, широко раскрытыми глазами стал смотреть на творившиеся вокруг него чудеса.

Бешеное кружение улеглось, сменившись плавным покачиванием, и Сипьону казалось, что его уносит куда-то вдаль быстрым, ласкающим течением. Комната расширилась, розовато-молочный фонарь взвился высоко вверх; золото тканей ожило, и повсюду загорелись зеленоватые огоньки. Из всех углов комнаты полилась успокаивающая, тихая мелодия.

Но эта яркость фантастического сна продолжалась недолго. Снова сдвинулись стены, потухли огоньки, смолкла мелодия, и опять сверлящей болью шевельнулся в сознании образ Терезы, впервые в течение долгого времени покинувший Ладмирала за эти краткие мгновенья очарования. И так жаль стало ему ускользающих чар, что, вытянув вперед скрюченные пальцы, стараясь дрожащими руками достать волшебную трубку, Сипьон детски-жалобно и нетерпеливо простонал:

– Еще... еще!..

Словно издали, из густого тумана послышался ответ Фүшэ:

– Нет, брат, довольно для первого опыта! Сразу много нельзя!

Бешеная злоба охватила Ладмирала, но сейчас же погасла, словно искра на воде. Действие чанду вступало в свою третью, самую длительную фазу. Все кругом приобрело лас-

кающую прелесть, на душе стало удивительно легко, в голове покойно. И все прошлое, все настоящее потеряло свою болезненную остроту и горечь. Ну да, жаль, что Тереза не хочет полюбить его, но приходит из-за этого в отчаяние? Приходить в отчаяние, когда в жизни так много хорошего?

Безумие прошлой скорби показалось Ладмиралю таким нелепым, что он тихо рассмеялся. Тогда Фушэ троекратно хлопнул в ладоши, дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге показалась Адель.

В ее руках был поднос с кувшином вина и бокалами. Плавной походкой, словно скользя по воздуху, она подошла к столу, поставила поднос и поклонилась Ладмиралю. Сипьон встал, кланяясь в ответ, но у него вдруг закружилась голова, и он покачнулся; однако Адель подхватила его и, крепко прижимаясь к нему роскошным телом, подвела к дивану. Не отрывая восторженно горящего взора от пышных форм Адели, Ладмираль опустился на диван, увлекая ее вместе с собой.

Адель уселась рядом с ним и, не переставая прижиматься к нему, налила вина, причем завела тихий, нежный разговор. Так прошло около часа. Опынение чанду рассеивалось, но его сменяло более бурное опынение вином и близостью жгучего тела, к которому все обострялось хищное желание.

Наконец, повинувшись выразительному взгляду Фушэ, Адель заговорила о губельной отрасли Сипьона, о жестокости Терезы, о Робеспьере, из пустого каприза связывавшем

сердце девушки. И опять Ладмираль почувствовал болезненный, до бешенства мучительный укол в сердце.

– И подумать только, – говорила Адель, – что молодой, красивый, сильный юноша может томиться от несчастной любви, когда существует такой верный, такой прекрасный любовный напиток!

– Где же ведьма, которая варит его? – хрипло спросил Ладмираль.

– Здесь и здесь! – ответила Адель, указывая пальцем на голову и грудь юноши. – О, я тоже когда-то мучилась от страсти, но я-то скоро сумела помочь себе! Хочешь, я расскажу тебе, как это было, мой молодчик? Однажды я полюбила прекрасного юношу, который вздыхал по другой. Этот юноша был не каким-нибудь отродьем столяра, а настоящим княжеским сыном, и все же я сказала: «Он будет мой!» И я добилась своего! Однажды я угостила разлучницу двумя вершками железа в самое сердце. Ее похоронили, мой князек потосковал недели две, а потом пришел ко мне. «Ты убила то, что было мне дороже всего на свете, – сказал он, – но раз ты не побоялась из любви ко мне погубить свою душу смертным грехом, значит, ты и в самом деле любишь меня, и я хочу твоей любви!» Вот как было дело, мой молодчик! Да, нож, направленный в сердце разлучника, – лучший любовный напиток.

– А-а-а! – хриплым воем вырвалось из груди Ладмиралья; сунув руку за пазуху, он выхватил оттуда нож и, размахивая

им по воздуху, вскочил, после чего хотел броситься к дверям.

Но Фушэ с силой, которую трудно было подозревать в нем, схватил его за шиворот и кинул на диван. Затем, навалившись всем телом на Сипьона, он крикнул:

– Трубку, Адель, скорей трубку!.. Ну, потяни, потяни! – повелительно сказал он, когда Адель подала ему новую зажженную трубку. – Ишь ты, какой горячий! Только всякому овощу свое время!

Сипьон жадно втянул сладковатый дым, снова потянулся губами к трубке, сделал три-четыре затяжки, и Фушэ почувствовал, что тело юноши сразу утратило свою напряженность.

Фушэ отпустил его. Юноша остался неподвижно лежать на диване; его глаза закрылись, губы что-то шептали, пальцы разжались, выпуская нож.

– Мальчик совсем готов! – тихо сказал Фушэ Адели. – Проба удалась блестяще, и стоит спустить нашего молодца с цепи, как шутка будет сыграна. Но слава Богу, что мне удалось удержать его! Он мог бы и в самом деле прикончить Робеспьера, а теперь вовсе не время; пусть сначала Робеспьер разгуляется вовсю. Да кроме того, мне не хотелось бы делать из Робеспьера мученика, пострадавшего за идею! Он должен умереть на эшафоте, как преступник, и вместе с ним должна умереть его идея власти. Пусть Сипьон поможет нам добиться этого, а... – Ладмираль беспokoйно зашевелился, и Фушэ,

сам себя перебивая, торопливо закончил: – Он приходит в себя, я уйду! Смотри, заморози его совсем да попридержи!

Фушэ ушел, Адель заперла за ним дверь и подошла к Ладмиралю. Отколов булавки и скинув шаль, она вплотную прижалась к нему и стала дарить бешеными ласками, нашептывая:

– Что такое – имя? Мечта, пустой звук. Я – твоя Тереза, я люблю тебя, я пришла к тебе, возьми меня! Ну, обними же меня, любимый мой! Кончился тяжелый сон, пали все преграды к счастью! Обними меня, приласкай... приласкай свою Терезу!

Со стоном страсти схватил Ладмираль в объятия прижимавшуюся к нему женщину, и много-много раз в агонии блаженства имя «Тереза» раздавалось в полутемной комнате, повисая в складках поблекших, выцветших материй и танцующая дикую пляску в хороводе каминных огней.

Как и предсказывал осведомленный Фушэ, в ночь с 29 на 30 марта 1794 года комитеты общественного спасения и общественной безопасности постановили арестовать Дантона и его друзей. Многие из дантонистов были арестованы еще раньше под разными предлогами. Так, в Люксембурге уже содержались Фабр д'Эглантен, Томас Пайн и Геро де Сешель, а в Консьержери – Шабо, Баяр и Вестерман.

31 марта постановление было приведено в исполнение, и Дантон, Дюмулен, Делакура и Филиппо были арестованы. В

конvente произошел переполох; Лежандр, которого не посмел коснуться Робеспьер, потребовал, чтобы арестованные были допрошены и чтобы Робеспьер категорически сформулировал обвинение, направленное против них, но диктатор резко ответил:

– Почему Лежандр заговорил о Дантоне? Вероятно, потому, что, по его мнению, с этим именем связаны какие-то преимущества? Но мы не признаем никаких привилегий и не нуждаемся в кумирах. Конвент сумеет уничтожить давно подгнившего идола!

Затем Сен-Жюст прочел доклад, составленный по наброскам самого Робеспьера, и категорически потребовал, чтобы конвент утвердил арест дантонистов. Конвент не осмелился пойти против диктатора, предание суду целой группы честных патриотов было санкционировано!

Но предание суду означало еще немного: возникли большие опасения за исход процесса! Ведь перед судьями должны были предстать такие люди, как Дантон, разрушивший королевскую власть и начавший войну народов против королей, и как Дюмулен, поведший в 1789 году парижан на Бастилию, а в 1791 году первым потребовавший учреждения республики. И этих-то людей предстояло обвинить в заговоре против республики?

Надо было принять меры, и Робеспьер с Сен-Жюстом деятельно взялись за работу. Дантонистов обвинили в измене и мошенничествах, а для правдоподобия последнего об-

винения к их процессу пристегнули настоящих мошенников: немца Фрея, испанца Гусмана и датчанина Фридриксе-на. Кроме того, друзья придумали и обличили обширный тю-ремный заговор, открытый ими и, якобы, затеянный данто-нистами.

Все это было очень грязно и достойно какого-нибудь Фу-шэ, но уж никак не Робеспьера. Однако в его оправдание на-до сказать, что, как мы уже не раз упоминали, Робеспьер был твердо уверен, что его диктатура спасительна для Франции и что эта диктатура должна будет пасть, если не погибнет Дан-тон. Он честно заблуждался – в этом единственное оправда-ние его бесчестных судебных подтасовок в делах геберистов и дантонистов.

Итак, обвинительный акт был составлен. Но, прозонди-ровав почву и справившись с настроением судей, Робеспьер опять заколебался: ведь Дантон отличался пламенным крас-норечием, он мог в последнюю минуту повлиять на исход де-ла! И вот, по докладу Сен-Жюста, конвент декретировал, что революционный трибунал имеет право лишать слова и права защиты всякого обвиняемого, который «дерзнет оказывать сопротивление национальному правосудию или оскорблять его». В то же время присяжным напомнили об их праве за-являть во всякое время, что они достаточно знакомы с де-лом, что дальнейшая процедура излишня и что они могут безотлагательно вынести решение.

Теперь обвинительный приговор казался гарантирован-

ным, и 5 апреля начался этот позорный процесс. Председателю пришлось очень скоро воспользоваться правом лишения слова того, кто дерзнет «противиться судьям». В опасном месте речи Дантона председатель Герман приказал ему замолчать; тот не послушался и был лишен дальнейшей защиты.

И все же того, что успел сказать Дантон, было достаточно, чтобы поколебать и смутить судей. Так, например, на обычные вопросы председателя об имени, возрасте, местожительстве Дантон гордо ответил:

– Мое имя – Дантон; мне – тридцать пять лет; моим жилищем завтра будет ничто, но мое имя останется в пантеоне мировой истории!

Смушение судей проявилось так реально, что Робеспьеру пришлось принять свои меры. Его друзья во время процесса продолжали влиять на судей. Слова, сказанные Топино-Лебренем одному из судей, отлично выражают всю суть этого дела.

– Ведь это – не процесс, а необходимая мера! – сказал Топино. – Робеспьер и Дантон не могут оставаться вместе, а потому необходимо, чтобы один из них погиб. Хочешь ли ты гибели Робеспьера? Нет? Ну, так этим самым ты хочешь приговорить Дантона!

Все эти меры привели наконец к желаемому результату, и дантонисты были приговорены к смертной казни. До самой последней минуты они держались героями.

Перед своей казнью Дантон хотел поцеловать Геро де Сешеля. Палач грубо оттолкнул их друг от друга.

– Дурак! – крикнул Дантон. – Ты не помешаешь нашим головам поцеловаться в корзине!

Перед тем как сунуть голову под нож гильотины, он сказал палачу:

– Покажи мою голову народу – она стоит этого!

– Вот достойная награда первому апостолу свободы! – воскликнул Дюмулен, указывая на нож гильотины, обогранный кровью Дантона.

Робеспьер облегченно перевел дух, когда страшное дело было сделано. Теперь-то он мог отдохнуть, успокоиться! Он был вполне единовластен, у него не было больше соперников, и можно было на время смягчить этот кровавый кошмар, который начинал угнетать его самого. На следующий день после казни Дантона Кутон, по поручению Робеспьера, объявил в конвенте, что «мы готовили празднество в честь Верховного Существа». Это означало формулу перехода к мирной политике, насколько таковая была возможна в то тревожное время. Но Робеспьер не считался с тем, что это было не на руку тому тайному врагу, который невидимыми нитями подтягивал его все ближе к самой вершине Тарпейской скалы – к тому самому месту, где за вершиной следует пропасть!

«Твой-то дядюшка загубить ее мужа хочет», – как часто

вспоминались Люси Ренар эти простые слова старухи Ладмираль и как больно ей было, что ничего не могла она сказать в оправдание Робеспьера ни другим, ни самой себе.

Все время, пока длился процесс дантонистов, девушка пребывала в мучительной тревоге, словно решалась участь близкого ей, любимого существа. Но это и было почти так: процесс Дантона перед революционным трибуналом был в то же время процессом Робеспьера перед трибуналом души Люси!

Уже давно в сердце девушки стал поселяться ужас перед кровавым потоком, все шире заливавшим Францию, и начало нашего повествования застало ее как раз в один из тех моментов, когда этот ужас переходил в безудержное отчаяние. Но в то время неудовлетворенность личной жизни несколько отодвигала полное восприятие ужаса действительности. Инвалидность, грусть по Ремюза, рыцарской грезой скользнувшему в ее жизни и исчезнувшему без надежды на возвращение; затем это возвращение, принесшее новые муки, процесс Ремюза, его неожиданное оправдание. А затем в душе возникла трагическая борьба, в которой жажда личного счастья сплеталась с сознанием отсутствия права на таковое. Все это заслоняло, затушевывало у Люси страшные картины террора, и она совершенно искренне говорила, что ей нужно сделать известное умственное усилие, чтобы отождествить в своем представлении незлобивого, застенчивого, ласкового дядю Макса с кровожадным диктатором Робеспьером.

Однако как ни отвлечены были ее мысли, а где-то в дальнем уголке души, в кладовой подсознания, шла скрытая, но деятельная работа. словно товары в магазине, отдельные факты укладывались по категориям и разрядам на соответствующие полочки, и вдруг, когда Люси заглянула в этот дальний уголок души, ее внутреннему взору предстала законченная трагическая картина с недопускающим уклонений выводом. И этот вывод гласил: довольно! Больше она не смеет пассивно и безучастно относиться к происходящему, и если она не в силах активно помешать творящемуся ужасу, то должна, по крайней мере, отрясти прах от ног своих и расторгнуть отношения с человеком, которого не могла ни любить, ни уважать!

Процесс Дантона должен был решить все. Люси все еще надеялась, что судебное решение оправдает или Робеспьера, или Дантона: первого – оперевшись в решении на бесспорные факты, на несомненную виновность, или второго – отказавшись обвинить подсудимого за отсутствием реальной вины.

Но действительность несколькими суровыми ударами разбила ее надежды. Обвинение выдвинуло пункты, не только ничем не подтвержденные, но и попросту заведомо неправдоподобные. Обвиняемым не позволили защищаться, судей запугали. И когда голова Дантона скатилась под ножом гильотины, Люси почувствовала, что в ее сердце что-то обрвалось.

Да, теперь кончено, теперь она должна будет остро и неуклонно поставить вопрос о дальнейшем. Вот только бы поскорее приехал Ремюза!

Но согласится ли с нею Ремюза? Ведь он... Боже! Неужели придется потерять его? Неужели придется самой разбить единственное счастье всей своей жизни?

Но что же делать? «Кто не со мной, тот против меня». Что-нибудь одно. Имеет ли смысл утолять жажду из отравленного источника? Нет, даже Ремюза не остановит ее решимости! Ах, поскорее бы он только приехал!

Люси переживала ужасные минуты. Робеспьера она явно избегала, но тому было не до нее. Он и всегда много работал, а теперь положительно не знал отдыха.

Тем временем слабый луч света прорезал душевный хаос Люси. Робеспьер приостановил все процессы, назначенные к слушанию, вновь заговорил о справедливости, о необходимости назначения следственной комиссии для пересмотра дел «подозрительных». Пронеслись смутные слухи, что день празднества в честь Высшего Существа станет днем всеобщей амнистии и начала правления на строго конституционных началах, что из-за этого между Робеспьером, с одной стороны, и Кутоном и Сен-Жюстом – с другой, произошла крупная размолвка. Люси облегченно вздохнула. Может быть, и в самом деле казнь дантонистов завершилось все необходимое очищение республики от вредных элементов? Может быть, и в самом деле эпоха кровавого тумана кончи-

лась и начинается светлая, радостная эра?

Но в самый расцвет этих надежд вдруг молнией низринула весть: Люсиль Дюмулен, вдова казненного Камилла, арестована и будет предана суду трибунала!

Значит, все-таки? И это – справедливость? Это – жертва на престол Верховному Существо? О, каким отвратительным кощунством показалось Люси затеваемое празднество! Чем виновата бедная Люсиль? Тем, что ее муж осмеливался призывать Робеспьера к милосердию? О, какой ужас, какой позор!

Незадолго до того, как Люси узнала об аресте вдовы Дюмулен, она получила письмо от Ремюза. Всего только несколько слов: любимый извещал, что через два дня прибудет в Париж. Но сколько нежности было в этих немногих словах, какой любовью дышали они!

Люси снова перечитала письмо и застыла, судорожно хватаясь за голову. Еще острее почувствовала она, что теряет с Ремюза. Но разве так уж бесспорно, что Ремюза будет против нее?

А если даже... что же делать... доживет как-нибудь. Уедет в Англию или Германию, перебьется уроками... Уж лучше жизнь, полная самоотречения, лишенная любви и ласки, чем этот ужас кругом!

Люси так задумалась, что не заметила, как в комнату вошел Робеспьер. Только когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее, Люси очнулась и с тихим возгласом ужаса, с жестом от-

вращения отшатнулась от него.

Удивление, гнев, скорбь быстро сменялись на лице Робеспьера, наконец уступив место ледяной неподвижности.

– Что это значит, Люси? – сухо спросил он, вскидывая голову. – Ты отшатываешься от меня, словно я прокаженный.

– Я не заметила, как ты вошел, и невольно испугалась, тем более что я как раз думала о вдове Дюмулен, и поцелуй человека, отправляющего ее на эшафот, показался мне... неприятным! – Люси хотела ограничиться этими словами, твердо решившись не вызывать Робеспьера на объяснения до приезда Ремюза, но против воли у нее с рыданием вырвалось: – Ах, дядя Макс, дядя Макс! Как мне больно, что я не могу ни любить, ни уважать тебя больше!

При первых словах Люси лицо Робеспьера окаменело еще больше, и он сделал жест нетерпения, собираясь повернуться и уйти. Но этот взрыв искреннего страдания мощно коснулся его сердца и на мгновение растопил ледяную броню, которой диктатор постоянно сковывал свои чувства.

– Люси, бедное дитя мое! – почти простонал он, хватаясь за голову. – Как не стыдно тебе так мучить меня? Сколько раз я умолял тебя: верь мне, верь, что я неспособен действовать в личных интересах, что мной во всем руководит необходимость! Ведь ты знаешь меня не со вчерашнего дня, знаешь, как пламенно я люблю Францию!

– «Люблю»! – повторила Люси, горько усмехаясь. – Странная любовь, которая наносит раны вместо того, чтобы

лечить их! Необходимость! Удобное слово! Убийца и грабитель тоже ссылаются на необходимость! Ты говоришь, что неспособен действовать в личных интересах? Так скажи мне: разве Дантон был действительно виноват в том, в чем его обвинили?

– Нет, Люси, но ведь я уже говорил тебе не раз, что в смутные времена неизбежно отпадают обычные гарантии и на первый план выдвигается благо большинства. Я отдал бы все, чем имею право лично располагать, лишь бы не было нужды посылать на плаху ни Эбера, ни Дантона с друзьями. Но у меня не было иного выхода. Вместе мы не могли оставаться, один должен был уступить место другому!

– И ты называешь это «действовать не в личных интересах»?

– Люси, ответь мне на один вопрос. Как назовешь ты поступок солдата, которого поставили на опасное место с важным поручением и который покончил с собой на этом важном посту?

– Но я не представляю себе возможность такого поступка!

– Я тоже. Но все-таки?

– Не понимаю, к чему это? Ведь тут не может быть двух мнений! Если такой солдат не сумасшедший, то его поступок – подлая трусость, измена, предательство!

– Да, Люси, трусость, измена, предательство! Чтобы не быть таким солдатом, я должен был казнить Дантона. Пощадить его, оставить ему жизнь было бы равносильно покуше-

нию на самоубийство, потому что дантонисты готовы были пойти на переворот, лишь бы устранить меня. А ведь Высшее Существо доверило мне важный, ответственный пост!

– Софизмы, все софизмы! – растерянно возразила девушка, чувствуя, что у нее вырывают ее оружие. – Ну, а Люсиль Дюмулен? – вспомнила она. – Она тоже была опасна для тебя и французского блага?

– Дитя! Известно ли тебе, в чем вина вдовы Дюмулен?

– Ну, конечно! В том, что ее мужа звали Камилл Дюмулен!

– Нет, Люси! В день казни дантонистов вдова Дюмулен пыталась поднять народ, чтобы помешать исполнению приговора и освободить дантонистов! Против нее говорит вполне реальное преступление, предусмотренное законодательствами всех стран и подкрепленное ее признанием! И все-таки... все-таки я был против ее ареста. Раз отсутствие реального преступления не всегда избавляет от суда, то и наличие такового не всегда должна вести к наказанию. Ведь я отлично понимаю состояние ее души, понимаю, что она была близка к безумию, видя гибель любимого человека. Поэтому, когда Кутон и Сен-Жюст стали требовать ее ареста, я просто сослался на ее безобидность: раз она не была в состоянии сделать что-либо в день казни, когда народ был все-таки взволнован, что может сделать она после? Но в конце концов, мне пришлось уступить. Пусть посидит в тюрьме, а там... там посмотрим!

– Так она не будет казнена? – воскликнула Люси с захо-

ревшимися от счастья глазами. – Не будет, дядя Макс, не будет?

– Не могу ответить тебе с уверенностью, дитя мое, потому что я сам еще ничего не знаю. Мне очень хотелось бы, чтобы в дальнейшем не было необходимости в казнях и чтобы мы могли постепенно перейти к нормальному конституционному режиму. Я думаю, что вместе с дантонистами мы покончили с элементами распада и тления. Поэтому я пока приостановил действие карающего меча республики. Как знать, может быть...

Он не договорил: в раскрытое окно влетел небольшой камешек, пущенный из-за забора неизвестной рукой. Вокруг камня белела полоска бумаги.

Робеспьер с недоумением поднял камень и снял окутававшую его бумажку. На ней было что-то написано. Разгладив записку, Максимилиан прочитал ее, и сейчас же его лицо вспыхнуло безудержным гневом.

– Вот как! – крикнул он, швыряя записку на стол. – Так вот они, плоды умеренности и милосердия! Стоило мне всего лишь на несколько дней отказаться от террора, как сейчас же все темные силы опять закопошились и полезли на свет Божий! Нет, Франция еще не созрела для милосердия! Довольно опытов! Пусть ахают чувствительные женщины – судьбами страны должна править твердая мужская воля! – и, не оборачиваясь, не глядя на испуганную Люси, Робеспьер вышел из комнаты.

Люси схватила бумажку и прочла:

«Гражданин, будь осторожен! На тебя готовится покушение! Сегодня вечером оно будет произведено. Прими меры».

Люси в отчаянии откинулась на спинку стула. Неужели и в самом деле не было иного выхода, не было иного пути, кроме того, которым следовал Робеспьер? Неужели и в самом деле милосердие – лишь удел чувствительных женщин? Неужели умеренность – недостижимая мечта в правлении?

Глава 13

Талейран сидел у Фушэ, который немного прихворнул и, весьма дорожа своим драгоценным здоровьем, не хотел без нужды выходить из дома. Темой разговора служил, разумеется, Робеспьер. Большую пищу остроумию собеседников давало его намерение объявить себя верховным жрецом новой государственной религии служения Верховному Существо.

– В том, что Робеспьер прибавил к диктатуре еще и понтификат (Священнослужение (жречество).), еще нет ничего особенного, – сказал между прочим Талейран, – но что он проявит склонность к милосердию, вот этого я уж никак не ожидал!

– Ну, – лениво отмахнулся Фушэ, – милосердие! Робеспьер и милосердие!

– Но говорят, что...

– Сказки!

– Однако эти сказки имеют под собою далеко не сказочную почву! Кутон говорил мне лично, что ему и Сен-Жюсту пришлось выдержать тяжелую борьбу с Робеспьером из-за вдовы Дюмулен! Представь себе, Робеспьер доказывал, что она не опасна и что нечего вымещать на женах ошибки их мужей! Когда же Сен-Жюст возразил, что тут дело не в казненном Камилле, а в попытке самой Люсиль Дюмулен под-

нять восстание, наш диктатор сослался на то, что эта попытка успеха не имела! Каково! Кто бы мог поверить этому?

Уже при первых словах Талейрана Фушэ насторожился. Под конец с него мигом соскочила вся ленивая томность.

– Ну и что же? – спросил он, напряженно выгибаясь вперед.

– Ну, им все-таки удалось добиться, чтобы вдову Дюмулен заключили в тюрьму, хотя вопрос о предании ее революционному трибуналу отсрочен: Робеспьер выразил желание попробовать обойтись мерами кротости и...

– Одеваться! – неистово закричал Фушэ, вскакивая и изо всех сил потрясая звонком. – Скорей, одеваться! – и, швырнув звонок, он кинулся к дверям.

– Куда ты? – удивленно спросил Талейран.

– И ты еще спрашиваешь? – напустился на него Фушэ. – Впрочем, чего же и ждать от человека, который способен просидеть два часа и только случайно рассказать самое важное. Талейран, я положительно разочаровываюсь в тебе! Как ты способен спокойно ждать, чтобы проклятый Робеспьер превратился в ягненка и этим лишил нас плодов всей нашей работы? Нет, вы только посмотрите на это олимпийское спокойствие! – и Фушэ, с негодованием махнув рукою, стремглав выбежал из комнаты.

Талейран проводил его язвительным взглядом.

– Друг мой, – тихо пробормотал он, и каждый звук его голоса был полон ужасной иронией, – почему мне не быть

спокойным, раз беспокоишься ты? И к чему я буду таскать из огня горячие каштаны, раз тебе все равно придется поделиться со мною?

Он тихо засмеялся, но тут в комнату опять вбежал за какой-то нужной бумагой Фушэ, и лицо Талейрана сразу приняло прежнее простовато-ленивое выражение.

Между тем Фушэ отправился прямо к Адели.

– Представь себе, – сказал он ей, – с Робеспьером дело неладно!

– Да? – воскликнула она, и ее взор загорелся злобной радостью.

– Болван вздумал остановиться на полпути и, кажется, совершенно не собирается идти туда, куда мы хотим загнать его!

– Да? – снова, но уже совершенно другим тоном спросила Адель.

– Мало того, он готов повернуть обратно!

– Что же делать?

– Надо будет спустить на него собаку... Животное-то готово у тебя?

– Ладмираль? О, да!.. Ну, а когда?

– Сегодня вечером!

– О, наконец-то! По правде сказать, вся эта история мне порядком надоела! А кроме того... я, знаешь ли, нетребовательна, вовсе нет... мало ли вашего брата перебивало у меня... Но этот Ладмираль... Фу, гадина!

– Ну, ну! Награда стоит того! Значит, ты думаешь, что натравить этого болвана будет нетрудно?

– Ручаюсь за это! Но скажи: ты все еще стоишь за свой прежний план? А не лучше ли было бы предоставить все судьбе? Пусть Робеспьер ничего не знает; может быть...

– И ты еще уверяешь, что хочешь мстить! Да разве это – месть? Смерть страшна лишь тогда, когда ее исподволь ждут, а что такое – неожиданная смерть? Робеспьер почувствует легкую боль в груди и погрузится в небытие! Нет, милая моя, тебя такой конец не может удовлетворить, а в мои расчеты он уже вовсе не входит! Но это – моя забота. Ты помнишь мои инструкции?

– О, да!

– Отлично! Но во всяком случае, дай мне знать, если наши расчеты не оправдаются! А пока до свиданья!

Фушэ ушел, Адель вернулась к «собаке, которую пора было спустить с цепи».

Все это время Ладмираль безвыходно пробыл у Адели. С тех пор как под влиянием одурманивающего дыма чанду юноша погрузился в мир фантастических грез, он так и не выходил из состояния радужного опьянения. Мечта заменила ему действительность, он не страдал больше, он был счастлив.

Вино, объятия, чанду, чанду, объятия, вино... Так шли дни, все глубже затягивая мозг Ладмиралья в мертвенную беспомощность мысли. Он весь был во власти простейших

растительных процессов, искра разума не освещала его побуждений и действий, и сознание не пробуждалось из той нравственной и физической темноты, которая непрерывно окутывала его.

И до того нервная система Ладмиралья была подорвана страданиями и непрерывным пьянством. Последняя неделя «забвения» окончательно сразила ее. Теперь крепкий, скромный, неглупый юноша превратился в разнузданного маньяка!

Адель подошла к Сипьону и при свете молочного фонаря пристально посмотрела ему в лицо. Ладмираль спал тяжелым, беспокойным сном. Дыханье тяжело и со свистом вырывалось из его груди, губы что-то шептали, руки, судорожно корчась, хватали воздух. Адель презрительно усмехнулась и принялась за работу. Она сняла занавески с окон, открыла ставни, потушила фонарь. Комната сразу потеряла все свое очарование, и лучи склонявшегося к закату солнца еще резче подчеркивали неряшливое убожество ее убранства.

Адель села в кресло и стала ждать. Вскоре Ладмираль задвигался и тоном капризного ребенка произнес:

– Тереза!

Ответом ему было полное молчанье.

– Тереза! Трубочку!

Теперь Адель презрительно засмеялась. Ладмираль удивленно открыл глаза и вдруг даже привскочил от изумления, пораженный светом, от которого отвык в последнее время.

Долго он напрягал зрение, стараясь разглядеть что-нибудь, но прошло немало времени, пока он смог разобрать, что находится в какой-то совершенно незнакомой ему обстановке, в обществе посторонней ему женщины.

– Где же я? – растерянно спросил он, хватаясь за голову. – И кто – ты?

– Вот это мне нравится! – расхохоталась Адель. – Целую неделю целовал-миловал, называл своей Терезой, а теперь «кто – ты?».

– А... Тереза?

– Ну что Тереза? Целуется себе со своим Робеспьером! Что ей еще делать?

Сильная ярость сразу охватила Ладмираля при этом напоминании. Его глаза расширились и засверкали, лицо смертельно побледнело. Он вскочил, и его правая рука невольно потянулась к поясу, как бы хватаясь за нож. Но эта вспышка сразу истощила его. Взор Ладмираля сейчас же померк, юноша вяло опустился на диван и равнодушно пробормотал:

– Пусть... все равно... трубочку!

– Ладно! И без трубочки хорош! – ответила Адель, не трогаясь с места.

Этот ответ опять вывел из равновесия неустойчивую психику несчастного маньяка. Опять безудержный гнев сразу овладел им.

– Подать сюда трубку, сказал я! – крикнул он с пеной у рта, сжимая кулаки и топая ногами. – Ну, что я сказал? Живо!

– Ах, ты, негодная тварь! – крикнула и Адель, вскакивая и вооружаясь хлыстом. – Ты еще осмеливаешься кричать да грозить? Ну, погоди у меня!

Она взмахнула хлыстом и несколько раз изо всех сил ударила им юношу.

Гнев Ладмираля сменился плаксивым смирением. Он упал на колени и пробормотал, всхлипывая и простирая к Адели дрожащие, скрюченные руки:

– Ну прости, не сердись! Я так несчастен... Ведь ты добрая! Ты говоришь: я целовал тебя... Значит, и ты ласкала меня? Значит, тебе было жалко меня? Почему же теперь ты не хочешь сжалиться? Ах, пожалей меня, я так несчастен! Я чувствую, что прежнее страдание с новой силой просыпается в моем сердце, нет сил терпеть его... Как хорошо было не думать, не чувствовать, не страдать!.. И вот опять действительность хочет задушить меня. Ах, сжался! Дай мне хоть один маленький разочек вдохнуть этого чудного дыма! Трубочку, если в тебе есть капля милосердия, трубочку!

– Да я и рада бы, голубчик, – ласково ответила Адель, – но что я могу сделать, если у меня нет больше трубочек? Сегодня приходил полицейский и взял их все.

– Полицейский?!

– Ну, да! Робеспьер проведаль, что ты скрываешься у меня, и приказал прекратить это. Он ведь на тебя очень сердит и донимает, чем может: боится, как бы ты не отбил у него Терезы!

– Он отнял у меня самое дорогое, что только было в моей жизни, а теперь хочет отнять и последнее – забвение! – крикнул Ладмираль, вновь загораясь бешенством. – Ну, хорошо же! Погоди у меня! Я... я... – Он опять затих и закончил, беспомощно хватаясь за голову: – Но что я могу сделать?

Адель внимательно следила за колебаниями неустойчивой психики Ладмиралья, которая, словно маятник под равномерными толчками, то взмывала в беспредельной ярости, то падала в мертвенном бессилии. Она видела, что эти взмахи делались все резче, и ей оставалось приложить только еще небольшое усилие, чтобы психический маятник достиг наивысшего подъема ярости. Пусть сейчас же он откачнется в другую сторону, пусть за моментом высшего напряжения последует момент полной прострации, – лишь бы было сделано нужное дело!

– Ну, конечно! – презрительно кинула Гюс. – «Что я могу сделать?»! И это – мужчина! Ну, конечно, как же было Терезе не предпочесть тебе Робеспьера! Кто станет любить жалкого труса, презренного раба, покорно подставляющего спину под удары господина? Подлая собака, поджимающая хвост, когда барин – Робеспьер шпыняет ее ногами! Что ему делать? Будь я женщиной, разве я стала бы спрашивать об этом? Вот что дало бы мне готовый ответ! – и она с силой звякнула кривым, остро отточенным ножом, зловеще поблескивавшим стальной синевой на столе. – Но ты – трус, неспособен на проявление мужской силы! Что тебе делать?

Повяжи голову платком и ступай полоскать белье вместе с бабами! Да зайди по дороге к Терезе – она даст тебе постирать робеспьеровское белье!

По мере того как Адель все усиливала поток оскорблений, изжелта-бледное лицо Ладмираля багровело, жилы на висках надувались, глаза теряли свою тусклую вялость, налитываясь беспредельной яростью.

– Довольно! – крикнул он наконец. – А, значит, я – трус? Ну, так ты увидишь, увидишь!

Он схватил со стола нож и бросился к дверям.

– Смотри, по дороге не заболей от страха детской болезнью! – крикнула Адель ему вдогонку.

Но Ладмираль в ответ только прохрипел что-то и ускорил шаги.

Адель подошла к окну, высунулась и некоторое время смотрела ему вслед. Затем она с довольной улыбкой закрыла окно, плотно закрыла ставни и принялась за работу. Из соседней комнаты она принесла ворох тряпья, большую связку бумаги и баклагу с какой-то жидкостью. Разбросав тряпье и бумагу между мебелью, она облила все это жидкостью, затем вылила остатки жидкости в глиняный тазик, положила туда тряпья и поставила в середину длинную свечку. Собрав затем кое-какие бумаги и ценности в небольшую сумочку, Адель зажгла свечку и поспешно вышла из квартиры.

– Вот так! – пробормотала она, тщательно запирая дверь. – Через час дом будет в огне, а через два запылает

полквартала! – и она поспешно скрылась в быстро надвигавшемся ночном мраке.

Ладмираль быстро бежал по направлению к дому Робеспьера. Вечер был изнурительно душный, улицы были почти пустынные, и редкие прохожие безмолвно сторонились при виде этой мрачной фигуры, которая была способна все опрокинуть в своем стремительном беге.

Так Сипьон добежал до глухого переулка, в который выходил сад Робеспьера. В одном месте доска забора немного отошла, чем и пользовался обыкновенно Ладмираль, когда взбирался посмотреть на Терезу. Не выпуская из правой руки ножа, Сипьон взобрался на забор и судорожно уцепился там. Окно кабинета было освещено, и через него было видно, как Робеспьер нежно пожимал руки Терезы, которая с выражением бесконечной нежности смотрела на него.

У Ладмиралья вырвался короткий, хриплый вой, и, окончательно теряя всякую власть над собою, он одним сильным движением перемахнул в сад.

Но в тот момент, когда, присев после прыжка, он собирался выпрямиться, на его плечи легли чьи-то руки, и насмешливый голос произнес:

– Наконец-то! Мы уже давно поджидаем тебя, голубчик!

Ладмираль хотел оказать бешеное сопротивление, но четыре пары дюжих рук цепко держали его. Юноша сделал последнее усилие, рванулся и потрянул руками так, что четверо

полицейских еле удержались на ногах. Вдруг его тело беспомощно съехало вниз. Припадок сильного возбуждения сменился острой реакцией, и несчастный забился в жесточайшей истерике.

Попытки добиться у Ладмиралья каких-нибудь объяснений по поводу его покушения на Робеспьера не привели ни к чему: несчастный юноша, видимо, окончательно свихнулся. Всю ночь состояние полной прострации сменялось у него припадками безумной ярости и диким бредом, во время которого Ладмираль все обещал доказать кому-то, что он – не трус. Словом, было ясно, что юношу опоили каким-то возбуждающим ядом с целью натравить его на Робеспьера, иначе говоря, пойманный был лишь орудием в чужих руках, так что арест Ладмиралья без выяснения личности подстрекателей ровно ничего не давал и нисколько не гарантировал Робеспьера от новых покушений.

Всю ночь у постели Ладмиралья сидел полицейский комиссар, тщательно записывая обрывки его бреда. Но эти обрывки не давали возможности восстановить всю картину преступления. К тому же часам к четырем утра Ладмираль перестал бредить, припадки ярости окончательно стихли, и он только слабым голосом молил, чтобы ему дали «трубочку».

У комиссара блеснула мысль.

– Ты хочешь трубочку? – спросил он, делая вид, будто отлично знает, о какой именно «трубочке» молит арестант. – Но ведь она осталась в том доме, где ты был перед покуше-

нием! А ведь там много-много трубочек!

– Да, да, – оживился Ладмираль, – там их много!

– Ну, так ты скажи нам, где этот дом, и мы принесем тебе трубочку! – пообещал комиссар.

Глаза Ладмиралья радостно блеснули, но сейчас же погасли.

– Я не умею объяснить на словах! – упавшим голосом прошептал он.

– Но ты мог бы указать его?

– О, да!

– Отлично, мы это сейчас сделаем! – радостно воскликнул комиссар.

Он приказал заложить шарабанчик, посадил на козлы двух дюжих полицейских и сел с Ладмиралем в экипаж. Юноша был так слаб, что его пришлось снести на руках; таким образом попыток к бегству с его стороны бояться было нечего. Но для верности комиссар все же приказал надеть ему ножные кандалы.

Было около пяти часов утра, когда они выехали. Париж еще спал, на улицах никого не было; комиссар нарочно воспользовался таким ранним часом, чтобы не привлекать ничего внимания.

Первым делом они проехали к дому Робеспьера, так как Ладмираль не мог ориентироваться от Консьержери. Из переулка, граничившего с садом Робеспьера, Ладмираль сразу взял твердый курс. Его взор оживился, движения стали уве-

реннее. Он указывал направление и дрожащим голосом повторял: «Скорей! Скорей!» Ведь его ждала трубочка!

Следуя указанному им направлению, экипаж проследовал несколькими улицами и вдруг остановился перед пожарищем, далеко раскинувшимся влево и вправо. Ночью здесь возник пожар, причем не только причина его возникновения, но даже и очаг остались неизвестными: когда обитатели проснулись, в огне было уже домов пять, а там «красный петух» пошел гулять с крыши на крышу! Теперь распространение огня кончилось, но – и то сказать – домов тридцать превратилось в дымящиеся развалины.

Увидев пожарище, Ладмираль всплеснул руками и схватился за голову. Возница-полицейский обернулся с козел и спросил:

– Ну, куда теперь?

– Это было здесь! – с отчаянием ответил Ладмираль.

– Здесь? – яростным воплем вырвалось у комиссара. – Но где здесь? В каком месте? Каков был дом? Кто были его хозяева?

Ладмираль не отвечал. Комиссар, разочарованный в своих надеждах, схватил его за плечо и с силою потряс, как бы вытряхивая из несчастного нужные показания.

Но юноша опять утратил всю свою кратковременную энергию. Безмолвно съехав в угол экипажа, он бессмысленно повторял:

– Это было здесь! Это было здесь!

Так от Сипьона ничего и не добились.

Робеспьер распорядился, чтобы покушение Ладмиралья держалось втайне. По его мнению, это было единственным способом пролить хоть немного света на это темное дело. Пусть те, кто подстрекнул безумца на убийство, успокоятся, подумав, что дело почему-либо не удалось, и скомпрометируют себя какой-нибудь неосторожной выходкой.

Однако не в таком городе, как Париж, можно было удерживать втайне подобное происшествие. Неведомыми путями слухи о покушении побежали по городу, а к вечеру стало известно даже имя преступника.

Вечером Фушэ доложили, что его желает видеть какая-то девушка. Ею оказалась Сесиль Рено.

– Фушэ, – сказала Сесиль, когда ее провели в кабинет, – ты всегда все знаешь! Скажи мне, правда ли то, что говорят? Неужели Ладмираль покушался на убийство Робеспьера? Я не могу поверить этому! Ладмираль! Да ведь он всегда отличался именно недостатком энергии, излишней мягкостью! Нет, тут что-то не так!

– Видишь ли, милочка, – ответил Фушэ, – я, конечно, знаю подоплеку этого дела, потому что случайно был как раз там поблизости. Но, понимаешь, теперь не такое время, чтобы можно было открыто говорить правду! Дело должно быть представлено не так, как оно было, а как его угодно представить «самому», поэтому, если ты хочешь его спасти, то откажись от этой мысли! Робеспьер не выпускает добычи из

своих рук! Мало ли, что я знаю! Но если бы ради тебя я и согласился выступить свидетелем, то...

– Свидетелем! – презрительно повторила Сесиль. – Разве во Франции существует суд? А раз нет суда, к чему свидетель? Нет, Фушэ, я прошу сказать правду лишь мне лично и поверь, я не отплачу тебе за это черной неблагодарностью! Все, что ты сообщишь мне, умрет между нами!

– Ну, в таком случае... Видишь ли, никакого покушения не было вообще.

– Не было?

– Нет! Вчера утром я встретил Ладмирала на улице. Он был пьян и имел ужасный вид. Еще бы! Он чуть ли не неделю шатался по самым мерзким притонам! Я силой увел несчастного к себе, отрезвил его, а потом задал головомойку. Я говорил ему, что его поведение недостойно мужчины и приличного человека, каким он был прежде. К чему он гоняется за Терезой, с которой все равно никогда не был бы счастлив, и топчет сердце хорошей девушки, которая способна озарить всю его жизнь! Да, да, Сесиль, я так и сказал ему! – заметил Фушэ, увидав, как вспыхнула девушка. – И, представь себе, он как будто склонился на мои увещания. Тогда я стал поддавать жара. Разве его не связывала самая теплая дружба с маленькой Сесилью. Он сам не понимает своего сердца; к Терезе его влечет слепая страсть, которая скоро погаснет, а любит он только милую Сесиль Рено! Ладмираль задумался и ответил, что я, пожалуй, прав, но он все же сделает еще

одну последнюю попытку, объяснится с Терезой, и если она решительно скажет ему еще раз, что не может любить его, тогда он выкинет ее из головы, вновь возьмется за работу и будет просить у своей подруги детства, чтобы она простила его и стала его женой.

– О, с радостью, со счастьем! – вырвалось у девушки.

На это Фушэ продолжал:

– «Вот посмотри! – сказал я Ладмиралю, – народит тебе Сесиль полдюжины ребят, так ты о всех Терезах на свете забудешь!» Он задумался, улыбнулся – в первый раз улыбнулся после долгого времени – и сказал: «Как знать, быть может, ты прав». Ну, вот... Он пошел объясняться с Терезой. Объяснялись они в саду, а я стоял за забором и все слышал: я сторожил Ладмиралю, чтобы сейчас же увести его к тебе, а то опять свихнется, пожалуй. Как я и ждал, Тереза прямо ответила Сипьону, чтобы он не приставал к ней, так как из этого все равно ничего не выйдет, а чтобы он шел лучше к тебе. Сказала она это и ушла из сада. Ладмираль постоял-постоял, да и повернулся к выходу. Вдруг в сад вошел Робеспьер, вернувшийся раньше времени домой. Ну... что тут долго рассказывать? Робеспьер рассердился, увидав Ладмиралю, приревновал его, что ли. Откуда ни возьмись – полицейские. Избили Ладмиралю так, что он лишился разума. Ну, а потом его же обвинили в покушении на Робеспьера... А вот теперь я сижу и трясусь: вдруг дознаются, что Ладмираль был у меня перед этим. Ведь Робеспьер не постесняется отправить на

эшафот и меня тоже!

Сесиль выслушала весь рассказ, не прерывая его ни единым словом. Она была чрезвычайно бледна, и только ее глаза сверкали, как уголья. Когда Фушэ кончил, она глухо сказала:

– Не беспокойся! Больше Робеспьер никого не отправит на эшафот! Спасибо тебе, Фушэ!

С этим она повернулась и вышла из комнаты. А часа через два после этого в доме Робеспьера опять поднялся переполох. Сен-Жюст, придя к Робеспьеру и не застав его дома, решил подождать в кабинете. Но там он застал какую-то молодую девушку, вооруженную двумя ножами. Будучи арестована, девушка не стала скрывать, что она забралась в кабинет с целью убить Робеспьера и избавить Францию от тирана. В дальнейшем она ответила, что ее зовут Сесиль Рено, что она действовала из личных побуждений и сообщников не имеет. Больше она ни на какие вопросы отвечать не пожелала.

Теперь Робеспьер уже не стал облекать покушение на него в покров тайны. Сопоставляя последовательность обоих покушений и близкие отношения, существовавшие между обоими преступниками, он уже не сомневался в наличии целого заговора, направленного против республики и ее души – Робеспьера. И это повергло его в ужас – не в тот подлый, животный ужас, который охватывает мелкую душонку в страхе за свою шкуру, а в ужас маньяка, мнящего себя пророком. Одновременно с этим в его душе пробудились с новой силой две мысли. Раз Верховное Существо чудесным образом

спасло его два раза подряд, значит, Оно и в самом деле видит в нем Своего избранника, а эти два покушения Оно допустило для того, чтобы открыть ему глаза и указать на гибельность того пути, по которому он чуть было не пошел.

На следующий день Робеспьер произнес в конвенте сильную речь, посвященную этим двум покушениям. Он говорил о гибельности милосердия и спасительности террора, говорил о том, что измена таится повсюду – даже в самом конвенте – и ее надо тщательно вымести. Члены конвента испуганно переглядывались во время этой речи. Никто не чувствовал себя в безопасности, и потому никто не нашел ни слова в ответ диктатору. Ряд новых кровавых мер был декретирован беспрекословно.

И опять посыпались кровавые приговоры. Последовал приказ о передаче дела Люсиль Дюмулен в трибунал, и вскоре несчастная женщина заплатила головой за момент вдовьего отчаяния при виде казни мужа. Она была не одна. Ведь начался период страшных «fourne es» («Фурнэ» значит печь, битком набитая чем-нибудь – например, посаженными хлебами. В просторечии это выражение очень часто употребляется в соответствии с русским «оптом» или «гуртом». В истории Французской революции «эпохой фурнэ» называют тот период диктатуры Робеспьера, когда подсудимых без разбора набирали по тюрьмам и отправляли на казнь большими партиями, стараясь воздействовать на массы количеством казнимых.), когда обвиняемых гуртом отправля-

ли под нож гильотины, не считаясь ни с чем. Среди безвестных имен казнимых попадались такие, которые громоподобным эхо отдавались по всему миру. Так был казнен Лавуазье (Антон Лаврентий Лавуазье, знаменитый ученый, родился в 1743 году в Париже. Он был создателем всей современной химии, построенной на им открытом законе о сохранении материи: «ничто не теряется, ничто не создается»). Трудно перечислить все открытия Л. в этой области. В физике Л. значительно развил учение о теплоте и внес массу ценного в вопрос о газообразном состоянии тела. Л. умер всего на пятьдесят первом году жизни, в самом расцвете научной деятельности.). Кому, для чего могла понадобиться его смерть? Никто не сможет ответить на этот вопрос.

По делу Ладмираля и Рено следствие было проведено очень энергично. Сообщников и подстрекателей найдено не было, но процесс покушавшихся на убийство «самого Робеспьера» вышел бы недостаточно эффективным, если бы судили и казнили только двоих. Поэтому в качестве сообщников стали хватать без разбора, кого попало. Нахватали пятьдесят четыре человека и сейчас же представили их перед трибуналом. Был прочтен обвинительный акт, присяжные заявили, что дело совершенно ясно, а потому всякая процедура в виде допроса свидетелей, защиты и т. п. совершенно не нужна. Тут же был вынесен приговор, и он гласил – смерть!

Гильотина была уже готова, палач с помощниками уже ждали свою фурнэ. Но им пришлось подождать еще немно-

го. Осужденных первоначально одели в красные балахоны, посадили в телеги и прокатили по всему Парижу.

Собственно говоря, в красные балахоны рядили только отцеубийц. Но разве Робеспьер не был «отцом народа»?

Весь мир негодовал, парижане растерянно недоумевали, конвент трясся от ужаса. Только Фушэ хохотал и радостно потирал руки.

Глава 14

На другой день после казни «Ладмирала и Рено с сообщниками» в Париж вернулся Ремюза. Вся его душа истосковалась по Люси, ему страстно хотелось поскорее заглянуть в ее чистые глазки, поскорее прижать ее к своей груди. Но Ремюза был человеком долга. Привезенные им сведения были чрезвычайно важны и требовали немедленного обсуждения. Французский флот задержал английский, загородив ему дорогу. Конечно, англичане разобьют в конце концов на море французов, так как суда последних чрезвычайно плохи и команды совершенно не обучены. Зато благодаря смелости флота, шедшего на верную гибель, англичанам пришлось пропустить двести кораблей с хлебом, идущих из Америки для помощи голодающему населению западных департаментов.

Вся душа Ремюза была полна радости и торжества, когда он ехал в конвент, чтобы сообщить Робеспьеру эту отрадную весть. Но в конвенте Робеспьера не было, а в те полчаса, которые провел Ремюза в ожидании, его радостное настроение значительно померкло и потускнело: слишком уж страшно было то, что рассказали ему конвенционелы. Геберисты, дантонисты, а теперь просто «фурнэ»; казни на фоне подлогов и лжесвидетельств; разнузданность единовластия под соусом республиканской свободы. И это – обновление?

Ремюза чувствовал, что у него все мешается в голове и ему нужно время для приведения мыслей в порядок. Он уехал к себе домой и послал человека с запиской к Робеспьеру, надеясь, что диктатора не будет дома и он сможет в течение некоторого времени оставаться наедине со своими мыслями. Но Робеспьер был дома и жаждал видеть Ремюза как можно скорее.

Их встреча вышла неловкой. Робеспьер вышел навстречу Ремюза с радостно взволнованным лицом, в искреннем порыве простер к нему руки; однако Ремюза, поддаваясь какому-то смутному, тревожному недовольству, ограничился сухим, официальным поклоном. Робеспьер вздрогнул, опустил руки и отступил на шаг, обдавая гостя взором, в котором чувствовались лед и пламя. Но пламя тут же погасло, лед растопился в тихой грусти.

Всякому другому такая встреча стоила бы головы. Не из личных счетов, не из оскорбленного самолюбия, нет, а из простого рассуждения, логичность которого вполне вытекала из маниакальности Робеспьера: «Ты не отвечаешь на мой порыв, значит, ты – против меня, следовательно, ты таишь измену». Но Ремюза был одним из тех немногих, почти единственным, кого Робеспьер никак не мог заподозрить в предательстве, в изменнических кознях. В чем же дело?

Как хотелось Робеспьеру просто, мягко, задушевно спросить у Ремюза, чем объясняется его странное поведение. Но диктатор и без того сознавал, что внезапная грусть пробра-

лась за нерушимую броню его души. Эта грусть и так лишала его привычной твердости, в которой он видел всю свою силу, а разговор о причине грусти мог еще более размягчить его. И Робеспьер ограничился молчаливым жестом, которым пригласил гостя войти и сесть. Но все время, пока Ремюза докладывал о положении дел, в мозгу диктатора вертелся неотвязный вопрос: «В чем дело?»

Ремюза был сух в рассказе и ограничивался строго деловой сутью, не позволяя себе впасть в отступления; Робеспьер же был молчалив, задумчив и грустен. Наконец доклад кончился. Воцарилось неловкое, смущенное молчанье; каждому хотелось прервать его, и никто не знал, как это сделать.

Из затрудненья их вывел быстрый топот легких ножек, послышавшийся в соседней комнате. Услыхав его, Робеспьер облегченно вздохнул, а Ремюза вскочил с места, забыв обо всем на свете... Люси! Наконец-то!

Ремюза хотел броситься навстречу девушке, обнять ее, но она остановила его на полпути жестом и сказала:

– Жан, милый Жан, как я счастлива видеть тебя! Но пока не подходи ко мне! Сейчас мне придется поставить ребром один важный вопрос, и я еще не знаю, что ты ответишь мне. Может быть, ты отречешься от меня, так к чему же тогда...

– Я от тебя? – с негодованьем воскликнул Ремюза. Но тут же он заметил, как бледна и взволнована Люси, и испуганно спросил: – Люси, что случилось?

– Робеспьер! – громко и торжественно произнесла Лю-

си, не отвечая на вопрос жениха и подходя к столу, где сидел Максимилиан. И как странно звучало это обращение по сравнению с обычным «дядя Макс»! – Робеспьер! Я вышла сегодня утром из дома, чтобы снести хлеба и мяса бедной, больной старухе. Этой старухе семьдесят лет, болезнь лишила ее возможности двигаться, горе затемнило разум. Но я не застала этой старухи дома. Соседи сказали мне, что ее казнили вчера утром – казнили по твоему приказанию, казнили за то, что Ладмираль – ее сын. Отвечай мне, правда ли это? Правда ли, что Максимилиан Робеспьер вымещает свою злобу на престарелых калеках?

Робеспьер хотел прикрикнуть на Люси, указать ей ее место, приказать немедленно замолчать, и вдруг почувствовал, что не может даже хотя бы возвысить голос. С ним бывало иногда, что его охватывали непонятная нерешительность, необъяснимое смущение; одна из таких минут впоследствии и погубила его. Так и теперь вместо грозного окрика он только поднял на Люси скорбный взгляд строгих глаз и тихо спросил:

– Кто поставил тебя судьей надо мной? По какому праву ты требуешь у меня отчета?

– Разве нужно какое-нибудь особое право, чтобы спросить у человека: «Скажи, могу ли я уважать тебя? Могу ли считать тебя своим близким»? – пылко ответила Люси.

– Так вот до чего дошло дело! – тихо сказал Робеспьер, покачивая головой. – Люси, Люси! Сколько раз я просил те-

бя не говорить со мной о таких вещах.

– Ну еще бы! Ведь тебе нечего ответить мне! Или ты опять будешь повторять мне старую сказку о солдате, который кончает жизнь самоубийством на ответственном посту? Полно! Казнь старухи Ладмираль лишает тебя права отговариваться этим!

– А ты хочешь снова начать твердить мне старую сказку о милосердии и справедливости? Помнишь день, когда я поддался твоим призывам к милосердию? Много ли – не дней, а часов прошло, как преступная слабость принесла свои плоды? Или ты тоже будешь повторять подлую сплетню, которую распустил обо мне какой-то презренный негодяй, будто никакого покушения не было вовсе?

– Да как ты не понимаешь, что все эти покушения, все эти заговоры являются прямым следствием твоей кровавой политики? Ты обесценил жизнь, никто во Франции не уверен, что удержит голову на плечах, а потому не дорожит ею. Но что я буду говорить с тобой! Разве ты способен понять что-нибудь? Ведь ты – больной человек, твое место – в доме для сумасшедших. С той минуты, как ты не мог дать мне ответ по поводу казни старухи Ладмираль, ты уже произнес приговор нашим отношениям. Под кровлей человека, действия которого я не могу одобрять, я оставаться не хочу. Сейчас утро, но предстоящая ночь не застанет меня здесь! Да, с тобой кончено, Робеспьер! Теперь я обращаюсь к тебе, Ремюза. Хочешь взять меня? Тогда возьми! Мы можем

сейчас же обвенчаться – ведь в это тревожное время венчают без всяких формальностей! Но я могу вручить тебе свою судьбу лишь при одном условии. Ты должен отказаться от какого-либо участия в делах этого преступного правительства! Ты должен сложить все полномочия и зажить частным человеком – до той минуты, конечно, когда над Францией не взойдет солнце истинной государственной правды! Человек, которого я могу любить без остатка – а иначе я не признаю любви, – должен быть чист от политики Робеспьера! Жан, согласен ли ты со мной? Не бойся сказать мне «нет»; я готова ко всему!

– Существует очень хорошая пословица: «чего хочет женщина, того хочет Бог», – хрипло сказал Робеспьер. – Но ведь мы, французы, – галантный народ! Мы не прибавляем: «любимая женщина», хотя это подразумевается... Ну, так что же ты молчишь, Ремюза? Если бы ты был мужем Люси, ты мог бы еще думать. Но ведь ты – жених, а ведь в этом состоянии у рядового человека страсть затемняет все остальное!

– Ты не прав, Робеспьер, – тихо ответил Ремюза. – Я люблю Люси больше всего на свете, но только не больше долга и чести. И даже ее любовь не могла бы заставить меня отступить. Только я и сам думаю, как она, я и сам вижу, что ты пошел неправильным путем.

– Вот как! – с горечью перебил его Робеспьер. – Давно ли ты увидел это? А мне кажется, что «гражданин Азюмер» в своей брошюре страстно оправдывал террор! И как недав-

но еще мне пришлось слышать из твоих собственных уст, что «исключительное время требует исключительных мер». А теперь ты уже готов отречься от всего ради красивого лица глупой женщины! – Он закрыл лицо руками и отвернулся, бормоча: – Сколько разочарований! Сколько разочарований!

– Повторяю, что ты неправ, Робеспьер! – грустно ответил Ремюза, тронутый той трагедией, которую он ясно чувствовал в душе одинокого диктатора. – Я оправдывал и оправдываю террор как временную меру. Когда лошади взбесились и понесли, всякая мера хороша для кучера, если эта мера способна сдержать испуганных лошадей и спасти их самих, колесницу и кучера от гибели. Но где же у нас конец временному, где начало постоянному? Я понимаю, что, прежде чем начать строить новое здание, надо разрушить и снести старое. Но вот старое снесено, пора приступать к строительству, а ты... ты продолжаешь ломать и крушить все без разбора, ты сметаешь прочь даже то, что могло бы служить опорой возводимому зданию. Робеспьер, я верил в тебя, как в Бога! Но теперь ужас охватывает меня! Мне начинает казаться, что ты неспособен к творческому строительству. Я знаю, что ты искренен, ты веришь в свою работу. Но могу ли я принимать в ней участие, раз сам-то я не верю в нее. Идти с тобой рука об руку, значит, оправдывать все, что ты сделал и делаешь. Могу ли я оправдывать твои действия, раз в моих глазах казнь геберистов была неосторожностью, казнь

дантонистов – преступлением, а то, что творится теперь, кажется мне кошмаром больного мозга. Всего только несколько часов провел я в Париже, Робеспьер, а ведь я уже совершенно болен, болен от запаха крови, от воплей ужаса, которыми пропитан парижский воздух. Я не могу больше! Я не хочу этих трупов! Я схожу с ума!

– Как и я! – тихо уронила Люси.

– Я шел к тебе с тем, чтобы откровенно признаться в невозможности дальнейшей совместной работы! – продолжал Ремюза. – Скажу честно, я дорого дал бы, чтобы отсрочить этот разговор. Я боялся, что Люси, как близкая тебе, станет в нашем разногласии на твою сторону и что мне придется потерять бесконечно любимую девушку. Но поверь, Робеспьер, все равно, даже, если бы Люси не поставила мне тех условий, на которых она только и согласна стать моей, ты услышал бы из моих уст те же слова!

– Чего же ты хочешь? – спросил диктатор, резко оборачиваясь к Ремюза.

– Я прошу освободить меня ото всех официальных обязанностей!

– Отечество не может освободить граждан от обязанности служить ему! Только служением отечеству и определяются все значение, весь смысл слова «гражданин»! Отказывающийся трудиться на благо родины не лучше изменяющего ей. А изменникам... – Робеспьер сделал резкое, отсекающее движение ладонью.

– Что ж, я готов даже и к этому! – с грустной улыбкой ответил Ремюза. – В последнее время в Париже головы так подешевели, что их теряют на каждом шагу! Но я предпочитаю скорее потерять голову, чем любовь Люси и собственное уважение. Только не верится мне, Робеспьер, чтобы ты действительно пошел на это! Или, по-твоему, было бы лучше, если бы я, не говоря ни слова лично тебе, остался здесь и стал исподтишка интриговать против тебя, как какой-нибудь Фушэ? А ведь я говорю тебе: «Отпусти меня из Парижа, потому что не считаю себя вправе ни бороться против настоящего правительства, ни идти с ним рука об руку!»

На лице Робеспьера отразилась краткая борьба, но, видно, непривычная мягкость продолжала еще владеть его сердцем. Помолчав немного, он резко спросил:

– Где ты будешь жить, если республика освободит тебя от обязанностей по отношению к ней?

– У меня в Пикардии уцелело имение... Там, в трудах и заботах о земле, мы с Люси... – ответил Ремюза, но вдруг умолк, охваченный глубоким волнением.

Робеспьер встал и несколько раз прошелся по комнате. Вдруг, подойдя вплотную к Ремюза и взяв его за пуговицу фрака, он резко спросил:

– Можешь ли ты дать мне слово, что не будешь из сельской глуши интриговать против меня, что заживешь там как частное лицо?

– Робеспьер, ты обижаешь меня!

– Да? А не я ли обижен тобою? Но теперь не время считаться личными обидами. Отвечай!

– Даю тебе слово, что против тебя и твоей власти я никогда интриговать не буду!

– Хорошо! – сказал Робеспьер, отпуская пуговицу Ремюза. – Ты свободен! Ступай и будь счастлив!

Он отвернулся. Но было что-то настолько горькое в его тоне, что Ремюза невольно остался стоять на месте. Наступила минута молчания. Ее нарушила Люси.

– Ремюза, – сказала она, – я иду к себе, чтобы привести себя в порядок и собрать кое-какие вещи. О, только свои собственные и притом самые необходимые! Я хочу все с самого начала получить от тебя, пусть ничто не напоминает мне о...

– Люси! – стоном вырвалось у Робеспьера. – Мы расстаемся навсегда! Неужели у тебя не найдется ни слова для меня на прощанье?

– Нет, Робеспьер, – жестко ответила Люси, – все слова уже сказаны, нам больше не о чем говорить.

– Ну, а у тебя, Ремюза? – с горечью спросил Робеспьер. – У тебя тоже не найдется для меня слова на прощанье?

– Робеспьер! – ответил Ремюза, подойдя к недавнему другу и во внезапном порыве положив ему руки на плечи. – Я готов бы жизнь отдать, чтобы этой минуты не было! Но что делать, если и это невозможно... Будь счастлив, Робеспьер, если можешь! До свиданья!

Невольно их губы сомкнулись в последнем дружеском по-

целуе. Затем, мягко освобождаясь из его объятий, Робеспьер сказал:

– До свиданья? Нет, прощай, друг Ремюза! Наши дороги разошлись, чтобы не встретиться никогда! Я иду своим тяжелым, тернистым... одиноким путем, ступай и ты своим. Прощай! Прощай! – и Максимилиан, нежно подтолкнув Ремюза к дверям, долго смотрел ему вслед. Уже давно замерли шаги Люси и Ремюза, а Робеспьер все стоял и смотрел. Потом он тяжело опустился на диван и, хватаясь за голову, простонал: – Один! Один!

– Один? – нежной укоризной прозвучал над его ухом голос Терезы, и ее мягкие руки охватили его шею. – А я? Разве я не с тобою?

Вместо ответа Робеспьер схватил Терезу и судорожно привлек ее к себе.

Волна долго сдерживаемой страсти нахлынула на его мозг и все смыла, все затопила в этот миг, когда бесконечное страдание от ощущения полного одиночества сломило волю.

Забыто было все, все великие идеи, все гордое самообольщение власти духа над презренной материей. Только природа пела свой извечный победный гимн о торжестве непреложных законов, которым – неволей, добром ли – подчинено все живое на земле. И вся охваченная радостью обладания, вся пронизанная трепетом страсти, Тереза приникла к любимому, тогда как ее губы шептали:

– Наконец-то!

Одна из самых страдальческих минут в жизни Робеспьера стала для Терезы минутой высшего счастья. Такова жизнь!

Глава 15

«Мы готовим празднество в честь Высшего Существа!» – сказал Кутон на следующий день после казни Дантона. Конвент, а за ним и Париж облегченно перевели дух. Празднество в честь Высшего Существа? Значит, кровожадность Робеспьера хоть на время утолена? Значит, можно будет хоть на время отдохнуть от всех этих ужасов?

Первые дни казалось, что надежды на отдых имеют основания. Но это только казалось. После нескольких дней затишья оргия кровавого пира возгорелась снова, и притом с небывалой ожесточенностью. Голос цифр убедительнее всего может доказать, в какую страшную форму вылилась диктатура Робеспьера после того, как он избавился от стеснявших его свободу умеренных элементов. За четырнадцать месяцев – от 3 апреля 1793 года до 1 июня 1794 года – смертных приговоров было вынесено 505, а с 1 июня по 30 июля 1794 года их было 2158. Таким образом, если на первый период в среднем приходилось по одной казни в день, во второй казнили в день по тридцать шесть человек!

И вдруг среди всего этого ужаса конвент был потрясен известием, которое показалось чудовищным даже в то страшное время: Робеспьер не оставил мысли об устройстве празднества в честь Высшего Существа!

Это показалось таким богохульством, перед которым от-

ступали и терялись все ребячливые попытки геберистов. Действительно ведь, отвергая Бога и уничтожая религию, геберисты поступали, как дети, которые, отправляясь в шкаф уворовать шоколадку, поворачивают портреты родителей лицом к стене, чтобы «папа и мама не видели». Робеспьер, заставляя между двумя массовыми казнями декретировать, что французский народ признает бытие Высшего Существа и бессмертие души, а между двумя другими – чувствовать это Высшее Существо, не отвергая Бога, глумился над Ним. И невольно во время речи диктатора некоторые из членов конвента с опасением посматривали вверх, как бы ожидая, что небесный гром уложит на месте дерзкого богохульника.

Но Небо молчало, и притихший конвент смиренно декретировал все, что пожелал Робеспьер. Никто не помышлял оказать сопротивление кровавому диктатору. Правда, где-то в самой глубине, в самых недрах, уже копошилась мысль о необходимости положить предел этой страшной власти и остановить «телегу, которая готова подвезти к гильотине всю Францию». Барэр, Фушэ, Тальян, Фрерон, Бурдон, Лекуантер, Лежандр, Колло, Билло и многие другие работали, не покладая рук, над подготовкой 9 термидора (День падения Робеспьера (27 июля)). Но никто из них не хотел подставлять первым свою голову. Их работа шла в тиши и тайне. Снаружи Робеспьер встречал только покорность и угодливость. Конвент беспрекословно декретировал все, что при-

казывал комитет общественного спасения, а Робеспьер, передавая эти приказы, сплошь да рядом даже не спрашивал, хотя бы для вида, согласия того комитета, от имени которого он выступал! Таким образом все органы власти сосредоточились в одном Робеспьере. Конвент собирался только для декорации, его заседания почти не посещались. Из более чем пятисот членов конвента на заседания зачастую не являлось и сотни, да и из явившихся многие ускользали перед подачей голосов. Тем непривычнее казалась картина заседания 4 июня, когда собралось 485 членов конвента и когда все они, как один человек, вотировали одно и то же. Но ведь в этот день производилась баллотировка Робеспьера в президенты конвента. Решился ли бы кто-нибудь не явиться на выборы, а явившись – голосовать против его кандидатуры? Робеспьер оказался выбранным единогласно!

В силу декрета о праздновании признания бытия Верховного Существа и бессмертия души функции первосвященника должен был исполнять президент конвента. Только ради этого и выставил Робеспьер свою кандидатуру. Жадные до зрелищ парижане, воображение которых уже давно дразнило затейливое празднество, с нетерпением ожидали исхода голосования в Тюильрийском саду. Ведь все отлично понимали, что Робеспьер не уступит никому чести выступить в качестве первого жреца им же самим созданной религии. А вдруг Робеспьера «прокатят»? Тогда и празднеству не бывать! А ведь гильотина начинала приедаться, кроме нее дав-

но уже не было других развлечений!

Толпа с нетерпением ожидала решения, волнуясь, споря, смеясь и оживленно жестикулируя. Это была все та же парижская толпа, живость и жизнерадостность которой не могли подавить никакие ужасы.

Несколько в стороне от толпы, прямо на земле, сидела странного вида старуха. Босоногая, вся в лохмотьях, с головой, увенчанной копной седых волос, с выцветшими безумными глазами, в которых читались безысходная скорбь и напряженный поиск, она казалась существом не от мира сего, древней пророчицей, сошедшей с полотна старого мастера. Видно было, что эта старуха внушает толпе, особенно женщинам, чувство суеверного ужаса. Ей почтительно кланялись, но спешили пройти мимо, так что, несмотря на тесноту, вокруг старухи всегда оставалось свободное место. Она же напряженно всматривалась в лица проходивших мужчин, и ее губы скорбно шептали:

– Не Он!.. Опять не Он!

Но вот в толпе поднялось какое-то движение. «Выбрали! Выбрали!» – передавалось из уст в уста, и толпа двинулась вперед, к выходу, у которого появилось несколько конвенционелов.

Теперь старуха осталась совершенно одна.

– И здесь я не нашла Его! – скорбно прошептала она, глядя вслед бегущей толпе. – Нигде... нигде!.. – и, облокотившись о скамейку, возле которой она сидела, старуха запела

тихим, старческим голосом, тогда как из ее глаз катились крупные слезы:

Громко плачет в небе Богоматерь,
Льет на землю чистые слезинки...
Ах, опять сошел Христос на землю,
Чтоб спасти заблудшихся и грешных.
«Ты вернись, вернись, о, Сыне милый!
Люди злы, Твоих забот не стоят,
Вновь они Тебя со злобой встретят,
Осмеют, подвергнут истязаньям!»
Но не внял Божественный Страдалец
Безутешной Матери молениям,
И Она Сама на землю сходит,
Отыскать следы Его стараясь.
Ходит, плачет, ищет... не находит...
Всюду кровь, неправда и распутство...
Отлетели ангелы в испуге
От земли, погрязшей в гнусной скверне.
«Ой, вы, люди, злые, злые люди!
Вы скажите Матери несчастной,
Где Мой Сын, где Мой Христос Пречистый?
Или снова вы Его убили?»
Но в ответ смеются злобно люди,
Ведь они Христа совсем не знают
На престоле, кровью обогренном,
Сатана ликуя восседает!
Так в слезах и ходит Богоматерь,
Средь людей Христа найти стараясь...

Ступит где – цветы там вырастают,
Где слезу уронит, там – источник.

Звук громких голосов заставил старуху вздрогнуть и поднять глаза. По дорожке опять шла кучка народа. Это был Фушэ, окруженный жаждащими узнать последние новости, которых у расстриги всегда бывал свеженький запас.

– Да, да, друзья мои, – говорил Фушэ, разводя руками и поворачивая голову во все стороны. – Выбрали, конечно, выбрали! Но что прикажете делать? Робеспьеру мало было стать французским королем, ему нужно сделаться Господом Богом!

Громкий смех покрыл эту фразу, и добрая половина из окружавших Фушэ отпрянула от него, чтобы поскорее сообщить новое словцо своим знакомым. Париж любит меткую шутку – и к вечеру весь город со смехом твердил пущенную расстригой крылатую фразу!

Удовлетворив, как мог, любопытство окружающих, Фушэ сказал:

– Ну-с, господа, а теперь до свиданья! Мне нужно сказать два слова гражданину Дюрану!

Он взял толстяка под руку и пошел с ним дальше, тогда как остальные повернули обратно.

При приближении обоих старуха подняла голову и пытлииво впиалась взором в лицо Фушэ. В этот момент Дюран сказал:

– Да, кстати, Фушэ... Ты ведь всегда все знаешь! Правда ли, что...

При этих словах старуха вскочила с легкостью, какой трудно было ждать от ее немощности и возраста, и, подбежав к Фушэ, сказала с выражением бесконечной мольбы:

– Добрый господин! Я слышала, что вы всегда все знаете, так не можете ли вы сказать мне, где мой Сын?

– Твой сын? – улыбаясь спросил Фушэ, – Нет, мое всезнайство не простирается так далеко! Я не знаю, кто – ты, могу ли я знать, где твой сын?

– Да, да... – пробормотала старуха, отходя обратно на свое место и вновь опускаясь на землю. – Нас теперь уже никто не знает... никто... Ах! – Ее глаза наполнились слезами. – Сколько земель уже исходила я в поисках Его! Я выплакала все слезы, я истерла ноги до крови, и нигде... нигде...

Ее бормотанье перешло в душу надрывающий плач.

– Бедная женщина! – сказал Фушэ. – Наверное, ее сын погиб в одной из фурнэ?

– Как, да ты действительно не знаешь ее? – удивился Дюран. – Ну, ну, я первый раз вижу, что Фушэ чего-нибудь не знает! Да, ты прав! Старуха Тео ищет Кое-Кого, Кто погиб в одной из фурнэ, но только это было очень давно... так лет более тысячи семисот тому назад! И Погибшего трудно найти теперь во Франции, которая стала истинным царством дьявола из-за этого проклятого Робеспьера!

– Я ровно ничего не понимаю, друг мой! – ответил Фушэ,

пожимая плечами.

Тогда Дюран рассказал ему историю старухи Тео.

Она была родом из Прованса, принадлежала к зажиточной крестьянской семье, промышлявшей рыболовством. Наряду с редким счастьем, ее преследовало страшное несчастье. Никто во всем селении не мог похвастаться таким богатым уловом, как мужчины в ее семье. В самое бедное время года их сети бывали полны рыбой, и самые крупные, самые ценные экземпляры попадались непременно у мужа или сыновей Тео. Но за это море брало с нее страшную контрибуцию: один за другим гибли все, кого любила Тео. Утонули муж, затем старший сын, второй, третий. Наконец остался только младшенький, Жак, которого Тео любила больше всех. Теперь эта любовь перешла в обожание. Тео тряслась над Жаком, заставила его отказаться от рыболовства и не позволяла ему выходить в море: она имела сбережения, проживут и так. Но море требовало своего. Однажды Жак купался с товарищами близ берега в совершенно безветренную погоду. Вдруг он вскрикнул и исчез под водой. Его труп так и не нашли. Разум Тео не выдержал, а тут еще местный кюре, желая утешить несчастную женщину, привел ей в пример Богоматерь, которая тоже убивалась по Своем Сыне. И вот в померкшем разуме старухи родилась безумная мысль, что она – Богородица. Слова старой легенды, в которой описывается, как Христос опять сошел к людям, чтобы вразумить заблудшее человечество, и как Богоматерь в виде бед-

ной странницы исходила всю землю, разыскивая Его, придали окончательную форму ее помешательству.

– И вот, – закончил свой рассказ Дюран, – с тех пор она все ходит и ищет Христа. Народ относится к ней с суеверным... – он вдруг остановился, заметив, какой сатанинской радостью осветилось лицо Фушэ, и, перебивая сам себя, сказал: – Бьюсь о заклад, что ты что-то надумал и что я недаром рассказал тебе эту историю!

– Да, ты прав, милый мой Дюран, – ответил Фушэ; затем он подошел к старухе и, наклонившись к ней, сказал: – Пойдем со мной, добрая женщина! Кажется, я все-таки сумею помочь твоему горю!

С утра восьмого июня парижане, принарядившись и разодевшись в лучшие одежды, толпой повалили к тем местам, где должен был проходить кортеж. Но больше всего народа собралось около Тюильри, где для членов конвента была выстроена эстрада и где и должна была произойти главная часть торжества.

Был чудный день; солнце светило ярко и радостно с безоблачного неба, и, казалось, что Париж никогда не был ареной тех ужасов, что уже второй год свершались в нем. Лица зрителей дышали беззаботной радостью; гильотина была убрана с площади Революции, и народ, вопреки всякой логике, готов был верить, что она не появится там более. Впрочем, вернее будет сказать, что парижане вообще не думали

о гильотине и казнях. Они изголодались по празднествам и торжествам и теперь стремились лишь к тому, чтобы не упустить хоть какую-нибудь деталь из развернувшейся перед ними картины.

А эта картина была в самом деле очень эффектна. Вот к эстраде потянулась вереница членов конвента с букетами в руках. Впереди всех шел Робеспьер. Он был одет во фрак небесно-голубого цвета при напудренном парике, а букет, находившийся у него в руках и составленный из колосьев, цветов и плодов, был значительно больше размерами и наряднее, чем букеты остальных его товарищей. Словом, все подчеркивало, что Робеспьер считает себя не «первым между равными», а высшим среди низших!

Взойдя на эстраду, Робеспьер поднялся на устроенную в ее центре трибуну, вокруг него расположились музыканты, и празднество началось. Сначала был исполнен торжественный хорал в честь Высшего Существа, затем Робеспьер произнес блестящую речь, прославляя бога, которого он дал Франции. Затем, при звуках музыки, он спустился в сад, сопровождаемый конвенционалами. Со всех сторон теснился народ, рукоплескавший и раздражавшийся приветственными криками. Народ радовался давно невиданному зрелищу, выражал свой восторг перед блестящей картиной, а Робеспьер принимал все это на свой счет. Он шел, глубоко задумавшись, опьяненный всем этим шумом и блеском. На мгновение ему показалось, что он достиг всего, к чему стремился в

мечтах. Да, словно огненный столп, ведущий Израиль к обетованной земле, он мощно увлек Францию к идеалам правды и добра и, словно столп, высоко возносился над всем этим народом своей добродетелью и мудростью. Он – Божий избранник, он призван исполнить великую миссию, на нем – печать Духа.

Пронзительный крик, раздавшийся из толпы, и что-то черное, шарахнувшееся со стороны к нему под ноги, пробудили его от сна.

«Покушение?» – испуганным воплем пронеслось в его душе.

Робеспьер резко остановился, отшатываясь и простирая вперед руки. Произошло замешательство. Шедшие сзади сделали еще несколько шагов по инерции и расплылись вокруг Робеспьера широким полукругом. Музыканты, заквакав что-то несуразное, остановились на фальшивом аккорде, из цепи кинулись полицейские.

Но это не было покушение. У ног Робеспьера лежала, обнимая его колени, старуха Тео, которая плакала и смеялась, выкрикивая непонятные слова.

– Кто ты и что тебе нужно, добрая женщина? – спросил Робеспьер, оправившись от первого испуга.

– Неужели ты не узнал меня? – со скорбной укоризной воскликнула безумная. – Я исходила весь мир, отыскивая тебя, я выплакала море слез, я истерла до костей ноги, вот, когда я наконец нашла тебя, ты отрекаешься от меня? Но

нет, это невозможно! Ты, всеблагой и всемилостивый, не вонзишь бедной матери меча в сердце! О, мой Христос, о, мой возлюбленный сын! Ты вновь спустился на землю, чтобы спасти заблудшее человечество! Слава тебе, всеблагой! – она благоговейно приложилась к кончику башмака Робеспьера, затем быстро вскочила и, подняв руку, обратилась к толпе: – Слушайте меня, люди, слушайте ту, которая родила вам Испытателя! Когда в первый раз Он пришел к вам с ветвью мира в руке и проповедью добра на устах, вы не признали Его! Он явился к вам кротким агнцем, а вы замучили Его! Ныне Он опять придет к вам! Вместо ветви мира – карающий меч в деснице Его и в устах Его грозное слово суда! Горе вам, если вы и теперь не признаете Его! Горе вам, если вы добровольно не дадите Ему огнем и железом исцелить вас от вашей скверны! Мера терпения Бога-Отца уже измерена, и переполнилась чаша гнева Его! Горе вам, мытари и фарисеи, матери и жены, отцы и дети, юноши и старцы! Горе вам всем! На всех изольет Господь гнев свой, и огненный дождь спалит вас, нераскаянных и неисправимых! Кайтесь, падите ниц перед Ним, или горе вам! – и, пламенно сверкая глазами, старуха с поднятой рукой двинулась прямо на расступавшуюся перед нею толпу, не переставая восклицать: – Горе вам, горе, горе, горе!

Робеспьер знаком подозвал к себе полицейского комиссара и спросил его:

– Кто эта женщина?

– Это – старуха Тео, гражданин! Она потеряла когда-то единственного сына и от горя сошла с ума. Воображает себя Богородицей!

– Бедная! – с сочувственным вздохом сказал Робеспьер, глядя в сторону, где виднелась поднятая высоко над головой изможденная рука старухи и слышался ее пронзительный, истерический голос. – Ее надо поместить в дом умалишенных.

– Осмелюсь доложить, гражданин... – начал Брусье, но Робеспьер, сделав нетерпеливое движение плечом, прошел дальше, не слушая объяснений комиссара.

Брусье вспыхнул и кинул вслед Робеспьеру злобный взгляд.

– Вот всегда он так! – тихо сказал он подошедшим к нему Фушэ и Билло Варену. – Взбретет ему что-нибудь на ум, так хоть кол на голове теши! Отправить в дом умалишенных! Да ведь у нас даже больницы обращены в тюрьмы, а не то что сумасшедший дом! Мне буйных помешанных девать некуда. Просто ума не приложу, что делать!

– А ничего не делать! – посоветовал Фушэ. – Пусть себе гуляет на здоровье старушка Божья! Оно и хорошо. Эх, подумаешь, человек карьеру сделал! Королем стал, так мало – папой парижским задумал стать! А дальше уже как по маслу: из пап его прямо в Спасители пожаловали! Погодите только, Робеспьер и в самом деле прикажет особым декретом признавать себя за Иисуса Христа! Сумасшедшая или нет – ста-

руха Тео, ему дела нет! Знаете, как по поговорке: «доброму вору все впору».

– Я даже думаю, что эта Тео – вовсе не сумасшедшая, – заметил Колло д'Эрбуа, подошедший к ним во время речи Фушэ. – Вернее всего, что Робеспьер подстроил всю комедию!

– Ну, в том, что Тео – сумасшедшая и что Робеспьер испугался, когда она кинулась к нему, не может быть никаких сомнений, – возразил Фушэ. – Однако мне приходит в голову совсем другая мысль. Представьте себе, друзья мои, что безумная – вот совершенно при таких же обстоятельствах – произвела в Спасители кого-нибудь из нас. Так вот, как повашему: долго ли удержалась бы на плечах голова и самой «богородицы», и ее опознанного «сына»?

– Ну, во всяком случае до завтрашнего дня! – ответил Билло. – Раньше гильотины не поставят!

Тем временем нарушенный порядок шествия восстановился. Музыканты опять заиграли торжественный марш, ряды конвенционелов выровнялись, и процессия двинулась дальше.

И опять Робеспьер шел, глубоко задумавшись. Эта встреча со старухой Тео глубоко потрясла его. Напрасно он твердил себе, что нет границ для большой фантазии и что весь этот пламенный бред – только бред и больше ничего. Вопреки доводам разума где-то в уголке души копошилась беспокойная мысль, что старуха с частым у безумных ясновидени-

ем прозрела в нем Божьего избранника, мессию, посланного очистить Францию от скверны. Неужели в нем и в самом деле почитает частица Божественной силы, снова воплотившейся ради спасения человечества?

Робеспьер поднял глаза к небу, как бы надеясь прочесть там ответ на все свои сомнения, как вдруг его пронзила страшная мысль. Но ведь, если... если это... так, то... Боже мой!

От пророков и великих учителей человечества всегда прежде всего требовалось целомудрие, чтобы голос мятежных страстей плоти не заглушал гласа Божия в душе. А он... он изменил этому завету! И с болезненной яркостью Робеспьеру вспомнился момент его падения.

Оно случилось в том состоянии полной душевной растерянности, когда после ухода Люси и Ремюза Робеспьер испугался предстоявшего ему одиночества. И когда Тереза нежно приникла к нему, он не нашел в себе силы бороться с искушением.

О, каким острым наслаждением был полон этот сладостный миг! Но по мере того, как, удовлетворяясь, страсть редела, словно туман под лучами утреннего светила, по мере того как знойная сказка любви ускользала, уступая место трезвой действительности, в душу стали заползать уныние, тоска, страх...

В то время Робеспьер не уяснил себе природы этих ощущений – у него было слишком много забот, чтобы предавать-

ся самоанализу, и только теперь он вдруг сразу понял, что означало его смущение.

Ну, конечно! Это был страх ответственности за содеянное! Вот и сегодня прямо из объятий Терезы он отправился служить Всевышнему, и устами, еще не остывшими от страстных лобзаний, вознес хвалу Творцу! Простит ли Высшее Существо такое святотатственное оскорбление?

Душой Робеспьера вдруг овладел безумный ужас, и, словно стараясь убежать от самого себя, он невольно ускорил шаг, опередив товарищей.

«Эти несколько шагов погубили его!» – восклицают все биографы Робеспьера. И действительно, это движение, отразившее в себе лишь внутреннее волнение Робеспьера, было истолковано как желание подчеркнуть свое превосходство. Увидев, что Робеспьер, подходя к воротам сада, а, следовательно, выставляя себя взорам многотысячной толпы, поспешил выскочить вперед, Фушэ подтолкнул Билло Варена, Билло шепнул несколько слов Колло д'Эрбуа, Колло переглянулся с Барэром и Лекоантром. Уже давно они говорили между собою о необходимости покончить с диктатурой, но пока их намерения еще не выходили за пределы бездейственных пожеланий, теперь же все шло к тому, чтобы разжечь их решительность. А Робеспьер сам подлил масла в огонь. Остановившись у выхода и хмуро обводя ряды конвенционелов потускневшими глазами, он сказал им:

– До свиданья, господа! Сегодня мы отдали дань священ-

нейшим требованиям души, а завтра, вернувшись к своим трудам, с удвоенной энергией станем разить врагов отечества!

При последних словах Робеспьер уставился на Барэра и ровно ничего не думал при этом, этот взгляд был чисто механическим – едва ли даже Робеспьер видел того, на кого смотрел. Но Барэр, чувствовавший за собою кое-какие грешки, истолковал этот взгляд по-своему. Мысль о необходимости начать действовать, назревшая под влиянием этого праздника и обострившаяся ввиду «нескольких шагов» Робеспьера, получила окончательную, ясную, бесповоротную формулировку благодаря последним словам диктатора.

– Господа, прошу вас ко мне сегодня вечером часам к семи. Мы не можем долее терпеть такое положение и должны обсудить, что нам делать! – наклонившись к ближайшим соседям, шепнул Барэр, а затем, взяв Бурдона под руку, тихо сказал ему: – Ну, а ты ко мне обедать, конечно? Зозо и так уже ворчит, что ты давно не показываешься!

Глава 16

Зозо, или Зоя Барэр, смуглая, крепкая брюнетка, встретила брата и жениха довольно неприветливо.

– Сердится! – шепнул Бурдону Барэр, несколько побаивавшийся пылкой и властной сестренки, и, желая, как он часто выражался, «перекинуть мост через ее дурное настроение», заискивающим тоном обратился к ней: – А жаль все-таки, что ты не пошла, Зозо! Было очень-очень интересно!

– А кто стал бы обед готовить? – резко ответила она.

– Ну, пообедали бы где-нибудь в ресторане, не велика беда! Ведь обед бывает каждый день, а такое празднество...

– А ты, может быть, хотел бы, чтобы было наоборот? – буркнула девушка. – Слава Богу, что подобная богомерзкая ерунда устраивается не каждый день; это доказывает, что в вашей безмозглой республике есть хоть капля здравого смысла!

– Да что ты, собственно, имеешь против этого празднества, милая Зозо? – примирительно вступился Бурдон.

– А то, что вы, взрослые люди, ходите на поводу у какого-то одурелого, взбесившегося фанатика! – отрезала Зоя. – Вас много, а он один; все вы втихомолку жалуетесь на невыносимый гнет, все вы в тиши поносите Робеспьера на чем свет стоит, и никто из вас не решается хоть пальцем двинуть, чтобы сбросить наложенное на вас ярмо! Тьфу! Думать

противно! Да что с вами и говорить – труссы, жалкие труссы! Тряпки! Только слова даром трачу, а там у меня курица пережарится! – и девушка, энергично отмахнувшись рукой, стремглав выбежала из комнаты.

– Гм, гм... – крикнул Барэр, взял Бурдона под руку и увлек его на терраску, где уже был накрыт обеденный стол. – Подобное настроение Зозо не предвещает ничего хорошего в смысле кулинарных восторгов, и можно поручиться, что все будет испорчено. Но Боже тебя спаси, Франсуа, если ты осмелишься проявить недостаток аппетита и не накинешься настряпню Зозо с таким восторгом, как будто кушанья изготовлены самим главным поваром покойного короля! Зато, если мы отдадим честь поварскому таланту сестренки, к концу обеда она положит гнев на милость!

Но опасения Барэра оказались напрасными: обед получился очень удачным. Сардинки свежего июньского лова, только что прибывшие из Бретани, аппетитно шипели и потрескивали, подпрыгивая в дымящемся масле, и большая сковорода была мигом уничтожена. Луковый суп с копченой свиной грудинкой заставил еще издали жадно затрепетать ноздри. А куски курицы, из которой ручьями бежал сок, заманчиво выделялись золотисто-коричневой кожицей и белизной мяса на нежной зелени молодого, в меру заправленного салата.

По мере того как яства исчезали с тарелок обедающих, лицо Зои прояснялось все более и более, и к десерту, состо-

явшему из сыра, миндаля и земляники, она уже совсем милостиво сказала:

– Ну, рассказывайте!

Барэр и Бурдон принялись рассказывать о празднестве. Зоя внимательно слушала, вставляя иронические замечания, но, когда рассказ дошел до старухи Тео, она сразу стала очень серьезной и задумчиво заметила:

– Трудно даже учесть, какими страшными последствиями чревата эта выходка юродивой старухи! При своем мрачном фанатизме Робеспьер неминуемо усмотрит в прорицаниях Тео знак особого благословения небес на дальнейшие кровавые подвиги. Боже мой, Робеспьер под видом карающего Христа!..

– Да, как видно, он уже проникся этой ролью! – заметил Барэр. – Прощаясь с нами, он заявил, что завтра мы со свежими силами примемся истреблять врагов отечества. Должен прибавить, что при этом он посмотрел на меня таким взглядом, который предвещал мало хорошего!

– Что же тут и говорить, – грустно ответила Зоя. – Твой черед скоро придет, Бертран, очень скоро! Но ты сам виноват! Ты слишком легко пожертвовал Робеспьеру Дантоном и его друзьями. Ведь в душе ты не разделял мнения о крайней опасности дантонистов и просто пожертвовал ими ради собственного спокойствия. Но Робеспьер ненасытен, его аппетит растет по мере еды. Идя все дальше по пути «моя хата с краю», ты без протеста уступишь этому новому Молоху тер-

рора Тальена, Билло, Колло, Фрерона, Лежандра. Затем наступит черед самых близких тебе – погибнут Лекуантер, Дюваль, Одуэн, Вилат... Бурдон. А там придет и твой черед... И останусь я совсем одна, без брата и мужа, лишенная последнего утешения: возможности оплакивать погибших, потому что нельзя оплакивать тех, кто погиб лишь из-за недостатка решимости отстаивать свое право на жизнь!

– Нет, на этот раз ты ошибаешься, Зозо! С меня довольно, я не намерен терпеть долее! Я уже позвал на сегодня кое-кого из друзей – скоро они придут, и мы обсудим, что нам следует предпринять в ближайшем будущем!

– Да? Это радует меня. Только выйдет ли что-нибудь из вашего совещания? Ведь я уже давно наблюдаю за вами. Вы никогда не совещаетесь, не договариваетесь, а лишь... стараетесь подзадорить друг друга: ну-ка, ты вот рискни, а я посмотрю, что из этого выйдет!

– Зоя, что ты говоришь! – рассерженно воскликнул Барэр.

– Правду, Бертран, чистую правду, которая, конечно, не всегда бывает приятна. Но что нам спорить? Подождем, и как рада буду я, если окажусь неправой!

Но она оказалась права, эта мужественная, решительная, смелая девушка! Вскоре один за другим в дом стали собираться приглашенные, и когда Барэр открыл совещание, сразу выяснилось, что Зоя совершенно точно и верно определила характерную манеру всей этой компании. Все соглашались, что положение дошло до границ напряженности, что

жить долее в этой обстановке невыносимо; все единогласно утверждали, что корень зла – в Робеспьере, что, устранив Максимилиана, они все будут в состоянии передохнуть. Но как только дело доходило до вопроса, каким образом вырвать этот «корень зла», тут наступал момент замешательства.

Только двое – Лекуантер и Тальен – выделялись из всей массы этих осторожных и нерешительных людей. Но Лекуантер говорил о решимости убить диктатора (Лекуантер и Тирьон предполагали убить Робеспьера у подножия трибуны.), что было крайне опасным разрешением вопроса. Ведь не сама по себе тщедушная фигурка Робеспьера, а, так сказать, «идея робеспьеризма» создала опасность положения. Героическая смерть диктатора от ножа убийцы могла лишь вознести эту идею. Робеспьер должен был погибнуть как преступник.

Это как раз и ответил Тальен в горячей речи; но и он не мог указать путь, которым следовало привести Робеспьера на скамью подсудимых. Конечно, объединись сейчас все недовольные, и конвент завтра декретировал бы предание диктатора суду. Но за Робеспьера стояла парижская коммуна, пушки генерала Анрио внушали робкое почтение, и никто не хотел первым совать голову в петлю.

Фушэ был особенно разочарован этим собранием, на которое возлагал большие надежды. Нож гильотины уже нависал над шеей расстриги. Робеспьер был отлично осведомлен

об истинной роли Фушэ, которому теперь пришлось сбросить маску и действовать открыто. Конечно, это не значило, что Фушэ отказался от подпольной интриги. Нет, ведь это было его сферой, и мы уже видели из истории с обожествлением Робеспьера, что он по-прежнему пользовался каждым случаем оплести диктатора новым слоем паутины. Но помимо этой тайной роли, Фушэ стал теперь открыто порицать усиление террористических мер, открыто осуждать политику диктатора, и ему было отлично известно, что в тайные проскрипционные списки уже было занесено его имя. Правда, черед Фушэ был дальний: на первом плане значились те, кто казались Робеспьеру более опасными своим влиянием на народ. Но как знать, решатся ли заговорщики выступить против диктатора вовремя? Фушэ рассчитывал, что результатом этого собрания явится планомерный заговор, а на самом деле заговорщики установили лишь известного рода соглашение воспользоваться обстоятельствами, если наступит благоприятный момент. А вдруг этот благоприятный момент наступит тогда, когда голова Фушэ будет уже лежать в корзине близ гильотины?

Все эти мысли тревожили Фушэ, когда он вышел от Барэра вместе с Бурдоном. Фушэ с досадой думал, что почти все «доски для гроба Робеспьера» выстроганы им самим или при его ближайшем соучастии, и можно было с ума сойти от бешенства при мысли, что этот «гроб» пригодится тогда, когда он, Фушэ, будет лишен возможности воспользоваться

одержанной победой!

Но почему же не удается дать последний толчок так хорошо задуманному делу, чем объясняется эта нерешительность? Только ли боязнью пушек Анрио? Но разве гильотина Робеспьера милостивее? И почему Тальен, бывший прежде сдержаннее всех в этой компании, вдруг проявил такое воодушевление и энергию?

Фушэ высказал свое удивление вслух:

– А Тальен-то, Тальен каков, а? И откуда у него только прыть взялась, просто не пойму!

Бурдон насмешливо улыбнулся и ответил:

– Разве ты не знаешь, что невеста Тальена с начала пре-риала сидит в тюрьме? Тальен с ума сходит при мысли, что она вот-вот попадет в ближайшую фурнэ!

Фушэ даже остановился на мгновенье при этих словах. Какая простая, очевидно ясная мысль, и к каким блестящим выводам приводит она! Ну, конечно, личный мотив – вот что может побороть нерешительность, вот что прогонит страх перед коммуной и ее пушками! Насмешливо поглядывая на Бурдона, опять погрузившегося в мечтательную задумчивость, и вспоминая пламенный поцелуй Зозо при прощании с женихом, Фушэ подумал:

«Погоди, милый мой, когда наступит нужный момент, вы с Барэром получите от меня подарок, который прибавит вам прыти а-ля Тальен!»

«Завтра, возвращаясь к своим трудам, мы с удвоенной энергией станем разить врагов отечества!» – сказал Робеспьер, прощаясь с товарищами после празднества в честь Высшего Существа, и уже на следующий день Париж должен был познать всю весомость этих слов.

Действительно, на следующий день Кутон внес на рассмотрение конвента новый закон, окончательно отдававший Францию в руки Робеспьера и его ближайших помощников – Кутона и Сен-Жюста.

Этот закон («закон 22 прериала») предписывал каждому гражданину доносить на заговорщиков и арестовывать их без всяких доказательств или формальностей, на основании одного внутреннего убеждения, которое и для судьбы также должно было быть решающим элементом в вынесении приговора. Впрочем, что касалось этого приговора, то большого выбора судьбе не было предоставлено: смертная казнь была единственным наказанием, полагавшимся по этому закону. Мотивируя необходимость введения этого закона, Кутон между прочим обмолвился следующим афоризмом: «Единственный срок для наказания врагов отечества – время их поисков; впрочем, дело идет вовсе не об их наказании, а об их уничтожении».

Но кто же – эти «враги отечества»? Кутон дал исчерпывающую характеристику им. Враги отечества – не только те, кто вступает в заговор с иностранцами, но в большей степени те, кто старается испортить нравы и развратить обществен-

ную совесть.

«Те, кто старается испортить нравы». Кого только нельзя было подвести под это определение! А ведь по новому закону предание суду происходило непосредственно по воле комитета общественного спасения.

Конвенционелы сразу поняли опасность, грозившую всем и каждому в случае принятия этого закона. Бурдон внес поправку, гласившую, что право предания суду депутатов принадлежало одному только конвенту. Но на следующий день на заседание явился сам Робеспьер, чтобы отстаивать чистоту внесенного им закона. Сказав в своей речи, что поправка явилась плодом партийной тактики, он грозно воскликнул:

– В конвенте могут существовать только две партии: партия добрых и партия дурных граждан!

Иначе говоря: всякий, восставший против законодательных предложений диктатора, уже тем самым относился им к врагам отечества, а следовательно... заслуживал гильотины!

И снова мрачная логика Робеспьера произвела свое действие. Депутаты поспешили засвидетельствовать чистоту намерений, а Бурдон, принявший слова Робеспьера за выпад лично против него, имел неосторожность воскликнуть:

– Я – не злодей!

Робеспьер мрачно и пытливо уставился на Бурдона, не отвечая ни слова, и под этим взглядом неосторожный депутат побледнел, съежился, даже стал меньше ростом. Наконец послышался ответ Робеспьера, и каждая нотка его холодного,

скрипучего голоса наполняла сердца конвенционелов страхом и ужасом смерти.

– Я не называл имен, – гласил этот ответ, – горе тому, кто сам называет себя!

Этим был достигнут полный эффект. Конвент поспешил покаяться, закон «22 прериала» был восстановлен в первоначальном виде.

Теперь Робеспьер достиг полного всемогущества. Все трепетало перед ним, все покорно склонялось. Одним мановением руки он мог послать на смерть сотни и тысячи людей любого пола, возраста, сословия, положения, заслуг. Настало время открыть свои карты.

Ведь террор как система был не нов. Все выдающиеся государственные люди пользовались всеми мерами и способами, не брезговали ни тюрьмой, ни ядом, ни кинжалом, не находили никакой низкой интриги слишком грязной, если дело касалось расчищения их пути к власти. Но, достигая это власти, они открывали свои карты, предъявляли свой тайный план, так как террористические методы были лишь средством, а целью было осуществление этого взлелеянного в тайниках души плана. Таков был, например, Ришелье. Его путь к власти был усеян трупами; но, когда его власть оказалась обеспеченной, он стал планомерно и стройно проводить свой план возвеличения Франции. И эта страна получила благодаря ему финансы, армию и законы.

Но у Робеспьера не было никакого плана, никакой госу-

дарственной мечты. Фанатик, мечтатель и моралист, он отвлеченно мечтал о водворении и утверждении «царства добрых», не зная иной практической меры для этого, кроме истребления «злых». Таким образом, террор был для него и средством, и целью, террором исчерпывалась вся его государственная мудрость, вся административная логика. И став всемогущим, Робеспьер проявил свой государственный ум в том, что удвоил число казнимых!

Только теперь его поняли окончательно, только теперь увидели его в настоящем, истинном свете, осознали, что на этом пути Робеспьер не может остановиться. Ведь он не стремился ни к каким реформам, а следовательно, не могло наступить такое время, когда он сказал бы: «Теперь довольно!»

Ужас и отчаяние объяли всех, но на открытое выступление все еще никто не решался.

И вот тогда-то обратились к той тайной политике, которую уже давно проповедовал и вел Фушэ. Надо было с чрезмерной, преувеличенной яркостью выставить всю нелепость робеспьерова строя, надо было окончательно скомпрометировать самого Робеспьера в глазах народа, чтобы к моменту нападения диктатор не мог опереться на массы. И вот враждебные Робеспьеру члены комитета общественного спасения стали усиливать террор, хватая и казня кого попало именем Робеспьера.

Настали ужасные времена; во все существование респуб-

лики не было периода, более страшного и более нелепого. В страшные сентябрьские дни, когда народ ворвался в тюрьмы, тоже было перебито немало, но все пострадавшие тогда принадлежали к числу лиц привилегированного сословия, с которым у народа были старые суровые счеты, тут была хоть какая-нибудь логика. А теперь три четверти, если только не больше, казнимых принадлежали к самой отчаянной гольтебе: меч республики обратился против того самого народа, именем которого он действовал и благом которого прикрывался!

Да, конец июня и весь июль казались каким-то страшным кошмаром. Пришлось открыть новые кладбища, палачи заболели от переутомления. Несколько десятков почтенных депутатов не ночевало дома из боязни ареста и казни. Крикунов хватали на улицах и отправляли на казнь за их беспокойное поведение; тех же, кто забивался в свой уголок и молчал, арестовывали и казнили за то, что, притаившись, они могли замысливать преступление. Никто уже ничего не замыслил, так как в страхе за жизнь всякая мысль замирала. Зато все нечистое, все мерзкое и злодейское подняло голову. Закон 22 прериаля вменял каждому в обязанность доносить, основываясь лишь на одном предположении, без каких-либо фактических доказательств. Жены, жаждавшие избавиться от нелюбимых мужей, сыновья, торопившиеся поскорее вступить в наследство после богатого отца, соперник, не знавший ранее, как устранить соперника, прислуга, ули-

ченная хозяевами в воровстве, вот тот элемент, который в первую голову спешил использовать этот закон.

Париж стал приходить в полное отчаяние, отчаяние породило нечто вроде храбрости. Все чаще и чаще стали возникать вспышки народного недовольства. Гильотину пришлось убрать с площади Революции и перенести в другое место. Каждый день можно было ждать страшного бунта. Фушэ только на этом и строил свое спасение. Но толчок должен был быть дан из самого конвента, а большая часть его оставалась нейтральной.

Мы должны напомнить теперь читателю то, что мы говорили относительно распределения партий в конвенте. Центр занимала так называемая «равнина» (или «болото»). Ее политикой было гнуть спины и соглашаться с сильнейшим. С помощью «равнины» Робеспьер устранил Дантона, с ее помощью он держал всех в замороженном трепете, и только с помощью «равнины» же можно было свалить Робеспьера!

Шли дни, кровавый пир все увеличивал бесстыдство своего разгула, ужас все шире и дальше простирал свои когтистые лапы. Террор начинал парить уже над головами Барэра и его приятелей. А они все еще колебались и надеялись, что какая-нибудь случайность избавит их от риска выступить первыми. Но наконец настал момент, когда даже трусы вынуждены были проявить храбрость!

Робеспьер уже видел, что он зарвался, чувствовал, что остановиться необходимо, но не знал, как это сделать. Колес-

ница Джагернаута (Воплощение индийского божества Вишну. Идол Джагернаута вывозится на праздник на специальной, очень тяжелой колеснице, под которую из религиозного фанатизма бросаются богомольцы, гибнущие под колесами.), которую он все время толкал, теперь увлекала вперед его самого, увлекала... к пропасти!

Наступили первые дни термидора – двадцатые числа июля. Робеспьер, долгое время не появлявшийся ни в конвенте, ни в комитетах и руководивший всеми делами из недр якобинского клуба, решил нанести последний удар своим врагам. Выступив на ближайшем заседании конвента, он потребовал очищения состава комитетов. В этой речи он совершенно ясно напал на крайнюю левую и сделал попытку добиться симпатий равнины и даже «фельянов» (тайных монархистов). Это было видно из следующей фразы. Опять повторив, что он не знает иных партий, кроме партии добрых и дурных граждан, Робеспьер воскликнул:

– Патриотизм – дело личного чувства, а не партийности. Где бы мы ни встретили честного человека, на каком бы месте он ни сидел, следует протянуть ему руку и прижать его к своему сердцу.

Уже в этом заключалась прямая угроза: Робеспьер отчетливо давал понять, что патриотизм монтаньяров не может спасти их от казни. В конце речи этот намек был подчеркнут еще яснее. Коснувшись некоторых религиозных вопросов, Робеспьер сказал между прочим:

– Нет, Шомет, нет, Фушэ, смерть – вовсе не вечный сон!..

Но ведь Шомет уже давно погиб под гильотиной, и Фушэ усмотрел в этом сопоставлении явное доказательство, что теперь черед дошел и до него самого. А умирать он не хотел, о, нет! И Фушэ увидел, что настал момент, когда надо «спустить курок».

Нерешительность конвенционелов в значительной степени зависела от Барэра и Бурдона. В особенности был важен последний, как имевший вес и значение среди «равнины». И вот вечером Робеспьер получил анонимный донос, обвинявший Зою Барэр в агитации против его диктатуры.

Через час Зоя была арестована и отведена в тюрьму, через два – у Барэра собрались созванные им конвенционелы, чтобы столкнуться и решиться на что-нибудь. Явившийся на это собрание Фушэ представил добытый им неведомыми путями клочок бумаги, на котором рукой Робеспьера был записан ряд имен. Не было сомнений в том, что это – проскрипционный список. Большинство присутствующих увидело в списке свои имена. Теперь трусить долее значило подставлять голову под нож гильотины. Враги Робеспьера набрались наконец решимости!

Глава 17

Наступил решительный день восьмого термидора. Еще накануне конвент робким, послушным молчанием встретил заявление Кутона, что необходимо напечатать речь Робеспьера и разослать оттиски во все провинциальные коммуны. Каково же было удивление Робеспьера, когда теперь это предложение вызвало бурю протестов, а Билло Варен категорически потребовал, чтобы текст речи был предварительно отдан на рассмотрение тех комитетов, которых в этой речи Робеспьер обвинял в разных преступлениях.

– Как? – с негодованием воскликнул Робеспьер. – Вы хотите отдать мою речь на рассмотрение тех самых людей, которых я обвиняю?

– Назовите тех, кого вы обвиняете! Да, да, назовите их! – слышались энергичные голоса.

Робеспьер изумленными глазами обвел волновавшихся конвенционелов, и вдруг невольное смущение охватило его. Ему показалось, что когда-то он уже испытал все это, что эта картина уже знакома ему... Когда? Да, да... этот сон... волки.

Подчиняясь овладевшему им приступу слабости, Робеспьер невольно закрыл рукой глаза... И в первый раз за всю его деятельность ему пришлось услышать, как конвент вотировал против его желаний: в согласии напечатать речь было

отказано!

Полное отчаянье овладело Робеспьером. Он упал в бессилии на скамью и прошептал:

– Это – моя гибель!

Он тут же оправился, встал и вновь попытался овладеть положением. Но теперь самые робкие подняли головы. Робеспьер, способный потерять присутствие духа в самый рискованный момент, был уже никому не страшен. Диктаторский престиж Робеспьера был подломлен... Да, это была его гибель; как и в вещем сне, минута смущения погубила Робеспьера!..

Но он все еще не хотел сдаваться. В тот же вечер он прочел свою речь в якобинском клубе, где она была встречена криками восторга. Робеспьер ободрился. Он заперся с Сен-Жюстом и Кутоном и проработал с ними почти всю ночь.

На следующий день зал заседаний конвента представлял собою давно уже невиданное зрелище. Задолго до полудня туда стали собираться депутаты, в последние месяцы избегавшие посещения общих собраний. К началу заседания зал был полон!

Первым на трибуну вышел Сен-Жюст. Стараясь запугать депутатов грозными взглядами, он произнес речь, содержанием которой было обвинение половины членов конвента в заговоре против революционного правительства. Но ему не дали договорить до конца, его заставили покинуть трибуну, и тогда его место занял Тальен, осмелившийся в страстной

речи прямо и открыто напасть на Робеспьера.

– Да, – сказал Тальен, воодушевленный мыслью теперь или никогда спасти свою невесту, – заговор действительно существует, но заговорщики – якобинцы, и главный предатель – Робеспьер. Пора наконец заговорить открыто! Этот человек связал всю волю народного конвента... Граждане! Вчера, присутствуя на заседании якобинцев, где подготавливался возмутительнейший переворот с целью окончательно подавить народную волю, я решил вооружиться кинжалом и проколоть грудь Робеспьеру, если у конвента не хватит храбрости декретировать предание его суду!

Конвент аплодисментами встретил эту речь.

Наконец и Робеспьеру удается занять трибуну. Однако его никто не хочет слушать, его слова заглушаются криками «долой тирана!» В смущении, обращаясь к «равнине», он говорит:

– Я говорю не с разбойниками, – жест в сторону монтаньяров, – а с вами, честные люди!

Но тут происходит нечто совершенно неожиданное: робкая, молчаливая, послушная «равнина» раздражается оглушительным криком:

– Долой тирана!

Ведь среди «равнины» – Бурдон, а ему надо спасти свою невесту, свою Зозо.

Робеспьер смущен, окончательно подавлен.

– Как? – восклицает он в последнем приливе энергии. –

Вы...

Но тут его голос прерывается: волнение душит его.

А со скамеек депутатов несется звонкий, отчетливый голос:

– Это кровь Дантона душит тебя, Робеспьер.

Ответом на этот возглас является единодушный рев всего зала:

– Арестовать! Арестовать!

Тут же вопрос о предании суду ставится на голосование и принимается единогласно. И снова многоголосое чудовище ревет:

– Обвиняемые... к решетке!

Робеспьер поникает головой и идет к решетке. О сопротивлении он не думает. Он мог бы поднять народ, коммуны. Но это было бы мятежом против законной власти конвента. Робеспьер остается добродетельным до конца: он мог направлять власть, но сопротивляться ей он не станет!

Да, день девятого термидора был чудным заключительным аккордом в жизни Робеспьера, последним штрихом, окончательно обрисовавшим его личность. Робеспьер не был дурным человеком, он только взялся не за свое дело, искренно думая в то же время, что призван к этому делу!

Робеспьера отвели в Люксембургскую тюрьму, но смотритель отказался принять арестанта без приказа от коммуны. Среди арестовавших произошло весьма понятное смущение, но тут положением овладел Робеспьер. Приказ об аресте дан

конвентом, конвент – олицетворение народа, воля народа должна быть исполнена. Робеспьер указал, что надо с ним сделать: пусть его отведут в полицейское управление на набережной Орфевр.

Чтобы дорисовать поведение Робеспьера в этот день, забежим несколько вперед. Под вечер в полицейское управление явились делегаты коммуны, чтобы освободить Робеспьера. Но он отказался последовать за ними; когда же его увели силой, он протестовал со всей энергией, повторяя;

– Вы губите республику!

Но его все-таки отвели в здание ратуши, где уже находились его брат Огюстен, Леба, Кутон и Сен-Жюст. Здесь и разыгралась страшная сцена, последняя в этом заключительном акте трагедии.

Тем временем две женщины, словно парки, работали над участью Робеспьера. Одна страстно напрягала все свои силы, чтобы удлинить нить его жизни, другая делала все, что могла, чтобы прервать эту нить.

Как только Робеспьер был призван «к решетке», по рабочим кварталам, рынкам и площадям понеслась Аделаида Гюс. Растрепанная, с развевающимися, спутанными волосами, одетая в какие-то лохмотья, сверкая глазами, она везде возвещала об аресте Робеспьера. Это известие принималось в общем довольно спокойно и скорее радостно. Конечно, из любопытства люди осведомлялись, как же это могло

случиться, и тогда Адель отвечала, что Робеспьер изобличен в страшном заговоре против республики. Только теперь выяснилось, что он был тайным монархистом. Вот потому-то он и неистовствовал так в казнях, чтобы под видом мятежников истребить всех якобинцев и обеспечить возвращение на трон Бурбонов. Теперь Робеспьер окончательно изобличен: у него нашли компрометирующую переписку и печать с лилиями!

Известие о мнимой измене Робеспьера было встречено довольно равнодушно. Народ был так терроризирован, так угнетен ужасами последних дней, что ему было совершенно безразлично, какую форму правления ему навяжут. Поэтому обычно единственным ответом на объяснения Адели был облегченный вздох и слова:

– Ну, слава Богу! Теперь конец гильотине!

Таким образом, со стороны простонародья нечего было ждать заступничества за Робеспьера. Предместья, где жили более зажиточные классы, тоже оставались совершенно спокойными, так как среди них было много дантонистов и геберистов. Поэтому лишь со стороны коммуны и подчиненных ей войск национальной гвардии можно было ожидать некоторой опасности.

Но коммуна, собравшись при известии о падении Робеспьера, на первых порах выказала нерешительность. Воспротивиться конвенту? Гм... это было не так уж просто!

Но тут на сцену выступила другая женщина – Тереза Дю-

плэ. Ворвавшись в зал заседания коммуны, она в пламенной речи пристыдила малодушие коммунаров и с восторгом услышала, что ее слова произвели свое действие: начальнику национальной гвардии Анрио, тому самому, который однажды уже разогнал пушками конвент, отдается приказ двинуться на освобождение Робеспьера!

Но и Адель не дремлет.

И тут наступает фантазмагория судорожной решительности. Анрио объезжает улицы, призывая к оружию; но конвент, извещенный об этом, посылает жандармов; те связывают генерала и увозят в комитет общественной безопасности. Видя это, Тереза бежит в коммуну, снова молит, грозит и проклинает, и коммуна командирует Кофиналя освободить Анрио, что тот и делает.

Вскоре Анрио с канонирами и гвардейцами уже стоит перед зданием конвента, готовый разгромить пушечными выстрелами гнездо народного представительства. Но среди солдат ужом вьется Адель. Она хохочет, иронизирует, дразнит, ругается... Как? Солдаты хотят выступить против конвента? Да разве конвент – не народ? Разве сами они, гвардейцы, – не народ? Что же, в самих себя станут они стрелять, что ли? Да и что им надо? Разве их начальник не освобожден? Разве генерал Анрио не с ними?

Среди солдат смущение. Как же это так? А ведь и в самом деле, чего им надо? Да здравствует генерал Анрио! Но к чему трогать конвент? Говорят, что депутаты решили не рас-

ходиться с заседания, пока не вынесут всех необходимых решений, чтобы урегулировать положение. И в них стрелять?

Солдаты смущены, солдаты в нерешительности. Анрио приказывает, грозит, ругается. Солдаты отвечают ему заздравными криками, но с места не двигаются. Тогда Анрио отправляется в коммуну за приказаниями.

Опасный момент, нельзя терять ни минуты! Если Анрио вернется с официальным приказом от коммуны, солдаты могут и послушаться. Все пропало тогда! Опираясь на военную силу, Робеспьер вернется к власти, и тогда... тогда...

Вне себя Адель летит к Фушэ с докладом. Фушэ вполне разделяет ее тревогу и волнение. Собирается небольшая кучка конвенционелов. Решение выносится быстро: пусть вооруженные жандармы проникнут в ратушу и захватят Робеспьера... живым или мертвым. Остальная часть инструкции дается шепотом на ухо жандарму Мерда, которому поручается командование отрядом. В то же время Баррас от имени конвента уже формирует воинские силы, способные дать отпор войскам коммуны. Лишь бы только не упустить Робеспьера!

Жандармы идут к ратуше; Адель, вся застывшая в радостном предвкушении гибели своего врага, идет за ними.

Вот и ратуша. Грозное молчание царит вокруг нее. С одной стороны уже придвинулись канониры Анрио, ждущие начальника и его распоряжений, с другой – собираются отряды, организованные Баррасом. Все молчат, все ждут.

Жандармы с Аделью кое-как пробираются к самой ратуше. Дверь в зал заседаний заперта изнутри, ее взламывают. Взяв пистолеты на прицел, Мерда входит туда со своими людьми и Аделью.

Максимилиан Робеспьер сидит в кресле, тяжело задумавшись и подперев голову левой рукой. Робеспьер-младший и Леба стоят у окна. Кутон и Сен-Жюст тихо переговариваются в другом углу. Видно, что они смущены, не знают, на что решиться. Да и как решиться, если в ответ на все их призывы Робеспьер неизменно отвечает:

– Вы настаиваете, что надо употребить силу? Но чьим же именем употребим мы ее?

Да, он до конца верен себе, и даже теперь, когда в сознании близкого конца, задумавшись, припоминает всю свою жизнь, у него ни на секунду не мелькает сожаления о своей деятельности.

Шум шагов жандармов пробуждает Робеспьера от его дум. Он тяжело приподнимает веки и смотрит на Мерда угрюмым, свинцовым взглядом. Мерда твердо знает свою инструкцию, но под этим взглядом его рука дрожит и опускается. Как выстрелить в этого человека? Да ведь это сам Робеспьер!..

А со двора уже слышатся взволнованный голос Кофиналя и рассерженные реплики Анрио. Они идут сюда, сейчас будут здесь, тогда все погибнет! И Адель смелым движением выхватывает у Мерда пистолет и спускает курок. Раздается

выстрел, Робеспьер вскрикивает и тяжело съезжает в сторону: пуля раздробила ему челюсть.

При виде этого Кутон делает несколько шагов вперед. Тогда другой жандарм стреляет в него. Кутон падает раненный в ногу.

Тут начинается что-то невообразимое. Полная паника, полная растерянность... кошмар, фантазмагория!

Огюстен Робеспьер выбрасывается из окна. Леба выхватывает пистолет и простреливает себе голову. Тут врываются Анрио и Кофиналь. Они видят истекающего кровью Робеспьера.

– А, это все ты, негодяй! – кричит Кофиналь, рассерженный нераспорядительностью Анрио, не позаботившегося поставить достаточную охрану у ратуши.

И в полном отчаянии, бешенстве, почти безумии от вида окровавленного Робеспьера, Кофиналь хватается Анрио поперек тела и выбрасывает из окна туда, где уже лежит искалеченный Огюстен.

А Адель тем временем змеей подползает к Робеспьеру. Она наклоняется к нему, смотрит ему в погасающие глаза и внятно шепчет: «Это тебе за Крюшо, за Крюшо, за Крюшо», – и троекратно плюет в окровавленное лицо павшего диктатора.

Максимилиана Робеспьера сейчас же перенесли в комитет общественной безопасности, где его и оставили до утра без

всякой медицинской помощи. Только утром к нему прислали доктора перевязать рану, под влиянием мысли, что иначе Робеспьер, пожалуй, не сможет предстать перед судом.

Суд был краток: сам Робеспьер упростил его процедуру. Десятого термидора – 28 июля 1794 года – его повели на казнь. Тяжек был его путь до эшафота: народ, выстроившийся шпалерами по пути прохождения кортежа осужденных, осыпал его руганью и насмешливо титуловал: «Король!» и «Ваше величество!».

Поднявшись на эшафот, Робеспьер грустно оглянулся. Говорить он не мог. Но жест, с которым он поднял руки, был красноречивее слов:

– Будь благословенна ты, Франция!

В то время как нож гильотины с глухим стуком отделял его голову, две женщины – две парки – более всех зрителей, более всего Парижа, более всей Франции реагировали на эту смерть. Одна тут же, на площади, в диком, разнузданном танце выражала свой восторг, другая в истерических рыданиях билась на полу в своей комнате.

Никогда не оправилась Тереза Дюплэ от этого страшного удара.

Часть 6. На обломках трона

Глава 1

При Робеспьере, особенно в последние месяцы его «царствования», террор дошел до апогея безумия. С падением Робеспьера террор пошел на убыль. Но обстоятельства сложились так, что лишь террором поддерживался дух республики.

Если разобраться строго в исторических фактах, уже при Робеспьере от республики не оставалось и следа: была навязанная народу диктатура. Но форма правления данного народа всегда определяется степенью его готовности для восприятия более совершенной формы. Если эта «степень восприятия» невелика, нечего ждать быстрого перехода к более совершенной форме. Революция 1791 года была вызвана, главным образом, экономическими причинами, но общая толща народа еще не могла усвоить себе истинные задачи народоправия. Вот почему первая республика просуществовала так недолго: у нее не было корней в народном сознании. Что же удивительного, если так быстро оправдалось пророчество гениальнейшего политического проходимца Фушэ: «Сам не сознавая этого, Робеспьер работает для другого, неведомого, того, который еще должен прийти».

Действительно Робеспьер подготовил Францию к диктатуре, которая впоследствии превратилась в империю. Вся послеробеспьеровская эпоха является логическим переходом к наполеоновщине. При Робеспьере диктатура оставалась еще в области идеи, она была непосредственно связана с самой личностью Робеспьера, но не формулировалась определенным законом. Номинально правил народ, только фактически власть сосредоточивалась в одних руках. А с падением Робеспьера диктатура стала занимать все более равное место в законе об управлении, пока не вылилась в прежнюю форму единодержавия, при котором народоправию уже не отводилось никакого места даже номинально. «Неведомый», который, должен был прийти и для которого бессознательно работал Робеспьер, лишая республику ее жизненных соков, оказался еще большим деспотом, чем, пожалуй, прежние французские короли.

Этим «неведомым» был Наполеон Бонапарт. Наполеон, родившийся в 1769 году, происходил из патрицианской корсиканской семьи. Он выделился впервые при взятии Тулона (1793 г.), состоя в чине капитана артиллерии. В первой итальянской кампании (1794 г.) он уже участвовал в чине бригадного генерала. Но хотя ему было в то время всего лишь двадцать пять лет, в этой быстрой карьере отнюдь нельзя усматривать раннее признание его таланта. Республика нуждалась в образованных офицерах, офицеры-роялисты или эмигрировали, или были казнены, и их же участь раздели-

ли многие республикански настроенные военачальники, со стороны которых правительство Робеспьера могло опасаться военной диктатуры. Вот почему всякий мало-мальски способный офицер делал быструю карьеру. Но многие из тех, которые впоследствии служили в первой империи маршалами, в это время были несравненно более на виду, чем Бонапарт.

После падения Робеспьера и в краткое время господства термидорийцев Бонапарт оказался в немилости. Между тем он вообще не занимался политикой. Он уже питал великие планы, но ничем не выказывал их. В душе он относился совершенно равнодушно даже к республиканской свободе. Правда, великий краснбай и любитель громким словом поднять дух солдат, Наполеон пользовался эффектными разглагольствованиями о свободе и республике, чтобы создать для армии яркий боевой стимул. Но это был прием искусного военачальника, а не крик души искреннего республиканца.

Итак, Наполеон оказался в немилости. Оставалось лишь ждать когда придет его час. Этот час пробил 13 вандемьера (октября) 1795 года, когда понадобилась беспринципность молодого генерала для спасения директории.

Погубив Робеспьера, термидорийцы отправили на эшафот всех его единомышленников и клеветов. Погиб и Фуке Тенвиль, обвинитель революционного трибунала, обвинявший сначала врагов Робеспьера, а потом и его само-

го. Последнее не спасло Тенвиля, ему пришлось разделить участь павшего диктатора.

Но вскоре пришел черед и термидорийцев. Они недолго оставались у власти, в конвенте стал наблюдаться резкий поворот к умеренности политических воззрений.

Тем временем роялисты воспользовались общей политической неурядицей и подняли голову. Народные волнения следовали одно за другим. Толпы черни являлись к зданию конвента и требовали «хлеба и конституции». Читатели помнят из романа «Кровавый пир», что Робеспьер с друзьями непрерывно оттягивали срок введения конституции в действие. То же самое продолжалось и теперь, и когда 22 августа 1795 года конвент обнародовал вступление в силу конституционных гарантий, то оказалось, что это – уже не прежняя, а совершенно видоизмененная конституция.

По конституции 1795 года власть вручалась директории, состоявшей из пяти директоров. Каждый из директоров в течение пяти месяцев именовался президентом. Законодательная власть была распределена между советом молодых, так называемым «советом пятисот» (по числу членов), который составлял законы, и «советом старейшин» (из 250 членов), который мог отвергать эти законы, если находил их противными духу конституции.

Таким образом, в директории уже сказался явный переход к узаконенной диктатуре: число лиц, правивших государственным рулем, сокращалось до пяти.

В обнаружении конституции роялисты усмотрели серьезную опасность: если народ освоится с этой новой формой правления, его будет трудно поднять на восстановление прежней. И вот роялисты в вандемьере (октябре) 1795 года подняли восстание. Против сорока тысяч восставших конвент мог противопоставить всего каких-нибудь две тысячи. Были спешно вытребованы войска из саблонского лагеря, депутатам были розданы ружья.

С самого начала в обращении с повстанцами-роялистами не было проявлено надлежащей твердости. Генерала Мону, назначенного главнокомандующим войсками конвента, пришлось сейчас же сменить из-за подозрительной снисходительности к роялистам. Но и заменивший его Баррас повел себя настолько нерешительно, что мятежники осмелились в самой дерзкой форме поставить ультиматум конвенту, и этот ультиматум стали даже обсуждать. Вдруг прения по этому поводу были прерваны грохотом пушек. Оказалось, что генерал Бонапарт, которому было поручено занять улицу Сент-Онорэ, самым спокойным образом принялся аргументировать картечью. Роялисты обратились в бегство, оставив на месте сотни убитых. Мятеж был ликвидирован.

Теперь правительство принялось за государственное строительство. Душой директории стал Баррас, заведовавший полицией и внешним представительством. Хотя военными делами заведовал Карно, но благодаря Баррасу Бонапарт получил ответственное назначение на пост гене-

рала-главнокомандующего итальянской армии, терпевшей неудачи под командой генерала Шерера. Большую роль в этом назначении сыграла Жозефина Богарнэ.

Жозефина была вдовой генерала Богарнэ, казненного в 1794 году. Креолка родом, до крайности пустая, легкомысленная, некрасивая, но крайне привлекательная, способная кружить головы, Жозефина играла большую роль в веселящемся обществе того времени. Ее любовники насчитывались десятками. Среди них был и Баррас.

После «блестящего» усмирения мятежников на улице Сент-Онорэ генерал Бонапарт стал героем парижского общества. Дамы заинтересовались двадцатилетним «героем», до крайности неловким в обществе, серьезным и неумелым в обращении с женщинами; В числе их была и тридцатидвухлетняя Жозефина. Она стала кокетничать с Бонапартом и сумела быстро влюбить его в себя. Однако тут же испугалась. Бонапарт оказался таким неистовым, таким бурно-пламенным, каким она не рассчитывала встретить его под внешней корой ледяного равнодушия, которой обычно было облечено все существо серьезного генерала. Жозефина пыталась отделаться от неудобного поклонника, но при настойчивости Бонапарта это было нелегко сделать. Не обращая внимания на разницу в возрасте, на легкомысленную репутацию молодой женщины, Бонапарт сделал ей предложение. После некоторой борьбы Жозефина приняла это предложение. Она обратилась к старому другу Баррасу с просьбой дать ход Бо-

напарту, так как вовсе не желала быть женой какого-то «полицеймейстера», которого используют только для усмирения взбунтовавшейся черни. Так в 1796 году состоялось назначение Бонапарта в итальянскую армию.

Бонапарт бурей пронесся по Италии, слава французского оружия была вознесена до небывалых высот. В Париж Наполеон вернулся уже признанным героем.

Теперь Наполеон Бонапарт задумал решительный ход, сказавшийся в египетском походе. Вот как он объясняет свои мотивы в «Воспоминаниях», которые вел на острове Святой Елены и в которых всегда говорил о себе в третьем лице: «Чтобы Бонапарт стал хозяином Франции, директория должна была потерпеть неудачи в его отсутствие, а с его возвращением и победа должна была вернуться к французским знаменам». Действительно, в то время как Бонапарт победоносно (и совершенно бесполезно, к слову сказать) пронес французское знамя по Египту, во Франции дела приняли плохой оборот. Французская армия стала терпеть поражения, директория скомпрометировала себя в глазах народа неудачными законами, роялистское движение все усиливалось. Бонапарт счел момент удобным для совершения переворота. Он покинул армию и явился в Париж 18 брюмера (9 ноября) 1799 года. Бонапарт при барабанном бое, заглушавшем протесты, солдатскими штыками выгнал депутатов «совета пятисот» из зала заседания. Конституция была отменена, органом правительственной власти стало консульство из

трех лиц. Первым консулом, главой правительства, оказался, конечно, Бонапарт. Таким образом диктатура пяти членов в директории заменилась диктатурой консульства из трех членов. Вскоре Бонапарт заставил признать себя пожизненным первым консулом: теперь число «три» сократилось до «единицы»!

Став консулом, Бонапарт сразу показал себя во весь идейный рост. Достаточно упомянуть, что он восстановил рабовладельчество в колониях. И это делалось под прикрытием республиканского знамени, провозгласившего свободу главным и непогрешимым догматом грядущего строя!

Но о республике теперь говорить было уже нечего. Она кончилась совсем не 18 мая 1804 года, когда Бонапарт приказал провозгласить себя императором. Агонизировавшая под ударами робеспьеровской гильотины первая французская республика фактически скончалась под ударами штыков, которыми солдаты Бонапарта изгоняли из зала депутатов, а из Франции – конституцию и законность!

Дальнейшая судьба Наполеона, как императора, общеизвестна. Но она нас в данном случае и не интересует. Наше повествование относится к тому времени, когда на обломках королевского трона робко и смутно стал вырисовываться силуэт императорской короны. Побег новой формы единодержавия уже пробивались из-под развала старой. Все видели их, никто не придавал им значения. Но когда на вырубленной полянке мы видим тоненькие зеленые веточки, роб-

ко жмущиеся к угрюмым пням, разве мы отождествляем эти побеги со срубленными гигантами?

– Парижане удивительно напоминают мне мух осенью! – сказал Франсуа Жозеф Тальма, стоя у большого венецианского окна в директорском кабинете и любуясь видом пестро разодетой толпы, заполнившей улицу. – Вы обращали когда-нибудь внимание? Подует холодный ветер, и мухи безжизненно валяются, где попало. Но стоит только первому солнечному лучу обогреть их, как они уже снова жужжат, словно ничего и не было! Вы посмотрите только на эту массу народа! А что делается на главных улицах! В открытых кафе – ни одного свободного столика!

– Ну, это так понятно! – ответил директор «Комеди Франсэз». – После ужасающего сентября и невозможного начала октября небо вдруг подарило нас истинно летним днем, и нет ничего удивительного, если парижане устремились на воздух!

– Да нет, вы меня не поняли! – возразил Тальма. – Я имею в виду вовсе не капризы погоды и не сегодняшний день! Меня поражает, как быстро парижане забыли все ужасы недавнего прошлого. Три года отделяют нас от «сентябрьских убийств», меньше двух – от «эпохи фурнэ» и менее двух недель от событий «тринадцатого вандемьера». А ведь возьми тогда верх роялистские инсургенты, и «сентябрьские убийства» повторились бы снова, только в обратном направ-

лении. Страшно подумать! Но парижане и не хотят думать, не хотят вспоминать! Они весело жужжат, как ожившие мухи, сразу забыв о холодных ветрах и морозах. Недавно я был на завтраке у госпожи Гильом. К концу завтрака приехали две прославленные распутницы – Тереза Тальен и Жозефина Богарнэ. Зашел разговор о предстоящем вечере у Барраса в честь «генерала Вандемьера» (Так прозвали Бонапарта после его «мастерского» усмирения бунтовщиков тринадцатого вандемьера.), и обе трещотки начали наперерыв жаловаться, что с портнихами и сапожниками просто слада нет. Весь этот народ ужасно обнаглел, дерет страшные цены, ничего не делает вовремя, грубит – просто ужас! «Ну знаете, сударыни, – пошутил я, – прежде все-таки было хуже, когда эти сапожники и портные тащили нас на гильотину, если только не расправлялись собственноручно тут же, на улицах! Вот было ужасное время! Все мы сидели по своим углам, забаррикадивав двери и вздрагивая при малейшем шуме. Впрочем, вам все это хорошо известно, потому что, насколько помнится, вас обеих выручило из тюрьмы только падение Робеспьера!» Не успел я договорить, как обе дамы окинули меня взором гневного презрения, встали и ушли, сказав госпоже Гильом, что зайдут в более удобное время. А госпожа Гильом очень добродушно заметила мне: «Милый Тальма, хоть вы и – великий актер, но не надо забывать светские приличия! В Париже не принято теперь вспоминать об этих ужасах. Это – дурной тон». Как вам это понравится, а?

Вспоминать о том, что так болезненно коснулось всей Франции, – дурной тон!

Директор хотел что-то ответить, но в этот момент в кабинет вошел слуга с «листком для посетителей» на подносе. Директор взял в руки листок и громко прочел:

– Аделаида Гюс!

– Аделаида Гюс! – воскликнул Тальма, сейчас же забывая изменчивость парижан и равнодушие золотой молодежи к прошлому. – Знаменитая Адель! Господи, ведь о ней давно уже не было ничего слышно! Вы знаете, ведь я ее помню! Мне было лет девять или десять, когда меня однажды взяли в театр на парадный спектакль. Присутствовал какой-то иностранный принц, давали «Заиру». Потом говорили, что принц серьезно увлекся Аделью. И понятно! Какое редкое сочетание поразительной красоты и таланта! Просто не понимаю, где она могла быть все это время? О ней ничего не было слышно. Да ведь между тем, какое дарование и внешность...

– Милый Тальма, – перебил его директор, – это было лет двадцать пять тому назад?

– Да, около того.

– Но ведь Гюс не была тогда в начале своей карьеры.

– О, нет! Она была в полном расцвете лет, и за нею уже значился длинный ряд успехов на сцене и в жизни. Поэты слагали в ее честь оды, князья и принцы крови и капитала несли к ее ногам...

– Значит, ей было не менее двадцати лет тогда? – снова перебил его директор.

– Конечно, нет, даже больше! По-моему, ей было тогда никак не менее двадцати пяти или даже...

Тальма вдруг замолчал, заметив, с какой коварной улыбкой смотрел на него директор.

– Что же вы не продолжаете, милый Тальма? – сказал директор. – Значит, ей было не меньше двадцати пяти, если не больше. А было это около двадцати пяти лет тому назад? Ну, так немножко элементарной арифметики, и вы сразу найдете ответ на свое недоумение, почему талант и бывшая внешность не смогли помочь ей удержаться на подмостках до сих пор! Я уже проделал этот подсчет и потому два раза уклонялся от приема.

– Но теперь вы примете ее? – спросил Тальма, подхваченный жалостью к скатившейся звезде парусинового неба.

– К чему? – с оттенком грусти ответил директор вопросом на вопрос. – Вы знаете, что премьерши никогда не свикаются с мыслью о старости. А ведь Гюс пришла просить места. Что могу я предложить ей? Наша труппа в полном составе. Или, может быть, мне отпустить актрис и передать Гюс роли молодых девушек? Неужели вы думаете, что такая «бывшая величина», как Гюс, не примет за оскорбление, если я предложу ей второстепенные старушечьи роли?

– Но нельзя же отказывать просителю в приеме на основании одних только предположений! – взволнованно возра-

зил Тальма. – Откуда вы можете знать, что у Гюс непременно должны быть большие претензии? А, может быть, она терпит нищету, наголодалась и теперь будет рада какой-нибудь сотне ливров в месяц? Как бы полна ни была наша труппа, но бюджета «Комеди Франсэз» не отягчит лишняя сотня, в которой сцена не имеет права отказать «бывшей величине»! А, кроме того, почему вы решаете сразу, что для Гюс не найдется роли, кроме второстепенной? Вот мы с вами только что говорили о восстановлении некоторых шедевров классического репертуара. Скажите мне, пожалуйста, с кем вы поставите хотя бы «Аталию»?

– Уж не Аделаиде ли Гюс играть Аталию?

– А кто имеет на это больше прав и оснований?

– Но вашей Гюс пятьдесят лет!

– А сколько могло быть Аталлии, если она – бабушка взрослого внука? Нет, дорогой директор, восстанавливайте классические пьесы, но не классические ошибки! Я знаю, что прежде Аталию играли совсем молодой, но я уже не раз говорил вам, что немедленно отрясу прах от своих ног, если «Комеди» не отрешится от рутины, если в сценическое творчество не будет внесен более свежий, более естественный дух! Но, конечно, раз господин директор будет во всем исходить из предвзятого, непроверенного мнения, если...

– Но не волнуйтесь, дорогой Тальма! – ласково остановил директор расхोдившегося актера. – Вы знаете, я никогда не противоречу вам в ваших сценических реформах и начина-

ниях и вижу в вас великого обновителя французской сцены! Но в данном случае мы далеко ушли от непосредственной темы нашего спора. Вы хотите, чтобы я принял госпожу Гюс? Отлично! Жозеф, попросите эту даму войти!

Жозеф, с бесстрастным лицом слушавший этот спор, спокойно повернулся и возвратился в приемную. Но бесстрастие сразу слетело с его лица, когда он быстрым шепотом посвятил просительницу в суть разговора между директором и Тальма: Жозефу было хорошо заплачено за такое внимание.

При появлении Адели в кабинете Тальма с нескрываемым интересом впился взглядом в ее лицо, а директор невольно встал ей навстречу. Ведь эта женщина представляла собой целую блестящую страницу славного прошлого французского театра, ведь ее в ореоле славы видели подмостки прежней, истинной (Театр «Комеди Франсэз» был основан на улице Фоссэ-Сен-Жермэн. В предреволюционную эпоху среди артистов произошел раскол на почве разности политических взглядов. Часть труппы (в том числе и Тальма) основали в здании Пале-Рояля (на улице Ришелье) другой театр. Прежний, под названием «Театра Нации», ставил антиреволюционные пьесы, а новый, называвшийся сначала театром «свободы, равенства и братства», а потом «Театром Республики», всецело отдался революционному течению. Республиканское правительство закрыло первый театр. После падения Робеспьера остатки обеих трупп соединились в театре на улице Ришелье, где театр «Комеди Франсэз» существует

и поныне.) «Комеди Франсэз»! Правда, теперь пора блестящего расцвета, участницей которого была Гюс, казалась во многом смешной, и то, чего безуспешно добивались Лекен и Клэрон (По давней традиции на сцене (равно как и в живописи) античные и библейские герои облекались в современные представлению одеяния, и греки, римляне или иудеи щеголяли в бархатных камзолах с кружевами, при напудренных париках и шпагах. В половине XVIII века актер Лекен и актриса Клэрон восстали против подобных анахронизмов, но их протесты вызвали только насмешки. Тальма тоже вступил в борьбу с этой нелепой традицией, требуя, чтобы быт эпохи, к которой относится представление, воспроизводился по уцелевшим памятникам древности: статуям, вазам, медалям и т. п. Очень быстро ожесточенный протест актеров против такого новшества сменился признанием взглядов Тальма, которые в эпоху настоящего рассказа были всецело усвоены. Точно так же Тальма страстно ратовал за простоту читки роли без напыщенной фальшивой декламации, что являлось большим злом в сценическом творчестве прошлого.), уже вошло в плоть и кровь сценического творчества. Словно несколько столетий отделяло эпоху Гюс от эпохи Тальма. Но именно это и увеличивало в глазах директора ореол Аделаиды Гюс. Так мы обнажаем голову перед старой, ненужной, обветшалой, потускневшей реликвией, наглядно говорящей нам о славе былых веков.

С иным чувством смотрел на Адель Тальма. В этот мо-

мент он забыл о том, что он – великий актер, предтеча новых веяний, мощный реформатор сцены. Он почувствовал себя тем самым мальчиком, который жадно ловил каждое слово Заиры, тогда как вид прекрасной артистки впервые пробудил в невинном доселе сердце отрока ранние томления чувственности. Сколько ночей не спал он тогда, мечтая о дивной Гюс, воссоздавая в воображении каждую линию, каждый изгиб ее прекрасного, пластического тела!

Да, словно и не прошло с тех пор двадцати пяти лет, с таким молодым чувством встретил Тальма входившую Гюс. Но едва только он кинул взор на артистку, как сейчас же резко отвернулся к окну. В душе увлекающегося художника плакала оскорбленная мечта. Неужели это была Гюс? Неужели это была греза его отрочества?

Но Адель не заметила этого жеста. Директор подвинул ей кресло, попросил присесть и спросил:

– Чем могу служить вам, сударыня? Впрочем, что я и спрашиваю! Имя Гюс само говорит за себя, и, конечно, вы хотели бы...

Он несколько замялся.

– Да, я хотела бы попытать счастья, может быть, для меня найдется местечко в труппе? – ответила Адель.

– О, почему бы и нет! Но... это, конечно, зависит... Поймите сами, сударыня...

– Я отлично понимаю! – ответила Адель, грустно усмехаясь. – Ведь я не из тех, которые до гроба строят себе иллю-

зии. О, мое время прошло! Я знаю, что не могу рассчитывать на прежнее, о, нет! Но я думала... что-нибудь маленькое... Все-таки за мной – большой опыт. Правда, я уже несколько лет, как отошла от сцены, но разве этому можно разучиться? Да и тоскливо, хмуро стало мне на душе без театра на старости лет. Старая собака подползает к ногам хозяина, чтобы умереть около того, кому она служила всю свою жизнь. Я – такая же собака.

Голос Адели дрогнул, она стиснула зубы и нервно затеребила платок, который держала в руках.

Тальма резко отвернулся от окна, взволнованно подошел к Адели и с дрожью в голосе сказал:

– Напрасно вы говорите так! Талант не имеет возраста! Вы не поняли слов господина директора; и это причинило вам страдание. Господин директор хотел лишь указать на то, что изменение наружности логически влечет за собой изменение характера исполняемых ролей. Прежде вы играли молодых, теперь вы должны перейти на роли пожилых. Тут нет ничего обидного и позорного. Нет плохих ролей, существуют только плохие актеры. Может быть, вы знаете, что свое имя я составил себе Карлом IX (Когда было решено поставить пьесу Шенье «Карл IX, или Школа королей», никто из труппы не хотел браться за исполнение заглавной роли, не решался выйти перед публикой в роли отвратительного монарха-убийцы. За роль взялся Тальма, он подчеркнул зависимость Карла от матери и так выпукло представил страдания

короля от упреков совести, что роль получила совершенно новое освещение, пьеса имела бурный успех, а Тальма сразу выдвинулся на первый план.), ролью, от которой отказывались все остальные актеры! Ну, так не надо же унижать себя! Такая сила, как Аделаида Гюс, всегда желательна во всякой труппе. Мало ли ролей, в которых вы можете потрясти публику? Аталия, королева в «Гамлете», Екатерина в «Карле», да разве их перечтешь? Кроме того, господин директор хотел еще сказать, что теперь дела театра далеко не прежние, никаких субсидий нет, расходы увеличились, а потому артисту придется быть скромным в своих гонорарных требованиях. Сразу на большое жалование вы рассчитывать не можете, но не потому, что «ваше время прошло», а потому, что времена вообще переменялись. Я извиняюсь, что взял на себя смелость говорить от имени господина директора, но перед вашим приходом мы уже обсуждали кое-что касательно этого вопроса, а потому я в курсе намерений дирекции. К тому же я видел, что ваши переговоры сразу принимают неправильный оборот, и хотел избавить вас от ненужного самоуничтожения. Вот и все. Аделаиде Гюс первая французская сцена не имеет права отказать в ангажементе. Вопрос только в том, удовлетворитесь ли вы скромными условиями. Но это – вне моей компетенции, а потому, чтобы не мешать вам сговариваться, я покидаю вас! Имею честь кланяться! – и Тальма взволнованно вышел из кабинета.

Словно зачарованная смотрела ему вслед Адель. Горячей

волной пронизывало ее обаяние этого стройного, высокого мужчины с царственной головой, тонким, нервным лицом, орлиным носом и пламенными, выразительными глазами! А голос, голос! Мягкий, звучный, богатый интонациями, так и льющийся от сердца к сердцу! И с какой горячностью он вступился за нее, как он должен любить свое дело, если страдания артистки, некогда знаменитой, но теперь оставшейся за колесницей убегающего времени, преисполняют его сердце такой острой жалостью!

Но только ли одной жалостью?

Женщина неисправима, существуют иллюзии, от которых она никогда не в силах отделаться окончательно. Что бы ни говорили ей зеркало, разум, сознание, в тайном уголке ее души вечно дремлет надежда на то, что ее обаяние еще не утрачено окончательно.

Так и Адель. Она была совершенно искренна, когда сказала: «Мое время прошло». И все же, словно в тумане слушая директора, говорившего об условиях, Адель с робкой радостью прислушивалась к еле слышной песенке, которую запевали птицы надежды в ее еще неизжившем сердце.

Глава 2

Вечерело. На улицах еще дрожали последние лучи солнца, но в конторе Пьера Фрибура стало уже совсем темно.

Гаспар Лебеф с трудом дописал последние строки и, положив перо, с облегчением расправил замлевшую в долгом изгибе спину. Его взор со сладкой грустью скользнул по комнате. Теперь, когда вечерние тени скрадывали отдельные детали, казалось, будто эта комната – все та же, прежняя, будто в ней ничего не изменилось за сорок лет. Вот там же, в том углу, склонялась над бумагами седая голова старого дяди Капрэ. Сколько надежд было связано тогда у юноши Гаспара с этой седой головой! И все неожиданно скомкалось роковой страстью к восходящей звезде, Адели Гюс! В ключья разметались все виды на будущее, все расчеты на мирную, буржуазную жизнь. Дяде Капрэ пришлось оставить надежду передать все дело племяннику, он продал контору старому клерку Жозефу Фрибуру. И вот пришел момент, когда Гаспару пришлось увидеть на том же месте другую седую голову. Ах, сколько искушения открылось перед Лебефом в тот момент, когда голова Жозефа оторвалась от бумаг и поведала ему условия получения наследства, оставленного старым Капрэ! Ведь Гаспару стоило только произнести каких-нибудь пять слов: «Я порвал с Аделаидой Гюс», и все наследство было бы без всяких затруднений вручено ему! Но он не мог сказать

заведомую неправду, Адель не разрешала его от легкомысленно данной клятвы. И вот пришел момент, когда из того же угла поднялась новая седая голова, голова Пьера Фрибура, сына Жозефа. Это было в тот момент, когда Лебеф пришел смиренно просить места в той самой конторе, где мог бы быть хозяином...

Лебеф отмахнулся от воспоминаний. К чему они? Разве теперь можно изменить что-либо? Каждый должен покорно и терпеливо пожинать то, что посеял сам. Гаспар встал, сложил бумаги и сказал:

– Я пойду, патрон! Я кончил.

– Ну, конечно, ступайте, милый мой Лебеф! Напрасно вы сидели так поздно, ведь спешных дел нет. Эх, и охота вам корпеть над трудом жалкого поденщика, когда вы могли бы жить в довольстве и почете! Пять слов, всего только пять маленьких слов! Никаких формальностей, никакой ответственности! Хоть убей, не понимаю я вас, мой милый!

– К чему мы будем снова заводить этот разговор, патрон? – грустно заметил Гаспар. – Разве мы мало беседовали с вами об этом? Дядя только потому и не обставил получения наследства формальностями, что знал меня и был уверен, что я не нарушу его воли. Так должно быть, так будет. Я пойду. До завтра, патрон!

Гаспар вышел на улицу. День быстро угасал, но повсюду царило шумное оживление. Парижане спешили вознаградить себя за прошедшее тяжелое время, когда власть, слов-

но мертвая голова в бесовской игре, перебрасывалась из рук в руки, обдавая все вокруг фонтаном горячей крови. Тогда было не до веселья, не до развлечений. Каждый стремился поскорее укрыться в свою нору; бывало так, что целые семьи сидели по двое суток без хлеба, не осмеливаясь выйти на улицу, и с тоской поглядывали на бесполезные деньги. А сколько несчастных сошло с ума от вечного страха, сколько их погибло на эшафоте только потому, что, не вынеся муки ожидания, они бросались на улицу и в припадке безумия возводили на себя страшные преступления!

Но все прошло. Время исключительных положений миновало. Конституция, наконец-то опубликованная хотя и в урезанном виде, гарантировала гражданам безопасность от административного произвола. Попыткам роялистов использовать в своих целях наступившее спокойствие был положен решительный конец. Тучи рассеялись. Теперь парижане могли снова стать самими собой. И опять после долгого затишья улицы наполнились шумной разряженной толпой, так и сыпавшей шутками, смехом, искрометным весельем.

Лебеф задумчиво лавировал среди толпы. Его мысли перескакивали с одного на другое. Он размышлял о заколдованном наследстве, которое лежало так близко и в то же время так далеко, думал, удастся ли новая попытка Адели устроиться в театре, и о том, как изменилась она за последние два года.

Да, только два года прошло с тех пор, как погиб Робес-

пьер. Какое дьявольское торжество светилось в глазах Адели, когда с безумным хохотом, дикой пляской и страстными выкриками она описывала страдания сраженного ее выстрелом, оплеванного ею диктатора!

Несколько дней она была сама не своя, и что-то жуткое, болезненное чувствовалось в ее торжестве. Затем она слегла, болела долго и тяжело, а когда оправилась, ничто не напоминало в ней разнузданной мегеры эпохи террора. Адель стала тише, мягче, ласковее, и нередко с ее уст слетало прежнее обращение «братишка», такое наивно-причудливое в устах этой пятидесятилетней женщины по отношению к пятидесятипятилетнему старику.

Лебефа не удивила резкая перемена в характере Адели. Он знал из прошлого, как катастрофичны бывали для нее бурные взрывы страстей. Разве не стихла она после орловского удара хлыстом? Разве не безупречна была ее жизнь, когда она в тиши готовила страшный удар гордому фавориту, надеясь на отмщение? И какой дикой, истерической разнузданностью сменилась эта безупречность, когда удар миновал фаворита, когда судьба отказала ей в справедливом возмездии!

Да, Лебеф лучше кого-либо другого, лучше самой Адели знал эту бесконечно мятущуюся душу, наивную в своем неведении добра и зла. Это была истинная артистическая натура, вся в изломах, в надрывах, в контрастах. И ведь как ни наполнена была жизнь Аделаиды Гюс распутством, ко-

варством и обманом, она все же не была дурной. Ведь поэта, художника, а в особенности актера, нельзя судить общим судом, мерить общей меркой. Артист живет в им самим созданном мире, который так ярок и красочен, что настоящая жизнь начинает казаться ему скучным, ирреальным сном. К тому же еще актер живет на сцене в области условной морали. Играя героинь после злодеек, распутниц после подвижниц, могла ли Адель не перенести этой условности и в мораль обыденной, действительной жизни?

Нет, затишье души Адели не удивляло Гаспара. Зато оно сильно заботило его. Лебеф понимал, что в этом затишье зреют новые бури. Адель дошла до того рокового предела, когда пустота личной жизни осознается особенно остро, становится особенно невыносимой. До Крюшо она никого не любила, разве только Лельевра. К Крюшо она привязалась со всем пылом стареющей, лишь чудом сохранившейся женщины. Эта любовь могла бы даже спасти Адель, и, удайся тогда их план – сорвать крупную ставку и бежать за границу, можно было бы поручиться, что Адель кончила бы свои дни в мирной буржуазной жизни. Но судьба вырвала у Адели эту последнюю возможность личного счастья. Примирится ли бывшая красавица, что это была действительно «последняя страница» ее жизни как женщины?

Нет, на это было мало надежды. Только смерть окончательно охладит эту пронизанную пламенной жадой жизни душу! А в особенности теперь, когда Адель лишена вот уже

который год привычной сферы деятельности. Хорошо было бы, если бы ей удалось пристроиться в труппу; возврат к сцене отвлек бы ее от не погасшей под пеплом временного затишья надежды еще использовать обаяние своего тела, обаяние, утраты которого она все еще не сознавала...

Думая так, Гаспар машинально лавировал среди густой толпы, особенно стесненной в этом месте, где половину тротуара занимали столики открытого кафе. Вдруг кто-то схватил Лебефа за рукав и весело воскликнул:

– Постой, гражданин Лебеф! Куда ты так спешишь? Вот кто разрешит наш спор, братцы!

Гаспар от неожиданности сильно вздрогнул. Неожиданным было для него и это внезапное вторжение в его задумчивость, да и само обращение «гражданин», которое в то время уже начинало исчезать и удерживалось только в армии. Но остановивший его именно принадлежал к последней: это был молодой капитан Жюно, сидевший за столиком с капитанами Бертье и Мармоном.

– Рад служить, чем могу, гражданин капитан, – ответил Лебеф, оправившись от первого момента растерянности. – Но я действительно тороплюсь.

– Э-э-э! Пустяки! Да мы и не задержим! – весело отозвался Мармон. – Вот в чем дело, гражданин: ведь ты жил некоторое время в России, бывал при дворе Екатерины и, наверное, встречал там Суворова.

– Да, я встречал его и даже не раз беседовал с ним. Но это

было в раннюю пору его деятельности, когда имя Суворова еще не говорило так много, как теперь.

– Но ты все-таки мог составить себе понятие о нем, как о человеке? – спросил Жюно.

– О, еще бы! Эта оригинальная личность сильно заинтересовала меня, я с напряженным вниманием следил потом за его жизнью, и мне не раз приходилось беседовать о нем с лицами, хорошо его знавшими!

– Ну, так что он за человек?

– Разве можно определить в нескольких словах такую сложную натуру, как Суворов? – ответил Лебеф.

– Нет, видишь ли, наш спор вот о чем, – пояснил Жюно. – Поговаривают об образовании новоевропейской коалиции, с Россией во главе. До сих пор Россия была занята польскими делами, с поляками уже покончили, и надо ожидать, что теперь опять возьмутся за нас. Ну, а если это так, то, конечно, во главе армии поставят Суворова. Вот мы и заговорили о нем, сначала как о полководце, потом как о человеке. Бертье уверяет, что Суворов – просто стихийная сила, что это грубый, дикий варвар, дикарь без стыда и совести, безжалостный холоп тиранов...

– О, в чем угодно, но только в холопстве Суворова никак нельзя обвинить! – воскликнул Лебеф. – Да как у вас повернулся язык выговорить подобное обвинение! Для своей гениальности Суворов двигался по службе слишком медленно, потому что не хотел угождать фаворитам императрицы. У

него бывали постоянные столкновения с Потемкиным, а все- сильного Зубова он просто третирует, хотя даже пятидесятилетний Кутузов считает за честь дожидаться пробуждения этого низкого временщика, чтобы собственноручно сварить ему чашку кофе и лично принести ее на подносе в спальню! Вот где холопство! А Суворов...

– А Суворов не постеснялся получить семь тысяч душ из награбленных польских имений в награду за свои зверства в Польше! – запальчиво перебил Бертье.

– Зверства! Как можно так говорить? – укоризненно заметил Лебеф. – Суворов действовал именем своей повелительницы, которой присягал в верности. Раз Россия решила покорить вечно мятежную Польшу, мог ли Суворов, верный сын своей родины, отказаться от завоевания?

– Но Суворов пролил реки крови!

– Кровь лилась с обеих сторон.

– Да, но поляки сражались за свободу, а Суворов – за порабощение!

– Ты путаешь понятия, гражданин капитан! – возразил Лебеф. – Нигде не было так мало свободы, как в Польше, и даже в России, несмотря на страшное крепостное право, мужику живется лучше, чем жилось польскому холопу. Не за идеальную свободу, не за ту свободу, ради которой встали мы, французы, бились поляки. Они бились за свободу произвола, и не польский народ, а польское владетельное дворянство восстало на Россию. Но это только так, к слову. Су-

воров действовал, как солдат, не раздумывая и не рассуждая, а только исполняя приказ того правительства, которому он служит. Если бы он поступил иначе, он был бы предателем и изменником!

– Он все равно – предатель и изменник перед лицом истины, так как осмелился встретить картечью народ, отстаивавший свое право на национальную самостоятельность! – пламенно воскликнул Бертье. – Надо быть зверем и негодяем, чтобы сердце не дрогнуло жалостью к людям, предпочитающим смерть рабству!

– В таком случае в твоих глазах и я тоже – зверь и негодяй, Бертье? – произнес сзади Лебефа чей-то голос.

Все изумленно обернулись и увидели невысокого, коренастого, худощавого военного, который уже некоторое время незаметно прислушивался к разговору. Этот военный был некрасив, казался изнуренным и истомленным заботами, и все-таки в его лице было нечто отпугивавшее и чаровавшее, уже во всяком случае заставлявшее забывать об обычных мерках красоты человеческого лица.

– Бонапарт! Генерал Вандемьер! – одновременно воскликнули Бертье, Мармон и Жюно. – Присаживайся к нам!

– Так как же, друг Бертье? – продолжал Бонапарт, не обращая внимания на приглашение. – Значит, и я тоже, по твоему, – зверь и негодяй? Ведь я тоже разогнал картечью банду роялистов-повстанцев!

– Как ты можешь сравнивать! – негодуя воскликнул

Бертье. – Роялисты – враги народа, которому ты служишь, а...

– А поляки – враги России, которой служит Суворов! – холодно перебил его Бонапарт, резко отчеканивая каждое слово. – Тут нет никакой разницы, друзья мои! Роялизм – такой же принцип, как и республиканизм, не более и не менее, не лучше и не хуже! Скверно, когда принцип служит лишь предлогом, лишь щитом для дурных, порочных наклонностей. Но об этом я не говорю, я беру чистое служение принципу. Если сталкиваются два враждебных принципа, – то тут нет ни правых, ни виноватых, ни героев, ни злодеев. Тут только слабый и сильный! Кто смеет сказать, что роялист не прав, если он с оружием в руках идет ниспровергать ненавистный ему принцип народоправия? Но солдату нет дела до нравственной правоты своего противника! Солдат не рассуждает, он исполняет данный ему приказ, он честно несет свою службу! Бертье! Ты знаешь, как я люблю и уважаю тебя! Но если я, генерал Бонапарт, пошлю тебя, полковника Бертье, исполнить военное поручение, а ты откажешься, сославшись на несоответствие этого поручения с твоими убеждениями, я пожму тебе руку, как честному человеку, и затем... прикажу расстрелять, как солдата, забывшего первый, священнейший долг – послушание!

– Да, это похоже на тебя, Бонапарт! – ответил Бертье, добродушно рассмеявшись. – Но только, по-моему, ты не совсем прав! Роялисты, которых ты расстрелял, были бунтовщика-

ми против нынешнего правительства, а поляки – свободный, независимый народ!

– Бунтовщиками! – с горькой усмешкой повторил Бонапарт, пожимая плечами. – Нет, Бертье, они не были бунтовщиками, когда с оружием в руках двинулись на республику, они стали ими, когда побежали от моей картечи! Если бы роялисты оказались сильнее меня, если бы они обратили в бегство моих солдат, тогда они стали бы героями. Но они – побеждены. Теперь герои – мы, а роялисты – бунтовщики! Говорю и повторяю вам: все принципы равны, все идеи одинаково святы, а, значит, все это – личное дело каждого, не имеющее никакого общественного значения. Что вы мне будете говорить о каких-то там переворотах! Разве каждый, кто ниспровергает закон, – непременно преступник? Баррас с товарищами отменили конституцию девяносто третьего года, распустили конвент, учредили директорию и две законодательных палаты; ведь это – полный переворот, полное ниспровержение прежнего, законного строя. Но Баррас – во всеобщем почете, он чуть ли – не отец отечества, а Робеспьер, свято чтивший закон, умер на эшафоте, как злодей и преступник!

– Но он и был кровожадным злодеем! – воскликнул Жюно.

– Нет, – задумчиво ответил Лебеф, – у Робеспьера была детски-чистая, незлобивая душа, стремившаяся к добру и правде. Просто судьба привела его к такой деятельности, к

которой он не был способен!

– Ты хорошо знал его? Ты был близок с Робеспьером? – быстро спросил Бонапарт, впиваясь в Лебефа взглядом.

– Я отошел от него в последнее время, но сначала мы были очень близки, – ответил Лебеф.

– Пойдите, господа, – остановил их Мармон. – Вот мы и отклонились далеко в сторону! Вернемся к Суворову. Видишь ли, Бонапарт, у нас зашел спор относительно личности этого полководца, и Бертье уверяет, что Суворов – кровожадный зверь, а Жюно доказывает, что у Бертье нет оснований ставить такой приговор. Вот мы и хотели, чтобы наш спор разрешил гражданин Лебеф, который бывал в России и знал Суворова.

– О, этот спор можно разрешить двумя вопросами! – ответил Бонапарт. – Скажи, гражданин, какую жизнь ведет Суворов?

– Это истинный спартаец! В пище и платье Суворов довольствуется только самым необходимым. Роскошь, излишества, ленивая нега неведомы ему.

– Да, таков и должен быть полководец! – задумчиво заметил Бонапарт. – Теперь скажи мне еще, как относятся к Суворову войско и знать?

– Войско обожает его, придворная знать – ненавидит.

– Вот вам полный ответ на ваш спор, друзья! – с торжеством воскликнул Бонапарт. – Если бы Суворов был негодяем и злодеем, знать обожала бы его, а войско ненавидело! Ты

неправ, Бертъе, ты побежден!

– До свиданья, граждане! – сказал Лебеф. – Теперь я удовлетворил ваше любопытство, и вы, конечно, позволите мне идти своей дорогой?

– Постой, гражданин, я пойду с тобой! – торопливо кинул Бонапарт, протиснулся кивком головы с компанией и продолжал, снова обращаясь к Лебефу: – Ты зайдешь ко мне, я хочу порасспросить тебя!

Лебеф хотел ответить, что ему некогда, что его ждут, но в тоне молодого генерала слышались столько властной силы, такая твердая уверенность, что ему нет и не может быть отказа, что протест замер невысказанным, и Лебеф покорно пошел рядом с задумчивым Бонапартом.

Все было бедно, скудно и убого в той маленькой комнатке, где Лебеф, следуя молчаливому приглашению Бонапарта, присел на простом табурете. Скромная постель, большой стол, заваленный книгами, чертежами и картами, маленький шкафчик со скудным запасом белья и платья – вот и вся обстановка, если не считать еще пары стульев и рабочей табуретки.

Лебеф молча сидел, ожидая вопросов. Но Бонапарт словно забыл о госте и, заложив руки за спину, взволнованно ходил из угла в угол. Вдруг он сразу, резко остановился против Лебефа и спросил:

– Знаешь ли ты что-нибудь о тактике Суворова?

– Очень мало, – ответил Гаспар. – Ведь я – невежда в военном деле. В общих чертах могу заметить то, что тебе, вероятно, известно. В России армия набирается из крепостных, которые привыкли дрожать перед палкой помещика и в строю дрожат перед палкой командира. Это обеспечивает русской армии большую компактность состава. Русские солдаты пойдут куда угодно, полезут в огонь и воду, кинутся напролом; но если неприятелю удастся обратить их в бегство, то они побегут так же стадно, как стадно шли перед тем на врага. Суворову мало было этого, он задался целью повысить сознательность каждого отдельного солдата. И путем долгой работы ему удалось добиться того, что его солдаты не только компактны, как масса, но и сознательны, как боевая единица. При нападении и защите каждый солдат знает, что ему надо делать; он действует сообща и самостоятельно. Он страшен, как лавина, стихийно несущаяся вперед, все сокрушая на своем пути, и еще страшнее тем, что эта лавина снабжена думающим, рассчитывающим, взвешивающим мозгом!

– И ведь, исходя из этого, Суворов полагается главным образом на холодное оружие, а артиллерия у него на заднем плане? – спросил Бонапарт.

– Пожалуй, что и так, гражданин генерал, – ответил Гаспар. – Недаром Суворов постоянно твердит, что «пуля – дура, штык – молодец»! Он находит, что самый лучший стрелок, самый искусный канонир могут ошибиться, промахнуться, тогда как штыковой удар в руках надлежаще обучен-

ного солдата безошибочен.

– Вот-вот! – воскликнул Бонапарт, глаза которого засверкали радостью и волнением. – У каждого великого человека имеется свой слабый пунктик, и это то болезненное место Суворова, на котором я мог бы построить его разгром и свою славу! О, если бы судьба привела меня столкнуться в великом бою с этим гениальным стратегом! О, если бы хоть случай развязал мне руки, если бы я мог свободно взмахнуть крыльями, мощь которых я так отчетливо сознаю! Но я связан, задыхаюсь в тесной клетке бездеятельности! О, как ужасно вечно гореть, вечно пламенеть, чувствовать себя призванным к великим делам, сознавать свою силу осуществить великие замыслы и не иметь возможности, случая доказать свою мощь! Бездарный идиот Шерер губит все французское дело в Италии; я разработал ясный документальный план военных действий, представил его Карно с мотивированной докладной запиской, из которой видно, как дважды два – четыре, что этот план не может не привести к полному торжеству, понимаешь: не может! А эта старая лошадь отвечает мне, что я представил какой-то больной бред вместо плана. Но в том-то и мое несчастье, что меня судят те, кто неспособен быть моими судьями! Как смеет Карно брать на себя решение? Он – талантливый инженер да хороший администратор, пожалуй, но он – не стратег! А я – стратег! Дайте мне случай, дайте мне возможность, и я склоню весь мир под знамена свободной Франции! Я призван к этому, для этого я

рожден. О, сознавать это и сидеть, медленно сгорая в пламени неуголимого честолюбия, не видеть исхода, упираться в глухую, инертную стену. Н-нет, я долго не выдержу! Я сгорю в этом костре!

– Да, честолюбие – опасная вещь, гражданин генерал! – тихо заметил Лебеф.

– Вздор! – крикнул Бонапарт. – Если ты говоришь так, значит, ты не знаешь, что такое – истинное честолюбие! Вот ты недавно сказал, что трагедия Робеспьера была в том, что судьба отвела ему неподходящую роль. А знаешь, чего не хватило Робеспьеру? Честолюбия! Если бы у него было честолюбие, разве он допустил бы, чтобы его повели, словно барана, на бойню? Ну как же! Ведь он уважал закон, он подчинился народу! Скажите, какая добродетель! Да разве закон – для всех? Закон обязателен только для рядовых людей, закон – узда для черни. А вождь сам создает законы. Но не вождь – тот, кто спутывает себя той же самой уздой, которую он взял в руки для обуздания масс! Вот в чем была ошибка Робеспьера, вот в чем была его слабость, Но он и не был призван для великих дел: у него не было честолюбия, этим сказано все! Знаешь, что такое был Робеспьер? Вот стоит дом, из которого выгнали хозяина, и стоит этот дом в разгроме и мерзости запустения. Тогда приходит лакей и метет лестницу для нового хозяина, которого он не ведает, часа прибытия которого он не знает. И, когда следы разгрома убраны, когда вычищена грязь и паутина, когда заметена и устлана

коврами лестница, лакей уходит. Он сделал свое дело, он не нужен. Вот этим лакеем и был Робеспьер! Он очистил путь новому хозяину, его роль была кончена. Однако хозяин все не идет. Почему? А потому, что этим хозяином может стать каждый, у кого найдется достаточно честолюбия, но именно честолюбия-то нет ни у кого! Может быть, ты думаешь, что оно есть у Барраса, у Ларейвельера, у Ревбея, у Летурнера, у Карно? О, если все мерить их мелким, изменчивым честолюбием, то мне и желать нечего! В двадцать шесть лет я – генерал, я оказал важную услугу отечеству, мое имя у всех на устах! Сейчас нет в Париже человека популярнее генерала Вандемьера! Но плохо знают меня те, кто думает, что я могу удовольствоваться славой ловкого полицеймейстера! Неужели Бонапарт годен лишь на то, чтобы усмирять мятежный сброд? Неужели этот пронизанный пламенем мозг только и годится для того, чтобы восстанавливать порядок за тех, кто сам не в состоянии оградить свою власть? О, развяжите мне руки, освободите мои крылья, и я смело и гордо войду в дом, который уже стосковался без истинного хозяина! Я пронесу свое имя через весь мир, я кину его на расстояние сотен веков, я...

В дверь постучались. Бонапарт оборвал свою пламенную тираду на полуфразе, с каким-то недоумением осмотрелся вокруг и крикнул:

– Войдите!

Дверь открылась. Вошел Тальма.

– Здравствуй, милый мой Наполеон! – ласково сказал великий трагик. – А ты опять уже оседлал своего любимого конька и понесся на нем в заоблачные сферы? Твой голос разносится далеко вокруг. Но я к тебе на минутку. Ты просил... Вот пустячок...

Тальма сунул что-то в руку Бонапарту, но тот неловко взял протянутое, и три золотых монеты, звеня и подпрыгивая, раскатились по полу.

Бонапарт с веселым смехом подобрал их, кинул на стол и подошел к Тальма, чтобы сердечно обнять друга. Теперь молодой генерал сразу переменялся. Исчез фанатический мечтатель, исчез пламенный, властный честолюбец; все огненное, резкое, знойное рассеялось неведомо куда, и перед Лебефом стоял теперь немного заносчивый, немного наивный, скромный офицерик, на бледном лице которого играла обаятельная улыбка.

– Да, да, гражданин Лебеф! – смеясь сказал Бонапарт, весело подбрасывая над столом золотые монеты. – Вот они, вечные контрасты жизни! Сидишь, бывало, и упиваешься гордыми мечтами, побеждаешь в грезах весь мир, утопаешь в славе, а потом очнешься от мечтаний и примешься замазывать чернилами дырки на сапогах. Да! Если бы не друг Тальма, я, наверное, умер бы с голода. Ах, я и не знаю, как и благодарить тебя, дорогой мой, за эти деньги! Мне необходимо быть на вечере у Барраса, но как я ни равнодушен к вопросам туалета, а тут уж пришлось серьезно задуматься!

– Ничего, Наполеон, жди и верь! Твое время придет, и настоящее минет, как сон! Уже теперь тебе далеко, не так плохо, как несколько месяцев тому назад. Я знаю, что в бедности много унижительного, и твердо верю, что будущее с лихвой окупит тебе все теперешние унижения!

– Унижения! – с добродушной презрительностью повторил молодой генерал. – Полно, милый Тальма, к этому я совершенно равнодушен. Я не жаловался бы и теперь; ты знаешь, каким малым довольтвуюсь я для себя лично, но ребятишки!.. – Бонапарт обернулся к Лебефу, и опять обаятельная улыбка заиграла на его лице, когда он пояснил: – Ведь у меня четыре брата и три сестры; только один брат на год старше меня, а то все малыши, неоперившиеся птенчики от двенадцати до одиннадцати лет! Отца давно нет в живых, я один – их опора. Вот мне и больно, и обидно, что я не в состоянии в достаточной мере обеспечить их, хотя по своим знаниям, способностям и уже доказанной пользе, принесенной отечеству в ряде боев, имел бы полное право требовать этого от правительства. Моя нищета обидна, как показатель несправедливости правительства, ну, а что касается ее унижительности, то к этому я отношусь довольно равнодушно. – Взор Бонапарта сверкнул лукавой иронией, когда он весело продолжал: – Вот знаете ли вы, например, как мне пришлось быть с визитом у этой распутницы Тальен? Как же, интересный был визит! Я просто задыхался, даже не от бедности, а от настоящей нищеты. Куда я ни толкался, никто не хотел меня

знать. И вот тогда я уже совсем решился уехать на службу к турецкому султану. Вдруг Фрэрон надоумил меня сходить поклониться Терезе Тальен, которая вертит Баррасом, как хочет. Ну, я и задумываться не стал! Пусть Тереза – подлейшая из распутниц, но раз она – сила, разве моя гордость пострадает от того, что я хотя бы через ее посредство добьюсь части того, на что имею право? Вот еще! Я слишком высоко ценю себя, чтобы это могло меня унижить! Ну-с, надел я вытертый, штопаный походный мундир, как можно осторожнее натянул сапоги – они легко могли развалиться, а от подошв на них вообще остался один намек, подмазал дырки чернилами, да и отправился в салон к самой модной даме Парижа. Ну, Тереза – умная баба. Она была польщена, сделала вид, будто не замечает моего убогого вида, расспросила, обещала обратить внимание директоров на то, что молодого и способного генерала оставляют втуне, и очень тактично и ловко сунула мне записочку в интендантство, чтобы мне выдали новое обмундирование. Это было незаконно, так как я не служил в действующей армии, а обмундирование полагается только на действительной службе, но... разве закон пишется для таких, как Тереза Тальен? Я был очень доволен, собрался уже уходить, как вдруг в гостиную вваливается целая толпа мервельезок и инкруаяблев («Мервельезка» (по-русски значит «великолепнейшая») и «инкруаябль» («невероятный») – прозвище модниц и модников времен директории. Эти «сливки общества» одевались с преувеличенной тща-

тельностью, жеманились, манерничали, картавили. Отчаянный разврат и показное пресыщение жизнью были для тех и других признаками хорошего тона.). Бог Ты мой! Словно я в стаю попугаев попал! Кривляются, картавят, трещат, ломаются, лорнируют друг друга. Смотрю я на них и глазам не верю. «Да кто же из нас с ума сошел, они или я?» – думаю. Вдруг один из этих господ обратил свое просвещенное внимание на меня, шепнул что-то своей соседке, та рассмеялась, другие франты в один голос воскликнули свое обычное: «Это пхосто невехятно» (Частному употреблению слова «инкураябль» (т. е. «невероятно», слово произносилось с проглатыванием буквы «р»: «инкхуаябль») модники времен директории и обязаны своим прозвищем.), а один из идиотов направился прямо ко мне. Подошел этот франт, долго лорнировал мои дырки на сапогах и наконец спросил: «Послюште генехаль, это навехное – новая фохма нашей доблестной ахмии? И, конечно, – самая пахадная?» – «Нет, – ответил я, – это – боевая, походная форма, которую я носил на полях сражений, благодаря которым вы теперь можете беззаботно болтать и смеяться! Но я недавно прибыл в Париж, и потому вы простите, что я обращаюсь с вопросом и к вам тоже: скажите, пожалуйста, неужели теперь в добром, честном Париже в моде такие шуты, как вы?» Франт растерялся, хотел что-то сказать, не нашелся и ушел, кинув неизменное «это невехятно!» Ну, так вы, может быть, думаете, что я почувствовал себя оскорбленным, униженным? Да ничуть не бы-

вало! Я смеялся всю дорогу домой! Однако будет обо мне и о моих бедствиях! Слушай-ка, милый Франсуа, мне говорили, что ты опять имел безумный успех в «Нероне»?

– Да... аплодировали, – равнодушно кинул Тальма.

– Как ты это говоришь! – воскликнул смеясь Бонапарт. – Можно подумать, что ты равнодушен к своей славе!

– Э, что такое моя слава! – хмуро ответил трагик, отмахиваясь. – Умри я сейчас, так через год имя Тальма будет звучать чем-то диким и неизвестным. Нашей актерской славе – грош цена! Мы хороши, пока молоды, пока в цвете лет, а случись что-нибудь... ну, так и умирай, словно старая собака под забором! Существуют такие насекомые – эфемериды. Эфемерида рождается летним вечером, вылетает, соединяется с другими новорожденными, исполняет внушенный ей природой великий акт любви и тут же умирает. Вся жизнь этого красивого существа продолжается два часа. Блеснет эфемерида радужными переливами крыльев и холодным трупом падает в реку. Вот и мы, актеры, – такие же эфемериды! Наше искусство не увековечивается, оно умирает в тот же момент, когда появляется. Наша слава не переживает нас; хорошо еще, когда мы умираем одновременно с нею. Но пережить свою славу, жить бледным призраком среди чужих людей, сгорать на костре ярких воспоминаний... о-о-о! – Тальма со стоном схватился за волосы.

– Франсуа, милый мой Франсуа! – дрогнувшим голосом произнес Бонапарт, подбежав к другу и положив ему руку на

плечо. – Что случилось с тобой? В чем дело?

Тальма поднял голову, улыбнулся бледной, измученной улыбкой и ответил:

– Со мной лично ровно ничего не случилось, я просто расхандрился. Сейчас я все объясню. Скажи, знаешь ли ты, кто такая – Аделаида Гюс?

– Не знаю! – ответил Бонапарт. – Никогда не слышал!

– Вот видишь! А между тем еще совсем недавно имя Аделаиды Гюс звучало куда более гордо и сильно, чем скромное имя «Тальма»! Вот она, наша актерская слава! Гюс была молода и прекрасна. У ее ног лежали короли, князья крови и капитала, а она, небрежно играя человеческими сердцами, шла все дальше с загадочной улыбкой. По всей Европе громким эхо прокатилось ее имя. Гюс срывала аплодисменты и в Петербурге, и в Стокгольме, и еще Бог весть в каких далеких городах. Когда она приезжала в чужую страну, раздавался вопль негодования: «Развратная Гюс»...

– Прости, гражданин Тальма, – перебил трагика Лебеф, – на всякий случай считаю долгом предупредить, что Аделаида Гюс – самое близкое мне лицо! То есть, конечно... – поспешил он поправиться, заметив выражение недоумения на лице Тальма, – я употребляю это выражение в самом чистом смысле. Когда Гюс была еще подростком, я дал обет бескорыстно служить ей, и так как она до сих пор не освободила меня от этого обета, то я до сих пор состою ее секретарем. Вместе с нею, в качестве платонического друга, я совершил

все те путешествия, о которых ты упомянул. Я счел долгом предупредить тебя, так как... не зная этого...

– Нет, но каков этот Лебеф! – воскликнул Бонапарт. – Да он, кажется, был в близком общении с целой кучей великих людей!

– Я не собирался говорить о Гюс ничего такого, что не мог бы сказать теперь, после твоего предупреждения, гражданин! – с ласковой улыбкой ответил Тальма. – Но ты только посмотри, Наполеон, как велико было обаяние этой женщины, если из-за нее человек был способен пожертвовать всей своей жизнью, ничего не имея за это взамен! Так вот, продолжаю. Появлению Гюс предшествовали вопли негодования, но стоило Аделаиде Гюс выйти на сцену, как вся ее частная жизнь забывалась и зрители замирали, словно замороженные! Перед ними уже не было «развратной», «хищной» женщины, а являлась воплощенная героиня той пьесы, которая разыгрывалась! И не забудь, что Гюс расцвела в ту эпоху, когда условность, рутинерство были особенно сильны в театре. Каким-то непостижимым артистическим чутьем Гюс ухитрилась во многом сбросить ярмо рутинерства, отделаться от напыщенности, от излишнего декламаторства! Помню, я видел ее еще мальчиком в «Заире». Сколько бессонных ночей провел я тогда в грезах об этой дивной женщине! Сколько лет я слышал интонации ее поразительно гибкого, редко певучего голоса! И вот...

Тальма замолчал, закрыл глаза рукой, и видно было,

как подергивались его губы. Молчали и его собеседники. Несколько успокоившись, великий артист продолжал:

– Я сидел сегодня у нашего директора; вдруг лакей доложил о просительнице. Имя этой просительницы было... Аделаида Гюс! Можешь представить себе, с каким лихорадочным волнением ждал я ее появления! Я забыл, что с того времени прошло около двадцати пяти лет. Я считался с возможностью ее постарения, но от меня как-то ускользало трагическое сознание, как именно она должна была постареть. И вот вошла бедно одетая, старая женщина. У нее были старчески отвислые рот и подбородок; прекрасная фигура расплылась в уродливые обвислости, глаза померкли и окутались сетью морщин. А когда она робким, несколько хриплым, потерявшим свою прежнюю гибкость голосом стала просить хоть какого-нибудь места, я должен был отвернуться, чтобы не разрыдаться. И это – Аделаида Гюс?! Ну то, что она постарела, это еще ничего, да и, наверное, у нее не такой уж ужасный вид, мне это показалось в силу контраста с юношеской грезой. Но эта мольба о месте! Аделаида Гюс должна умолять, чтобы ее приняли на службу! Аделаида Гюс! Ну так кто же может поручиться, что когда-нибудь и Франсуа Жозеф Тальма не явится в заплатанном, вытертом, полинялом камзоле просить, чтобы его из милости приняли на маленькие роли! Да что же после этого стоит наша слава? Грош ей цена! Подниматься все выше, достигать больших высот и сознавать, что, чем выше поднимаешься, тем страшнее неизбежное па-

дение, чем большего достигнешь, тем крупнее неизбежные потери. Нет, друг мой, от одной мысли можно прострелить себе череп!

Тальма снова схватился за голову и замер в мучительной задумчивости. Наступило тяжелое молчание. И Лебеф, и Наполеон понимали состояние души великого трагика, не находя, однако, ни слова ободрения или утешения.

Наконец Лебеф прервал тягостную паузу, сказав:

– Однако мне пора! Адель, наверное, ждет, не дожидается меня! Но скажи, гражданин Тальма, удалось ли Гюс добиться, чего-нибудь?

– Не знаю, – ответил трагик. – Я не мог выдержать и ушел до конца разговора. Но если директор и не дал ей окончательного ответа, можешь успокоить Гюс от моего имени: она будет принята, я ручаюсь за это!

– До свиданья, гражданин Лебеф! – приветливо сказал на прощанье Бонапарт. – Очень прошу тебя, заходи ко мне в свободную минутку! Ты много видел, много испытал, мне будет очень интересно поговорить с тобой!

Обещав зайти как-нибудь, Лебеф ушел.

Глава 3

У Адели Гаспар застал Луизу Компуен, вертлявую, довольно хорошенькую девицу, горничную, компаньонку, подругу и наперсницу известной, хотя и не чрезмерно молодой «мервельезки», Жозефины Ташер де ла Пажери Богарнэ, вдовы виконта де Богарнэ, одного из честнейших и убежденнейших генералов республики, казненного Робеспьером совершенно без всякого основания. Да и саму Жозефину только падение Робеспьера спасло от эшафота: вместе с Терезой Кабарюс (Тальен) Жозефина сидела в тюрьме, с минуты на минуту ожидая попасть в ближайшую «фурнэ».

Аделаида Гюс жила недалеко от улицы Шантрейн, где помещался дом вдовы Тальма, дальней родственницы знаменитого трагика. В этом доме жила Жозефина. Адель сблизилась с Луизой, а через нее и с Жозефиной, и когда никого из посторонних не было, вдова Богарнэ охотно посылала за Аделью, с наслаждением слушая воспоминания Гюс о своих похождениях и положительно захлебываясь в тех местах, где эти воспоминания принимали рискованный характер. Ведь Жозефина могла особенно хорошо посмаковать пикантные приключения, имея и сама богатый опыт!

Луиза Компуен была неизмеримо чище, добрее и честнее своей госпожи и подруги. Но и ее тоже влекло к Адели, к рассказам о пестрой жизни актрисы. Луизу интересовали в этих

рассказах преимущественно жизнь чужих народов, придворный быт, подвиги, а все нездоровое, чувственное отскакивало от нее, не задевая ее воображения. Вот почему Луиза охотно забегала к Адели, когда к этому представлялась возможность. И Адель дорожила расположением девушки. Ведь ей нередко перепало что-нибудь от щедрот Жозефины, а в распределении этих «щедрот» – старого платья, обуви и т. п. главную роль играла именно Луиза. Действительно, ее близость к Жозефине была такова, что она с полным правом говорила: «Мы заказали еще два новых платья» или «Мы очень выгодно приобрели турецкую шаль». Ведь Луиза делила с Жозефиной все бесконечное количество платьев, которое нашивала себе кокетливая вдова, и даже то немногое белье, которое у нее было.

Пусть не удивляет никого это сопоставление. У Жозефины действительно шкафы ломились от платья, а белья вечно не доставало. Но это отнюдь не беспокоило чувственную креолку. Поверхностная, легкомысленная, она не была способна заботиться о действительной сущности вещей, ей нужна была одна видимость. «Быт» не играл для нее роли; все дело было в том, чтобы «казаться». Она принадлежала к числу тех женщин, которые употребляют мало воды и много духов, мало мыла и много пудры и косметики!

Итак, Гаспар застал у Адели Луизу Компуен.

Обыкновенно Адель с удовольствием слушала веселую трескотню болтливой девушки, но теперь ей просто стано-

вилось неумогу. Так хотелось поделиться с кем-нибудь яркой радостью, так хотелось излить свой восторг, ликование. Но Луиза была слишком молода, слишком далека от таких переживаний, чтобы понять их. Когда Адель рассказала ей о своем успехе, Луиза только пожала плечами и ответила:

– Господи! Вот тоже радость, подумаешь! Да на твое жалованье путного платья не сошьешь! Почему ты раньше не сказала, что тебе так хочется вернуться на сцену? Жозефина замолвила бы словечко Баррасу, и все было бы устроено! – и кинув эту равнодушную фразу, Луиза опять принялась болтать про туалеты и победы своей госпожи-подруги.

Увидев входящего Гаспара, Адель вскочила и раздраженно крикнула:

– Ну как тебе не стыдно, братишка! Шатаешься, черт знает где, как раз в такой важный момент! А мне так хотелось поделиться своей радостью! Ведь я принята, Гаспар!

– Я знаю об этом, Адель, – ответил Лебеф. – Я видел Тальма, и он...

– Ты видел Тальма? – крикнула Адель. – Что же он сказал обо мне? Какое впечатление я произвела на него?

– Но, Адель... мы говорили очень мало! – смущенно ответил Лебеф, который не решался передать своей тиранке подлинные выражения знаменитого актера. – Тальма говорил больше о шаткости актерской славы, о...

– Ах, что это за человек, что за человек! – восторженно перебила его Адель, и ее потускневшие, но все еще красивые

глаза вспыхнули юной страстью. – Его нельзя назвать красавцем, но в нем есть что-то такое, что выше, ценнее, привлекательнее красоты! Сколько благородства, страсти, богатства чувств читается в лице, взоре, осанке – во всем! А какой голос! Боже мой, какой голос! Да, сама природа создала его для сцены, но она не позабыла вложить ему благородное, широкое сердце! Слава, поклонение, постоянный успех – ничто не могло убить в нем широкие движения души!

– Ну, Адель, – с легкой гримаской вставила Луиза, – ты, как всегда, увлекаешься! Конечно, не буду спорить, Тальма – недурной актер.

– Недурной актер! – воскликнула Адель, однако от негодования не могла возразить что-либо.

– Но о его широте смешно даже говорить! – невозмутимо продолжала Луиза. – Ведь я его хорошо знаю! Одно время он ухаживал за Жозефиной, но не прошло и месяца, как барыня дала ему чистую отставку. Тальма горд, узок и недостаточно воспитан, недостаточно деликатен. Если бы не его известность и не жена (Тальма был женат два раза. Первая его жена, Жюли Каро, была аристократического происхождения, тонко ценила искусства, увлекалась литературой и философией. В салоне Жюли Тальма встречались все литературные и политические знаменитости того времени. Впоследствии Тальма развелся с Жюли и женился на актрисе Вангов.), которая с одной стороны страшно раздувает своего муженька, а с другой – шлифует его, Тальма просто не стали бы при-

нимать. Но, разумеется, так думаем мы с Жозефиной, ты же можешь думать иначе; если бы все думали одинаково, было бы скучно жить на свете. Поэтому не будем спорить. Но вот что скажите мне, месье Лебеф: где это вы увиделись с Тальма? Ведь насколько я поняла, вы с ним прежде не были знакомы?

– Мне удалось случайно познакомиться с очень интересным молодым генералом, а к нему зашел Тальма. Этот генерал – тоже не последняя знаменитость в наши дни. Конечно, вы знаете, чем обязана директория Бонапарту?

– «Генералу Вандемьер»? – с живейшим любопытством воскликнула Луиза. – И вы были у него? Говорили с ним? Милый месье! Вы – такой опытный, умный, вы столько видели и знаете! Скажите, пожалуйста, какого мнения вы о Бонапарте?

– А почему вас это интересует, милое дитя? – спросил улыбаясь Гаспар.

– Но... вообще... – Луиза замялась, затем сверкнула лукавым взором и продолжала: – Впрочем, ведь вы – друзья, вы не станете болтать. Видите ли, ведь Жозефина – вдова, она устала от рассеянной жизни, от вечных приключений, мимолетных интриг. Ей уже... двадцать семь лет! – чуть-чуть запнувшись, заявила Луиза, в качестве верной подруги и субретки уменьшая возраст своей госпожи на пять лет. – Ну надо же ей остановить на ком-нибудь, пристроиться.

– Но ведь ты говорила, что теперь у нее этот... поэт...

– Ренэ Карьо? – взор Луизы омрачился, брови сдвинулись, и в тоне ее голоса слышались отзвуки затаенных страданий, когда она продолжала, тщетно стараясь сохранить внешнее равнодушие: – Да разве бедный, смешной мальчик – пара Жозефине? Ведь она ему чуть не в матери годится. И не любит она его, нет! Ее забавляет, что Ренэ ласков как шаловливый котенок, ее увлекают его юный пыл, молодая страсть, это – эпизод, приключение, шаловливая страничка жизни Жозефины, но не серьезная привязанность, не желанная пристань.

– А эту привязанность, эту «тихую пристань» Жозефина надеется найти в Бонапарте? – спросила Адель.

– Нет, Жозефина пока еще не связывает никаких надежд с генералом. Она видела Бонапарта у госпожи Тальен, и он ей не понравился как мужчина. Но Баррас уверяет, что перед Бонапартом открыто блестящее будущее. Ну, знаете ли, в известном возрасте к любви и влечению относишься несколько иначе, чем в годы первой молодости! В мимолетной интрижке руководишься одним, а в браке – совсем другим. Жозефина знает, что в браке любовь часто превращается в ненависть, а равнодушие – в пылкую страсть. Кроме того, генерал Бонапарт сейчас в моде, дамы, за ним отчаянно бегают, а ведь у красивой женщины, как Жозефина, чувство соперничества с лихвой возмещает недостаток влечения. Нет, в данном случае все дело только в том, действительно ли у генерала Бонапарта открыта дорога к блестящему будущему? Вот

мне и хотелось бы в настоящую минуту знать мнение такого опытного человека, как вы, месье Лебеф!

– Видите ли, дитя мое, – ответил, подумав, Гаспар, – мы живем в такое странное, причудливое время, когда пророчествовать особенно трудно. Внимательно наблюдая за событиями недавнего прошлого, я был уверен, что падение Робеспьера поведет к блестящему взлету Фушэ. Между тем наверху оказался Баррас, для возвышения которого не было ни малейших данных, а Фушэ, несмотря на свой поразительный талант к интриге, так и остался в низах. Вот почему трудно сказать что-либо о будущем генерала Бонапарта. У «генерала Вандемьера» – богатая, пламенная натура. На его челе ясно сверкает печать гения. Но... дадут ли ему возможность проявить свой талант? Разве не оставляли его столько времени в пренебрежении? Да и теперь – разве не держат его в Париже, вдали от театра войны, тогда как вся душа молодого воина рвется к деяниям? О, если Бонапарту дадут возможность проявить себя, он достигнет громадной высоты, надевает чудес, я уверен в этом! Но кто может поручиться, что ему предоставят эту возможность?

– Значит, вы тоже разделяете мнение, что Бонапарт очень большой человек? – спросила Луиза. Она хотела добавить что-то, но тут ее взгляд упал на часы, и она торопливо вскочила, испуганно воскликнув: – Ай-ай-ай, как я заболталась! Жозефина может приехать с минуты на минуту! До свиданья!

Луиза поспешно вышла из комнаты.

– Слава Богу, что эта трещотка наконец ушла! – сказала Адель, оставшись одна с Гаспаром. – Ах, братишка, братишка! Я готова смеяться и плакать! Что за человек! Какая величественная простота, сколько обаяния!

Адель закрыла лицо руками и погрузилась в тревожную задумчивость. С молчаливой тревогой смотрел на нее Гаспар. Старик понял, кто был тот «он», о котором так восторженно говорила Адель, и в его сердце закрадывались глубокая скорбь, болезненное предчувствие большого трагического горя, тяжелого и неблагоприятного.

Ах, что может быть неблагоприятнее трагедии увядшей телом, но не страстями женщины!

Конец 1795 года не был благоприятным для французского оружия. Генерал Пишегрю, командовавший мозельской и рейнскими армиями, тайно вступил в преступный сговор с главой зарубежных роялистов, принцем Кондэ, и делал все, чтобы погубить отечественную армию. Гнусная измена этого Иуды еще не была известна правительству. Пишегрю просто отставили за неспособность, но в добровольном поражении у Гейдельберга Пишегрю все же успел уложить свыше двадцати тысяч французов. Вдобавок к этому и в итальянской армии дела шли неважно: Шерер терпел поражения, не продвигаясь вперед. Обеспокоенные директора переслали ему план кампании, выработанный Бонапартом, но Ше-

рер ответил резкой отповедью, что такой идиотский план может выполнить лишь тот идиот, который его создал. Конечно, Шерер даже не предполагал возможности, что этот «идиот» в недалеком будущем будет призван осуществить на деле свой план и докажет фактически свою правоту. Храбрый, но не очень талантливый, Бартоломей Шерер был уверен, что его нечем заменить и что никто во всей Франции не сможет преуспеть там, где он, Шерер, терпит неудачу. Того же мнения держалась и директория.

Уныние стало овладевать душой директоров. К тому же роялисты, притихшие после разгрома 5 октября (13 вандемьера), теперь снова стали поднимать голову. Перед директорами вставал бледный призрак нового переворота, который мог стоять им не только власти, но и головы. Необходим был ряд блестящих побед, чтобы директория восстановила в широких массах свой престиж, начинавший тускнеть. Но кто мог обеспечить Франции эти победы?

В военный талант генерала Бонапарта верил один только Баррас, да и то не до такой степени, чтобы вдруг вручить молодому офицеру воинскую честь всей Франции. Правда, по временам, когда Бонапарт в частной беседе излагал свои взгляды Баррасу, тот увлекался могучей индивидуальностью корсиканца, начинал предчувствовать, что это – человек, самой судьбой предназначенный для великих, сверхчеловеческих деяний, что Наполеон задыхается в узости отведенной ему деятельности, как крупная рыба в мелкой воде. Иногда

у Барраса вдруг мелькала мысль: «А что если рискнуть, если поручить молодому генералу осуществление созданного им плана итальянской кампании?» Однако осторожные намеки, высказываемые им в этом направлении, не встречали отклика и сочувствия у других директоров, а Карно вставал на дыбы при одном упоминании имени Бонапарта, не прощая корсиканцу его молодости. Конечно, Баррас сумел бы настоять на своем желании и заставить директорию поручить Бонапарту командование итальянской армией, но он сам не был убежден в спасительности такого шага и не хотел брать на себя одного ответственность за такой риск. Поэтому ему приходилось с отчаянием предоставлять событиям идти своим ходом.

Однако парижане отнюдь не разделяли угнетенного настроения директоров. Наоборот, трудно было поверить в тяжелое положение страны при взгляде на широкий размах парижской жизни. Театры, рестораны, шикарные балы и народные «танцульки» – все было переполнено посетителями. Казалось, возвращались времена царствования Людовика «Возлюбленного» XV. Народ и честные труженики снова опускались на социальное дно, наверх всплывали беспринципные прожигатели жизни. Объектами поклонения, законодателями общественных настроений были уже не Дантоны и Мараты, а изломанные «инкруаябли», глубоко равнодушные к политическим вопросам, если только не открыто склоняющиеся к роялизму. Не будь армии и военных, в Па-

риже некому было бы с прежним искренним пафосом провозглашать еще недавно святой, ныне потерявший сочность торжественного звука лозунг – «свобода»!

Парижане устали от сурового ригоризма первых республиканцев, не хотели даже вспоминать о тех страшных эксцессах, которыми сопровождалась неизбежная ломка старого строя. Выступи сейчас открыто роялисты – и парижане не оказали бы им сопротивления. Что же сдерживало роялистов от использования благоприятного момента? Только опасения перед решительностью директории в подавлении восстания. Но, заметь они колебания и смущение директоров, они снова подняли бы знамя мятежа.

В откладывании обещанного торжества уже начали усматривать признаки упадка духа властей. Все громче передавался слух, что директория считает неуместным устраивать пиры в дни траура. Этим толкам надо было положить конец, и в середине декабря ярко освещенные залы Люксембургского дворца, где помещался Баррас, были готовы к встрече многочисленной толпы гостей. И за приготовлениями к отъезду на вечер в честь «генерала Вандемьера» мы и застаем Жозефину Богарнэ.

Одетая, причесанная и искусно подмазанная креолка вертелась в гостиной перед громадным трюмо, тогда как Луиза Компуен, стоя на коленях, оправляла кое-где складки ее платья. Наконец Жозефина как будто осталась довольна. Она закинула на руку шлейф, обнажив крошечную золотую ту-

фельку и ажурный чулок со стрелками на хорошенькой ножке, сделала несколько размеренных па, присела перед зеркалами и сама улыбнулась своему отражению, найдя себя особенно авантажной в этот вечер. Затем она обернулась к тому углу, где в одном из кресел, таких же претенциозных, бьющих на показную, внутренне убогую роскошь, как и вся обстановка Богарнэ, как и она сама, сидел задумчивый, бледный Ренэ Карьо. У юноши было очень интересное лицо, носившее на себе явный отпечаток талантливости натуры, и только взгляд, слишком беспокойный, сухой, напряженный, портил общее впечатление.

Дождавшись, пока Луиза выйдет из комнаты, Жозефина взялась кончиками пальцев за юбку, грациозно приподняла ее, присела в изящном пируэте и спросила с кокетливой улыбкой:

– Ну-с, как вы находите меня, месье?

Вместо ответа Ренэ, словно подтолкнутый невидимой пружиной, вскочил с кресла и, расставив объятая, сделал шаг к Жозефине. Однако та сейчас же испуганно крикнула:

– На месте сидеть, дурачок! Да ты совсем с ума сошел, право! Неужели я для того возилась добрых три часа с туалетом и прической, чтобы ты смял мне все это в одно мгновение?

– Ну, конечно, – хмуро отозвался юноша, – ведь я – только Ренэ Карьо! Если бы меня звали Мирифлер, Баррас, Лариво...

– Да ты, кажется, ревнуешь? – воскликнула Жозефина смеясь, но сейчас же ее лицо приняло серьезный вид. – Вот что, милый мой: у меня есть минутки две свободных, и мне надо с тобою поговорить. Скажи, пожалуйста, на каком основании ты предъявляешь ко мне какие-то требования? Неужели ты считаешь наши отношения такими серьезными, такими незыблемыми, чтобы мы могли говорить о каких-то правах друг на друга? Если это так, то ты впадаешь в глубокую ошибку и готовишь себе страшное разочарование! Простой каприз, чисто шаловливое влечение кинуло нас в объятия друг друга, и... не находишь ли ты, что для простого каприза наши отношения затянулись слишком долго?

– Ты меня гонишь? – испуганно крикнул юноша.

– Да нет же, дурачок, я и не думаю гнать тебя, – мягко ответила креолка, – а просто взываю к твоему разуму. Разве мы смеем связывать себя какими-либо цепями? Ты – мальчик, перед тобою вся жизнь, ты должен думать о том, как обеспечить свое существование и облегчить борьбу. А я... ну, а я, друг мой, я – женщина, которая уже предвидит близкое увяданье, неизбежную старость; мне надо думать о том, как бы не упустить последних лет обаяния... Мне нужен муж, этим все сказано! Муж – это рента на склоне лет, любовник же сам пользуется процентами с молодости. Но куда девается вся шумная стая поклонников, когда женщина теряет свою привлекательность? Мне нужен муж, друг мой, вот о чем ты должен подумать на досуге, чтобы подготовиться ко всему!

Прощай, я тороплюсь! – и Жозефина направилась к дверям.

На пороге она остановилась, обернулась и с тревогой и нежностью посмотрела на Ренэ, который снова упал в кресло, закрыв лицо руками. Лицо креолки отразило колебание, борьбу...

– Нет! – прошептала она наконец, – я не могу, не смею показать ему, как он мне дорог! Мне нужен муж, этим сказано все! – и, словно убегая от соблазна, Жозефина поспешно скрылась.

Некоторое время Ренэ просидел в безмолвном отчаянии.

– Вы так любите ее? – послышался вдруг около его уха чей-то робкий голос.

Ренэ поднял голову: опираясь на ручку его кресла, стояла Луиза Компуен. Девушка была бледна и грустна, взор ее со скорбным восхищением был устремлен на поэта.

Несколько секунд Ренэ молча всматривался в лицо Луизы, которое красноречиво говорило ему о затаенной любви. Вдруг щеки юноши порозовели, в глазах сверкнула жизнь, и неожиданно для Луизы Ренэ протянул руку, крепко охватил гибкий стан девушки и зашептал, привлекая ее к себе:

– Я люблю только свою славу да тебя, Луиза! Что мне эта холодная, увядающая кокетка? Вот ты...

– Пустите меня! – крикнула Луиза вырываясь. – Как вы смеее говорить мне это, когда на ваших губах еще не остыли поцелуи другой? Я ненавижу вас, пустите!

– Тише! – все тем же серьезным, страстным шепотом оста-

новил ее Ренэ. – К чему ты делаешь вид, будто хочешь вырваться от меня? Вот я почти и не держу тебя, а ты бессильна разорвать цепи моих объятий! Прикосновение ко мне лишает тебя воли, силы, разума, а ты еще хочешь казаться гордой и негодующей! А что, если бы я оказался так наивен и поверил твоему возмущению? Что, если бы я выпустил тебя, извинился и ушел? Что, если бы для нас пропала лучшая минута жизни, та минута, когда любящие сердца впервые открывают друг друга? Ну скажи теперь сама, неразумная ты девушка, простила ли бы ты мне, если бы я не воспользовался теперь возможностью объясниться с тобою и равнодушно прошел мимо счастья?

Дрожь, пробежавшая по телу Луизы, была ответом Ренэ. Тогда юноша продолжал, еще сильнее сжимая стан девушки, еще ближе притягивая ее к себе:

– Ты говоришь, на моих губах не остыли поцелуи другой. Ну так что же? Разве ты хотела бы, чтобы в ожидании неведомой истинно любимой я отказался от всех радостей жизни? Да, если бы я встретил тебя раньше Жозефины, я не смог бы приблизиться к ней, но ведь это было бы несчастьем, Луиза! Подумай сама, что такое – ты и что такое – я! Ты – полугорничая, девушка без средств и связей, я – поэт, талант которого никто не станет признавать до тех пор, пока мое имя не будет на устах у парижских модниц и модников. Сначала слава, хотя бы дешевая, хотя бы дутая, а потом уже приходят признание, почет и деньги. Жозефина для меня – та ступень,

по которой я должен подняться к славе... Ты снова делаешь гневное движение? Опять готова негодовать? Ты находишь, что это безнравственно? Полно, милая девушка! Бывают положения, когда и нравственность, и безнравственность остаются где-то далеко внизу, далеко в стороне. Ах, нет ничего безнравственнее нищеты, потому что нет того зла, которое не рождалось бы из бедности! А я-то знаю ее, эту бедность! Вот... я сейчас все объясню тебе.

– Я родился и вырос в страшной нищете. Мой отец женился молодым на бедной девушке; говорят, из него вышел бы талантливый музыкант, но необходимость с молодых лет заботиться о семье не давала ему возможности работать над самоусовершенствованием, и отцу пришлось ограничиться скромной ролью скрипача в оркестре публичного бала. Тоска, забота, работа ночами в душной атмосфере зала подточили его здоровье. Он умер, оставив мать с тремя детьми, из которых я был самым младшим.

Начались дни такой нищеты, перед которой прежняя бедность казалась роскошью. Мать ничего не умела, ничего не знала. Она просиживала дни и ночи над тканьем ковров и вязанием кружев. Но ее руки и глаза не были приучены к этому с детства, она вырабатывала очень мало; к тому же наступили бурные времена, когда честный труд обесценился до последней степени. Наконец иссякла и эта скудная работа. Одна за другой уходили вещи из нашей домашней обстановки, одно за другим относились к старьевщику платья. Насту-

пила зима. Ради охапки дров и мерки картофеля пришлось продать кровать. Мы спали на голом полу, укутываясь в жалкие тряпки. Чтобы добыть что-нибудь для еды, мы со старшим братом, ему было двенадцать лет, мне – десять, рылись в помойках, отбивая у собак куски мяса, не успевшие окончательно разложиться.

Мать напрасно бегала по разным местам, выискивая хоть какую-нибудь работу, нигде не хотели иметь дело с такой оборванной нищей. Когда же она обратилась к благотворителям, те заявили, что мать слишком молода для подаяний и может работать. А священники, к которым мать обратилась за помощью во имя Христа, требовали доказательств, что мать исполняет все христианские обязанности, без чего они отказывались помочь. Словом, помощи неоткуда было ждать.

Наконец наступила развязка. Я помню этот страшный день в конце декабря. Уже близились рождественские праздники, на улицах царило страшное оживление, магазины были переполнены покупателями, на рынках высились громады мясных туш и целые горы птицы, а мы сидели в своей конуре, щелкая зубами, словно волки. Это был решительный день. В последнее время мать все шепталась с Леони, которой было уже пятнадцать лет. О чем у них шла речь, я не знал тогда; я видел только, что мать о чем-то умоляла сестру, просила ее подождать и потерпеть еще немного, а сестра отвечала, что это будет бесполезно. Накануне матери сказали,

что виконтесса де Ганото не отказала еще ни одному бедняку, обратившемуся к ней с просьбой. В этот день мать должна была сходить к виконтессе, и Леони заявила, что это – последняя отсрочка. Мать ушла, брат Жак тоже отправился побегать по улицам, дома остались только я и Леони. Бледная, задумчивая, необыкновенно красивая, несмотря на рубище и изможденность, сидела сестра у окна, не проронив ни слова все те два часа, которые мать отсутствовала. Наконец мама пришла. Еле ворочая языком, она сказала: «Сегодня ночью виконтесса умерла». Леони встала, подошла к матери со словами: «Ты видишь сама, что больше ничего не остается!», – поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты. Больше я никогда не видел ее. Уже впоследствии я узнал, что Леони стала одной из жриц разврата.

Словно подкошенная, рухнула мать на подоконник. Я смотрел на нее из своего угла, сознавал, что она страдает, но всякое сочувствие к ней заслонялось чувством адского, сверхчеловеческого голода. Вдруг дверь распахнулась, и вбежал сияющий, радостный Жак. «Мама! – крикнул он, высоко поднимая золотую монету над головой, – смотри, целый луи!» – «Двадцать франков! – воскликнула мать в ответ. – Жак! Откуда ты взял деньги?» Жак самодовольно рассмеялся и ответил: «Вот тоже хитрость! Надо быть круглым идиотом, чтобы не выудить чего-либо в этой сутолоке! Торговки на рынке совсем с ума сошли, их рвут на части, и, если бы я не торопился так домой, я мог бы добыть несколько таких

желтушек. Впрочем, и то сказать, нас там много». «Нас? – дико крикнула мать в ответ. – Жак! Ты ук... – она не договорила, схватилась за голову, потом продолжала каким-то странным, мертвым голосом: – Хорошо, спасибо, мой мальчик! Дай сюда деньги, я схожу куплю обед! У нас будет пир сегодня, мальчики!»

Мать пришла, нагруженная пакетами. Тут были всякие вкусные вещи, которые до сих пор мы видели лишь в витринах магазинов, были несколько бутылок вина и жаровня с углями. Словно в бреду, мы накинулись на еду и питье. Мы рвали руками ветчину, впивались пальцами в паштеты, вырывали друг у друга из рук бутылку, чтобы освежить пересохшее горло. Только мать ела и пила очень мало. И все время, когда она глядела на нас, с ее лица не сходила какая-то странная, бледная, жуткая улыбка.

Не столько от вина, сколь от непривычной сытости мы с братом быстро охмелели. Мать уложила нас в угол, прикрыла тряпками, и мы сразу заснули. Но вскоре я проснулся от какого-то непонятного ощущения тоски и страха. У меня слегка кружилась голова, сердце билось порывисто и нервно. С трудом подняв отяжелевшие веки, я увидел, что мать изо всех сил раздувает жаровню с горящими углями, над которыми плясали голубые огоньки. «Вот хорошо! – пробормотал я в полусне. – Теперь будет тепло!» – и снова забылся.

Проснулся я под влиянием тяжелого сна. Квартирный хозяин пришел требовать денег и, не получив их от нас, стал

душить меня. Я проснулся в состоянии полной расслабленности. Голову ломило, сердце билось до ужаса сильно, воздуха не хватало, словно меня и в самом деле кто-то душил. Голубые огоньки все еще танцевали над жаровней. На полу около жаровни в странной позе лежала мать. Меня охватил страх. Сознание было совершенно подавлено, но инстинкт подсказал, что надо бежать вон из этой комнаты. Медленно, с трудом принялся я ползти по полу. У меня хватило сил доползти до самой двери, но встать и открыть ее я не мог. И я лишился сознания у порога...

– Бедный, голубчик мой! – простонала Луиза.

– Утром, – продолжал Ренэ Карьо, – запах гари выдал соседям тайну происшедшего в нашей лачуге. Дверь в нашу комнату сломали и нашли там два трупа и один полутруп. Меня спасло то, что я лежал у порога, где из-под двери до меня все же доносилась струя чистого воздуха. Один из соседей, старый холостой столяр, взял меня к себе. Началась моя сиротская жизнь. Меня мало кормили и много били, но все же эта жизнь была райской в сравнении с прошлым.

Нужно ли останавливаться на подробностях моей дальнейшей жизни? Скажу одно, я напряг все усилия, чтобы выбиться. Я не спал, откладывал каждую копейку, которая случайно доставалась мне, но учился, учился и учился. Мне удалось поступить в лицей и окончить там курс. Во мне очень рано проявилась склонность к версификации, а ко времени окончания лицея я был уже зрелым поэтом, ученики и учи-

теля в один голос пророчили мне блестящую будущность, но... наступил страшный восемьдесят девятый год, и кому нужно было тогда лирическое щебетанье? Но я верил и верю в свое призвание, я не поддался соблазну взять какое-нибудь маленькое местечко, обзавестись семьей и жить в вечной борьбе за кусок хлеба, плодя нищих. У меня красивый почерк, я живу перепиской. Если бы я хотел, я был бы завален работой, но я беру работы ровно на такую сумму, чтобы можно было не умереть с голоду и прилично одеться. Все время – вот уже шесть лет! – я упорно работаю над своим поэтическим талантом. Я сижу месяцами над самым пустяшным стихотворением, отбрасывая все банальное, сглаживая малейшую шероховатость, выискивая новые формы и выражения. И теперь я могу смело сказать: я – законченный поэт! Мало кто может сравниться со мною в звучности, силе и красоте стиха, и если бы я издал книжку своих произведений, если бы на нее обратили внимание, мое имя сразу было бы известно.

Но положительных заслуг мало, надо иметь связи, надо уметь заставить заговорить о себе вне таланта, и только тогда заговорят о таланте. О, я знаю, если подождать еще десять, может быть, двадцать лет, слава все равно придет. Только, видишь ли, милая моя девушка, я... не могу больше ждать! Ни двадцати, ни десяти, ни даже трех лет я не выдержу. Я чувствую, что такая жизнь сжигает меня. На что мне слава, если я стану калекой? Нет, она должна прийти ко мне сейчас,

или я уйду из жизни совсем!

Луиза вздрогнула и инстинктивно схватила Ренэ за руки.

Благодарно пожав их, поэт продолжал:

– Два года тому назад я задумал написать одноактную пьесу в стихах под названием «Елизавета Тюдор». Я выбрал ту эпоху жизни королевы, когда молодость и привлекательность уже отлетели от нее и она с горечью сознает, что теперь могут любить лишь ее сан, ее власть, но не ее самое как женщину. И в самый разгар этих горьких дум Елизавета встречает юного графа Честера, сразу воспламеняется поздней любовью к нему, дает Честеру понять это, однако встречает с его стороны вежливый, но решительный отпор: Честер любит одну из придворных дам королевы и любим ею. В первый момент Елизавета загорается гневом; она хочет казнить любовников, упиться их муками, но гнев проходит, страдания обманувшегося в надеждах сердца слишком велики, чтобы его можно было погасить актом вульгарной тирании. И вот Елизавета сама соединяет любящих. А когда они, счастливые, уходят, королева в изнеможении опускается в кресло и говорит «под занавес» несколько простых слов о том, что ей «пора, пора!»...

– Как это должно быть прекрасно! – воскликнула Луиза.

– Нет, – просто возразил Ренэ, – как пьеса, как драматическое произведение «Елизавета Тюдор» не представляет собою ничего выдающегося. Но я поработал над стихом и могу сказать, что с внешней стороны пьеса должна произвести

большое впечатление. Пусть я покажусь тебе самовлюбленной бездарностью, но я смело скажу, что французская сцена еще не видала произведения, написанного так, как это, и подкупающее такой трогательной простотой, такой понятной и тем еще более трагичной драмой женского увядания. Только видишь ли, дорогая моя, я так много и страстно работал над своей «Елизаветой», что теперь долго не смогу ничего создать. Теперь у меня хватит сил еще на отделку некоторых мест, а затем пьеса должна быть поставлена, понимаешь ли: должна! У меня нет сил терпеть больше, двадцать пять лет я терпел нужду и лишения, двадцать пять лет отказывал себе во всем, но двадцать шестой год не должен застать меня в неизвестности и нищете. Или я буду знаменит, или меня не будет совсем. Понимаешь ли ты теперь, почему я впал в такое отчаяние, когда Жозефина заговорила со мною о разрыве? Кто, кроме нее, может открыть доступ на сцену моему произведению? Кто, кроме нее, может заставить все гостиные Парижа говорить обо мне? Я уже сказал тебе, что люблю только свою славу и тебя, но, ни то, ни другое недостижимы для меня без помощи Жозефины! Я давно уже заметил, какими глазами ты смотришь на меня, дорогая Луиза, и давно уже твоя любовь пробудила в моем сердце ответную страсть. Но я не коснусь тебя, я не заговорю с тобой о жизни вдвоем, пока не буду в силах оградить эту жизнь от нужды. Поэтому я молчал до сих пор... Ну, теперь ты знаешь все! Теперь суди меня, называй безнравственным, коварным... Ну что же ты

не начинаешь своей обвинительной речи?

Однако Луиза молчала. Крупные слезы текли из ее глаз, и горло перехватывала судорога рыданий!

Глава 4

Жозефина нарочно отправилась на вечер к Баррасу пораньше, так как хотела переговорить с ним о важном деле. На самом балу это могло и не удаться, так как Тереза Тальен, наверное, помешала бы им. Львица парижских «мервельезок» была слишком умна, чтобы ревновать Барраса вообще; она понимала, что нельзя требовать невозможного и что сластолюбивая натура Барраса не создана для верности. Считаюсь с этим, Тереза порою даже сама подсовывала новых гурий в Магометов рай Барраса, но не оправдала бы установившегося мнения о своем уме, если бы не соблюдала при этом известной осторожности и не устраняла тех, кто мог казаться опасным ее первенствующему влиянию на всесильного директора. Жозефина была как раз одной из тех, которые казались Терезе наиболее опасными. Было нечто такое в ленивой грации чувственной креолки, что неудержимо влекло к ней мужчин, что было способно надолго приковать возлюбленного к ее знойному телу. Тереза была подругой Жозефины, искренне любила креолку, но себя любила еще больше. И не для того с таким трудом вытеснила она Жозефину из сердца Барраса, чтобы дать подруге случай снова и еще крепче утвердиться там.

Если Жозефина и не отличалась особым умом, то у нее было много того женского чутья и такта, с помощью которых

дочери Евы порой проводят за нос мудрейшего и хитрейшего мужчину. Богарнэ сразу поняла, что борьба с Тальен ей не под силу, что победа сомнительна, а поражение будет равносильно смертному приговору, тогда как добровольное подчинение расположит в ее пользу подругу. Поэтому Жозефина сама помогла Терезе в ее игре и добровольно отстранилась. Однако она не порывала с Баррасом и по временам тайком виделась с ним, так как Баррас оставался главным источником ее средств к существованию. Но в последнее время Баррас стал уклоняться от свиданий и скупиться на подарки. Вот об этом-то и хотела переговорить с ним Жозефина Богарнэ.

Быстро скользнув через ряд нарядных залов, готовых встретить толпы самых изысканных гостей, Жозефина прошла прямо в кабинет Барраса, где хозяин, уже совсем одетый, просматривал какие-то бумаги.

– Однако! – весело воскликнула креолка, впархивая в комнату. – Сказать по правде, я не ожидала встретить у тебя такую роскошь, гражданин директор! С каким вкусом убраны комнаты, сколько света, цветов, нарядной прислуги!

– Здравствуй, милая Иейетта! – ответил Баррас, вставая и бесцеремонно целуя Жозефину в обе щеки. – Да, милая моя, сейчас, обходя комнаты, чтобы кинуть последний хозяйский взгляд, я сам невольно подумал, как преобразился Люксембург в каких-нибудь два месяца! Когда двадцать седьмого октября – или пятого брюмера по-республикански – мы, пя-

теро директоров, явились сюда, то не застали никакой мебели. Привратник Дюпон притащил охапку дров, развел огонь в камине и поставил перед камином четыре соломенных стула и колченогий маленький столик. У нас с собою были тетрадка почтовой бумаги и письменный прибор, предусмотрительно захваченный нами из комитета общественного спасения. В комнате стояла страшная сырость, от которой хуже, чем от мороза, пробирал озноб. Сырые дрова трещали, но не хотели разгореться ярким пламенем и согреть нас хоть немного. Только после долгих усилий пальцы, закостеневшие в этой холодной сырости, начали кое-как повиноваться нам, и можно было начать вести протокол первого заседания директории! Да, да! Никто, увидев нас здесь тогда, не поверил бы, что мы собрались с твердой решимостью спасти отечество, расшатанное пятилетними неурядицами. Однако не будем вспоминать! Ведь в прошлом было много мрачного и тяжелого, будем жить светлым будущим!

– Не одно мрачное и тяжелое было в прошлом, – мечтательно ответила Жозефина, – и не для всякого будущее представляется светлым! У меня по крайней мере в прошлом была твоя любовь, а в будущем – ничего!

– Надеюсь, ты не для того пожелала видеться со мною наедине, милая Иейетта, чтобы говорить о чувствах? – с тонкой улыбкой спросил Баррас.

– О, конечно, нет! – с некоторой досадой ответила креолка. – Бесплезной работой было бы оспаривать твое сердце,

тщательно расписанное по участкам и все сплошь сданное в краткосрочную аренду. Я только вскользь заметила, что участок, который был отведен мне, все урезывается.

– Значит, ты пришла потолковать о другом? – заметил Баррас, пропуская мимо ушей намек Жозефины. – Ну-с, так чем я могу служить тебе?

– Я пришла к тебе как к другу, чтобы ты посоветовал мне, как выйти из отвратительного положения. Мои денежные дела становятся все хуже и хуже; доходов нет, расходы растут. Ведь моему сыну Евгению уже четырнадцать лет, дочери Гортензии – двенадцать; их надо учить, одевать... Евгений становится юношей, у которого тоже имеются свои потребности, а следовательно, и свои расходы. А ведь и я молода, у меня свои личные расходы... Надо вести дом. Я просто с ума схожу, ломая голову, как вывернуться, как выйти из этого положения.

– Ну, у тебя может быть то утешение, что у Франции дела обстоят совершенно так же, лишь в несколько большем масштабе! Да, да, милая моя, экономический кризис – вообще бедствие, государственное и частное!

– Баррас! – воскликнула креолка вспыхивая. – Вот и видно, какие негодяи вы все, мужчины! У нас, женщин, всегда остается в сердце клочок добрых чувств, частица чистой дружбы к тем, кого мы любили прежде, а вот вы совершенно выкидываете нас из своей души, как только мы перестаем дразнить ваши чувства! Я пришла к тебе за помощью, как к

другу, а ты отделиваешься шутками дурного тона!

– За помощью? – повторил Баррас и, выдвинув ящик письменного стола, сухо спросил: – Сколько на этот раз?

– Гражданин Баррас! – бледнея от бешенства, сказала крепкая. – Если не ошибаюсь, когда-то вы именовались виконтом Поль де Баррас?

– О, революция бесследно смела все эти условности! – равнодушно отпарировал директор.

– А чувство чести, рыцарские обязанности к женщине – тоже условности, которые смела революция? – отрезала Жозефина.

На этот раз она попала в цель, задев больную жилку Барраса. Этот сластолюбец любил хвастать как раз своим рыцарством, а теперь оно так категорично бралось под сомнение! Он покраснел и отрывисто спросил:

– Что же тебе не нравится в моем поведении?

– То, что ты так грубо предлагаешь мне деньги, словно я ночная фея, пришедшая требовать расчета за услуги, то, что ты употребляешь все усилия, чтобы я поняла, насколько я тебе надоела, и – главное – что ты не хочешь даже понять, зачем я пришла. Ну дашь ты мне еще сегодня денег! Но разве это источник существования? Разве это – выход из затруднительного положения? Друг мой, я заслужила лучшее мнение о себе! Я могу принять подарок от друга, но не унижусь до того, чтобы жить подачками от отвергнувшего меня любовника!

– Прости, если я невольно обидел тебя, милая Жозефина, но я даже рад, что эта мнимая обида направила наш разговор на надлежащий путь! Мне приятно слышать, что ты судишь так здраво. Конечно, денежная помощь – лишь временное устранение признаков болезни, но не ее излечение. Деньги ты, разумеется, возьми, они тебе нужны. Вот! – Баррас сунул руку в ящик, захватил горсть золотых и, не считая их, высыпал деньги в сумочку креолки. – Но ты понимаешь сама, что желание быть щедрым не всегда идет рука об руку с возможностью быть им. Следовательно, истинной помощью с моей стороны будет, если я создам тебе независимое положение. Если бы ты была мужчиной, я мог бы дать тебе какое-нибудь место, синекуру... Но ты – женщина. Гарантией обеспеченности для тебя может служить только разумное замужество, о чем я уже давно твержу тебе! Ну, так выбери же себе мужа, и вот тогда я докажу тебе, что гражданин Баррас недаром именовался некогда виконтом де Баррас! Я дам тебе отличное приданое, а именно – все свое влияние для успешной карьеры мужа моей Иейетты!

– Да, хорошо тебе говорить – «выбери себе мужа»! – с досадой воскликнула Жозефина. – А откуда его взять?

– Ну, ты требуешь от меня слишком многого! – возразил смеясь Баррас. – Уж мужа-то ты должна найти себе сама! Впрочем, ведь я еще недавно говорил тебе, чтобы ты обратила внимание на генерала Бонапарта. Я уверен, что этот молодой человек взлетит когда-нибудь на небывалую высоту!

– Если бы я могла разделить твою уверенность, я сейчас же взялась бы за него. Но где доказательства, что Бонапарт будет играть какую-нибудь роль? А ведь если вы оставите его в таком положении, в каком он находится сейчас... Брр! Я просто вспомнить не могу без дрожи о моей встрече с ним у Терезы! Этот обтрепанный мундир, дырявые сапоги и специфический запах бедности, запах заношенного платья и подвальной сырости... Господи, да я умерла бы от отвращения в его объятьях!

– Ну, ну, не надо так преувеличивать, милая Иейетта! Во-первых, наш «генерал Вандемьер» теперь уже не имеет такого ужасного вида – он обмундировался, переменял комнату и вообще смотрится совсем молодцом. Но даже и в таком сравнительно приличном положении Бонапарта мы долго не оставим. Во-первых, он сам для этого – слишком большой человек. Отчасти в этом-то и затруднение. Мы не можем поручить ему командование какой-нибудь частью итальянской армии, так как наш воин совершенно отвергает тактику Шерера, и нельзя допустить, чтобы подчиненный шел наперекрест планам начальника. Ну, а поручить ему заменить Шерера, который терпит неудачу за неудачей... В сущности я, пожалуй, рискнул бы на это, потому что, по-моему, Бонапарта с его широкими планами ждет невероятная удача. Но мои товарищи против него и стоят за Шерера! Во всяком случае что-нибудь крупное скоро представится Бонапарту, и тогда он быстро отличится. Это – во-первых. Во-вторых, следую-

щее: раз Бонапарт станет твоим мужем, то мое личное к нему расположение подкрепится еще желанием быть полезным тебе. Тогда уже я на многое рискну, на что не хочу рискнуть теперь; тогда карьера Бонапарта будет сделана уже в любом случае, потому что на самом деле я все еще очень люблю свою Иейетточку, свою славную кошечку! Ты вот только что сказала неумное слово, назвав меня отвергнувшим тебя любовником. Ну как тебе не стыдно, Иейетточка? – взор Барраса скользнул по пышной фигуре креолки и загорелся знакомым Жозефине похотливым огоньком. – Я всегда рад провести с тобою час-другой наедине, и даже сейчас...

Однако он оборвал себя на полупhrазе, так как дверь кабинета раскрылась, и на пороге показалась Тереза Тальен.

Вопрос, с которым хотела обратиться к Баррасу Тереза, замер на ее устах, щеки слегка порозовели и в глазах сверкнуло ревнивое раздражение при виде Жозефины.

– Ба, ты здесь, Жозефина? – сказала она, подходя ближе. – Что же, это – деловое заседание?

– Да еще какое, Тереза! – весело подхватил Баррас. – Ты не можешь себе представить, до чего высоко стоят в глазах парижан власть и влияние директории и как безгранично расширяются функции! Гражданка Богарнэ решила, что ей не остается ничего иного, как только выйти замуж, и вот директория должна найти и посватать ей жениха!

– Ну и ты оказался на высоте этих новых обязанностей директора? – спросила Тереза, смеясь, хотя и кидая украд-

кой недоверчивый взгляд на застигнутую ею парочку.

– Да вовсе нет! – с гримаской отозвалась Жозефина. – Представь себе, Терезочка, он сватает мне Бонапарта, находя, что этот генерал-санкюлот сделает когда-нибудь блестящую карьеру!

– Что ж, по-моему, Баррас далеко не так неправ, как тебе кажется, Жозефина! – ответила Тереза. – Я тоже убеждена, что Бонапарт еще покажет себя. Да и вообще он очень подходящий муж для тебя! Конечно, он, наверное, моложе тебя, но... Ну, да мы об этом еще поговорим с тобою, Иейетта, а теперь необходимо обсудить нечто более экстренное и насущное. Позволь мне, Баррас, как приглашенной тобою хозяйке вечера, осведомиться, что будет предложено гостям в качестве развлечений?

– О, с этой стороны все обстоит совершенно благополучно, Тереза! – ответил Баррас. – Программа составлена очень обширно и разнообразно. В качестве боевых номеров назову тебе, например, Тальма, который прочтет с двумя артистками несколько сцен из какой-то трагедии...

– Из этих артисток одна, конечно, – Вангов? – спросила Тереза с лукавой улыбкой.

– Ну, конечно! Разве Тальма упустит случай показать с выгодной стороны эту хитрую девчонку, за которой он так отчаянно бегаёт и которая окрутит его вокруг пальца!

– Бедная Жюли! – вздохнула Тереза. – Ну а другая кто?

– Другая – некогда знаменитая Аделаида Гюс, гремевшая

при всех европейских дворах и ныне снова принятая на сцену «Комеди Франсэз». Я, по правде сказать, до археологии не охотник, но за Гюс особенно просил Тальма. Ну-с, затем Тренис поставит нам легенький балетный номер. А особенно ударным номером будет выступление Гара!

– Гара? – с величайшим недоумением произнесла Тереза.

– Уж не думаешь ли ты, что я пригласил участвовать в концерте Жозефа Гара? – воскликнул Баррас, покатываясь с хохота. – Нет, пусть уж этот скучный господин развлекает свое министерство юстиции, здесь же он будет лишь в качестве зрителя. Дело идет о его племяннике, Доминике. Он – прелестный певец, но его истинная сила не в этом. Доминик поразительно пародирует всевозможные инструменты, словно в этом человеке засел целый оркестр. Затем он может петь любым голосом – тенором, басом, сопрано, контральто, передразнить крик любого животного или птицы. О, с нашей легкой руки он быстро войдет в моду, и эти имитации дадут ему гораздо больше, чем его песенки! Ну-с, затем приглашено еще несколько серьезных певцов и музыкантов, а чтобы публика не скучала, между серьезными номерами несколько раз выступит Муссон!

– Ах, вот хорошо! – воскликнула Жозефина, по-детски захлопав в ладоши. – Как я люблю Муссона, что это за веселый, остроумный клоун!

– Ну а я нахожу его вульгарным, – возразила Тереза. – Но не будем спорить, у всякого свой вкус. Итак, эта часть

вечера обстоит как следует. Теперь относительно буфета. Я думаю... – и Тереза Тальен погрузилась в дебри тончайших хозяйственных соображений.

– Смотри, Мари, хорошо ли ты проштудировала свою роль? – шепотом спросил Тальма молоденькую Вангов, отведя ее в угол сборной комнаты. – Ты выступаешь перед избранным обществом, и очень важно...

– Ну вот! – перебила Тальма артистка с лукавой улыбкой. – Все равно никто не обратит на меня внимания, которое будет целиком обращено на Гюс!

– Да нет же, Мари, ты ошибаешься! Твоя роль более выигрышна, и в ней...

– Господи, да разве я об этом говорю! В театре на репетициях Гюс стоит за кулисами без всякой роли, а между тем мы сбиваемся с реплик, заглядываясь на нее! Просто умора берет смотреть, как эта старая дура ест тебя глазами! Несравненный Франсуа Тальма, на вашу долю выпала незаурядная честь и редкое счастье стать предметом страстной любви самой Аделаиды Гюс!

– Не говори гадостей, Мари!

– Извольте не точно выражаться! Я говорю не гадости, а о гадости!

– Как ты зла! Гюс – очень приличная женщина, которая много страдала и грешила, но искренне любит искусство и...

– И, конечно, любитесь не на красавчика Тальма, а на ве-

ликого артиста? Ну до чего вы, мужчины, тщеславны, просто ужас! Влюбись в вас старый шелудивый козел, так вы и в нем будете находить приятность и достоинства!

– Ты – злобная, бессовестная дрянь! – окончательно рассердился Тальма и, отвернувшись от продолжавшей смеяться Вангов, подошел к скромно сидевшей в углу Адели.

Но его неприятно поразило, какой радостью осветилось лицо Гюс при его приближении. Хотя Тальма и прикрикнул на задорную Вангов, но он и сам замечал порой, что Адель чересчур млеет перед ним. До сих пор Тальма объяснял это некоторым раболепством артистки, бывшей долго без ангажемента и боявшейся потерять службу из-за недостатка угодливости. Теперь ему вдруг пришло в голову, что Мари, пожалуй, права. Он тут же отогнал от себя мысль, показавшуюся слишком чудовищной, нелепой, но на душе у него все же остался горький осадок. Тальма не знал, как ему быть. Он не мог отвернуться от Гюс на полдороге и не хотел подойти к ней. Его выручил сигнал, которым всех троих просили пожаловать на эстраду.

Хотя во время читки Адель действительно «ела глазами» Тальма, хотя Вангов, от души забавлявшаяся ужимками Гюс, читала прескверно и порой пропускала и комкала реплики, это осталось совершенно незамеченным публикой. Ведь среди всех присутствующих не нашлось бы и десяти человек, которым говорила что-нибудь серьезная классическая поэзия. Конечно, было интересно посмотреть на знаменито-

го Тальма «в натуре», посудачить насчет «бесенка Вангов» и вспомнить какое-нибудь легендарное приключение Аделаиды Гюс, о котором тот или иной «инкруаябль» слышал от своего отца. Но сама пьеса не интересовала никого, и Адель с грустью слушала, какими бурными проявлениями восторга встретила публика выход клоуна Муссона.

В артистической комнате Гюс, сошедшая с эстрады позже всех и несколько задержавшаяся в зале из-за Муссона, застала Тальма шепчущимся с Вангов. Адель знала, что их обоих связывает зарождающаяся любовь, но это не причиняло ей ни малейших страданий. Она понимала, что уже не может соперничать ни с кем на свете, что сердце Тальма никогда не будет принадлежать ей. Но в самообмане страсти Адели казалось, что у Тальма все-таки есть чисто физическое влечение к ней. Эх, один бы только раз испытать взрыв чувственного упоения, один только раз пережить восторги разделенной страсти, а потом... потом хоть и в могилу! И вспоминая свою жизнь, вспоминая, что она так много служила чужим прихотям чувственности и так мало могла следовать своим, Адель невольно кинула на Тальма молящий, томный взгляд.

Уловив этот взгляд, Вангов хихикнула и подтолкнула локтем Тальма. Артист вспыхнул, вскочил и резким тоном обратился к Адели:

– Я должен сделать вам замечание, Гюс, по поводу вашей читки! Неужели вы не понимаете сами, что читать пьесу не значит играть ее? Насколько актер должен всем телом

переживать исполнение, настолько же отец должен не изменять полному спокойствию, ограничивая переживания одними интонациями голоса. А вы гримасничаете, делаете какие-то нелепые телодвижения...

– Да, да! – подхватила хихикнув Вангов. – Можно было подумать, что вы и в самом деле влюблены в вашего партнера... не по пьесе только, а и на самом деле.

– Ну, а если бы так и было? – грустно, но совершенно спокойно спросила Адель.

– Вот это мне нравится! – воскликнула Вангов. – Да, тут есть от чего со смеха лопнуть! Вы, конечно, шутите, потому что не можете не понимать, что в известном возрасте любовь становится смешной для того, кто ею воспламеняется, и оскорбительной для того, на кого она обращена!

– Я, конечно, шучу, – с прежним грустным спокойствием ответила Адель, – но и вы ошибаетесь со всей самонадеянностью молодости, еще не знающей, что за страшное понятие – жизнь! Именно потому, что любовь не разбирает возраста, она не может быть смешна, как не смешно, если взрослый человек заболевает корью. И любовь, и корь тем и отличаются, что чем позднее поражает это несчастье человека, тем оно опаснее... Ну, а что касается оскорбительности... Разве для Бога оскорбительно, что ползучий червь славословит Его так же, как и светлый ангел? А ведь для женщины любимый – всегда Бог! Но ведь вы молоды, еще не знали истинных страданий. Вы никогда не кинули бы мне этих пре-

зрительных, обидных слов, никогда не заговорили бы о моем возрасте, если бы понимали, какой глубокой трагедией и без того полно увядание женщины, некогда по праву считавшейся красавицей. Если в эту трагедию замешается еще любовь, то для женщины в этом такое проклятие, перед которым далеко отступает все смешное и оскорбительное... Но вы еще не понимаете этого! Дай Бог вам никогда не понять!

Адель поклонилась Тальма и Вангов и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Но артист остановил ее:

– Пойдите, я еще не все сказал! Я указал на недостаток вашего исполнения, но не успел похвалить вас. А вы заслуживаете похвалы, потому что читали прекрасно, как и не снилось этой маленькой злючке! Я всегда рад иметь вас своим партнером. А на Мари вы не обращайте внимания. Она – просто шаловливый ребенок, не понимающий того, что болтает! Ее только и хватает, что на такие выходки, а вот поработать над ролью – это ей не по нраву! Но погодите, Гюс, мы еще покажем с вами всем этим смешливым дурочкам, что значит истинная школа!

Гюс снова молча поклонилась и вышла из комнаты. Она не могла выговорить ни слова в ответ на ласковую речь Тальма – до такой степени острое блаженство переполняло ее сердце. Значит, он все-таки оценил ее! Ведь он заявил, что всегда рад иметь ее своим партнером, морально поставил Вангов в угол, не постеснялся вступить за нее, Адель, и указать этой девчонке ее настоящее место! Неужели и в са-

мом деле у Тальма, пробудилось некоторое влечение к ней? А почему бы и нет? Что значит возраст? Женщине столько лет, сколько ей кажется!

Полная сладких дум Адель не шла, а словно плыла по залу, будто боясь расплескать переполненную чашу с драгоценным напитком. Адели было даже неприятно, когда ее остановила Тальен и сказала несколько комплиментов, пробудивших артистку от ее нежных грез, и уже совсем невыносимым показалось, когда собеседник Терезы, генерал Бонапарт, атаковал ее целым градом вопросов. Адели страстно хотелось уйти скорее домой, в тишину своей комнаты чтобы остаться наедине со своими грезами, а тут ей приходилось рассказывать пытливому воину, что представлял собою Григорий Орлов, правда ли, что Алексей Орлов в военном деле был полным ничтожеством и что его победа при Чесме – простая случайность. Не ограничиваясь Россией, Бонапарт перескочил на Швецию, стал расспрашивать о короле Густаве Третьем, павшем жертвой покушения три года тому назад, об Анкарстреме, его убийце, о тамошних генералах. К счастью, Адель выручила креолка Богарнэ.

Жозефина с самого начала вечера решила присмотреться поближе к «генералу Вандемьеру», но это было легче сказать, чем сделать. Рой модниц окружил модного генерала, дамы и девицы наперебой ухаживали за ним, а когда началось концертное отделение и толпа вокруг героя дня несколько поредела, госпожа Шато-Реньоль увлекла Жозе-

фину в зрительный зал. Креолка кое-как отделалась от подруги, любезность которой теперь казалась просто навязчивой, снова вернулась в салон, но застала Бонапарта в оживленной беседе с тремя «мервельезками». Попытка Жозефины обратить на себя внимание Наполеона не увенчалась успехом: он ее просто не заметил. Горячая досада вспыхнула в сердце Жозефины, и, стиснув зубы, она поклялась, что пустит в ход все свое обаяние и затмит для молодого генерала всех остальных женщин. Но в данный момент пришлось с равнодушным видом отойти в сторону и пройти дальше, будто она только так, случайно остановилась возле группы.

Обойдя еще раз комнаты и поболтав кое с кем из гостей, Жозефина снова вернулась в салон. Еще у дверей она заметила, что Бонапарт беседует с Аделаидой Гюс. Ну это не опасна ей! Жозефина поспешно двинулась к ним; ее глаза горели, грудь бурно вздымалась. Бонапарт по-прежнему не привлекал ее как мужчина, по-прежнему она находила, что даже в целых сапогах и новом мундире генерал слишком далек от идеала изящного «инкруаябля». Но Бонапарт был окружен дамами, его улыбки домогались самые модные львицы, в нем заискивали самые гордые «мервельезки». Неужели же она, Жозефина, допустит, чтобы кто-нибудь восторжествовал над нею и она потерпела неудачу там, где другая сможет похвастать успехом?

– Мой милый генерал! – заговорила Жозефина, играя влажным блеском томных глаз и пленительно улыбаясь. –

Позвольте мне напомнить вам о себе. Осенью я имела счастье встретиться с вами у Терезы Тальен. О, с того времени многое изменилось! Скромный боевой генерал, осыпаемый безвкусными шутками разнузданной, пустоголовой молодежи, превратился в блестящего героя, в спасителя отечества, которому в особенности обязаны мы, парижане. Позвольте же мне присоединить свой скромный голос к общему хору, прославляющему героя тринадцатого вандемьера!

Бонапарт равнодушно скользнул взором по фигуре Жозефины и с сожалением посмотрел вслед Адели, которая поспешила воспользоваться вмешательством креолки и скрыться домой. Она была рада избавиться от докучливых расспросов генерала, ей хотелось остаться наедине со своими чувствами!

Однако Жозефина кончила свою льстивую речь, надо было ответить ей что-либо.

– Вы слишком добры! – отрывисто, словно отрубая саблей каждое слово, сказал Бонапарт. – Я лишь исполнил свой...

Говоря это, Бонапарт равнодушно поднял взор к лицу Жозефины и вдруг остановился, пораженный и восхищенный. Слово электрический разряд коснулось его из этих глаз, полных страсти, призыва и обещаний! Где-то в дальнем уголке души Бонапарта вдруг блеснуло полуосознанное предчувствие, что эта женщина должна сыграть большую, серьезную роль в его жизни.

Волнение, так красноречиво и явно охватившее молодого

го генерала, невольно заразило и Жозефину. Женщина не может оставаться равнодушной, когда видит, что произвела сильное впечатление. Богарнэ тоже на мгновение показалось, что какой-то указующий перст ведет ее судьбу к этому некрасивому, бледному юноше!

Некоторое время они простояли молча. Наполеон пожирал взорами Жозефину, все более восхищаясь ею, все более недоумевая, как мог он раньше не заметить ее, а креолка молчала, объятая непривычным томным смущением.

Жозефина первая очнулась.

– Однако что же мы стоим с вами, генерал? Хотите, присядем? – с застенчивой улыбкой спросила Жозефина, указывая кивком головы на уютный уголок около трельяжа с цветами.

Там они и уселись, там и просидели большую часть вечера. Мимо них проходили толпы гостей, к ним врывались звуки бальной музыки, порою кто-нибудь подходил к ним и обращался с каким-нибудь вопросом, замечанием, шуткой. Ни Жозефина, ни Бонапарт ничего не слышали, ни на что не обращали внимания. Они были глухи ко всему, кроме того сладкого волнения, в которое погружала их обоих близость друг к другу. Они мало говорили, больше молчали и глядели друг на друга, но это молчание было красноречивее самых громких фраз, самых страстных признаний.

Так прошел вечер. Не дожидаясь окончания бала, Жозефина и Бонапарт по молчаливому уговору незаметно

ускользнули из Люксембурга. Наполеон проводил креолку до дверей ее дома. Здесь Жозефина неуверенно пробормотала:

– Я – дома... До свиданья и спасибо, генерал! Надеюсь, вы не забудете меня?

Ничего не отвечая, Бонапарт взял креолку под руку и увлек ее в квартиру. Жозефина не могла ни протестовать, ни сопротивляться, ее воля была парализована. Она сама не понимала, что происходит с ней, досадовала на свою связанность, но не была в состоянии разорвать сковывавшее ее оцепенение. От Бонапарта исходила какая-то властная струя, порабощавшая и исключавшая возможность сопротивления.

Глава 5

На следующий день Тальен и Шато-Реньоль, подстрекаемые любопытством, отправились, на правах добрых подруг, проведать Жозефину, чтобы разузнать подробности приключения, о котором уже болтали языки светских кумушек. Ведь все заметили, что остаток вечера Жозефина и Бонапарт провели вместе, многие видели, как они ушли вдвоем, не дожидаясь конца празднества, а так как податливость чувственной креолки была широко известна, то никто не сомневался, что, провожая Жозефину, Бонапарт мог зайти очень далеко. Вот и интересно было узнать подробно, как и что.

Кроме того, Терезу Тальен это приключение интересовало еще и лично. Если Жозефина увлечется Бонапартом или решит выйти за него замуж, тогда Баррас станет уже вне посягательств Жозефины, и она, Тереза, может не бояться ее соперничества. Поэтому Тальен было вдвойне интересно разузнать от подруги все подробности.

Когда Жозефина вышла к подругам, те ахнули при виде нее. Бледная, словно вдруг похудевшая, креолка казалась перенесшей тяжелую, изнурительную болезнь.

– Что с тобой, дорогая? – воскликнула Тереза.

– Ах, не спрашивай!.. – безжизненным тоном ответила Жозефина, устало опускаясь на стул.

– Но ты пугаешь и интригуешь нас, Иейетточка! – подхва-

тила Шато-Реньоль. – Слухи о твоей победе над блестящим победителем уже облетели весь Париж, и мы рассчитывали застать тебя... ну, утомленной, томной, пожалуй, но во всяком случае счастливой, а у тебя такой вид, словно ты пережила целую трагедию!

– Больше, чем трагедию! – устало ответила Жозефина, каким-то пустым, невидящим взором глядя в пространство. – Я пережила кошмар, лихорадочный бред, безумие. Ах, вы не можете представить себе... – и Жозефина неожиданно расплакалась.

Подруги кинулись к креолке, и, когда удалось немного успокоить ее, она рассказала им, что собственно повергло ее в такое состояние.

Жозефина испытала многое на свете и перевидала всякие типы мужчин. Ей приходилось встречать робких влюбленных, способных месяцами вздыхать, не осмеливаясь приблизиться к предмету своих грез. Встречала она и таких, которые подкупали именно своей смелостью, умели решительным натиском побороть и решить в свою пользу колебания возлюбленной. Но всегда и во всех случаях любовь увенчивалась после некоторого искуса, после более или менее долгой поэмы нарастания чувства. А этот варвар – Бонапарт – просто схватил, смял, скомкал ее, как законную добычу. Он ничего не спросил, ни о чем не осведомился, ни с чем не захотел считаться, а просто взял, будто в данном случае весь вопрос был лишь в его желании, в его воле. И это бесконечно

унижало Жозефину. Будто она – не человек, а просто животное, предназначенное служить капризу и прихотям первого встречного господина! И еще более унижало ее в собственных глазах, доводило до полного отчаяния, до сумасшествия сознание, что как ни возмущается она грубым насилием этого солдафона, а войди он сейчас в комнату, только посмотри на нее своим зачаровывающим, полным властного огня взором, – и она снова будет безвольной, покорной рабой в его руках!

– Кто бы мог подумать! – воскликнула Реньоль. – А ведь генерал выглядит в обществе таким застенчивым, таким скромным, серьезным! Вот уж правду говорит пословица, что «нет опаснее вод, чем стоячие» (Соответствует русской пословице «В тихом омуте черти водятся».)!

– Ну, Жозефина, – заметила с довольной улыбкой Тереза, – ты забываешь, что Бонапарт по профессии – воин и что героям свойственно быть стремительными в натиске! Они берут крепости, как женщин, и женщин, как крепости. Уже из этого эпизода ты можешь заключить, что наш генерал имеет все данные выдвинуться на поприще, где все достигается быстротой и энергией, и что, следовательно, его карьера, в которой ты сомневалась, обеспечена. Впрочем, после всего случившегося твои сомнения уже не играют роли, и если Бонапарт так властен, как ты говоришь, то, наверное, мы скоро будем пировать на твоей свадьбе!

– Никогда! – крикнула Жозефина, вдруг обретая утрачен-

ную энергию. – Чтобы я стала женой, то есть постоянной жертвой этого неистового зверя? Никогда! Говорю тебе, Тереза, это – не человек, а дикий зверь, волк, тигр! Целуя, он кусает, а обнимая, душит! Посмотри на меня – я вся истерзана, смята, растоптана, я сама на себя непохожа! Да и можно ли выдержать постоянную совместную жизнь с человеком, который до такой степени переполнен сам собою, словно губка водой! Он замучил меня не только неистовыми объятьями, но и бесконечными разговорами о самом себе. Порой я начинала бояться, не одержим ли он опасным помешательством. Он вырывался из объятий, принимался бегать по комнате и кричать что-то бредовое про свои великие планы, про свое предназначение осуществить великую миссию. Господи, да разве я помню, что еще кричал он? Я не поняла половины, да и где мне было понимать что-либо, когда я только тряслась, словно осиновый лист, и чувствовала себя ягненком, ожидающим заклятия на ступенях алтаря! Ах, что это за странный, непонятный человек! Быть его женой? Да разве можно выдержать долго в атмосфере палящей сухости, веющей от него, разве можно долго прожить, сознавая, что рядом с этим человеком ты – ничто, что он заполнил своим «я» весь мир, не оставляя тебе свободного местечка, чтобы вздохнуть. Нет, если бы случилось такое несчастье, что я должна была бы стать его женой, это продлилось бы недолго. Скоро наступил бы момент, когда я подсыпала бы ему в питье яд или поразила бы его ночью кинжалом.

– Ну, ну, все это не так страшно, как кажется! – заметила Тереза, вставая со стула и касаясь губами лба Жозефины в прощальном поцелуе. – Важно то, что Бонапарт вызвал в тебе сильное чувство, и если пока это чувство и граничит с ненавистью, то до любви тут один шаг! Поживем – увидим.

Тальен и Реньоль ушли.

Вскоре явился Карьо. Поэт хотел привычным жестом обнять бледную, задумчивую креолку, но она мягко отстранила его и решительно сказала:

– Нет, нет, Ренэ, с этим кончено, и кончено навсегда! Еще вчера мне казалось, что у меня не хватит сил расстаться с тобой. Но сегодня я уже гляжу на тебя, как на далекую тень, и не верится, что еще вчера я была близка тебе! Да, друг мой, бывают годы, которые словно стоят на месте, и бывают дни, которые опережают нас на годы! Увы, милый мой, капризная, своенравная Жозефина нашла своего господина, который властен распоряжаться ею, как безвольной рабой. Между нами все кончено, милый Ренэ!

– Все? – воскликнул Ренэ бледнея. – Как, из-за того, что ты полюбила...

– Я не полюбила, а возненавидела, потому что не может раба не ненавидеть своего господина! Но в этом новом роковом чувстве вся любовь к тебе растворилась без следа!

– Пусть так! Пусть ты не полюбила другого, а просто разлюбила меня. Но только, Жозефина, любила ли ты меня действительно когда-нибудь?

– О, да, Ренэ, о, да!

– О, нет, Жозефина, о, нет! Ты сама сказала вчера, что мы просто нравились друг другу, чувствовали взаимное влечение и, как свободные люди, позволили себе роскошь отдать-ся ему. Но раз мы потеряли эту свободу, мы порываем как любовники. Это я понимаю. Но неужели нас связывало лишь чувственное влечение? Неужели во мне самом ты не нашла ничего такого, что казалось бы тебе нужным и ценным?

– Нет, Ренэ, я всегда буду с нежностью думать о тебе. Но... вот пришел человек, который захватил меня всю, без остатка. Потерпит ли он, чтобы около меня был посторонний?

– Неужели же ты пойдешь в такое рабство? Неужели согласишься подчинить всю себя чужому желанию вместе с телом, мыслями, волей?

– Ах, что я знаю?... Бонапарт...

– А, так это – он!

– Бонапарт взял меня, словно законную добычу, и как могу я знать, насколько глубоко раскинется надо мною его власть? Быть может, я найду в себе силы быстро и легко сбросить навязанные им оковы, быть может, с каждым днем стану все безвольнее отдаваться зачаровывающей власти его взгляда... Ах, я ничего-ничего не знаю... Но в качестве кого представлю я тебя? В качестве вчерашнего любовника?

– Нет, зачем же... Хотя бы... в качестве молодого поэта, ищущего покровительства влиятельной великосветской львицы! А ведь твое покровительство и в самом деле очень

нужно мне именно в данный момент!

– Да? – сухо и коротко спросила Жозефина, вспыхивая и подозрительно глядя на юношу. – Знаешь, друг Ренэ, мне начинает казаться, что это – вообще единственное, что тебе было нужно от меня! Значит, твои ласки расточались не женщине, а просто влиятельной личности?

– Полно, Жозефина! – спокойно ответил поэт. – Посмотри на себя в зеркало, и ты увидишь, можно ли подозревать кого-нибудь, что тебя ласкали с корыстной целью!

Жозефина не успела ничего ответить, так как дверь раскрылась и в комнату вошел Бонапарт.

Ренэ встал, вежливо поклонился ему и скромно вышел. Бонапарт проводил его хмурым, подозрительным взглядом и затем отошел к окну, где встал, молча скрестив руки на груди. Он был очень бледен, глубокое внутреннее волнение ясно отражалось на его лице.

Жозефина смотрела на юного генерала и не верила своим глазам. Что за наваждение нашло на нее вчера! И этого-то скромного, застенчивого юношу она приняла вчера за какое-то дикое животное, за нравственного гиганта, покоряющего, подавляющего своей мощной индивидуальностью?

Жозефина усмехнулась. Кора боязливой скованности спадала с ее сердца, горячая радость заливала душу. Свободна, свободна! Все было дурным сном, все было плодом разыгравшегося воображения!

Прошло несколько минут в молчании, во время которо-

го Бонапарт несколько раз порывался заговорить, но каждый раз смолкал, в нерешительности покусывая губы. Наконец он превозмог свое смущенье и начал, запинаясь и с трудом подыскивая выражения:

– Жозефина! То, что... случилось вчера... счастье, которым ты... меня...

– Как? – в притворном гневе перебила его Жозефина, – да вы не только осмелились явиться сюда после вчерашнего, генерал, но еще без стыда и совести решаетесь заговорить о том, что произошло? Вы позволили себе вчера воспользоваться беззащитностью одинокой женщины, вы нагло...

– Жозефина! – крикнул Бонапарт, в свою очередь перебивая креолку. – Если бы я не знал, что за этими пустыми фразами скрывается лишь простая женская игра, я заставил бы тебя дорого поплатиться за это лицемерие! – он сделал шаг вперед к Жозефине, осыпал ее молниями сверкающих взглядов, и снова Жозефина увидела того гиганта, который накануне властно поработил ее в одном порыве не ведающей преград страсти. – Но и игры я тоже не допущу в такой важный момент жизни! – уже спокойнее продолжал Бонапарт, меряя комнату резким, четким шагом. – То, что случилось вчера, не было игрой случая! Нас толкнула в объятия друг друга сама судьба, давно готовившая нас друг для друга. И не ради пустого удовлетворения плотских страстей, не ради низменного чувственного каприза сделала она это, о, нет! Жозефина, – Наполеон остановился и широко развел рука-

ми, – если бы ты только знала, какой пряный, волнующий, мятежный дух исходит от тебя! Я опьянен тобою, мой мозг горит, сердце разрывается в жажде подвига! Некоторые дикари поят своих воинов наркотическим питьем, и тогда воины, как безумные, кидаются вперед, все опрокидывая на своем пути. Вот и я, как подобный воин, опьянен тобою, я чувствую, что нет предела моему дерзновению, пока меня вдохновляет хмельная волна, исходящая от тебя! О, никогда в жизни не испытывал я еще такого влияния женщины! Пусть только твое имя будет у меня на устах, и я пронесу его с победным кличем по всему миру! Высоко взметнусь я, опьяненный тобою! Ах, Жозефина, как я полон тобою... – Наполеон подошел к креолке, опустился на пол и, положив ей голову на колени, опять стал маленьким, тихим, скромным, когда, словно засыпая, договорил: – И как я устал!..

– Ну вот, ну вот! – растерянно пробормотала Жозефина, тронутая помимо воли. – Ну вот, – повторила она и, подчиняясь неосознанному движению чувств, положила ему руку на голову и стала проводить ею по волосам, словно мать, успокаивающая огорченного ребенка. – Боже мой, ну что это за человек, из каких противоположностей соткана его натура! Ах, Бонапарт, Бонапарт, ты говоришь о любви и в то же время держишь себя так странно, что скорее отпугиваешь.

– Я много страдал, Жозефина, – тихим, словно виноватым голосом ответил Бонапарт, не поднимая головы с колен. – Вследствие постоянных лишений, огорчений и обид харак-

тер у меня стал страшно неровный. Но ты выровняешь его, Жозефина, когда станешь моей милой, дорогой женушкой!

– Твоей женой? – воскликнула Богарнэ. – Никогда!

Бонапарт вскочил с пола.

– Никогда? – неистово крикнул он, и опять его взоры заметали молнии. – Так что же, ты и в самом деле думаешь, что вчерашнее было простым приключением, обычным в вашем разнузданном Париже, не накладывающим никаких обязательств? Так ты думаешь, что я удовольствуюсь, сомнительной ролью любовника на час, с которым не считаются, которому...

– Но я ничего не говорю! – испуганно возразила Жозефина. – Я неправильно выразилась... Я хотела только сказать, что сейчас рано говорить об этом... Все произошло так случайно... Мы так мало знаем друг друга... Потом будет видно, но нельзя же решать так вдруг.

Она замолчала, испуганно исподлобья глядя на Бонапарта. Молчал и Наполеон, пронизывая креолку мрачным взглядом.

– Ты играешь в опасную игру, Жозефина! – сказал он наконец, и каждое его слово ударом молота падало на сердце креолки. – Все равно, ты не доросла до того, чтобы бороться со мною! Как бы ты ни сопротивлялась, раз я захотел этого, ты станешь моей женой так же, как стала любовницей! Но смотри: быть может, настанет день, когда каждое твое теперешнее «нет» всей тяжестью обрушится на тебя! Берегись,

Жозефина! Твоя молодость все равно будет принадлежать мне, но как бы ты не приуготовила себе печальной старости!

В жизни часто случается, что ряд узлов, безнадежно завязавшихся над чьей-нибудь судьбой, вдруг распутываются благодаря пустой случайности. Так и тут несколько узлов в жизни ряда лиц вдруг развязались вследствие совершенно случайного совпадения обстоятельств.

Ренэ Карьо отделал свою пьесу «Елизавета» и метался в отчаянии, не зная, как пристроить ее: он уже не раз говорил об этом с Жозефиной, но креолка была в последнее время задумчива и рассеянна.

Франсуа Тальма брюзжал на весь Божий свет, так как у него не было новой пьесы с выигрышной ролью для него. Старые пьесы начали приедаться, их нельзя было часто ставить, а в новых, как на зло, не было роли.

А Аделаида Гюс переходила от отчаяния к бешенству, от бешенства к отчаянию. Ей вообще не давали ролей! Прошел ноябрь, прошел декабрь; по прежнему летоисчислению наступил Новый год, а она все еще не была ни разу занята. Адель не раз обращалась с жалобной претензией к Тальма, но великий артист только пожимал плечами и ссылался на невозможность сделать что-либо в данный момент: роли старого репертуара расписаны, а нового репертуара пока еще нет. И Адели приходилось толкаться незанятой, лишней за кулисами, с завистью поглядывая на кипучую работу других.

И вдруг все это сразу развязалось, вдруг все трое преисполнились пламенных надежд и радости. Правда, надежды не оправдались, правда, радость оказалась кратковременной. Но судьба преследует свои особенные цели, скрытые до поры до времени от понимания людей. Плетет и плетет старуха-судьба свою сеть, улавливая в нее людей, мнящих себя героями и остающихся пустыми марионетками в руках рока. В это время прозорливая, великая женщина (Екатерина Великая – Гримму, письмо от февраля 1794 г.) писала одному из своих зарубежных друзей: «Если Франция выйдет из теперешних затруднений, она станет могущественнее прежнего; но ей нужен человек, выходящий из ряда, искусный, отважный, стоящий выше своих современников, а может быть – и выше своего века. Родился ли такой человек? От этого зависит все!» Крушение надежд, даже гибель жизней, родившиеся из этой счастливой по виду случайности, оказались нужными судьбе для доказательства, что такой человек родился и что он действительно стоял выше современников и века!

Что же произошло? Да сущие пустяки! Просто генерал Бонапарт приревновал Жозефину к Ренэ Карьо!

Уже несколько раз случалось, что Наполеон заставлял у своей возлюбленной юношу, сейчас же уходившего при его появлении. Бывало и так, что, уходя от Жозефины, Бонапарт встречал Ренэ, направлявшегося туда.

Однажды поэт явился к Жозефине со своей пьесой в кармане, не зная, что у креолки в этот момент находится Напо-

леон. Впрочем, даже и зная это, Ренэ не повернул бы обратно, как обыкновенно, а все равно прошел бы к Жозефине. Юноша был взволнован до полного отчаяния. Как говорил он Луизе, он уже не мог долее ждать признания и успеха, так как все жизненные силы иссякли у него за долгие годы страданий и лишений. Вот уже целую неделю он приставал к Жозефине, чтобы та дала ему возможность ознакомить избранное общество с пьесой. Пусть вдова Богарнэ устроит у себя небольшой вечер для избранных, пусть она пригласит туда влиятельных лиц от политики, литературы и театра для прослушивания пьесы, которую прочтет Ренэ; тогда по их реакции сразу будет ясно, может ли он, Ренэ, ожидать чего-либо от своего таланта.

Но Жозефина рассеянно выслушивала юношу, не говорила ни «да», ни «нет» и, по-видимому, даже не давала себе труда понять, что именно он хочет от нее. Ей и действительно было не до него. Бонапарт становился все настойчивее в своих домогательствах ее руки, все властнее предъявлял свои права на нее. Между тем креолка уже теперь, когда они не жили вместе, а только часто виделись, находила невыносимыми оковы, наложенные на нее ревнивым, властным возлюбленным. Что же будет, когда она станет его женой? К тому же в последнее время Баррас снова стал проявлять к креолке особый интерес. Сластолюбивый директор дал понять Жозефине, что Тереза Тальен уже прискучила ему своей опекой, но в ее руках находятся некоторые важные тайны,

что заставляет его быть крайне осторожным. Однако при малейшей возможности... Жозефина уже предвкушала торжество над подругой и в счет этой «первой возможности» уже охотно подарила Бар-расу два поэтических свидания наедине. Да, да, связь с Баррасом ничуть не была похожа на кошмарную связь с диким корсиканцем. По меткому выражению одной из временных подруг директора, Баррас подходил к женщине, как кот к сливкам, а Бонапарт накидывался, словно голодная собака на мясо. Еще бы! В каждом движении Барраса, в каждой фразе, улыбке сказывались порода, воспитание, аристократические традиции, вся совокупность того, что не могут изгладить самые якобинские убеждения, а Бонапарт был истинное «дитя природы», непосредственное в своей дикости. Баррас с его ужимками маркиза доброго старого времени казался в любви ровным, теплым, ласковым ветерком, Бонапарт же был всежигающим самумом (Жгучий ураган в Сахаре.). Правда, многие женщины предпочли бы сгореть в костре истинной страсти, но Жозефина не обладала темпераментом, она была только чувственна!

Да и с материальной стороны можно ли было поставить на одну доску Барраса с Бонапартом? Баррас – всемогущий господин Франции, щедро разбрасывающий золото пригоршнями, а Бонапарт – офицерик, умеющий только превозносить себя до небес. Ну, сбудется даже мечта его жизни, получит он командование итальянской армией. Конечно, это связано с роскошным жалованием, но... как предположить, что этот

мальчик успеет там, где терпит неудачи «опытный волк» Шерер? А если неудача постигнет и Бонапарта, то сказка власти и богатства очень быстро рассеется, как дым, и что ждет тогда Жозефину?

Немудрено, если креолка была озабочена и рассеянна; целыми днями она кусала пальцы в бесплодных потугах найти какое-нибудь средство, чтобы отдалить от себя Бонапарта и обмануть бдительность Терезы. Ренэ не знал этого; он видел в рассеянности Жозефины просто невнимание женщины, охладевшей к недавнему возлюбленному, и разлетелся к креолке без предупреждения, надеясь застать ее врасплох.

Но он не мог попасть хуже! Тереза Тальен провела кое-что относительно последнего ужина Жозефины с Баррасом и нашла возможность мимоходом вернуть в разговоре с Бонапартом ядовитое словечко по этому поводу. Бонапарт кинулся к Жозефине с объяснениями, и Ренэ, влетев в комнату, застал как раз самый разгар семейной сцены. Креолка лежала в слезах на кушетке, а Бонапарт то осыпал ее страстными упреками, то с хрипом алчущей страсти кидался целовать лаковую туфельку изменницы. Увидев вошедшего Ренэ, он резко спросил юношу:

– Что нужно?

Поэт вспыхнул. Его нервы были так напряжены, что он забыл обычную сдержанность и насмешливо ответил:

– Разве я ошибся адресом? Мне кажется, что я – у гражданки Богарнэ и только хозяйка вправе задать такой вопрос!

– Молодой человек, – все тем же резким тоном продолжал Наполеон, – ты слишком часто повадился ходить сюда! Что тебе нужно? Чего ты ищешь здесь?

– Чего я ищу? – с холодным бешенством повторил Ренэ. – Но как раз того, что ты не можешь дать мне, гражданин генерал!

– А, значит, она... – хрипло вырвалось у Бонапарта.

– Вот-вот! – насмешливо подхватил поэт. – Гражданка Богарнэ как раз может дать мне то, что я ищу!

Вместо ответа генерал кинулся на юношу, левой рукою схватил его за грудь и занес для удара правую. Но тут на помощь подоспела Жозефина.

– Наполеон! – крикнула она, вскакивая с кушетки и кидаясь к противникам. – Ты с ума сошел? Ты позволяешь себе кидаться на моих друзей? Кто дал тебе право на это? Как ты смеешь разыгрывать здесь роль хозяина?

– Зачем же твои друзья вызывают меня на бешеный гнев? – с некоторым смущением возразил Бонапарт, отходя к окну.

– Прошу извинить, гражданин генерал, но я ответил лишь вызовом на вызов! – с достоинством сказал Ренэ. – По какому праву вздумал ты требовать от меня отчета о цели моего посещения?

– По праву страдающего человека, измучившегося от вечных терзаний, но готового первым просить прощения, раз он неправ! – ответил Бонапарт, и в тоне его голоса послышалось

что-то страдальческое, надтреснутое.

Это тронуло впечатлительного юношу, и он весело ответил:

– В таком случае я должен просить прощения, генерал! Мне как поэту, претендующему на знание людских сердец и страстей, следовало бы обнаружить больше проницательности и сразу понять, что означает твой гневный вопрос! Ну так позволь же мне, гражданин генерал, изложить тебе цель и причину моих частых посещений этого дома! Как я уже сказал, я – поэт! Я верю в свое призвание, верю, что Божество заронило в мою душу немалую искру, но мы живем в скверное время. Чтобы встретить признание общества, мало иметь право на это признание, а надо войти в моду. Гражданка Богарнэ, отличающаяся изысканным вкусом и любовью к изящным искусствам, почтила меня своим одобрением и обещала сделать для меня все возможное, чтобы обратить на мою личность внимание общества. Вот то, чего я ищу в этом доме: покровительства, без которого мне ни при каком таланте не удастся выдвинуться! А теперь это покровительство мне особенно нужно. Я написал пьесу, которую считаю очень удачной. Но мало того, какого мнения о своем произведении я сам, нужно, чтобы его оценили другие. А между тем дирекция театра только руками отмахивается от незнакомых авторов, являющихся смущать ее безмятежный покой! Гражданка Богарнэ некогда обещала мне посодействовать ее постановке а теперь даже не слушает меня. Я

заговариваю о пьесе, а она отвечает мне о своей любви к тебе! Сегодня я решил сделать последнюю отчаянную попытку, и... вот...

– Так вот что! – весь просветлев, став детски-ясным, тихим и радостным, воскликнул Бонапарт. – О, прости меня, гражданин, прости! – Протянув обе руки, Наполеон быстро подбежал к Ренэ, крепко пожал ему руки и затем обратился к Жозефине: – Простишь ли ты меня, злая мучительница? Значит, ты все-таки больше любишь меня, чем хочешь показать это? Значит, ты все-таки думаешь и говоришь обо мне? Но ты все-таки ошибся! – обратился он снова к Карью. – Ты уверял, что я не могу дать тебе то, что ты ищешь, а между тем... Ведь Тальма – мой большой друг, и если я замолвлю ему словечко... Ага, – воскликнул он, заметив, какой радостью засияло лицо юноши, – то-то! Но сначала скажи мне, каков именно сюжет твоей пьесы?

– Основной мыслью ее является неизбежность для лица, стоящего у власти, столкновения между личными чувствами и государственным благом, правом, справедливостью. В таких столкновениях познается истинное величие личности правителя...

– Да, да, ты прав! – горячо подхватил Бонапарт. – Борьба личных чувств с государственным долгом – тот оселок, на котором не выдержало испытания много выдающихся исторических личностей! Это – прекрасный сюжет! Но кто – герой пьесы?

– Елизавета Тюдор.

– Отличная мысль! Елизавета Английская – бесспорно крупнейшая личность конца шестнадцатого века!

– И кроме того, ей, как женщине, подобные столкновения давались еще труднее. Вот в двух словах сюжет моей пьесы. Елизавета сидит за туалетом и разговаривает со своей любимой фрейлиной. Королева грустит, что отцвела, что старость делает ее нежеланной, непривлекательной. Фрейлина горячо и искренне протестует: королева так хороша, что может пленить любого мужчину. Тогда Елизавета поверяет фрейлине тайну своего сердца: она горячо увлеклась молодым графом Честером, героем, оказавшим громадные услуги государству. Скоро Честер явится к ней по ее вызову, и тогда она откроет ему свою любовь. Туалет кончен, Елизавета отпускает фрейлину, не замечая, как бледна и грустна девушка: фрейлина помолвлена с Честером, они давно уже любят друг друга, именно эта любовь вдохновила графа на подвиги! Следует монолог королевы о любви. Появление Честера. Елизавета начинает говорить о заслугах героя, переходит на свои чувства. Очень длинная сцена с нарастанием трагизма, которое разрешается бурей, когда королева прозревает истину. Тут одно из самых эффектных мест: королева раздражается бурным монологом наедине, и в этом монологе переплетаются три ее сущности: женщины, королевы и государыни. Как женщина – Елизавета страдает от обманутых надежд, как королева она мучается от уязвленного са-

молюбия, оскорблена за бессилие сана, но как государыня – она не может ни отвергнуть право Честера и фрейлины следовать естественному влечению сердец, ни отрицать заслуги Честера и полезность для государства его деятельности. И вот буря мало-помалу утихает, чувство долга, сознание права торжествуют. Елизавета приказывает позвать Честера и фрейлину, соединяет их руки, осыпает подарками. Она весела, шутит, смеется, не изменяя величию прирожденной королевы. Но вот счастливая парочка уходит. Елизавета снова одна. Королевское величие сразу покидает ее, сгибается гордо выпрямленный стан, и перед зрителями уже не государыня, а просто отцветшая, несчастная, страдающая женщина. Сгорбившись, пошатываясь, уходит Елизавета из комнаты, кидая несколько скорбных слов о том, что ее время прошло и что ей, как женщине, пора сойти со сцены!

– Великолепно! – горячо воскликнул Бонапарт. – Вот что, друг мой, не надо терять время даром! Сейчас я напишу записку Тальма, ступай сейчас же к нему и... хватай свое счастье за рога!

С запиской Бонапарта в руках и с рукописью в кармане Ренэ Карьо вошел в кабинет к великому артисту. Тальма, переживавший как раз острейшие минуты хандры, мучившей его уже два месяца, встретил юношу хмуро и почти неприветливо.

Записка Бонапарта заставила его лицо просветлеть.

– Пьеса? – торопливо и радостно воскликнул он. – Давай-

те ее сюда скорее, друг мой! Если в ней есть хоть капелька смысла, то вы не могли попасть лучше! – Тальма лихорадочно схватил рукопись, но при первом взгляде на нее его взор снова омрачился. – В стихах! – недовольно протянул он. – Странное дело, господа авторы никак не могут отступить от заезженного трафарета! Если драматическое произведение – значит, оно должно непременно идти в принужденное ярмо рифмованной речи! Но зачем же так пренебрегать разговорной речью? Почему же действие, изображающее клочок жизни, не ведется на том языке, которым пользуются в жизни? – Тальма пожал плечами и хмуро перелистал рукопись. – В одном действии при такой длине! – еще недовольнее воскликнул он. – Да ведь, судя на глаз, тут хватит на час, на час с четвертью! А сколько действующих лиц? Трое! – с ужасом воскликнул он, заглядывая на вторую страницу. – Друг мой, вы, должно быть, никогда не бывали в театре и не слышали ни одной пьесы! Да разве высидит публика час в театре, выслушивая бесконечные монологи, видя все одних и тех же персонажей? Вот не угодно ли! Монолог королевы Елизаветы, тянувшийся целых семь страниц! Нет, друг мой...

Тальма машинально пробежал глазами несколько строк и сразу оборвал свою фразу, которой уже собирался положить печальный конец надеждам поэта. Затем он кинул взгляд на рукопись тут и там, потом раскрыл ее и начал читать с начала. Было видно, что уже первые строки сильно заинтересовали его. Положив голову на руки, Тальма читал, все быст-

рее переворачивая страницы.

Ренэ сидел, боясь шелохнуться. Вся жизнь сосредоточилась у него в этой минуте.

Наконец чтение кончилось. Тальма перевернул последнюю страницу рукописи, мечтательным взором окинул комнату, словно проснувшись от какого-то поэтического сна, встал и несколько раз прошелся по комнате. Вдруг он подошел к юноше и молча обнял его.

– Ваша пьеса прекрасна, друг мой! – заговорил наконец великий трагик. – В ней очень много недостатков, я их перечислил, но достоинства таковы, что о недостатках и думать не хочется! Да и то сказать, вы сумели даже недостатки превратить в достоинства! Ваш стих имеет все прелести живой разговорной речи, ваши длинные монологи идут с таким нарастанием драматического элемента, что их длинноты не чувствуются. Нет, ей-Богу, только большой талант мог создать такую вещь, и мы ее поставим... Правда, ваша пьеса требует колоссального напряжения от актера, бесконечно трудна для исполнения, но если ее играть как следует, то успех обеспечен!

Словно в чадлу слушал Ренэ Карьо все эти хвалебные речи. Он молчал. Да и что мог он сказать, если то, что он чувствовал, выходило за всякую грань изобразительной способности человеческого слова?

Глава 6

Адель была очень изумлена, когда, встретив ее в театре на репетиции, в которой Гюс по-прежнему оставалась незанятой, Тальма отвел ее в сторону и сказал:

– Пожалуйста, Гюс, зайдите ко мне завтра часов в двенадцать. Я буду просить вас о большой услуге!

Вплоть до того момента, когда надо было идти к великому артисту, Адель просто не жила. Весь день она ничего не ела, ночью не могла заснуть. Услуга, которая могла понадобиться от нее трагику, интриговала и восхищала ее. Иметь возможность сделать что-либо для него, обожаемого, тайно любимого! Уж это одно – счастье! А сверх того, почему именно она избрана дивным артистом для оказания этой услуги? Значит, она не ошибалась, когда допускала возможность того, что Тальма питает к ней особый интерес? Значит, ее мечта пережить еще раз редко достававшийся на ее долю восторг разделенной страсти вовсе не так уже неосуществима?

Ровно в двенадцать, вместе с боем часов, Адель вошла в кабинет великого трагика.

– Здравствуйте, дорогая Гюс! – весело приветствовал ее Тальма. – Очень любезно, что вы откликнулись на мою просьбу! Дело, видите ли, вот в чем. Начинающий поэт принес мне свою пьесу. Ну, я кое-как просмотрел ее; по первому впечатлению пьеса как будто ничего; но, когда читаешь сам,

то трудно составить себе правильное представление. К тому же у меня стало что-то шалить зрение, так что я, в сущности, даже не прочитал, а просто пробежал творение молодого гения! Вот я и решил просить вас прочесть мне ее. Присаживайтесь вот сюда, в кресло, и пробегите пока пьеску. Через полчаса я приду, и тогда вы будете так любезны и прочтете мне ее!

Тальма вышел из кабинета. Адель с восхищением взялась за чтение пьесы «Елизавета Тюдор». Она и не подозревала, что Тальма попросту подстроил ей ловушку и вздумал провести маленький экзамен. Тальма сразу по прочтении пьесы решил, что роль Елизаветы как нельзя лучше подходит Адели, но хотел сначала проверить это предположение. Было бы слишком жестоко отнять роль у Гюс после первой репетиции, а пьеса могла иметь успех только при выдающемся составе исполнителей. Вот Тальма и придумал басню о своем плохом зрении.

Через полчаса трагик вернулся, и чтение началось. Сначала Адель так волновалась, что судорога то и дело перехватывала ее горло, из которого вместо слов вырывались какие-то нечленораздельные звуки. Но мало-помалу она овладела собой, к тому же пьеса увлекла ее, артистическая натура взяла свое, и Адель читала все лучше и лучше. Монолог, в котором Елизавета переходит от одного чувства к противоположному, где страдания женщины сменяются бешенством оскорбленной королевы, Адель прочитала с таким богатством от-

тенков, что Тальма только одобрительно крякнул. Заключительные слова королевы, которыми она прощается с молодостью и женским обаянием, произвели в устах Адели потрясающее впечатление.

– Ну, что вы скажете о пьесе? – спросил Тальма, с восхищением глядя на артистку.

– Но... я право боюсь сказать, – нерешительно ответила Адель, смущаясь, словно пятнадцатилетняя девчонка, под этим взором, восхищение которого она готова была приписать себе не как артистке, а как женщине. – Мне лично пьеса показалась... очень красивой... Думаю, что публике она понравится.

– Еще бы не понравится! – воскликнул Тальма. – Да что понимает публика, если ей может не понравиться такая вещь, как эта! Но, разумеется, пьеса требует соответствующего исполнения. Раздайте роли посредственностям – и публика по праву будет скучать. Ну, ролей в пьесе немного, так что подыскать исполнителей нетрудно. Распределение ролей напрашивается само собой. Королеву сыграете вы...

– Я? – пронзительно вскрикнула Адель, чувствуя, что ее сердце вот-вот остановится.

– Ну, конечно, вы, милая Гюс! – улыбаясь ответил Тальма. – Если вы до сих пор не получали ролей, то ведь их и не было! Но я нарочно просил вас прочесть при мне пьесу, чтобы убедиться, насколько вы годны для роли Елизаветы Тюдор. Теперь я убежден, что лучше вас ее никто не сыграет!

Ну-с, Честера сыграю я, а роль графини Лианы дадим этой вострушке Вангов... Но что с вами? – испуганно крикнул он, заметив, что Адель вдруг смертельно побледнела и безжизненно съехала в кресло, с которого было вскочила.

– Это – от радости, – пробормотала Адель, чувствуя, что все уплывает куда-то от нее и сознание заволакивается радужной дымкой.

После краткого упадка сил, вызванного неожиданной радостью, Адель испытала длительный период величайшего подъема. Она не жила, а горела. Первым делом она кинулась в музеи и публичные библиотеки и лихорадочно ухватилась за все, касавшееся Елизаветы Тюдор, стараясь ознакомиться с эпохой того времени и с вкусами и привычками королевы. Дня через три ей принесли переписанную роль, и Адель засела за ее изучение. Гаспару приходилось чуть не силой отрывать ее от работы, заставляя отдохнуть и поесть. Однако и это удавалось лишь вследствие указания на то, что, истощив себя и перенапрягнув свои силы, она будет не в силах сыграть роль с надлежащим подъемом. Это не было вымышленным предлогом; Лебеф и в самом деле очень опасался такого конца. Адель жила исключительно на нервах. Как легко можно было ждать, что этот чрезвычайный подъем вдруг в самую решительную минуту сменится полной прострацией! Адель слишком многое связывала с успехом в этой роли; все, – слава, материальное благополучие, осуществле-

ние сердечных мечтаний, – по ее мнению, зависело от того, как она сыграет Елизавету. А ведь ее нервная система была потрясена и надломлена ненормальностью всей ее пестрой жизни. При таких условиях нетрудно было ждать, что нервы сыграют с артисткой дурную шутку. Но Адель, плохо слушая увещевания Гаспара, продолжала ожесточенно работать над ролью, и Лебеф уже начинал смутно предчувствовать трагедию, которой суждено было так или иначе завершиться этой истории.

Занятая ролью Адель не ходила теперь в театр, чтобы бесплодно толкаться за кулисами. Поэтому она не имела понятия, какую бурю вызвало известие о постановке этой пьесы.

Артисты «Комеди Франсэз» жили дружно, сплоченной семьей. Конечно, и у них, как во всякой семье, порой происходили ссоры и свары. Бывало так, что вся труппа разделялась на две партии, и личные счеты между двумя премьерами или премьершами превращались в целую войну «алой и белой роз». Но это были семейные дела-делишки, которые не выносились за пределы театра, зато, стоило актеру столкнуться с кем-нибудь из внешнего, не театрального мира, как разом забывались всякие личные разногласия, и вся труппа, как один человек, готова была выступить в бой за оскорбленного товарища. Таким чужим для труппы человеком была Гюс.

Когда Адель приняли в труппу и стало известно, что это было просто актом милосердия со стороны дирекции, никто

из труппы не спорил против того, что так и нужно было поступить: актер отдает всего себя театру, кому же, как не театру, поддержать его тогда, когда этот актер теряет силы и здоровье? По прошествии одного-другого месяца кое-кто стал даже поговаривать, что не худо было бы дать Гюс какую-нибудь незначительную рольку, так как тем, что ее не занимают в пьесах, подчеркивается благотворительный характер ее ангажемента, а подавать милостыню так, чтобы принимающий почувствовал это, значит поступать по-фарисейски.

Но этим и ограничивалось отношение труппы к Адели. Она представлялась артистам человеком другого века и мира, каким-то живым анахронизмом, случайно уцелевшим осколком давно прошедших времен. К тому же многие относились к ней с плохо скрываемой брезгливостью, вспоминая все нечистоплотные анекдоты, ходившие в обществе про эту гетеру времен Людовика XV. Словом, никто из всей труппы не считал Аделаиду Гюс членом своей корпорации: она была лишь терпимым наростом в труппе.

И вдруг этому только-только терпимому «наросту» сразу поручают выигрышную роль, одну из тех, которую с благодарностью взяла бы любая премьерша труппы, имеющая к тому же бесспорное право на это! Пришла неведомо откуда какая-то дряхлая, отставная блудница, и ее ни с того, ни с сего ставят на первое место!

Первая забила в барабан Мари Вангов. Эта артистка не забыла, как отчитала ее Адель на вечере у Барраса, как сама

она не нашлась, что ответить Гюс, и как Тальма взял сторону «старой кикиморы». И что же, теперь Тальма довершит торжество этой «мерзкой особы», давая ей первую роль пьесы, где она, Мари, будет только подыгрывать?

Вангов ударила в слезы и подняла на ноги всю труппу. Артисты, конечно, приняли ее сторону, хотя личные мотивы этого протеста Мари и не высказала. Недаром же театральным прозвищем Вангов было «Тартюф»! Лицемерка сумела выставить дело так, что она обижена за всю труппу, которой наносится оскорбление таким выбором. Конечно, если кто имел бесспорное право на роль Елизаветы, так только Белькур, по прозвищу Медуза.

Другие, по преимуществу мужчины, усмотрели в этом еще и иную сторону. Почему, по какому праву Тальма так бесконтрольно распоряжается делами труппы?

Словом, труппа зашумела, как потревоженный осиный рой. Но шумели только между собою, наружу же этот протест не выливался. Все знали, что обаятельно любезный, мягкий, обходительный Тальма порою превращался в дикого зверя, особенно, если затрагивали его артистические прерогативы. Кое-кто из смельчаков попробовал было вступить с Тальма в пререкания, когда, ставя какую-нибудь пьесу, великий трагик требовал от играющего тех или иных оттенков. Достаточно было двух-трех попыток, чтобы отбить у самых смелых членов труппы охоту возобновлять их когда-либо.

Да, с Тальма шутки были плохи, и потому никто не высту-

пил с открытым протестом. Не могла сделать это и Вангов, питавшая особые надежды относительно Тальма. Поэтому буря, поднявшаяся при первом известии, быстро улеглась, уйдя внутрь.

Но на первой же репетиции, на которую собралась большая часть труппы, буря вновь вспыхнула с удесятеренной силой.

Этому было много причин. Во-первых, Гюс, встреченная всеми с молчаливым, враждебным презрением, искренне не заметила этого. Адель была слишком взвинчена, чтобы заметить что бы то ни было. Она покорно следовала всем указаниям Тальма, десятки раз повторяла одну и ту же фразу или жест, пока не добивалась желаемого Тальма результата, а по окончании репетиции ушла домой, не делая попытки заговорить с кем бы то ни было. Поэтому все, особенно женщины, решили, что Гюс разыгрывает из себя настоящую королеву, что она уже вообразила себя настоящей премьершей и, только терпимая, принятая из милости, позволяет себе смотреть на остальных членов труппы сверху вниз.

Второй причиной было то, что Тальма, ласково ободрявший Гюс, сделал несколько резких замечаний Вангов и даже накричал на нее. Никто из труппы не захотел признать, что Гюс знала роль назубок, а Мари только-только удосужилась проглядеть свою. Нет, в этом хотели непременно усмотреть желание Тальма выделить Гюс за счет признанного члена труппы, и негодование артистов еще усилилось.

А третьей и главной причиной было то, что все с первых же фраз, произнесенных Аделью, должны были внутренне признать, насколько Гюс... хороша в этой роли! Окажись Адель слабой, смешной, вызови она насмешки и брань Тальма, с нею, пожалуй, примирились бы. Но она оказалась на своем месте, и этого уже никак нельзя было простить.

Конечно, в присутствии Тальма никто не осмелился дать волю своим чувствам, но, когда трагик ушел, присутствующие разразились бурным негодованием.

Для большинства весь протест ограничился этим негодованием и обещаниями дать «пройдохе Гюс» почувствовать, что значит добиваться ролей «нечистыми путями». Но Вангов, которой такого пассивного протеста было мало, сейчас же образовала маленький дружеский комитет из нескольких лиц и увезла их к себе завтракать. Сюда вошли Медуза Белькур и Люцци в качестве обиженных Тальма, «Прекрасный Иосиф» Курвиль в качестве верного рыцаря кокетливой Люцци, Дюгазон, который рад был замешаться в любой заговор, и его жена, отличавшаяся решительностью и неустрашимостью.

За завтраком настроение, оживленное коньяком, с которого начали, дошло до надлежащих «градусов» за шампанским, которым кончили еду. И вот тогда-то проекты, как проучить, и посыпались, словно из рога изобилия. Надо отдать справедливость застольным товарищам Мари Вангов – все они с честью оправдали ее выбор и показали себя достой-

ными членами комитета по устройству подлой западни Аделаиде Гюс. Но их изобретательность все же не могла удовлетворить мстительность Вангов; большинство проектов с адской изобретательностью имело целью «подложить свинью» Адели вообще, а для Вангов было важно, чтобы Гюс оскандалилась на премьере.

– Так вот что, – воскликнул Дюгазон, – помните, дети мои, что в сцене с Елизаветой Честер вынимает из кармана платок и вытирает себе лоб? Ну, так, давайте насыпем ему в карман нюхательного табака! Как только Честер вытащит платок, так тонкая табачная пыль рассеется по воздуху, и вместо блестящего диалога Елизавета с Честером разразятся громким чиханьем. «О, Честер... апчхи!.. Ты так... апчхи-чхи!.. пре... чхи!.. красен... апчхи!» – «Ваше... чхи-величество... апчхи!» – и так далее в том же роде!

Все расхохотались.

– Нет, это не годится, Дюгазон! – возразила Вангов, которая вовсе не хотела распространять удар также и на Тальма. – Это выйдет очень смешно, но не выставит Гюс в смешном виде, потому что публика сразу увидит здесь чей-то умысел. Нет, надо придумать что-нибудь такое, что не имело бы явного характера предвзятости!

Тогда опять посыпались планы, один подлее и изобретательнее другого.

– Полно, дети мои! – пробасила вдруг Дюгазон. – Все ваши планы потому и не годятся, что они уж слишком слож-

ны и хитры. Чем проще наносится удар, тем он вернее! Ну чего ради вы придумываете целые сложные инсценировки, в которых достаточно какому-нибудь пустяку не оправдаться, чтобы вся интрига полетела в воздух? Давайте рассуждать логически. Какая Гюс ни на есть, а все-таки актриса она настоящая, талантливая. И в таком случае непременно будет безумно волноваться.

– Странный вывод! – заметил Курвиль, пожимая плечами.

– Не странный, а верный! – поучительно возразила Белькур. – Что правда, то правда, детушки! Только бездарность никогда не волнуется. Я на своем веку много перевидала артистов. Да что далеко ходить! Посмотрите на Тальма. Он в двадцатый раз будет играть Нерона или Эдипа и все-таки перед выходом на сцену побледнеет и покраснеет, словно новичок! Нет, Дюгазон заметила это совершенно верно. Пусть же она продолжает, если надумала что путное.

– Итак, – снова начала Дюгазон, – Гюс будет неизбежно отчаянно волноваться, тем более что от этого спектакля для нее слишком многое зависит. Ведь провались она, и тогда конец всем надеждам! Ну, а если ее встретит успех, тогда она быстро станет модной актрисой, какой была полтора года тому назад. Ну-с, а когда человек так волнуется, то достаточно пустячка, чтобы сбить его с позиции. Между тем, заметьте, детушки, пьеса этого молокососа Карьо – вещица тонкая. Тут только спади с тона или сбейся с реплики – и конец! Ну а как вы думаете, если Тальма, которому она строит такие

влюбленные глазки, – вот старая дура! – шепнет ей в паузе бранное словечко? Тут, детушки, есть с чего голову потерять даже и не дебютантке!

– Да, но как это сделать? – нетерпеливо крикнула Вангов.

– Проще простого! – ответила Дюгазон. – Вы знаете, как Тальма не переносит, если от кого-нибудь пахнет вином. Ну, мы-то это знаем, а Гюс не знает. Представьте себе теперь, что я на следующей же репетиции сдружусь с Гюс. Перед спектаклем я приду к ней в уборную, она станет жаловаться мне на безумное волнение, а я тут как тут со спасительным бальзамом. «Выпей, мол, коньячка, это помогает!» А коньячок надо припасти предательский, уж не пожалеть денег. Вот моя Гюс хлопнет стаканчик-другой, а ведь старый коньяк пьется, как сливки, и только потом вдруг ударит в голову да в ноги. Ну тут мы двух зайцев уьем одним ударом. Во-первых – Гюс будет в растрепанных чувствах, во-вторых – как только от Гюс запахнет винищем, так Тальма невольно отвернется от нее; вы ведь знаете, он органически не может разговаривать с человеком, от которого пахнет вином! Ну а по пьесе они должны – в самом эффектном месте – быть совсем близко друг от друга! Тальма не утерпит, кинет ей какую-нибудь брань – ведь в таких случаях наш дивный Франсуа ругается не хуже любого извозчика! И если в результате Гюс не провалится с треском, то пусть меня черти живой в ад стащат!

Все бурными одобрениями выразили восхищение хитро задуманным планом. Только Вангов нерешительно сказала:

– Да пьет ли еще Гюс?

– Дочь моя, – сентенциозно ответила ей Белькур, – я знаю в Париже только одну женщину, которая не пьет, это – Венера Милосская из Лувра. Да ведь и то сказать, она – безрукая, а поднеси ей старого коньяка, так и она выпьет!

Громкий хохот был ответом на эту фразу, сказанную с видом глубочайшего убеждения. Затем обсудили еще кое-какие детали, и заговорщики разошлись с довольным видом.

С каждой репетицией Гюс играла все лучше и лучше, а на генеральной просто превзошла самое себя. Видя это, опытная Дюгазон с довольным видом покачала головой и сказала Вангов:

– Ну, дочка, не стоило и огород городить! Теперь Гюс, наверное, провалится на спектакле без всяких наших ухищрений! Она играет не талантом, а нутром, ну а нутра-то не хватит навсегда! Ей нужно бы приберечь силы до спектакля, а она их все на репетиции израсходовала. Теперь я ручаюсь за успех: коньяк ее доконает!

Не только Дюгазон, но и сам Тальма выразил опасения, что Гюс не удастся провести в спектакле роль так, как на генеральной репетиции. Трагик с отеческой заботливостью высказал эту мысль самой Адели, подвозя ее на своих лошадях к дому. Он вообще оказывал ей ряд любезностей, которые Адель опять-таки, с упорством маньяка, истолковывала по-своему, не понимая, что это было отчасти данью ее таланту,

а отчасти – желанием трагика пойти наперекор несправедливой враждебности всей труппы.

Остановив экипаж около улицы, где жила Адель, Тальма на прощанье кинул ей:

– Смотрите же, Гюс, слушайте меня! Не смейте больше дотрагиваться до роли, вы только хуже сделаете этим! Постарайтесь все три дня побольше гулять, больше есть и спать. И помните: если вы будете держать себя молодцом на спектакле, вас будет ждать приятная награда!

Сказав это, Тальма выразительно подмигнул Адели, прищелкнул пальцами и уехал, ласково кивнув ей на прощанье. А Адель так и осталась стоять на улице, оглушенная приливом острой радости. Разумеется, ей и в голову не пришло, что награда, о которой говорил Тальма, заключается в контракте на очень хороших условиях, который в случае успеха должен был предложить ей для подписи директор театра. Нет, несчастная женщина приняла эти слова как обещание того, чему были посвящены все ее мысли в последнее время.

Долго простояла Адель на углу, пока экипаж Тальма не скрылся из вида. Тогда она повернулась, чтобы идти домой. Но тут ее взор упал на большую афишу, крупными буквами извещавшую, что в такой-то день труппой «Комеди Франс-эз» будут представлены «Елизавета Тюдор», пьеса в одном действии Ренэ Карьо, и «Доктор поневоле», комедия Мольера в трех действиях. Со странной отчетливостью бросилась Адели в глаза в ряду имен участвующих фамилия Гюс. И

неожиданно она почувствовала, что в ее глазах зеленеет, а колени подгибаются.

До сих пор спектакль казался ей чем-то далеким, предположительным, туманным, и вдруг он сразу предстал перед нею в ясных, четких очертаниях. А вместе с этой ясностью в душе твердо определился вопрос: «Что будет, если ей не удастся сыграть свою роль как следует?» Но от одной только возможности такого конца у Адели еще больше потемнело в глазах. Ей показалось вдруг, что она не знает ни строки из роли, она не помнит ни одного жеста, ни одного положения. Пошатываясь, добрела Адель до своей квартиры и там сразу улеглась в постель. В ее душе была какая-то безнадежная пустота; она лежала и думала, что если мертвые чувствуют что-либо, то их ощущения должны быть совершенно такими же.

Так пролежала Гюс несколько часов. Вдруг ею овладела безумная тревога, ей захотелось во что бы то ни стало побороть эту слабость. Она вскочила, кинулась к зеркалу, принялась повторять роль. Но тело словно одеревенело, ссохшееся горло пропускало неясные, хриплые звуки. И тогда Адель обратилась к бутылке с абсентом. Дело кончилось жесточайшей истерикой и сильной лихорадкой.

Так прошел первый день, не лучше был и второй. На третий наступили полный упадок, глубокое, тоскливое равнодушие. Адель лежала, ни о чем не думая. К вечеру она несколько оживилась, но очень мало. Гаспар Лебеф, сопровождавший ее в театр, был поражен ее равнодушием. Но стоило

Адели только войти в свою уборную, стоило ей только увидеть приготовленные костюм, парик и принадлежности для грима, как равнодушие снова сменилось безумным страхом перед выступлением на сцене.

«Добрая» Дюгазон, зашедшая проведать Адель, «горячо» приняла к сердцу ее беспомощное состояние. Первым делом она удалила из уборной Гаспара, заявив, что в минуты артистического волнения невыносимее всего видеть близкие лица. Лебеф ушел, оставив женщин одних и забравшись в намеченный им заранее уголок за декорациями. О том, что произошло в уборной, ему стало известно от самой Дюгазон, которая поспешила похвастаться своей ловкостью. Впоследствии она очень жалела об этом: когда интрига привела к своему печальному концу, негодование труппы, с обычной «справедливостью» масс, обрушилось на ту же Дюгазон.

Когда Адель пожаловалась Дюгазон на страшную слабость, интриганка сейчас же явилась с бутылкой коньяка и винным стаканом. Адель выпила глоток коньяка, но дальше пить отказалась, сославшись на то, что спиртные напитки дурно отражаются на ней, и приказала горничной подать стакан воды. В этот момент в уборную забежал сам автор пьесы. Карьо был смертельно бледен, видимо, внутренне волновался больше всех, но наружно оставался совершенно спокоен. Он осведомился у Адели, как она себя чувствует, сказал ей несколько ободряющих слов и сейчас же вихрем унесся вон: юноша не мог усидеть на месте!

Между тем, пока Адель говорила с Ренэ, Дюгазон долила стакан с коньяком доверху и, отодвинув стакан с водой, поставила на его место вино. Адель не глядя взяла стакан с коньяком и одним духом опорожнила его. Только выпив жидкость, она заметила свою ошибку. Дюгазон сразу увидела, как властно охватило опьянение Аделаиду Гюс; это было мягкое, так сказать, лирическое опьянение, наиболее длительное и самое опасное.

Теперь Адели было «море по колено». Дюгазон подлила ей еще коньяка, Адель беспрекословно выпила. Томная, бессмысленная улыбка блуждала на ее лице. Когда дали звонок и надо было выходить на сцену, Гюс даже пошатнулась. Но она сейчас же справилась с собою и твердо вышла на сцену.

Началась пьеса вполне хорошо. Гюс сразу взяла верный тон, и ее разговор с Лианой с первых слов расположил публику к дебютантке. Зато поведение Вангов вызвало некоторое недоумение: Мари без всякой видимой необходимости несколько раз приближала свое лицо вплотную к лицу королевы. Никто ведь не мог знать, что графине Лиане важно было убедиться, сильно ли разит от королевы коньяком.

Зато первые звуки монолога Елизаветы, в котором королева говорит о своей неудовлетворенности, о страсти к Честеру, заставили Гаспара вздрогнуть и насторожиться в своем уголке. Адель несколько раз говорила ему, что чудные, глубоко поэтические строфы этого монолога производят на нее совершенно особое действие, что ей будто бы начинает

казаться, что эти слова говорит не королева Елизавета, а она сама, Адель, что это она изливает в них свои страдания и чувства. И каждый раз Адель со скорбной улыбкой прибавляла, что боится, как бы вместо «О, мой Честер!» у нее не вырвалось: «О, мой Тальма!»

И вот с первых слов монолога Гаспар глубоко почувствовал, что это настроение теперь всецело овладело Аделью. Он знал специфические нотки голоса, свойственные именно ее личным переживаниям, и с тем предвидением, которое устанавливается при долгой близости к человеку, схватился за голову, чувствуя, что скоро произойдет то неизбежное, страшное, неотвратимое, чего он все время бессознательно боялся!

Однако зрительный зал отнюдь не находил чего-нибудь особенного в исполнении этого монолога. Наоборот, все были в восторге от захватывающей сердечности, с которой читала свою роль Гюс. Даже пустенькая Жозефина, сидевшая в ложе с Баррасом и в начале пьесы прохаживавшаяся насчет головной боли Терезы Тальен, помешавшей подруге Барраса быть на премьере, была захвачена звучными стихами пьесы и красивым исполнением.

Но вот снова входит Лиана, докладывая о графе Честере. Елизавета приказывает впустить его. Появляется Честер. По зрительному залу пробегает шепот. В чем дело? Почему у Тальма такой странный, недовольный вид, который сразу бросается в глаза самому ненаблюдательному зрителю? Из

зрителей никто не знает этого. Зато знают актеры. Вангов уже успела шепнуть Тальма, что Гюс позорно пьяна и что от нее разит, как из винной бочки.

Елизавета благосклонно приветствует Честера, произносит хвалебный дифирамб его геройству и приказывает Лиане оставить их одних. Лиана уходит.

Вот тут-то разыгралась позорнейшая сцена, небывалая еще в летописях «Комеди Франсэз».

По пьесе Елизавета должна плавно встать, подойти к Честеру, заглянуть ему в глаза, положить руку на плечо. Тут именно страсть вдруг прорывается у влюбленной королевы и стоном кажется фраза: «О, мой Честер!», насквозь пронизанная зноем, желанием и трепетом. Как потрясающе удавалось это место Адели на репетициях!..

Елизавета встает, но не плавно, а резко, угловато, встает... и вдруг пошатывается. Неровным шагом подходит она к Честеру, заглядывает ему глаза.

Но что это с Тальма? Он резко отворачивается от артистки, и видно, что его губы шепчут ей что-то, от чего Гюс вдруг замирает, словно пораженная молнией.

Пауза, бесконечная, жуткая, томительная пауза «О, мой Честер!» – шепчет суфлер, думая, что Гюс от волнения забыла реплику. «О, мой Честер!» – повторяет он громче. «О, мой Честер!» – надрывается он на весь театр.

Кое-где уже слышатся смешки. Королева Елизавета нервно трясет головой, вытягивает шею, и видно, как конвульсивно

но содрогаются ее губы, почти с нескрываемым бешенством. Елизавета еще сильнее вытягивает шею, ее лицо дергается; видно, что она заставляет себя побороть судорогу, стиснувшую горло. Вот она раскрывает рот и... на весь зал несется громкое, судорожное «Куак!».

Тальма невольно отскакивает на шаг назад, бедная королева Елизавета напрягает все свои силы, и снова на весь зрительный зал несется все то же бессмысленное «Куак!».

Тальма делает резкое движение и поворачивается, чтобы уйти со сцены. Но под грохочущий смех зрителей Гюс кидается к нему, хватая его за рукав. Тальма резко отшвыривает от себя артистку и убегает. Из-за кулис слышится его бешеное: «Занавес!»

Словно оглушенная, стоит посредине сцены, схватившись за голову, бедная королева; стоит, пока занавес под смех зрителей медленно задергивается; стоит, пока кто-то из администрации объявляет «почтеннейшей публике», что «по болезни артистов» спектакль отменяется и публика приглашается получить деньги обратно.

Кто-то дергает Адель за рукав. Она дико озирается кругом и, пошатываясь, идет со сцены. В коридоре она наталкивается на Тальма. При виде Гюс у него вся кровь кидается в голову, он сжимает кулаки и кидается к ней с криком:

– А, подлая пьяница! Пропила спектакль! Не могла дожидаться ночи, только бы добраться до вина! Негодница этакая! Так отблагодарить за все мои хлопоты, участие, заботы!

С душераздирающим криком кидается Адель к трагику.

– Не говори так! – задыхаясь, не помня себя, стонет она. –

Не вино, о, нет, не вино... Любовь к тебе лишила меня силы и разума! Божество мое! Твоя близость лишает меня со- знания и власти над собою! За один только ласковый взгляд твоих чудных глаз я рада отдать жизнь и кровь!

В группе артисток, наблюдавших эту сцену, слышится смех. Тальма вспыхивает еще больше и еще бешеной кричит:

– Ах ты, старая развратница! Да как ты смеешь говорить мне такие гадости! Будь проклят тот час, когда в моем сердце шевельнулась жалость к твоей убогой старости! Калека, пьяница!.. В гроб смотрит – и еще смеет думать о мерзостях! Да кому ты нужна, старая развалина!

Из угла выходит Гаспар Лебеф. Он подходит к Адели, берет ее под руку и говорит:

– Довольно унижений, Адель! Ты слышала? Богатый и счастливый не знает жалости к бедному и несчастному. Пойдем домой, Адель!

При этих ласковых словах Гюс вся съеживается в комочек, начинает трястись, словно осиновый лист, и детски-беспомощным голосом повторяет:

– Да, да, домой, братишка, домой!

Никто больше не смеется... В группе артисток, еще недавно смеявшихся, теперь никто не поднимает головы, не решается взглянуть друг другу в глаза. Им стыдно... Чего? Разве они неправы?

Должно быть, им стыдно того, что они так бесконечно правы перед этой искалеченной женщиной!

Глава 7

Зрители горячо обсуждали происшедшее. Никто не мог понять, что случилось. Правда, в первый момент весь зал был охвачен припадком сумасшедшего смеха, но когда рассеялось впечатление от внешнего комизма положения, все стали недоуменно пожимать плечами. Истину никто не мог угадать, и, может быть, поэтому ни у кого не нашлось слова сочувствия для Аделаиды Гюс. Наоборот, большинство сурово осуждало дирекцию, решившуюся дать дебют артистке, давно уже конченной для сцены.

В ложе Жозефины Богарнэ тоже не нашлось словечка сочувствия для нечастной Аделаиды Гюс.

– Я всегда говорила, что было бесконечным безумием выпустить эту развалину на сцену! – воскликнула Жозефина. – Тальма просто смешон со своими вечными увлечениями. Носился, носился он со своей Гюс, ну вот и пожалуйте! Но кого мне от души жаль, так это Ренэ Карьо! Бедный мальчик возлагал страшно много надежд на свою пьесу; еще вчера он говорил, что в случае провала «уйдет из мира». В монахи он, что ли, поступит? А досаднее всего, что теперь не знаешь, куда себя девать! Ужасно я этого не люблю! Все пошло прахом: и вечер пуст, да и ужин у Тальма обещал быть очень интересным. Ну что теперь делать?

Сказав это, Жозефина с капризной гримаской посмотре-

ла на Барраса. У директора слегка дрогнула губа, глаза плотоядно блеснули.

– Знаешь что, Иейетточка, – сказал он, близко наклонясь к креолке, – если ты не имеешь ничего против, то поедем ко мне. Мы мило поужинаем и... можем возобновить тот самый интересный разговор, закончить который нам уже три раза мешала Тереза! Надеюсь, что сегодня она нам не помешает. По правде сказать, мне этот вечный надзор порядком надоел. Ну, так едем?

Глаза Жозефины вспыхнули радостью.

– Но помилуй, дорогой Поль, – ответила она, ласковой кошечкой прижимаясь к нему, – когда же я отказывалась вести с тобой «интересный разговор»? Я... буду очень рада, если на этот раз Тереза не помешает нам.

– А я еще больше! – весело подхватил Баррас, увлекая креолку к выходу. – Я опять совершил большую неосторожность и недавно снова посвятил Терезу в большой секре... Уж и сам не знаю, что это на меня нашло, но теперь дело непоправимо. Тереза, овладев моими тайнами, все самодержавнее управляет мною. Во всяком случае именно в данный момент мне было бы неудобно дразнить ее... А ведь знаешь, Иейетта, почему-то Тереза опасается только тебя! Тебе это должно льстить! Однако вот и экипаж!

Они уселись. Кучер тряхнул вожжами и с места повел лошадей горячим бегом. Но только экипаж стал заворачивать за угол, как лошади вдруг сделали резкий скачок в сторону,

чуть не выбросив из экипажа седоков, и, храпя и вздрагивая, кинулись дальше.

– В чем дело, Огюст? – недовольно спросил Баррас.

– Да вот, гражданин, – ответил кучер, сдерживая коней и кнутовищем указывая на что-то серое, лежавшее у тротуара. – Пьяница, что ли, какой повалился!

Если бы было светлее, то и кучер, и ездоки могли бы заметить, что от «пьяницы» тянется струйка крови и что в его руке судорожно зажат пистолет. А если бы они проехали этим местом на четверть часа позднее, то видели бы, как два сержанта бесстрастно взваливали на носилки недвижимый, начинавший холодеть труп Ренэ Карьо.

– Бедный поэт «ушел от мира»; как говорил накануне. Неудача лишила его остатков жизненных сил. Пьеса была последней ставкой, поставленной в игре на жизнь или смерть; карта была бита, ставка ушла... Душа исстрадавшегося поэта обрела вечный покой!

Вот оттого-то и кинулись в сторону с храпом и дрожью умные кони! Но человек – наименее чуткое из животных. Ни Жозефины, ни Барраса не коснулось веяние смерти, осевшее мрачный перекресток. Да и до смерти ли было им, так страстно рвавшимся к жизни с ее чувственными радостями. Плотно прижавшись друг к другу, пронизанные трепетом вновь пробудившейся страсти, Жозефина и Баррас молча ехали всю дорогу, жадно считая минуты, отделявшие их от счастья обладания, и когда любовники вошли в кабинет

директора, их мощно кинуло в объятия друг друга, и они слились в долгом, пьянящем лобзании.

Креолка, так жаждавшая вернуть себе прежнее влияние на Барраса, вложила все свое искусство в этот хищный поцелуй; однако Баррас освободился от ее змеиных объятий и, подавляя дрожь чувственного волнения, воскликнул:

– Как неблагоразумно! Кто же начинает прямо со сладостей, Иейетта? Нет, дорогая, сначала чинно и мирно сядем за стол, поужинаем, скрепим вином оживление нашего союза, а потом... Ну, потом дойдет черед и до десерта!

Баррас позвонил. Два лакея внесли в кабинет столик, накрытый на два прибора, поставили рядом сервизный поднос на ножках, сплошь заставленный яствами и напитками, и удалились по молчаливому знаку хозяина.

– Ну-с, Иейетта, как же твои дела с Бонапартом? – спросил Баррас, когда первый голод был насыщен.

– Ах, не напоминай ты мне про этого безумца! Хоть бы вы услали его куда-нибудь! Я устала от его вечного неистовства и неустанного горения. Я – женщина, которая не может жить без улыбки и радости, а Бонапарт... Господи, да я еще не видала, как улыбается этот мрачный корсиканец! И смешно вообще, что ты говоришь о возможности брачного союза между ним и мною! Я понимаю, если бы вы дали ему какое-нибудь блестящее назначение, а так...

– Да, да, это легко сказать! – недовольно буркнул Баррас. – Неужели ты думаешь, что мы настолько уже богаты

силами, чтобы легкомысленно держать втуне такого выдающегося человека, как «генерал Вандемьер»? Только, видишь ли, мы находимся в положении голодного бедняка, которому дали крупную ассигнацию. Куска хлеба на эту ассигнацию не купишь – ее менять не станут, а ничего, кроме хлеба, голодному в данный момент не нужно! Дельные генералы были бы нам очень нужны в итальянской армии, но и думать нечего давать Бонапарту подчиненную роль.

– А он, конечно, мечтает о главенстве! Еще бы, он мне все уши прожужжал, каких великих дел натворил бы он, если бы ему поручили заменить Шерера!

– Что же, очень возможно, что он прав! Но я не могу пойти наперекор остальным товарищам, это значило бы взять на себя слишком большую ответственность и слишком многим рискнуть. Да, незавидное положение у нас теперь! Шерер не подвигается ни на пядь вперед, того и гляди – неаполитанцы соединятся с австрийцами, а если нас заставят уйти из Италии, вновь проникнуть туда будет уже гораздо труднее. Но что же делать, если Шерер ничего не хочет знать? На все наши письма, советы и требования он отвечает довольно вызывающе, а толка из его действий никакого.

– Ну вот и взяли бы Бонапарта! – смеясь воскликнула Жозефина.

– Да ведь говорю тебе, что его находят слишком молодым и преисполненным слишком фантастических планов. Карно уже склоняется теперь к решению заменить Шерера другим,

но имеет в виду кого-нибудь из старых генералов.

– Ну так придумай Бонапарту что-нибудь другое, Поль! – с капризной гримаской взмолилась Жозефина. – Ушли его посланником к шаху персидскому или китайскому богдыхану, только дай мне возможность свободно вздохнуть!

Эта капризная гримаска придала лицу чувственной крелки такое своеобразное очарование, что Баррас сделал движение, намереваясь заключить ее в объятия, но тут же смущенно замер на месте, так как из дверей послышался насмешливый голос Тальен:

– Вот как! Ты здесь, Жозефина? Гм... Вероятно, Баррас опять уговаривает тебя... выйти замуж за Бонапарта?

– Тереза, ты? – тщетно стараясь побороть смущение и разочарование, воскликнула Жозефина. – Как это ты очутилась здесь? Ведь у тебя болела голова?

– Потрудитесь ответить на мой вопрос! – властно крикнула Тереза.

Жозефина вспыхнула, вскочила со стула и вызывающе ответила:

– Нет это уж ты потрудись сначала ответить на мой вопрос!

Тальен сделала два шага вперед и впилась в подругу сверкающим бешенством взглядом. Но ее взор встретил такой же пламенный, такой же вызывающий взгляд.

– Вот как? – сказала Тереза после короткой, но многозначительной паузы. – Ты уже чувствуешь себя на положении

хозяйки?

– Нет, – отпарировала креолка, – я чувствую себя именно гостьей, которая не может признать хозяйские права ни за кем, кроме человека, пригласившего ее! Хозяйкой держишь себя ты!

– Ну ты достаточно знаешь мои отношения с Баррасом, чтобы признать это! – с горделивой улыбкой сказала Тальен.

– А ты достаточно знаешь, что связывает меня в прошлом с Баррасом, чтобы не удивляться, почему я здесь! – отпарировала Жозефина.

Тереза слегка растерялась и взглянула на Барраса, Жозефина тоже обернулась к нему, но директор тщательно рассматривал на свет вино, налитое в его стакан. Было видно, что он решил держаться «принципа невмешательства», предоставив соперницам разбираться, самим.

Это еще более смутило Терезу. Она не знала, как далеко зашла вновь ожившая привязанность Барраса к Жозефине, было ли это просто обычным капризом скучающего без «дивертисмента» директора или доказательством того, что старая любовь действительно «не ржавеет». Конечно, Тальен ни на минуту не подумала о том, чтобы сдать свою позицию без борьбы, для которой она была достаточно хорошо вооружена. Но пассивность Барраса до известной степени делала эту борьбу единоборством с креолкой, вот почему надо было изменить тон и прием нападения.

Но и Жозефину тоже немало смутила пассивность Бар-

раса. Она увидела, что тот ни единым движением бровей не поддержит ее. Можно ли было при таких обстоятельствах продолжать борьбу? Нет, победа могла принести не так много, а поражение – унести все. Если Баррас равнодушно предоставил соперницам самим как-нибудь решить вопрос, – значит, он так же равнодушно даст Терезе добить ее. Поэтому лучше было постараться выгадать как можно больше из данного положения, капитулировать с наибольшей пользой.

Мозг Жозефины лихорадочно заработал; с быстротой, с которой в минуту опасности у самого ограниченного человека созревает важное решение, креолка отчетливо увидела свое положение и единственный выход. Тереза не потерпит, чтобы они с Баррасом встретились еще раз. Вместе с окончательным разрывом отпадет и этот единственный солидный источник существования Жозефины. Значит, надо решиться на единственный возможный шаг – замужество. Но, кроме Бонапарта, кандидатов нет; придется взять Бонапарта. Однако за это Тереза должна помочь устроить Наполеону то назначение, которое даст ему блестящее положение и хороший доход. Это – единственный выход!

– Итак, – начала Тереза после молчания, в течение которого обе они так много обдумали, но которое продолжалось всего лишь несколько секунд. – Ты хочешь, чтобы я первая объяснила тебе свое появление здесь? Изволь! Около девяти часов моя мигрень так же сразу кончилась, как и началась

вчера около девяти вечера. Я приказала дать одеваться и поехала в театр. Там я узнала, что спектакль по непредвиденным обстоятельствам отменен, и решила поехать к Баррасу. Надеюсь, ты не найдешь ничего особенного в таком решении, зная, что связывает меня с Полем? Я понимаю, ты так обиженно ответила на мой вопрос потому что предположила, будто я выслеживала вас, шпионила... Нет, Жозефина, это не могло бы прийти мне в голову! Я знаю, что ты – моя искренняя подруга, что дружба ко мне удержит тебя от многого. Когда я ехала сюда, я даже не предполагала застать тебя здесь. Но... пойми и мое положение тоже! Теперь я уже в четвертый раз застаю вас. Три раза я совершенно так же случайно находила вас в оживленной беседе, и каждый раз оказывалось, что Баррас... сватает тебе Бонапарта!

– Ну и представь себе, что четвертый раз происходит то же самое! – горячо подхватила Жозефина. – Ты знаешь, что мы с Баррасом – старые друзья. Он очень близко принимает к сердцу мои интересы, он знает, что Бонапарт – единственный человек, о котором можно серьезно говорить в вопросе о моем замужестве; он знает также, что вопрос о замужестве – самый насущный вопрос для меня в данный момент. Что же удивительного, если Баррас воспользовался свободным вечером, чтобы поговорить со мною опять на эту тему?

– И так же безуспешно, как и в прошлые разы? – с еле заметной иронией спросила Тереза.

– Ну да, но это зависит не от меня! – тем же горячим тоном

ответила Жозефина. – Вот ты только что дала мне понять, что с моей стороны было бы не по-дружески, если бы... я... Ну, я не из таких, я уважаю чужие права... понимаю... Но, Тереза, тут есть от чего на стену полезть! В таком положении, как мое, махнешь рукой на всякую порядочность! Подумай сама: мне уже нечем жить, я старею, мне нужен муж...

– Так чем же для тебя плох Бонапарт?

– Тем, что у меня – двое детей, а у Бонапарта – целая орда братьев и сестер, которых он должен поддерживать! На что мы станем жить при его грошовом жалованье? А ведь нет ни малейших надежд на улучшение его положения, потому что Баррас упорно не хочет дать движение его способностям. Баррас сам только что жаловался мне, что из-за Шерера Франция переживает критический момент; он сам признался, что считает Бонапарта единственной удачной заменой Шереру, но чуть только заведешь разговор о том, чтобы так и было сделано, Баррас становится на дыбы и ни с места! Я теряю голову, не знаю, как мне быть... Я чувствую себя способной на все.

– В самом деле, Поль, почему ты не хочешь дать Бонапарту возможность показать себя? – спросила Тереза, сразу поняв, к чему клонит подруга, и соглашаясь этой ценой купить себе исключительное право на Барраса.

– Но, милочка, мы столько раз говорили об этом! – недовольно буркнул Баррас.

– Да, мы много раз говорили, и каждый раз ты не мог до-

казать мне свою правоту! Ты сам говоришь, что на Шерера надо махнуть рукой, сам согласился со мною, что если нас выгонят из Италии, то народ может восстать и раздавить вас, директоров, как мошек. Значит, чем же ты собственно рискуешь, попытав счастье с Бонапартом? А если даже ты и рискуешь при этом, то сделаешь это из любви к Франции и... дружбы к Иейетте! И то, и другое стоит маленького риска!

– Да как ты не хочешь понять, что я завишу в таких вопросах от товарищей-директоров? – с досадой крикнул Баррас. – Братся за борьбу, исхода которой с уверенностью не знаешь, рисковать своим положением...

– Каким это положением ты рискуешь? – с нескрываемым презрением возразила Тальен. – Друг мой, если ты так слаб и ничтожен, если ты не имеешь никакого влияния на дела Франции, значит, у тебя нет ни малейшего положения и ты ничем не рискуешь!

Баррас вспыхнул. Но в эту минуту в дверь постучали.

– Войдите! – крикнул Баррас, с облегчением думая, что какой-то избавитель явился как раз в тот момент, когда, припертый к стене, он должен был дать тот или иной категоричный ответ.

Но это был только лакей с пакетом от Шерера из итальянской армии, который был доставлен только что прибывшим курьером.

Баррас торопливо вскрыл пакет и погрузился в чтение. Но уже с первых строк его лицо, слегка было успокоившееся,

снова исказилось злобой и раздражением.

– Черт знает, что такое! – крикнул директор. – Этот Шерер позволяет себе третировать меня, как мальчишку! Он осмеливается высмеивать наши распоряжения и приглашает кого-нибудь из «граждан-директоров» явиться лично руководить армией! Нет, это переходит все границы! – Он встал, раздраженно прошелся несколько раз по комнате и, снова сев, взялся опять за чтение письма. – Дело в том, что я не сказал товарищам ни слова о своем письме к Шереру, – проворчал он, – но на счастье этот солдафон ответил на мое частное письмо в официальном тоне, и можно подумать, что он обращается ко всем нам... Да, да, тут найдется несколько строк, которые можно выставить, как личный выпад против Карно. Нет, этому пора положить конец! Теперь никто из директоров не будет отстаивать Шерера. Конечно, они опять затянут старую песенку про молодость Бонапарта, но... – Баррас встал и с просветлевшим лицом обратился к женщинам: – Ну-с, милочки, Поль Баррас всегда был джентльменом, женщинам он ни в чем не может отказать! Хорошо, будь по-вашему! Бонапарт будет назначен главнокомандующим итальянской армией, мое слово вам порукой в этом! А теперь вам придется оставить меня. Сейчас я позову директоров на чрезвычайное совещание; письмо Шерера требует немедленного обсуждения и принятия мер!

Обе женщины с ликующим видом бросились к Баррасу. Он обнял их, отечески поцеловал каждую и затем, взяв за

талию, деликатно вытолкал в двери.

Всю дорогу из театра домой Адель ехала молча, как-то по-детски боязливо прижимаясь к Лебефу. Только войдя к себе в квартиру, она вдруг разразилась бурными рыданиями.

– Отвергнута! Опозорена! Высмеяна! – простонала она, разрывая на себе платье. – Все кончено! Все! Тальма, и ты мог!..

Гаспар с молчаливой скорбью присутствовал при этом взрыве дикого отчаяния. Да и что мог он сказать, чем утешить? Бывают трагедии, для которых нет слов сочувствия, бывают страдания, для которых не существует болеутоляющих средств!

Но истерические рыдания и выкрики вдруг резко оборвались. Адель смолкла, затем заговорила почти спокойно; только странная, блуждающая улыбка выдавала, что в душе ее что-то сдвинулось, произведя полный хаос.

– Я понимаю, – тихо, словно говоря сама с собою, начала Гюс: – Тальма слишком самолюбив и не мог простить мне, что из-за меня очутился в смешном положении. Но неужели он не мог понять, что я теряю неизмеримо больше? Завтра Тальма вновь выйдет на сцену, и в буре рукоплесканий забудется случай сегодняшнего вечера, а для меня кончено все... Нет, значит, у Тальма действительно ничего не шевелилось в сердце ко мне! А ведь еще говорят, что сильное влечение рождает влечение, страстное желание – желание. Можно ли было

желать пламеннее, чем я. И все-таки я не могла заронить в его гордое сердце искру страсти! Почему? – Адель вскочила и, подбежав к зеркалу, стала с бледной улыбкой рассматривать свое тело, все еще белое и упругое, кошмарно контрастировавшее с вялой отвислостью шеи, морщинами лица и с бредовой причудливостью выглядывавшее сквозь зияющие прорехи изодранного в лохмотья платья. – Разве это тело не прекрасно? – вновь заговорила Адель, и в голосе ее послышались безумные ноты больной страсти. – Почему же оно было бессильно зажечь ответную страсть? Почему? А я так долго готовилась к сегодняшнему дню, так пламенно надеялась на награду, которую ты обещал мне, мой бог! Каждым нервом, каждой жилкой, каждым изгибом это тело жаждало твоих ласк, а ты... Почему? – С жуткой напряженностью Адель впиалась взором в свое отражение, словно надеясь прочесть там ответ на свой вопрос. – Потому что ты молод, Тальма, вот почему! – ответила она сама себе, и болезненная гримаса исказила ее лицо. – Я сама была молода, я знаю, как глупа, как смешна молодость в своей неразумной требовательности. Разве сама я прежде не топтала с легкомысленной улыбкой чужих надежд, чужой страсти? Но я не могу! – вдруг хрипло застонала она, впиваясь скрюченными пальцами в космы растрепавшихся волос. – Я не могу!.. Я так ждала!.. Я горю! Да поймите же, я вовсе не стара, я хочу жизни, требую ласки! – Она замолчала, застыв в позе безудержного отчаяния, и казалось, что это – не человек, а статуя, изваян-

ная безумным скульптором в минуту кошмарного бреда. – Это – мечь бога любви! – глухо проговорила она затем, бес- сильно опуская руки. – Я смеялась над любовью, когда была молода, теперь молодость посмеялась над моей любовью! Не знаящая того, много зла натворила я... Ну, так пора исправить зло, там, где можно... Гаспар! – крикнула она, гордо и властно поднимая голову. – Подойди и обними свою Адель, которая отныне будет тебе верной и преданной подругой!

– Адель, – испуганно ответил Лебеф, – ты нездорова, у тебя лихорадка! Ну пойдн, ляг! Я укутаю тебя потеплее, сбегая за потогонным... Приляг, голубушка!

– Ты не веришь своему счастью, – воскликнула Адель, засмеявшись, и жуткой трелью повис в воздухе этот безумный, хриплый, старческий смех. – Но не бойся, я в своем уме и отнюдь не шучу! Я решила вознаградить тебя за долготерпение и преданность! Приблизься ко мне, мой Гаспар, и ты изведает счастье, к которому стремился, о котором мечтал всю свою жизнь!

– Адель, голубушка! – ответил Лебеф. – Ну прошу тебя, приляг! Ты так много пережила сегодня... У тебя бред... Завтра мы вместе посмеемся над тем, что иной раз может прийти в голову в лихорадке. Успокойся, приляг!

– Раб! – с бешенством крикнула Адель, топая ногою. – Да никак ты сам в бреде и горячке? Ты осмеливаешься отвергнуть мою любовь, когда я сама снизошла до тебя? Иди сюда и обними меня!

– Адель... умоляю тебя...

– Молчать! Как смеешь ты возражать той, которой обязан безусловным повиновением? Говорю тебе, я здорова и в своем уме! Ты – мой раб! Или ты забыл свою клятву? Или ты хочешь стать клятвopеступником на старости лет? Ну, живо! К моим ногам, подлый раб, презренная собака!

Теперь не выдержали уже нервы и Гаспара.

– Адель! – глухо сказал он. – Если ты на самом деле здорова и действительно можешь думать и понимать, то вникни в мои слова! Да, когда-то – это было давно, Адель! – я страстно желал тебя, забыв ради греховной страсти все на свете! Ты надругалась над этой страстью, приблизив меня к себе, чтобы сейчас же оттолкнуть и связать на всю жизнь неосторожно выманенной клятвой! Я поплатился за свой грех. Чем была вся моя жизнь до сих пор? Вот теперь я – старик, а много ли радости видел я в жизни? Была ли она у меня, эта личная жизнь? И тебе мало этого? Ты хочешь даже теперь, не щадя моей старости, надругаться надо мною, надругаться на краю гроба? Да, я – старик, Адель, но и сама взгляни на себя повнимательнее! Пусть ты не изжила своих страстей. Но на что же дан человеку разум, на что ему воля, если он не в состоянии вовремя остановиться, одуматься? Пора успокоиться, Адель, пора бросить мысли о мерзости, пора подумать о душе! Ты уверяешь, что здорова? И ты хочешь, чтобы мы, старики... теперь...

– Но я требую! – крикнула Адель, снова топая ногою.

– Ну, так я скажу тебе, что я лучше покончу с собою на твоих глазах, лучше возьму на душу смертный грех самоубийства, чем оскверню себя на старости лет! – крикнул и Гаспар, окончательно теряя власть над собою. – Этим ли ты хочешь наградить меня за преданность и службу?

Адель вздрогнула, отступила на шаг, и, казалось, что в ее испуганных глазах мелькнуло сознание того, что происходит. Она задрожала еще сильнее, пошатываясь, отступила к стулу и упала на него, трясаясь от судорожных рыданий. Лебеф растерянно смотрел на нее, не зная, что делать.

Так прошло несколько минут. Вдруг Адель подняла голову, энергично вытерла слезы и повернула к Гаспару свое успокоившееся, скорее окаменевшее лицо.

– Да, да, – тихо прошептала она, – все кончено, все! Но трудно сразу примириться с этим. Не бойся, братишка, безумие рассеялось; я ничего не потребую от тебя... Боже мой, только теперь я вдруг постигла... Всю жизнь, всю жизнь!.. Да, всю жизнь ты отдал мне! Спасибо тебе, братишка, за все, за все! Не твоя вина, если твоя самоотверженность дала мне так мало! – Адель встала, подошла к Гаспару и с тихой лаской поцеловала его в лоб. – Не бойся, я ничего больше не потребую от тебя! Я возвращаю тебе свободу.

– К чему мне свобода теперь? – с горечью уронил Гаспар, не обратив в первый момент внимания на странный тон, которым Адель сказала последние слова. – Еще десять лет назад я благословил бы судьбу, а теперь... Зачем?

– Зачем? – повторила Адель со слабой, странной улыбкой. – Что можем мы знать об этом? Зачем мы вообще живем, зачем мы рождаемся, любим, ненавидим, к чему-то стремимся? Зачем?.. Что мы знаем о жизни? Словно слепые, мы бредем вперед, пока... пока не стукнемся лбом в стену! Зачем я жила? Не знаю! Зачем я творила столько зла? Не знаю. Почему я никогда в жизни не знала счастья? Не знаю. Вот я стою и озираюсь назад, на пройденный путь. Ну и что я вижу там? Ничего! К чему же я родилась? Зачем я страдала? Ах, ничего, ничего не знаем мы, братишка! Однако пора на отдых... на отдых. Прощай, братишка, и прости меня за зло, которое я причиняла тебе. Но я не была даже зла; я была только равнодушна, стремилась к свету, счастью, любви... Зачем? Теперь и сама не знаю! Прощай, прощай!

Адель с нежностью поцеловала еще раз Гаспара в лоб и ушла к себе.

Обеспокоенный странным тоном ее речи, Гаспар осторожно подошел к двери и заглянул в щелку.

Адель достала из комода небольшой деревянный ящик, отперла его и высыпала содержимое на стол. Это была целая горка маленьких портретиков. Гаспар узнал их. Все это были миниатюрные портреты тех, с кем хоть ненадолго бывала связана жизнь Адели. Многие из этих миниатюр были когда-то облечены в дорогие рамки, в золото, серебро и драгоценные камни. В годы нужды все это ушло, и только портреты остались свидетельствовать о времени юного расцвета, о

блестящей полосе ее жизни.

Теперь Адель разложила эти портреты на столе и стала поочередно брать их в руки, внимательно рассматривая. К некоторым она приникала губами, иным шептала слова о прощении, перед другими грозно сдвигала брови. Дольше всего она смотрела на портрет Жозефа Крюшо, последнего человека, который подпал под ее женское обаяние.

Долго-долго смотрела Гюс на портрет. Вдруг она порывисто швырнула миниатюру на стол, и Гаспар увидел, что в ее руках очутился небольшой стеклянный флакончик. Адель перевернула его над своей ладонью, и на нее выкатилась маленькая серенькая пилюля.

Гаспар Лебеф с криком отчаяния ворвался в комнату. Но было поздно – на ладони не было ничего, а в кресле лежало, вздрагивая в предсмертных судорогах, то, что некогда звалось Аделаидой Гюс.

Приключения девицы Гюс кончились!..

Эпилог

Вот, любезный читатель, я, Гаспар Тибо Лебеф де Бьевр, с Божьей помощью исполнил взятую на себя задачу по мере сил и разумения описать «приключения девицы Гюс».

Но боюсь, что ты остался бы недоволен, если бы я прервал свое повествование на смерти Аделаиды Гюс. Ведь главной моей задачей было показать тебе, как опасно забывать предупреждения святых отцов, предостерегавших нас от козней дьявола, так охотно избирающего женщину орудием людской гибели. Целью повествования было наглядно изобразить, как один неверный, необдуманый шаг может тяжелым бременем лечь на всю нашу жизнь. И ты был бы прав, воскликнув:

«Ну, хорошо, Аделаида Гюс умерла. Но ты сам, Гаспар Тибо Лебеф, что дала тебе самому обретенная наконец свобода, как устроил ты свою жизнь в дальнейшем и в какой мере отразилась на конце твоего существования тяжесть допущенной в юности ошибки?»

Сознавая правоту такого восклицания, я хочу, любезный читатель, вкратце рассказать тебе, что было потом.

На следующий день рано утром я уже был в конторе нотариуса, чтобы произнести обусловленную дядей Капрэ формулу и тем самым вступить в обладание оставленным им наследством.

Отложив прием всего капитала до более удобного времени и взяв пока несколько тысяч франков, я отправился хлопотать о погребении Адели. Скоро в квартире уже суетились гробовщики и цветочницы. В столовой устроили помост, обили его черным сукном и поставили на него гроб. Адель утонула в цветах. Смерть удивительно прояснила и омоложила ее лицо. Теперь в гробу лежала прежняя Адель, но с новым выражением на мраморном лице. Вокруг ее губ словно играла нежная, скорбная улыбка, и казалось, что лицо покойницы обратилось к небесам с робким вопросом: «Зачем? Я не знаю!»

Все эти хлопоты вначале совершенно не дали мне ощутить потерю. А затем в квартиру потянулись посетители.

Одной из первых прибежала Луиза Компуен. Девушка принесла несколько цветочков. Встав на колени, она долго и скорбно молилась у гроба, а затем сказала мне:

– Боюсь, что бедная Адель ушла не одна! Ренэ не показывался со вчерашнего дня. Он говорил, что не переживет провала. Но ведь пьеса не потерпела никакого провала! Неужели же он был так жесток, что оставил меня одну? – Девушка заплакала и продолжала: – Да, вот от какой случайности зависит иной раз жизнь человека... Ах, если бы у меня не было так много работы, я просто сошла бы с ума от тревоги! Но мне некогда даже задуматься! Ведь моя Жозефина – невеста генерала Бонапарта, который получил назначение главнокомандующим итальянской армии! И это тоже отчасти произо-

шло из-за этого несчастного спектакля!

Луиза рассказала в нескольких словах все то, что читателю уж известно из предпоследней главы, и ушла.

На смену ей явился Тальма. Он был очень бледен и ни слова не проронил из плотно стиснутых губ. Возложив на гроб принесенный венок, Тальма некоторое время молча всматривался в лицо покойницы и так же молча ушел.

Потом пришло несколько актеров и актрис. Кто с цветами, кто без цветов, но все – с явно сказывавшимся любопытством. Актеры взволнованно говорили о «несчастной интриге», жалели «бедную Гюс», сообщали, что «негодяйке Дюгазон» решено не подавать руки. Нельзя даже было сказать, что они неискренни. Но ведь артисты – что дети.

Под вечер зашла и Жозефина. Между прочим креолка рассказала мне, что Карьо покончил самоубийством и что она опасается за рассудок Луизы.

– Милый месье Лебеф, – сказала мне Жозефина, – вы только что потеряли близкого человека, а ведь испытываемое страдание располагает к сострадательности. Зайдите проведать Луизу. Она вас очень любит и уважает; может быть, вы найдете слова, которыми удастся вывести ее из этой страшной оледенелости! Вместе с тем, утешая чужую страдающую душу, вы, может быть, найдете утешение также и своим страданиям!

Жозефина ушла. До позднего вечера приходили и уходили сочувствующие и любопытствующие. Было очень тяже-

ло удовлетворять назойливое любопытство всех, и особенно отвечать на расспросы о панихидах и погребении. Что мог я ответить, когда я еще не знал, найду ли священника, который согласится похоронить такое «презренное существо», как актриса! По крайней мере приходский священник наотрез заявил, что никакие угрозы не заставят его и никакая сумма не соблазнит его совершить такой грех, как христианское предание земле актрисы – да еще самоубийцы!

Вечером я остался один с покойницей. Я принес кресло, уселся и глубоко задумался, глядя на лицо покойницы.

Я думал о том, что вот я теперь свободен и богат. Но зачем мне свобода, если она лишает меня единственного человека, с которым я сжился? Зачем мне богатство, если у меня нет никаких потребностей и ни одного близкого человека, которому я мог бы доставить радость? Зачем?

Я испугано вздрогнул: мне показалось, будто я слышу голос Адели, повторившей этот вопрос. И мне вспомнилось, как накануне она со своим скорбным, испуганным недоумением твердила: «Зачем? Я не знаю!»

Вдруг меня пронизала странная мысль. Вот Адель жила и вот умерла – умерла, потому что в решительную минуту ей вдруг перехватило горло!

Да, перехватило горло... А от этого умерла Адель, умер даровитый Ренэ Карьо. Наполеон Бонапарт сразу добился двух вещей, которых жаждал больше всего на свете: любимой женщины и командования армией.

Впоследствии, внимательно следя за головокружительной карьерой императора Наполеона, я нередко думал:

«Как знать, существовал ли бы когда-нибудь во Франции император Наполеон, если бы у распутной актрисы Гюс однажды не перехватило горло?»

Да, как знать! Но ведь мы ничего не знаем. Мы недоуменно вопрошаем: «Зачем?» А ответы знает лишь Тот, Кто ведет великую книгу непостижимых судеб!

Адель мне все-таки удалось похоронить честь честью. К счастью, не все священники так не по-христиански смотрели на вещи, как наш приходский. Да и то сказать – тогда не время было священникам перетягивать струны. Вот в эпоху реставрации они действительно показали себя! Тальма, этот искренне набожный человек, этот глубокий христианин, умирая, не допустил к себе архиепископа. Еще бы! Его сыновьям, учившимся в католическом училище и шедшим первыми в классе, отказали в выдаче заслуженных наград только потому, что они были детьми актера. Тальма перевел их в протестантское училище и на всю жизнь затаил в сердце укор представителям религии, которая вся основана на словах Спасителя, но не хочет вспомнить, как Божественный Страдалец укрыл словом всепрощения блудницу. А ведь блудница нарушила одну из основных заповедей Божьих, тогда как греховность актерского труда не доказывается ни единым словом Евангелия. Ну, да ведь и то сказать:

католицизм слишком увлекся задачей земного главенствования, чтобы не отойти от задач небесных!

Для места вечного успокоения многострадальной Адели я выбрал кладбище Пер-Лашез. Проводить покойную пришла почти вся труппа «Комеди Франсэз». С кладбища вся эта шумная компания отправилась в ресторан помянуть почившую, я же попросил Луизу Компуен зайти ко мне и посидеть со мной: мне вдруг показалось совершенно невыносимым очутиться в непривычной пустоте.

Луиза согласилась без труда. Слабо улыбнувшись одними губами – ее глаза продолжали хранить выражение испуганной окаменелости, – Луиза заметила, что теперь она может более свободно располагать своим временем: Жозефина повысила ее в чине, сделав своей компаньонкой, а для личных услуг наняты сразу две горничные.

Мы вернулись с девушкой домой. И вот тут-то между нами произошел разговор, многое решивший.

Желая вырвать душу Луизы из мертвенной скованности и вызвать благодетельные слезы, я заговорил об Адели и Ренэ Карьо. Но как ни старался я задеть самые чувствительные струны горя Луизы, ее лицо не смягчилось и ни единой слезинки не набежало на ее скорбные глаза. Когда ж я сказал ей, что слезы смягчают горе, что она должна постараться заплакать, девушка ответила мне:

– Но я не могу плакать, мне не о ком плакать! Разве только о себе... А Ренэ уже давно оплакан мною! Хотя я и не осозна-

вала этого, но с того дня, как он объяснился мне в любви, я непрерывно ждала такого конца. Еще до трагического исхода я уже оплакала своего возлюбленного, еще до его смерти я тайно выплакала все слезы! Я чувствовала, что Ренэ нечем жить. Разве он покончил с собою оттого, что спектакль был сорван? Вот к игорному столу подходит разоренный и ставит последний луидор. Карта бита, разоренный отходит в сторону и простреливает себе мозг. Разве оттого покончил с собою несчастный, что он проиграл? Нет, это произошло потому, что луидор был последним. Уже подходя к игорному столу, разоренный был приговорен... Ренэ уже давно осудил себя на смерть, так как в годы борьбы и страданий израсходовал все жизненные силы. Постановка пьесы была его последним луидором. Я давно чувствовала это, его смерть не была для меня неожиданностью... Ах, этот ужас парижской жизни! Сколько таких Ренэ бегают сейчас по улицам, задыхается в вертепах нищеты и порока!

– Да, Луиза, – согласился я, – и та, которую мы только что похоронили, тоже была порождением ужаса парижской нищеты. У Адели были хорошие задатки, но все лучшие дары небес обратились у нее в орудия порока, потому что некому было вырвать ее еще девочкой из когтей нищеты. Ах, какой злобной насмешкой судьбы кажется мне богатство, которое досталось мне именно теперь! Если бы эти деньги достались мне тогда, когда я только познакомился с Аделью...

– Но разве мало их, этих Аделей и Ренэ? – порывисто вос-

кликнула Луиза, судорожно ухватив меня за руку. – Разве добро должно твориться только по отношению к определенным людям, а не ко всем нуждающимся в помощи? Разве теперь, пользуясь огромной силой доставшихся вам денег, вы не могли бы заняться спасением несчастных птенчиков, гибнущих в когтях нищеты и мрака?

– Луиза! – воскликнул я. – Сам Бог внушил тебе эти слова! Ты указала мой путь!

И Луиза низко склонила голову и разрыдалась.

– Ах, – сквозь слезы бормотала она, – теперь мне легче! Теперь я вижу, что Ренэ умер не напрасно, не бесплодно.

И опять меня пронизал трепет при мысли о неисповедимости судеб Господних. Ничто не пропадает даром у Великого Сеятеля; каждое семя, брошенное Им в землю, погибает лишь для того, чтобы, умерев, родить новую жизнь. Мы же в гордом ослеплении разумом дерзко требуем отчета у небес, надменно вопрошая: «Зачем?» Словно можем мы своим слабеньким умишком постигнуть все мудрое величие, всю конечную разумность путей, которыми Господь ведет человечество через тернии жизни!

Вот так и живу я с тех пор. Где вижу несчастного, нуждающегося в помощи, там и спешу к нему на подмогу. Сначала я хотел основать нечто фундаментальное, какой-нибудь приют для детей, но потом раздумал. Есть что-то роковое в казенной благотворительности, лишаящее ее плодотворности

результатов. Нет, я решил слепо ввериться Провидению, полагаясь на Его помощь. И пока я не ошибся. Вот уже сорок лет занимаюсь я благотворением, и, может быть, только четыре-пять раз за это время деньги попали в руки обманщиков. Да и то – Бог с ними! Пусть они сами рассчитываются за это с Богом! А может быть, и этот обман нужен на что-нибудь? Как могу я знать?

Только порой мною овладевает тревожное сомнение. Что будет с моим делом, когда я умру?

Однако минуты этих сомнений редки и непродолжительны. Я твердо гоню их от себя, зная, что в нужную минуту Господь наставит и просветит меня. Ведь в этом деле я – орудие Его воли. О чем же заботиться, о чем же тревожиться мне?

Зато бывают минуты иных сомнений, иных терзаний, минуты, которые я уже не могу так легко отогнать от себя. Когда я слышу шум веселых голосов, вижу молодые, радостные лица, я невольно озираюсь на всю прожитую жизнь и с ужасом замечаю, что в ней не было ни радости, ни света. В биении юной страсти я один только раз отдался велениям тела, и вот за это страшная кара придавила собою всю мою жизнь! И тогда я хватаюсь за свою седую голову и корчусь в ужасе. Жизнь прошла, и ее не было.

И напрасно говорю я себе в эти минуты, что пути Господа неисповедимы, что невместно нам требовать какого-либо отчета у Него. Вся моя душа, все мое исстрадавшееся существо сливается в одном неудержимом вопле:

– Зачем?